ЮРИЙ ТРИФОНОВ

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ



ЮРИЙ ТРИФОНОВ

Другая жизнь



Другая жизнь

Юрий Валентинович Трифонов

Аннотация
ЮРИЙ ТРИФОНОВ. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ
- ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
- ОБМЕН
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
- ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

РАССКАЗЫ
- ПУТЕШЕСТВИЕ
- МАКИ
- КЕПКА С БОЛЬШИМ КОЗЫРЬКОМ
- БАКО
- ОЧКИ
- ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА
- ДОКТОР, СТУДЕНТ И МИТЯ
- БЕСЕДА С ГЕРПЕТОЛОГАМИ
- ОДИНОЧЕСТВО КЛЫЧА ДУРДЫ
- ОДНАЖДЫ ДУШНОЙ НОЧЬЮ
- ПРОЗРАЧНОЕ СОЛНЦЕ ОСЕНИ
- ВЕРА И ЗОЙКА
- БЫЛ ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ

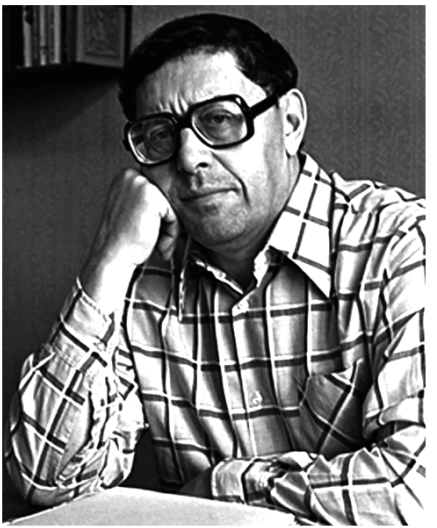
• САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
• ГОЛУБИНАЯ ГИБЕЛЬ
• В ГРИБНУЮ ОСЕНЬ
• ПОБЕДИТЕЛЬ
• ИГРЫ В СУМЕРКАХ
• ВЕТЕР
• ВОЗВРАЩЕНИЕ ИГОРЯ
• ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖЕНЦАНО
• ИСПАНСКАЯ ОДИССЕЯ
• КОСТРЫ И ДОЖДЬ
• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ
• ЗАПИСКИ СОСЕДА. Из воспоминаний
• ПОСЛЕСЛОВИЕ. ГОРОДСКИЕ ПОВЕСТИ ЮРИЯ ТРИФОНОВА
INFO

Аннотация

Издательская аннотация отсутствует.

_____

В сборник включены повести и рассказы разных лет.



БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЮРИЙ ТРИФОНОВ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» © МОСКВА © 1979

*

Художник Л. ГРИТЧИН

М., «Известия», 1979

ПОВЕСТИ



• ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Посвящаю Алле

И опять среди ночи проснулась, как просыпалась теперь каждую ночь, будто кто-то привычно и злобно будил ее толчком: думай, думай, старайся понять! Она не могла. Ни на что, кроме самомучительства, не было способно ее существо. ***Но то, что будило***[1], требовало упорно: старайся понять, должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата? И еще другое, тайное и стыдное: неужели на этом все кончилось? «Какая дура, как я могу думать о смерти, когда у меня дочь».

Однако она легко думала о смерти, как о чем-то неприятном, но неизбежном, что следует пережить, как о том, например, что надо лечь в клинику на операцию. Мысли о смерти были гораздо легче памяти. Та доставляла боль, а эти

---

[1] Примечания: 1

Выделение р а з р я д к о й, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами здесь и далее заменено ***жирным курсивом***. — *Примечание оцифровщика.*

ничего, кроме мимолетной задумчивости. Вот оно, начинается: он приходил подвыпив после получки в музее — когда-то давно — обыкновенно из «Севана», рядом с музеем, или же Федоров затаскивал его к себе, засиживались там, и всегда сразу ложился, не мешкая ни минуты, и засыпал мгновенно. Но обязательно просыпался ночью, часа в три, в четыре, как она теперь. Мешал ей спать, шаркал на кухню за водой или за каким-нибудь питьем из холодильника, она сердилась, ругала его сквозь сон. В те минуты, когда будил, она его ненавидела: «Какой же ты эгоист!»

А он, бывало, скрывал подпитие, держался находчиво и хитро, был очень ловкий актер, и она не замечала ни запаха, ни покрасневших глаз, верила его словам: «Устал как собака», жалела его, стелила поскорей постель, он бухался под одеяло и начинал храпеть, но ночью непременно выдавал себя, просыпаясь задолго до утра. Теперь с нею похожее. Ее алкоголем были память и боль, она скрывала днем, никто не должен был замечать — ни на работе, ни дома, ни Иринка, ни свекровь, уж тем более ни свекровь, потому что, если бы замечала, боль бы усилилась, и все свои силы днем она употребляла на скрывание, но на ночные часы ее не хватало.

А иногда он проснется ночью без всякого подпития — просто так, неизвестно отчего. Это уж было вовсе блажью. Ведь не старик он. Бессонница бывает у стариков. И она раздражалась, потому что спала чутко и просыпалась, как только он начинал вздыхать, ворочаться и в особенности смотреть на часы — он брал часы с крышки ящика для постельного белья, чтобы поднести их к глазам, и всегда звякал металлической пряжкой о ящик. Из-за этого звяканья было много разговоров. Она очень сердилась. Это было так глупо. Он старался, бедный, манипулировать с часами бесшумно, но почему-то ничего не получалось: обязательно хоть чем-то, хотя бы концом маленького металлического хоботка, задевал за ящик — и раздавался звякающий звук, очень ясный в ночной тишине, она вздрагивала, потому что просыпалась раньше (как только он принимался вздыхать), и, замерев, со сжавшимся сердцем ждала звяканья.

Свекровь продолжала жить с нею в одной квартире. Куда ей было деться?

Эта женщина твердо считала, что в смерти сына, умершего в ноябре прошлого года в возрасте сорока двух лет от сердечного приступа, виновата жена. Жить вместе было трудно, хотели бы разъ-

ехаться и расстаться навсегда, но удерживало вот что: старуха была одинока и, расставшись с внучкой, шестнадцатилетней Иринкой, обрекала себя на умирание среди чужих людей (ее сестра и племянница не очень-то звали ее к себе, да и Александра Прокофьевна жить бы с ними не согласилась), а кроме того, Ольга Васильевна должна была считаться с дочерью, которая бабку любила и без бабки оказалась бы совсем без призора. Все это затянулось таким каменным, неразъемным узлом, что выхода, казалось, тут не было: просыпайся среди ночи и ломай в отчаянии голову, а днем уходи из дому, убегай, исчезай. В командировки она теперь рвалась как могла чаще. Понимала, что неправильно, что слабость, что Иринка нуждается в ней сейчас гораздо больше, чем раньше, — и она нуждалась в Иринке и в поездках истерзывалась тоской по дочери, торопилась вернуться, каждый вечер по телефону наговаривала на пять рублей, а вернувшись, обнаруживала, что дочка прекрасно жила без нее, увлеченная своими делишками, и это несколько успокаивало, хотя и прибавляло боли, и опять тянулась уехать, спастись, наперед зная, что спасенья не будет. Ах, как бы она жалела, как бы ценила старуху, если бы та жила где-нибудь

далеко! Но в этих комнатках, в этом коридорчике, где прожитые годы стояли тесно, один к одному впритык, открыто и без стеснения, как стоит стоптанная домашняя обувь в деревянном ящике под вешалкой, сколоченном Сережей, здесь, в этой тесноте и гуще, не было места для жалости. Свекровь могла сказать: «Помнится, вы такие кренделькы раньше не покупали. Где это вы брали, на Кировской?» Одна фраза вмиг уничтожала всю жалость, копившуюся но крупицам. Значило: его крендельками не баловали, а нынче, для себя, стали покупать. И такая мура, такая ничтожнейшая, смеха достойная глупость ранила, как удар железом. Потому что на самом деле — злобность, пытка.

Подобное кренделькам — пыточное — вышло и с телевизором. Давно еще, при Сереже, хотели купить новый, большой вместо старенького, с допотопной линзой, и деньги откладывали. Ольга Васильевна часто раздражалась, — может, и не следовало, но, боже мой, что ж теперь делать, — раздражалась напрасно, несправедливо, никак не могла перебороть себя, потому что, по совести говоря, были причины, теперь эти воспоминания тоже пытка, — оттого, что мог часами, забыв обо всем, смотреть любую спортивную дребедень.

Заваливался в зеленое кресло, ногу на ногу, сигарету в зубы, круглую пепельницу с рыбной ставил рядом на пол — и как приклеенный, не допросишься, не докричишься. Но почему все подряд? Неужели все так уж одинаково интересно? Я отдыхаю! Имею я право на отдых, в конце концов? Гнев был слегка наигран: все обязаны знать, что он чудовищно устает на работе.

Он действительно уставал, кроме того, были неприятности. Но ведь они у всех. У него не хватало выдержки. И еще: он скрывал, скрывал, многое обнаружилось позже. Она о своих неприятностях рассказывала и этим облегчала себя, а он скрывал, стыдился своих неудач. И тогда, перед телевизором, жаловался полуискренне-полудурачась:

— Господа, мои нервные клетки нуждаются в отдыхе. Собаки едят траву, интеллигенция слушает музыку, а я смотрю спорт — это мое лечение, мой бром, мои «ессентуки», черт бы побрал вашу непонятливость, господа…



Обыкновенное шутовство, но Александра Прокофьевна честно вставала на защиту сына. Иногда, чтобы поддержать его, садилась рядом в кресло и смотрела хоккей или волейбол, все равно что, ей-то уж было еще более все равно, и перебрасывалась с сыном замечаниями, от которых Ольга Васильевна едва не прыскала со

смеху. Бывало, он скрытно и тонко, — но так, что Ольга Васильевна понимала, — подшучивал в этих беседах у телевизора над Александрой Прокофьевной, но старуха с упорством делала вид, будто спорт ее крайне интересует. Ах, да, лет сорок или тридцать назад она была завзятой туристкой! Еще недавно наряжалась в древнейшие штаны цвета хаки, немыслимую куртку эпохи военного коммунизма, закидывала за спину рюкзачок, пригодный для сбора утиля, и отправлялась куда-то на электричке совершенно одна. Сережа относился к этому спокойно. Другим он не разрешал шутить над бабкой и даже улыбаться молча за ее спиной. Кажется, она посещала места, по которым ходила когда-то давно с мужем, Сережиным отцом, профессором математики, страстным ходоком, туристом и фотографом. Вид у свекрови в туристском одеянии времен наркома Крыленко был трагикомический. Даже Ольгу Васильевну коробило, а Иринка просто страдала: над бабушкой потешались местные дуры, охранительницы подъезда. Сережин отец в сорок первом пошел добровольцем в ополчение и осенью погиб под Москвой. Старуху с ее печальными чудачествами можно было понять, но почему же ее-то, Ольгу Васильевну, не понимали?

Почему ее горя не видели? Никакой силой нельзя было заставить свекровь, женщину неглупую, с юридическим образованием, признать право Ольги Васильевны на страдание.

— А конечно, покупайте телевизор, покупайте, не задумывайтесь! — говорила она, когда Ольга Васильевна сглупу решила с нею советоваться.

Очень уж просила большой телевизор Иринка. Ольге Васильевне было все равно, но тут в ближайший универмаг, в соседний дом, куда Иринка любила бегать за всякой ерундой, привезли телевизоры очень хорошей марки, которые бывали редко, и нужно было решать.

— Я вам говорю: покупайте! Зачем вы будете отказывать себе в удовольствии?

Ольга Васильевна сказала, что ей не до удовольствий.

— Я понимаю, но, с другой стороны, вы же не собираетесь заточить себя в монастырь.

— Нет, в монастырь не хочу, это правда.

Теперь Ольга Васильевна нажала нарочно, чтобы старухе стало больно, — ведь и та хотела доставить ей боль, говоря об удовольствии.

— Так что не мучайтесь, снимайте денежки, Сережа на это и откладывал, то была его воля… — На плоском, скуластеньком, как у старой татарки,

лице Александры Прокофьевны стыла любезная улыбочка, а глаза свекрови — маленькие, прозрачно-голубые щелочки, Сережины, — смотрели холодно, без пощады.

Ожесточившись от этих укусов, Ольга Васильевна решила телевизора не покупать старухе назло. Накричала на Иринку, та ревела. Но потом, ожесточившись еще сильней, Ольга Васильевна решила наоборот — и купила. Свекровь за четыре месяца не смотрела телевизор ни разу. Говорила, что бережет глаза и боится излучений, но, кроме того, тут была и демонстрация. Кто-то из знакомых успокаивал: обживетесь, обтерпитесь, одно у вас горе, одна девочка, которую любите. Ольга Васильевна тоже думала, что как-то приладятся, но до одного случая, когда поняла, что нет, никогда.

Было в январе, двух месяцев не прошло, и боль давила непереносная. Вот уж когда жить не хотелось. Ночью, промаявшись без сна, Ольга Васильевна встала, пошла на кухню и там давилась слезами, пила то валокордин, то заварку из чайника холодную. Вдруг услышала: Александра Прокофьевна шлепает на кухню. Тоже не спалось. И это шлепанье Ольгу Васильевну пронзило, потому что — знакомое, Сережа так же шлепал в этих же тапочках без задников, старуха зачем-то

их себе взяла и в них ходила. Она и одеяло его верблюжье зеленое себе забрала. И показалось Ольге Васильевне, будто Сережа идет. Придет на кухню, когда все трое там, остановится в дверях в газетном колпаке, руку поднимет и скажет: «Приветствую тебя, мой бедный народ!» Иринка, конечно, покатится со смеху. Он все пытался объединять, сближать хотя бы на минуту, хотя бы шутками, дурачеством. И вот нахлынуло внезапно от этого шлепанья, и не смогла удержаться, зарыдала громко, это было непростительно и ужасно, потому что слез не должен видеть никто. Александра Прокофьевна вошла — в рубашке, седые волосы распущены космами, лицо желтое, недовольное, — поглядела на Ольгу Васильевну, подошла к буфету, взяла чашку и налила в нее воду из чайника. Нет, не дала воду Ольге Васильевне, вода была нужна *ей* самой. Она как будто не видела и не слышала рыданий Ольги Васильевны и обычным своим ворчливым голосом спросила:

— Где у нас сода?

Ольга Васильевна, не ответив, вышла из кухни.

Этого вопроса насчет соды, невидящих глаз — не забыть. Потому что вдруг глянуло явственно

то, что днем скрыто. Ночью обнажается истинное. Ольга Васильевна плакала, а старуха смотрела с ненавистью. Самые горькие разговоры бывали ночью. Он сказал однажды ночью, что, если бы не Иринка, он бы с нею, с Ольгой Васильевной, расстался, и это показалось ей такой смертоубийственной правдой, что едва дожила до рассвета, а днем он острил, городил чепуху, ничего не помнил, и ночной разговор схлынул бесследно, как кошмар. Но спустя несколько месяцев опять случился разговор ночью — он вздумал поехать один в дом отдыха, под Новый год, это напугало ее, не хотела его отпускать, требовала, чтоб он взял ее, в то время было несложно получить десять дней за свой счет, но возникала трудность с Иринкой, свекровь чем-то болела, ничего серьезного, будь это нужно Сереже, она бы отпустила их непременно, а тут, поняв, что нужно невестке, отказалась наотрез. Все было шито белыми нитками, нарочно пригласили Веру Прокофьевну с дочкой, Сережиной кузиной Тамарой, невропатологом из закрытой поликлиники. Ольга Васильевна ее не любила, не верила ни одному ее слову, и эта Тамара за ужином долго и вычурно объясняла заболевание Александры Прокофьевны, явно что-то преувеличивая, нагоняя туману.

Ольга Васильевна, не желая обострять разговор, промолчала, смирилась, хотя тут был возмутительный сговор, но ночью все же не удержалась, разбудила его вопросом — и опять испытала то кошмарное состояние, когда все кругом закачалось, земля пошла из-под ног.

— Признайся, у тебя кто-то есть, с кем ты хочешь побыть вдвоем?

— Да, есть, есть, — заговорил он шепотом, мгновенно проснувшись. — Этот кто-то — я сам. Я хочу побыть вдвоем с собой. Хочу отдохнуть от вас, от тебя, от матери, от всех, всех…

В первую секунду верила, как привыкла верить всегда, но затем недоумение: разве он нуждается в одиночестве? Ей казалось, не было никаких причин, по которым следовало бежать одному за сто верст от Москвы. Поэтому хоть и поверила и слегка успокоилась, но не до конца. В глубине души терзалась загадкой, вызывавшей одну тошнотную мысль: «У него кто-то есть!»

Ему нравились маленькие блондинки. Однажды она случайно это выяснила. Тянуло к миниатюрным женщинам, которых можно баюкать, держать на руках. Как-то сказал Ольге Васильевне с нежностью:

— Как жаль, что ты грузна, матушка. Мне бы

хотелось поносить тебя на руках.

Все его женщины были крупные. Просто совпадение, так получилось, он сам рассказывал. У него было пять женщин. Четыре до нее и пятая она. Может, были еще, даже наверняка, не могло не быть, но про тех четырех она знала точно, а про других могла лишь догадываться и подозревать. Зато про тех четырех выведала все подробности, называла их по именам — Валька, Светланка — и не упускала случая как-то кольнуть их и его заодно, сказать о них что-нибудь злое, глумливое. Она их ненавидела, этих мерзавок, этих шлюх, две из которых были старше его, учили его всяким безобразиям, одна была его ровесница, мнившая себя высокой интеллектуалкой, а на самом деле распутная тварь, мечтавшая женить его на себе любым способом, но он, слава богу, не поддался на ее уловки и поступил с нею решительно, хотя, может быть, не совсем благородно, но так ей и надо, твари, и была еще какая-то бело-розовая, пастозная, с которой он работал в музее, манерная дура, но очень красивая, она все время куда-то убегала от него, а он догонял. Однажды ему надоело — она побежала от него из дому, где они встречались, а он не стал догонять, и все кончилось. Эта четвертая, пастозная, несмотря

на свой истеризм, была могучего сложения, и он называл ее Брунгильдой. Говорил, что груди у нее тяжелые и круглые, как супные тарелки. Ольга Васильевна ненавидела ее особенно. Она ненавидела их и теперь, всех четверых, потому что Сережа все еще мучил ее, продолжал ее мучить. И вот, думала она, у него никогда не было маленьких блондинок, и поэтому, может быть, его тянуло к таким. Он уехал в какое-то Пересветово по Горьковской дороге на двенадцать дней. Ей казалось: простить нельзя. Даже не потому, что непременно изменяет ей в Пересветове, а потому, что уехал, перешагнул через ее мольбы, отчаянье. Но спустя три дня пришла телеграмма: «Привози Иринку здесь прекрасно». Она взяла на работе отгульный день, поехала с Иринкой в Пересветово, и, конечно, он был прощен, катались на финских санях с гор, а утром, провожая ее на электричку, он бормотал: «Какая же ты глупая, глупая женщина!» — и тыкался ей в рот небритым лицом. Ведь недавно, когда брали курортную карту, врач написал: «Практически здоров». Все было ничего, анализы, сердце, давление. Что же случилось за это время? Никто не может понять. Непонятно: как жить без него? И как удалось — вог уже пять месяцев и двадцать пять дней! Она и сама не

понимала: как-то все длилось бессмысленно, тянулось, жилось…

Будильник позвонит в семь. Еще полтора часа она будет лежать, погруженная в забытье — не в забытье сна. а в забытье исчезнувшей жизни, — потом медленно встанет, наденет стеганый нейлоновый халат, Сережин подарок ко дню рождения, а то и без халата, в одной рубашке, нечесаная, теперь она не следит за собой, побредет на кухню и поставит на плиту чайник, кастрюльку с водой для каши и другую для яиц, вынет из холодильника творог, кефир, чтобы, пока они с Иринкой моются и одеваются, творог и кефир немного согрелись в теплом воздухе кухни. Включит репродуктор, который стоит на верху буфета. И все время, что бы ни делала, о чем бы ни думала, она будет чувствовать пустоту и холод за спиной.

Был такой Влад, очень добрый, хороший, скучный, безнадежный, талантливый, с широким рябым лицом и глазами слегка навыкате, выражавшими серьезность и преданность. Он носил очки в черепаховой оправе. Когда он смеялся — что случалось редко и всегда неожиданно, — он прикрывал рот рукой, ибо верхняя губа задиралась немного больше, чем нужно. Это не была

настоящая заячья губа, но какой-то намек на заячью губу. Один из давнишних приятелей, остряк, назвал Влада зло «полузаяц», обшучивая фамилию Полысаев. Влад был студентом мединститута, и еще тогда ему прочили большую судьбу в медицине. Мать Ольги Васильевны, для которой всякая ***внешность*** — будь то человека, пальто, шкафа, портьеры и даже букета цветов — не имела ровно никакого значения, а важно было лишь то достаточно спорное, что она определяла внутренним оком и называла ***сутью***, очень хотела, чтобы дочь вышла замуж за Влада. Но Ольга Васильевна никак не могла на это решиться, хотя и не хуже матери понимала, какой хороший человек Влад. Однако — всю жизнь видеть перед собой мощное рябое лицо, со скифскими скулами…

И все это продолжалось, полувялое ухаживание, полудетская дружба, без надежды для Влада, без радости для Ольги Васильевны, в течение лет двух или трех (одновременно с Владом нагонял скуку еще один ухажер, некий Гендлин, инженер, совсем никудышник, хотя мать к нему тоже благоволила), пока не наступила роковая пора, завершенье учебы, начало самостоятельной жизни, школа на Палихе, двадцать четыре

года, отступать некуда, все подруги, проклятые, замужем, и вдруг Влад приходит с молодым человеком, недавним знакомцем, сошлись зимою в Звенигороде, в студенческом лагере, и мгновенно сдружились. Влад вообще был восторженный гуманист. Он увлекался людьми, хотя, надо сказать, разбирался в них не блестяще. Мать Сергея, например, он считал благороднейшей женщиной, трепетал перед ней, даже заискивал, и все лишь потому, что Александра Прокофьевна что-то там делала на фронте во время гражданской войны, в политотделе армии стучала на машинке. Но это уж было после. А до Сергея он приводил какого-то летчика, то чемпиона по борьбе, похожего на обезьяну, то книжного барышника, торговавшего детективами столетней давности, знатока всего на свете, говоруна и морфиниста. Новый знакомый Влада был историк, недавно окончивший, работал в каком-то невидном учрежденьице не по своей специальности. Кроме того, как представил его Влад, был абсолютным чемпионом Звенигородского района по «балде» и чтению слов наоборот.

И правда, в первый же вечер он поразил Ольгу Васильевну потрясающим искусством. Влад кричал восторженно: «Столовая!» И гость отвечал:

«Яаволотс». «Портфель!»— восклицал Влад. И немедленно следовало: «Лефтроп». «Землетрясение!» — коварно предлагал Влад, втайне ликуя от неминуемого победоносного ответа своего друга. И верно, тот, лишь на мгновенье запнувшись, отвечал: «Еинес… ртелмез». «Как, как, как? — кричал Влад. — Повтори, пожалуйста! Надо проверить!» Проверяли, все было точно. Произвело огромное впечатление. Влад подбавлял жару: «Да что там — гений! Самый обыкновенный гений…» Он был тогда худ, строен, пышноволос, пружинисто двигался, весело и странно говорил, был не похож ни на кого из знакомых. Она почувствовала: что-то произошло. И тоже, поборов волнение, спросила: «Взгляд?» «О! — закричал Влад. — Это очень трудно!» Гость посмотрел на нее одну секунду, будто соглашался— да, это трудно, — и негромко, но твердо сказала «Дялгзв…»

Загадочное слово пронзило ее, как игла. Тут был, может быть, произнесен пароль, определивший жизнь. Никогда нигде не слышанное, не читанное, дикое слово — «дялгзв». Но оно было зеркальным отражением другого слова, истинного, в которое она бесконечно верила, — «взгляд». Эта игра, это смешное, бессмысленное знакомство и дикословие под водку и шпроты остались

в памяти намертво, потому что было внутреннее ошеломление и предчувствие перемены судьбы. И было еще: начало весны, той тревожной, неясной, которую еще предстояло разгадать, как слово «дялгзв», когда все кругом затаив дыхание чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили. Но матери этот гость, изобретавший слова, не понравился тем, что в первый же вечер побежал за водкой. Узнав его лучше, Ольга Васильевна догадалась, что тут была вульгарная стеснительность и особая, чрезмерная нервность, толкавшая на нелепейшие поступки, но вовсе не страсть к спиртному. Мать не могла забыть Сережиного faux pas много лет. «А ты помнишь, — говорила она, когда зять в чем-нибудь провинился, — как он в первый же вечер побежал за водкой?» Мать, которая так стремилась к пониманию сути, не в силах была уразуметь, что этот смешной поступок совершенно не выражал сути. Она твердо считала, что более других дочери подходит Влад: в этом и состояла суть. Бедная мать, при всей ее любви к дочери она не могла преодолеть свойственного ей наивного эгоизма — наивного потому, что ей даже в голову не приходило усмотреть в своем поведении какие-либо следы эгоизма, ей казалось как раз обратное, будто она

окутана Облаком альтруизма, живет для других, ради других, это походило на правду, хотя, если приглядеться внимательно, «другими» оказывался один человек, Георгий Максимович, — и она полагала, что заботится о дочери, настаивая на том, что Влад для нее лучше, а на самом деле Заботилась о себе, ибо Влад был лучше для нее. И ей не нравились игры в слова и рассказ Сережи о том, как он с Владом ходил в психиатрическую клинику. А Сережа рассказывал гениально! Георгий Максимович, который зашел из мастерской попить чайку, тоже смотрел сурово.

У матери с Георгием Максимовичем всегда была замечательная синхронность. Мать высказывала суждения, д Георгий Максимович кивал подтверждающе, сопровождая кивки фразами вроде «пожалуй, что так» или «боюсь, что ты права». Родной отец умер давно, когда Ольге Васильевне было шесть лет. Мать в эвакуации познакомилась с Георгием Максимовичем, они работали на одном заводе: мать в плановом отделе, а Георгий Максимович в клубе, художником. Он был старый художник, учился до революции у какого-то знаменитого грека, ездил за границу, участвовал в выставках, за что-то его громили, перевоспитывали, оттесняли, постепенно он

счах и сник, и к тому времени, когда попал в эвакуацию в маленький уральский городишко, из художника он превратился в полуголодного мазилу и зарабатывал на хлеб рисованием лозунгов и плакатов. Однако потом, когда он вернулся в Москву с новой семьей, с матерью и Ольгой Васильевной, ему дали мастерскую и комнату в доме художников, стали его привечать, упоминать в печати, давать ему договора и заказы, потому что в эвакуации, как выяснилось, он времени зря не терял, работал как вол, ибо искусство делают волы, по утверждению Ренара, любимого писателя Георгия Максимовича, создал галерею тружеников тыла под названием «Уральская сталь», эти рисунки выставлялись не раз, были репродукции, даже почтовые открытки, — и в жизни Георгия Максимовича наступил своего рода ренессанс, вторая молодость, или, как он выражался, «мой розовый период», и все бы шло хорошо и ладно, если бы как раз в те годы, в конце сороковых, Георгий Максимович не стал болеть. Что-то с головой, потом с глазами, запрещали работать, он уезжал в санаторий, потом начались сердечные неприятности, и незадолго до появления Сергея случился инфаркт. Сколько ему было тогда? Да уж очень порядочно. Мать моложе на семнадцать

лет. А ей было в то время, когда появился Сергей, сорок три, значит, Георгию Максимовичу было шестьдесят.

Он еще ходил прямо, руку пожимал крепко и, знакомясь с людьми, имел обыкновение упорно и зорко вглядываться человеку в лицо, обшаривать его с бесцеремонностью. Новых людей это коробило. Сережа признался потом, что первая встреча с Георгием Максимовичем его слегка озадачила.

— Он смотрел на меня так, будто я что-то украл.

Правда, у Георгия Максимовича была еще и другая привычка: изучив нового человека досконально, он сообщал, что у того «интересное лицо» и что его «очень интересно написать». В этом звучала покровительственная нота человека искусства, стоящего над остальными людьми, и в то же время была невинная лесть, приятная всем. Но Сереже Георгий Максимович этого не сказал. Настороженность была с первой минуты. Впрочем, Георгий Максимович был тут несамостоятелен, он лишь улавливал, подобно чуткой мембране, настроение матери. Да, они очень подходили друг другу. Ну и прекрасно, слава богу. Ольга Васильевна не ревновала, отца

едва помнила, Георгий Максимович относился к матери хорошо, по-видимому, любил ее, а уж она, бедная, его обожала, и с годами у них образовались одни вкусы, одни взгляды на людей, на живопись, на книги, на деньги, на все. Мать постоянно была погружена в его дела и болезни. Ее просто не хватало на чью-то другую жизнь. Когда родилась Иринка, мать поначалу разрывалась между внучкой и мужем, ей хотелось быть нужной, вездесущей, но сил не стало, и она сдалась, уступила место другой бабке. Ольга Васильевна ее простила. Некоторое время жили с матерью и Георгием Максимовичем на Сущевской, где была мастерская, в квартире с соседями, потом у свекрови случилось горе — умерла дочь, незамужняя, какая-то невезучая, больная, свекровь ее очень любила, — и решили переехать к ней в двухкомнатную квартиру на Шаболовку. Тут прошло Сережино детство. Все ему было тут мило, близко, и хотя Ольга Васильевна сразу почувствовала, что жить со свекровью будет несладко, но Сережа очень хотел, и старухе, — впрочем, какой старухе, она была тогда шумливой, суетной пожилой женщиной, — надо было пойти навстречу. Дать ей хотя бы внучку. Грустно было уезжать от матери. Но ничего поделать было нельзя. Все это

двигалось своим ходом и началось в тот вечер, когда он пришел, лохматый, в ковбойке, в пиджаке с накладными плечами, и говорил слова наоборот.

А после того вечера: весна, дворы, подворотни, подъезды, кафе, забегаловки, начало лета, ничего не понимавший Влад, поиски денег, вагон на юг, жара, прохлада, освобождение. Вчетвером: Ольга Васильевна с Ритой, подругой тех лет, сгинувшей потом бесследно, и Влад с Сережей. У Влада был знакомый, вернее — знакомый его отца, генерала медслужбы, владелец дома в Гаграх. Он обещал снять комнаты. Нужны были две: для Риты и Ольги Васильевны и для Сережи с Владом. Почему-то в доме доброго знакомого жить было нельзя. Лето пылало, в Гаграх стояла одуряющая духота. Отчего-то вышло так; что знакомый Влада — некий, кажется, Порфирий Николаевич, то ли, может быть, Парфентий Михайлович, невнятный человек, работавший когда-то в Москве в ответственном учреждении, а теперь, пенсионером, живший в Гаграх в собственном особнячке, — снял только одну комнату, довольно паршивую, далеко от моря, на горе, и еще предложил летнюю хибарку в своем саду. Комнату отдали ребятам, а девушки поселились в хибарке — у самого пляжа.

Это было легкое сооружение вроде шалашика или того, что теперь называется «бунгало» и вошло в моду по всему Черноморскому побережью. Вначале все было восхитительно, но затем обнаружились неудобства. За водой и в туалет ходили через весь сад в дом. Кроме того, постояльцы особнячка, родные, близкие и дальние знакомые Порфирия Михайловича, которых было множество и приезжали на машинах все новые, жили какой-то шумной, утомительной жизнью. Ежедневно там пили, гуляли, горланили песни, заводили громко радиолу и танцевали на веранде, жарили шашлыки в саду, а вечерами толпою ходили на море купаться: спускались тропкой через калитку в заборе на каменистый пляж. Дом стоял на берегу.

Весельчаки из дома Парфентия Николаевича зазывали в свою компанию Влада с Сережей и девушек, ребята не отказывались, денег у всех в обрез, в Гаграх дороговизна, да и ничего не достать, а там угощали щедро, хванчкары и чачи сколько душе угодно, и Рита, не-взрачненькая хитруша, прибитая московским одиночеством, тоже рвалась к этому водовороту, казавшемуся хоть и опасным, но обольстительным.

Но Ольга Васильевна твердо: «Нет!» Среди лю-

дей, бродивших вечерами по саду, попадались хамы, и раза два кто-то ломился поздним часом в хибарку, дверь трещала, глупая Рита хихикала, но Ольга Васильевна догадывалась, что Рита им не нужна. «Эй, гордая! — кричали снаружи. — Пойдем с нами купаться!» Ольга Васильевна суровым голосом грозила милицией.

Наутро жаловались Владу, тот бежал в дом, оттуда приходила жена Порфирия Парфентьевича, статная дама, всегда в белом, черные волосы с проседью, на пальцах золото, в ушах золото, и когда улыбалась синим большим ртом, обнаруживалось много золота во рту: «Девочки, простите моих хулиганов. Они дети юга. У них солнце в крови… Солнце делает людей безумными…»

Сережа здорово плавал, нырял, прыгал с вышки. Он и Рита заплывали далеко за буйки, а Ольга Васильевна с Владом полоскались у берега. Вообще Сережа, такой неумелый и робкий в житейских делах, в отношениях с людьми и самим собой, обладал большой физической смелостью. Поговорить с Порфирием о том, сколько нужно заплатить за хибарку, и одновременно насчет водопровода, который жители особнячка часто перекрывали, ставя Риту и Ольгу Васильевну в

затруднительное положение, он никак не решался — боялся обидеть, малодушно тянул, но и не отказывался от хванчкары и сидения на веранде с гостями, и она с досадой угадывала что-то шаткое, немужское в этом характере, — и он же мог с легкостью ввязаться в любую драку на пляже, мог прыгнуть шутя с десятиметровой вышки. И с каждым днем она все отчетливей сознавала, что пропадает.

Никогда раньше она не испытывала такого безысходного, отчаянного пропадания. Прекратилась всякая другая жизнь. Пропали все другие мысли. Ведь прошло лишь несколько дней — что же могло измениться? — а казалось, что изменилось все вокруг: цвет неба, запах моря, вкус шашлыков. И в ней самой сдвинулась какая-то стрелка. Все внутри завертелось гораздо быстрее, чем раньше. Возникло что-то тревожащее и новое в ней самой, какая-то посторонняя тяжесть, доставлявшая неудобства и мучения. Например: она не могла теперь вынести, когда он заходил в дом Порфирия и задерживался там надолго. Какая, подумать, ерунда. А она терзалась: зачем он там? с кем? чей смех доносился с веранды? Мужской смех задевал так же, как женский, одинаково чувствительно. Значит, там ему слаще,

милей, чем здесь, с нею. Это были странные мучения, изолированные от рассудка, подчинявшиеся наитию: ведь он не был мужем, они еще не были близки, только еще намечалось, мечталось втайне, и, однако, ее ощущения и муки были такие, будто все уже произошло. Как-то она не утерпела, поднялась на веранду, чтобы позвать его. Он унес шахматы, а тут собрались на пляж — она начала учиться играть в шахматы, ей хотелось делать все то же, что делал он, и однажды, поборов страх, даже прыгнула с трехметрового трамплина солдатиком, — и, открыв стеклянную дверь, увидела, как несколько человек, мужчины и женщины, сидели вокруг стола с закусками и глядели на Сережу, который стоял чуть в стороне, чтобы быть на виду, и изображал нечто мимическое. Он умел эти мимические штуки делать отлично. Особенно «старого аптекаря» и «динамовского болельщика». Вообще в нем было много талантов, он ведь и рисовал, и пел хорошо, и самоучкою выучился на гитаре.

Тогда, на веранде, она почувствовала вдруг бурное отвращение, как приступ тошноты, — и к нему, и к людям за столом, глазевшим на него с веселым, пьяным дружелюбием, как в ресторане. Как же она разозлилась! Те аплодировали, крича-

ли: «Браво!», «Аллаверды к тебе, Серго!», тянули к нему рюмки, а она сказала зло:

— Ну, а теперь прочитай какое-нибудь слово наоборот, — например, «шутовство», — и скажи «до свиданья». Нас на пляже ждут.

Он с изумлением уставил на нее узкие синие глаза и даже рот раскрыл, чтобы что-то сказать — то ли возразить, то ли прочитать слово «шутовство» наоборот, — но она взяла его за руку, он молча подчинился, и они вышли.

По дороге на пляж она ему внушала, испытывая при этом острое наслаждение оттого, что он молчал, а она его пилила с материнской строгостью:

— Пойми, это стыдно, это мерзко, ты себя унижаешь, ты был шутом перед пьяными рожами. Ты, интеллигентный человек, потешал этих господ, этих прощелыг…

Потом он стал защищаться довольно добродушно:

— Ты уж слишком максималистка… Имей в виду, максимализм до добра не доводит, говорю тебе как историк…

Но ему как будто все это нравилось: и то, что она вела его за руку, и то, что была оскорблена за него. Именно тогда, может быть, возникла в ее сознании модель, что в течение долгих лет

представлялась единственной благодатью, к которой следовало стремиться всеми силами, а он, хитрец, делал вид, что подчиняется, но на деле был далек и безучастен: ***вести его за руку*** и поучать с болью, с сокрушением сердца. А на пляже разгорелась дискуссия. Влад, услышав ее нападки, ринулся товарища защищать: «Ты не знаешь местных обычаев. Здесь нельзя отказываться, когда тебя угощают».

И Рита, давно уже скрытно раздраженная, — она соображала своим умишком, что ни Влад, ни Сережа ею не интересуются, и начала понемногу Ольгу Васильевну ненавидеть, — сказала, что Ольга, по своему обыкновению, делает из мухи слона. Что касается Парфентия и его гостей, то, по мнению Риты, они люди добрые, простые, не надо их презирать… «Не надо высокомерничать» — ее фраза. Но чем они занимаются, бог ты мой? Откуда средства для такой сказочной щедрости? Неприлично считать чужие деньги, это дурной тон. Ведь не жулики они. Потому что иначе сидели бы в тюрьме, а они прекрасно живут. Такова была логика этой глупышки, с которой Ольга Васильевна загадочным образом сошлась на короткое время. Рита была худощавая рыжеватая блондинка с белой конопатой кожей, голубыми

глазами и острым носиком. У нее не иссякала твердая вера в то, что она красавица, и годы проходили в негаснущем недоумении: почему никто этого не замечает?

Была какая-то странная жизнь вчетвером. Повсюду ходили вместе: на базар, в кино, в дымную чебуречную, где толстяк с маленькой головкой, Датико, угощал молодым вином и прыскающими жиром чебуреками, по набережной, по главной улице, где слонялась вялая белая толпа, и вечерами на теннисный корт, где играли классные игроки, а Сережа и Влад глядели на них с ненасытной жадностью, потом им самим разрешали немного попрыгать, они оба еще только учились, тренер Отто Янович давал указания, Влад был бездарен, но у Сережи получалось хорошо, с каждым вечером все лучше, он мог при желании стать настоящим теннисистом — с его талантом мог стать настоящим кем угодно, настоящим пловцом, музыкантом, рисовальщиком, ядерным физиком! — и Отто Янович говорил, что «прыгучесть прекрасная», но не было ни мячей, ни ракеток, все стоило дорого, экономили деньги на обратную дорогу, а Ольга и Рита сидели на длинных скамейках в тени тополей и смотрели на игроков. И когда она смотрела на Сережу в тельняшке,

в белой шапочке с козырьком, на его загорелое худое лицо, на его немного полные, тяжеловатые ноги в вязаных носках, которые он вез из Москвы, специально чтоб надевать под кеды, — правда, он не знал, что займется теннисом, думал, что будет играть в волейбол, был заядлым волейболистом, — у нее как-то ломко, счастливо падало сердце. Она наслаждалась, глядя на него и видя все его страсти, напряжение, досады, радости, все было обнажено, а он не видел ее. Однажды Отто Янович, бородатый гномик, сунул незаметно записку. Она развернула осторожно, чтоб Рита не увидела, и прочла: «Приходите завтра к девяти утра. Я буду вас учить совершенно бесплатно и сколько угодно». Гномик брал порядочные деньги за час и, говорят, был богатым человеком. Она улыбнулась ему и покачала головой. Отто Янович скорчил гримасу, означавшую глубокое горе. Ах, много их было в то лето, стремившихся учить ее совершенно бесплатно и сколько угодно!

Верно, она была тогда хороша. Еще не располнела. Все у нее было в меру, все ладно, гибко, плотно, и хоть не умела плавать, но бегала легко, играла в волейбол, делала без труда мостик. Сейчас — попробуй! А тогда хоть бы что. Десять раз подряд без натуги. Мужчины на пляже на нее пялились. В те

годы она очень ровно и быстро загорала — потом это свойство почему-то ее покинуло. Но ведь лежала на солнцепеке часами, не жалея сердца, такая дура. Волосы носила по тогдашней моде растрепанными до плеч. Сережа говорил: «Голова Медузы». А ей очень шло. Такая пышная, густая, темно-русая чаща, а лоб весь открыт, круглый, чистый, еще без единой морщины. Наверно, то был лучший год всей ее жизни, год расцвета. Она замечала это по взглядам мужчин, по тому, как кавказцы, глядя на нее — когда она выходила из моря, — нахально цокали языками и причмокивали. Ну, и приставали, конечно, бессовестно. Навязывались в друзья, в собеседники, в партнеры по кингу, по волейболу. Сережа и Влад жили в постоянном ожидании драки.

Были какие-то ленинградцы, какой-то капитан, какой-то гость Порфирия по фамилии Цнакис, какие-то обгорелые дочерна эстрадники, с одним из которых Сережа затеял скандал и даже ударил его резиновым надувным дельфином, нанеся легкое повреждение типа царапины, отчего был шум, крики, явилась милиция, и Сережу спас от беды Порфирий. А тот, что пристал в лесу, когда ездили на озеро Рица? Был еще смешной человечек, пожилой, с оливковым лицом, тоже из гостей

Порфирия, который ухаживал одновременно за Ритой и Ольгой, где выгорит, был деликатен, услужлив, ходил поутру на базар и приносил зелень, кислое молоко и ягоды, к Владу и Сереже относился с отеческой благожелательностью и, кажется, не считал их серьезными соперниками для себя, увязывался на пляж и донимал нудными разговорами, не знали, как от него отделаться, уж очень был хорошо вое-питан. Но однажды он под секретом, потребовав сохранения тайны, показал Рите медицинскую справку, где говорилось: такой-то, обладая нормальной половой потенцией, лишен способности к деторождению, что подтверждает главный врач поликлиники имярек. Рита, конечно, поделилась новостью, веселья было много. Оливковый человечек куда-то исчез, пропал навсегда.

Сережа учил ее плавать. Им так нравилось это учение! Было бы скучно, если бы она умела плавать так же хорошо, как он. Он держал ее на руках, она барахталась, висла у него на шее, хохотала, тонула, слепла от брызг и все время чувствовала его руки, которые были очень смелые в воде. Влад поглядывал на них, напрягая зрение — в море он был без очков, — стараясь разглядеть, что же там происходит, в этом хохоте,

в брызгах, иногда предлагал:

— Если хочешь, могу тебя поучить. Если Сереже надоело…

Бедный, он сам держался в воде ненамного лучше. Но он был рыцарь. Его вводили в заблуждение грубоватые, будто бы раздраженные окрики Сергея: «Как ты непонятлива, матушка! Ногами делай вот так, как лягушка!» Тогда он любил это «матушка», «мать», словно прожили вместе целую жизнь. Потом явились другие ласковые слова, — например, «слоненок», «слониха». Знакомым казалось странным, что она терпит такое неэстетичное обращение, а ей нравилось: она знала, в какие минуты это возникло. Влад подплывал, пытался учить, они хохотали. До чего все казалось смешным! И Влад, который надувал щеки от добросовестного желанья помочь, мозолил глаза, ничего не понимал, и Рита, которая все понимала, тихо злилась — она решила, что Сережа был приглашен на юг для нее, и теперь все происходящее расценивала как измену, — и они сами казались друг другу радостными источниками веселья, любое слово, всякая глупейшая детская шутка вызывали хохот.

Рита ночью затеяла ссору: требовала закрыть окно. Ольга протестовала. Было очень душно.

— А мне холодно! — упорствовала Рита.

— Дышать же нечем.

— Я не желаю по твоей милости получать воспаление легких!

— Мы спать не сможем при закрытом окне.

— Ты будешь спать прекрасно. Я за тебя не волнуюсь…

Так препирались долго, и Рита, разумеется, взяла верх — окно было закрыто. Ольга чувствовала себя сильной и счастливой. Озлобление Риты не иссякало, она стала упрекать Ольгу в эгоизме:

— Какая я дура, что согласилась с тобой поехать! Ты думаешь только о себе. Жить с тобой и десять дней невыносимо, ты законченная эгоистка.

Ольга слушала оскорбления, но не испытывала ни вражды, ни желания отвечать: в глубине души даже жалела Риту. Но чем могла ей помочь? Если бы Влад хоть слегка стал приударять за ней, было бы прекрасно, но Влад относился к Рите с непрошибаемой товарищеской добротой, что было совсем не то.

— Не знаю, почему я эгоистка, — говорила Ольга, зевая и улыбаясь сквозь дрему. — Давай спать, мне спать охота.

— Конечно, тебе охота, ты напрыгаешься, наорешься, — ворчала Рита. — Ты потому эгоистка,

что все себе, себе. О других не думаешь… Ужасней отдыха не было в моей жизни… Какой-то кошмар, какая-то мука…

И в довершенье всего разревелась. Ольга бегала в дом за каплями, за водой, будила людей. Рита лежала бездыханная, с мокрым полотенцем на голове, жалким голосом просила достать ей билет в Москву, проклинала свою судьбу, Ольга говорила какой-то успокоительный вздор, а сама думала: завтра, в море… И ничьи слезы, никакие беды не могли омрачить радости.

Потом Рита встретила какую-то приятельницу в Ахали-Гаграх и переехала к ней. Однажды ее видели с этой приятельницей, толстой соломенной блондинкой среднего возраста, они шли под руку, рядом шагали двое мужчин в пижамах — тогда была такая мода на юге, в полосатых пижамах мужчины гуляли по городу вроде как бы в летних костюмах, — все четверо шумно разговаривали, Рита поглядела мельком и прошла мимо, едва кивнув. А первую ночь спать в хибарке одной было неуютно. Ольга и не спала почти до рассвета, слушала гул моря, томилась то тревогой, то радостью, то не поймешь чем: неизвестностью. Какие-то люди ходили по саду. Скрипели цикады. Гудел автомобиль. Кто-то выезжал за ворота. Оль-

га думала: куда это они среди ночи? К духанщику за вином, что ли? Утром жаловалась ребятам, что совсем не спала от страха. Говорила неправду: неуютность была от непосильного ожидания, от смутных мыслей.

А верно: с первой же ночи, как осталась в хибарке одна, ждала, что он придет. Ребята сказали, что будут ее охранять. И ночью пойдут купаться.

Ночь была темнейшая, в двух шагах ничего не видать. Южная ночь, без звезд. Облака нависли, дышать было трудно. На пляже слышались разговоры, гремели шаги по камням, много людей купалось ночью, тоже не дураки. Разговаривали вполголоса, иные шептались, в воздухе была разлита какая-то таинственность, и Ольга с волненьем это почувствовала, но подумала, что это ей мнится, что тайна в ней самой. Потом обнаружилось, что люди действительно шептались и тайна была истинная, не имевшая к ней отношения. А тогда кружилась голова и ноги подкашивались от душности, от тьмы и предчувствия тайны. Мрак был такой, что можно было купаться голыми. Ольга подходила к морю, не видя воды. Никогда в жизни, ни до, ни после той ночи, она не купалась в такой теплой воде. В ней было, наверно, градусов двадцать шесть. И

никакой волны, совершенное спокойствие и беззвучность, моря не существовало, просто теплая вода, как в бассейне, и в потемках тихий плеск и неясный говор людей.

Она поняла, что будет необыкновенная ночь. Влад куда-то ушел. Может, он был поблизости, но молчал, не выдавал себя. Сережа тянул ее за руку на глубину, и она его не видела. Остановились, когда вода стала ей до плеч. Он сказал, что похоже на священное купание то ли в водах Ганга, то ли в Иордане, где-то в тропических реках, где вода как парное молоко. Русский князь Владимир крестил в Днепре, там все-таки попрохладней. Она посмеялась над ним:

— И все-то ты знаешь!

А он спросил:

— Хочешь, буду учить тебя плавать?

Она удивилась: днем только этим и занимались. Подошла к нему, обняла его за шею, и стояли так долго, целовались, это было впервые и вышло совсем просто, как будто много раз целовались до этого, но странно было одно: кругом люди, и никто не видит. Влад издалека звал их. Ей сделалось неловко, стала вырываться, они боролись, выбежали из воды и повалились на камни.

Камни были теплые. Но ей стало зябко, она

дрожала.

— Где вы тут, чертушки? — кричал Влад.

Сережа зажал ей ладонью рот. Не выдержав, оба прыснули смехом и упали с большого камня, на котором сидели.

— А, вот… замаскировались… — Влад тяжко сел рядом. — А я, братцы, договорился насчет билета.

Ее бил озноб, она боялась спросить, какого билета, чтобы голосом не выдать, как она дрожит. Нелепо дрожать в душную ночь. Все-таки ей не хотелось, чтобы Влад догадывался, что с ней происходит. Он сказал, что условился с клиникой Первого мединститута, что будет там работать в августе. Ведь он был тогда еще студентом, пятикурсником, хотя старше ее и Сергея года на три. Позже начал учиться.

По его голосу она поняла, что он догадался. Было его очень жаль. Язык его не слушался, он бормотал невнятицу, какие-то жалчайшие поручения перед отъездом. Часов до двух ночи тягостно разговаривали на берегу, потом она призналась, что хочет спать. Ей не так уж хотелось спать, мозг был воспален, но что-то побудило ее так сказать: просто сидеть дольше втроем было невозможно. Влад спросил: нужна ли охрана? Оставался ры-

царем, несмотря ни на что. А каким бы он был исключительным мужем, если бы… Мать Ольги Васильевны считала, что в нем есть «какая-то долька» от Пьера Безухова. Пьер — ее любимый герой, потому «какая-то долька» значило в ее устах много. Георгий Максимович говорил, что у Влада лицо как у мордовского бога Кереметь и что его интересно писать, — писал и мучил Влада многократно, — и очень хотел, чтобы у Ольги с ним все сладилось: «Не будь вороной, лучшего друга тебе не найти». Сейчас он доцент, заведует отделением, у него трое детей, жена — добродушная бесформенная толстуха с широкой жирной спиной, врач-рентгенолог. А тогда был раздавлен, несчастен, спрашивал убитым голосом: нужна ли охрана?

Оба ушли, она осталась одна, мокрый купальник лежал на дощатом подоконнике в ожидании солнца. Спать не хотелось, не было страха, не было шагов, голосов, ничего. Она лежала с открытыми глазами, сердце колотилось, она знала, что ночи осталось мало и он скоро придет. Спустя минут двадцать он пришел. Снова ее тревожил Влад: вдруг заметил, как он уходил и догадался куда; и она спросила, почему он не подождал до завтра, пусть бы Влад уехал. Он спросил:

— А что тебе Влад?

В самом деле, Влад был для нее ничто.

— Я не мог ждать до завтра.

Не было разговоров, обещаний, клятв, она ему просто поверила навсегда.

Потом было много, бессчетно, других ночей в городе и на даче, летом, в дождь, холодной осенью, когда еще не работало отопление и комнату согревал рефлектор, почти каждую ночь они становились женой и мужем. Это был редкостный дар, подруги иногда делились интимностями, она — никогда, если бы когда-нибудь рассказала, они бы не поверили и сочли бы такой же ложью, какую сочиняли сами, но суть заключалась в простом: то, чего не хватало одному, находилось у другого, а то, что было у них обоих, соединялось в целое слитно и полно, но это сделалось понятно не сразу, не в первую ночь и не в первый год. Потом она поняла, что ни с кем у нее не могло быть того, что было с ним. А тогда, в хибарке, — что ж? Душная, забытая ночь…

И еще один день болтался с ними ненужный Влад. В море Сережа не подошел к ней ни разу, все время был с Владом, даже как будто сторонился ее. Она пугалась, успокаивала себя: делает так нарочно, хитрец, ведь и он знал и она знала, что

ночью он придет снова. Потом какой-то человек отозвал Влада в море, они отплыли от берега, и человек передал новость. Тогда было много разных слухов и новостей. Она забыла, что именно. Помнила только: Влад и Сережа необычайно возбудились, побежали к Порфирию, но домработница сказала, что хозяин уехал в Москву, хозяйка больна и никого видеть не может, а гости разъехались. В саду не было ни одной машины.

Пошли в город, на базар, по магазинчикам. Когда Влад отходил куда-то или отворачивался, Сережа брал ее руку, сжимал пальцы, норовил как-то прижаться к ней, прикоснуться. Влад и Сергей много спорили в тот день, шумели, рассуждали, а она все время думала о том, как будет ночью. На базаре продавали ранний виноград. Она понимала, конечно, что новость, может быть, интересна, но ее переполняло другое событие, и она слегка недоумевала: как мог Сережа в ***такой день*** увлекаться чем-то иным и даже мог, например, не слышать ее, когда она о чем-то спрашивала?

Усатая гречанка-домработница шаркала по саду с граблями да овчарка Титан тосковала на крыльце, положив морду на лапы. Все разбежались, исчезли, и статная дама с синими губами,

похожая на гоголевскую покойницу, тоже куда-то сгинула. А хорошо было тогда в доме, в саду! Прожили дней пять на втором этаже, на веранде, гречанка страшилась одна ночевать и позвала. Все там было исполинских размеров, диван — как будто приспособленный для свального греха, и в комнатах стоял не выветриваясь кислый винный запах с оттенком псины, а на веранду втекал изнуряющий и заново придающий силы воздух моря. Ночи и дни шел разговор, ненасытно узнавали друг друга. И уже тогда было так, будто все давно решено. А в октябре Влад поразился, когда его пригласили на свадьбу. Все-таки он не думал, что дело зайдет так далеко п, главное, так быстро.

Ведь только что познакомились — и вот уже веранда над морем, никаких тайн, нет человека ближе, август, его мать с тяжелыми разговорами, но это уже ничего не меняло. Перхушково, осень, вечерние электрички, встречи у пригородных касс, и тут же возникла Светланка, этот кошмар, который рассеялся не скоро и едва не задушил ее.

Когда она впервые услышала это имя? От его матери?

Нет, его мать произнесла это имя так, что Ольга

Васильевна содрогнулась: оно было знакомо. Оно уже сидело в сознании ничтожной занозой, воспаляя ткань, набухая медленной болью. Он был честен, легкомыслен, болтлив, пробалтывал многое, и она слышала про ту очкастую, которая не гнушалась ничем, чтобы удержать его, но сначала Ольга Васильевна не относилась к ней чересчур всерьез, ибо не могло же не быть прошлого, и у нее тоже было прошлое: например, Гендлин. Совершенно вытеснилось, погребено тысячелетиями, вроде фараона Тутанхамона. Кажется, познакомились в консерватории. Кажется, он был инженер, высокого роста, ходил как-то странно, чуть приседая на каждом шагу. Укоризненный голос мамы: «Опять звонил Гендлин». И след виноватого чувства — не к Гендлину, а к маме. Расправиться с Гендлиным не составляло труда, он сам отпал тихо, как отпадает лист от осеннего ветерка, но она, однако же, говорила гордо и в поучение: «Вот я: сказала прямо, чтоб не звонил больше, потому что не нужно, и он понял — и все. Надо рвать, как больной зуб, сразу». Сережа соглашался: да, да, разумеется. Как больной зуб. Догда еще она не знала этот характер, исполненный зыбкости и причуд, и в покорном кивании, в незамедлительном и легком согла-

сии находила покой, длившийся, впрочем, не так уж долго: до первого разговора с будущей свекровью.

Комната на Шаболовке удивила: какая-то шестигранная, обрубок зала с потолком необычайной высоты, лепные амурчики беспощадно разрезаны по филейным частям. Одна ножка и крылышко осеняли шестигранную комнату, а другая ножка и ручонка, держащая лук, висели над коридором. Голов у амурчиков не было. Они приходились на перегородку. На стенах, оклеенных темно-вишневыми обоями в белых корзиночках, развешано множество фотографий. На одну Сережа тут же обратил ее внимание: пирамида усатых мужчин во френчах, папахах, шинелях и сбоку едва заметная, с неразличимым лицом фигурка в белом платке.

— Это мать в политотделе армии. Двадцатый год.

Было обозначено сразу: не чета другим матерям, не просто начинающая старуха, а делательница истории. Но Ольга Васильевна и так смотрела на остроглазую скуластую женщину, очень морщинистую, тонкогубую, с громадной симпатией и честным желанием полюбить ее — не потому что делательница: ко всяким реликвиям, раз-

валинам, свидетелям старины она относилась равнодушно, но потому что — его мать. Пили чай из дешевейших чашек, чуть ли не детских. Пришла его сестра, закутанная в старушечью шаль, толстая, нескладная девушка, совсем на него не похожая, с какой-то блуждающей, многозначительной улыбкой. Разговаривая, улыбалась криво и смотрела в сторону. Она была старше его года на три.

Все в этом доме — стены, потолок, посуда, мебель и люди, тут обитавшие, — отличалось какой-то тайной несуразностью. И, однако, как она это все полюбила! Он побежал в магазин за красным грузинским вином. В Гаграх пристрастились к красному! И вот когда сестра ушла в другую комнату и Ольга Васильевна осталась с будущей свекровью наедине, та вдруг спросила:

— Вы что-нибудь знаете о Светлане?

Ольга Васильевна призналась, что знает. Но смутно.

— Так вот вам не смутно. — И глаза, синие щелочки со стальным зрачком, впились в глаза. — Эта Светлана, о которой я слыхом не слыхивала до позавчерашнего дня, ждет ребенка от Сергея.

Оказывается, та особа приходила сюда, рассказала, взвинтила (потом все прояснилось как

обыкновенный шантаж, расчет на дураков), и вот теперь допытывали — плохонькая гостиная вдруг превратилась в комнату призрачного трибунала, не хватало кожанки и маузера в деревянной коробке.

— Вы уверены, что можете быть счастливы ценою несчастья другого человека?

Ольга Васильевна лепетала:

— Я не знаю… А вы уверены, что это правда?

Женщина со стальными зрачками кивала холодно.

— Но ведь любовь… если любят… если бросают, уходят… — жалким голосом пыталась сопротивляться Ольга Васильевна.

— Вы говорите о подлецах. Мой сын не подлец. Он просто безответственный тип.

Внезапно возникла сестра, все слышавшая, и, кривя рот улыбкой, нервно, с напором, произнесла:

— Не обращайте внимания на ее разговоры, она, как обычно, все низводит до схемы! — И, повернувшись к матери, очень зло и отчетливо: — Ты опять говоришь вздор! Уши вянут тебя слушать.

Старая женщина сникла. Прибежал Сережа с вином. Ольга Васильевна крепилась изо всех сил,

чтобы не расплакаться, Сережа все понял, стал допрашивать мать, снова появилась сестра и теперь взяла мать под защиту; как они относились к этой змее, к Светланке, было непонятно, ее как бы не существовало, был важен принцип, из-за которого все трое жестоко ссорились, каждый отстаивал какую-то свою правоту, и Ольга Васильевна ничего не понимала. Но одно, казалось ей, она понимала: ***они ее не хотят***. Несуразность сидела в натуре этих людей, делать выводы по их речам и поступкам было опрометчиво. Сережа говорил, что Светланка лжет. Она ему верила. Но почему-то было очень трудно порвать с ней, она грозила самоубийством, он мучился, ездил к ее родственникам, встречался с ее братом-боксером, ходил к врачам, в лабораторию, анализы были отрицательные, та действовала, как настоящая аферистка, а на свекровь всегда влияли фальшивые люди, хотя — Ольга Васильевна догадывалась — Светланку свекровь ***не хотела*** еще сильней, чем ее.

Весь кошмар длился недели три в сентябре, и в какой-то миг показалось, что та своего добилась: оторвала Сережу, хоть и не к себе, но — от Ольги Васильевны. Решила с ним расстаться — таков был удар этой суки, убийственно рассчитан-

ный, — но что-то спасло ее, она устояла.

Звонок в двенадцатом часу ночи. Плюгавая, взъерошенная, на тонких кривых ножонках девица в очках. Вы Ольга? Да, я. Сразу все поняла, и кровь хлынула в голову. Ненависть к мозглячке была страшная: схватить бы и сбросить с лестницы, чтоб руки-ноги переломала! Но, конечно, вежливо пригласила зайти, разговаривали в коридоре. Та убеждала, что Ольгу Васильевну он не любит и любить не может, пусть она не обманывается, он «таких, как вы», вообще не выносит, нашло затмение, пройдет, «вы будете несчастны» и еще что-то бредовое, Ольга Васильевна чувствовала, как внутри у нее все сдавилось. Онемев, глядела в худое, треугольное личико с острым подбородком, который дергался, а в глазах под стеклами очков дрожали громадные зрачки, как у больной. И чтоб доказать, что говорит правду, та сказала— ради этого и пришла, — что он у нее две ночи провел недавно, в августе, после возвращения с юга. Ольга Васильевна ответила твердо:

— Ты лжешь!

Не поверила ни на секунду. Но та с наслаждением поведала такую подробность, о которой знать не могла, если б лгала.

И все же не верила, такая дура, такая тетеха

наивная! И на другой день, когда бежала под дождем в книжный магазин у «Метрополя», где договорились о встрече, — чтоб прогнать его, проклясть, — на дне души было нелепое спокойствие. Втайне верила, что сейчас он возмутится, что-то объяснит, оправдается, рассеет этот напавший внезапно ужас. Никогда в жизни ни с чем подобным она не сталкивалась. Матери не рассказывала, отчиму тоже. Она сражалась в одиночку. Надо было решать в течение нескольких секунд. А он, потемнев лицом, набычившись, — тут-то она стала узнавать странный характер, — сказал: «Она дрянь, но говорит правду» Только не два раза я у нее был, а один раз».

Боже мой, да зачем же, зачем? Зачем он у нее был? Зачем говорить об этом? Даже если правда. «Я ее пожалел. Знал, что расстаюсь, и было жалко». Ее пожалел, а женщину, которую полюбил, обрекает на страдания, выложил ей все как на духу. Тогда, под дождем, возле «Метрополя», они бродили, как лунатики, наталкивались на людей и говорили, говорили, старались понять— что-то там строилось, красилось, дом был в лесах, в трубах, ц они то и дело, когда дождь припускал сильнее, забирались под дощатый настил и стояли там, — как жить дальше, надо

ли быть вместе или, может, расстаться навеки. Она думала тогда то так, то эдак. Расстаться и проклясть его — с каждой минутой силы для этого убывали. Вдруг она подумала: ниспослано испытание, если перебороть его, — значит, быть счастливой. И кончилось тем, что пошли в ресторан «Метрополь» и хорошо пообедали; в тот день он получил зарплату в музее, половину ее потратили на обед.

Свадьба была через месяц. Конец октября, холодный и солнечный, заклеивали окна газетной бумагой, чтоб гостям не простыть, и принесли от соседей радиолу с пластинками. Какая свадьба — обыкновенная вечерушка, водка, закуски, котлеты по-киевски из близлежащего ресторана. Сережа сочинил и напечатал на машинке уморительные пригласительные билеты, что-то вроде: «Дорогой друг! Если хочешь отдохнуть душой, забыться от тягот семейной, холостой, производственной, учебной (ненужное зачеркнуть) жизни, приходи к нам на домашнюю свадьбу-концерт…» В программе было наворочено много всякой смешной чепухи, он был мастер на такие штуки, какие-то мимические номера в исполнении жениха, чтение слов наоборот, застольные песни, лекция доктора Полысаева о пользе голо-

дания, черта в ступе, все забылось, исчезло, — нет, осталось в памяти вот что: «Гастрономические оргазмы. Ответственная — мать невесты, именуемая в дальнейшем теща». Потому что из-за этой фразы среди ночи, во время мытья посуды — мама, Ольга и еще одна женщина, пришедшая помогать, мыли тарелки, Георгий Максимович вытирал, а Сережа, мертвецки пьяный, храпел где-то в комнатах, — возникла легкая словесная распря.

Георгий Максимович высказал недоумение: что за гастрономические оргазмы? Если это юмор, то какой-то антисанитарный. Если не юмор, то позволительно спросить, что имелось в виду. Намеки на какую-то болезнь, что ли? И затем: для чего многократно обыгрывать слово «теща»? Все остроты вокруг тещи исчерпаны еще в де*пятисотом* году. Мама иронически улыбалась, говоря, что нисколько этим юмором не задета, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Но она никогда бы не призналась, если б была задета. Вообще, как обнаружилось позже, мать не хотела ощущать себя тещей, не любила это слово и уж меньше всего претендовала на то, чтобы отличаться в области гастрономии.

Всякий брак — не соединение двух людей, как

думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак — двоемирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем? Пришли его родственники, его ***мир***, и открыли в безумном любопытстве глаза, и увидели ее родственников, ее ***мир***, и хотя, кажется, никогда больше за семнадцать лет не было такой обширной встречи, такого открытого, глаза в глаза, противостояния, но — сшибка тогда началась и длилась все годы неотступно, иногда незримо, неведомо ни для кого. И вот — Сережи нет, а старая война длится.

Войны-то никакой не было. Все устроилось покойно и мирно, если не считать слабых подземных толчков. А Ольга Васильевна нервничала: она угадывала в будущей свекрови углы и колючки, да и сестра, девица с причудами, могла что-нибудь отколоть. Еще боялась за маминого брата, дядю Петю: и он сам, и его семейство люди резкие, крикливые.

Перед тем как сесть за стол, Георгий Максимович всех пригласил в мастерскую. Надо пройти длинным коридором: справа двери в мастерские^ слева общая ванная, общая кухня, общая уборная для всех жителей третьего этажа. Был

такой нелепый дом постройки двадцатых годов. Гости шествовали, топоча, по коридору, а в дверях общей кухни и общей ванной стояли любознательные жильцы — жены, матери и дети художников, да и сами художники приоткрывали двери мастерских и выглядывали на шум. Жены и матери художников были не очень-то добры к Ольге Васильевне и ее матери, хотя те жили в этом доме уже восемь лет и можно было бы к ним привыкнуть. Но жены и матери художников почему-то хорошо помнили первую жену Георгия Максимовича и его сына Славу, с которыми Георгий Максимович расстался за несколько лет до войны.

Процессия гостей двигалась в полном молчании, были тягостные секунды, из общей ванной тянула мыльным паром, там шла стирка, в общем туалете клокотала вода, и вдруг Сережа, сжав пальцы Ольги Васильевны, громким, нахальным голосом запел: «Трам-па-пам…» — «Свадебный марш» Мендельсона. Кто-то подхватил, засмеялись, зашумели, и тягостное исчезло. И тут появилась рыжая Зика, жена художника Васина, с букетом роз. Она немо совала букет Ольге Васильевне и, нагнувшись — длинная, нескладная, — норовила поцеловать Ольгу Васильевну в

щеку. Эту Зику Ольга Васильевна почти не знала. Зато потом узнала хорошо.

В мастерской Георгия Максимовича был необыкновенный порядок, чего, конечно, никто не заметил. Все столпились в середине большой комнаты, под сильной, двухсотсвечовой лампой, а Георгий Максимович метал на кресло, служившее пьедесталом, одну за другой свои работы. Ольге Васильевне эти работы не очень нравились. Но, наверно, она чего-то не понимала, потому что жильцы дома говорили о Георгии Максимовиче с уважением и показывали ему свои картины, спрашивая совета. А Ольге Васильевне казалось, что все эти писанные маслом прудики, рощицы, речки, овраги, все эти на больших листах сангиной старики, дети, собаки, руки и головы похожи на множество других картин и рисунков, сделанных давным-давно другими художниками, и было непонятно, зачем нужно повторять то, что уже существует в мире.

Но, по-видимому, зачем-то было нужно. Потому что картины Георгия Максимовича принимались на совете, покупались заказчиками и Георгий Максимович не бедствовал. Он был добрый, образованный, учился в Париже, был знаком с Модильяни и Шагалом, любил вставлять в разго-

вор французские словечки, хотя читал и говорил по-французски очень скверно, когда-то его называли «русский Ван-Гог», но казалось странным: неужели можно, так хорошо все понимая у других, ничего не понимать у себя? Рассказывали, что в юности он писал по-другому. Но те вещи почему-то не сохранились. Георгий Максимович очень любил зазывать людей в мастерскую и забивать их, заморочивать своими картинами. Очевидно, этими прудиками и рощицами он гордился всерьез. Все это было простительно для старика, не избалованного ни славой, ни благоденствием, и, кроме того, мать так сильно его любила, но в день свадьбы тащить людей в мастерскую— это было уж чересчур. И Ольга Васильевна немного на отчима сердилась. Он не постеснялся поставить на кресло серию рисунков — обнаженная женщина на диване, широкие бедра, талия, распущенные волосы, лица не видно. Никто не знал, что это мама. Ольге Васильевне было неприятно, и она старалась не смотреть на рисунки. Все было бы прекрасно, гости одобрительно кивали и, тихо вздыхая, говорили: «Да-а…» — но мать Сергея вдруг задала бестактный вопрос, не относящийся к творчеству Георгия Максимовича.

«Э-э, скажите, будьте любезны, — сказала она, — что это за картина?» — «Это знаменитая «Герника», — быстро ответил Георгий Максимович, не желавший надолго от» влекаться от своих произведений. — Не картина, а репродукция». — «Чем же она знаменитая? Я что-то слышу о ней впервые».

Потом эта фраза Александры Прокофьевны: «Я что-то слышу о ней впервые» — стала чем-то вроде девиза или пароля, обозначавшего ***систему*** Александры Прокофьевны. Ольга Васильевна и мать иногда переглядывались и говорили друг другу шепотом: «Я что-то слышу о том-то впервые». И принимались хохотать. Но в тот вечер до хохота было еще далеко, и Георгий Максимович, с неохотой оторвавшись от собственных картин, стал добросовестно излагать, в чем слава и величие «Герники». Гости были озадачены. Георгий Максимович объяснял пылко и усердно. Все понемногу склонились перед его авторитетом и как будто поняли, что хотел изобразить Пабло, но Александра Прокофьевна упорно гнула свое:

«Нет, ваши доводы я нахожу несостоятельными. Ничего, кроме битых черепков и рваных газет, я тут не вижу». — «Мама, это твое личное дело», — сказала Сережина сестра. «Я с ней по-

работаю, она подтянется, разберется», — сказал Сережа. Александра Прокофьевна ответила сыну довольно строго. И тут неожиданно ее поддержал дядя Петя, уже под хмельком раньше всех.

«Вы, милая, совершенно правы в этом вопросе! — заговорил он, наставительно поднимая палец. — А тебя, Егорша, лупцевали за формализм, да, видно, мало. Зачем ты эту дребедень сюда вывесил?»

Александра Прокофьевна добавила: «Вы сами, Георгий Максимович, работаете как реалист. У вас женщина — это женщина, голова — голова, нога — нога, это — это… — При этом Александра Прокофьевна смело показывала пальцем на рисунок, изображавший обнаженную мать Ольги Васильевны. — Все у вас на месте. Как же так: проповедуете одно, а творите другое?»

У Георгия Максимовича было трудное положение. Он побледнел, вынул большой фиолетовый платок, стал сморкаться. Что он мог объяснить гостям за пять минут до закусок, до водок, до криков «горько»? Мог ли рассказать жизнь? Ольге Васильевне стало его жаль. Но не успела она открыть рот, чтобы выручить отчима, как мать уже бросилась ему на помощь. «Петя, дорогой мой, — сказала она, — ты, кажется, всю

жизнь занимаешься станкостроением. Что бы ты сказал, если бы Егор вздумал учить тебя, как строить станки?» — «Что бы сказал? Да я бы его в порошок стер! — Дядя Петя гоготал, свирепо мотая лохматой седой башкой. — Я бы из него котлет наделал! Я бы его в капусту порубал, нахала этакого!» Все засмеялись, лукаво поглядывая на Александру Прокофьевну. Тогда сестра Сережи сказала: «Знаете ли, будет тоска, если все станут высказываться только по специальности».

На этом, кажется, дискуссия кончилась. И все-таки это были два мира, два клана, уходящие корнями в им самим неизвестную глубь, и, столкнувшись, они стремились — невольно — пообмять и потеснить друг друга. Сестра свекрови Вера Прокофьевна тоже что-то бормотала по поводу живописи. А у Ольги Васильевны осталось отчетливое ощущение счастья и страха: кто-то кому-то не то скажет, обидит… Наконец был торжественный миг, — ради которого все и приглашались в мастерскую, — и Георгий Максимович достал с антресолей большую картину в громоздком золоченом багете, свадебный подарок жениху и невесте. Подлинник французского художника Дювернуа, изображавший старый Петербург. Потом, в тяжелые минуты, на этого

Дювернуа не раз покушались, однажды даже вызвали оценщика из комиссионного магазина, но, пораженные малой суммой, — не малой, но значительно меньшей, чем та, которую долгие годы лелеяли в мыслях, — решили оставить. Висит до сих пор. Когда гости выходили, почтительно подталкивая друг друга, из дверей мастерской в коридор, Александра Прокофьевна сказала вполголоса Георгию Максимовичу (в тоне ее прозвучало торжество, Ольга Васильевна услыхала, и сердце ее ёкнуло): «А все-таки, дорогой сват, я с вами не могу согласиться…»

Ночью в общей кухне, где, стараясь не шуметь, мыли посуду, Георгий Максимович шептал: «Родственница у тебя — ой-ой! С характером. о Это хорошо, что вы первое время у нас… — И помолчав, добавил великодушно: — У нее интересное лицо. Было бы интересно ее написать». Они были совсем разные люди. Из разных недр земных.

Единственный раз, когда Георгий Максимович напомнил всем, что он ответственный съемщик, и проявил неуступчивость, случился в мае: решалась судьба Иринки. Была первая весна их жизни. Ничего еще не устоялось, все было непрочно, зыбко. Она еще работала педагогом, но искала место, чтобы уйти. Работа в школе была

тяжела, ездить далеко. Подруги по университету обещали найти что-нибудь получше, но пока не находилось, и она тянула эту лямку каждое утро вполседьмого на другой конец города. Сережа испортил отношения с директором музея и тоже намеревался менять службу. С деньгами было худо. И тут обнаружилось, что будет ребенок. Матерям не говорили. Решили срочно что-то предпринимать, потому что — невозможно, нельзя никак. Знакомых докторов по этой части не было, вообще никаких медиков, кроме Влада. Да и с тем полгода не виделись. Он уже окончил, работал ординатором в клинике.

Не хотелось Сереже к нему идти. Она тоже колебалась, но так как Влад всегда был для нее ***ничего***, очень верное, древнее, с детских лет испытанное ***ничего***, она все-таки решила плюнуть на Сережу, которому было неприятно — ей-то самой было вполне ***ничего***, и даже почему-то казалось, что Влад обрадуется, — и позвонила старому другу. Влад, к ее удивлению, не обрадовался, даже как-то растерялся и обомлел, но затем с горячностью и быстротой стал действовать. Приехали к нему, он сделал укол. Сережа стоял рядом с диваном, держал ее за руку и смотрел в сторону.

Признавался потом, что в какую-то минуту

почувствовал к Владу ненависть: тот должен был отказаться! Но Влад с его ослиной добросовестностью… Укол не помог. Влад рекомендовал знакомого доктора, старичка, тогда это запрещалось… Нужно было делать дома, втайне, при закрытых дверях и занавешенных окнах.

Пришлось сказать матери, та сказала Георгию Максимовичу — скрыть было нельзя, да и мать перепугалась, не знала, как быть. Сама она никогда этого не делала. Ей казалось, что это какая-то невероятно постыдная, преступная и к тому же смертельная операция. Она смотрела на Ольгу Васильевну глазами, полными паники, в слезах, и шептала: «Девочка моя, что же нам делать?» Во многом она осталась наивной до конца своих дней, когда превратилась в старуху. Ольга Васильевна делала это потом несколько раз дома и в больнице и поняла, что это не самая страшная боль на свете. Хотя бы потому, что у этой боли есть конец.

Но тогда, в мае, было еще все неизвестно. Георгий Максимович вдруг ошеломил всех: «Я, как ответственный съемщик, запрещаю!» Так и осталось неведомо: то ли действительно боялся нарушить закон, то ли поддался паническому настроению матери…

Иринка появилась на свет благодаря фразе Георгия Максимовича: «Я, как ответственный съемщик…» Когда-то Ольга Васильевна мучила себя нестерпимыми воспоминаниями. Дочка не знала, что ее не хотели. Все успели забыть — Сережа, мать, Георгий Максимович и, наверное, Влад. Но она-то знала, помнила. И когда осенью слякотным днем бежала по Гоголевскому бульвару в сторону Арбата, спешила в магазин и вдруг что-то сжало низ живота с такой силой, что она качнулась, едва не упала, какой-то человек подхватил под руку и повел на бульвар, чтобы посадить на скамью, она тут же подумала: «Это мне за то…» Иринка родилась семимесячная. Только приехали из роддома, она развернула пеленки, Сережа подошел посмотреть, и она крикнула, заслоняя собой: «Не смотри, не смотри! Потом! Уйди!» Не могла, чтоб увидел такое жалконькое, тщедушное. Дня через три показала ему это тельце, уже напоминавшее ребенка. Теперь Иринка, кажется, самая высокая в классе. А Сережи нет на земле.

Так быстро все это пронеслось.

Ведь была долгая жизнь, не обозримая памятью, — отчего же так быстро? Все перепуталось. Оно и быстро, и кратко. То, что было долгим, теперь похоже на миг, а нынешний миг тянется

без конца, без смысла. Как-то в декабре, вскоре после того дня, разрубившего жизнь, она сказала дочери — минута отчаянья, ведь ближе нет никого, хоть от кого-то получить каплю утешения, но было слабостью ждать этой капли от девочки, — сказала, впрочем, больше для себя и для кого-то, кто не мог слышать: «Какая у нас с отцом была хорошая жизнь!» В этом вздохе была, конечно, не вся правда. В этом вздохе была ложь. Просто жизнь, хорошая ли, не очень хорошая, плохая, скверная, не имело значения, жизнь этим все сказано. Жизнь есть, и жизни нет, промежуточного не существует. Все в мире относится туда или сюда, и, может, в этом в единственном скрыто не только вечное ее, Ольги Васильевны, страдание, но и надежда. Тогда она этого не понимала, теперь лишь догадывается, и то смутно.

Девочка почувствовала ложь фразы, сказанной «для кого-то, кто не мог слышать», и, посмотрев косо, произнесла: «Хорошенького понемножку».

Ольгу Васильевну это сразило. Не нашлась, что ответить. Фаина, умнейшая женщина, старинная подруга, еще с детства, с довоенных лет, сказала: «Она у тебя, конечно, эгоистка каких мало, тут уж вы с Сережкой постарались, а особенно бабка. Но дело не в этом. Она сейчас за тебя боится, вот и

предупреждает: «Хорошенького понемножку»...» Фаина считала, что нужно срочно искать мужа: «Не будь дурой. Сергея не вернешь, а себя погубишь. Имей в виду, у тебя времени в обрез: год, два, потом пиши пропало». Еще и двух месяцев не прошло, она звала в какую-то компанию, но Ольга Васильевна отказалась — какие там компании, когда от чужих людей тоска еще жутче, потом звала в Новгород на рождество, тоже отказалась, поехали с Иринкой в пансионат «Березки», но и там тоска, сбежала оттуда, Иринку оставила с молодежью, а Фаина не отвязывалась, упорная девка — сорокатрехлетняя девка, мужем брошенная, сын в армии, мать в богадельне, — звала на старый Новый год к знакомым архитекторам, милым, интеллигентным: не бойся, дура, никто на тебя не посягнет, просто отдохнешь, музыку послушаешь. Не могла ни к милым, ни к грубым, ни к интеллигентным, ни к каким.

Не почему-либо, не в силу каких-то принципов, а просто — нет охоты.

Тогда, после безжалостных слов дочери, Фаина, поколебавшись, тоже высказала некую правду, не слишком усладительную, — наверное, полагала, что дает лекарство, горчайшее, но нужное: «А ты на самом деле считаешь, что жизнь у вас

была хорошая?» Ольга Васильевна ответила: да. Что было отвечать? Не знаю? Вам видней? Долгие годы бок о бок с лучшей подругой, лучшей советчицей, лучшей завистницей, лучшим шпионом всех кратковременных счастий и бед, научили главному правилу в отношениях с этим существом: ставить себя на место Фаины и пытаться поглядеть оттуда. Фаина, разумеется, была глубоко несчастна. Рядом с нею Ольга Васильевна всегда ощущала себя бесстыдной, возмутительной богачкой. Происходил постоянный перелив избыточного добра, благоденствия, наглого женского довольства — так временами казалось Ольге Васильевне, она даже себя одергивала— из одного сосуда в другой. Впрочем, точнее говоря: ей казалось, что так кажется со стороны, и в первую очередь так кажется бедной Фаинке.

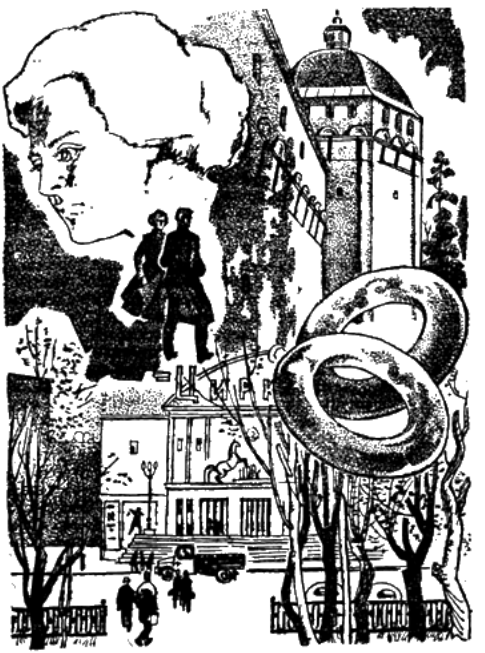
Вдруг обнаружилось, что Фаина представляла себе все иначе. И теперь с помощью этих неожиданных и так упорно скрывавшихся представлений даже осмелилась ее, Ольгу Васильевну, ободрять. Да полно! Неужто их жизнь нельзя назвать хорошей? ***Их жизнь*** — это было цельное, живое, некий пульсирующий организм, который теперь исчез из мира. В нем было сердце, как в живом организме, были легкие, гениталии,

органы чувств; он развивался, расцветал, болел, изнашивался, но умер не от старости и не от болезней, а оттого, что исчезла материя, дававшая ток его крови. Странное создание была ***их жизнь***! Никто не мог понять, что это такое. Все только догадывались, улавливали какие-то формы в воздухе, фантазировали, неясно предполагали, что ***их жизнь*** выглядит так-то, состоит из того-то и этого. А они сами… И они сами не могли бы ничего определить словами. То Ольга Васильевна думала совершенно искренне, что их жизнь хороша, то тяготилась ею, а временами — были такие часы, дни — ей казалось, что она ужасна.

Теперь не верилось, что такие мысли приходили в голову, что она иногда ненавидела ***их жизнь***.

Но было, было! Хотя бы той зимой на Сущевской, когда он мучил ее рыжей Зикой, женой Васина. Кончилось унижением, почти забылось, память выдавила эти страдания и этот стыд из себя, но ведь было — давно, четырнадцать лет назад — и тоже принадлежит к ***их жизни***. Ей казалось, что он неравнодушен к Зике. То, что та с ним кокетничала и, наверное, не шутя стремилась его обольстить, было естественно: женщинам он нравился. Она это знала и страдала. Но знала

она и то, что он ленив, тяжел на подъем, что к кокетливым, глупым женщинам равнодушен и женскому обществу предпочитает разговор с мужиками под водку и огурцы. Однажды, когда она выпытывала у него, мог бы он ей изменить, он со вздохом сказал: «Помнишь Хемингуэя: «Если б не надо было с ними разговаривать»...»



Зика была молодая, здоровенная., с длинными руками и ногами, могучими чреслами. Скульпторы с первого этажа просили ее позировать для тематических работ, всяких там дискоболок или колхозниц с корзинами на плечах, олицетворяющих изобилие. Зикина телесная мощь пугала Ольгу Васильевну: ей казалось, что для него этот тип притягателен и напоминает забытую Брунгильду. Лицо у Зики было ничего, круглое, свеженькое, всегда слегка улыбающееся, в белокурых кудряшках. Простоватое личико. Она что-то делала в детском издательстве как книжный график, марала акварелькой вполне бездарно. А Васин был тщедушен, некрасив, стар — Ольге Васильевне казалось тогда, что стар, — лет сорока с лишком. Вдвое старше Зики. Все началось с дружбы, взаимных приглашений, чаепитий, выпивок под магнитофон: тогда это увлечение вошло в моду, Васин купил громоздкий и тяжелый, как сундук с железом, магнитофон «Днепр», всех записывал, всем велел петь, болтать, читать стихи, и тут же наговоренную ерунду с восторгом слушали.

Васин много зарабатывал официальными портретами, которые делал с напарником Аркашей. Они размечали холст клетками и лепили фаб-

ричным способом, быстро и ловко. Иногда Зика помогала. Кроме того, Васин работал для себя, или, как он выражался, «на модистку», — писал этюды, очень недурные. Георгий Максимович считал его талантливым и беспутным, говорил, что «такими талантами Дорогомиловка вымощена». Васин был пьяница.

Он повторял стихи Саши Черного насчет модистки для тела и дантистки для души. «Теперь всю неделю, — говорил, — буду работать для модистки». Или же: «Сегодня полдня провел с дантисткой. Такая сладость, так хорошо!» Это значило — мчался куда-то с этюдником на электричке, где-то мерз, мок, писал, наслаждался. В общем, Валера Васин — жаль, умер еще не старым, до шестидесяти, пьянство его своротило, а Зика бросила — был художник истинный, жил как во сне, работал как во сне и просыпался только за мольбертом, когда делал настоящее и любимое. К гостям он был равнодушен, мог жить один, пить один, но Зика изнывала от скуки и тянула его в суету. Он Зику сильно любил и делал все, что она хотела.

А та была хитра, подлаживалась к Ольге Васильевне, льстила ей, лезла в подруги. «Хочешь, с девкой погуляю? Молока не надо? Иду в мага-

зин…» И все попросту, по-товарищески. Однажды деньги в долг дала. Ольга Васильевна сперва поддавалась, а потом сообразила, что дело нечисто. Стала от Зикиных приглашений отлынивать и Сережу не пускать.

Сережа — в амбицию. Почему притесняют? Она не могла объяснить, а он не догадывался. Тут была мизерная ревность. Настолько мизерная, и по-видимому, на пустом месте, что говорить о чем-то было стыдно. Но она не могла побороть себя. «В чем дело? Почему ты не хочешь, чтоб я ходил к Валерию?» — «Не хочу — и все». — «Это диктат!» Он вспыхивал и бежал к Васину. Всю жизнь боялся, что из него хотят сделать подкаблучника. В то время он ушел из музея, еще нигде не устроился, был нервен, нетерпелив. Она пропадала днями в школе, а он оставался дома, помогал матери Ольги Васильевны ухаживать за Иринкой, ходил на Минаевский рынок, приносил еду, притаскивал ведрами воду — воду набирали в кухне, в большом коридоре, ходить нужно было раза три в день.

От домашней колготни, от безделья, безденежья и, главное, от неизвестности, куда и как дальше, — из музея ушел наспех, не успев подготовить места, — он вечерами падал духом. Маялся, не

знал, куда себя деть. Тут дылда и подстерегала его. Только непонятно: зачем он был ей нужен?

Теперь его нет, он никому не нужен.

Однажды Ольга Васильевна пришла в мастерскую к Васину и увидела, что Сережа сидит за столом, повязанный, как салфеткой в ресторане, грязноватым вафельным полотенцем, а Зика стрижет его. «Что сие значит?» — поинтересовалась Ольга Васильевна. В ответ ей был хохот. И Васин, и кто-то из его приятелей так хохотали, что не могли вымолвить ни слова. Оказалось, он проиграл волосы в покер. Зика очень естественным, веселым тоном успокаивала: «Не волнуйся, Олечка, я сниму чуть-чуть, самую малость, чисто символически. Ему будет даже лучше».

Ее поразило, что он сидел покорный, как овца.

Неизвестно, что там было между ними. Может, что-то и было. Может, и ничего. Ольга Васильевна перестала с Зикой здороваться. Та сделалась врагом. Вся эта перемена — от близкой дружбы до лютой вражды — произошла с необыкновенной быстротой, за два или три месяца. Совершенно исчезло из памяти, как эта ссора развивалась, были ли какие-то разговоры с Зикой до той встречи в пустом коридоре. Весною Ольга Васильевна уже стала ее бояться. Зика смотрела исподлобья

в упор, а когда случайно сталкивались на кухне или в коридоре, никогда не уступала дороги, всегда шла прямиком и еще норовила задеть. Кажется, Ольга Васильевна что-то сказала про нее очень метко, женщины передали, и началась ненависть. Все подробности испарились, но вот что осталось: ее война с Сережей из-за этой несчастной испарившейся Зики, из-за пустого, химеры какой-то, но Ольге Васильевне тогда казалось, что от исхода этой войны зависит жизнь. Любит ли он ее настолько, что готов отказаться — если она умоляет — от мелкого удовольствия потрепаться за рюмкой в васинской мастерской? Как она страдала и как верила в свою правоту! Что может быть яснее, думала она: если любит, значит, откажется. Если не любит, значит, будет ходить. Безошибочная проверка. Но он почему-то ясности тут не видел. Ему нужны были доказательства. Он требовал ордера на арест.

«В тысячу первый раз: почему?.. Может, ты дошла до такого безумия, что ревнуешь меня к Зике?» — «Я просто прошу! — едва не плача, говорила она. — Прошу, прошу, больше ничего! Я тебя умоляю на коленях!» И однажды вправду бухнулась на колени, он испугался и обещал сделать все, что она просит. Хорошо, больше туда

не пойдет. Она очень любила его в те минуты, потому что вдруг открылось то, что она жаждала увидеть. Но прошло часа полтора — дело происходило на рассвете, не спали всю ночь, — и он опять за свое: «Нет, чистой воды сумасшествие, невозможно… Ты требуешь слепой веры, как отцы церкви… Верую, хотя это абсурдно…» И к ней после прилива радости приходили печальные мысли: слезами, бессонными ночами она выманила у него уступку в ничтожном деле. Подумаешь, перестанет ходить к Васину! А как дальше? Каждый раз рыдать, на колени? Могут быть просьбы куда серьезней. А он будет стоять, как скала.

И еще мучило сознание, что ссорятся так отчаянно, до слез, из-за пустой девицы, которая не стоит и того, чтобы тратить на нее презрительный взгляд. Вот бы та ликовала, если б узнала, какие из-за нее страсти! Конечно, это было безумие. И Ольга Васильевна была глупа, не понимала важного, мучилась из-за чепухи…

Он продолжал ходить к Васину. Теперь делал это из упрямства и из принципа.

Они занимались еще вот чем: пытались друг друга воспитывать для будущей жизни. Были тяжелые дни. Ольга Васильевна рвалась уйти

к матери, хотела с ним развестись, вот тогда она ненавидела ***их жизнь***, которая лишь начиналась. И совсем не осталось в памяти, что же предшествовало встрече в коридоре, которой вся эта история завершилась. Может быть, она и наговорила что-то лишнее общим знакомым. Из тех сплетен, что ходили про Зику. Некоторые перестали у Васиных бывать. Все в доме уже знали, что между Зикой и Ольгой Васильевной вражда. Васин тоже перестал здороваться с Ольгой Васильевной, а заодно и с матерью Ольги Васильевны и с Георгием Максимовичем. А Георгий Максимович, как член закупочной комиссии, зарезал две картины Васина. И тот напился пьяный, подходил к двери и кричал всякие дерзости. Ольга Васильевна увидела на улице Зику с заплаканным лицом. Кажется, теперь уж было невероятно, чтобы он бегал к Васиным.

Шла большим коридором, а впереди из-за угла вывернулась Зика. Они были одни. Зика шла не сворачивая, прямо на Ольгу Васильевну, и уставились друг в друга, зрачки в зрачки. Успела подумать: «Глаза сумасшедшей…» Та подошла вплотную, белыми губами задвигала: «Я все поняла, мелкая душонка, ты своего мужа погубишь, ну это черт с ним. А если меня и Валерия не оста-

вишь в покое, я тебя уничтожу! Поняла?» И рукой громадною замахнулась.

Ольга Васильевна побежала по пустому коридору. Страх был как жар — охватил всю. Вспоминать немыслимо.

А с Фаиной любили покупать горячие бублики в ларьке на углу улицы Чехова и Садовой. Там и до войны продавались горячие бублики. По шесть копеек. И осталось в крови, в зубах неизжитое детское наслаждение: уличная благодать, квадратное маленькое окошко, туда монетку, оттуда, из пахучей глубины, высунется добрая рука с мягким, живым, только что из утробы, воздушным, прожаренным бубликом. Потом гулять, жевать, жуировать жизнью: по Садовой вниз, к Самотеке, оттуда на Цветной бульвар, там суета, многолюдство, цирк, рынок, такси, цыганки, комиссионка, кинотеатр — что душе угодно. И ресторан «Нарва» рядом. Когда надо было утешиться, поговорить на свободе, — а Фаина в те годы обреталась на Красногвардейской, в коммунальном муравейнике, в одной комнатке с матерью, сыном, мужем и еще с какой-то пыльной, лежалой родственницей, не разговоришься, — шли туда, на Цветной. В кино с горя, а то на рынок, наглядятся, натолкаются, ягод купят, грушу бера сладчайшую, или арбуз, или

просто семечек жаре-них по стакану, походят, походят по бульвару, пожалуются друг дружке — и легче жить.

Фаина сказала: сейчас же к районному прокурору, И одновременно к ней на работу, где она своими акварельками промышляет. У Фаины был друг, газетный работник, прямо с бульвара, из автомата, позвонили ему насчет статьи или скорей всего фельетона. Ольга Васильевна кипела страстным желанием отомстить. Хотелось упечь Зику не меньше чем года на два за хулиганство.

Но когда поздним часом подходила к дому, не испытывала ничего, кроме головной боли и какой-то тяжкой разбитости во всем теле, будто после болезни. И решила никому не рассказывать. Стало жаль Сережу нестерпимо: что бы он испытал, если б рассказала! Так это и погибло в пустом коридоре. И мать не узнала.

Не вспоминать, не вспоминать! Но видеть Васиных, сталкиваться с этой женщиной в коридоре или в общей кухне Ольга Васильевна не могла. Впрочем, и та стала Ольгу Васильевну избегать — в глаза не смотрела и сторонилась. Вскоре переехали на Шаболовку. Свекровь осталась одна после смерти дочери, Сережа просил Ольгу Васильевну переехать, она согласилась с облегче-

нием: там не было длинного нелепого коридора, в котором попахивало масляными красками и скипидаром, не было шумных сборищ по вечерам, не было споров о колорите, французах, супрематизме, не было возбужденной толкотни по всем этажам в дни работы закупочных комиссий, не было общей ванной с цементным полом и объявлением на стене: «Мыть кисти над ванной категорически запрещено!», не было кухни с четырьмя плитами и четырьмя столами, не было мамы, не было Георгия Максимовича, все еще мечтавшего кого-то удивить, если не мир, то просто соседей по этажу, и не было Васина и его жены Зики. Зато там была свекровь. Фаина говорит: если бы жили не со свекровью…

Это неправда, ведь для него житье с матерью вовсе не было таким искусом, как для нее. Если бы причина была в старухе, скорее остановилось бы сердце у нее, а не у него. Но, конечно, ее присутствие и всегдашнее поучительство были добавком к чему-то главному. После сорока лет с мужчинами происходят странные вещи: они понимают про себя что-то такое, что было им недоступно прежде. Одни успокаиваются навсегда, других охватывает душевная смута. Вот и он подпал под чары такой смуты. Это возникло

незаметно после того, как Праскухин перетащил его в институт. В музее было тихо, безденежно и безнадежно, но зато невероятное спокойствие, а в институте началось: обещанья, надежды, проекты, страсти, группировки, опасности на каждом шагу, Праскухин против Демченко, Демченко против Кисловского, потом Гена Климук, потом затеялась вся эта история с переменой темы диссертации. Он метался, сначала то, потом другое, потом третье. То история московских улиц, а то охранка, а то и вовсе посторонняя наука. Его сгубили метания. Сначала увлекался, потом неизбежно остывал и рвался к чему-то новому. Вечно рвущийся куда-то неудачник. Боже мой, ну и что? Она никогда не попрекала его, не требовала чего-то неисполнимого. Нет средств на Ялту — будем жить в Василькове, у тети Паши. Нет денег на телевизор — будем слушать радио. Никогда в жизни не говорила ему: вот тот уже там-то, а ты еще здесь. Не заставляла его надрываться, выбиваться из сил, чужие успехи ее не задевали.

Наоборот, говорила ему: не нужна нам твоя диссертация! Нам нужно твое здоровье. Оставайся младшим научным, только, ради бога, не мучайся, не гоношись, не тарань лбом стену, твой лоб для этого не пригоден.

Скорее уж свекровь страдала оттого, что сын не процветает, как другие. Александра Прокофьевна очень не любила некоторых его товарищей школьных лет, которые кое-чего добились, и когда они приходили в гости, она была с ними холодна. Ей казалось, что ее сын замечательный и достоин лучшей участи. А Ольге Васильевне были чужды муки тщеславия. Ее мучило другое. Конечно, семь лет угроблено на музей, никакой отдачи, никаких накоплений, сам виноват: постоянно разжигали его пустые грезы. Но и они виноваты, все, все, кто был вокруг! Виноваты злодейски, жестоко: не могли остановить эти колеса, вертевшиеся впустую…

Семь лет! Те годы, когда ровесники делали лихорадочные усилия, совершали рывки и проталкивались дальше и дальше. А он жил так, будто впереди у него девяносто лет. Были какие-то планы, делались изыскания в архивах, велись переговоры с издательством на тему «Москва в восемнадцатом году», и был некий Илья Владимирович, который что-то обещал и продвигал, но все кончилось ничем. После множества встреч, телефонных звонков, застолий и чаепитий Илья Владимирович обнаружил полнейшую никчемность. Александра Прокофьевна возмущалась:

«Почему к тебе липнет всякая дрянь?» Он по обыкновению оправдывался и защищал прощелыг, которые его подводили: «Но ведь Илья Владимирович не хозяин издательства, он такой же клиент, как я!» Работа нескольких лет — за эти годы выросла и поступила в школу Иринка, произошла перемена квартиры, капитальный ремонт с настилкой паркета, и она, Ольга Васильевна, стала старшим научным сотрудником, а затем и заведующей лабораторией ВНИИС, — вся его долгая возня с «Москвой в восемнадцатом году» кончилась неудачей, книга не вышла. Правда, некоторые материалы оттуда он использовал для первого варианта диссертации, но ведь этот вариант отпал. Появилась новая тема: Февраль, царская охранка и прочее. И тут образовался тупик, какая-то непрошибаемая стена, и последовали прочие неприятности: ссора с Климуком, увлечение этим домом на набережной и все, что с ним было связано, предательство Климука…

Она знала все выражения его лица, знала его походку и то, как у него менялся голос, когда обрушивалась очередная неудача или же наплывала новая изумительная греза.

Конечно, когда познакомились, он был другим.

Неудачи из года в год добивали его, вышиба-

ли из него силу, он гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри него оставался нетронутым — наподобие тоненького стального прута, — пружинил, но не ломался. И это было бедой. Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это значило, что, хотя он мучился и много терпел от неудач, терял веру в себя, увлекался нелепейшими безумствами, заставлявшими думать, что у него помутился разум, приходил в отчаянье и терзал всем этим свое бедное сердце, он все же не хотел ломать то, что было внутри него, такое стальное, не видимое никому. А она все равно любила его, прощала ему и ничего от него не требовала.

Спустя две недели после похорон возник Безъязычный. Ольга Васильевна не была с ним знакома, но слышала фамилию от Сережи. Забыла, в какой связи. Кажется, он участвовал в разбирательстве Сережиного «дела», но Ольга Васильевна совершенно не помнила, какова была его позиция. Люди там разделились, по словам Сережи, на три категории: было несколько подлецов, были умеренные и были люди, которые вели себя безукоризненно. Ольга Васильевна нервничала оттого, что не знала, с кем был Безъязычный и как ей с ним разговаривать. Он пришел с пожи-

лой женщиной по фамилии Сорокина.

— Вы меня извините, я вот зашла к вам в гастроном, — говорила Сорокина, улыбаясь виновато и искательно, и показывала зачем-то сумку с продуктами.

Секунды две она шарила глазами, определяя, куда сумку поставить, и не нашла ничего лучше, как поставить ее на ящик для обуви. Ольга Васильевна молча взяла сумку и перенесла ее на столик под телефоном.

— Какой ваш гастроном-то чудный! И «докторская» колбаса, и сырки глазированные, а у нас редко когда бывают. Хотя наш вот тоже считается диетический…

Произнося эту муру, женщина смотрела на Ольгу Васильевну с таким чувством и придала голосу такое выражение проникновенной сострадательности, будто ее похвала гастроному, рядом с которым посчастливилось жить, могла хоть на ничтожнейшую крупицу облегчить горе Ольги Васильевны. Заметив, что Ольга Васильевна не поддерживает разговора о гастрономе, Сорокина, вздыхая, сняла плащ, шляпку и затем некоторое время никак не высказывалась, а только вздыхала.

Прихода людей с Сережиной службы Ольга

Васильевна ждала с тоской. Они не могли принести ничего, кроме боли. Все люди, хоть как-то, хоть немного знавшие Сережу, приносили боль. Но было ясно: надо выдержать, и чем скорее они придут и уйдут, тем лучше. Оба эти человека были из профкома и, как поняла Ольга Васильевна, выполняли какое-то общественное поручение. Похороны миновали, захоронение урны произошло, так что похоронная комиссия была распущена, а эти люди принадлежали к «бытовой комиссии» или к какой-нибудь еще в этом роде. Они пришли ненадолго. Творог мог подкиснуть, если разговор затянется, но Ольга Васильевна не предложила сунуть его в холодильник. Она не могла делать над собой никаких усилий. Безъязычный топтался на коврике перед дверью, оглядывался, мычал невнятно, Ольга Васильевна не понимала, чего он хочет, потом вдруг решительно стал снимать ботинки и остался в носках. Ага, он не хочет грязнить пол, на улице мокро. Как будто Ольгу Васильевну могли сейчас заботить полы.

Почему эти люди так ничего не понимают? Пришлось дать ему Сережины летние босоножки, стоявшие на виду, возле дверей. Это было неприятно, и с его стороны бестактность: брать

Сережины босоножки.

Свекровь что-то делала на кухне, куда Ольга Васильевна зашла, чтобы поставить на огонь чайник. Надо же было как-то их принимать. Александра Прокофьевна сказала, что не выйдет к ним.

— Видеть их никого не желаю, — сказала старуха. — Сначала травят, потом приходят выражать сочувствие. Не знаю, о чем можно с ними разговаривать.

Выходило, будто Ольга Васильевна может с ними разговаривать, потому что как бы занималась с ними одним делом: травила Сережу. Хотела пропустить мимо ушей, но не сдержалась:

— Эти люди не травили Сережу, не надо говорить лишнего. Они ни в чем не виноваты и пришли проявить обыкновенное, казенное внимание. Вообще Сережу никто не травил.

— Травили, — сказала Александра Прокофьевна и вышла из кухни.

Ольга Васильевна села на табуретку и минуту-другую сидела не двигаясь: сильно билось сердце. Сережу не травили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои цели. Это другое. Она слышала, как Александра Прокофьевна про-

шла в свою комнату и щелкнула замком. Было неловко перед чужими людьми. Впрочем, пускай! Не имело значения. Она поднялась, пошла в большую комнату, неся что-то в вазочке. Двое из профкома сидели у стола в окаменевших позах, означавших глубокое уныние. Женщина при этом чуть заметно качала головой, глядя в одну точку, в пол. Вероятно, ей представлялось, что такой позой и таким чуть заметным покачиванием головы должно выражаться истинное сочувствие. «Какая дура!» — подумала Ольга Васильевна. Безъязычный тотчас вскочил, стал говорить, что они пришли буквально на минуту, не нужно никаких хлопот, никакого чаю. Он был коротконожка, румяный, с крепким, моложавым лицом, волосы подстрижены бобриком, совсем седые. Непонятно, какого возраста, наверное, лет пятидесяти. На нем был черный костюм, пиджак, очень широкий и мятый, с несоразмерно большими плечами, подбитыми ватой. «Надел специально, чтоб прийти к вдове, — подумала равнодушно. — Черный. Из сундука».

— Вот несколько предметов, принадлежавших Сергею Афанасьевичу… — Он вынул из портфеля железную коробку из-под чешских сигарет, в которой что-то бренчало, линейку, складной

туристический нож, применявшийся, по-видимому, для открывания консервов и вытаскиванья пробок в часы «сабантуйчиков», которые в отделе устраивались нередко, три затрепанные книжки, гребень с длинной ручкой, футбольный календарь за 1969 год, номер «Иностранной литературы» и какую-то старую записную книжку, телефонную, с загнувшимися завитком страничками. Каждую вещь он доставал и выкладывал на стол с осторожностью, как будто это было стекло.

Ольга Васильевна остановившимся взором смотрела на всю эту мелкую, случайную чепуху, которую зачем-то принесли сюда, и думала: «Должно быть, больно глядеть на вещи мужа, который умер. Для чего же тогда это делают?» Ей хотелось взять все это и выбросить. Она собрала вещи и перенесла их на подоконник, чтобы не видеть.

Безъязычный протянул конверт, говоря что-то. Она поблагодарила и стала разливать чай. Какие-то деньги от профкома. Безъязычный, отпивая неслышными глотками чай, говорил о том, что все в отделе горюют и как недостает Сережи, потому что его многие любили. Эта фраза задела Ольгу Васильевну, и она как бы очнулась. Почему он сказал ***многие любили***? По правилам этой

игры он должен был сказать «его все любили», или же «его у нас любили», или, на худой конец, просто «его любили». Но он сказал ***многие любили***, что означало, что находились — и находятся теперь, когда его уж нет, — какие-то ***немногие***, которые его не любили и все еще не любят. Разумеется, такие есть. Ольга Васильевна нисколько не сомневалась в существовании ***немногих***, но намекать на них вдове в первые же минуты визита было как-то странно.

Она посмотрела внимательно на Безъязычного, стараясь еще раз припомнить, что говорил о нем Сережа. Ничего не вспоминалось.

— Вы говорите так, будто Сергей Афанасьевич до последнего дня работал в институте, находясь со всеми в мире и согласии. Будто не подавал заявления об уходе, — сказала Ольга Васильевна — Практически он считал себя уволенным.

— Но это неверно! Вы глубоко заблуждаетесь! — Безъязычный прикладывал руку к груди. — Я знаю, про заявление. Но, во-первых, вопрос оставался открытым до того, как сказать, до трагического дня… Директор был в отпуске. А Геннадий Витальевич этот вопрос решать категорически не хотел.

— Геннадий Витальевич не хотел? Про Генна-

дия Витальевича можете мне не рассказывать. Он-то как раз хотел больше всех, но только — чтоб чужими руками.

— Я уверяю вас: вы заблуждаетесь!

— Нет, не заблуждаюсь.

Этот человек неспроста сказал: ***многие*** любили. Он проговорился. Теперь ясно, что это был враг Сережи или, может быть, сочувствовал его врагам. Неужели дошли до такой низости, что посылали сюда с деликатным поручением Сережиного врага?

— Сергей Афанасьевич работал вот как раз в нашем секторе, — дрожащим голосом заговорила женщина и, сняв очки, уткнув мясистый подбородок в грудь, стала протирать очки платком. Лицо ее приняло совсем плачущее выражение, голос звучал едва слышно. — Революции вот и гражданской войны… Мы с ним работали шесть лет вместе… Он был прекрасный человек, очень вот добрый, отзывчивый… хороший человек…

Мясистый подбородок дрожал. Ольга Васильевна смотрела на женщину холодно.

— Интересно, как вы оба голосовали при разборе этого пресловутого Сережиного «дела»? — спросила она.

Женщина вздрогнула, глаза ее расширились и

проделали мгновенное вращательное движение. Разумеется, Ольга Васильевна спросила грубо и, наверное, поставила гостей в неловкое положение, но ведь они тоже: сидят тут, пьют чай, разговаривают о Сереже…

— Я не голосовал вовсе по причине моего отсутствия в столице. Я был в Польше, в командировке, — сказал Безъязычный и махнул презрительно рукой. — Да ну, знаете ли…

Жест и тон означали: стоит ли вспоминать об этой чепухе? Сорокина сказала:

— А я, кстати, голосовала за то, чтобы вот на вид… — Она покраснела. — Это было единственное, это было вот самое в тех условиях…



Тут вошла, вернее — бесцеремонно влетела по своей привычке, Иринка и попросила полтора рубля поскорее, пока не закрылся универмаг, Выпалив это, она заметила гостей и сказала:

— Здрасьте!

Ольга Васильевна представила дочь, та очень приветливо, обаятельно улыбнулась, как она

умела улыбаться, когда нужно было выклянчить деньги.

Ольга Васильевна рылась в сумочке, собирая серебро и медь.

— Ой, что я вижу? — обрадованно крикнула Иринка, бросившись к подоконнику. — А я его искала, искала! Откуда он здесь?

Она схватила гребень с длинной ручкой.

— Это принесли с папиной работы. Вот тебе полтора рубля.

— А… — Поколебавшись, Иринка положила гребень назад на подоконник, потом спросила: — Мам, можно я его возьму? Ведь ты мне купила, помнишь?

— Возьми, — сказала Ольга Васильевна.

Иринка убежала. Видимо, кто-то ждал в прихожей, зашептались, хлопнула дверь. Гости сидели. Говорить было не о чем. Казалось, сейчас встанут и пойдут, но Безъязычный завел разговор о незаконченной Сережиной диссертации. Будто бы есть мнение ученого совета — решения пока нет, но раздаются голоса, — чтобы работу завершить силами института и издать в виде монографии. Выделить специальных людей. Работа плановая, весь отдел заинтересован. Придется подобрать неиспользованные материалы, найти то, что

осталось у Сергея Афанасьевича в папках, на рабочем столе. Все рассчитывают на помощь Ольги Васильевны. Она почувствовала, как в ней закипает раздражение.

— Я займусь этим, когда будут силы и время, — сказала она. — Сейчас ничего искать не стану.

— Конечно, конечно! Разумеется, Всеволод Борисович… — залопотала Сорокина. — Когда Ольга Васильевна сможет…

— Это абсолютно в интересах Ольги Васильевны, — сказал Безъязычный.

В коридоре Безъязычный неожиданно сказал своей спутнице, подав ей пальто:

— Полина Романовна, извините, я не смогу вас проводить. Мне надо Ольге Васильевне два слова…

Вернулись в комнату. Ольга Васильевна не хотела вести разговор в коридоре, под дверью комнаты свекрови. Почувствовала, что предстоит неприятное. Безъязычный сказал, что ему неловко говорить, но выхода нет, потому что дело общественное. Он председатель правления кассы взаимопомощи. Сергей Афанасьевич взял сто шестьдесят рублей с обязательством вернуть в течение полугода, но прошло почти два года, деньги не возвращены, и теперь возникла слож-

ность: касса пуста, есть заявления с просьбой о небольших ссудах, удовлетворить невозможно. Есть правление, есть решение, есть суждения всех без исключения, есть мнение, есть изумление… Так вот: каково положение?

Ольга Васильевна слушала ошеломленно. Слова долетали сквозь плотный воздух.

— Таких денег у меня нет, — сказала она.

— Собственно говоря, тут дело обстоит таким образом… Понимаете, мы не имеем права… Если только общее собрание всех пайщиков, но захотите ли вы… — Безъязычный бормотал, дергаясь румяным тугим лицом, как бы неслышно и нарочно чихая, что означало, по-видимому, сильную степень смущения. — Поверьте, мне неприятно… Но я выполняю…

Ольга Васильевна сказала, что на Сережиной книжке лежит сто рублей. Но эти деньги она сможет получить не скоро, когда вступит в права наследства. Что касается ста шестидесяти рублей, взятых в кассе взаимопомощи, то она слышит о них впервые.

— Когда он брал эти деньги?

Безъязычный достал из кармана блокнот, полистал его, нашел: деньги были выданы пятого марта семьдесят первого года. Откуда все это сва-

лилось? Зачем ему понадобились такие деньги? Женщина. Это сразу пришло в голову, бросило в жар, она очень спокойно сказала:

— Я действительно впервые слышу. Обычно он делился со мною всеми тратами, долгами… — Это была неполная правда, но все же в общих чертах — правда.

— Тогда мне еще более неприятно. Извините меня. После паузы сказал:

— Я постараюсь сделать все, чтобы убедить Членов правления, учитывая обстоятельства… Вам придется, может быть, сочинить бумагу… Что смогу, я сделаю! — Он прикладывал руки к груди и наклонял голову. — Большинство товарищей хорошо относились, так что я надеюсь… Я поговорю кое с кем предварительно…

В таком духе он продолжал бормотать, прижимая руку к груди и кланяясь, пока двигался из комнаты в коридор. Кажется, было сказано все. На сей раз конец. Зачем же дали деньги в конверте, если сами требуют от нее? Все было смутно. Ольга Васильевна смотрела на коротенького, седого, в черном и мятом старомодном, пятидесятых годов, костюмчике и что-то говорила, не слыша себя. На прощанье он сказал:

— Так вам позвонят насчет монографии. Вы уж

там поищите, соберитесь. Ту папку, про которую я говорил, с розовыми шнурочками.



Раньше, когда возникали внезапные неприятности и она не знала, как поступить, всегда советовалась с Сережей. Обыкновенно вечером,

перед сном, когда Иринка уже спала, а свекровь забивалась к себе в комнату. В своих делах он ничего не мог добиться, но ей советовал толково. Легко умел успокаивать, когда ее обижали. А теперь— к кому? Свекровь знать не должна, потому что ничего, кроме злорадства, не испытает. Усмотрит в этом подтверждение своей веры в то, что они не были близки и он жил отдельной жизнью. Ольга Васильевна ощущала томящее чувство, которое не было ревностью, а было чем-то совсем другим, иного качества: как бы перегоревшей ревностью. Ей как бы вручили урну с этим странным прахом. Ревности уже не было на земле, но ее останки она держала в руках, прижимая к груди.

Почему-то была убеждена в том, что тут замешана женщина. Прах, прах, ничего, кроме праха. Но руки ее дрожали. На ее собственной сберкнижке лежало двести восемьдесят рублей, накопленные Сережей и ею для целевой траты — покупки телевизора. Снимать оттуда деньги для покрытия сомнительного долга глупо. Сережа говорил:

— Старуха, не суетись.

Это была его фразочка, которую кстати и некстати он повторял десять раз на дню. Хороши

эти господа: месяца не прошло — бегут к вдове с векселем! Но одно она знала твердо: они были близки по-настоящему. Ближе человека у него не было. Пусть свекровь замолчит. Последние годы он с матерью не делился, скрывал от нее разные свои неприятности. Говорил:

— Есть вещи, которые не могу ей объяснить.

Мать многого не понимала, и это непонимание его злило. А между ними такого непонимания не было. Она понимала все досконально, до малейшего вздоха. И даже если кто-то был у него, это не имело значения.

Так она убеждала себя, стараясь оставаться невозмутимой и спокойной, но спокойствия не было. И помочь ей не мог никто. Фаине рассказать нельзя, потому что лучшая подруга поймет по-своему. И тоже, наверное, скрытно обрадуется, ибо тут соответствие ее цели, в которой сама признавалась: вывести Ольгу Васильевну из оцепенения. Для этого требовалось слегка наклепать на Сережу. Но она не верила, не хотела верить! Тут была какая-то тайна. От всего этого разболелась голова, Ольга Васильевна оделась, взяла сумку и вышла на улицу.

Сеялся слабый дождь. В гастроном забегали последние посетители: было минут двадцать до

закрытия. Ольга Васильевна зашла купить масло, кефир, что-нибудь к чаю для Иринки. Уборщица шаркала шваброй, отгоняя посетителей от прилавка и ворча злобно. Ольга Васильевна постояла в небольшой очереди в кассу, потом подошла к молочному прилавку, думая о том, что людей вокруг много, знакомых много, есть подруги, но нет близкого человека и это значит — нет никого. Худшее, что предстоит в жизни, подумала она, это одиночество. Смерть и несчастья — только прелюдия к худшему. Как жить, если не с кем посоветоваться, некому сказать? У людей, стоявших с чеками, был какой-то суетный и случайный вид. Будто забежали сюда по ошибке. Вечерние посетители, озабоченные далекими отсюда мыслями. На самом деле: опаздывали домой, в этот час обыкновенно они сидели у телевизоров в домашних туфлях, или занимались мелкою стиркой в ванной, или гладили школьную форму на кухне, постелив на стол старое, в желтых пятнах от утюга байковое одеяльце, все это им еще предстояло, но они не торопились. Продавщицы двигались медленно. На их лицах, как тяжелый грим, лежала дневная усталость.

Ольга Васильевна услышала знакомый голос за спиной, оглянулась: Иринка! Дочь стояла возле

высокого столика, где пьют кофе и едят пирожки, но теперь было поздно для кофе, буфет закрыт, она стояла с двумя подружками, и все трое болтали и жевали что-то. Длинные худые ноги Иринки в темных чулках, ее куцеватое пальтишко, из которого она выросла, надо менять, — каждый раз при взгляде на это пальтишко Ольга Васильевна испытывала какое-то душевное ущемление, мгновенный укол, но не заводила речи о покупке, Иринка тоже молчала: осень уж как-нибудь доходит, а на зиму есть неплохая шубка, — вся сутулая, долговязая фигура дочери с распущенными по нынешней моде волосами вызвали у Ольги Васильевны судорожный прилив нежности. Было так сильно, что она чуть не побежала к ней. «Моя сирота, — подумала она чуть не со слезами. — Она еще не понимает, что это. Но я знаю!»

Ольга Васильевна сделала несколько шагов к девочкам, думая о том, что самая высокая среди них, самая бедно одетая, самая красивая и добрая — это и есть близкий человек. С нею говорить обо всем. Теперь ближе этой девочки нет. Она подошла к столику, одна из девочек — любимая Иринкина подруга Даша, восточная красоточка, всегда чересчур бледная, с подкрашенными длинными глазами, — заметив Ольгу Васильев-

ну, перестала щебетать и улыбаться и глядела испуганно.

— Вот они где прожигают жизнь! — сказала Ольга Васильевна. — Интересно, что вы тут обсуждаете?

— А мы, Ольга Васильевна, обсуждаем завтрашний урок по обществоведению, где будет очень интересный разговор на тему личность и общество. Вот думаем, как получше подготовиться. — Выражение испуга на хорошеньком личике Даши сменилось выражением победоносной иронии.

Другая девочка прыснула. Иринка смотрела на Дашу исподлобья, но с тайным восторгом: исподлобный взгляд относился к появлению матери, а восторг адресовался, разумеется, Даше. Бедная Иринка была в эту стервочку влюблена. Ольге Васильевне Даша не нравилась, она считала ее неискренней, манерной и, что хуже всего, преждевременно взрослой. По некоторым Иринкиным обмолвкам она поняла, что у Даши какая-то сложная личная жизнь, есть человек гораздо старше ее, которого она называет другом. Неизвестно, как далеко эта дружба за-щла. Ольга Васильевна пыталась осторожно выведать, но Иринка не поддавалась. Не хотелось верить во

что-то серьезное, ведь девочкам нет еще семнадцати, и она сама, Ольга Васильевна, в их годы не думала ни о чем, кроме учебы. Десятый класс, такая ответственность!

— А деньги, между прочим, были даны на универмаг, — сказала Ольга Васильевна. Наглость Даши задела. Эта дурочка с нее глаз не сводит. — А ты, я вижу, транжиришь на пирожные и сигареты. Девчонки, ну зачем вы курите?

Они что-то залопотали хором, совершенно невнятное, шутливое и понарошку. Кажется, тоже в ироническом стиле. Ольга Васильевна почувствовала, что ее присутствие тяготит. Иринка, глупо смущенная, даже не смотрела на нее, зато ловила каждое слово подружек и неестественно громко хохотала. Вторая девочка, Лена Кукшина, была вялая, анемичная толстуха из очень обеспеченной семьи, на ней было пальто из замши, на пухлом пальчике кольцо с камнем — безобразие, раньше ни одна девчонка в школе не посмела бы надеть кольцо! — рядом с нею на столике лежал складной японский зонтик, очень изящный, Ольга Васильевна видела такой у приятельницы, и вообще от Кукшиной пахло, как иногда пахнет от человека дешевыми парикмахерскими духами, благополучием и богатством. Ольга Васильевна

этот запах выносила с трудом. Но Иринка говорила, что Кукшина добрая. Правда, Иринке не нравилось, что Кукшина подхалимничает перед Дашей. А уж эта Даша у них — прямо царица некоронованная, великий авторитет, этакая пигалица. Ольга Васильевна сказала строго:

— Ира, пойдем домой, будем ужинать. — И взяла ее руку выше локтя. Не потому, что собиралась потянуть ее от столика, а просто хотелось до нее дотронуться. — Пора, девочка, пойдем.

— Мама, я пойду домой, когда захочу, — отчеканила Иринка с внезапной враждебностью.

— Что значит: когда захочешь?

— То и значит: когда захочу, тогда пойду.

— Нет, ты пойдешь сейчас со мной.

— Нет, не пойду.

Ольга Васильевна почувствовала, как хлынула изнутри какая-то слабая ярость.

— Да как ты можешь… со мной… сейчас… — заговорила, задыхаясь.

— А как ты можешь? У меня тоже неприятности. Мне надо поговорить с друзьями.

— У тебя тоже! — крикнула Ольга Васильевна. — Эх ты…

Она повернулась и пошла из магазина. Кто-то догонял, схватил сзади за руку.

— Ольга Васильевна! Постойте!

Даша. Опять выражение испуга в карих прелестных глазах.

— У Ирки правда неудача с одним мальчиком, — да вы знаете, с Борей, — и нужно поговорить совсем немножко, минут десять. Сейчас все равно выгонят, мы по бульварчику погуляем.

— Она просто дрянь, — сказала Ольга Васильевна.

Когда поднималась лифтом на восьмой этаж, подумала: вот истина. Одна в закрытой коробке. Можно читать надписи, нацарапанные гвоздями. Но некому сказать, какая боль в сердце. Никто не услышит. В одиночестве человек ползет в шахте все выше и выше или все ниже и ниже, это безразлично, смотря что считать верхом, что низом. «Никто не услышит!» — произнесла она вслух. «Алло? Говорите громче!» — рявкнул над ухом гулкий и страшный голос. Она вздрогнула: диспетчер из третьего корпуса. Обычно не докличешься, а тут услышали. Значит, надо говорить, надо кричать, даже если голые стены. Кто-нибудь услышит.

Иринка пришла не через десять минут, а спустя час. Ольга Васильевна уже простила ее и когда, отворив дверь, увидела ее с поникшей голо-

вой, шмыгающую носом, — конечно, прозябла в тонком пальтишке, целый час на бульваре, — увидела детское виноватое выражение ее лица, опять охватило волною тепла и жалости. «Бессовестная я! Зачем рычала на нее? — пронеслось в сознании, помутившемся от жалости. — Ведь она сирота, нет отца, нет защитника. Если не я, то кто же…»

Ничего не сказала, провела рукою по волосам дочери. Та вдруг рванулась, обняла мать, ткнулась холодноносой, щенячьей мордочкой в щеку, в ухо, шепча что-то жалобное, и Ольга Васильевна тоже шептала, они друг друга не слышали, все произошло в течение двух секунд. И обе вдруг ослабели, обнявшись, и, едва сдерживая слезы, пошли на кухню, чтобы побыть одним, совсем одним, без бабки, потому что ближе их людей не было. Двое самых близких на свете. Там долго сидели, пили чай, Иринка рассказывала о Боре. Она была скрытной, делилась переживаньями редко, молча вела свою маленькую житейскую битву. Но это значило, что теперь силы ее оставили, она нуждалась в помощи. Боря перестал звонить, а в школе совсем не подходит. Она предполагала, что влияет одна девчонка, с которой он отдыхал на юге. Даша обещала выведать. Боря был мальчик

из параллельного класса, некрасивый, Иринке он никогда особенно не нравился, но было похоже на настоящее горе.

Ольга Васильевна шептала какой-то ласковый вздор. Иринка успокоилась и ушла в ванную мыть голову. Ольга Васильевна стала убирать со стола, грязные тарелки сложила в мойку, горячая вода в этот поздний час шла плохо и была недостаточно горячей, а нагревать воду в чайнике не хотелось. Решила: все завтра, завтра, встать часов в семь. И тут позвонила та женщина, что приходила с Безъязычным.

— Извините, что так поздно. Пока доехала до своей деревни, до Кузьминок, пока вот дела, то, другое… А звоню вот зачем, Ольга Васильевна. Всеволод Борисович вас, наверное, кассой взаимопомощи пугал, долгом Сергея Афанасьевича, а вы не пугайтесь — долг будет списан. Это, можно сказать, уже решено. Понимаете? И вы, пожалуйста, ни одной папочки, ни одного листочка не отдавайте. То, что я вам сейчас звоню, это, конечно, к моей невыгоде, но просто я уж очень Сергея Афанасьевича уважала. Извините, милая Ольга Васильевна, что побеспокоила вас на ночь глядя. Будьте!



Этот странный разговор, это «будьте!» озадачили Ольгу Васильевну, но не настолько, чтобы придать ее мыслям другое течение. Ночью она могла думать только о прошлом, но не о будущем.

Давно надо было взяться. Но не хватало духу.

Все его папки, блокноты, тетради толстые и тонкие, вырезки из газет, аляповато расклеенные по альбомам, выдранные из журналов страницы, кипы исписанной бумаги, рассованные по разным местам — часть находилась в ящиках стола, часть на нижних полках в шкафах, какие-то папки пылились на самом верху шкафов, под потолком, куда месяцами не достигала тряпка, и Ольга Васильевна сердилась и во время каждой уборки требовала, чтобы он куда-нибудь пристроил «свой хлам», лучше всего в мусорный бак, именно «хлам», потому что, будь это ценное, он не держал бы на верхотуре, в пыли, а какие-то бумаги в дни ремонта попали на антресоли, — все это еще было его плотью, несло в себе его запах, эманацию его существа, поэтому притрагиваться было страшно. Она знала, что рано или поздно это пройдет, но пока она не могла. И так же не могла видеть и трогать его вещи в гардеробе. Фаина сказала, что надо продать. Говорила, что так делают все вдовы, чтобы не травить душу. Обещала найти покупателя. Жена Феди Праскухина Луиза, овдовевшая восемь лет назад, сказала, что продала Федины вещи тотчас, единым духом, но Ольга Васильевна никак не могла решиться.

Да и времени не было на такие дела. Луиза не

работала — это сейчас, кажется, пошла работать страховым агентом, — а то сидела дома с детьми. У нее и нянька была и бабушка, ее мать. Сидеть дома — с ума сойти.

И еще непереносимое: фотографии. На стене висела одна очень хорошая, юных лет, он улыбался мягко и задумчиво, с травинкой во рту, Ольга Васильевна любила эту фотографию, повесила ее давно, при Сережиной жизни, и привыкла к ней. Но даже на нее Ольга Васильевна, когда входила в комнату, старалась не смотреть или — как-то бегло, секундно. Про альбом говорить нечего. Спрятала его подальше, Всякое прикосновение — боль. А жизнь состоит из прикосновений» потому что — тысячи нитей и каждая выдирается из живого, из раны. Вначале думала: когда все нити, самые крохотные и тончайшие, перервутся, тогда наступит покой. Но теперь казалось, что этого никогда не будет, потому что нитей — бессчетно. Каждый предмет, каждый знакомый человек, каждая мысль и даже каждое слово, все, все, что есть в мире, нитью связано с ним. Разве хватит жизни? Вчера ездила по делам на Ново-Басманную, вышла из метро «Лермонтовская», и сразу — укол в сердце, вспомнила, как зимою, в сильный мороз, бежали отсюда по Садовой вниз,

в гости к кому-то. Седьмой месяц, но легче не делается. Люди говорят, что должно пройти пять лет, но Луиза сказала: что-то непохоже, она бы почувствовала, ведь у нее прошло уже больше.

Видела Луизу недавно на улице, случайно. Так обрадовались друг другу, так много хотелось сказать, спросить: ну как ты? что ты чувствуешь? что происходит с тобой? Стало ли… вот хоть на столько, хоть на крупицу?

Луиза смотрела серыми, вымершими глазами:

— Я не знаю, чем измерять. Нет инструмента…

Ольга Васильевна еще хотела спросить: «Есть у тебя кто-нибудь?» — но не осмелилась. В этой битве все сражаются в одиночку. Выглядела Луиза хорошо в своей старой дубленке, но уже чищенной, отчего коричневый цвет посветлел и приобрел пошлый розоватый оттенок. Ольга Васильевна спросила: как дети?

— Очень хорошо, — ответила Луиза. На все вопросы она отвечала: «Очень хорошо».

Восемь лет назад в сентябре ранним утром — Иринка еще не ушла в школу — трезвонили в дверь. Ольга Васильевна поразилась, увидев Гену Климука — тогда еще Гену, старого приятеля, — который обязан был в этот час делать утреннюю гимнастику на каменистом коктебельском пляже

перед завтраком. Лицо Климука было в багровых пятнах. Не здороваясь, он спросил: «Где Сергей?» — шагнул в прихожую и привалился плечом к стене. Сережа вышел из ванной, намыленный для бритья.

— Сережа, ты должен ей все рассказать… Я не могу… У меня нет, нет… — И этот гигантский мальчик со старообразным круглым лицом качнулся, ноги его согнулись, и он легко сполз по стене на пол. Он не упал, а как-то вдруг оказался на корточках и сидел так секунды две или три, тяжело дыша.

Два дня назад Климук и Федя поехали вдвоем на юг на неделю. Федя только что купил нового «Москвича». Они иногда устраивали холостяцкие побеги, или, как Климук любил выражаться в старославянском стиле, «убеги», заманивали и Сережу, но она делала все возможное, чтобы его от этих вылазок отклонять. Не то чтобы ревновала к мужской дружбе, не то чтобы беспокоилась о его нравственности в компании старых приятелей, еще не утративших навыков студенческой вольницы, — когда собирались втроем, эти навыки как бы гальванизировались, они начинали чудить, хорохориться и бог знает о чем мечтать, — и не то чтобы заботилась о его здоровье: ведь там,

где Климук, там выпивка. Она просто не любила, когда он исчезал из поля ее зрения. Он должен быть всегда рядом, поблизости, лучше всего в одной комнате с нею. Это было, наверно, большой неправильностью в ее жизни, но переделать себя она не могла, да и не пыталась.

Всегда противодействовала Климуку, Феде и кому бы то ни было в их кознях отнять у нее Сережу! Иногда ловко находила причины, удачно присочиняла, — например, ссылалась на недомогание, требовавшее его неотлучного присутствия, — а иногда грубо и прямолинейно взывала к его совести, великодушию. Собственно говоря, тут сталкивались два эгоизма. Он любил эти «убеги», отрыв от ежедневной мороки, от дел, от дома, особенно любил «убеги» к «музейному другу» Федорову или куда-нибудь с Федей Праскухиным на машине, даже просто в «Севан», и она знала, что он это любит, что ему это, может быть, необходимо по многим причинам, но ничего не могла поделать с собой: когда он исчезал, она становилась как больная. Иногда даже начиналась крапивница. Но он был непримирим в своей борьбе за независимость и уступал редко. Этот редкий случай был в сентябре. В институте заканчивался ремонт, занятия прекратились, все

торчали по домам, и Федя с Климуком замыслили проветриться недельку у моря и подбивали Сережу. Была такая неразбериха, что никто бы не хватился. Кому хвататься? Федя Праскухин сам хозяин, ученый секретарь.

Сережа очень хотел поехать. А ей чутье подсказывало: не пускай ни за что! Ах, никакого чутья, просто обидно было, что покатит на юг один, станет там веселиться, хорохориться и пить, конечно. Она ссылалась на отсутствие денег, на то, что у него ничего не двигается — ни диссертация, ни книга с тем жуликом Ильей Владимировичем, — и что хорошо прожигать жизнь Феде Праскухину и Гене Климуку, у них прочное положение, а куда он-то, как рак с клешней?

— Тридцать рублей, которые я тебе могу дать на дорогу, — говорила она, — сделают тебя прихлебателем. Тебя это не пугает?

Он сказал: не пугает. Сказал, что у них здоровые мужские отношения, не то что жалкая дамская дружба, когда считаются друг с дружкой копейками. Он даже позволил себе этак высокомерно:

— Ты этого не поймешь!

Бедный, как он ошибался. Ольга Васильевна сказала, что, если он поедет с ними, тогда — развод. Кто-то звонил, то ли Луиза, то ли эта дурочка

Мара Климук, по наущению мужиков, уговаривали ее смягчиться и разрешить. Но она была непреклонна. Если уедет — развод.

Пожалуйста, уезжай, тебя не держат, но когда вернешься, ее здесь не будет: она переедет на Сущевскую. Неужели было подсказано провидческим голосом из тех неземных пространств, куда Сережа углубился потом и где ждала его гибель? Сережа рассвирепел, не разговаривал с нею несколько дней, но поехать все же не осмелился. На рассвете на Симферопольском шоссе, южнее Харькова, старик переходил дорогу, не слышал сигналов, а Федя не мог погасить скорость и выскочил на левую сторону, где его ударил «МАЗ». Федя умер в сельской больнице, не приходя в сознание, а Климук отделался ссадинами. Он как-то уперся руками в стенки кабины — руки у него сильные — и, хотя машина два раза перевернулась, остался цел.

Теперь он едва шевелил белыми губами:

— Тело везут автобусом… Я дал сто двадцать рублей…

Он умолял Сережу пойти к Луизе. Сережа пошел. Он умел быть другом. Поэтому его ***многие любили***, и кидались к нему, когда им было плохо, и, пожалуй, эксплуатировали это его уменье.

Ночью она не выдержала — этого ни в коем случае не следовало говорить, но ее распирало — и сказала ему тихо на ухо:

— Сережа, ведь я тебя спасла… Ты видишь, какая я пророчица?

Он, ни слова не говоря, отодвинул ее и повернулся к стене.

И она сразу почувствовала, что сказала нехорошее. Но уж очень сильно ее распирало: и страх, и жалость к Феде, которого она любила, и какое-то странное, непобедимое внутри себя чувство тайного самодовольства. Наверное, думала она, похожее испытывали люди на войне, когда рядом убивали товарищей, а они почему-то оставались живы и невредимы. Говорить не нужно было. Как раз та минута, когда мысль изреченная неминуемо оказывалась ложью.

Он, помолчав, сказал:

— Я все-таки надеялся, что ты прикусишь язык… Нет, сказала…

Конечно, не следовало говорить. Но и ему не следовало быть с нею таким злым. Ведь и в самом деле: спасла жизнь. Он говорил о Феде, о том, что другого такого товарища в его жизни не будет. Верно, они были приятели, учились все трое на одном курсе — когда-то, страшно давно, — Сере-

жа, Федя и Гена Климук. Ну и что? Ее удивляла эта наивная привязанность к старым друзьям, то ли школьным, то ли институтским. Старался не замечать их недостатков, не видеть их смешного, неприятного. «Парень из нашей школы» или «парень с нашего курса» — для него это звучало высшей аттестацией, включало в себя все добродетели. Дружба не по выбору, а по воле обстоятельств: с кем оказался за партой, с тем и дружу. Впрочем, у всех мужчин эта странность. Не могут жить без старых дружков. А Ольга Васильевна отлично обходилась без подруг и, когда был Сережа, могла месяцами не видеть ни Фаинку, никого. Ей нужен был он один. Ну, и с Луизой, с Марой виделась по необходимости, потому что мужики очень любили «обща»: «Давайте обща!», «Что-то мы давно не обща!»

Теперь их объединяли одни интересы: институт и все, что там творилось. Гена Климук шутил, подмигивал:

— Давайте сколотим свою группку, свою кликочку, свою маленькую, уютную бандочку!

А Федя не болтал, он делал. Он помогал по-настоящему: втащил Сережу в институт, всячески продвигал, добился повышения оклада, переубедил пучеглазого Ивана Евдокимовича Демченко,

директора, насчет перемены темы диссертации и умаслил Сережиного руководителя, профессора Вяткина, который был вовсе не рад этой перемене. Все было нелегко. Но Федя сделал. Если бы Федя был жив и оставался ученым секретарем, он, конечно, никогда бы не допустил всей этой пакости, что повалилась на Сережу год назад по вине старого друга Климука и его «маленькой бандочки».

Гена впрыгнул в кресло ученого секретаря так быстро и с такой готовностью, что можно было подумать, будто он, подобно булгаковскому Воланду, подстроил катастрофу нарочно.

С его приходом на должность что-то неуловимо нарушилось. Она долго не замечала. Когда Гена звонил, он был так же бодро-шутливо приветлив с нею, как раньше, иногда и Мара звонила, делилась с Ольгой Васильевной новостями по части трикотажа и косметики — она работала в золотом месте, на Петровке, рядом с Пассажем, — но прошло несколько месяцев, прежде чем Ольга Васильевна сообразила, что она совсем не видит ни Гену, ни Мару, общение ограничивалось звонками. Давно не раздавался радостный Генкин клич: «Будем обща!» Сообразивши, она отнесла этот факт на счет Фединой смерти. Все-таки

чаще собирались у Феди. Кроме них троих там бывали еще Федины друзья — физик Щупаков с женой-болгаркой по имени Красина и чета врачей Лужских, она рентгенолог, он психиатр, из-за Лужских Ольга Васильевна, собственно, и ходила к Феде и Луизе, потому что медицина очень интересовала ее и она любила разговаривать с врачами.

Но Луиза после смерти Феди не собирала друзей, были у нее лишь однажды на поминках и потом еще раз в шестилетие Фединой гибели. Гена Климук и раньше-то не особенно звал к себе, вечно он что-то перестраивал, ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь и переезжая во все более фешенебельные районы. Теперь, кажется, обосновался на новом Арбате, в небоскребе, где магазин «Мелодия».

Сережа как-то сказал, посмеиваясь:

— А наш Гена действительно стал важной птицей. Даже бросается в глаза. Когда Федя был на этом месте, я почему-то не замечал…

Она спросила: что именно важное и птичье проявилось в Гене? Сережа похмыкивал, отмалчивался. Она знала, что рано или поздно не выдержит и расскажет. Так и вышло: через несколько дней «раскололся». В профкоме возник-

ли туристские путевки во Францию, одиннадцать дней, шесть дней Париж, пять — Марсель, Ницца и прочее, мечта жизни стоимостью в кругленькую сумму. Так как путевок было всего четыре, в профкоме решили не рекламировать, а распределить, что называется, втихаря. Сережа узнал случайно, и вовсе не от друга Гены, а от секретарши Ивана Евдокимовича, которая к Сереже благоволила. Желающих поехать было много. Сначала профком нацелился кинуть жребий, но затем тот же Климук проявил осмотрительность, сказав, что жребий внесет ажиотаж и опасную бесконтрольность, выдав путевки тем, кому вовсе ***не нужно*** ехать во Францию, и обойдя тех, кому это настоятельно ***нужно***. Собственно, тут была разумная логика, как во всем, что отстаивал Климук. Но вот загвоздка: кто будет решать, кому нужно и кому не нужно? Сережа как-то прямо сказал Климуку, что Париж ему необходим не для прогулок и развлечений, — тут была капля лицемерия, конечно, — а для того, чтобы порыскать там за материалами, нужными для работы. Всякий знает — и Климук знал прекрасно, — что, изучая русскую охранку, историк непременно сталкивается с Францией, с эмиграцией, русскими агентами. Можно было все это внятно

объяснить, потому что Сережа был прав, имел полнейшее законное основание претендовать на поездку, но Климук как-то кряхтел, переспрашивал, уточнял — хотя чего было кряхтеть, когда дело абсолютно правое? — и Сережа, потеряв терпение, сказал ему что-то грубое, по-свойски. Что-то вроде: «Брось занудствовать!» или «Брось пыжиться, Генка!»

Климук пожал плечами и холодновато ответил:

— Ты изложи свои доводы, треугольник будет решать. Пойми, вопрос этот не такой простой, как кажется.

Слово «пойми» было единственным прежним и человеческим во всем разговоре.

Сережа был подавлен, рассказывая про Климука.

Она решила, что Сережа, может быть, преувеличил, уязвлен мелочами, и в особенности главной мелочью: тем, что Климук разговаривал с ним как начальство. А что делать? С этим надо смириться. Он начальство, ты подчиненный. С этим надо жить. Втайне от него, когда он ушел куда-то из дому, она позвонила Маре просто как приятельница. Почему не звоните, куда пропали, что у вас слышно и так далее. Она поняла, что на-

до действовать. Сережа был удручен, хотя ничего еще не случилось, а что же будет, когда на самом деле откажут? Ей хотелось, чтоб он поехал. «Убег» в Париж мог бы дать ему силы и стать поворотом. Когда на человека обрушиваются одна за другой неудачи, даже не обрушиваются, а просто мягко и привычно садятся на него, как птицы садятся на дерево, человек начинает цепенеть душой, становится бесчувственным и сам постепенно превращается в дерево. Уйма денег нужна, денег не было. Решили так: половину он достанет сам, продаст знакомому книжнику восьмитомник Стефана Цвейга, издательство «Время», великолепный экземпляр в любительских переплетах с красной кожей на корешке, когда-то заплатил за него полторы тысячи старых рублей, а другую половину достанет она, попросит у матери.

И вот позвонила Маре и фальшиво-веселым, приятельским тоном болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет. Хотелось прощупать, но ничего не прощупывалось, Мара разговаривала таким же манерным и якобы приветливым голосом, как обычно, сообщала глупости, хохотала некстати, была, в сущности, невыносима, но все это было не ново, и Ольга Васильевна слегка успокоилась и решила, что

ничто не изменилось и он напрасно впал в панику. Однако Мара была слишком тяжеловесной и не тонкой организацией, чтобы реагировать чутко, следовало поговорить с Климуком, и Ольга Васильевна вовсе неожиданно для себя стала зазывать Мару и Гену в гости. На дачу, в Васильково. Было лето в начале, прекрасная пора, покупаться, позагорать, пошататься в лесу… А? Почему бы не собраться без долгих размышлений — хоть в субботу, хоть в пятницу, когда угодно. Мара сказала, что она лично согласна, но не знает, как Гена. Он ужасно много работает, они никуда не ходят, совсем одичали. Гена был в другой комнате, просил передать привет и сказать, что как-нибудь приедут непременно.

Сережа ворчал:

— Получается нелепо: я вижу его чуть ли не каждый день и не зову, а ты не видишь никогда — и зовешь…

Но, в общем, кажется, был доволен. Нет ничего болезненней треснувшей дружбы. Каждый вечер она спрашивала:

— Ты видел Климука? Они собираются к нам?

— Видел, но не спросил… Навязываться не хочу…

То, что было раньше естественно и легко,

превратилось в проблему. У него язык не поворачивался задать простой вопрос: «Гена, когда вы к нам приедете?» Но однажды вернулся из института возбужденный и сообщил, что Климук сам зашел к нему в комнату и сказал, что если приглашение в Васильково остается в силе, то в субботу они заедут ненадолго.

— Ненадолго? — спросила Ольга Васильевна.

— Ну, не знаю. Он так сказал.

В пятницу купили продуктов, две бутылки водки, две сухого, несколько бутылок пива и на такси поехали в Васильково. Всю неделю там жили Иринка и свекровь одни, с тетей Пашей. Приезжать на дачу в будни было тяжело: далеко от станции, рано вставать, электричкою почти час, И все же, когда выбиралась порой после работы, выходила на платформу, как бы ни была замучена долгим путем, толкотнею в очередях, по магазинам, какой бы лошадиный воз свертков, кульков, батонов, банок и книг, набитых в сетки и сумки, ни тащила, — сразу орошал ее прохладный лесной воздух, она вздыхала глубоко-глубоко, как ни разу за целый день не могла вздохнуть в городе, и с наслаждением ощущала, как медленно выходит из нее усталость и все ее существо полнится новой силой. Было так

здорово! Откуда она бралась, эта сила, после изнурительного дня, дробившего без пощады, без роздыху? От неба, леса? Оттого, что он шел рядом и мурлыкал что-то задумчиво, таща сумки, или рассказывал, покуривая, о деревенских новостях? Тетя Паша принесла сметаны из сельпо, Рыжик опять гонял курей у соседей…

У него были присутственные дни в институте, остальные дни — иногда три-четыре кряду — он мог сидеть на даче. Встречал ее на платформе, забирал сумки, и они шли сначала в толпе дачников по дороге, вдоль зеленой ограды, потом сворачивали к дубовому леску, дачники рассеивались, и когда, миновав лесок, выходили к полю, на Васильковский большак, они обыкновенно оказывались одни. Дачники селились в домах вблизи станции, а те люди, что жили в Василькове, не приезжали поздно из Москвы. Поле было огромное и выпуклое. Деревня лежала внизу, за увалом, казалась провалившейся, закатившейся как бы за край поля, кое-где торчали из провала крыши изб с высоко вскинутыми телевизионными антеннами, туманными грудами серебрились ивы вдоль невидимой речки, мальчик в красной рубахе ехал тропою поперек поля на велосипеде, и где-то стрекотал в тишине трактор. Небо было

светлое и такое, что хотелось смотреть вверх. А в городе неба не замечали и никогда не хотелось смотреть вверх.

До деревни было версты три, и еще в городе мечталось: лишь бы доплестись, дотащить, поесть наскоро, напиться чаю — и на боковую, в большую тети Пашину комнату с запахом свежего сена и чабреца, растыканных пучочками по углам для «духа», потому что никаких сил не было. А получалось каждый раз так: после чаю шли с Иринкою в рощу, в десять укладывали ее и потом еще долго гуляли вдвоем, — если привязывалась Александра Прокофьевна, то ходили недалеко и возвращались скоро, но свекровь осмеливалась на этакое не часто, все же соображала, что мужу и жене надо побыть вдвоем, — а то и купались в омуте, сидели на берегу, болтали с соседями, и все откуда-то брались силы и не хотелось спать.

Но были, конечно, и дожди, холода, дорога через поле превращалась в непролазную топь, и наступала великая деревенская скука. Александра Прокофьевна писала кому-то бесконечные письма, Иринка ныла и жаловалась то на ухо, то на животик, и Сережа бегал под дождем за медсестрой Агнией…

Климук приехал на своей старой «Победе» и

привез гостя, замдиректора института Кисловского. Этого Кисловского никто не ждал. Ольга Васильевна заметила, как Сережа, увидев выходившего из машины Кисловского, съежился на секунду и сделал губами хорошо ей знакомую гримасу, означавшую: «Вот те на!» С Климуком была Мара в сногсшибательном темно-зеленом брючном костюме — тогда они только входили в моду, привозили их из-за границы, — в белых босоножках, с белой сумочкой, с белыми клипсами, ослепительная модница, превратившаяся с помощью хны в ярко-рыжую. Все в Маре с головы до ног было ново и неузнаваемо и поразило Ольгу Васильевну. Приятного мало: сидишь дома в фартуке, в затрапезном — и вдруг является твоя, скажем, добрая знакомая в этаких перьях… Но дело было не в Маре. Ничто ее не спасало. Глупость из нее так и сочилась. Если бы она. бедная, сидела молча, задумчиво улыбалась, держа в тонких пальцах сигарету, она была бы неотразима, но ей хотелось непременно высказываться. Она даже пыталась спорить с Ольгой Васильевной по проблемам биологии. Нет, Мара не могла испортить Ольге Васильевне настроение.

Испортила другая. Та, что приехала с Кисловским. Имя ее теперь забылось. Эта молодая особа,

какая-то развинченная, цыганистая смуглянка, худая и ломаная, сразу не понравилась Ольге Васильевне. Она была вся в бренчащем серебре, в браслетах, бусах, дорогих и красивых. Но нелепо было надевать эту сбрую для поездки в деревню и говорило, конечно, о дурном вкусе.

Ольга Васильевна сразу же, улучив минуту, спросила у Мары тихонько: чем занимается жена Кисловского? На что Мара, как и предполагала Ольга Васильевна, сказала, что она такая же его жена, как «я твоя бабушка».

Словом, очередная климуковская наглость. Однажды он привел каких-то сомнительного качества девиц будто бы с телевидения, причем без звонка, без спроса, на городскую квартиру, и Сережа, слегка спятивший на долге товарищества, уже готовился поить их остатками французского коньяка и угощать печеньем, но Ольга Васильевна, вернувшись с работы и быстро разобравшись в ситуации, твердой рукою все это пресекла и незваных спровадила. Климук был тогда очень зол. Но теперь чувствовал себя хозяином: ведь его так зазывали! И кроме того, теперь он явился с Марой.

— Мы на одну минуту… Мы по дороге на водохранилище… Просто секунду передохнем… —

говорили они, как бы прося извинения за свой налет, за чужих людей, которых привезли, и одновременно выказывая легкое пренебрежение, ибо визит, стало быть, случаен, мимоездом, и не следует принимать его всерьез.

Ольга Васильевна сбивалась с ног, Иринка помогала, тетя Паша содействовала, таскала из погреба то капусту, то огурцы, то грибков соленых, гоняла сына Кольку в сельпо за хлебом — тот мчался на мотоцикле, радостно всполошенный от предвкушения выпивки, — и только Александра Прокофьевна не подходила к плите, не притрагивалась к посуде и занималась на террасе, разгороженной куском холстины надвое, своей писаниной. Она отвечала на письма читателей для какой-то газеты, где вела в общественном порядке рубрику «Наша юрконсуль-тация». Ведь когда-то работала в судах, была адвокатом. Ольге Васильевне не верилось, что она могла быть хорошим и справедливым адвокатом. Нет, не верилось нипочем, но с Сережей она об этом не говорила.

Обедали в садике за домом. День был жаркий, под яблонями душил зной. Больше всего пили ледяную колодезную воду, Колька носил ведрами, бегал к колодцу — а вода в Василькове

была в самом деле удивительная! Нигде слаще и холодней Ольга Васильевна не пивала… В Ереване хуже, там они хвалятся, что у них какая-то особенно замечательная… Ах, что вспоминать! Томило что-то, раздражала та девица, что приехала с Кисловским, задевали ее поглядыванья на Сергея, и кокетливые переспросы, и то, что он глупо хмурился и отвечал неловко, и болтовня Мары, и беспокоило то, что не хватит еды, вина и Сережа не успеет поговорить с Климуком насчет Франции, и как себя вести с этим Кисловским, прилизанным, каучуковым, похожим на циркового артиста, — а все-таки было такое истинное, летнее, молодое, неповторимое — ну, ну, что же? — счастье, наверно… Тогда оно и было, на деревенском дворике, где пахло землей, навозцем, сладким духом июньской пылающей зелени, где за спиной что-то хрюкало, а впереди что-то ломилось с мыком и топом узкой улочкой — Матильда, умница, сама, треща воротами, завалилась в свой загон, а пьяненькая тетя Паша махала задорно коричневым кулачком: «А ну ее к богу в рай, шалопутку!» — потому что их «секунда» давно отлетела, и день отлетел, и настал вечер, а они все сидели, пили, бубнили, болтали, давно уж опорожнились бутылки, и Колька на

мотоцикле гонял к какой-то бабке Кренделихе на другой край деревни за самогоном.

Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, бренча серебром, сопротивлялась.

Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно пустом и несущественном, сказал ему на ухо, что видела сейчас в горнице нечто маловысокохудожественное.

— А если это любовь? — спросил он, глядя осоловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе.

— Ну, для такой любви есть определенные заведения, — сказала она, — а не изба тети Паши.

Тетя Паша, не поняв, о чем речь, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась:

— Чего тетя Паша? Ты тетю Пашу не трог! Тетя Паша — я те дам! Я вас, ребяты, всех тут раскурочу… — И трясла пальцем. — Все ваши тайности разберу… Коль, ты там этого, скажи…

Колька был бригадмилом, чем немало чванился, всем об этом сообщал под секретом. Вообще-то

он работал плотником в совхозе. Был невысок, худощав, с чахловатой бледностью на мягком, девическом лице, волосы но» сил длинные, как семинаристы в Загорске, играл посредственно на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот, черт такой, не женится и «только силу свою переводит». А в армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца, пить ему было запрещено — не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма, — но запрет, разумеется, нарушался, и чуть ли не ежедневно.

Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки, всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одну он выслушивал. Странное свойство у старухи! Близкие люди ее в грош не ставят, — да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы, — а вот посторонние уважают и даже побаиваются. По-видимому, там есть неодолимая потребность властвовать, чему люди простые, невысокого интеллекта, сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся.

И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда

в сумерках пошли гулять в рощу— Кисловского едва выманили из горницы, — Александра Прокофьевна завела придирчивый, похожий на судебное разбирательство разговор с Климуком, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил, драный, тощий и голодный, из общежития («Всегда был голоден, когда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, и еще сверх того, пять котлет, восемь котлет, двенадцать котлет, что-то фантастическое».) и Сережа оставлял его ночевать, они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились, она называла его Гешей, считала добрым малым, но несколько лопухом, Сережа натаскивал его по диамату и языку, и вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменились не заметно ни для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это вначале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом, и был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший баском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя,

которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованно и даже немного стеснительно, как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, и это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа из тех, над которыми смеялись еще в двадцатые годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль, надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этакого дурачка долговязого! И Александра Прокофьевна подчеркнуто говорила Климуку «ты», называла его Гешей, как в старину, всячески сшибала с него спесь.

— Что-то я позабыла, память стала изменять, — говорила она. — Кстати, странно, памятью я всегда гордилась, с гимназических лет… В каком году, Геша, приезжал твой брат из Кременчуга? Он у нас жил, я ему адвоката нашла… Какое-то дело, связанное с хищением…

— Александра Прокофьевна, что за охота вспоминать допотопные истории? — вступила Ольга Васильевна, догадавшись, что Климук надулся и раздражен, что, конечно, не поможет предстоящему разговору.

— Нет, я хорошо помню, что звонила Елизавете

Марковне в городскую коллегию, а если Елизавете Марковне — это значит дело хозяйственное, она такие дела любит, не то что любит, а разбирается в них, знает бухгалтерию… Ведь там что важно? Сумма хищения. Надо каждую копейку отбивать…

Сила старухи была такова, что пьяный люд как-то притих и несколько протрезвел, прислушиваясь к рассказу, который она завела на правах старшинства. Напрасно жаловалась на память, все помнила отлично. Климук мрачнел, напрягался, вдруг стал хохотать:

— Слушайте, это же театр абсурда! Какой-то гиньоль! Бог мой, зачем все это помнить — мне, вам, кому бы то ни было?.. Есть такое понятие: историческая целесообразность… Вы знаете, кто сейчас мой брат?

Хохоча и хвастаясь, рассказывал что-то о своем брате. Все стали почему-то смеяться. И так, беспричинно смеясь, подошли к излучине реки, где был песчаный бережок, место купанья. Днем тут бултыхалась детвора, загорали дачники, деревенские мальчишки прыгали солдатиком с железной стойки, а теперь было пустынно, белели в сумерках газеты на сером песке. Вода была холодная и пахла тиной. Мужчины купа-

лись, женщины сидели на травяном склоне и разговаривали, но для Александры Прокофьевны такое занятие — сидеть на траве и разговаривать — было чересчур женским и мещанистым, и она сообщила, что тоже будет купаться, в стороне от мужчин и вдали от женщин, и просила за ольху не заходить. Минут через двадцать из-за ольхи раздался зов о помощи: Александра Прокофьевна не могла выбраться из воды на глинистый скат и просила, чтоб Сережа подал руку.

Мара, при всей ее недалекости, кое-что поняла и шепнула Ольге Васильевне:

— Я тебе сочувствую!

Тот вечер запомнился другим. Сережа прицепился к климуковским словам насчет исторической целесообразности. Тут было что-то больное. Сначала они мирно перебранивались в воде, дурачились и брызгали друг в друга, как мальчишки, потом спор стал тяжелеть, и на обратном пути в деревню спорили вовсю, хмель после холодной воды исчез, они начали говорить резкости, в спор впутался Кисловский. Это было связано с работой Сережи, с какими-то другими работами, вообще со взглядом на историю.

Может, с того пьяного вечера в Василькове на самом деле, наверное, раньше, но в сознании

Ольги Васильевны тот вечер отпечатался началом — затеялась долгая распря между Сережей, Климуком и всеми остальными, которая так мучила его и кончилась печально. Когда пришли в тети Пашину избу, сели на терраске пить чай, Сережа и Климук уже кричали друг на друга в озлоблении. Она не думала, что Климук может быть таким злым.

Про Сережу-то знала: когда влезал в спор, его охватывала неистовость, он забывал о правилах приличия, о великодушии. Ему нужно было одно — доказать.

— Вот у тети Паши в горнице старинные часы в деревянном футляре! Откуда они у вас, тетя Паша? — кричал Климук, выбрасывая правую руку, как на трибуне.

— А я знай! Отец откель приволок, наменял, говорит, в голодные года…

— Наменял, приволок — все едино. И все не важно, а важно лишь то, что время показывают верно и каждые полчаса играют Штрауса, Правильно я говорю, тетя Паша?



Тетя Паша чопорно поджимала губы:

— Мне ни к чему, милый человек, только я вам не дозволяла меня тетей Пашей звать...

— Правильно, руби меня сплеча! Все не важно и не имеет значения, кроме исторической целесообразности, — запомни это, тетя Паша, и плесни, пожалуйста, еще чайку. Моя мать, кстати, такая

же тетя Паша, вроде вас, только зовут ее тетя Павлина и живет она в Белгородской области, Шебекинском районе…

— Историческая целесообразность, о которой ты толкуешь, — говорил Сережа, — это нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота…

— Это единственно прочная нить, за которую стоит держаться!

— Интересно, кто будет определять, что целесообразно и что нет? Ученый совет большинством голосов?

Он настолько зарвался, что забыл о том, что Кисловский как раз председатель ученого совета. Ольга Васильевна надеялась, что люди, пившие целый день и моловшие ерунду, позабудут, кто, что и зачем говорил всерьез, но, как оказалось, те запомнили Сережины выкрики хорошо. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный.

Когда Сережа браво шутил: «Ученый совет, что ли, большинством голосов?» — и презрительно усмехался, эта усмешка оскорбляла сильней, чем слова. И уж Кисловский вряд ли ее забудет. Сережа был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Скольких он наплодил — шуточками, спорами,

ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить. Чего стоит кличка, которую он налепил Климуку в ту пору, когда они еще не стали окончательно врагами, но к этому шло: Геннадия Витальевича прозвал Генитальич. В институте подхватили с восторгом. А зачем это нужно — так озлоблять? Было поздно. Они все сидели и сидели. Мужчины спорили, галдели, дымили, допивали остатки — Кольку опять гоняли к Кренделихе, — женщины клевали носом, Иринку давно уложили спать, Ольга Васильевна зевала и всем видом показывала, что смертельно устала, и в открытые окна глядел из темной синевы высокий месяц.

Нет, не уезжали! Тоже зевали, потягивались и тоже всем видом выражали смертельную усталость и желание где-нибудь прикорнуть до утра. Потом был разговор между Сережей и Климуком — мужчины ходили в домик на другой конец двора, и когда вернулись, гости сразу стали прощаться. Ольга Васильевна поняла, что между мужчинами что-то произошло: после нового вечернего хмеля оба как-то угрюмо протрезвели. Кисловского втащили в машину в летаргическом состоянии. Мара села за руль, она нарочно не пила, чтобы дать возможность гульнуть мужчинам.

Странно: глупенькая Мара показалась Ольге Васильевне единственным нормальным человеком среди этой четверки. Чмокнув Ольгу Васильевну в щеку, она шептала, довольная:

— Правильно, что он их не оставил! Ну их… Подумаешь, персоны граты!

Колька свистел в бригадмильский свисток и, размахивая руками перед фарами машины, орал:

— Эт-та почему такое — выпимшие за рулем? Кто разрешил? А ну, вылазть, машина не пойдет!

Сережа рассказал, что Климук просил оставить на ночь Кисловского со спутницей. Собственно, ради этого они и приехали. Он разозлился и отказал. Климук уговаривал, убеждал всячески:

— Ты меня приглашал с ночевкой, я имею право на два койко-места на твоей даче, ну, так я уступаю эти места своим друзьям… — Потом стал угрожать: — Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя… — И, наконец, едва не со слезами в голосе умолял: — Старик, сделай это ради меня! Я твердо обещал! С твоих слов! Как я буду выглядеть после такого обмана?

Сережа сказал, что почувствовал внезапное и непреодолимое отвращение.

— Я вдруг догадался, что передо мною торгаш.

Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое, и вот вся сделка рушилась… Какую он мне закатил истерику! Как шипел, как клокотал в ярости! «Ты негодный товарищ, на тебя нельзя положиться. Ты ненавидишь людей». И этот неподдельный гнев не оттого, что он сочувствовал приятелю, а оттого, что у самого что-то отнимали. Я его ограбил, понимаешь?

А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Цыганистая девушка была, конечно, мерзка, но если Кисловский столь важная фигура и Климук просил… Уложить их в комнате, самим на террасе… Но у Сережи было несуразное, ***вкусовое*** отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе. Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось. Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений.

— Вдруг чувствую, что я тоже торгаш и принимаю участие в какой-то длинной и скучной сделке. Стало тошно, и я отказал. Сославшись на тебя. Дескать, ты у меня строгих правил… Да ну его к бесу!

Боже мой, теперь очевидно, какая это была цепь глупостей и жалких изобретений! Не надо

было зазывать их на дачу. Не надо было, коль уж зазвали, фордыбачить и обижать. И не надо было так уж рваться в прекрасную Францию…

Разумеется, в Василькове Сережа не сказал ему ни слова, и правильно поступил, но — зачем тогда это судорожное гостеприимство? Прошло два дня. Он поехал в институт. Вернувшись вечером домой, на Шаболовку, в радостном возбуждении рассказал: Генка был очень приветлив, дружелюбен, расспрашивал, как самочувствие Ольги Васильевны, свекрови, Иринки, тети Паши и бригадмила Коли и не набедокурили ли гости в пьяном угаре. Сережа отвечал, что все было высокохудожественно, претензий у хозяйки нет. И в том же полушутливом тоне:

— А Эдуард Николаевич не говорил каких-нибудь слов? В связи с нехваткою мест в гостинице?

Нет, никаких слов, потому что говорить было нечем: до самой Москвы язык у Эдуарда Николаевича не шевелился. А лишь только въехали в Москву, он произнес хриплым голосом первое слово. Это был почему-то вопрос: «Принесли?» Так никто и не понял, что это значило.

Постояли, похохотали в коридоре и разошлись. А что насчет Франции? Пока ничего. Полная

неясность. Вообще-то Климук поговорит с кем нужно, он обещал.

— Старуха, не суетись! Генка сделает, это не проблема…

В ту минуту он, кажется, искренне в это верил.

Проблема была — добыть деньги. Сначала Ольга Васильевна втайне поговорила с матерью, которая часто выручала ее, давая небольшие суммы взаймы и просто так, без отдачи, но тут мать заколебалась: сумма ошеломила ее. Таких денег у матери не было, Георгий Максимович давал ей на расходы помесячно.

— Неужели этот вояж так уж необходим? — Мать слабо пыталась сопротивляться. — В вашем доме столько дыр. Тебе нужна шуба, Иринка из всего выросла… И потом: если бы уж вдвоем!

Ольга Васильевна объяснила, что вдвоем совсем невозможно, да и никто не предлагает вдвоем, а ему такая поездка была бы полезна во всех смыслах. Мать не вполне понимала, о каких смыслах речь, растолковать было трудно, речь шла о понятиях таинственных, — например, о присутствии духа, о самоутверждении, — но она поверила Ольге Васильевне. Мать всегда верила ей в конце концов. Обещала поговорить с Георгием Максимовичем. На другой день позвонила и

сказала, что Георгий Максимович просил Сережу зайти.

Были уверены, что «зайти» значило просто зайти, чтобы взять деньги. В субботу поехали втроем. Мать и Георгий Максимович уже три года жили на новой квартире, недалеко от прежнего дома на Сущевской, где осталась мастерская. Дела у Георгия Максимовича шли теперь очень хорошо, он занимал какие-то выборные должности, чем-то распоряжался, где-то преподавал и работал слегка. Много работать запрещали врачи. Но он все равно любил уходить с утра в мастерскую, и если не писал и не рисовал, то потихоньку возился с картинами, маленьким молоточком вбивал в багеты гвоздики, укрепляя картон, перебирал листы, кое-что поправлял, не напрягая зрения, или же приглашал какого-нибудь приятеля со второго или первого этажа, они согревали чай на плитке, обсуждали дела, вспоминали прошлое и одновременно рассматривали репродукции, богатейшую коллекцию Георгия Максимовича, разложенную по громадным папкам.

Сережа относился к Георгию Максимовичу неплохо, считал его порядочным человеком и даже испытывал к нему нечто вроде благодарности: не за то, что тот творил на полотне и

бумаге, а за то, как вел себя в качестве отчима Ольги Васильевны. Но однажды он сказал Ольге Васильевне:

— Есть такие детские картинки: смотреть на них сквозь розовую пленку — видишь одно, сквозь голубую — совсем другое. Вот твой отчим, прости меня, напоминает такую картинку. То вижу его художником, настоящим, жертвующим ради искусства всем, а то дельцом, гребущим заказы…

Ольге Васильевне не понравилось, ей показалось, тут унижение матери. Она не могла бы полюбить дельца. В том-то и дело: она полюбила несчастного, неустроенного, голодного и нищего, но чистого человека… А кто процветал в эвакуации? Если б он был дельцом, он бы процветал. Он не умел зарабатывать на хлеб. Не умел ничего, кроме мазюканья кисточкой по бумаге. Единственную пару ботинок, высоких, черных, с тупыми, расплющенными носами, — они хорошо ей запомнились, — он утром обвязывал шнурком, потому что отлетала подошва. Это потом, спустя годы, десятилетия, дела его изменились и он стал легко зарабатывать деньги.

Мать как-то шепнула ей, что денег у Георгия Максимовича на книжке довольно много. Ко-

нечно, это было хорошо. Ольга Васильевна могла быть спокойна за мать, да и ей самой в худую минуту было куда ткнуться…

Но Сереже не хотелось в ту субботу идти к тестю. Он как будто чуял неприятное.

— Пойди одна. Я тебя прошу…

— Нет, Сережа, неудобно. Деньги просишь ты для своей поездки. Если ты не пойдешь, это будет воспринято как барство. Ты и так ходишь к ним редко.

— Скажи, что я заболел. Я действительно плоховато себя чувствую.

— Нет, если не пойдешь, я не пойду тоже. Тогда все отменяется.

Его нежелание идти к родственникам показалось ей чрезвычайно обидным. Те делали благородный жест — у кого бы он занял такую сумму? у дружков-приятелей? черта с два! — а от него требовали минимум внимания; посидеть, выпить чайку, поговорить со стариками. Ну, и, конечно, сказать «спасибо» или «я вам благодарен», два слова в знак признательности. Неужто трудно? Нет, не трудно, даже приятно поболтать с Георгием Максимовичем, который столько знает и жил в том же Париже, на рю де Муфтар, о чем мы много наслышаны, но… Э, да что говорить!

Если непонятно сразу, тогда нечего объяснять. Тошнотворная невыносимость — вот что такое просьбы, и это делает все разговоры, чаепития и родственные встречи фальшивыми.

— Поэтому я тебя просил, — видишь, опять просьба, опять невыносимость! — если можно, избавь меня от этого испытания. А если нет — пожалуйста, идем…

Она должна была понять его, но — не поняла, потому что мысли ее были заняты матерью, которой тоже было непросто и, может быть, невыносимо, но она пересилила себя и ***попросила***.

— Приходится иногда делать неприятное, — сказала она непреклонно. — Ты этого не любишь, я знаю. Теперь решай: пойдем или останемся дома?

Всю дорогу ехали молча. Она еще разжигала себя: интересно, почему это он считает себя вправе обижаться? На что, собственно? На то, что едет во Францию, а она остается? Иринка тоже молчала. Она чутко улавливала трещины и размолвки, возникавшие между родителями, и реагировала по-своему, — нет, не пыталась рассеивать, веселить или мирить, как, по рассказам, делали другие дети, а вела себя точно так же, как родители: если они угрюмо молчали, и

она тотчас замыкалась, если были сварливы и раздражительны, и она разговаривала точно так же раздражительно, ворчливо, как маленькая старушонка.

Так, в молчании, доехали до Сущевской, прошли мимо старого дома, углубились в переулки, где все теперь было неузнаваемо, сломано, перестроено. Удивительная загадка: почему у нее было мрачнейшее настроение, когда подходили к дому матери? И у него тоже? Ведь были молоды, здоровы, занимались делом, он собирался за границу, она надеялась за это время сделать небольшой ремонт в квартире, а еще рассчитывала на то, что он привезет какие-нибудь парижские тряпки, и, порасспросив, даже наметила, какие именно… И они все трое были вместе, вместе! Это была ***их жизнь***.

Но они мрачно вошли в подъезд, мрачно погрузились в лифт. Единственная фраза, которую произнесла Ольга Васильевна, было строгое наказание дочери:

— Не трогай грязную стенку!

Квартира родителей была небольшая, удобная, прихожая в красивых, карминного цвета, венгерских обоях, в большой комнате обои были под дерево. Здесь Георгий Максимович со вкусом

расставил обломки своей антикварной мебели, развесил разные полочки, расставил этажерки, и все, что в старом доме казалось хламом, здесь приобрело особый, дорогой и старинный вид. Кроме того, на стенах, конечно, было множество картин, гравюр и рисунков под стеклом, не только Георгия Максимовича, но и других художников, среди этих вещиц были два этюдика Левитана и Коровина, рисунки еще каких-то знаменитостей и, гордость Георгия Максимовича, волнистый прочерк карандашом Модильяни, изображавший нечто неясное и эротическое. На всех этажерках, полочках и на книжном шкафу стояли свечки, свечечки и толстые, узорчатые, необыкновенных форм и оттенков свечи для запаха, купленные за границей знакомыми Георгия Максимовича — сам он за границу не ездил, запрещали врачи, — и все это теперь курилось, мерцало, горело и пахло благовонно и сладко.

— Иллюминация в вашу честь, медам и месье! — Георгий Максимович парадным жестом приглашал в комнату.

Французские слова были сказаны не без смысла, и это Сереже, как видно, не понравилось: она заметила, как его губы слегка надулись в знакомой гримасе. Благородный поступок — дача ссуды

родственникам жены — производился хотя и в домашней, но в торжественной обстановке. И сам Георгий Максимович выглядел торжественно: в широкой, из черного вельвета, художнической куртке, недавно пошитой в ателье МОСХа, с фиолетовым фуляровым платком на шее, в белоснежной рубашке, в брюках модного серого цвета «гудрон», но, правда, внизу у него были старые шлепанцы со смятыми задниками.

Сначала пили чай, ели торт. Иринка рассказывала о школьных делах — Ольга Васильевна слушала с большим интересом, потому что дома Иринка никогда ничего не рассказывала, негодница, а в присутствии бабушки, дедушки или каких-нибудь не самых близких людей, но и не слишком посторонних в ней открывался дар рассказчицы, и она им щеголяла, — а затем мать увела Ольгу Васильевну и Иринку к себе в комнату, а мужчины остались для беседы.

Георгий Максимович заговорил о своей жизни в Париже, на рю де Муфтар, которую они, русские парижане, называли «Муфтаркой», о своих тогдашних приятелях, двое были из Одессы, один из Елизаветграда и один из Витебска, тот, что потом прославился на весь мир. А про остальных Георгий Максимович ничего в точности не знал:

кажется, кто-то уехал в Америку, другие умерли в безвестности, одного убили немцы, когда вошли в Париж. Все это было чудовищно давно. Это была юность века, юность эпохи, юность аэропланов, кинолент, игры в футбол, разложенческой живописи, всего того, от чего теперь сходит с ума мир, и — совпадение! — это была его собственная, Георгия Максимовича, юность. Поэтому он запомнил девушек, их шутки, их жесты, то, как они сбрасывали платья и закрывали глаза, и что они при этом говорили, он запомнил голод, он запомнил кафе, он запомнил радостную, неутомимую работу по ночам неизвестно для кого и зачем, не приносившую заработка.

Вспоминая, Георгий Максимович стал волноваться, и его крупное мягкое лицо с большим носом покраснело, и он вынул из кармана куртки шелковый фиолетовый платок и вытирал лысую голову и щеки.

Все это Ольга Васильевна представляла себе очень отчетливо, потому что Сережа потом подробно и красочно— подражая движениям и голосу Георгия Максимовича, совершенно по-актерски, как он умел, — изобразил разговор.

— Собственно говоря, я был в Париже дважды… Первый раз совсем мальчишкой, в десятых годах,

но тогда я ничего не понимал… Второй раз — в двадцатых, был послан в командировку, тогда я понимал несколько больше… Ну что вам сказать? Второй раз мы жили на улице Вожирар… Это самая длинная улица Парижа…

Сережа думал: вступление затянулось. Когда же он перейдет к делу? Георгий Максимович еще некоторое время что-то говорил с затухающим энтузиазмом, потея и обмахиваясь платком, что-то про свою первую жену, с которой жил на улице Вожирар, она работала машинисткой в нашем посольстве, а он делал эскизы к большой картине о Парижской коммуне. Почему-то эта картина так и не была закончена.

— Ну что вам сказать о Париже? — неожиданно вялым голосом промямлил Георгий Максимович. — Париж, конечно, красив… Но не более красив, чем Одесса, чем Киев… И ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно неказистая и грязная река… Лето там очень тяжелое, попросту нечем дышать…

Сережа спросил: не намекает ли Георгий Максимович на то, что ехать в Париж не имеет смысла?

Георгий Максимович покачал головой и улыбнулся хитро и значительно. О нет! Совсем нет.

Как старый и много видевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем: в прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая получить удовольствие и промотать денежки. А о том, кескесе современный туризм, Георгий Максимович не имеет представления и не берется судить… Сережа смеялся: вас понял! Я не отношусь ни к первой, ни ко второй категории и, стало быть… Бог с вами, дорогой зять, я не отговариваю вас и даже приготовил по просьбе Галины Евгеньевны некую сумму «аржан» для приобретения…

Из кармана вельветовой куртки появилась пачка десятирублевок.

— Пожалуйста, — сказал Георгий Максимович, очень радостно и добро улыбаясь всеми своими пластмассовыми зубами, и протянул пачку Сереже.

— Спасибо, — сказал Сережа. Но пачку не взял. По его словам, он испытал в ту секунду какой-то странный сдвиг: точно все побежало вдруг в обратном направлении.

Георгий Максимович положил пачку на стол

рядом с Сережей. Они продолжали разговор. Георгий Максимович расспрашивал о работе, о том, как подвигается диссертация.

Диссертация подвигалась плохо. Сережа не любил говорить об этом. Он стал отвечать отрывисто и небрежно, а на какой-то вопрос Георгия Максимовича не ответил вовсе, замолк, отключился и, замурлыкав мотивчик, глядел в окно, размышляя о постороннем.

— Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? — спросил Георгий Максимович.

Сережа, поблагодарив, сказал, что помочь ему не может никто. Да и как, собственно, помогать? Это ведь не забор красить и не огород копать. Он стал понемногу накаляться. Ему показалось, что Георгий Максимович проявляет к нему сочувствие, а сочувствие было нечто особенно ненавистное ему, и тут он решил окончательно, что денег не возьмет.

— Вы знаете, как я поступал, когда работа не ладилась? — бормотал старик, не догадываясь, что в эту минуту ему надо было помолчать. — Я находил в себе силы уничтожить начало и начать снова…

— Да, да, понимаю… — кивал Сережа, улыбаясь.

— Вы зашли в тупик. Так? — Старик изображал что-то руками. — Вам следует отойти на несколько шагов и поискать — так? — какой-то другой путь, другой ход… Надо находиться в непрестанном движении, и тогда…

— Вы совершенно правы, дорогой метр. И ваше творчество прекрасно подтверждает… (Ольга Васильевна вошла в комнату и, услышав эти слова, ахнула про себя, поняла, что Сережа находится в последней стадии раздражения, ибо перешел к язвительностям. Но вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Георгий Максимович. Все будет в порядке. Я вам обещаю. — Увидев вошедшую Ольгу Васильевну, он сказал быстро: — Собирайся, мы засиделись… Надо ехать домой!

Георгий Максимович воскликнул:

— Возьмите! Вы что-то забыли! — Он размахивал пачкой, держа ее над головой, как флаг.

Это «что-то» вызвало у Сережи новый приступ язвительности:

— Не «что-то», а определенную сумму дензнаков, которую вы, Георгий Максимович, очень любезно и так далее… Я вам горячо благодарен, но — спасибо, я обошелся. Большое спасибо!

На улице после долгого молчания он сказал Ольге Васильевне, чтобы она ни своим родите-

лям, ни кому бы то ни было не рассказывала о его делах с диссертацией. И вообще о его делах. Присутствие Иринки сдерживало его, но Ольга Васильевна видела, что он клокочет. Он выбрасывал короткие шипящие фразы, смысла которых Иринка, конечно, не понимала, но видела, что родители ссорятся, отец нападает, и поэтому взяла Ольгу Васильевну за руку и смотрела на отца сердито. Ей было тогда лет одиннадцать, и она уже вовсю влезала в разговоры взрослых. Он говорил, что всякого рода сочувственные расспросы, советы, рекомендации из собственного опыта ему не только не нужны и бесполезны, но и — пошли они к черту! Ольга Васильевна долго крепилась, видя, что он взвинчен сверх меры. Но когда он заявил явную ложь: «Я тебя не раз предупреждал, чтобы ты никому не сообщала о моих делах, а ты болтаешь, трепло!» — она не выдержала и сказала, что это неправда, она не болтает и не надо свое раздражение изливать на нее.

— Откуда же он знает подробности?

— Да ты ему сам говорил!

— А почему же ты не можешь написать диссертацию? — крикнула Иринка.

— Тебя тут не хватает… — Он щелкнул дочь по макушке. — Цыц!

Иринка отбежала вперед и, приплясывая, кричала:

— Эх ты! Эх ты! Диссертацию не можешь написать!.. Эх, эх, эх! Диссертацию не можешь написать!

Эта глупая Иринкина выходка подействовала неожиданно: он прыснул со смеху, потом замолчал и до дома не проронил ни слова.

Но что с ним происходило? Она не могла понять. Не потому, что была чересчур занята работой, лабораторией, сложными отношениями, которые существовали в ее мире так же, как повсюду, — она, кстати, умеет ладить с людьми и не боится сложностей, — но потому, что его предмет представлялся ей странным слитком простоты и тайны. Что, казалось бы, могло быть проще ***того, что уже было***? Всякая наука озабочена движением вперед, сооружением нового, созданием небывалого, и только то, чем занимался Сережа, — история, — пересооружает старое, пересоздает былое. История представлялась Ольге Васильевне бесконечно громадной очередью, в которой стояли в затылок друг к другу эпохи, государства, великие люди, короли, полководцы, революционеры, и задачей историка было нечто похожее на задачу милиционера, который в дни

премьер приходит в кассу кинотеатра «Прогресс» и наблюдает за порядком, — следить за тем, чтобы эпохи и государства не путались и не менялись местами, чтобы великие люди не забегали вперед, не ссорились и не норовили получить билет в бессмертие без очереди…

Однако Сережа очень мучился на этой простой милицейской должности. И тут-то заключалась тайна. Было недоступно ее уму. Почему нельзя посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно, вытащить из гигантской ***очереди*** все, что касается московской охранки накануне Февраля, и добросовестно это вытащенное обработать? Ведь не надо создавать невиданного. Не то что они с Андреем Ивановичем бьются над БСС — биологическим стимулятором совместимости. Пытаются сотворить нечто еще не существовавшее в мире, ни в Америке, ни в Японии, ни в Древней Греции, ни в Египте, нигде. Сережа сидел в архивах с утра до вечера. Заполнил выписками тридцать шесть толстых общих тетрадей. Тридцать шесть! Она недавно пересчитала. И все-таки чего-то ему не хватало — какого-то последнего знания, последнего опыта — или, может быть, не хватало страсти, охоты…

С ним бывало: вдруг пропадал интерес. Вернее,

возникал интерес к чему-то совсем другому.

Так было с Францией — вдруг сказал, что исчезло всякое желание ехать: «Мне сейчас не с руки». Позвонили из профкома, сообщили, что группа сократилась и он, к сожалению, не поедет. Выслушал равнодушно и вялым голосом — будто из вежливости — пробормотал несколько слов: «Что вы говорите? Как жаль…» — а там, наверное, думали, что он здорово владеет собой, что на самом деле убит горем. Но она видела, что ему действительно плевать: пропал интерес.

Сказал ей:

— Чего я там не видел? То, что мне нужно, я могу найти только здесь…

Сначала ему нужно было очень много. Не вполне представляя себе объем и суть работы, которую он задумал, она все чаще догадывалась, что он замахнулся на нечто слишком большое, даже безграничное. Она приводила в пример диссертацию — докторскую! — Андрея Ивановича о биологических стимуляторах, написанную удивительно емко, сжато. Там не было ни единой лишней детали. Она вся будто на пружине, простая и динамичная, как английский замок, а пружиною была мысль. Одна гениальная догадка Андрея Ивановича: о диффузионной структуре

стимуляторов. И вот она добивалась: а какая мысль у тебя? Есть ли у тебя нечто всеохватное, плотящее воедино все твои тетрадочки, выписки, факты, цитаты?

Это говорилось из желания помочь, а не в укор. Но он не разговаривал с нею о своей работе всерьез, вернее — никогда не высказывался до конца, она чувствовала, что какие-то мысли он оставляет в своем подполье, как неприкосновенный запас. А может быть… Вдруг — никакого запаса и не было? И все это блеф или, точнее сказать, ***самоблеф***? Как раз на это намекал Генка Климук, когда пришел однажды — еще в начале своей деятельности на высоком посту — доверительно поговорить о Сереже.

Трудно было понять, чего он хотел. И тогда-то было неясно, а теперь и подавно: подробности исчезли. Пришел внезапно в тот день, когда Сережа был в Ленинграде. Вошел с мимозой, в красной рубашке, в красных носках, как молоденький, обнял Ольгу Васильевну и даже чмокнул в щеку по-свойски. Она ему сказала:

— Генитальич! — И погрозила пальцем — Жен приятелей целуют в присутствии мужей…

А он сказал, чтобы не называла этой собачьей кличкой, которая только дам отпугивает.

В его лице старого мальчика на миг мелькнуло лукавство. Но она почувствовала — сердцем, как обычно, когда дело касалось Сережи, — что под этим лукавством таится озлобление. Какова была цель? Что-то нудно толковал о «ложном положении», о каких-то «обязательствах», о том, что Сережу взяли на определенных условиях, но Сережа добился — с помощью Феди — перемены темы диссертации, и это почему-то было плохо. Не могла понять — почему. Нарушался план института или что-то в этом роде.

— Мы пошли ему навстречу! — говорил он тоном все строже. — Мы в ущерб себе согласились с его просьбой!

Он говорил не как приятель, а как доброжелательный чиновник. Ее это поразило. В первые минуты она держалась с ним фамильярно и чуть пренебрежительно, потому что знала, что он меняется к худшему, и ей хотелось его проучить, но затем его речь и тон так ее ошеломили, что от растерянности и совершенно невольно она стала разговаривать с ним как подчиненная.

— Хорошо, — говорила она, — я ему скажу. Я передам.

Одно было ясно: они могут сделать так, что защита не состоится.

Все преподносилось в форме заботы о нем: он себя губит, пошел куда-то не туда, зарылся в дебри, потерял путеводную нить.

— Сережка дико упрям, ты это знаешь, — произнес он вдруг человеческую фразу. — И если вовремя не остановить, он себе голову расшибет.

Она не знала: рассказать Сереже или, может быть, скрыть на время? Он вернулся из Ленинграда усталый, сердитый, все там было плохо — погода, гостиница, знакомые недостаточно почтительны, не проявляли внимания, и, главное, не нашел в архивах того, что искал. Но она все-таки рассказала. К удивлению, он принял рассказ спокойно и даже как-то свысока посмеялся:

— Бедные дурачки, они все боятся, что я буду защищать Бросова…

Там был такой Толя Бросов, которого Климук сживал со света.

Но дело было в другом. Бросов оказался ни при чем, и спустя два года, когда разбиралось «дело» самого Сережи, Бросов и Климук выступали дружно, в одной упряжке. Им не нравился метод, с которым он носился и который назвал полушутливо-полувсерьез «разрывание могил». На многих его тетрадях написано на обложке «РМ», что означает «разрывание могил» и говорит о

том, что он относился к этой романтической метафоре более всерьез, чем шутливо. Он искал нити, соединявшие прошлое с еще более далеким прошлым и с будущим.

Из того, что она уловила когда-то: человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он, никогда не примирится со смертью, потому что в нем заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду... Она улыбалась, слыша такие его речи за ужином и в постели, когда на него вдруг находил стих курить и философствовать. Надо ли было ей, биологу и материалисту, опровергать эти рассуждения? Господи, если бы она могла переделать себя! Хоть на минуту. Но, к сожалению, это было ей недоступно. Знала твердо: все начинается и кончается химией. Ничего, кроме формул, нет во вселенной и за ее пределами. Несколько раз он спрашивал у нее вполне серьезно:

— Нет, ты действительно думаешь, что мо-

жешь исчезнуть из мира бесследно? Что я могу исчезнуть?

А она отвечала ему с искренним изумлением:

— А ты действительно думаешь, что не можешь?

И он говорил, что, как ни тщится умом, как ни силит воображение, представить себе не может…

И вот он исчез. Его нет нигде, он присоединился к бесконечности, о чем говорил когда-то легко, куря сигарету. Боже мой, если все начинается и кончается химией — отчего же боль? Ведь боль не химия? И ***их жизнь***, померкшая внезапно, как перегоревшая лампа, разве была соединением формул? Человек уходит, его уход из мира сопровождается эманацией в форме боли, затем боль будет гаснуть, и когда-нибудь — когда уйдут те, кто испытывает боль, — она исчезнет совсем. Совсем, совсем. Ничего, кроме химии… Химия и боль — вот и все, из чего Состоит смерть и жизнь.

У него это началось — то, что он называл «разрыванием могил», а на самом деле было прикосновением к нити, — с его собственной жизни, с той нити, частицей которой был он сам. Он начал с отца. Он очень любил слабую память о нем.

Ему казалось, что его отец был замечательный человек, что было, наверное, преувеличением и в некотором смысле гордыней. Это во многом шло от Александры Прокофьевны, которая мужа боготворила и числила примерно так: Горький, Луначарский, Надежда Константиновна и Афанасий Дементьевич Троицкий. После гражданской войны он что-то делал на ниве просвещения. А в семнадцатом, после Февраля, будучи студентом Московского университета, работал в комиссии, разбиравшей архивы жандармского управления. Комиссия выявляла тайных сотрудников бывшего охранного отделения. Когда Сережа наткнулся на этот факт — участие отца в работе такой комиссии, — он стал копаться, полез в архивы и увлекся всей этой историей. А потом дальше — почему? откуда? — стал изучать семью отца, и деда, и даже прадеда, для чего ездил в Пензу.

Она догадывалась, что он пошел куда-то чересчур вглубь. Все это было любопытно, занимательно, — но зачем? Как-то сказали, что в одном доме можно познакомиться с правнуком знаменитого поэта, он с радостью ухватился:

— Пойдем непременно!

Повела одна женщина с работы Ольги Васильевны. Сказала, что у правнука поэта времени

мало, он попьет чай, посидит полчасика и уйдет не позже пяти. Встреча происходила в блочной новостройке в Черемушках. Все в этой комнатке, стандартной, с низким потолком, состояло как бы из обломков. Вокруг стола, покрытого простой скатертью — хозяйка отмахнула край и показала инкрустированную музейную поверхность, тщательно отполированную, — стояли рядом с обычными мебельторговскими стульями два скромных произведения начала прошлого века с золочеными головками сфинксов на высоких спинках, а чай пили из кузнецовских и гарднеровских чашек, бывших, разумеется, тоже обломками каких-то рассыпавшихся сервизов.

Правнук поэта был средних лет, белесый, морщинистый, с модно подстриженными бачками. На нем был синий пиджак, украшенный медальками и значками. Он звенел ложкой в стакане, постукивал пальцами по столу и, торопясь, очень многословно и невнятно рассказывал какую-то запутанную историю жилищного обмена. При этом повторял то и дело: «В отношении того».

Ольга Васильевна смотрела на правнука во все глаза и сначала робела, не зная, о чем говорить с ним, Сережа тоже молчал и выглядел хмуро, но затем Ольга Васильевна стала разговаривать с

правнуком насчет обмена и давала ему советы, так как сама недавно менялась.

— В отношении того, — бубнил правнук, — что приближается юбилейная дата… Я составил в отношении того письма… Академик Велегласов обещал подписать, артист Сонин подписал…

Старушки говорили между собой по-французски. Вскоре правнук заторопился уходить, одну из старушек он чмокнул в щеку, другим поцеловал ручки и, взяв со стола бутерброд, завернув его в салфетку, сказал:

— Там и буфета нет поблизости, гиблое место в отношении того.

Одна из старушек спросила:

— Куда вы сегодня, Alexis?

— О, далеко, ma tante. — Правнук присвистнул. — Но сообщение отсюда превосходное. На метро до Сокольников, а там автобусом пять минут…

Когда он ушел, старушки рассказали, что по воскресеньям он судит футбольные матчи. Что делать? Он инженер, заработок невелик, жена больная, двое детей…

Шли темным бульваром. Сережа был мрачен.

— Лучше бы не приходить… Одно из двух: либо в этом оболтусе есть нечто скрытое, неразгадан-

ное, либо в знаменитом поэте было что-то «в отношении того»…

Ему казалось, что нить, соединяющая поколения, должна быть наподобие сосуда, по которому переливаются неисчезающие элементы. Это больше относилось к биологии, чем к истории. И вот когда он вплотную занялся изучением охранки, в частности московской охранки накануне Февраля, составил по документам списки секретных сотрудников с обозначением всех их служебных «подвигов» и «заслуг» перед отечеством — кропотливейшая работа отняла не меньше двух лет, а ведь это была лишь часть диссертации, — его, кроме прочего, интересовало то же, что погнало на встречу с правнуком поэта: отыскиванье нитей. Ему мерещилось, что тут таится необыкновенно важное. Временами он работал с бешеным энтузиазмом. Когда возвращался домой из библиотеки или из архива, бывал землистого цвета, едва держался на ногах и не мог сразу сесть за ужин: лежал несколько минут, успокаивал сердце. Последние года два он так ослаб, что даже перестал выпивать. Приглашали — отказывался. Так его поглотила работа. Он вкладывал в нее гораздо больше, чем следовало, чем она могла вместить.

Однажды пришел вечером, и вид был такой, будто выпил. Улыбался странно. Она испугалась, потому что, если выпил, значит, что-то стряслось.

— Ты выпил? — спросила она.

— Ничего. Только что в буфете.

Продолжал улыбаться странно. Она видела, что неспроста.

Его мать тоже что-то почуяла и крутилась на кухне, где Ольга Васильевна готовила ужин. Она знала, что он не всегда готов откровенничать при матери, и, пока та крутилась тут, не стала ничего спрашивать. А он, как посторонний, сидел нога на ногу, покачивал носком и смотрел в окно. Как только мать вышла, Ольга Васильевна сказала тихо:

— Объясни, что случилось… Я же вижу.

Он покачал головой и ничего не сказал. Омлет был готов. Он потыкал вилкой, отставил. Свекровь опять зашла на кухню, прислушивалась к каждому слову, и Ольга Васильевна стала нарочно рассказывать ему какую-то чепуховую сплетню, услышанную на работе. Потом он выпил крепкого чая, и было видно, что ему стало лучше, бледность исчезла. Они пошли в свою комнату — теперь, после обмена, у всех было по

комнате, у Иринки, у свекрови и у них вдвоем, где протекала ***их жизнь***, — он закрыл плотно дверь, взял Ольгу Васильевну за руку и сказал:

— Ну что, меня гробанули. Было обсуждение на секторе. Накидали столько замечаний, что нужно сидеть еще два года, если не… Только матери не говори!

Произнес все это померкшим голосом, но последнюю фразу: «Только матери не говори!» — высказал нервно и бойко, и в голосе слышался истинный испуг. Как бы мать не узнала! Не могла понять, что тут: забота о материнском покое, чтобы та не расстраивалась, или же, что было ужасно, его вечная зависимость от ее мнения, настроения, его обязанность отчитываться и оправдываться! перед нею.

Новость, конечно, была плохая. Она знала, что это такое, когда предварительное обсуждение проваливается, С тревогой ждала этого дня, но он скрыл, что сегодня обсуждение. Удивительные люди он и его мать! Все время подчеркивают: мы сами, мы одни, мы обойдемся. Он уходит на обсуждение, никого не предупредив, а она едет в больницу на опасную операцию — как было лет восемь назад, — и тоже никто об этом не знает. «Бабушка ушла утром и сказала, что

придет поздно», — сказала Иринка. А бабушка звонит вечером и говорит, что находится в больнице, все уже позади — да что позади, боже ты мой?! — и через день вернется домой. То, что рассказал Сережа, Ольгу Васильевну сразило. И еще раздосадовали фраза и истинный испуг в голосе: «Только матери не говори!» Она сказала, что это глупая фраза и вообще не об этом надо теперь заботиться. Он спросил: о чем же? Надо заботиться о деле, о том, чтобы выплыть, а не о всякой домашней чепухе. Конечно, она выставила свою досаду совершенно напрасно. Ну что с того, что он примерный сынок? Впрочем, он был вовсе не примерный сынок, она-то знала и потому еще сильней раздражалась, когда он вдруг настаивал на том, что он примерный сынок. Все это нужно было крикнуть про себя и прикусить язык до боли.

Потому что — на него свалилась гора. Лежачего не бьют. Однако бес толкал ее, подзуживал непобедимо, и она негромко — боясь, что свекровь может постучаться, а то и без стука войти, — с неизвестно откуда взявшимся гнуснейшим ядом сказала:

— Вместо того чтобы оберегать мамочку, ты бы столь же бережно отнесся к своей защите…

Он поглядел загнанно и равнодушно, как человек, готовый ко всему, и спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Надо было подготовить. Поговорить с людьми. Со всеми, от кого что-то зависит… А ты по своей обычной халатности пустил все на самотек. Ты виноват сам. Так не делают.

Он пожимал плечами:

— Но я думал…

— Почему же ты думал? Почему они должны? Кто ты такой для них?

И еще что-то поучительное и скрипучее. Сережа молчал, глядя на нее остановившимся взором: такой взор бывал у него, когда он внезапно погружался в задумчивость.

Ты всерьез? — спросил он.

Она пылко продолжала его учить. Кипело низкое раздражение. Он махнул рукой и куда-то вышел. Через минуту вернулся с чемоданом. Она не сразу поняла, что он собрался уезжать. А когда он сказал, что поедет на несколько дней в деревню к тете Паше — что было нелепостью, никто его в Васильково не звал, жить там было негде, вся родня тети Паши уже перебралась из клетушек и сараюшек в избу, лето кончилось, — она рассердилась, не могла сдержаться и громко

кричала о том, что это бегство, малодушие и что, если он сейчас уедет в деревню, она снимает с себя всякую ответственность за его здоровье, быт и вообще не даст ему денег. Орала вздорно, постыдно, как можно орать только в большом гневе. На крик пришла свекровь. Прибежала Иринка из своей комнаты. И он тут же выложил матери про обсуждение, про то, что его зарубили и что защита откладывается не меньше чем на год. Понять нельзя: свирепо требовал, чтобы ни в коем случае ей не рассказывать, и тут же сам выложил все в подробностях!

Разумеется, это был удар для матери, но ведь не такой, как для Ольги Васильевны. Старуха всегда как-то приосанивалась в трудные минуты, когда надо было проявить мудрость и хладнокровие. Ей казалось, что тут она незаменима.

— Спокойно, товарищи, без паники! Только без паники! — говорила она тоном комиссара, ободряющего бойцов. — Что, собственно, произошло? Дали замечания? Очень хорошо! Чем больше замечаний, тем лучше для нас. Тем ценней станет содержание. Мне непонятно, почему ты раскис, сын…

— Никто не раскис. Но мне вся эта гадость не нравится.

— Нравиться она не может. Кому она может нравиться? Однако нельзя, в конце концов… Когда твоему отцу… Если бы твой отец…

Она успокаивала его, постепенно переходя от комиссарского тона к тону доброй бабушки, и даже слегка потрепала его по щеке. Этот жест показался Ольге Васильевне фальшивым. Разговаривала с ним как с десятилетним мальчиком. И он поддерживал этот стиль. Ольга Васильевна сказала, что паники, собственно, нет, надо спокойно все обдумать, учесть замечания, переделать, что необходимо и с чем ты внутренне согласен, — словом, взяться засучив рукава, но не поддаваться слабости. Сережа хочет уехать в деревню, что неправильно, это бегство от трудностей.

Так сказала Ольга Васильевна, что было, может, верно по существу, но неуместно именно в ту минуту. Она не должна была произносить слово «слабость». Сережа слушал мрачно, продолжая кидать вещи в чемодан.

— Нет, вы неправы, Оля, — сказала Александра Прокофьевна, вновь переходя от тона бабушки к металлической комиссарской твердости. — Вы глубоко неправы! Если он чувствует, что ему нужно поехать, пусть едет в Васильково. Пусть

возьмет книги, тетради, поработает в тишине.

— Да не будет он работать! Он будет пить водку с Колькой. А ночью ему станет плохо.

— Папочка, мама не хочет, поэтому не ездий! — сказала Иринка и, подойдя к чемодану, стала выбрасывать оттуда отцовские вещи.

Он ее шлепнул, она убежала, схватив белье и машинку для бритья. Разговор — ехать, не ехать — длился до десяти вечера, ничем не кончившись. Ехать было поздно. Александра Прокофьевна продолжала гнуть свою линию семейного судии, исполненного благородства и справедливости:

— Не понимаю, почему у вас обоих траур на лицах? Откладывается защита — откладывается ставка, так что ли? Ничего, можно перетерпеть. Мы в вашем возрасте о деньгах совершенно не думали. Кто думал о деньгах? Какие-нибудь нэпманы, кулаки и лишенцы. А у нас не хватало на это времени. Мы были слишком увлечены жизнью, трудом, друзьями, событиями. Да, да, событиями! Ты не улыбайся, Ирина, в твоем возрасте я была в курсе всех политических новостей, знала ход военных действий, делала вырезки из газет, а у тебя на уме только кино да мороженое. В двадцатые годы Афанасий Дементьевич получал очень скромную зарплату, мебель в нашей

квартире была казенная… И нам ничего не было нужно, кроме книг… Впрочем, и книги Афанасий Дементьевич брал в библиотеке… У него никогда не было черного костюма, он не носил галстуков… Ты не беспокойся, сын, я тебе в крайнем случае помогу, если будет туго. Ты должен работать, не думая ни о чем.

Через два дня он уехал в Васильково.

Ее мучило вот что: когда ему бывало плохо, он стремился куда-то уехать, и не с нею, а один. Это значило — она не могла быть поддержкой. Так считала его мать. Это было бессовестно. Так же, как то, что она внушала ему, будто вся беда с провалом диссертации — по мнению ее, Ольги Васильевны, — состоит в том, что кандидатская ставка уплыла. О деньгах она не думала! Никаких денег не держала в уме! И никто в их семье, кроме Иринки, которая копит то на какую-то пластинку, то на трехрублевое ожерелье, о деньгах не думает. Не надо так уж кичиться бессребреничеством. Ольгу Васильевну больно ударило, отчего она взорвалась и так постыдно кричала, то, что его мгновенной реакцией было: ***уехать от нее***. Как будто в ней — вся беда. А без нее — спасение. Но потом, немного успокоившись, она смирилась с этим, а он, тоже поостыв и поразмыслив, решил

в Васильково не ехать, но приход Климука опять все нарушил.

Климук пришел на другой день после обсуждения. Они пошли с Сережей гулять. Гуляли долго. Ольга Васильевна уже стала волноваться. Сережа вернулся в половине двенадцатого.

— Все! — сказал он. — Finita la comedia! С Геннадием разругались вдрызг. Он безнадежен.

В его голосе не слышалось скорби. Случилось то, к чему дело шло. Она только спросила: из-за чего:

— А! — Он махнул рукой. — Из-за всего…

Вид у него был рассеянный, будто рассказывать не хотелось и не стоило труда. Но рассказал в тот же день, вскоре. Была любовь. Почему-то очень запомнилась любовь той ночью, когда он впервые рассказал про Кисловского. Обыкновенно он засыпал сразу, на него действовало как наркотик, а она, наоборот, не могла заснуть долго, и чем сильней было, тем дольше не спалось, но в ту ночь он был возбужден, ему хотелось разговаривать, и он сказал, что Климук уговаривал его отдать какие-то материалы Кисловскому, которому они нужны для докторской. Он отказался. Сказал, что не хочет лишаться таких ценных материалов, которых нет даже в архиве, а есть только у него.

Климук сказал, что лучше лишиться материалов, чем диссертации. Ну и поругались. Оказалось, что это старая история. Климук назвал его идиотом, а он сказал Климуку: «Ты дерьмо!»

Что это было? Какие материалы? Она помнила только, что Сережа, когда достал их, — это произошло как-то случайно и неожиданно, — безмерно радовался. Списки секретных сотрудников московской охранки за десятые годы, вплоть до Февраля семнадцатого. Конечно, материалы ценнейшие, потому что архивы охранки были уничтожены, сожжены. Откуда-то он эти списки раздобыл. Нашел какого-то человека, то ли пропойцу, то ли жулика, то ли просто опустившегося, несчастного босяка — она ни разу его не видела, звали его странно, Сели-фон или Селиван, что-то в таком роде, — который списки продал Сереже за тридцать рублей. Кажется, его дед был связан с охранкой, был там мелким чиновником и сохранил списки, чтобы шантажировать людей и вымогать у них деньги. Одно время Сережа был очень увлечен всей этой историей, совершенно фантастической. Какие-то люди Сереже не верили и говорили, что Селифон его надул, что списки поддельные, кто-то сфабриковал их если и не теперь, то в двадцатые годы, и, может быть

даже, с их помощью кого-то шантажировали. В институте был такой профессор Вяткин, особенно горячо возражавший. В споре с Вяткиным Сережа придумал всю эту поездку в Городец. И, конечно, об этих списках — в папке с розовыми шнурочками — говорил Безъязычный и хлопочет Климук.

Зачем? Кисловского уже нет в институте. Она им не даст ничего. Было бы странно: чем-то помогать Климуку.

И вот когда он уехал один в Васильково — был теплый сентябрь, двадцатые числа, — начались ее страдания. Прошел день, другой, третий… Сначала она боролась с собой. Хотела победить грызущее беспокойство, тоску по нем и тревогу о нем, что было на самом деле ***унизительной и смертельной зависимостью от него***, и заклинала себя не думать, не вспоминать о нем, погрузиться в работу. Он не хотел, чтобы она приезжала. Ему нужно побыть одному. И она понимала это, понимала! Но тревога, или тоска, или бог знает что это было, какое-то беспощадное, сжигавшее душу смятение росло в ней неудержимо, и она уже знала, что поедет, должен был только найтись повод. И тут как раз пришло письмо с казенным штампом из института, официальное уведомление из сектора: состоялось

обсуждение, такие-то поправки, длинный перечень, срок защиты отодвигается до такого-то месяца будущего года. С этим письмом, даже не дождавшись субботы, а взяв на работе отгульный день в пятницу, она помчалась.

Васильково возникло в ***их жизни*** давно. Иринке было годика четыре или пять, дача на Клязьме отпала, бросились искать, им посоветовали Северную дорогу, и вот однажды поехали безо всякого адреса, сошли через пятьдесят минут — просто понравилась безлюдная платформа, купы деревьев, луговой простор — и пошли к деревушке на горизонте. Дом тети Паши был украшен табличкой с топориком. Этот топорик и остановил их. Зачем топорик? Отчего топорик? Стояли, рассуждали вместе с Иринкой, и тут вышла тетя Паша во двор, они ее спросили: вот, мол, девочка интересуется. Тетя Паша объяснила: когда пожар, надо, значит, топор тащить. А на других домах другие таблички — где ведро, где багор. Так и остались у тети Паши, в «доме с топориком». Потом, спустя годы, когда прожили у тети Паши несколько жарких и хмурых, гнилых и солнечных лет — а мужик ее, дядя Ваня, Иван Пантелеймонович, был невидный и тихий, малого роста, плотник и без конца разъезжал с

артелью, так что дома его по летам не бывало, и никто его хозяином не считал, а все тетя Паша да тетя Паша, баба могучая, рослая, работящая, крикунья и добрая душа, — и вот потом уж, распознав их хорошенько и сына Кольку, бригадмильца, Сережа часто возвращался в мыслях и разговорах к началу, к топорику. В особенности любил рассуждать на эту тему, подвыпив: «Дом с топориком! Это, мать, неспроста… Тут символ… Тут заложено ой-ой сколько…»

Иногда философствовал будто бы всерьез, а иногда, в присутствии забредших на чаек или на грибки дачников вроде Льва Семеновича, физика, или Горянского, артиста эстрады, милейшего старика, болтал насчет топорика, дурачась, подделываясь под некий высокопарный старорежимный стиль: «Господа, а знаете ли вы, где водку пьете? Это ведь изба с топориком… Вы тут поосторожнее…» Дурачился-дурачился, потом и вышло: накаркал.

День был отчетливо ясный, но уже с прохладцей, небо высокое, дорога через лес пахла опавшим листом, любимый запах Ольги Васильевны, похожий на запах прогорклого, отстойного вина, — и она бежала, торопясь, ничего не замечая вокруг, вдыхая этот запах и опьяняясь им. Так

спешила увидеть его скорей, будто не виделись много лет! А прошло лишь четыре дня. Он сидел на террасе с книгой и, увидев ее, сказал:

— А, это ты…

Он не улыбнулся, не вскочил со стула, не поцеловал ее и даже не взял у нее из рук тяжелых сумок с продуктами, с банками, коробками и двумя бутылками красного венгерского вина «бикавер» — их симпатия к красному сухому, зародившаяся бесконечно давно, все еще как бы продолжалась, хотя теперь это была скорее традиция, гнездившаяся в сознании как память о лучших временах, особенно бережно хранила память о красном вине Ольга Васильевна, и то, что она тащила из города две бутылки, значило на их языке много, — он сделал слабое движение рукой, которое могло означать то ли полуприветствие, то ли жест «все пропало…», и ушел с террасы в комнату. Так он ее встретил. Она решила все прощать. Взяла книгу, которую он читал: Пушкин. Книга была довольно потрепанная и грязноватая. Вероятно, из Колькиной библиотеки.

Ольга Васильевна сидела на террасе, не зная, куда и зачем он ушел от нее и что ей теперь делать. Но она твердо решила все прощать. Сумки положила на пол.

Через короткое время он вернулся и спросил, глядя зло:

— Зачем ты приехала?

Она должна была бы объяснить, что просто не вынесла жизни без него, нет сил для такого испытания, это глупо, ведь они не в ссоре, расстались по-хорошему, и она понимает, что ему необходимо побыть одному, но — что делать, если нет сил? Вместо этого она размахивала письмом из института, говоря казенным тоном какую-то чепуху. Он закричал:

— Зачем ты приехала? — И затряс кулаками перед своим лицом.

Она испугалась, что сейчас он заплачет и упадет, и побежала в избу, зовя тетю Пашу. Дом был пустой. Она зачерпнула кружкой воду в ведре — колодезная вода в Василькове изумительная! — прибежала на терраску. Сережа лежал на топчане, отвернувшись к окну. Она присела рядом, гладила его волосы и говорила вполголоса, что беспокоилась за него, он уехал в таком дурном состоянии. Все беспокоились, и мать, и Иринка. Упоминание о матери и дочке должно было смягчить его, по он вдруг выкрикнул:

— Не ври! Не впутывай Иринку и мать!

Она пыталась объяснить, но он не хотел слу-

шать.

— Не ври! Не ври, тебе говорят! — повторял он. — Ты приехала по собственной воле и, конечно, только оттого, что тебя гложут идиотские подозрения…

— Ничего подобного! Какой вздор!

Она искренне отрицала, потому что в подозрениях, которые ее действительно мучили, она не признавалась себе. Ей казалось, что ее мучает что-то другое. Поэтому подозрений как бы не существовало и она могла с честным выражением гнева на лице отрицать эти обвинения. Но, боже мой, как стало вдруг тепло и покойно, когда она увидела, что он сидит на террасе один и читает книгу.

— О чем ты говоришь? Какие подозрения? Успокойся, мой милый, это не для нашего возраста… Ты уже опоздал, да и я тоже…

А ей было тогда тридцать восемь. Ему сорок. Но она не упускала случая внушать: твой, мол, поезд ушел, не заглядывайся, не тормошись. Всегда смешило: сядет в метро и пялится на какую-нибудь девицу напротив. Затевала иногда разговоры по этому поводу, он сердился… Опять стала говорить про письмо из института, все еще держа его в руках. Он вырвал письмо, смял и выбросил в окно.

— Не хочу читать, все мне известно… К черту… — бормотал он. — Тоже умница! Надо забыть, отсечь, не помнить всей этой дряни, а она, как нарочно… На черта оно мне нужно, это письмо!

Ей хотелось помочь ему, она не знала как. Пришли тетя Паша и Иван Пантелеймонович, копали картошку где-то на дальнем поле. Очень обрадовались, увидев ее:

— Батюшки! Васильевна! А твой-то совсем счах без тебя…

Все перепуталось. Эти люди не понимали, что с ними происходит. Ей было безумно жаль его и хотелось помочь. Что его загнало сюда, в эти черные доски старенькой деревенской террасы с вязками лука на рамах, с какими-то банками и мешками на полу? От рук тети Паши, когда она собирала ужин, пахло землей. Иван Пантелеймонович крутил транзистор и разговаривал с Сережей об американском президенте и Суэцком канале, тетя Паша с истовым и горячим волнением выспрашивала про Иринку и Александру Прокофьевну, а также про мать Ольги Васильевны и про Георгия Максимовича, которые, хоть и редко, наведывались в Васильково, и Георгий Максимович говорил, что у тети Паши «интересное лицо», и заставлял ее позировать. Потом

тетя Паша и Иван Пантелеймонович жаловались на то, что картошка уродилась мелкая, что копать припозднились, лошадь с телегой никак не выпросишь, а на горбе таскать далеко, нынче картофельное поле «на столбах»: это где линия высоковольтной передачи, там с обеих сторон раскопали да засадили. «На столбах» называется. Ольга Васильевна слушала, глядела на тетю Пашу и Ивана Пантелеймоновича и думала: ведь старые люди, тете Паше за шестьдесят, ему под семьдесят, но они трудятся, напрягают все силы, копают землю, таскают мешки с картошкой, и делают все остальное бесконечно тяжелое изо дня в день, и не считают свою жизнь особенно трудной. Она сказала вдруг просто так, ради шутки:

— Сережа, ты книжки читаешь, а старые люди надрываются, картошку копают — пошел бы да помог…

Тетя Паша на нее накинулась, Иван Пантелеймонович рукой махал:

— Это зачем? И не думай, и пускай отдыхает! И никогда чтоб такого разговору!

Зарыкал мотоцикл под крыльцом, приехал Колька. Оба мужика, отец и сын, были невысоки, худощавы, с бледноватой тонкостью в лицах, оба голубоглазы, светловолосы, у старика седина

впрожелть, и манера была у обоих плутовато тянуть губы, улыбаясь, а Колька еще и глаза отводил в разговоре, как девушка. Только подвыпивши он становился смел и горласт.

Хлебая щи, которые заедал то ломтем серого, то сосиской — он привез сосисок громадный куль, килограмма два, тетя Паша тут же бухнула десяток варить и была очень довольна Колькиной добычей, — он рассказывал, как на лесоскладе в Истомине, где он и сосисками разжился в буфете, появились штакетник, прожилины и брус для ворот и он хотел с дедом договориться, но тот почему-то не соглашался. Говоря все это, Колька странно конфузился и на Ольгу Васильевну не глядел. Она давно уже замечала, что парень в ее присутствии робеет. Однажды не удержалась, сказала об этом Сереже:

— Ты знаешь, мне кажется, что Колька… ко мне…

— Ну?

— Я ему немного нравлюсь…

Он посмотрел с удивлением:

— А зачем ты мне это говоришь?

Нарочно напускал на себя холодность и равнодушие, когда возникал хоть малейший повод для ревности. Да поводов-то… откуда им быть? Не

было никаких. Иногда она придумывала что-нибудь, чтоб его подразнить, вызвать его волнение, и он привык, разгадывал, перестал обращать внимание. Но с Колькой было что-то похожее на правду. Она это чувствовала. Может, и он чувствовал? И все равно — наплевать? Мысли его были увлечены другим. Понемногу он примирился с ее приездом, а к концу дня — после прогулки на речку — даже радовался, говорил, что она молодец, что приехала. Ночью было хорошо. Они совсем не спали. Заснули к утру. Он рассказывал о своей работе все-все, с подробностями. Советовался с нею: как быть? Главное вот что: он безнадежно испортил отношения с людьми. Климука обхамил, сделал врагом, причем оскорбительные слова сказал в присутствии посторонних, что, разумеется, не простится. Но с Климуком все уже шло к разрыву, тут неизбежность, а вот зачем говорить резкости профессору Вяткину, человеку влиятельному? Ах, неумно, неумно! А с Кисловским? С этим хитрейшим, каучуковым, который Ольге Васильевне представлялся человеком крайне опасным и готовым на все? Черт бы с этими несчастными материалами, за которые плачены тридцать рублей, отдал бы их — и. дело с концом. Тридцатку спас, а диссертация завалилась.

Теперь была очевидна суть неудачливости этой странноватой семьи: отец когда-то был крупный работник, но так никуда и не вылез, мать — домашняя юристка с принципами и запросами, и он сам им под стать. И была еще сестра той же масти. Она умерла старой девой, обездоленность и тоска привели к болезни, говорят, кто-то любил ее очень сильно и мог бы составить ее счастье, но она всю жизнь любила школьного товарища, жалкого человечка. Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им нравилось, губили этих людей…

Ночью он вдруг сказал:

— Знаешь, почему все у меня с таким скрипом? — Шептал едва слышно: — Потому что нити, которые тянутся из прошлого… ты понимаешь? — они чреваты… Они весьма чреваты… Ты понимаешь?

Она не понимала:

— Чем?

— Ну как чем! — Он засмеялся. Ей стало страшно, показалось, что он сходит с ума. — Ведь ничто не обрывается без следа… Окончательных обрывов не существует! Ты понимаешь? Должно быть продолжение, не может не быть, это так понятно…

Она смотрела на него, похолодев от ужаса.

Безумие! То, чего она страшилась, зная неустойчивость его нервной организации. Она обняла его голой рукой, прижала его голову к своей груди и гладила его волосы. Он тихонько фыркнул, вновь она содрогнулась ог этого смеха.

— Ты, наверно, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения… Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед…

Это не было безумием. Впрочем, какою-то долею эго было, возможно, безумие, какою-то долею шутка и частично всерьез. Безумие и всерьез — это было одно. Она заплакала, слушая его невнятный лепет. Тогда, ночью, ей показалось, что он погиб. Он говорил что-то путаное насчет своих собственных предков, беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь к пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости, — во всех них клокотало и пенилось ***несогласие***… Тут было что-то не истребимое ничем, ни рубкой, ни поркой, ни

столетиями, заложенное в генетическом стволе… Вдруг терялось ощущение бреда и казалось, что он говорит нечто разумное, стройное, может быть, очень умное, но тут же пронизывал страх: не сходит ли он с ума? Какая могла быть связь между пензенским распопом, жившим сто двадцать лет назад, и трудностями с диссертацией, с обсуждением в секторе? Он говорил, что связь есть. Тогда же, ночью, возникла идея поездки в Городец.

Профессор Вяткин сомневался в списках, добытых Сережей не вполне научным путем.

Совсем недавно она отрыла папку с розовыми тесемками, погребенную под ворохом других папок на нижней полке большого книжного шкафа. Папка из глянцевитого желто-мраморного картона, который был в моде в десятых годах. Она читала, плохо понимая, буквы прыгали перед глазами, потому что думалось с горечью о том, что жизнь состоит из непоправимостей. Какая огромная часть его существа осталась неизведанной! А ведь ей казалось, что она достаточно, сверхдостаточно знает о нем. Нет, ей казалось, что все это бесконечно неинтересно. Ничего поправить нельзя. Она переворачивала хрупкие, пахнувшие тленом странички, старалась вду-

мываться в смысл и с отчаяньем понимала, что смысл от нее отлетает: пустой и безжизненный, он мог лететь, лететь…

Какие-то фамилии, годы, села, волости, города, клички, занятия, адреса. У многих было по нескольку кличек. Что со всем этим делать? Невозможно понять. Тоска сжимала сердце. Прежде чем спрятать листочки в папку, завязать бантиком тесемки и сунуть папку под пресс десятка других папок, более толстых и тяжелых, она нашла в списке фамилию Кошелькова Евгения Алексеевича, 1891 год рождения, крестьянина села Городец, Московской губернии, портного, служившего в магазине «Жак» на Петровке.

С этим Кошельковым связывало единственное: сентябрьское утро в дымке, тишина пустой дороги, земля, уже чуть стылая, затвердевшая за ночь, пожелтевший и звенящий березняк и запах грибов (Сережино непременное бормотанье: «Грибы прошли, но крепко пахнет…» — и еще другое, его любимое: «Какая холодная осень. Надень свою шаль и капот…»), когда шли просекой не торопясь, но и не очень медленно, дорога предстояла далекая, у него было чудесное, веселое настроение, он шутил, дурачился и брал ее руку, заставляя размахивать сцепившимися руками

с видом влюбленного школьника. И даже читал слова наоборот. Вдруг он становился таким, каким был когда-то давно. Она тогда подумала: это, что ли, называется счастьем? Ясное утро, дорога, желтые рощи… Нет, не хватало Иринки… А вот когда-то приехали в Васильково в марте, на Иринкины каникулы, шли лесом на лыжах — Сережа убежал далеко вперед, Иринка едва телепалась, и было уже под вечер, красноватая желтизна за темными стволами, слепил глаза сумеречный снег, — и Иринка спросила: «Мама, а что это — счастье?»; ей было лет десять, на все вопросы следовало отвечать всерьез, и она задумалась всерьез, чтобы ответить понятно и кратко, но ничего не придумывалось, и тогда она вдруг сказала: «Вот этот вечер в лесу, мы трое на лыжах — это счастье. Понимаешь? Это и есть…» Иринка, конечно, не поняла. Да и она, сказав, не понимала по-настоящему. Должна была исчезнуть ***их жизнь***.

А когда шла сентябрьским утром из Василькова на станцию, все боялась, что натрет ногу. Туфли были жесткие, новые. Не для дальней дороги. Но, кажется, все обошлось. Они отправились в село Городец в надежде отыскать хоть какие-нибудь следы Кошелькова Евгения Алексеевича, имев-

шего в московской охранке клички Тамара и Филипчук. Сережа говорил: разумеется, никаких родственников и отпрысков не найдется, сколько лет прошло, все перепахано, перемолото, но ведь что-то должно остаться, какие-то обрывки нитей, искры чьей-то памяти. Если хоть что-то найдется — просто запись в местной церкви о рождении и крещении, — значит, список не врет. Городец выбрали потому, что ближайший пункт к Васильково, двадцать восемь километров всего. Сначала ехали электричкой, потом автобусом. Село превратилось в городишко. Вокруг старенькой, еще когда-то французом поставленной сукновальной фабрики наросли четырехэтажные блочные дома с телевизионными палками на крышах, а когда шли мостком через тинистую, в зеленой ряске, речонку по имени Вопря, слева громоздился склон, весь облепленный черными, изгнившими сараями и до-мушками, в которых непонятно что хранилось, жил ли кто или же это береглось как историческая реликвия, как свидетельство дореволюционной нищеты и бесправия. Перед кирпичным одноэтажным домом с вывеской «Продтовары» стояли несколько мужчин с тем бездельным и лениво-рассеянным видом, который безошибочно обозначал вынужденную

праздность, бюллетени, ночные смены и нехватку чего-то нужного им всем в эту минуту. Сережа пошел к ним узнавать. Через четверть часа он уже стоял в компании троих возле торцовой кирпичной стены дома и пил водку из бумажного стаканчика, закусывая помидором. Ей это очень не нравилось, она нервничала. Мужчины шутили. Он благодушествовал. Был замечательный сине-золотой день. Они бродили по городку, который местами напоминал деревню, заходили в дома, разговаривали в палисадниках, где пахло яблоками. К концу дня нашли старика, очень румяного, крепкого на вид, ходившего мелкими-мелкими медленными шажками в черных валенках: в прошлом году случился удар, думал, что помирает, но выжил. Старик говорил, улыбаясь красивым белозубым ртом:

— Бабья лета нынче удалась…

Это был сам Кошельков Евгений Алексеевич.

В марте в первый же час возвращения из Ленинграда — она примчалась самолетом, так извелась по Иринке— услышала жалобы от обеих. Иринка сказала, что бабка держала ее на казарменном положении, денег не давала, никуда не пускала, а с друзьями, которые приходили в гости, обращалась возмутительно. Выставляла грубым

образом. Было не поздно, ну, полдвенадцатого от силы. Ребята, конечно, ушли, сна пошла провожать, вернулась через час, а бабка в истерике — звонила всем подряд — Дашке, Тамарке, Бэле. Люди спать легли, она их поднимала. Совсем уж ***офигела***.

— Яс ней после этого три дня не разговаривала.

— Но, может быть, ты тоже не вполне тут права?.

— В чем же я неправа?

— Зачем пошла провожать так поздно? По-моему, это было лишнее. Она беспокоилась за тебя.

— А зачем она им хамила? Потому что не надо было хамить…

Разговор этот возник сразу, она не успела переодеться, распаковать чемодан, где лежали нехитрые подарки, купленные в Гостином дворе. Настроение еще не успело омрачиться. Слушая дочь и коря ее, она поглаживала Иринку по костлявой спине: лопатки выпирали, а трикотажная синяя кофточка с короткими рукавами заметно стала мала и для лета не пригодится. Но через четверть часа, когда Ольга Васильевна, переодевшись в халат, пошла в ванную, включила горячую воду, принялась с ожесточением тереть и мылить ванну старой мочалкой с помощью

порошка «Гигиена» и что-то напевала вполголоса — как не напевала давно, может быть полгода, разучилась напевать, и сейчас это получилось бессознательно, и если бы она вдруг сообразила, что напевает, она бы, наверное, сразу замолкла, — дверь ванной комнаты скрипнула и раздался голос Александры Прокофьевны:

— Больше никогда Ирину на меня не оставляйте. Не хочу, хватит с меня, она взрослая девушка, пускай живет как хочет.

— Хорошо, после поговорим, — сказала Ольга Васильевна.

— Или уж вы сидите дома, поскучайте немного. А у меня есть работа, я должна ее делать.

Старуха очень гордилась своей ерундовой работой для газетной «Юрконсультации», получаемой нерегулярно, после многих звонков и просьб: ее там просто жалели, как пенсионерку и ветерана соцзаконности. Но вообще-то, как испытанный в судейских ристалищах боец, она умела нацелиться и кольнуть в больное. Так и теперь: слова «поскучайте немного» кольнули Ольгу Васильевну, однако она все еще не была в настроении ссориться и ответила миролюбиво:

— Хорошо, Александра Прокофьевна, дайте мне принять душ, потом поговорим..

Затем выяснилось: Иринка чудовищно распустилась, ничего не допросишься, ни в магазин, ни в прачечную, ни просто пол подмести, отвечает дерзко и все только требует, требует, требует. Иринка, подошедшая к дверям кухни и слушавшая обличения бабки с насмешливым видом, спросила:

— Что я у тебя требовала? — Голос у нее действительно был дерзкий и грубый.

— Яс тобой не желаю разговаривать. Матери объясняю, пусть голову ломает, как с тобой быть.

— Ах, не желаешь? Ничего я у тебя не требовала.

— Ирина, не огрызайся. Пойди в комнату, дай нам поговорить.

— Ага, я пойду, а она тут будет врать…

— Слышите? «Она», «врать»…

— Ирина, уйди!

— Я уйду, но ты, пожалуйста, ей не верь. Единственное я просила — деньги на «Вкус черешни» в «Современнике». Она не дала. Я заняла у Дашки три рубля. А зимние сапоги, которые она обещала, я все равно знала, что она не купит. Так что ничего удивительного.

— Я, кажется, тебе объяснила, в чем дело, почему я не могу дать денег ни на театр, ни

на сапоги, — сказала Александра Прокофьевна. — Спекулянтами никогда не пользовалась и пользоваться не стану, не дождетесь. Подлецов я не поддерживаю. Когда увидишь в магазине хорошие сапоги, скажешь мне, пойдем и купим. Я тебе многократно говорила. Но теперь, впрочем, придется отложить.

Ольга Васильевна почувствовала, как в голову над бровями вступила боль. Ирина ушла. Свекровь продолжала обличать Иринку: доказывала, что плоха, неумна, скверно воспитана и виновата в этом, конечно, мать. От всего этого, что стянулось узлом и выхода не предвиделось, никакого выхода, кроме начинающейся мигрени, которую лечить неизвестно чем, Ольга Васильевна стала ненужно и зло спорить, защищая дочь:

— Вы не видите в ней ничего хорошего. А она нуждается в доброте, в ласке, ведь она лишилась отца…

— Вы смеете мне объяснять!

В узеньких глазках свекрови показались слезы, лицо ее побелело, губы обвисли. Это внезапно изменившееся лицо Александры Прокофьевны как бы подстегнуло Ольгу Васильевну, она поднялась и, стискивая рукою лоб, будто желая удержать рвущуюся наружу боль, а другою рукой потрясая

перед собой — самообладание покинуло ее, — заговорила громко, сбивчиво:

— Потому что у вас нет доброты! Вы злая женщина! По я не разрешу! Я не дам… Если нет отца, вы думаете— некому заступиться? Я… я вам не дам! — Спазма перехватила горло. — Почему вы не дали несчастные три рубля? Боялись, что не верну? Девочка должна побираться, как нищая! Она не нищая, нет! Пока есть мать, она не нищая — вы слышите? Зачем вы лгали и заманивали ее сапогами, будь они прокляты?..

Свекровь, глядя на нее презрительно и брезгливо, качала головой и отступала к двери. Лицо ее окаменело. Ольга Васильевна не слышала своего голоса. Вдруг крик:

— Мама! Замолчи!

Она увидела искаженное страхом лицо дочери. Иринка обняла ее, потащила куда-то. Потом Иринка исчезла, может быть, ушла в школу или в магазин, ее не стало. Ольга Васильевна лежала в полумраке, с занавешенными окнами, и думала: «Взрослая дочь. Она меня защитит. Не могу без нее. Старухе раз навсегда сказать: не смейте…»

Встала в потемках. Обедала на кухне одна — Иринка убежала в кино. Свекровь доставала что-то из холодильника, молча ставила на пли-

ту. Почему Иринка смылась в кино, зная, что мать так расстроена, что была ссора? Странный характер! Что-то неустоявшееся, гибкое, жесткое, отцовское. Такие же «убеги», исчезновения. Вдруг проявит человеколюбие, откроет умение жалеть и сочувствовать, обнаружит — на миг — взрослый и трезвый ум, а затем ошарашит какой-нибудь полудетской выходкой, капризом или же таким матерым эгоизмищем, что оторопь возьмет. Ну да, тянули в разные стороны. От отца слышала одно, от бабки — другое. Для Ольги Васильевны главное — научить самостоятельности, независимости от людей. Нет никого жальче тех бедняг, которые зависят душевно от других. Мать Иринки всю жизнь такая. Теперь кончилось. И настигла другая мука: душа независима и пуста.

А у Иринки при всей избалованности, вспышках эгоизма и грубости есть эта слабость: незащищенность от чужой воли. Та история с театром в январе, на каникулах. Раньше билеты в театр доставал Сережа. У него сохранились приятели студенческих лет по театральному кружку: один стал артистом Театра Моссовета, другой сделался могущественным театральным администратором. Но вот заставить позвонить им было задачей. Как он не любил просить! Наседали на

него вдвоем. Долбили неделю подряд. Если удавалось добыть три билета, тогда шли все вместе, если два, он уступал дочери. Иринка любила ходить с отцом: он был щедрее в буфете. И вот после ноября пошла в театр впервые. Билеты достала Даша. И как раз в тот театр, куда Иринка ходила с отцом чаще всего, — в Моссовета. Ольга Васильевна беспокоилась, девочке многое там будет напоминать. Сама бы не пошла в этот театр ни за что. Весь вечер Ольга Васильевна изнывала, томилась, звонила Дашиной матери: не будет ли кто девчонок встречать? Мать у Даши поразительно беспечна. Иринка пришла около двенадцати, мрачная, ни слова не говоря, пробежала в свою комнату, ужинать отказалась: «Болит голова!» Ольга Васильевна заглянула через четверть часа: девчонка плакала. Захлестнуло жалостью. Обнимала дочь, гладила, успокаивала и сама едва сдерживалась. А затихнув, Иринка рассказала неожиданное: Даша, оказывается, пригласила в театр еще одну девочку и весь вечер разговаривала с нею, а не с Иринкой. В антракте гуляли под руку вдвоем, а Иринка была как посторонняя. И шептались о чем-то секретно. Иринка так огорчилась, что после театра убежала не попрощавшись. Ольга Васильевна была поражена.

Ведь так любила отца! А страдает из-за дрянной девчонки, притворщицы. Примирилась со своей Дашенькой скоро, встретила Ольгу Васильевну счастливая: «Дашка сказала, что Майка дура! С ней разговаривать не о чем. Она Феллини не признает…»

Звон, гром, хлопанье двери, бег по коридору — возвращение из кино в одиннадцатом часу. Не раздеваясь, стоя посреди комнаты и раскручивая длинный шерстяной шарф, дочь сообщила новость: завтра хочет поехать за город дня на два. К Даше на дачу. Понимала, конечно, что наносит удар. Мать истосковалась, хотела провести субботу и воскресенье с дочерью. В глазах Иринки пряталась жалкая шкодливость. Ольга Васильевна старалась не показать ошеломления.

— Сначала разденься.

Иринка разделась, села к столу. Могла бы сесть на диван, рядом, но села подальше, к столу, это значило: готовится сопротивляться. Тут вошла Александра Прокофьевна со словами, что чай горячий. Ольга Васильевна спросила, кто собирается на эту дачу.

Последовал пересказ имен, частью незнакомых, человек восемь. Надо же ей немного подышать воздухом для здоровья. Это же необходимо, прав-

да же?

— А школу вы пропускаете?

— Да ну! — махнула рукой. — У нас в субботу один урок. Все болеют, такой ужасный грипп в Москве.

— Какой урок?

— Физика.

— Нет, — сказала Ольга Васильевна, — мне это не нравится.

— Мамочка, ну почему?

— Пропускать урок — мне это не нравится.

— Но почему, почему? Что такого? Один урок, подумаешь!

— Если не понимаешь, объяснять не желаю. Не нравится мне это.

Ей не нравилось не только это и, наверно, гораздо больше не это, а то, что дочь так легко расставалась с нею, едва встретившись после десятидневной разлуки. Бог знает что. Быть такой тупой, так ничего не понимать в близких людях. Это от отца. На него находили периоды глухоты. Свекровь стояла рядом и слушала молча. Одобрить Иринкину авантюру она, конечно, не могла, но и сказать два слова в поддержку Ольги Васильевны было свыше ее сил.

— Мало ли что тебе не нравится. Мне тоже,

может быть, кое-что не нравится... — Иринка сидела, выпрямившись, у стола, нога на ногу, с высокомерным видом, глядела в скатерть. Правой ногой она сильно раскачивала. Был как раз тот самый независимый облик, к которому так стремилась Ольга Васильевна.

— Что тебе не нравится?

— Кое-что.

— Например?

— Мало ли... Например, то, что ты часто уезжаешь из дома. То в Челябинск, то в Ленинград.

— Я уезжаю, милая моя, в командировки. Меня посылают, хочешь не хочешь. («Вот уже и оправдываюсь перед ней».) Ты думаешь, я так, по своей воле?

— Знаю, что в командировки, но ведь и самой хочется немного отвлечься, правда же?

— От чего отвлечься? Что ты глупости мелешь?

Но то были не глупости. Кровь прилила к лицу Ольги Васильевны. Свекровь продолжала стоять молча.

— С чего ты взяла, что я хочу отвлекаться? Кто тебе сказал такой вздор? — Ольга Васильевна не смотрела на свекровь, но всем нутром ощущала ее присутствие. Ей казалось, что свекровь

улыбается.

— Всем нам, конечно, тяжело без папы, — продолжала бормотать девчонка, — но мы с бабушкой никуда не можем уехать. А ты…

— Что я?

— Ну, делаешь себе такие отдушины… А мне, может, тоже грустно дома сидеть, и я хочу отвлечься. Каких-то два дня.

— Дура ты, дура… — слабым голосом сказала Ольга Васильевна, вытирая ладонью глаза. — Я себе в этих командировках места не нахожу, стремлюсь домой… Каждый вечер по телефону… Дни считаю, когда увижу тебя, бессовестную… А ты — отвлечься… Неблагодарный ты человечек. Уходи, видеть тебя не желаю!

Иринка выбежала.

Александра Прокофьевна произнесла в пространство:

— Пускать за город, конечно, не следует.

— Почему вы это ей не сказали? — спросила Ольга Васильевна. — Хотите быть хорошей?

Потом стирала до полночи. Иринка, чертовка, ничего своего не выстирала. Да все равно перестирывать, только грязь развезет. На другой день перед школой, уловив минуту, когда бабка отлучилась из кухни, Иринка просила проще-

ния. Как обычно, делала это казенно-жалобной скороговоркой: «Мам, прости меня, пожалуйста, если хочешь, я не поеду», но Ольге Васильевне показалось, что это важный акт смирения. Она простила, сказав, что поговорит с Дашиной матерью по телефону, после чего будет принято решение. Но главное: опять обволокла и обессилила жалость! Опять взглянула на девчонку со стороны, и сжалось сердце: сирота, все одна, одна в своей комнатке, отца нет, мать в разъездах… Как не отпустить? И — отпустила.

———

Старичок в черных валенках ходил по саду бесшумно, даже листьями не шуршал и все улыбался:

— Бабья лета нынче удалась…

Ольге Васильевне старичок не нравился. Она думала с беспокойством: «Боже мой, но почему же ***удалась***?» В том золотом дне, в глушине сада, в беспамятности старичка была тревога, она ощущала отчетливо, только не могла понять: откуда и почему? Все эти поиски были ненужной забавой. Ну вот нашел замшелого старичка, когда-то служившего в магазине «Жак» на Петровке, — выдернул его, как туза из колоды, ну, а дальше? Тот

ничего не помнил, не знал, не желал, не ведал, ибо после магазина «Жак» свалилась на него громадная жизнь, как гора камней, и все засыпало и задавило, что едва шевелилось в памяти.

— А господин Жак был знаете какой? Ого! Чуть что не по-ихому…

— А конец февраля? Вы помните?

Нет, ничего не высекалось, не вылущивалось из пещерных недр. Ведь были войны, лихолетья, далекие страны, ледяная стынь, смерти и погубления, а Городец с садиком, с тишиной возник лишь недавно, как поздняя зарница на краю жизни. И то спасибо, господи, за поздноту! Сережа вынул тетрадку с карандашом, да так ничего путного не записал. Дочка старичка, приземистая мрачноватая баба, позвала ужинать на терраску. Там же была невестка этой бабы, медсестра, и двое ее ребят, а вскоре пришел муж медсестры, стариков внук, которого звали Паптюшей, это имя хорошо запомнилось.

Пантюша был сутул, на голову ниже Сергея, черен, броваст, из провальных глазниц так и зыркали злые, колючие, как у крысака, глазенки. То ли был он пьян, то ли болен чем-то, то ли просто злоба кипела в нем и душила его, как иных душит слишком густая кровь. Сначала молчал

и все рассматривал Сережины брюки, ботинки, часы, свитер, потом так же внимательно изучал туфли Ольги Васильевны, ее замшевую курточку, тогда еще новую, нигде не засаленную и очень красивую. На курточку смотрел особенно долго. Ольга Васильевна даже подумала: «Неприятно смотрит». Сережа не замечал злобной внимательности Пантюши — как вообще не замечал внешности, взглядов и выражений лиц людей, его интересовали слова — и продолжал упорно добиваться у старичка каких-то подробностей насчет московской охранки. Пантюша вдруг спросил, притрагиваясь к рукаву замшевой курточки:

— И где же такие пиджаки берут?

— Это из Венгрии, — объяснила Ольга Васильевна.

— А! Не наш, значит? Ишь ты, как бархат…

— Да это замша, — сказала медсестра. — Что ж ты, не сидишь?

— Я вижу. Я-то вижу.

— Ну и сиди молчи. Руками не трог. Рук не отмыл небось, а на него всякая грязь садится, на замшу. Ах ты горе! Вроде чуток загрязнил!

Она схватила платок, бросилась к рукаву замшевой курточки оттирать. Дети тоже подскочили,

сгорая от желания потрогать необыкновенную курточку. Пантюша скрипел зубами. Старичок, как будто занятый беседой с Сережей и к тому же крепко недослышавший, внезапно и очень кстати вступил в разговор о курточке:

— Почему у нас нет? В Камергерском переулке, магазин братьев Шульц, «Земишледер» называется… Перчатки, кофры…

Пантюша махнул на деда рукой.

Принесли картошку в чугуне. День неожиданно смерк, зажгли электричество. Сережа начал что-то записывать. Он все старался разузнать насчет пожара в Феврале семнадцатого: кто приказал, да кто тушил, да кто тогда командовал. Старичок был ничтожно мал в ту пору, пылинка в бурю, однако прошло пятьдесят три года — пылинка странным образом еще существует, еще пляшет в луче солнечного света, хотя все вокруг смыто, унесено… И Ольга Васильевна понимала, отчего с такой жадностью вслушивается Сережа в полувнятное бормотанье. Одно изумляло, и хотелось спросить: как же уцелел? Неужто никогда ничего… не тягали?

— Как не тягать? Это беспременно… — говорил старичок, улыбаясь. — То на войну, то излишки… У нас, конечно, специальность хорошая, так что

нигде не пропасть… Мы начальство обшивали, всегда с куском хлеба… И даже на другой пункт затребуют, а наш начальник, товарищ Гравдин, не отдает, так что ссорились из-за нас…

И старичок подмигивал, радостный.

Пантюша, уходивший куда-то, опять возник за столом.

— Вы чего у деда пытаете?

— У вашего деда богатейшая жизнь, — сказал Сережа. — Разговариваем о жизни…

— А записываете на кой?

— Я историк, мне все это важно для истории.

— Какой еще истории?

— Истории Февраля семнадцатого года. Февральской революции и всего, что с нею связано. Это сложный, еще не полностью изученный период, и каждое повое свидетельство для нас ценно. Так что вы извините за то, что мы вам надоедаем, мы скоро уйдем.

Сережа говорил спокойно, терпеливо, но тот хотел ругаться. Стал вдруг кричать:

— Не хрена выпытывать! Будя! Историки, туды вас! — И тряс перед лицом Сережи узластым пальцем. — Я вам не дозволяю!

Мать и жена успокаивали Пантюшу, но как-то робко. Ольга Васильевна испугалась. Надо было

уходить. Но Сережа никогда не мог уйти вовремя, ему все казалось, что надо что-то доделать: допить, доесть, дообъяснить или же доругаться. И он вдруг, побагровев шеей, надувшись, пустился с пьяным дураком объясняться, что есть история и зачем она нужна. Пантюша слушал усмешливо и враждебно и, возражая, тряс пальцем:

— Да мы в школе эту историю читали. Зна-аем! Чего вы мне мозги пудрите? История, история… Хватит, есть одна история, а больше не нужно.

— Послушайте, Пантелей, вы кем работаете, собственно?

Когда Сережа разговаривал с простыми людьми, в особенности когда затевал с ними спор, у него возникал почему-то неприятный высокомерный тончик, по-видимому невольно, но людей раздражало. Пантюша грубо ответил: какое, мол, — дело, где работает? Может, на Богородском кладбище за трояк могилы копает. А вы, случаем, не из милиции или из ОБХСС проверщики? Все это говорилось с угрозой и с трясением уже не пальца, а кулака перед носом Сережи. Ольга Васильевна тянула Сережу. из-за стола. Но тот упорно сидел, втягивался в скандал.

— Нет, послушайте, я вас, кажется, ничем не обидел… Просто интересно — за что вы на меня

взъелись?

— Да на хрена мне твоя история! Нечего выпытывать!

— История не моя, она и ваша тоже, и вашего деда. Она принадлежит всем. Вот, к примеру, село Городец очень древнее…

Медсестра шептала Ольге Васильевне, чтоб на мужа не обижались, он чумовой, у него голова слабая, и, если выпьет, обязательно начудит и к людям пристанет, за что его бьют тяжелым боем, а работает он механиком на элеваторе и вообще хороший человек. Старичок Кошельков, давнишний сотрудник московского охранного отделения, столь давнишний, что это потеряло теперь всякий запах и цвет, перегорело и выдохлось, дремал безмятежно, опустив на грудь голову в венчике младенческих белесых волос. Сережа что-то рассказывал о здешних князьях, о татарах. Ребятишки слушали. Пантюша щурил бешеный, неподкупный глаз.

— А ежели по шее? А? — Скрипел зубами. — Во будет история…

До автобусной станции идти было долго, шли впотьмах. Ольга Васильевна дрожала то ли от страха, то ли от холода. Золотой день сменился осенним ледяным вечером. Она Сережу торопи-

ла, а он еле шкандыбал, разморившись от водки, и благодушествовал, и болтал, радуясь своей удаче со старичком. Ей это казалось вздором. Кому все это нужно? Лаяли собаки, некоторые, особенно злые, выскакивали на дорогу и бежали следом, он на них замахивался, швырял камни, они свирепели пуще.

— Перестань! — просила она.

Но он как будто получал удовольствие от войны с собаками. Каждую минуту могли появиться из темных дворов какие-нибудь парни с батогами, с вилами. Ох, как она на него сердилась! Все было нелепым мальчишеством: поездка, сидение до ночи, разговоры со стариком, выжившим из ума.

— А-рр! А-рр! — дразнил он собак и хохотал, слушая лай.

«Боже мой, — думала она, — и этот человек, почти пожилой, почти кандидат, почти ученый… Нет, ничего не добьется». Эта догадка, смешанная со страхом, пронзила ее в тот вечор на черной улице, где он сражался с собаками. Их окружала уже целая свора, от здоровенных псов до визгливых малявок, которые прыгали вокруг них, как блохи. И вдруг спасение — треск мотора, и, разгоняя псов и слепя фарой, подкатил сзади и остановился мотоцикл.

— Садись! История! — гаркнул Пантюша. Белый мотоциклетный шлем и белые перчатки с крагами, как у милиционера, светились в темноте. — Айда до электрички, до Вороновской, докачу! Семь километров, это мы счас!

Ольга Васильевна колебалась — все-таки чумовой, да и пьян, — но Сережа уже толкал силой в коляску, сам влез на багажник, обхватил недавнего супротивника под мышками, как лучшего друга, — мужчины, конечно, поразительны в том смысле, как легко их мирит и сплачивает хмель и как быстро они прощают друг другу оскорбительное, — свистнул по-бандитски, как не свистел много лет, и — помчались. Путешествие было нсдолгое, каких-нибудь четверть часа, но незабываемое. Ольга Васильевна полагала, что живыми из этой переделки не выйти. Бросало, кренило, дергало, зубы колотились, хотела крикнуть, но не могла разжать рта и набрать достаточно воздуху, и самым ужасным был страх за Сережу, который все норовил приподняться на своем багажнике и, выкидывая вверх руку, кричал громовым, парадным голосом: «Славным труженикам Городца — ура-а!» — или: «Героическим колхозникам села Барановка — ура-а!» Пантюше эти лозунги, как видно, нравились, он тоже кричал «ура»,

а дорога была мутна, призрачные избы летели навстречу, мелькали столбы, озаренные на миг, какие-то тени шарахались в кювет. «Одиноким прохожим— ура-а!» — орал Сережа и махал шарахающимся рукою с кепкой.

Ольге Васильевне было страшновато, но она смеялась про себя, даже плакала от смеха, а может быть, от того, что переполняло ее тогда. Она и сердилась па него, и любила его. Недолго этому крикуну, неизжитому мальчику оставалось шуметь на земле. Климук вдруг потребовал, чтоб Сережа подтвердил, что Кисловский просил у него документы для своей диссертации, а взамен обещал поддержку во время защиты — так оно и было, наверно, по ведь Сережа знал об этом только от самого Климука, тот был посредником, а теперь почему-то перевернулся на сто восемьдесят градусов и плел сеть на Кисловского. Сережа не умел интриговать, его это отвращало и злило, и он от злости совершал нелепейшие поступки. Господи, если бы он тогда объединился с Климуком! Тот его так просил! Все могло бы сложиться иначе. Он бы остался жить. Он бы прекрасно жил, работал, шутил, катался бы на лыжах до глубокой старости и двигался по лестнице вверх. Но неизвестно отчего умирают люди. Неожиданно что-то

иссякает, ***благо жизни***, как говорил Толстой. ***Благо*** его жизни еще длилось, он еще тормошился, еще чего-то хотел, стремился куда-то.

Он еще мог знакомиться с новыми людьми и приобретать, как ему казалось, новых друзей. Вдруг появилась Дарья Мамедовна. Вспоминать о ней тягостно. Но и отвязаться нельзя. Эта женщина впервые и по-настоящему напугала Ольгу Васильевну, потому что вдруг отчетливо представилось, как Сережа исчезает — с ней. Он и исчез потом, и она оказалась дальней виновницей, той точкой несчастья, из которой размоталось потом все непомерное несчастье, как буран в «Капитанской дочке», разросшийся из чуть заметного облачка. Люди в долгой жизни окружают нас какими-то скоплениями, друзами: внезапно кристаллизуются и внезапно пропадают, подчиняясь неясным законам. Когда-то были друзья юности вроде Влада, студенческие компании, — сгинули без следа; потом Сущевская, художники, старики, пьянчужки, Валерка Васин с Зикой, — тоже канули в воду; потом люди из музея, те, другие, Илья Владимирович, — точно не было никогда! Потом институтские, Васильковские, — теперь уж и эти провалились в тартарары… А потом Дарья Мамедовна со своими умниками…

Как только Ольга Васильевна увидела в первый раз зеленовато-смуглые щеки, белки с синевой, смоляные гладкие волосы без единого завитка, без волнистости, как облитую водой маленькую, змеиную голову, сердцем почуяла: беда! Сорок с небольшим, а фигура двадцатилетней девицы. Но не фигура тут была страшна, не смуглота, не ноги стройные, а та слава, что шла о ней и раздувалась подпевалами и дружками, шарлатанами разных мастей: о том, что будто бы умна необыкновенно. Чепуха это! Выдумка! Ольга Васильевна видела ее несколько раз, в гостях, в театре, и у Лужских, и однажды даже в собственном доме, и разговаривала с нею на всякие темы, от ее излюбленной парапсихологии до современной поэзии, и поняла скоро: королева-то голышом. Все показное, нахватанное, приблизительное, но при этом, конечно, самоуверенность адская и манера выражаться твердо и категорично, как бы вынося приговор, которой обжалованью не подлежит. Неприятнейшая особа. Но какие-то дураки на нее клевали.



Ну, подумаешь, кандидат наук, почти доктор, — забавно, что про нее так и говорили, вероятно, сама такую аттестацию про себя распускала: «без пяти минут доктор» — ну, философ, психолог, передрала массу книг, язык хорошо подвешен, но ведь это не все. Можно нафаршировать себя информацией, но ума не прибавится.

Было шесть лет со дня Фединой смерти, Луиза пригласила друзей — Лужских Борю и Верочку, Щупакова с его Красиной, еще кого-то из института и Генку Климука с Марой. Сережа с Климуком уже были почти врагами. Луиза из-за этого нервничала, советовалась с Ольгой Васильевной по телефону: как быть? Не позвать Климука было невозможно. Он ведь изменился как раз ***после*** Фединой смерти, а при жизни Феди вел себя сносно, и Луиза знала его как доброго малого, старого приятеля. Сережа сказал:

— Черт с ним, пусть приглашает, я его трогать не буду.

Луиза Сережу любила, и, разумеется, он был для нее самым дорогим гостем — потому что и Федя его любил, — но Климук тоже был товарищем Феди, спутником в последней поездке и, кроме того, организовал Луизе какую-то помощь от института. Устроил единовременную безвозвратную ссуду — и, как Ольга Васильевна потом узнала, сумма была не маленькая, вдвое больше, чем получила она, — и каждое лето отправлял Фединых детишек в институтский пионерлагерь. В общем, не пригласить его она не могла.

— Я знаю, его многие не любят, считают подонком, но ко мне он хорош. Не могу же я быть

свиньей, — объясняла она Ольге Васильевне. — Каждый Новый год присылает открытки. И в Федин день рождения поздравляет, даже цветы привозил. А Сережа забывает…

Сережа забывал. Были случаи, забывал даже Ольгу Васильевну поздравить с днем рождения, а уж путал день — вместо четвертого июня поздравлял третьего — постоянно. Климук ничего не перепутает. Зачем-то ему было нужно быть с Луизой хорошим. Кажется, Луиза надеялась, что Климук поостережется садиться с Сережей за один стол, пить с ним водку и под каким-нибудь предлогом не явится. Но тот явился. Маре хотелось покрасоваться перед бывшими подругами, рассказать о новой квартире, голубом кафеле, обоях под дуб, о причудах спаниельчика Рэди и, конечно, о зарубежных впечатлениях — много всего накопилось, пока не виделись. А не виделись правда давно. Все как-то пожухли, потускнели. Красавица болгарка Красина, жена Щупакова, пожелтела лицом. Боря Лужский, врач-психиатр, с которым Ольга Васильевна так любила разговаривать, превратился в подсохшего пожилого человечка, к тому же в тяжелых американских очках, которые его старили. Борина жена Верочка жаловалась на печень и ничего

не ела. Но заметней всех изменилась Луиза, похудела, ссутулилась, и платье на ней было такой чудовищной пошлости и дешевизны, что Ольга Васильевна ужаснулась: женщина махнула на себя рукой! Было ее очень жалко. Она, конечно, натужилась из последних сил, чтобы пригласить людей и угостить как следует, стол был богатый, но по жадным глазам детей, по тому, как они таскали потихоньку с тарелок то кусочек ветчины, то сыр, видно было, что едят такое не часто. Водки было две бутылки, раньше бы вмиг осушили и уже гоняли бы за добавкой, а теперь насилу за вечер «усидели» одну, и ту без охоты: у одного гипертония, другому ночью доклад писать, Климук и Боря Лужский за рулем. Сережа, конечно, не отказывался, но больше всех налегала Мара. Она была, кажется, единственной, кому шестилетие пошло впрок: налилась соком, раздобрела, стала плотной, холеной дамочкой, ее круглое, малиновое от водки личико сияло, выражая полное удовольствие жизнью. Ольгу Васильевну она раздражала. Не хотелось с нею разговаривать, а уж тем более слушать ее хвастовство.

Как только та заводила что-нибудь про спаниельчика Рэди, понимающего сто сорок слов, или про свои путешествия: «Представляете,

ужас, идем в Ницце по бульвару…»— Ольга Васильевна нарочно громко перебивала ее, прося передать блюдо, или включить телевизор, или еще что-нибудь. Конечно, это было грубо, но Ольга Васильевна не могла себя побороть: слушать самодовольную Мару было несносно. И она, и Климук как будто напрочь выкинули из головы, что Сережа долго добивался поездки во Францию, она была ему необходима, но у него почему-то не вышло, а эта трясогузка, ничтожество, нигде не работающее, уже побывала и в Ницце, и в Париже, и в Риме, черт знает где. Ну, хорошо, исхитрились, словчили, но имейте же чувство такта, не хвалитесь на всех углах, тем более при Сереже.

Сережа, впрочем, как будто не слушал всей этой заграничной брехни, думал о своем, но Ольга Васильевна на Мару злилась. Люди, которые по мере житейских успехов обрастают все более толстой кожей, были всегда неприятны, и она старалась держаться от них подальше. Раньше она относилась к Маре терпимо, даже добродушно. Та казалась жизнерадостной полудурой, далекой от фокусов и интриг, которыми занимался муж. Но вот обнаружилось: с каким аппетитом пожираются плоды этих фокусов и интриг!

— Луизочка, киска, у тебя все очень вкусно, — снисходительно одобряла она, беря из вазы фрукты. — Почему мы перестали обща? Давайте обща!

Дети с тоской смотрели на то, как сочные груши конвейером, одна за другой, исчезают в зубастом рту толстой, малиповощекой тети в голубом парике.

А Климук был мрачноват или, может быть, переполнен чувством собственной значительности: не разговаривал помногу, как обычно, не балагурил, а когда Луиза принесла гитару — знаменитую Федину, на которой тот чудесно играл, — и попросила спеть любимую Федину «Быстро, быстро донельзя», Климук сказал, что такими делами больше не забавляется, просит уж извинить, голос сел.

Слишком большой человек, чтобы петь под гитару песенки неясного содержания, как студент в электричке. Вот если бы что-нибудь вроде «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Это уж Сережа после издевался над ним, дома, вспоминая все перипетии вечера, окончившегося ссорой и руганью. Было ужасно, что не смогли сдержаться и наскандалили в такой день. И Сережа был виноват не меньше Климука. Вначале все

было тихо-мирно, они просто не разговаривали, сидели на разных концах стола. Их отношения еще не были смертельно враждебными, какими стали потом, но они демонстративно презирали друг друга: Сережа презирал его за карьерность, а тот его за якобы завистливость. Он ведь считал, что Сережа не может пережить его, Климука, сказочный взлет.

Все бы кончилось благопристойно, тем более что Климуки собирались рано уйти, если бы не одна институтская дама — имя забылось, — дородная, черновато-седая, которая стала вдруг с нажимом, очень пылко восхвалять Федино бескорыстие и ***неумение жить***.

— Таких людей сейчас просто нет! — восклицала она. — Федор Александрович был в этом смысле уникальный человек. Ведь он ничего-шеньки, ни вот столечко себе не урвал.

Голос дамы дрожал от волнения, она, конечно, преувеличивала, Федя был человек хороший, но не такой уж исусик, как она изображала. Еще кто-то заговорил на эту тему, стали вспоминать Федину доброту, привычку помогать людям и заодно уж, с оттенком умиления, — его бесхозяйственность и непрактичность, чем он действительно отличался. Луиза неожиданно

расплакалась и стала жаловаться на все подряд: никуда дальше Крыма не ездили, не было у него хорошего зимнего пальто, квартиры не поменял, все хотел поменять через бюро обмена, а почему не добиться на работе, как все добиваются? Теперь уж надеяться не на что.

— О себе думал в последнюю очередь, а все о других, о других, — шептала Луиза, поникнув головой, заметно поседевшей.

Никто не хотел этих слез, жалоб. Спокойствие было подорвано, заговорили разом, охваченные порывом любви к Феде, такому чистейшему, не похожему на обыкновенных людей — боже мой, непомерное преувеличение, но в тот миг казалось, что прикоснулись к самой истине! — растроганные горем этой женщины, обликом бедноватой квартирки со старыми вещами и, наверное, подогретые рассказами Мары о климуковском процветании… А как будет выглядеть ее собственная квартирка через шесть лет?

Получилось так, что, восхваляя Федю, невольно метили в Климука. Тот напружинился, тоже пел про Федю что-то хвалебное, но в голосе была трещинка. Все катилось ко взрыву. Бородатый Щупаков, Федин друг школьных лет, как человек посторонний, поинтересовался наивно:

— Разве ученый секретарь имеет какие-либо особые возможности?

Вероятно, был не так уж наивен, просто первым нанес удар. Черновато-седая дама немедленно отозвалась:

— А как вы думаете?

— Я не знаю, посему интересуюсь.

— Возможности немалые. Да вот Геннадий Витальевич сидит перед вами, он подтвердит, я думаю.

Климук честно округлял глаза, мотал головой и признавался, что при всем желании не может понять, о каких возможностях речь:

— Ну, ей-богу, не могу догадаться…

— Да как же так, Геннадий Витальевич? У вас же все в руках! — искренне изумлялась дама.

— Что у меня особенное в руках? — Климук смеялся. — Вот уж не знал!

— Да все, все! Абсолютно все!

Дама тоже смеялась несколько льстиво. Климук пожимал плечами. Все могло уйти в шутку, в болтовню, но Сережа вдруг совсем иным тоном — твердым и хамоватым — сказал, что Федина талантливая диссертация нигде не напечатана, а твоя, мол, крайне посредственная, вышла уже двумя изданиями — в сборнике и отдельной

книгой.

Климук сделал вид, что не слышал. Даже не посмотрел в Сережину сторону. Последовали чьи-то реплики, не относившиеся к делу, после чего Климук произнес со вздохом:

— Жаль мне тебя, Сергей… Как трудно, должно быть: все время следить за чужими успехами!

Было сказано беззлобно, как бы с сочувствием. Сережа взорвался: какие успехи, черт побрал? Да плевать хотел! Не успехи, а дерьмо! И еще что-то яростное, комом, криком. У Луизы побелело лицо. Ольга Васильевна махала руками Сереже, чтоб замолчал. Она испугалась за него. Мара ринулась защищать мужа и верещала, как на кухне. Кто-то из институтских — и дородная дама с пылкостью — ополчились на Сережу. Климук улыбался мстительно. Дородная дама восклицала:

— Непарламентские выражения! Вы допустили непарламентские выражения!

Климук и Мара ушли. Вскоре ушли и другие институтские. На их лицах, когда прощались с Сережей, было напечатано осуждение. А дородная дама, — которая, как выяснилось, была важной функционеркой, членом какой-то комиссии, — шептала озабоченно:

— Сергей Афанасьевич, должна вас огорчить:

это называется casus belli!

Сережа усмехался беспечно:

— А, черт… Пускай!

У него сделалось веселое настроение.

Он стал разговорчив, шумлив, рассказывал, изображая забавно — как он умел, — про поездку в Городец и встречу со стариком Кошельковым. Луиза успокоилась, все подобрели, Щупаков с Красиной были, конечно, на Сережиной стороне. И неприятное, с криком, как-то сгладилось и заслонилось иным — забыть нельзя, но старались забыть, — и вот тут-то впервые возникло имя Дарьи Мамедовны. Сережа говорил, что в списке секретных сотрудников охранного отделения были три нераскрытых крупных фигуры, обозначенных кличками. Вероятно, с ними или с кем-то из них связаны аресты в 1916 году. Эти темы занимали его постоянно. Ольга Васильевна даже подшучивала над ним:

— Ты кто, историк или частный детектив?

И так как перед этим Красина, милая и добрая женщина, но не слишком далекая, рассказала об одной крестьянке из горного села на юге Болгарии, которая обладает даром провидения и какими-то другими парапсихологическими талантами — настолько удивительными, что к

ней приезжают из-за границы, и знакомая Красины получила от нее точный ответ по поводу своего погибшего таинственным образом друга, — кто-то шутя сказал: а вот обратиться к такой пророчице и спросить бы по поводу секретных сотрудников! Вдруг откроет секрет? И совсем уж смехом кто-то предложил: а если спиритическим сеансом вызвать дух полковника Мартынова и все у него вызнать? Тут Боря Лужский и рассказал про Дарью Мамедовну. Это уж без шуток, она занимается парапсихологией всерьез, а заодно интересуется всякого рода оккультизмом, восточными магами, медиумизмом и прочими темными делами. При этом в высшей степени образованна, знает четыре языка, выступает с лекциями. Отец ее кавказский человек, оттого она Мамедовна, он был врач-гомеопат, очень богатый, умер во время войны, а мать из дворян.

Так заинтриговал, что все стали требовать, чтобы с нею познакомил, привел к кому-нибудь из общих знакомых в гости. Особенно горячился Сережа. Еще бы, экзотическая личность: она и дворянка, и восточная женщина, и медиум, и профессор! Боря обещал непременно это сделать. Его жена Верочка охладила общий энтузиазм, сказав, что Боря сам знает Дарью Мамедовну

едва-едва, познакомился у Костиных, это молодые физики, очень талантливые, и вряд ли мимолетное знакомство позволит пригласить эту женщину в дом.

То, что Верочка назвала Дарью Мамедовну холодновато ***этой женщиной***, еще более насторожило Ольгу Васильевну. Значит, и Верочка чует тут опасность. А Верочка не станет неспроста опасаться, она рассудительная, умная. Ольга Васильевна спросила:

— Вера, а ты знакома с Дарьей Мамедовной?

— Видела один раз. Вот тогда, у Костиных.

— Ну и что? Восточная красотка?

— Да нет, пожалуй… — с запинкой ответила Верочка. — То, что называется на любителя. Но наш Боря как раз любитель. По-моему, она его сразила наповал.

— Боря, немедленно знакомь! — дурачился Сережа. — Какой же ты товарищ? Как тебе не совестно?

— Не суетись, ты там не проходишь.

— Я не прохожу? А кто же — ты проходишь?

— Я под вопросом. Но все-таки есть шанс. Потому что я занимаюсь психиатрией, это ей близко. А ты, мой милый, со своей историей Февральской революции там даром не нужен…

Так они юродствовали и болтали, а у Ольги Васильевны сердце замирало от недоброго предчувствия. Выяснялись подробности: ей сорок с чем-то, но прекрасно выглядит, очень спортивная, плавает в бассейне. Была замужем, муж погиб. В прошлом году появилась в «Науке и жизни» ее статья о парапсихологии, что-то вроде «Таинственное вокруг нас», журнал нельзя было достать, в библиотеках записывались в очередь. Боря грозил Ольге Васильевне пальцем:

— Оленька, этот тип нацелился всерьез. Ты за ним приглядывай…

Все хохотали. Ольга Васильевна изо всех сил стремилась улыбаться и отвечать в таком же игривом тоне. Прошло месяца три. Ничего о Дарье Мамедовне не было слыхать. Потом Ольга Васильевна узнала, что Сережа с нею познакомился, он сказал об этом мимоходом, небрежно, как о факте совершенно незначительном. Может быть, так и считал сам, а может, притворялся. Рассказывая о выставке художника Преснина, анималиста, обмолвился:

— Кстати, познакомился там с этой Нигматовой.

— С какой Нигматовой?

— Да с этой, с Дарьей Мамедовной, о которой

— помнишь? — Боря рассказывал у Луизы…

Еще бы не помнить! Она обомлела. Женя Преснин, оказывается, знал ее мужа, художника. Это что же, было заранее договорено? Ничего подобного, случайное знакомство. На роковую женщину не похожа. Какая-то сухонькая, поджарая, на цыганку смахивает. Говорила, что сейчас ее повсюду ругают, громят. После вернисажа Женя устроил аляфуршетик для своих, там были знакомые из дома Сущевской. Кто-то сказал, что Георгий Максимович болеет…

Слова про отчима Ольга Васильевна расценила как дымовую завесу и вовсе на них не отозвалась. Она знала от матери — разговаривала чуть ли не каждый день по телефону, — что у Георгия Максимовича нехорошие анализы, он слабел, жаловался на боли и, вероятно, его положат в больницу. Все это было известно, и Ольга Васильевна очень жалела Георгия Максимовича и волновалась за мать. Но сейчас поразило другое: какой-то аляфуршетик, где Сережа познакомился и разговаривал с этой особой. Ольга Васильевна еще не знала ее, ни разу не видела, но при упоминании имени испытывала какое-то странное астматическое раздражение, вроде легкой одышки. В чем тут было дело? И вот в таком состоянии

раздражения, слегка задыхаясь, она стала упрекать его за то, что, пользуясь вольным режимом дня и тем, что она занята на работе от звонка до звонка, он шатается один — к друзьям, на выставки, заводит знакомства. Точно холостой…

Пошлые слова, пошлые мысли… То, что она говорила, было постыдно… Но ведь это была болезнь, это была аллергия, несовместимость. Она задыхалась и не могла себя победить.

Зимою приехала тетя Паша из Василькова со слезами: Николай под арестом, будет суд, парню грозит большой срок. Семковские с Васильковскими разодрались в клубе, а Колька как бригадмил хотел разнять и одного семковского срубил. Тот едва не помер, сейчас в больнице. Отходили, спасибо врачам. Он этого семковского сроду не знал, слыхом не слыхивал, и вот на ж тебе — несчастный случай. Чем срубил-то? Да топором. Хотел, конечно, разнять как бригадмил, а они, козлы пьяные, на него кинулись, он и маханул. Александра Прокофьевна заметила, что топор — странное оружие для бригадмила.

— А забыли? — сказал Сережа. — Дом-то с топориком, помните?

Тетя Паша плакала, просила помочь. Адвоката нанять, пускай хоть сколько возьмет, она

денег достанет, корову продаст, мотоцикл продаст. Александра Прокофьевна стала суетиться. Хотя дело казалось ей безнадежным. Ездила в Васильково и в райцентр Рябцево, где он сидел под арестом, разговаривала со следователем, с начальником милиции. И после первой же поездки (было глубокой осенью, в конце ноября, погода стояла отвратительная, внезапный холод и мокрый снег, все уговаривали ее не ехать, Сережа кричал на нее: «Я тебе запрещаю! Думать не смей! Ты старуха и должна вести себя как старуха!» — такие грубости позволял себе не часто, это уж с перепугу, она отвечала: «Никогда не буду вести себя как старуха, и если обещала человеку, женщина меня ждет, значит, я должна ехать», он еще покричал, погрозил и поехал в институт, уверенный, что мать не совсем уж свихнулась и останется дома, Ольга Васильевна ушла на работу, Иринка — в школу, а старуха взяла зонт, надела свой туристический наряд времен наркома Крыленко, резиновые сапоги и отправилась на вокзал), — и вот, вернувшись, вечером, измученная и продрогшая, похожая на жалкое, страховидное чучело, она рассказала, что дело обстоит совсем не так, как изобразила тетя Паша. И хуже, и лучше. Сережа был рассержен на мать,

не захотел слушать и нарочно вышел из-за стола, а Ольга Васильевна всегда была для старухи не лучшей собеседницей, поэтому свекровь стала все рассказывать Иринке. Голос ее звучал, как ни странно, бодро.

Она узнала вот что. Колька был, конечно, так же пьян, как остальные, но драка затеялась не на пустом месте. Замешана некая Раиса. Семковские приставали к ней, хотели мстить за то, что бросила одного семковского ради Кольки. Этот тихоня Колька, болезненный и невзрачный, хороводился со многими девками и считался почему-то завиднейшим женихом. Раиса от него как будто уже и ребенка ждала, но тетя Паша полагала, что врет, и Колька на ней жениться не собирался.

— Я ее убедила, что нужно стоять как раз на противоположной позиции, ты понимаешь? — объясняла Александра Прокофьевна Иринке. — Только тут наша надежда. В припадке ревности и защищая честь матери своего будущего ребенка…

Она говорила с Иринкой как со взрослой. А девчонке было тогда четырнадцать лет. Ольге Васильевне это не нравилось, но ведь сделать замечание невозможно, тут же обиды, резкости. Она терпела эту нудню с Колькой, разговоры све-

крови, ее суету, звонки, телеграммы — та влезла в дело всерьез и действительно нашла адвоката, бойкого старичка по фамилии Луповзоров, — и постепенно все более удивлялась: откуда такое рвение, такой пыл в защите чужих людей? Кто такие для нее, да и для всех тетя Паша и Колька? Случайные домовладельцы, хозяева дачки, дравшие за лето вполне безбожно. Говорить с ними было не о чем. И Александра Прокофьевна редко с с ними разговаривала, лишь иногда их поучала. Конечно, Кольку было жаль…

События эти совпали с тяжкой болезнью Георгия Максимовича, маетой матери. И с нависавшею тенью Дарьи Мамедовны. Ольга Васильевна нервничала из-за всего. Ее раздражали беспомощность матери, эгоизм дочки, невнятная жизнь мужа — что он делает днями, когда она на работе? — и теперь еще хлопоты по чужим делам вздорной свекрови. Вместо того чтобы как-то помогать по хозяйству, содержать дом в чистоте… Пойти на родительское собрание в школу, как делают все бабушки и дедушки, когда родители заняты… От Сережи не дождешься, а Ольга Васильевна валилась с ног… Оплатить хотя бы жировки в приходной кассе днем, когда мало людей, — разве трудно? Все трудно. Намно-

го трудней, чем ехать в дурную погоду за город на электричке, месить грязь на проселочных дорогах, высиживать в судах ради малознакомых и, в общем-то, далеких людей. Тут было много показного. Как всегда в этой женщине.

И как-то в крайнем раздражении от всего этого, — не в раздражении, а в приступе усталости, такой тотальной, когда голова перестает соображать и ты поддаешься всем подкорковым раздражителям сразу, — она сказала ему, что судьба Кольки интересует их гораздо меньше, чем болезнь Георгия Максимовича. И пусть уж Александра Прокофьевна со своим показным человеколюбием оставит ее в покое. Это было несправедливо. Александра Прокофьевна меньше всего надоедала ей, но Ольга Васильевна слышала постоянные консультации по телефону, подробнейшую информацию за ужином, и еще Сережа пересказывал то, что слышал от матери. А кроме того, она только что пришла с Сущевской, где мать бесцельно металась и мучилась в горе, видя, как гибнет родной человек. Георгий Максимович был уже полмесяца в больнице. Ему становилось все хуже. Операцию сделали три дня назад, делал профессор Родин, известный специалист, и больница была хорошая, устроили

туда с трудом, через Влада, было сделано, что в человеческих силах, и все же мать себя терзала: ей казалось, что надо было дать профессору Родину двести рублей перед операцией. Кто-то сказал такую глупость. Она не дала ничего. Потому что сказали поздно. И теперь ее грызла мысль, что из-за этого, может быть, операция не принесет избавления. Профессор Родин был с нею как-то сух, жестковат и сказал: «К сожалению, не могу вас обнадежить, хотя и не могу сказать, что конец».

Мать была убита этой фразой.

— По-моему, издевательство так говорить с родственниками! — возмущалась она сквозь слезы. — Кто дал ему право?.. Он говорил со мной как чиновник…

И тут же винила себя и ругала за слабодушие, за то, что язык не повернулся предложить профессору Родину деньги. Потому что, хотя ей сказали поздно, она и сама раньше об этом думала, но не могла решиться. Теперь, после операции, нужно было достать редкое швейцарское лекарство эритрин. Надо было обзванивать людей. Мать обессилела, лежала с тахикардией, и Ольга Васильевна провела два часа у телефона. Некоторые обещали узнать, поспрошать, но большинство говорили, что сами ищут редкие лекарства и не

могут достать. Ольга Васильевна вернулась с Сущевской часов в девять вечера, выпила чаю и собралась позвонить матери, потому что ушла от нее с тяжелым сердцем. Просто узнать, как самочувствие, утихла ли тахикардия. Но пробиться к телефону было невозможно.

Александра Прокофьевна разговаривала с адвокатом Луповзоровым. Это продолжалось ровно сорок минут. Наконец Ольга Васильевна подошла к старухе вплотную и шепотом сказала, что ей нужно срочно звонить. Свекровь недовольно кивнула и, поговорив еще с минуту, повесила трубку.

— Александр Иванович рассказывал о суде. Для меня это очень важно! — сказала она строго.

Ольга Васильевна ответила тоже строго:

— А мне — позвонить маме. Она плохо себя чувствует.

Нет, свекровь не спросила: что с Галиной Евгеньевной? Не нужна ли помощь? Какое-нибудь лекарство? Кое-что она могла доставать в одной поликлинике на Кировской. Эритрин вряд ли. Но ведь можно спросить. Она не относилась к матери враждебно, никогда с нею не ссорилась, если и бывали сдержанные споры, то в давние времена, когда мать занималась Иринкой и Алек-

сандра Прокофьевна поучала ее. В те дни на почве обоюдной экзальтации и любви к младенцу закипали иной раз крохотные смерчики. Все давно забылось. Теперь наступили времена покойного равнодушия. Любой посторонний, нуждавшийся в ***товарищеской помощи***, был для нее ближе, чем мать невестки.

Вот после той секундной стычки у телефона, ничем не кончившейся, Ольга Васильевна, придя из коридора в комнату, и сказала про «показное человеколюбие». Сережа тут же вскинулся, как зоркий постовой с ружьем:

— Парень получил вместо семи лет три! Это что? Показное? Нет, моя милая, это истинное… тебе недоступное…

Она что-то ответила. Потому что уж очень он вскинулся. Очень уж встал на защиту матери. Ну, может, она была неправа, даже наверняка неправа, свекровь помогала людям порою от чистого сердца — не могла иначе, это привычка, воспитание, а вовсе не заслуга, — но ведь нужно было понять, в каком состоянии Ольга Васильевна вернулась с Сущевской. А он решил обидеться. Вдруг увидела, что он входит в комнату в пальто, в шапке, с тем выражением угрюмой окаменелости и стиснутых челюстей, какое появлялось

у него в минуты крайней обиды, и кружит по комнате, ища чего-то.

— Ты куда?

— К Федорову.

Нашел, что искал, — портфель, — и бросил туда какие-то бумаги.

Федоров был его приятель по музею, пустой малый. Из тех болтунов, к кому он странным образом лепился и которые его самого тянули вниз. Слава богу, встречаться стали реже, потому что Федоров переехал куда-то в страшную даль, за Кузьминки. Она спросила: что за срочность? Никакой срочности, просто обещал приехать. Помолчав, добавил: там будет Дарья Мамедовна. Оказывается, Федоров ее прекрасно знает. Она приедет поздно, после лекции. Это известие произвело на Ольгу Васильевну такое впечатление, будто в соседнюю комнату влетела шаровая молния и стало видно, как комната озаряется светом, и слышно потрескиванье.

Ослабшим голосом — ей показалось, что все кончено, он уходит навсегда — она спросила, как он думает возвращаться. Был одиннадцатый час. Он сказал, что останется там ночевать. Он говорил спокойно, даже несколько ворчливо, как будто она приставала с пустяками, и у нее сил не

было возмутиться и закричать: да что это, черт возьми, за бардак? Почему ты уходишь из дома ночевать черт знает куда?

Он держался как человек, делающий нечто совершенно естественное: разумеется, ехать в половине одиннадцатого куда-то за Кузьминки — это значило остаться там спать. Что странного в том, чтобы переночевать иной раз у приятеля? Да ничего странного, боже мой! Но в ***их жизни*** такого заведения не было. Никогда еще не было. И вот он, воспользовавшись обидой, как-то спокойно и нагло вводил это новшество. Она молчала, ибо все это ошеломило ее, в особенности Дарья Мамедовна.

Он сказал: «До свиданья!» — и вышел.

Раньше, бывало, ругались, ссорились из-за чего-то отчаянно, он уходил, уносился или она уносилась к матери, но такого — чтоб тихо, без шума, взял портфельчик, сказал «до свиданья»... Как разлука чужих людей: на часок или на всю жизнь, это безразлично.

На похоронах Георгия Максимовича она рыдала неудержимо, почти в беспамятстве — холодная весна, орали галки над крематорием, — ее держали, чтоб не упала, упасть хотелось, продолжение жизни не имело смысла, накануне он сказал

«может быть» и опять ушел до ночи. Он требовал, чтобы она ***прекратила его мучить***. Нельзя было сказать простой фразы, сделать ничтожное замечание: тут же схватывался и уходил. Она спросила всего лишь:

— Может, у тебя роман с этой Дарьей?

То уходил к Федорову, то еще куда-то. Говорил, что парапсихология интересует его всерьез, и верно, читал старые книги, какую-то чепуху вроде «Голоса безмолвия» Блаватской, журналов «Ребус» и «Вестник загробной жизни» — кто ему давал? — и новые американские, английские журналы, сидел со словарем, делал выписки и сам шутил над собой, но ей было не до шуток. Она, как биолог, прекрасно знала цену всем этим бредням.

А его запутывала женщина. Она хотела получить над ним власть.

— Зачем тебе это нужно?

— Ни за чем. Я хочу понять, чем люди занимались в течение тысячелетий. Кроме того, мой полковник Мартынов был спиритом и состоял членом тайного кружка. В связи с этим имел даже неприятности в шестнадцатом году…

Когда он как бы шутя рассказал, что был у Федорова на спиритическом сеансе и они вызва-

ли дух Победоносцева, который сказал темную фразу: «Не сим победиши» — и они спорили два часа люто о том, что бы это могло значить, его мать наконец не выдержала и устроила скандал. Кричала, что отец умер бы от стыда, если бы такое началось при его жизни. Сын Афанасия Троицкого — спирит! Сын участника революции, соратника Луначарского! Если бы отец встал из гроба… Он заметил ядовито:

— Ага, ты допускаешь такую возможность?

Разумеется, тут была во многом игра, шутовство — он пока еще не превратился в полного кретина, — и тут были неудачи, угнетавшие его постоянно, и тут было то самое ужасное, о чем Александра Прокофьевна не догадывалась: Дарья Мамедовна. Сначала он ездил к Федорову к черту на кулички, звал с собой Ольгу Васильевну, но не было никакого желания ехать в такую даль слушать глупости, и она отказывалась, высмеивала его, издевалась над ним. Все впустую. Как-то потратила целый вечер на чтение журнала «Спиритуалист» за 1906 год, оборванные брошюрки в бумажных обложках валялись у него на столе: что-то потрясающее по жалкости и провинциализму! Иногда она смеялась, иногда злилась, но более всего изумлялась тому, что чепуха на

постном масле — все эти медиумы, планшетки, низшие духи, высшие духи, загробные голоса — дотащилась до наших дней. Начитавшись журнальчика, она пришла к двум выводам, сильно ее испугавшим. Первый — ярыми энтузиастами во всей этой музыке были женщины. Тут крылась какая-то приманка для них. Знаменитая Блаватская, авторы «Спиритуалиста» Быкова, Сперанская, Щеколькова, какая-то очень активная Капканщикова. «С жиру бесились, что ли? Им бы помотаться по магазинам, по ателье, постоять бы в ГУМе в очереди за сапогами…» И второй вывод, страшноватый: пустота всего, что касалось вызова духов и якшанья с загробным миром, была столь очевидна, что, если он продолжал отдавать этой дребедени время, это значило — тут были ***другие причины***. Вот почему, когда он сказал «может быть» и ушел, сердце ее упало оттого, что было готово упасть: она ждала такого ответа. И никто так не рыдал над гробом Георгия Максимовича у Донского монастыря, как Ольга Васильевна.

Сережа держал ее с одной стороны, Влад с другой. Она ощущала гранитное Сережино спокойствие. Однажды он прошептал холодно:

— Надо взять себя в руки!

Потом Влад повел ее осторожно в сторону — это было в тот момент, когда заиграла музыка, — и, отведя к стене, достал из кармана пузырек с лекарством, стаканчик и дал ей выпить. Она сказала, глядя в его старое рябое лицо:

— Георгий Максимович тебя любил, Владик…

Влад кивал скорбно, но с оттенком какой-то тайной начальственности. Черный казенный автомобиль ждал его на площадке перед входом в крематорий. Ольга Васильевна подумала: все могло быть иначе, если бы Влад не привел тогда Сережу, она бы не мучилась. Прошла очень быстро жизнь. Сережа стоял не оглядываясь, теперь он держал под руку мать Ольги Васильевны. Музыка убивала все. Потом поехали на Сущевскую, там хлопотали соседки, добрые женщины, распоряжалась незнакомая дама по имени Генриетта Осиповна, из московской организации, энергичная и деловая, как раз такая, как нужно, — она называла мать «моя дорогая», — художники быстро перепились, криком о чем-то спорили, про Георгия Максимовича говорили с невозможными преувеличениями, и поэтому казалось, что лицемерят, и все вещи в мастерской — картины, багеты, гипсовые модели, банки, кисти — выглядели осиротевшими, никому не нужными и

чужими. Дядя Петя, превратившийся в белого тощего старичка, весь вечер кашлял трубно и кричал на кого-то: «Да бросьте вы!»

Мать в этой суматохе и тесноте потерялась, вид у нее был такой, будто она тут случайно. Ольга Васильевна думала о матери со страхом: как она будет жить? Осталась ночевать с матерью, а Сережа с Иринкой и Александрой Прокофьевной ушли домой.

Первая жена Георгия Максимовича была в крематории и приехала после на Сущевскую, но не пришла в мастерскую, хотя приглашали, а устроила, комедиантка несчастная, свои поминки — на том же этаже, в комнате одной художницы. Некоторые гости ходили от одних блинов к другим. Дядя Петя иногда распахивал дверь и кричал в пустой коридор грозно:

— А вот пойти сейчас — и всю посуду в черепки! Поминальщики нашлись!

Из комнаты художницы что-то отвечали, но не было слышно. А Ольга Васильевна сидела на кушетке рядом с бородатым стареньким Лихневичем, который все не уходил, подливал то чаю, то наливки и рассказывал, плача, о житье на Муфтарке сто лет назад, когда они с Георгием Максимовичем, молодые нахалы, задумали по-

корить Париж, и еще Марк Шагал был с ними, и что из этого вышло — поминальные блины на Сущевской, — и советовал два рисунка сангиной, церковь на Монмартре и автопортрет с кривым лицом продать, а все остальное подарить кому угодно, кто возьмет, потому что лучшее Георгий Максимович сжег собственными руками в тридцатых годах, такая дурость, минута слабости, и жизнь раскололась, как этот гипс, ни собрать, ни склеить, пошла какая-то труха, заседания, комиссии, заказы («Не подумай, Оля, что я завидовал, я его жалел, бедного Жоржа»), но Ольга Васильевна, уже оплакав отчима и разорвав сердце сочувствием к матери, оглушенной и не понимавшей будущего, думала о том, почему Сережа не остался с нею, Иринка уехала бы со свекровью. Так должно было быть. Но он не захотел. «Ну, мы пошли, — сказал он. — Отвезу Иринку. Ей пора спать».

Он жил отдельной жизнью. Работа перестала интересовать его, диссертация не двигалась. Зато рассказывал о забавных ответах и удивительных пророчествах, которые получались на «вечерах со стаканчиком». Она продолжала во весь этот вздор не верить, — ну можно ли поверить в серьезность рассказа о том, что удалось наладить

связь с некиим братом Арнульфом, монахом-францисканцем, жившим в шестнадцатом веке в Швейцарии, и теперь он ведет с этим Арнульфом регулярные беседы? — и все сильнее крепло убеждение в том, что Дарья околдовала его.

Первый раз увидела ее случайно в театре. Были в «Современнике» на премьере. Гуляли в антракте в фойе на втором этаже, и вдруг он стиснул очень больно ее руку — было потом неопровержимой уликой, уж очень больно, как тисками, чисто рефлекторный жест — и шепнул:

— Там в углу Дарья Мамедовна!

Прежде чем посмотреть в угол, она посмотрела на него. Он залился краской. Дарья Мамедовна была смугла, худощава, с серебром в черных волосах. Она смотрела на Сережу, когда он подходил, без улыбки и даже, пожалуй, неприветливо. Рядом с нею сидел молодой человек, плохо выбритый, в белой грязноватой водолазке. Сережа поздоровался и познакомил Ольгу Васильевну. Молодой человек был моложе Дарьи лет на двадцать. Она его не представила. Никакого разговора не произошло, хотя Сережа потоптался два-три лишних, неловких мгновенья — в ту секунду Ольга Васильевна испытала мучительный стыд, — и они отошли.

— Мне тебя очень жаль, — сказала Ольга Васильевна.

— Почему жаль? Что за ерунда! Не понимаю, что ты плетешь! — хорохорился он и, обидевшись, не разговаривал с нею до конца антракту.

Спектакль был веселый. Они не смеялись. Тогда обдало, внезапно — как холодом, — предвестьем беды.

Второй раз — на набережной, в доме с кариатидами, с комнатушками, напоминавшими давнишнюю комнату-обрубок на Шаболовке. Там жил какой-то федоровский приятель, инженер-автодорожник, спирит и собиратель книг по магии и оккультизму. Показывал старинную книгу под названием «Чаромутие». Сережа звал несколько раз посмотреть, как все это происходит, но ей не хотелось, ужасно не хотелось: она чувствовала, что он приглашает неискренне. Он лгал, приглашая:

— Пойдем, сходим… Посмеемся.

А на самом деле ***не желал, чтобы она там появлялась***. Поэтому надо было себя пересилить. ***Их жизнь*** распадалась, превращалась в осколки, в мозаику, и это было похоже на сон, всегда отрывочный, мозаичный, в то время как явь — это цельность, слитность. Она пришла с головной

болью. В коридорчике висел плакат: «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал». Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки.

Она заметила: давно не тертый, серый от грязи паркет.

Ее полнила тупая решимость, какая бывает только во сне: поговорить с этой женщиной. Но той не было. Она пришла часа через два, когда все кончилось. *У* людей, которые усаживались вокруг стола, был напряженный и скрытно сконфуженный вид. Никто не шутил, не улыбался, но старались не смотреть друг на друга, а смотрели на середину стола, где на листе бумаги с нарисованными по кругу буквами алфавита стоял небольшой стаканчик. Было пять женщин и четверо мужчин. Сережа сказал, что они из технического мира, а одна женщина, как выяснилось потом, была театральной кассиршей. Тут же был Федоров, неестественно молчаливый и сумрачный. Руководил действиями инженер-автодорожник, бледный человек с русой шкиперской бородкой, говоривший отрывисто и быстро. Каждая его фраза имела оттенок ко-

манды, это было неприятно. И сам этот человек, манерно одетый, в красном, толстой вязки шерстяном жилете, со шнурком вместо галстука, показался Ольге Васильевне неприятным. У него были длинные пальцы с беловатым налетом вокруг ногтей. За вечер он ни разу не посмотрел на Ольгу Васильевну, хотя, она ощущала, он всеми органами чувств как бы следил за ней. Кто-то сказал, что необходимо открыть окно, другие возражали, из-за этого возник спор. Две женщины, требовавшие открыть окно, спорили необыкновенно горячо и яро и даже угрожали, если не будет по-ихнему, покинуть собрание, которое потеряет будто бы всякий смысл. Было ясно, что тут вопрос не о свежем воздухе, но о чем-то высшем, глобальном. Хозяин, на короткое время заколебавшийся, затем решительно нашел выход: открыл дверь в соседнюю комнату, а в той комнате растворил окно.

Сережа сидел напротив. Выражение лица его было непроницаемо. О чем он думал? У нее сжималось сердце от тревоги и от жалости к нему: ведь ему было худо, как и ей. Дома ждали дела, уборка, магазин, отнести белье — до девяти вечера, но каждый день что-то мешало, то усталость, то другие заботы, — и надо писать отчет, а его

ждали выписки в толстых тетрадях, книги, папки, все то, что застыло на полпути и не двигалось, а вместо этого… Человек в красном жилете командовал:

— Левую руку на правую руку соседа… Ступней на ступню… Образовать цепь…

Стаканчик действительно как бы оживал под руками, сначала неуверенно дергался, затем шаркал по бумаге конвульсивно и резко от буквы к букве, и из невнятицы, сумбура возникали фразы. Отец Паисий сказал: «Не скупись творить добро, отплатится тебе, дураку; сторицей». Недоумение вызвало слово «дураку». Почему же презрительно сказано о делающем добро? Одна дама объяснила: дух отца Паисия, по-видимому, иронизирует над земной моралью, где творящие добро считаются по нашей циничной житейской логике дураками. Дух Торквемады разговаривал долго и путано, но фразы были почему-то газетного типа, что вызвало разочарование.

Потом был сделан опыт психографии: одна из женщин села с карандашом к листу бумаги, остальные сидели как прежде, вокруг стола, пытались вызвать дух Герцена, тот упорствовал, не являлся, капризничал, — кто-то предлагал оставить его в покое, не соглашались, хозяин до-

ма злым шепотом потребовал, чтоб прекратили спор и продолжали дело, — свет был погашен, напряжение росло, и наконец все услышали в полной тишине скрип карандаша. Женщина, сидевшая за отдельным столом, ***писала***! Никто не сомневался в том, что ее карандашом водила рука Герцена. Когда зажгли свет, бросились к бумаге — женщина сидела, откинувшись на спинку стула в изнеможении, и лицо в поту, страшно бледно, ей тут же налили валерьянки, — увидели громадные, во весь лист, каракули.

Хозяин дома, схватив бумагу, прочитал сдавленным от волненья голосом:

— «Мое… пребежище… река…»

Ольга Васильевна услышала, как Сережа хмыкнул. Прекрасно знала это его ехидное хмыканье, не могла ошибиться, но когда взглянула на него, увидела все ту же непроницаемость. Раздались голоса:

— А что дальше? Больше ничего?

— Больше ничего, только эти три слова, — ответил хозяин дома быстро, все еще во власти волнения.

Рассматривали бумагу, изучали каракули и опять спорили. Что значит «река»? И почему «пребежище»? Согласились на том, что «река»

— это, вероятно, символ времени, река времен, и дух Герцена, стало быть, уповает на время. Это сообщение показалось значительным и глубоким. Что же касается «пребежища», то тут стали в тупик. Мог ли дух Герцена совершить столь грубую орфографическую ошибку? С пристрастием допрашивали женщину: твердо ли знает она, как пишется слово «прибежище»? Женщина — это и была театральная кассирша, отличавшаяся особой ***сенситивностью***, то есть чувствительностью, что определяло ее медиумические способности, — нервно и возмущенно отвергала предположенье о том, что могла совершить ошибку.

— Неужели вы думаете, я такая неграмотная? — говорила она, едва не плача.

Сережа заметил, что в таком случае неграмотным следует признать Александра Ивановича. Это вызвало новый спор, все говорили разом, но хозяин внес ясность: орфографические ошибки не имеют значения, важна суть сообщения, а не форма. Когда на пиру Балтазара, сказал он, появились мистические письмена «мене, текел, фарес», никому не пришло в голову рассуждать, правильна ли орфография. Всех охватил ужас. Кстати, в книге пророка Даниила сказано, что письмена

были «мене, мене, текел, упарсин» — обычная при психографии тавтология и перестановка букв… Ольга Васильевна почувствовала, что головная боль усилилась, не могла больше сидеть и встала. В соседней комнате легла на диван. Было темно и холодно. Кто-то прошел вслед за ней и закрыл окно.

Был приступ, как в худшие времена, до тошноты. Сережа принес стакан горячего чая и лекарство. Накрыл ее чем-то. Ей хотелось, чтоб он посидел рядом, — чтобы побыть одним, в темноте, — и она взяла его за руку и спросила:

— Ты понимаешь, что все это чушь?

Он сказал, что понимает. Сквозь страшную боль, стиснувшую виски, иглою просунулась другая боль: зачем же приходит, если понимает? Но не спросила об этом. Чувствовала себя слишком слабой.

— Все это идеомоторика… На пятом курсе на занятиях по психологии… — шептала она.

Спустя минут двадцать или полчаса вошла женщина, зажгла настольную лампу.

— Как себя чувствуете? — спросила женщина, и Ольга Васильевна увидела Дарью Мамедовну.

Через силу заставила себя подняться и сесть. Сережи в комнате не было. Голову ломило, как

прежде.

— Лучше, — сказала она.

На женщину со смуглым остроконечным лицом смотрела с изумлением. Зачем пришла? Не раз думала об этом: поговорить с нею наедине, слова подбирались язвящие, ненавистливые, но теперь слова вдруг пропали, злобу как выдуло сквозняком, и единственное, что испытывала Ольга Васильевна, была слабая астматическая одышка.

— Я не хочу, чтоб Сережа занимался этой чушью, — сказала она, слегка задыхаясь.

Та протянула стакан:

— Выпейте!

Ольга Васильевна послушно выпила.

Дарья Мамедовна села рядом на диван и произнесла спокойно: она тоже против того, чтобы он занимался чушью. Собственно, это не чушь, а забава, игра. Субботнее развлечение замороченных и усталых людей. Одни режутся в покер, другие — в маджонг, третьи играют до одурения в шахматы, четвертые… И еще какие-то банальности… Все-таки наглость: она ***тоже против***! Никто в мире, кроме Ольги Васильевны, не имел права быть против чего-либо в Сережиной жизни. «Какая глупая! — думала Ольга Васильевна. — А

говорят, будто бы умна». И эта догадка очень успокоила, даже голове стало легче.

Дарья Мамедовна сказала:

— Я рада, что мы познакомились. Мне давно нужно было с вами поговорить…

«Это еще зачем?» — подумала Ольга Васильевна безо всякого страха. Вслух сказала:

— Во-первых, мы были знакомы. В театре, помните?

— Правда? Я забыла.

— Хотите сейчас разговаривать?

— Если вы не очень худо себя чувствуете. Ведь когда еще увидимся? — Дарья Мамедовна достала из сумочки сигареты, зажигалку и, не спросивши разрешения — очень милая и характерная для нее подробность, — закурила. — Сергей Афанасьевич мне как-то говорил о том, что вы занимаетесь проблемами биологической несовместимости…

Ах, вот что! И это все? Проблемы несовместимости касались каких-то ее занятий. С другого боку. Ольга Васильевна кое-что рассказала. Та расспрашивала про Андрея Ивановича, которого знала по университету. Потом заговорила о своей работе, об экстрасенсорном восприятии, о всякого рода пробах, испытаниях и мишенях, о тысячах опытов, которые проделаны там-то и

там-то, и о том, что мы, к сожалению, отстали и должны догонять. Вы, как биолог, изучающий проблемы связи и биологической несовместимости, должны постоянно сталкиваться… А летучие мыши с их локатором? А рыбы? Согласитесь, нет оснований отрицать особые, экстрасенсорные связи и в структуре… Не хотелось с нею спорить, но все же слабым голосом и слегка задыхаясь: в парапсихологии слишком много обмана. Ни в одной науке, если это считать наукой, не было такого количества жуликов. А как вы думаете, отчего? Да оттого, Ольга Васильевна, что люди находятся в постоянном самообольщении: будто все уже познано.

Ольга Васильевна сказала:

— Если говорить о несовместимости… Загадки аллергии… Вы знаете, что есть люди, которые болезненно реагируют на присутствие определенного человека: начинается кашель, они задыхаются…

— О да! Разумеется! Так вот: каков механизм?

Ольга Васильевна отвечала что-то, глядя на смуглый кавказский лобик, и думала: они хотят докопаться до всего, обнаружить структуру, найти средства связи, передающие ненависть, ревность, страх. И любовь. А если средства бу-

дут найдены — тогда управлять? Кто-то открыл дверь, хотел войти. Дарья Мамедовна произнесла строго «Закройте!» — и дверь закрылась.

— Дарья Мамедовна, я вас хочу… об одном… — вдруг проговорила Ольга Васильевна жалким, прыгающим голосом. — Пусть уж Сергей Афанасьевич не увлекается так всем этим очень интересным… Понимаете, он ведь немолод, не очень здоров, у него есть дела, есть обязанности…

Дарья Мамедовна странно ширила черные, в синеватых белках глаза, и голова ее все более кренилась к правому плечу.

— О чем вы? Я не понимаю.

— Дао том, Дарья Мамедовна, что он погибает… Погибает, все остановилось, диссертация не пишется…

— Голубушка моя, да что ж можно сделать? Диссертация не пишется? — Она вдруг засмеялась. — Ну и хорошо, что не пишется… Ей-богу, не обижайтесь, Ольга Васильевна… Я вообще не люблю — нет, неправда, не то что не люблю, а жалею филологов, всех этих литераторов, историков, пишущую братию, которые вынуждены болтать, болтать, ничего, кроме болтовни. Я их жалею, бедных. Ну что за чепуха — вот уж по-

истине чепуха, — которой он занимается всю жизнь: состав секретных сотрудников московской охранки. Кому это нужно? Я смеялась, когда он рассказывал о своих, знаете ли, открытиях в этом микрокосме, и с таким увлечением…

В соседней комнате раздался взрыв хохота, кто-то стучал кулаком в стену и крикнул:

— Нигматова, идите сюда!

— И это в то время, когда решаются судьбы… Когда шекспировский вопрос…

Потом неожиданно она рассказала о том, как началась ее парапсихология. Несколько лет назад ее муж, художник Нигматов, погиб в самолетной катастрофе. Той ночью она видела во сне его лицо, искаженное ужасом.

Было рассказано совершенно бесстрастно, просто как один из фактов экстрасенсорной, телепатической связи. И Ольга Васильевна не испытала никакой жалости к Дарье Мамедовне. Она подумала: если он влюблен в эту женщину, тогда он глубоко несчастен.

Было поздно, дома ждала Иринка, которой она что-то обещала в тот день, поэтому, как только в комнату вошел Сережа, она сказала, что надо ехать домой, и встала. Он быстро и зорко оглядел обеих и, как видно, остался доволен, потому что

ответил спокойно:

— Поехали.

Обычно приходилось вытаскивать из гостей трактором.

Когда вышли на улицу, он сказал, что всех заинтриговало: о чем так долго они беседовали с Дарьей Мамедовной?

— На нее не похоже, она не любит болтать. Значит, ты ей понравилась.

— Да. Я ей понравилась, — сказала Ольга Васильевна. — Разговаривали о тебе. А тебя она жалеет.

— Меня? Жалеет? Пожалуйста, пускай. Есть за что.

— Она считает, что ты занимаешься чепухой.

— Да что ты! — Он засмеялся и подмигнул лукаво, как человек, которого не проведешь.

И все-таки она испытывала облегчение.

А через несколько дней все пошло сначала — уходил, пропадал, жил неведомой жизнью, и она мучилась.

В раннем детстве Иринки, когда ей было лет семь или восемь, с нею происходили странные вещи. Вставала ночью и ходила во сне сомнамбулой, натыкаясь на вещи, а как-то на Шаболовке напугала гостей, появившись в дверях, как ма-

ленькое привидение, в белой рубашке, и, подойдя к столу — лицо спящее, глаза закрыты, — сказала, протягивая пустую руку; «Хотите мою цыганку?» Была любимая кукла, цыганка. Потом это случалось с нею все реже, а лет с десяти прекратилось совсем. Сережа вспомнил об Иринкиных странностях и решил, что она, может быть, как раз относится к тем ***сенситивным*** натурам, которые он искал для своего хобби. Он увлекся парапсихологическими опытами не на шутку. Извел всех в доме, пытаясь угадывать, что они думают или намерены сделать, и стараясь внушить им свою волю. Воля, разумеется, была на первых порах пустяковая: принести коробок спичек или погасить свет в коридоре. Иногда внезапно радостно восклицал:

— Браво! Наконец-то! Полчаса индуцировал тебя, чтобы закрыла форточку…

А иногда столь же неожиданно огорчался, досадовал и даже позволял себе обидные замечания:

— Нет, мать, все-таки ты толстокожая, тебя не прошибешь. Я ей внушаю-внушаю, а она хоть бы хны…

Все это было веселым мальчишеством, напоминало игру любознательных школьников из кружка «Занимательная психология», и Ольга

Васильевна могла бы так и относиться к этому, полушутя и полуодобрительно, ибо Сережа как-то ожил, взбодрился, тонус жизни его заметно повысился и на лице заиграл румянец, что означало пользу нового увлечения, но ведь все хорошо в меру. Тут игра перерастала в нечто большее. И Ольга Васильевна с тревогой улавливала намеки на то, что это, мол, все подходы, поиски метода и что, когда он немного освободится, он займется психологией и парапсихологией вплотную. Она сказала, что это звучит довольно наивно, все равно что сказать, что собираешься заняться физикой и метафизикой.

— Ты не боишься превратиться в чеховского ученого соседа?

Он посмотрел на нее рассеянно:

— Ты шути осторожней. Это сейчас единственное, что меня интересует в жизни.

После такой фразы что оставалось делать? Она перестала шутить. И стала ждать, что будет. Все-таки ей казалось, что наваждение кончится.

Боже мой, тут крылась ошибка! Нельзя было ждать. Нельзя было не бороться, отдавать его в полную власть этой Дарьи и гоп-компании. Какая блаженная дура! Ведь было очевидно, что он отходит, отплывает, как корабль от пристани,

подняв все паруса и флаги, а она продолжала чего-то ждать, на что-то надеяться. Она не понимала, что он находится на переломе судьбы. Главной мукою было непонимание. Однажды вздумала действовать энергично, будто ничего не случилось, будто между ними не воздвиглось проклятого хобби: не спросивши, купила билеты на какой-то дефицитный фильм, на который рвалась тогда вся Москва. Он сказал, что как раз в десять он занят. Чем же занят? Уходит? Нет, будет дома. Но с десяти он занят.

Было очень обидно, но допытываться не стала, пошла одна, смирив гордость. Не смогла вынести в кинотеатре четверти часа и побежала домой. Неужели вдобавок ко всему стал лгать? Было чувство бессилия: ведь если обманывает, то лишь оттого, что запутался, затормошился окончательно — раньше никогда не обманывал, — а она не может помочь. Нет большей муки, чем непонимание и невозможность помочь! Но когда примчалась домой, увидела: действительно занят.

Сидел в комнате, запершись, хмуро-сосредоточенный, и раскладывал карты Зенера. Эти свои парапсихологические, с квадратами, звездами. Оказывается, у них с Дарьей Мамедовной был

назначен на десять вечера сеанс: та в качестве ***перцепиента***, то есть отгадчика, находилась в Болшеве, в доме отдыха киношников.

Этими картами он совсем заморочил Иринку. Первое время говорил, что у нее большие способности, приходится изумляться, процент попаданий значительно выше вероятностного.

— Ты можешь стать мировой знаменитостью! Я не шучу. Тебя будут приглашать за границу, а мы с мамочкой будем ездить с тобой.

Такими сказками хотел увлечь ее и задобрить, потому что вскоре ей стало, конечно, надоедать. И отгадывала она все хуже и хуже. Он нервничал, сердился. Таких высоких очков, как в первые дни, она не получала больше никогда.

— Думай серьезней! Сосредоточься! — говорил он, раздражаясь. — Что с тобой происходит?

Терпения у него не хватало и раньше, когда он пытался помогать Иринке с уроками. Всегда его репетиторство кончалось ссорой. И тут было то же самое. Иринка однажды разревелась. Бабушка ударила кулаком:

— Ну, довольно! Не могу видеть, как ты калечишь ребенка! Сам сходи с ума как хочешь, мракобесничай, ты взрослый человек и за себя ответишь, а Иру оставь в покое…

Они стали спорить. Как всегда, спорили негромко и не грубо, но как-то крайне ядовито и, вероятно, болезненно друг для друга. Александру Прокофьевну еще подогревала, вероятно, память о диспутах Луначарского с митрополитом Введенским.

— Если допустить хоть на секунду существование загробного мира и высшей силы, то есть бога…

— Я этого не говорил. Не передергивай по своей адвокатской привычке.

— Что же это, как не агностицизм?

— А по-твоему, паровоз дошел до последней станции? И дальше пути нет?

— Твой путь, Сергей, ведет не вперед, а назад, во тьму средневековья. Только не понимаю: зачем двойная жизнь? Будь уж последовательным. Надень рясу, прими схиму, уйди куда-нибудь в пещеры или в заброшенные каменоломни — по Павелецкой дороге, кстати, недалеко от Москвы, есть старые каменоломни, — сиди там и созерцай собственный пуп, как тибетский монах. Питайся акридами. Жена будет привозить тебе акрид из зоомагазина… (Надо сказать, старуха иногда блистала злым юмором. Кроме того, ей никак не хотелось верить в то, что во всем этом безобразии

виноват он один, без Ольги Васильевны.) Но тебя это не устраивает: ты не уходишь из института, получаешь там зарплату…

— Может, и уйду. Кстати, ты кинула неплохую идейку. Вот если будет создана, как обещают, лаборатория экстрасенсорной связи при одном институте, я бы с наслаждением туда ушел.

Все это говорилось пока что в пылу спора. И для того, чтобы подразнить. Он опять стал говорить, что его интересует наука, и только наука. В этом мире слишком много странностей. Антивещество, квазары, загадочные частицы, не обладающие ни массой покоя, ни зарядом, — почему нельзя предположить, что существуют неизвестные науке, сверхчувственные средства связи?

— Сережа, я с ужасом вижу, что в твоей голове за сорок лет образовалась невероятная каша…

— Зато ты, мамочка, за это время осталась совершенно нетронутой. Своего рода достижение.

— И горжусь этим! Я не думаю о смерти, как другие старухи. Да, я знаю, что с последним вздохом я исчезну из этого мира бесследно — и все тут. Не о чем говорить.

— Да, да, не о чем говорить… — бормотал Сережа, кивая. — Какая ясность, как здорово… И

то же касается смерти твоих близких? Они тоже исчезнут совершенно бесследно?

— Я надеюсь, что мои близкие, кого судьба еще оставила мне, не уйдут раньше. Но если такая несправедливость, не дай бог, случится, мои близкие не уйдут для меня — я повторяю, для меня! — совершенно бесследно. Они останутся вот здесь. — Она пошлепала ладонью по тому месту в середине груди, куда ставила в минуты сердечной слабости горчичники.

А Ольга Васильевна не могла выносить такие разговоры. Она знала только одно: не может помочь. И это приводило в отчаянье. Когда через некоторое время зашла в комнату, увидела, что Сережа один.

Он стоял в нерешительной позе, полуобернувшись к окну — то ли собираясь отойти от окна, то ли шагнуть к нему, — и смотрел на двор, вниз. Было похоже, что он о чем-то с громадным напряжением думает. Ольга Васильевна увидела его согбенную спину, опавшие плечи и седину в поредевших волосах. Вдруг показалось, что стоит старичок.

— Мой старичок… — сказала она тихо, подойдя к нему и обняв.

Он не повернулся, не отозвался, продолжая сто-

ять и смотреть на двор, вниз. Лето неслось. Она маялась. Мать гасла в одиночестве на Сущевзкой. Первое лето, когда не сняли дачу. И это был эскиз будущего бездомья. У Фаины глаза стали круглые и сверкающие от сладострастного любопытства, она жалела Ольгу Васильевну, жалела изо всех сил, даже стонала от жалости: «Я пойду в профком научных работников! Я покажу этой Дарье, как морочить женатых мужчин!» Голос ее дрожал от гнева. Нет больше сласти, чем сострадать любимой подруге. Слава богу, никуда не пошла. Но рассказала Маре. И все заколыхалось и стало расти, как волшебное дерево, управляемое факиром, на глазах. Она не знала подробностей до того дня, пока не поехали в лес за грибами. Знала одно: он подал заявление об уходе.

Вдруг показалось, что так будет лучше для него.

Осенью, в еще теплом и лиственном октябре, — все кончилось, кроме тепла, кроме грибов, кроме леса, — поехали автобусом в четыре утра от института. Почти вся лаборатория Ольги Васильевны. Он сидел рядом, положив голову ей на плечо, и спал. Было такое наслаждение ощущать тяжесть его головы. Ей хотелось, чтоб все сидели тихо и он бы спал. Желала этого всею силою

воли. Серое, дымное бежало за окном Подмосковье, сначала развороты глины, грязно-меловые блочные горы новостроек, потом поля водянистой зелени, березы, осины, потом ели, дорога ныряла, опять белыми горами среди елей возникали новостройки, редкий дождь пластами лип к стеклу, вдруг пропадал. Когда вышли из автобуса на пятьдесят втором километре, за Пахрой, дождь прекратился. В лесу было мокро. Пахло отсыревшей, усталой травой. Земля под елями, бестравная, усыпанная бурой хвоей, казалась пухлой и темной. Грибов было мало. Все люди куда-то рассеялись. Он сказал: если бы он осудил себя за всю эту чепуховину со стаканчиком, ужалил бы себя, как скорпион, собственным хвостом, они бы все равно не отстали. Климук теперь замдиректора, спихнул с кресла Кисловского, а на его месте Шарипов. Этот Шарипов, двадцать восемь лет, железный малыш, он уже и кандидат, и автор каких-то книг, провел дело недрогнувшей рукой. Что ж, ему разве трудно? Он с Сережей не ел, не пил, впервые столкнулись тогда на лестнице, когда спросил, остановившись на секунду, быстрым приятельским говорком: «Простите, Сергей Афанасьевич, это верно, что вы посещаете спиритические сеансы?» Сережа ответил так

же легко, мимоходно: да, посещал прошлой зимой просто из любопытства, а кроме того, искал людей, обладающих сенситивностью. Ведь он увлечен парапсихологическими опытами. Это очень интересно. Парапсихология, безусловно, наука будущего. Шарипов слушал, сочувственно улыбаясь. Эти железные малыши умеют быстро бегать по лестницам, задавать стремительные вопросы и сочувственно улыбаться. Климук стоял в стороне от дела. Он не стал подписывать заявления, хотя мог бы это сделать — директор был в Болгарии, — и, пригласив Сережу, для видимости отговаривал его и даже пробормотал совершенно нелепые, показавшиеся чудовищными слова: «Как Ольга? Позвоните когда-нибудь...» — на что Сережа, засмеявшись, спросил: «Ты шутишь?» Но нет, ничего ужасного не произошло, ничего не случилось, он рад всему этому, потому что надо начинать другую жизнь. Черт возьми, так мало времени остается для другой жизни. Надо наконец начинать. Что начинать? Делать то, что волнует воистину. У каждого человека должно быть то, что волнует воистину. Но надо до этого доползти, докарабкаться.

Мы удивляемся: отчего не понимаем друг друга? отчего не понимают нас? Все зло отсюда,

кажется нам. О, если бы нас понимали! Не было бы ссор, войн… Парапсихология — мечтательная попытка проникнуть в другого, отдать себя другому, исцелиться пониманием, эта песня безумно долга… Но куда же мы, бедные, рвемся понять других, когда не можем понять себя? ***Понять себя***, боже мой, для начала! Нет, не хватает сил, не хватает времени или, может быть, недостает ума, мужества… Вот она, к примеру, биохимик, заведует лабораторией, на хорошем счету, получает премии и прибавки к зарплате, но истинное ее предназначение здесь ли? Сама говорила: как жалею, что не пошла в прикладное искусство! Так люблю что-то делать руками, лепить, вырезать. А он не говорил разве, что история — это магическое зеркало, по которому можно угадывать будущее, и он готов всю жизнь изучать его, вглядываться в него… Говорил, говорил! И так ощущал, так думал. Но, может, тут действовала совсем иная, потаенная тяга: изучать, чтоб угадывать… Потому что теперь ему кажется, что все эти подробности подробностей, эти крохи, сметенные со стола каких-то давних пиров, которые он вылавливает со дна колодца, не нужны никому, кроме пяти или шести человек в целом свете… Если думать о себе, которому эти хитроумнейшие

и ничтожные уловы нужнее всего, тогда, может быть, есть смысл продолжать закидывать свои крючочки, но так скучно думать о себе. Однажды становится дико скучно. И вдруг сверкнет как догадка, как слабая заря за стволами — другая жизнь…

У нее сжималось сердце, было страшно. Откуда, бог ты мой, возьмется другая жизнь? Переехать из дома в дом? Купить новый портфель? Начать ходить вместо той конторы в эту? Ведь, в сущности, повсюду одно и то же. Он ответил: э, нет! Так рассуждать — это все равно что говорить, будто все женщины одинаковы. Но ведь ужас прожить век с женщиной, которая не мила. Большинство так живет, впрочем. Он говорил спокойно, как о чем-то постороннем и совершенно чужом для них, но все равно было страшно. В разговорах они прошли далеко в глубь леса, забыв о грибах. Да грибов и не было. Встретилась женщина с полупустым ведром, где белели волнушки. Стали спрашивать: неужто такие грибы едят? Женщина объясняла охотно, как выварить, отвар сливать, а еще лучше вымачивать в воде с уксусом. Рассказавши, женщина исчезла. Забыли спросить, как идти в сторону шоссе… Осины и березняк редели, пошел ельник, густой и тяжелый

от влаги, здесь совсем ничего не находилось, и они торопились продраться сквозь хвойную чащу, потому что где-то впереди брезжила светлота, там мерещились прогалы, поляны. Там начиналась другая жизнь. Сидели на пнях, он устал, лицо было серое и дышал тяжело, потом шли дальше — сырость в бору давила, от валежника, овражных низин тянуло гнилью, — местами залезали в черную топь, шли и шли, разговаривая, светлота манила, облачный день яснел, но ни просек, ни полян не открывалось за стволами. Она уже знала, что заблудились. Вдруг возникла Иринка, шла рядом, Ольга Васильевна крепко сжимала холодную ладошку. Иринка была маленькая, лет двенадцати. Надо было непременно спросить у Сережи что-то мучающее, что касалось только их двоих, Иринка мешала. Но потом она отошла куда-то, и Ольга Васильевна спросила про Дарью Мамедовну. Правда ли? Ее мучило одно: правда ли? Он засмеялся и сказал, что неправда. Тогда она спросила: «А те деньги, которые ты брал в кассе взаимопомощи? Пришли после смерти и требуют деньги назад. На что ты потратил их? Только говори честно, нас никто не услышит, мы в лесу». Он сказал: «Я не потратил. Просто давал людям, а они не возвращали». Это было

так несуразно и так на него похоже! Он называл имена. Какие-то незнакомые имена. Но все равно она мгновенно и глубоко поверила его словам. Она подумала: как мне жить в этом лесу одной? Надо было скорей бежать, они опаздывали, автобус ждал на шоссе, но неизвестно, где шоссе и куда бежать. Однако бежали — прямиком, через овраги, сквозь ржавый еловый сухостой, обдирая лицо и руки. Наконец появился забор. Глухой и высокий, выкрашенный темно-зеленой краской, они увидели его внезапно, когда подошли вплотную. Что там, за забором? Ничего не слышно, не видно. Растут такие же ели, как в лесу. Пошли вдоль забора по не очень ясной тропинке — хожено тут было мало — и чем дальше шли, тем меньше оставалось надежды. Перед воротами на скамейке сидели четверо мужчин и одна женщина. Среди мужчин был один громадный, рыхлый, с большим вздутым лбом и свиными глазками, с тем выражением добродушной тупости на лице, какое бывает у больных болезнью Дауна. Был еще какой-то старик, который все время качал головой, и были двое средних лет, один бородатый, с мрачным угольным взором, и другой, малорослый, с плоским несчастным лицом, он болтал короткими ножками, не достававшими до

земли. Все четверо молчали, а женщина в сером больничном халате читала газету. Ольга Васильевна спросила, как пройти до шоссе. Эти люди не знали. Громадный человек, больной болезнью Дауна, сказал, что здесь нет шоссе. Сережа стал сердиться и доказывать, что шоссе есть, они приехали на автобусе и автобус ждет на шоссе. Нет, сказали они, автобус сюда не ходит и шоссе нет. Сережа горячился. «Не спорьте с ними, — сказала женщина, отложив газету. — Они не знают. Идемте, я вас провожу». Когда они отошли на некоторое расстояние от мужчин, оставшихся сидеть на скамейке, женщина сказала: «Это больные. Они не знают, где шоссе».



Женщина вела их лесом, без дороги. Наверное, это был короткий путь. Ольга Васильевна сжимала руку Иринки. «Вы нас извините, — говорила она женщине. — Мы опаздываем. Автобус ждет нас на шоссе». — «Я поникаю, — отвечала женщина. — Поэтому веду вас самым коротким путем». Густели сумерки. Стало темно. Незаметно

истаял день. Надо было зачем-то спускаться по крутому склону, поросшему елями, затем опять углубились в чащу. «Скоро, скоро», — говорила женщина. Не было сил идти. Они очень устали. Вдруг женщина сказала: «Вот здесь».

Они стояли перед маленьким лесным болотцем. «Что это?» — спросила Ольга Васильевна. «Это шоссе, — сказала женщина. — Вон стоит ваш автобус». Опа протягивала руку, показывая на заросли осоки на противоположной стороне болотца. Ольга Васильевна почувствовала, как немеет, застывает, охваченная мгновенной, как молния, ледяной истомой. И тут треск врубился в сознание. Через миг принеслась весть из другого мира: вставать…

Будильник звонил в семь. Вырывал из вязкого, опустошающего забытья. И так продолжалось много дней, похожих один на другой, хотя временами было солнечно, а то шел дождь или снег, но однажды она проснулась раньше будильника и, босая, подошла к окну, откинула занавеску и посмотрела в сторону парка: там над деревьями, над зубчатым, из крыш и труб, темным окоемом выкатывался в слабо светящееся небо красный шар солнца. Она распахнула форточку. Ветер, летевший со стороны парка, обнял ее усталую ко-

жу, и грудь напряглась от холода. Босыми ногами она почувствовала, как дрожит пол от неясного подземного гула.

Если бывало часа три свободного времени, они уезжали гулять в Спасское-Лыково: троллейбусом до конечной остановки, там немного пройти и затем полчаса речным трамвайчиком. Село стояло на высоких холмах, поросших сосновым бором. Москва давно уже подступила со всех сторон к этому древнему полудеревенскому-полудачному уголку, обтекла его, устремилась дальше на запад, но почему-то не поглотила его совсем: сосны бора стояли, заливной луг зеленел, и высоко на холме над рекою поверх сосен плыла стоймя колокольня старой спасско-лыковской церкви, видная издалека отовсюду. Спустившись с дощатого причала на тропу, которая вилась вдоль берега, они шли и шли, разговаривая, дыша речным воздухом, обходя рыболовов и с неприязнью поглядывая на маленькие автомобильчики, неведомо как прорвавшиеся сюда, хотя проезжей дороги к берегу не было, и стоявшие, загораживая тропу, у самой воды. Тут находилось их убежище, их берег, их трава. Все остальные, очутившиеся тут, были пришельцами, чужаками.

В Москве места не было. Слишком много людей

знали его и ее. Никто из этих людей, приятелей и знакомых, не мог ничего понять. И она не понимала, и удивлялась, и стыдилась себя: так внезапно и быстро наступила другая жизнь! Когда-то мечтали о другой жизни, мыкались и рвались достичь. Но достичь невозможно, это приходит само. У него были слабые легкие, он простужался, болел. И всегда болел тяжело, маленькая простуда длилась долго, потому что Организм у него был особенный, не принимал антибиотиков, он жил как в девятнадцатом веке — лечился малиной, чаем. И она мучилась оттого, что он болел вдали. Казалось, что люди, которые окружали его, не могли помочь ему, как нужно. Шли тропою по глинистому склону, она рассказывала о новостях на работе, об опытах, термостатах, рассказывала про Иринку, которая собиралась замуж, и не стеснялась говорить про нее сокровенное, а он тоже рассказывал обо всяких делах, неурядицах на службе, о людях, которые ему подчинялись, советовался с нею, но о доме говорил неохотно. И она понимала его.

Однажды взобрались на колокольню спасско-лыковской церкви. Взбираться было тяжело, он раза два останавливался на каменной лестнице, отдыхал, а когда взошли на самую верхнюю площадку, под колокол, сильно стучало сердце, и они оба приняли валидол. Но они увидели: Москва уходила в сумрак, светились и пропадали башни, исчезали огни, все там синело, сливалось, как в памяти, но если напрячь зрение, она могла разглядеть высотную пластину Гидропроекта недалеко от своего дома, а он мог отыскать туманный колпак небоскреба на площади Восстания, рядом с которым жил. Наверху был ветер, вдруг ударило резким порывом. Она потянулась к нему, чтоб заслонить, спасти, он ее обнял. И она подумала, что вины ее нет. Вины ее нет, потому что другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, как этот город без края, меркнущий в ожидании вечера.

1975

• ОБМЕН

В июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее. В сентябре сделали операцию, худшее подтвердилось, но Ксения Федоровна, считавшая, что у нее язвенная болезнь, почувствовала улучшение, стала вскоре ходить, и в октябре ее отправили домой, пополневшую и твердо уверенную в том, что дело идет на поправку. Вот именно тогда, когда Ксения Федоровна вернулась из больницы, жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице.

Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, делал это не раз. Но то было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды, что произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни Дмитриева. Всегда он наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами идея стала являться все реже. И то лишь

в минуты раздражения. Она превратилась в портативное и удобное, ***всегда при себе***, оружие для мелких семейных стычек. Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: «Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить». Когда же потребность съязвить или надавить на больное возникала у Лены, она говорила: «Вот поэтому и я с матерью твоей жить не могу и никогда не стану, потому что ты — вылитая она, а с меня хватит одного тебя».

Когда-то все это дергало, мучило Дмитриева. Из-за матери у него бывали жестокие перепалки с женой, он доходил до дикого озлобления из-за какого-нибудь ехидного словца, сказанного Леной; из-за жены пускался в тягостные «выяснения отношений» с матерью, после чего мать не разговаривала с ним по нескольку дней. Он упрямо пытался сводить, мирить, селил вместе на даче, однажды купил обеим путевки на Рижское взморье, но ничего путного из всего этого не выходило. Какая-то преграда стояла между двумя женщинами, и преодолеть се они не могли. Почему так было, он не понимал, хотя раньше задумывался часто. Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины — Ксения Федоровна

работала старшим библиографом одной крупной академической библиотеки, а Лена занималась переводами английских технических текстов и, как говорили, была отличной переводчицей, даже участвовала в составлении какого-то специального учебника по переводу, — почему две хорошие женщины, горячо любившие Дмитриева, тоже хорошего человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердевшую с годами взаимную неприязнь?

Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, что то же — у всех, и все — привыкли. И успокоился натой истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил. Поэтому, когда Лена вдруг заговорила об обмене с Маркушевичами — поздним вечером, давно отужинали, Наташка спала, — Дмитриев испугался. Кто такие Маркушевичи? Откуда она их взяла? Двухкомнатная квартира на Малой Грузинской. Он понял тайную и простую мысль Лены, от этого понимания испуг проник в его сердце, и он побледнел, сник, не мог поднять глаз на Лену.

Так как он молчал, Лена продолжала: материнская комната на Профсоюзной им понравится

наверняка, она их устроит географически, потому что жена Маркушеви-ча работает где-то возле Калужской заставы, а вот к их собственной комнате потребуется, наверно, доплата. Иначе не заинтересуешь. Можно, конечно, попробовать обмерять их комнату на что-то более стоящее, будет тройной обмен, это не страшно. Надо действовать энергично. Каждый день что-то делать. Лучше всего найти маклера. У Люси есть знакомый маклер, старичок, очень милый. Он, правда, никому не дает своего адреса и телефона, а появляется сам как снег на голову, такой конспиратор, по у Люси он должен скоро появиться: она ему задолжала. Это закон: никогда нельзя давать им деньги вперед..»

Разговаривая, Лена стелила постель. Он никак не мог посмотреть ей в глаза, теперь он хотел этого, но Лена стояла к нему то боком, то спиной, когда же она повернулась и он взглянул ей прямо в глаза, близорукие, с расширенными от вечернего чтения зрачками, увидел — решимость. Наверно, готовилась к разговору давно, может, с первого дня, как узнала о болезни матери. Тогда же ее и осенило. И пока он, подавленный ужасом, носился по врачам, звонил в больницы, устраивал, терзался, — она обдумывала, соображала.

И вот нашла каких-то Маркушевичей. Странно, он не испытывал сейчас ни гнева, ни боли. Мелькнуло только — о беспощадности жизни. Лена тут ни при чем, она была частью этой жизни, частью беспощадности. Кроме того, можно ли сердиться на человека, лишенного, к примеру, музыкального слуха? Лену всегда отличала некоторая душевная — нет, не глухота, чересчур сильно, — некоторая душевная неточность, и это свойство еще обострялось, когда вступало в действие другое, сильнейшее качество Лены: умение добиваться своего.

Он зацепился за то, что было вблизи: зачем нужен маклер, если квартира на Малой Грузинской уже найдена? Маклер нужен, если придется менять их комнату. И вообще чтоб ускорить весь процесс. Она не заплатит ему ни копейки до тех пор, пока не получит ордер на руки. Стоит это не так уж дорого, рублей сто, максимум полтораста. Так и есть! Его мрачность она расценила по-своему. Какая тонкая душа, какой психолог. Он сказал, что лучше бы она подождала, пока он начнет этот разговор сам, а не начнет — значит, не нужно, нельзя, не об этом сейчас надо думать.

— Витя, я понимаю. Прости меня, — сказала Лена с усилием. — Но… (Он видел, что ей очень

трудно, и все-таки она договорит до конца.) Во-первых, ты уже начинал этот разговор, правда же? Много раз начинал. А во-вторых, это нужно всем нам, и первую очередь твоей маме. Витька, родной мой, я же тебя понимаю и жалею как никто, и я говорю: это нужно! Поверь…

Она обняла его. Ее руки стискивали его все сильнее. Он знал: эта внезапная любовь неподдельна. Но почувствовал раздражение и отодвинул Лену локтем.

— Ты не должна была сейчас начинать! — повторил он угрюмо.

— Ну, хорошо, ну, извини меня. Но я же забочусь не о себе, правда же…

— Замолчи! — почти крикнул он шепотом.

Лена отошла к тахте и продолжала раскладывать постель молча. Она вынула из ящика, стоявшего в головах тахты, толстую клетчатую скатерть, служившую обыкновенно подкладкой под простыню, но иногда применявшуюся и по своему прямому назначению для обеденного стола, на скатерть положила простыню, которая вздулась и легла не очень ровно, и Лена нагнулась, вытягивая вперед руки, чтобы достать до дальнего края тахты — лицо ее при этом мгновенно налилось краской, а живот низко провис

и показался Дмитриеву очень большим, — и расправила завернувшиеся углы (когда стелил Дмитриев, он никогда не расправлял углов), потом бросила на простыню, к ящику, две подушки, одна из которых была с менее свежей наволочкой, эта подушка принадлежала Дмитриеву. Вытянув из ящика и кладя на тахту два ватных одеяла, Лена сказала дрожащим голосом:

— Ты меня как будто обвиняешь в бестактности, но, честное слово, Витя, я действительно думала обо всех нас… О будущем Наташки…

— Да как ты можешь!

— Что?

— Как ты можешь вообще говорить об этом сейчас? Как у тебя язык поворачивается? Вот что меня изумляет. — Он чувствовал, что раздражение растет и рвется на волю. — Ей-богу, в тебе есть какой-то душевный дефект. Какая-то недоразвитость чувств. Что-то, прости меня, ***недочеловеческое***. Как же можно? Дело-то в том, что больна ***моя мать***, а не твоя, правда ведь? И на твоем бы месте…

— Говори тише.

— На твоем бы месте я никогда первый…

— Тихо! — Она махнула рукой.

Оба прислушались. Нет, все было тихо. Дочка

спала за ширмой в углу. Там же, за ширмой, стоял ее письменный столик, за которым вечерами она готовила уроки. Дмитриев смастерил и повесил над столиком полку для книг, провел туда электричество для настольной лампы — сделал за ширмой особую комнатку, «одиночку», как называли ее в семье. Дмитриев и Лена спали на широкой тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся предметом зависти знакомых. Тахта стояла у окна, ее отделял от «одиночки» дубовый, с резными украшениями буфет, доставшийся Лене в наследство от бабушки, — вещь нелепая, которую Дмитриев много раз предлагал продать, Лена тоже была не против, но возражала теща. Вера Лазаревна жила недалеко, через два дома, и приходила к Лене почти ежедневно под предлогом «помочь Наташеньке» и «облегчить Ленусе», а на самом деле с единственной целью — беспардонно вмешиваться в чужую жизнь.

Вечерами, ложась на свое чешское ложе — оказавшееся не очень-то прочным, вскоре оно расшаталось и скрипело при каждом движении, — Дмитриев и Лена всегда долго прислушивались к звукам, доносившимся из «одиночки», стараясь понять, заснула дочка или нет. Дмитри-

ев звал, проверяя, вполголоса: «Наташ! А Наташ!» Лена подходила на цыпочках и смотрела сквозь щелку в ширме. Лет шесть назад взяли няньку, она спала на раскладушке здесь же в комнате. Фандеевы, соседи, возражали против того, чтоб в коридоре. Старуха страдала бессонницей и обладала острейшим слухом, ночами напролет она что-то бормотала, кряхтела и прислушивалась: то мышь скребется, то бежит таракан, то кран на кухне забыли закрутить. Когда старуха ушла, у Дмитриевых началось что-то вроде медового месяца.

— Опять сидела с физикой до одиннадцати часов, — сказала Лена шепотом. — Надо брать кого-то… У Антонины Алексеевны есть хороший репетитор.

То, что Лена перевела разговор на Наташкины невзгоды и смирилась со всеми Дмитриевскими оскорблениями, пропустила их мимо ушей — что было на нее непохоже, — означало, что она твердо хочет примириться и довести дело до конца. Но Дмитриеву еще не хотелось мириться. Наоборот, его раздраженность усиливалась оттого, что он вдруг осознал главную бестактность Лены: она заговорила так, будто все предрешено и будто ему, Дмитриеву, тоже ясно, что все предрешено,

и они понимают друг друга без слов. Заговорила так, будто нет никакой надежды. Она не смела так говорить!

Объяснять все это было невозможно. Дмитриев рывком вскочил со стула, схватил пижаму и полотенце и, ни слова не говоря, почти выбежал из комнаты.

Когда через несколько минут он вернулся, постель была готова. В комнате стоял запах духов. Лена в незастегнутом халате расчесывала волосы, стоя перед зеркалом, и ее лицо выражало безучастность и даже, пожалуй, хорошо скрытую обиду. Но запах духов выдавал ее. Это был зов, приглашение к перемирию. Придерживая полы халата одной рукой у подбородка, а другой — на животе, Лена быстрым и деловым шагом, не посмотрев на Дмитриева, прошла мимо него в коридор. Ему снова вспомнились стихи, которые он бормотал все последние дни: «О, господи, как совершенны дела твои…» Закрыв глаза, он сел на край тахты. «Думал, больной…» Просидел так несколько секунд. Он знал, что в глубине души Лена довольна, самое трудное сделано: она сказала. Теперь надо зализать ранку, впрочем, и не ранку, а небольшую царапинку, сделать которую было совершенно необходимо. Вроде внутривенного

укола. Подержите ватку. Немножко больно, зато потом будет хорошо. Важно ведь, чтоб ***потом было хорошо***. А он не закричал, не затопал ногами, просто выпалил несколько раздраженных фраз, потом ушел в ванную, помылся, почистил зубы и сейчас будет спать. Он лег на свое место к стене и повернулся лицом к обоям.

Скоро пришла Лена, щелкнула дверным замком, зашуршала халатом, зашелестела свежей ночной рубашкой, выключила свет. Как ни старалась она двигаться легко и быть как можно более невесомой, тахта под ее тяжестью затрещала, и Лена от этого треска зашептала с некоторой даже шутливостью:

— Ой, боже мой, какой кошмар…

Дмитриев молчал, не двигался. Прошло немного времени, и Лена положила руку на его плечо. Это была не ласка, а дружеский жест, может быть, даже честное признание своей вины и просьба повернуться лицом. Но Дмитриев не шелохнулся. Ему хотелось сейчас же заснуть. С мстительным чувством он наслаждался тем, что погружается в неподвижность, в сон, что ему уже некогда прощать, объясняться шепотом, поворачиваться лицом, проявлять великодушие, он может лишь наказывать за бесчувственность. Рука Лены

стала слегка поглаживать его плечо. Окончательная сдача! Робкими прикосновениями она жалела его, вымаливала прощение, извинялась за черствость души, которой, впрочем, можно найти оправдание, и призывала его к мудрости, к доброте, к тому, чтобы и он нашел в себе силы и пожалел ее. Но он не уступал. Что-то неостывшее в нем мешало повернуться, обнять ее правой рукой. Сквозь надвигавшуюся дремоту он видел крыльцо деревянного дома, Ксению Федоровну, стоявшую на самой верхней ступеньке крыльца и вытиравшую руки мятым вафельным полотенцем, и ее медленный взгляд прямо в глаза Дмитриеву, мимо русой головы, мимо ярко-голубого шелкового платья, и услышал глухой голос: «Сынок, ты хорошо подумал?» Глухой потому, что издалека, из того ледяного майского дня, когда все были очень молодые, Валька полез купаться, Дмитриев поднимал двухпудовую гирю, Толик мчался куда-то на своем «вандерере» за вином, по дороге сломал забор, вызывали милицию, а потом на холодной верандочке, по стеклам которой шатался свет фонаря, Лена плакала, мучилась, обнимала его, шепча, что никогда, никого, на всю жизнь, это не имеет значения. Мама села утром на мотопед, повесила на руль бидончик и поеха-

ла на станцию за молоком и хлебом. Ее несчастье — говорить сразу то, что приходит в голову. «Сынок, ты хорошо подумал?» Что могло быть бессильнее этой нелепой и жалкой фразы? Он ни о чем не мог думать. Май с ледяными ветрами, обрывавшими нежную, едва родившуюся листву, вот что было тогда, чем они дышали. Мама учила английский просто так, для себя, чтоб читать романы, а Дмитриев собирался в аспирантуру, они вместе занимались с Ириной Евгеньевной и вместе вдруг прекратили, когда появилась Лена. Концом зонтика мама стучала в стекло верандочки— было не поздно, часов семь вечера: «Вставай! Ирина Евгеньевна ждет!» Дмитриев и Лена, притаясь под просторным ватным одеялом, делали вид, что спят. Раза два еще нерешительно стучал зонтик в окно, потом хрустели шишки под туфлями — мама уходила в молчании. Она сама не желала больше заниматься английским и утратила интерес к детективным романам. Однажды она услышала, как Лена, смеясь, передразнивает ее произношение. Вот оттуда, с той деревенской верандочки в мелком оконном переплете, началось то, что теперь поправить нельзя.

Рука Лены проявляла настойчивость. За четырнадцать лет эта рука тоже изменилась — она

была раньше такой легкой, прохладной. Теперь же, когда рука лежала на плече Дмитриева, она давила немалой тяжестью. Дмитриев, ни слова не говоря, повернулся на левый бок, обнял Лену правой рукой, сдвинул ее ближе, сонно внушая себе, что имеет право, потому что уже спал, видел сны и, может быть, даже все еще спит. Во всяком случае, он ничего не говорил, глаза его были закрыты, как у человека действительно спящего, и в те секунды, когда Лене очень хотелось, чтобы он ей что-нибудь сказал, он продолжал молчать. Только потом, когда он глубоко и по-настоящему заснул, часа в два ночи, он бормотал со сна какую-то невнятицу.

Дмитриеву в августе исполнилось тридцать семь. Иногда ему казалось, что еще все впереди.

Такие приступы оптимизма бывали по утрам, когда он просыпался вдруг свежим, с нечаянной бодростью — много содействовала тому погода — и, открыв форточку, начинал в ритме размахивать руками и сгибаться и разгибаться в поясе. Лена и Наташка вставали на четверть часа раньше. Иногда с раннего утра, чтобы проводить Наташку в школу, являлась Вера Лазаревна. Лежа с закрытыми глазами, Дмитриев слышал, как женщины шаркали, двигались, перегова-

ривались громким шепотом, гремели посудой, Наташка ворчала: «Опять каша! Неужели у вас фантазии нет?» Лена реагировала с привычным утренним гневом: «Я тебе покажу фантазию! Сядь как следует!» — а теща бубнила: «Если б другие дети имели то, что имеешь ты…» Это была заведомая ложь. Другие дети имели все то же самое и даже гораздо больше. Но в те утра, когда Дмитриев просыпался, охваченный невразумительным оптимизмом, его ничто не раздражало. Он смотрел с высоты пятого этажа на сквер с фонтаном, улицу, столб с таблицей троллейбусной остановки, возле которого сгущалась толпа, и дальше он видел парк, многоэтажные дома на горизонте и небо. На балконе соседнего дома, очень близко, в двадцати метрах напротив, появлялась молодая некрасивая женщина в очках, в коротком, неряшливо подпоясанном домашнем халате. Она присаживалась на корточки и что-то делала с цветами, стоявшими на балконе в горшках. Она их трогала, поглаживала, заглядывала под листочки, а некоторые листочки поднимала и нюхала. Оттого, что она садилась на корточки, халат раскрывался, и становились видны ее крупные синевато-белые колени. Лицо женщины было такого же тона, как колени, синевато-бе-

лое. Дмитриев наблюдал за женщиной, сгибаясь и разгибаясь в поясе. Он смотрел на нее из-за занавески. Непонятно почему — женщина ему совсем не нравилась, — но тайное наблюдение за ней вдохновляло его. Он думал о том, что еще не все потеряно, что тридцать семь — это не сорок семь и не пятьдесят семь и он еще может кое-чего добиться.

Топоча по коридору, в суматохе, сопровождаемые криками Лены: «А мешки взяли? Не бегите через дорогу! Attention, дети, attention», — Наташка и фандеевская Валя, шестиклассница, покидали дом в тридцать минут девятого. Под их прыжками содрогалась лестница. Дмитриев проскальзывал в ванную, запирался, через три минуты легкий стук прерывал его размышления: «Виктор Георгиевич, сегодня пятница, у меня стирка, я вас умоляю— побыстрее!» Это был голос соседки Ираиды Васильевны, с которой теща Дмитриева не разговаривала, Лена была в холодных отношениях, но Дмитриев старался быть корректен, оберегая свою объективность и независимость. «Хорошо! — отвечал он сквозь шум воды. — Будет сделано!» Он быстро брился, включив газовую колонку и полоская кисточку под горячей струей, потом мыл лицо над старым,

пожелтевшим, с отбитым краем умывальником — его давно полагалось сменить, но Фандеевым один черт, над каким умывальником мыться, а Ираида Васильевна жалела деньги — и вскоре, слегка насвистывая, с газетами в руке, которые он успевал по пути из ванной по коридору достать из ящика, возвращался в комнату. Стол еще был загромождён посудой после недавней еды Наташки и Лены. Теперь торопилась Лена, она уходила на десять минут позже Наташки, и утреннее обслуживание Дмитриева принимала на себя тещa. Дмитриеву это не особенно нравилось, теща тоже ухаживала за зятем без энтузиазма — это была ее маленькая утренняя жертва, один из тех незаметных подвигов, из которых и состоит вся жизнь таких тружениц, таких самозабвенных натур, как Вера Лазаревна.

Иногда Дмитриев замечал, что Лена лишь старается показать, что ей некогда, а на самом деле у нее вполне хватило бы времени приготовить ему завтрак, но она нарочно уступала эту миссию матери: как бы затем, чтобы Дмитриев был чем-то, пускай незначительным, пускай на минуту, теще обязан. Она даже могла шепнуть ему на ухо: «Не забудь поблагодарить маму!» Он благодарил. Он видел все эти уловки по регулированию семей-

ных связей и в зависимости от настроения то не обращал на них внимания, то тихо раздражался. На тихое раздражение Вера Лазаревна всегда ответствовала по-своему — нежнейшим ехидством. «Как быстро-то Виктор Георгиевич освободил ванную! Вот молодец! — улыбаясь, говорила она и влажным кухонным полотенцем вытирала на клеенке местечко для Дмитриева, — Что значит — соседка попросила...» Лена решительно пресекала: «При чем тут соседка? Витя всегда моется быстро». — «Я и говорю:-молодец, молодец, по-военному...»

В то утро начального октября за окном была синь, комната полнилась светом, отраженным от залитого солнцем бело-кирпичного торца противоположного дома, и голоса Веры Лазаревны не было слышно. В первый миг едва разлепив глаза, Дмитриев бессознательно — из-за солнца и света — ощутил радость, но уже в следующую секунду все вспомнилось, синева смеркла, за окном установился безнадежно ясный и холодный осенний день. До завтрака ни он, ни Лена не сказали друг другу ни слова. Но после того, как Дмитриев позвонил Ксении Федоровне — он звонил сестре Лоре в Павлиново, где сейчас мать жила, и Ксения Федоровна бодрым голосом

рассказала, что вчера поздно заезжал Исидор Маркович, нашел состояние хорошим, давление в норме, советовал с первым снегом поехать в какой-нибудь подмосковный санаторий, затем следовали вопросы насчет Наташкиных дел, как ее глаза, исправила ли тройку по физике, дают ли ей морковку, сырую, тертую, самое полезное питание для глаз, и что слышно с командировкой Дмитриева, — он испытал внезапное облегчение, точно отлив боли от головы. Вдруг показалось, что все, может, и обойдется. Бывают же ошибки, самые невероятные ошибки. И с этой ничтожной радостью и минутной надеждой он пришел после телефонного разговора в комнату — Наташка уже убежала, а Лена поспешно что-то шила, наполовину одетая, в юбке и в черной нижней рубашке, с голыми плечами — и, проходя мимо Лены, он легонько шлепнул ее пониже спины и спросил дружелюбное.

— Ну-с, как настроение?

Вдруг сухо Лена ответила, что настроение у нее плохое.

— Да что ты? — сказал Дмитриев, задетый тем, что так сухо отвечают на его дружелюбие. — Это отчего же?

— Причин, по-моему, больше, чем достаточно.

Мама заболела.

— Твоя мама?

— Ты думаешь, только твоя может болеть?

— А что с Верой Лазаревной?

— Что-то очень серьезное с головой. Второй день лежит, я уж тебе не говорила вчера, но сегодня утром позвонила… Какие-то мозговые спазмы.

Лена закончила шитье, надела кофточку и подошла к зеркалу, глядя на себя высокомерно. Кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво — руки у Лены вверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырышках. Ей надо носить только длинные рукава, но сказать ей об этом было бы неосмотрительно. Какая выдержка — ни звука о своем вчерашнем предложении! Может, ей стало стыдно, но скорее тут была некоторая амбиция: ее обвинили в бестактности, в отсутствии чуткости, как раз в тех качествах, которые ей самой особенно неприятны в людях, и она проглотила эту несправедливость и даже просила прощения и как-то унижалась. Но теперь она будет молчать. Зачем всегда ходить в плохих? Нет уж, теперь станете просить — не допроситесь. К тому же ей не до того, она озабочена болезнью матери (Дмитриев

готов был отвечать ста рублями против рубля за то, что у тещи ее обычная мигрень). Господи, как он научился читать вслепую в этой книге! Не успел Дмитриев насладиться последней мыслью, полной самодовольства, как Лена ошеломила его. Совершенно буднично и мирно она сказала:

— Витька, я тебя прошу — поговори сегодня же с Ксенией Федоровной. Просто предупреди, что Маркушевичи могут смотреть ее комнату, и надо взять ключ.

Помолчав, он спросил:

— Когда они хотят смотреть?

— Завтра, послезавтра, не знаю точно. Они позвонят. А ты, если поедешь сегодня в Павлиново, не забудь, возьми ключ у Ксении Федоровны. Кефир, пожалуйста, поставь в холодильник, а хлеб — в мешочек. А то всегда оставляешь, и он сохнет. Пока!

Махнув приветственно, она вышла в коридор. Хлопнула входная дверь. Загудел лифт. Дмитриеву что-то хотелось сказать, какая-то мысль, неясно-тревожная, возникала на пороге сознания, но так и не возникла, и он, сделав два шага вслед за Леной, постоял в коридоре и вернулся в комнату.

От ранней синевы не осталось и помину. Когда

Дмитриев вышел к троллейбусной остановке, сеялся мелкий дождь и было холодно. Все последние дни дождило. Конечно, Исидор Маркович прав — он опытнейший врач, старый воробей, его приглашают на консультации в другие города — надо вывозить мать за город, но не в такую же гриппозную сырость. Но если он советует подмосковный санаторий, значит, не видит близких угроз — вот же что! И Дмитриев второй раз за сегодняшнее утро с робостью подумал о том, что, может быть, все и обойдется. Они обменяются, получат хорошую отдельную квартиру, будут жить вместе. И чем скорее обменяются, тем лучше. Для самочувствия матери. Свершится ее мечта. Это и есть психотерапия, лечение души! Нет, Лена бывает иногда очень мудра, интуитивно, по-женски — ее вдруг осеняет. Ведь тут, возможно, единственное и гениальное средство, которое спасет жизнь. Когда хирурги бессильны, вступают в действие иные силы… И это то, чего не может добыть ни один профессор, никто, никто, никто!



Уже ни о чем другом не мог думать Дмитриев, стоя на троллейбусной остановке под моросящим дождем, и потом, пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей, толкающих по колену портфелей, пальто, пахнущих сырым сукном, и об этом же он думал, сбегая по грязным, скользким от нанесенной тысячами ног дождевой мокряди,

ступеням метро и стоя в короткой очереди в кассу, чтобы разменять пятиалтынный на пятаки, и снова сбегая по ступеням еще ниже, и бросая пятак в щель автомата, и быстрыми шагами идя по перрону вперед, чтобы сесть в четвертый вагон, который остановится как раз напротив арки, ведущей к лестнице на переход. И все о том же — когда шаркающая толпа несла его по длинному коридору, где был спертый воздух и всегда пахло сырым алебастром, и когда он стоял на эскалаторе, втискивался в вагон, рассматривал пассажиров, шляпы, портфели, куски газет, папки из хлорвинила, обмякшие утренние лица, старух с хозяйственными сумками на коленях, едущих за покупками в центр, — у любого из этих людей мог быть спасительный вариант. Дмитриев готов был крикнуть на весь вагон: «А кому нужна хорошая, двадцатиметровая?..»

Без четверти девять он выбрался из подземелья на площадь, без пяти пересек переулок и, обогнув стоявшие возле подъезда автомобили, вошел в дверь, рядом с которой висела под стеклом черная таблица «ГИНЕГА».

В этот день решался вопрос о командировке в Голышманово, в Тюменскую область. Командировку утвердили еще в июле, и ехать обязан

был не кто иной, как Дмитриев. Насосы — его вотчина. Он один отвечал за это дело и один в нем по-настоящему разбирался, если не считать Сниткина. Неделю назад Дмитриев затеял с ним разговор, но Паша Сниткин, хитромудрый деятель (в отделе его называли «Паша Сниткин С-миру-ло-ниткин» за то, что ни одной работы он не сделал самостоятельно, всегда умел устроить так, что все ему помогали), сказал, что поехать, к сожалению, никак не может — тоже по семейным обстоятельствам. Наверное, врал. Но тут было его право. Кому охота ехать в ненастье, в холода в Сибирь? Сниткину было неловко отказывать, и у него вырвалось с досадой: «Ты же говорил, что твоей матушке стало лучше?»

Дмитриев не стал объяснять, только махнул рукой; «Где лучше…» А ведь Паша всегда так внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал телефоны врачей, вообще проявлял сочувствие, и в его согласии Дмитриев был почему-то совершенно уверен. Но почему? С какой стати? Теперь стало ясно, что эта уверенность была глупостью. Нет, они не фальшивят, когда проявляют сочувствие и спрашивают с проникновенной осторожностью; «Ну, как у вас дома дела?» — но просто это сочувствие и эта

проникновенность имеют размеры, как ботинки или шляпы. Их нельзя чересчур растягивать. Паша Сниткин переводил дочку в музыкальную школу, этим хлопотливым делом мог заниматься один он — ни мать, ни бабушка. И если б он уехал в октябре в командировку, музыкальная школа в этом году безусловно пропала бы, что причинило бы тяжелую травму девочке и моральный урон всей семье Сниткиных. Но, боже мой, разве можно сравнивать — умирает человек и девочка поступает в музыкальную школу? Да, да. Можно. Это шляпы примерно одинакового размера — если умирает ***чужой*** человек, а в музыкальную школу поступает своя ***собственная***, родная дочка.

Директор ждал Дмитриева в половине одиннадцатого. Склонив голову набок и глядя с каким-то робким удивлением Дмитриеву в глаза, директор сказал:;

— Так что же будем делать?

Дмитриев ответил:

— Не знаю. Ехать я не могу.

Директор молчал, трогая белыми широкими пальцами кожу на щеках, на подбородке, словно проверяя, хорошо ли побрился. Взгляд его становился задумчивым. Он действительно о чем-то

крепко задумался и даже бессознательно замурлыкал какую-то мелодию.

— Н-да… Так как же быть, Виктор Георгиевич? А? А если дней на десять?

— Нет! — отрывисто сказал Дмитриев.

Он понял, что может стоять, как скала, и его не сдвинут. Только не надо ничего объяснять. И директор, подумав, назвал фамилию Тягусова, молодого парня, год назад окончившего институт, и как казалось Дмитриеву, порядочного балбеса.

Еще недавно Дмитриев стал бы протестовать, но теперь вдруг почувствовал, что все это не имеет значения. А почему не Тягусова?

— Конечно, — сказал он. — Я посижу с ним дня два, все ему объясню. Он справится. Парень толковый.

Придя в свою комнату на первом этаже, Дмитриев полтора часа работал не разгибаясь: готовил документацию для Голышманова. Хотя он и раньше не верил в то, что его заставят поехать, все же мысль о командировке давила, была ко всем его тягостям еще одной гирькой, и теперь, когда гирьку сняли, он испытал облегчение. И подумал с надеждой, что сегодня, может быть, будет удачный день. Как у всех людей, которых гнетет судьба, у Дмитриева выработалось суеве-

рие: он замечал, что бывают дни везения, когда одна удача цепляется за другую, и в такие дни надо стараться проворачивать как можно больше дел, и бывают дни невезения, когда ни черта не клеится, хоть лопни. Похоже на то, что начинается день удач. Теперь надо занять деньги. Лора просила привезти хотя бы рублей пятьдесят. На одного Исидора Марковича ушло за месяц — четырежды пятнадцать— шестьдесят рублей. А где взять? Такая гадость: занимать деньги. Но делать надо сегодня, раз уже сегодня ***день удач***.

Дмитриев стал думать, к кому бы ткнуться. Почти все — он вспомнил — жаловались недавно, что денег нет, прожились за лето. Сашка Прутьев строил кооперативную квартиру, сам был весь в долгах. Василий Герасимович, полковник, партнер по преферансу и по поездкам на рыбалку, всегда выручавший Дмитриева, переживал трагедию — ушел от жены, просить его было неловко. Приятели Дмитриева по КПЖ (клуб полуженатиков), к которым Дмитриев кидался в минуты отчаянья, когда ссорился с Леной, были люди малоимущие — их состояния заключались у кого в автомобиле, у кого в моторной лодке, в туристской палатке, в бутылках французского коньяка или виски «Белая лошадь», купленных

случайно в Столешниковом и хранящихся на всякий пожарный дома в книжном шкафу, — и могли одолжить не больше четвертака, сороковки от силы, а достать необходимо было не меньше полутора сот. Была, конечно, последняя возможность, предел мучительства: попросить у тещи. Но это уж значило — докатиться. Дмитриев еще мог бы сделать над собой усилие, перемучиться, но Лена переживала такие вещи чересчур болезненно. Она-то знала свою мать лучше. Внезапно Дмитриеву пришло в голову — это была та самая мысль, что неясно тревожила, а теперь вдруг прорезалась, — как же сказать матери насчет обмена? Она прекрасно ведь знает, как Лена относилась к этой идее, а теперь почему-то предложила съезжаться. Почему?

Дмитриева даже бросило в пот, когда он все это вдруг сообразил. Он вышел в коридор, где на тумбочке стоял телефон, и позвонил Лене на работу. Обычно дозваться ее было нелегко. Но тут повезло (день удач!): Лена оказалась в канцелярии и сама сняла трубку. Дмитриев, торопясь, одной длинной сумбурной фразой высказал свои сомнения. Лена молчала, потом спросила:

— Значит, что же, ты не хочешь говорить?

— Я не знаю как. Не могу же я внушить ей

мысль — ты понимаешь?

Лена, снова помолчав, сказала, чтобы он позвонил через пять минут по другому телефону, откуда ей удобней говорить. Он позвонил. Лена говорила теперь громко и энергично.

— Скажи так: скажи, что ты очень хочешь, а я против. Но ты настоял. То есть вопреки мне, ясно? Тогда это будет естественно, и твоя мама ничего не подумает. Вали все на меня. Только не перебарщивай, а так — намеками... — Неожиданно она заговорила изменившимся, льстивым голосом: — Извините, пожалуйста, одну минуточку, я сейчас ухожу! Значит, все ясно? Ну, пока. Да, Витя, Витя! Поговори там с кем-то у вас на работе, кто удачно менялся, слышишь? Пока!

То, что Лена говорила, было, конечно, правильно и хитро, но тоска стиснула сердце Дмитриеву. Он не мог сразу вернуться в комнату и несколько минут бродил по пустому коридору.

До обеда он ни к кому не пошел и не стал ничего узнавать, а после обеда поднялся на третий этаж к экономистам. Лишь только он отворил дверь, Таня сразу же увидела его и вышла. Ничего не спрашивая, она испуганно смотрела на него.

— Да нет, ничего плохого, — сказал он. — Даже, может, немного лучше. Тань, ты не знаешь: у вас

кто-нибудь менялся? Квартиры менял?

— Не знаю. Кажется, Жерехов. А что?

— Мне надо посоветоваться, Мы должны срочно меняться, понимаешь?.

— Вы?

— Да;

— Вы хотите?.. — лицо Тани покраснело, — съезжаться с Ксенией Федоровной?

— Да, да! Это очень важно. В общем, долго объяснять, но это просто необходимо сейчас.

Таня молчала, опустив голову. В ее волосах, упавших на лицо, было много седых. Ей тридцать четыре, еще молодая женщина, но за последний год она здорово сдала. Может, больна? Уж очень она похудела, тонкая шея торчит из воротника, на худом лице из просяной, веснушчатой бледности одни гл аза — добрые — сияют во всегдашнем испуге. Этот испуг — за него, для него. Таня была бы, наверное, ему лучшей женой. Три года назад это началось, длилось одно лето и кончилось само собой: когда Лена с Наташкой вернулись из Одессы. Нет, не кончилось, тянулось слабой ниткой, рвалось на месяцы, на полгода. Знал, что, если рассуждать разумно, она была бы ему лучшей женой. Но ведь — разумно, разумно… У Тани был сын Алик и муж, носивший странную

фамилию Товт. Дмитриев никогда его не видел. Знал, что муж сильно любил Таню, простил ей все, но после того лета, три года назад, она больше не могла с ним жить, и они расстались. Дмитриев очень жалел, что так получилось, что муж сделался несчастным человеком, бросил работу, уехал из Москвы, и Таня тоже стала несчастным человеком, но ничего поделать было нельзя. Таня хотела уйти из ГИНЕГА, чтобы не видеть каждый день Дмитриева, но уйти оказалось трудно. Потом она постепенно смирилась со всем этим и научилась спокойно встречаться с Дмитриевым и разговаривать с ним, как со старым товарищем.

Дмитриев вдруг понял, о чем она сейчас думаем значит — всё, никогда.

— Ну, что можно сделать? — сказал он, — Понимаешь, это какой-то шанс, какая-то надежда. Мать же мечтала со мной жить.

— О чем ты говоришь? Она мечтала, наверное, не об этом.

— Я знаю.

— Ой, Витя… Ну, поговори с нашим Жереховым. Я его сейчас вызову. Только он большой болтун и враль, имей в виду. — Вдруг она спросила; — Тебе деньги нужны?

— Деньги? Нет.

— Витя, возьми. Я знаю, что значит болеть. Моя тетка болела восемь месяцев. Отложены двести рублей на летнее пальто, но лето, как видишь, кончилось, а я ничего не купила. Так что совершенно спокойно могу дать до весны.

— Нет, деньги мне не нужны. У меня есть. — Он поморщился. Еще чего: занимать у Тани! Вдруг усмехнулся. — Действительно, какой-то странный день! Одно за одним…

— Зайдем ко мне после работы, и я тебе дам, хорошо? Помолчав, он сказал:

— Я вру, денег у меня нет. Но не хочу брать у тебя.

— Дурак! — Она шлепнула его по щеке.

Дмитриев видел, что она обрадовалась. Она даже взяла его за руку, когда они вместе подошли к дверям комнаты, в которой сидел Жерехов.

— Леонид Григорьевич! — крикнула Таня. — Можно вас на минутку?

Жерехов, маленького роста приветливый старичок, совершенно лысый, с ровными и белыми вставными зубами, очень любезно и с охотой стал рассказывать, как он менялся. Дмитриев знал Жерехова немного, но заметил, что тот любезен и приветлив со всеми — наверное, потому, что, находясь в жалком пенсионном возрасте, старичок

боролся за место и желал со всеми подряд быть в наилучших отношениях. Оттого он рассказывал невыносимо подробно и длинно. Кто-то уехал за границу. Кто-то оказался в безвыходном положении. Кому-то пришлось заплатить. Все это было не то. Но затем Жерехов вдруг воскликнул, и его голубые старческие глаза от прилива любезности расширились:

— Да! Вот с кем вам надо — с Невядомским! Вы Невядомского знаете, Алексея Кирилловича? Из КБ-3? У него такая же история, он тоже менялся, Оттого..

Жерехов понизил голос, — что теща безнадежно хворала. У нее была отличная комната, чуть ли не двадцать пять метров, где-то в центре. А Алексей Кириллович жил на Усачевке. Все надо было делать очень срочно. И удалось, вы знаете, замечательно удалось! Вот он вам расскажет. Правда, у него были зацепки в райжилотделе. Словом, так: он успел оформить обмен, сделал ремонт в той квартире — это его обязали через ЖЭК, — перевез тещу, получил лицевой счет, и через три дня старушка померла. Представляете? Он, бедняга, в ту зиму натерпелся, я помню. Чуть не слег. Но сейчас у него квартира исключительная, просто генеральская, люкс. Лоджии, два

балкона, масса всякой подсобной кубатуры. Он на одном балконе даже помидоры выращивает. Вы зайдите, зайдите, он расскажет! Желаю успеха!

Жерехов благожелательно кивал и, пятясь, вперся назад в свою комнату. Пока он говорил, Таня стояла рядом с Дмитриевым и незаметно держала его за кончик мизинца.

— В шесть спускайся вниз, и сразу поедем, — сказала шепотом.

— Ты понимаешь, я должен сегодня к Лоре в Павликово. Меня ждет мать. Она сейчас у Лоры.

Он знал, что наносит удар некоторым надеждам Тани, но лучше уж было сказать сразу.

— Ну, хорошо. Делай, как тебе нужно. — На ее лице все отпечатывалось мгновенно: оно смеркло.

— Нет, я к тому, что…

— Я понимаю! Неужели думаешь, что я не понимаю? Ни на секунду тебя не задержу. Возьмешь деньги и тут же — катись.

Кивнув, она быстро пошла от него по коридору. Еще недавно, год назад, в ее высокой фигуре было что-то, волновавшее Дмитриева. Особенно в те минуты, когда она уходила от него и он смотрел ей вслед. Но теперь ничего не осталось. Все куда-то исчезло. Теперь это была просто высокая,

худая, очень длинноногая женщина с пучком крашенных хною волос на тонкой шейке. И все-таки каждый раз, глядя на нее, он думал о том, что она была бы для него лучшей женой.

Дмитриев вернулся в отдел, посидел полчаса над документацией — мысли его вертелись вокруг того же: мать, Лора, Таня, Лена, деньги, обмен — и понял, что надо уйти с работы раньше, иначе попадет в Павлиново чересчур поздно. Таня жила в неудобнейшем месте, хуже не придумаешь — в Нагатине. Дмитриев пошел в кабинетик Сотниковой Варвары Алексеевны, своей начальницы, и сказал, что хотел бы, если можно, уйти сегодня в пять. Варвара Алексеевна согласилась. Все в отделе знали, что происходит в жизни Дмитриева, и относились с пониманием: каждую неделю разок-другой он мог уйти с работы раньше срока. Однажды даже, был такой грех, он бегал под этой маркой в универмаг «Москва», покупал форму для Наташки. Вновь Дмитриев поднялся на третий этаж и сказал Тане, чтоб она тоже отпросилась уйти в пять. Потом пошел в КБ-3 к Невядомскому — тут же, на третьем этаже.

Идти к Невядомскому Дмитриев решился после некоторых колебаний. Отношения между ними были прохладные — по вине одного Дмитриев-

ского приятеля, который уже полгода, правда, не работал в ГИНЕГА. У Невядомского с этим приятелем были какие-то скандалы в профкоме. И они не здоровались. А когда Невядомский встречал Дмитриева в компании этого приятеля, он — заодно уж — не здоровался и с Дмитриевым, и точно так же из солидарности с приятелем поступал Дмитриев. Однако когда Невядомский и Дмитриев встречались по отдельности, они вполне корректно, хотя и несколько прохладно здоровались и даже обменивались двумя-тремя фразами. Все это была чепуха собачья, и Дмитриев решил наплевать и пойти. А вдруг у Невядомского действительно есть ***зацепки*** и он ими поделится?

Невядомский, худощавый брюнет с черноватой рыжей курчавой бородкой, удивленно вскинул брови, когда Дмитриев, зайдя в комнату, попросил у него «краткой аудиенции». За столиком в углу двое рубились в шахматы, очень быстро переставляя фигуры. Невядомский стоял рядом и смотрел. У «кабетришников» любимым занятием были шахматы, они играли блицы, пятиминутки, а у «кабедвашников» процветал пинг-понг. Сражения происходили в обеденный перерыв, но иногда прихватывали и от рабочего времени, особенно к концу дня. Невядомский, сказав: «Одну

минуту! Сейчас, сейчас!» — продолжал наблюдать за игроками. Те хлопали фигурами по доске со скоростью автоматов, пока один не вскрикнул: «Ах, черт!» — и ударом пальца не опрокинул своего короля. Невядомский рассмеялся злорадно и произнес;

— И сказал тут балда с укоризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!

После этого с выражением злорадной улыбки на лице он двинулся к дверям, но, наткнувшись взглядом на Дмитриева, согнал улыбку, и его брови опять с удивлением поднялись. Дмитриев стал нескладно излагать свою просьбу, вернее, намек на просьбу, окутанный торопливым и малосодержательным бормотанием. Невядомско-му следовало дагадаться: его просили поделиться советом о том, как поступать в известных ему обстоятельствах. Но Невядомский не догадывался. Его черновато-рыжая курчавая бородка поднималась выше, глаза смотрели все более холодно и, как показалось Дмитриеву, высокомерно.

— Простите, я не пойму, собственно…

— Сейчас я объясню. Дело в том, что причины, побудившие вас и меня… Словом, у нас одинаковая ситуация…

— Что вы имеете в виду?

— Что я имею в виду? — Дмитриев почувствовал, как его шея и щеки наливаются краской. — Я имею в виду вот что: мне тоже надо меняться как можно скорей. Я и хотел с вами посоветоваться, как это делается вообще? С чего начинать?

— С чего начинать? Как — с чего начинать? С бюро обмена, разумеется. Заплатить три рубля и дать объявление в бюллетене.

— Но вы же понимаете, что, если человек серьезно болен, очень серьезно, и дорог каждый час…

— А никак иначе вы начать не можете. С бюро обмена. Других путей я не знаю. — Невядомский засунул большой палец в ноздрю, указательным прижал ее сверху и стал сосредоточенно что-то оттуда выкручивать. По-видимому, напряженно соображал, стоит или не стоит посвящать Дмитриева в свои ***зацепки***. Решил: не стоит. — У меня не было никаких иных путей. — Вдруг Невядомский фыркнул. — Знаете, вы напомнили мне глупейшую историю! Когда я был студентом, у меня умер отец. Прошло месяца два или три… — Рассказывая, он продолжал большим пальцем выкручивать что-то из носа. — И неожиданно ко мне заходит сосед, незнакомый человек из другого подъезда, и говорит: «У меня умер отец, а

я слышал, что у вас тоже недавно умер отец. Вот я пришел к вам познакомиться и попросить вас поделиться опытом». Каким опытом? Что? Как? Я его, разумеется, вежливо выставил.



«И это вынести. тоже, — думал Дмитриев,

ощущая оцепенение. Повернуться и уйти, но он продолжал стоять, глядя в черновато-рыжую бороду. — На тещиной могиле помидоры. Ну, все равно. И это. И будет еще другое».

— Если хотите, у меня где-то есть телефон некоего Адама Викентьевича, маклера. Могу поискать…

Преодолевая оцепенение, Дмитриев повернулся и пошел по коридору прочь. В пять вышли с Таней на площадь, и тут же — редкий случай! — подвернулось пустое такси. Дмитриев свистнул, они вскочили, поехали. Переулок был заполнен толпой, двигавшейся в одном направлении, к метро. Кончила заводская смена. Такси ехало медленно. Люди заглядывали в кабину, кто-то постучал ладонью по крыше. Когда проехали метро и вырвались на проспект, Дмитриев заговорил о Невядомском, со злобой.

Таня взяла его за руку.

— Ну, зачем злишься? Не надо. Перестань…

Он чувствовал, как ее спокойствие и радость переливаются в него. Таня, улыбаясь, сказала:

— Все мы очень же разные. Мы — люди… У моей двоюродной сестры умер маленький сынок. Конечно, безумное горе, переживания и при этом какая-то новая, страстная любовь к детям,

особенно больным. Она всех жалела, старалась, чем могла, помочь. И есть у меня знакомая, у которой тоже умер мальчик, от белокровия. Так эта женщина всех возненавидела, она всем желает смерти. Радуется, когда читает в газете, что кто-то умер…

Таня придвинулась. Положила голову ему на плечо, спросила:

— Можно? Тебе не мешает?

— Можно, — сказал он.

Ехали окраинами, через новые районы. Дмитриев рассказывал о Ксении Федоровне. Таня спрашивала с сочувствием — это было истинное, Дмитриев знал, к его матери она испытывала симпатию. А Ксении Федоровне нравилась Таня, они виделись раза два летом, в Павлинове. Таня держала его руку в своей, иногда начинала тихо щекотать его ладонь пальцем. Ласки Тани всегда были какие-то школьные.

Не отнимая руки, он подробно рассказывал о матери? что говорил профессор Зурин, что сказал Исидор Маркович. Таня засмеялась:

— Ах, гнусная баба! Одалживает деньги и пристает с нежностями, правда? — Она вдруг ткнулась носом к его щеке, прижалась. — Прости меня, Витя… Я не могу…

Он гладил ее голову. Долго ехали молча, Проехали Варшавку.

— Ну, что ты? — спросил он.

— Ничего. Не могу…

— Что?

— Жалко — тебя, твою маму… И себя заодно.

Дмитриев не знал, что сказать. Просто гладил ее голову и все. Она стала хлюпать носом, он почувствовал на щеке мокрое. Тогда она отодвинулась от него и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Наконец миновали набережную, поехали по трамвайным путям, мимо какой-то фабрики, вдоль глухого длинного каменного забора. Возле пивного ларька густела черная толпа мужчин. Некоторые в одиночку и парочками с кружками в руках стояли поодаль. Дмитриев почувствовал, что сушит горло — захотелось хлебнуть чего-то, взбодриться. «Надо спросить, — подумал он, — У Танюшки бывало. Хоть что-нибудь».

Новый шестнадцатиэтажный дом стоял на краю поля. Дорога шла в объезд, вокруг поля.

— Вот здесь, — сказала Таня.

Дмитриев отлично помнил, что здесь. Последний раз он был тут около года назад.

— Ты машину оставишь? — спросила Таня.

Конечно, надо было оставить. Но его всегдаш-

нее слабодушие— он видел, что Тане страстно этого не хотелось, — заставило ответить:

— Да ладно, пусть едет. Я тут найду.

— Конечно, найдешь! — сказала Таня.

Поднялись на одиннадцатый этаж. Таня вдвоем с сыном жила в большой трехкомнатной квартире. Бедняга Товт выстроил этот корабль в кооперативном доме, только успели въехать, и тут все случилось. Алик был тогда в лагере, Товт трудился где-то в Дагестане — он был горный инженер, — и Таня жила одна в пустых, без мебели комнатах, пахнущих краской. На полах лежали газеты. В одной комнате стоял громадный диван, больше ничего. И любовь Дмитриева была неотделима от запаха краски и свежих дубовых полов, еще ни разу не натертых. Босой, он шлепал по газетам на кухню, пил воду из крана. Таня знала множество стихов и любила читать их тихим голосом, почти шептать. Он поражался ее памяти. Сам он не помнил, пожалуй, ни одного стихотворения наизусть — так, отдельные четверостишия. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». А Таня могла шептать часами. У нее было штук двадцать тетрадей, еще со студенческих времен, где крупным и ясным почерком отличницы были переписаны стихи

Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Блока. И вот в минуты отдыха или когда не о чем было говорить и становилось грустно, она начинала шептать. «О господи, как совершенны дела твои, думал больной…» Или еще «Сними ладонь с моей груди, мы провода под током».

Иногда, устав от однообразного шелестения губ, он говорил: «Ну, хорошо, моя радость, передохни. А почему этот ваш Хижняк с Варварой Алексеевной не здоровается?» После паузы она отвечала печально: «Не знаю». Все ее обиды были мгновенны. Даже тогда, когда она могла бы обидеться по-серьезному. Почему-то он был уверен в том, что она ***не разлюбит его никогда***. В то лето он жил в этом состоянии, не испытанном прежде: любви к себе. Удивительное состояние! Его можно было определить как состояние привычного блаженства, ибо его сила заключалась в постоянстве, в том, что оно длилось недели, месяцы и продолжало существовать даже тогда, когда все уже кончилось.

Но Дмитриев не задумывался: за что ему это блаженство? Чем он заслужил его? Почему именно он — не очень уже молодой, полноватый, с нездоровым цветом лица, с вечным запахом табака во рту? Ему казалось, что тут нет ниче-

го загадочного. Так и должно быть. И вообще, казалось ему, он лишь приобщился к тому нормальному, истинно человеческому состоянию, в котором должны — и будут со временем — всегда находиться люди. Таня же, наоборот, жила в неизбывном страхе и в каком-то страстном недоумении. Обнимая его, шептала, как стихи: «Господи, за что? За что?»

Она ни о чем не просила и ни о чем не спрашивала, и он ничего не обещал. Нет, ни разу ничего не обещал. Зачем было обещать, если он твердо знал, что все равно она ***не разлюбит его никогда***. Просто ему приходило в голову, что она была бы для него лучшей женой.

В комнатах появилась новая мебель— в одной комнате сервант и круглый полированный стол, в другой — полупустой книжный шкаф. Но паркет по-прежнему был не натерт и выглядел грязновато. Из комнаты вышел Алик, заметно подросший, бледное веснушчатое создание лет одиннадцати, в очках на тонком носике. Голову он держал, слегка откинув назад и набок, может быть, оттого, что был нездоров, а может быть, так лучше видел через очки. Эта посадка головы и маленький сжатый рот придавали мальчику выражение надменности.

— Мам, я пойду к Андрюше. Мы будем марками меняться, — проговорил он скрипучим голосом и метнулся через коридор к двери.

— Постой! Почему ты не поздоровался с Виктором Георгиевичем?

— Здрасьте, — не глядя, бросил через плечо Алик.

Торопясь, отомкнул замок и выскочил, хлопнув дверью.

— Приходи не позже восьми! — крикнула в закрытую дверь Таня. — Воспитанием юноша не блещет.

— Он, наверно, забыл меня. Я давно все-таки не был.

— А даже если пришел незнакомый человек? Здороваться не нужно? — Таня прошла в большую комнату, открыла боковую дверцу серванта и сказала: — Он тебя не забыл.

Из-под кипы чистого белья она достала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку денег. Он спрятал деньги в карман.

— Ну, иди, — сказала Таня. — У тебя же времени нет. Он вдруг выдвинул стул и сел к полированному столу. — Посижу малость. Что-то я устал. — Он снял шляпу, ладонью потрогал лоб. — Голова болит.

— Хочешь покушать? Дать что-нибудь?

— А выпить ничего нет?

— Нет… Постой! — Глаза ее обрадованно засияли. — Кажется, где-то осталась бутылка коньяку, которую мы с тобой не допили. Помнишь, когда ты был последний раз? Сейчас посмотрю!

Она побежала на кухню, через минуту принесла бутылку. На дне было граммов сто коньяку.

— Сейчас будет закуска. Одну минуту!

— Да зачем тут закуска?

— Сейчас, сейчас! — Она снова опрометью кинулась на кухню.

Дмитриев встал, подошел к балконной двери. С одиннадцатого этажа был замечательный вид на полевой простор, реку и темневшее главами собора село Коломенское. Дмитриев подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем, ездить на работу автобусом до Серпуховки, оттуда на метро, не так уж долго. Таня принесла в стеклянной посуде шпроты, два помидора, масло, хлеб и рюмки. Он налил себе полную рюмку, а Тане — что осталось. Она всегда пила мало, сразу пьянела.

— За что мы пьем? — спросила Таня.

— За то, чтоб тебе было хорошо.

— Ну, давай! Нет. За это не надо. Мне и так будет хорошо. А вот давай за то, чтоб тебе было хорошо. Давай?

— Ладно. — Ему было все равно. Он уже выпил и жевал помидор. Хмыкнул: — Эти помидоры не с могилы тещи Невядомского?

— Потому что тебе, Витя, — сказала она, — вряд ли когда-нибудь будет хорошо. Ну а вдруг, а все-таки? Вот за это.

Он не стал спрашивать, что она имела в виду. Лишние разговоры. После коньяка стало тепло, он с удовольствием жевал помидор и смотрел на Таню, которая сгорбилась в задумчивости, опершись локтями о стол и глядя в угол комнаты.

— Не сутулься! — Он по-отечески слегка шлепнул ее по лопаткам.

Таня выпрямилась, продолжая глядеть в угол комнаты. На ее застывшем лице с зарозовевшими от капли коньяку пятнами на скулах было отчетливо видно страдание. На одно мгновение он очень остро пожалел ее, но тут же вспомнил, что где-то далеко и близко, через всю Москву, на берегу этой же реки, его ждет мать, которая испытывает страдания смерти, а Танины страдания принадлежат жизни, поэтому — чего ж ее жалеть? В мире нет ничего, кроме жизни и смерти. И

все, что подвластно первой, — счастье, а все, что принадлежит второй… А все, что принадлежит второй, — уничтожение счастья. И ничего больше нет в этом мире. Дмитриев поднялся рывком, с внезапной поспешностью, точно кто-то сильный схватил и дернул его за руки, и, сказав: «Пока! Я бегу!» — понесся быстрыми шагами по коридору к двери. Таня ничего не успела ему сказать. Может быть, она ничего и не хотела ему говорить.

Дмитриев доехал автобусом до метро — никакого такси, конечно, не было, — сделал две пересадки и вышел на последней станции нового радиуса. Накрапывал мелкий дождь. Москва была далеко, белела громадными домами на горизонте, а тут было поле, изрытое котлованами, на мокрой глине лежали трубы и возле столба на шоссе стояла очередь, ждавшая троллейбус. Небо было в тучах, располагавшихся слоями — наверху густело что-то неподвижное, темно-фиолетовое, ниже двигались светлые, рыхлые тучи, а еще ниже летела по ветру какая-то белая облачная рвань вроде клочьев пара.

Лет сорок назад, когда отец Дмитриева Георгий Алексеевич строил дом в поселке Красных партизан, это место, Павлиново, считалось дачным. Оно было дачным и до революции, ездили сюда

конкой от заставы. В тридцатые годы мальчик Витя, посредственный ученик, но прилежный велосипедист, рыболов, игрок в «пятьсот одно», глотатель Сенкевича и Густава Эмара, приезжал сюда летними днями на скрипучем старом автобусе, отходившем с часовыми промежутками от булыжной Звенигородской площади. В автобусе всегда было душно, окна не открывались, пахло дерюгами. Мимо волоклись пустыри, огороды, одна деревенька, другая, холодильник, радиополе, школа за каменным, из белого кирпича, забором, снова поле, огороды, церковь на бугре, и вдруг открывалась дуга запруды, где чернели неподвижные лодки рыболовов, и у мальчика Вити сжималось сердце. Дорога от автобусной станции шла среди сосен, мимо почерневших от дождей годами не крашенных заборов, мимо дач, скрытых за кустами сирени, шиповника, бузины, поблескивающих сквозь зелень мелкозастекленными верандочками. Надо было идти по этой дороге долго, гудрон кончался, дальше шел пыльный большак, справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной — в двадцатых годах упал самолет, и роща горела, — а слева продолжали тянуться заборы. За одним из заборов, никак не замаскированный молодыми

березками, торчал бревенчатый дом в два этажа с подвалом, вовсе не похожий на дачный, скорее на ***дом фактории*** где-нибудь в лесах Канады или на ***гасиенду*** в аргентинской саванне.

Дом был построен кооперативом, звучно называвшимся «Красный партизан». Георгий Алексеевич не был красным партизаном, его пригласил в кооператив брат Василий Алексеевич, красный партизан и работник ОГПУ, владелец двухместного спортивного «оппеля». Неподалеку на том же участке жил в маленькой дачке третий брат, Николай Алексеевич, тоже красный партизан, служивший во Внешторге, месяцами живший то в Японии, то в Китае. Николай Алексеевич привез из Китая игру ма-чжонг — в шкатулке красного дерева на четырех выдвижных полочках помещались сто сорок четыре камня, с одной стороны бамбук, с другой слоновая кость. В ма-чжонг сначала резались взрослые на деньги, потом, когда взрослым надоело или стало не до того, игра перешла во владение детей Николая Алексеевича и всей оравы павлиновской детской коммуны. Ничего не осталось от тех вечеров с патефонной музыкой «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», с громким разговором двух глухих красных партизан, всегда споривших о чем-то на

втором этаже, со стуком китайских костяшек на верандочке Николая Алексеевича. В этом мире, оказывается, исчезают не люди, а целые гнездовья, племена со своим бытом, разговором, играми, музыкой. Исчезают дочиста, так, что нельзя найти следов. Хотя там, в Павлинове, осталась Лора. Но кроме Лоры — никого, ни единого человека. Из братьев раньше всех умер старший, Георгий Алексеевич. Мгновенная смерть от инсульта — тогда это называлось апоплексическим ударом — случилась душным днем прямо на улице.

Дмитриев помнил отца плохо, отрывочно. Помнил — темные усы и бородка, очки в золотых ободках, очень тонкая и мягкая на ощупь желтоватенькая чесучовая рубашка в табачных крошках, толстый живот под ней и всегдашний, надо всем, всеми, смешок. Георгий Алексеевич был инженером-путейцем, но всю жизнь мечтал оставить эту работу и заняться сочинением юмористических рассказиков. Ему казалось, что в этом его призвание. Всегда он ходил с записной книжечкой в кармане. Дмитриеву запомнилось, как быстро и легко сочинял отец смешные истории — шли вечером на огород поливать огурцы и увидели, как Марья Петровна, тетка одного красного партизана, пытается сбить с сосны мя-

чик своего внука Петьки. Сначала бросила палку, палка застряла на сосне, тогда стала кидать туфлю, туфля тоже застряла. Пока дошли до огорода, отец рассказал Дмитриеву уморительную сказку о том, как Марья Петровна забросила на сосну вторую туфлю, потом кофту, пояс, юбку, все это висело на сосне, а Марья Петровна голая сидела внизу, потом прибежал дядя Матвей, тоже стал кидать ботинки, штаны. А через несколько дней отец приехал из города и привез журнал, где был напечатан рассказ «Мячик». Над братьями Георгий Алексеевич подсмеивался, считал их недалекими, звал в шутку «колунами». Сам он окончил университет, а братья даже в гимназии не успели доучиться: завертела гражданская война, кинула одного на Кавказ, другого — на Дальний Восток. Иногда удивлялся, разговаривая с матерью: «И как это таких людей за границу посылают, когда они ни бе ни ме ни по-каковски?» Еще корил братьев за жадность, за сытую жизнь, издевался над китайскими костяшками, над вечной по выходным дням автомобильной возней — братнин «оппель» называл не иначе как с буквы «ж». А в Козлове родные тетки голодали, мерли одна за другой, племянникам не на что было приехать в Москву. Один Георгий

Алексеевич помогал как мог.

Ссоры между братьями бывали большие — месяцами ни он к ним, ни они к нему. Мать считала, что в ссорах и во всех последующих несчастьях братьев виноваты были жены, Марьянка и Райка, зараженные мелкобуржуазным мещанством, но потом им, беднягам, тоже пришлось несладко.

Вообще отец был лучше, умнее братьев, человек неплохой. Только неудачливый. Рано умер, ничего не успел. Что сохранилось от его записных книжек, в которых было столько смешного, прекрасного? Книжечки исчезли, как и все остальное. Как исчезла Райка, жена Николая Алексеевича, бывшая когда-то красавицей и самой большой модницей поселка Красных партизан. Как исчез песчаный откос на берегу реки, где по утрам, очень рано, бывал отличный клев. После восьми рыба уходила отсюда — между причалом и деревней начинал тарахтеть речной трамвайчик, появлялись моторные лодки. Надо было переезжать на другой берег; там были тихие бухточки, где пряталась рыба, но в солнцепек сидеть было невыносимо — ни дерева, ни куста, голый луг в жесткой траве.

Дмитриев неожиданно выскочил из троллейбуса на одну остановку раньше, чем нужно.

Захотелось подойти к тому месту, где был когда-то его любимый откос. Он знал, что там сейчас бетонированная набережная, но рыбаки приходят все равно. Новые рыбаки из пятиэтажных домов, что за мостом. Им очень удобно — подъезжают на троллейбусе.

Он спустился по каменным ступеням — все было сделано фундаментально, как в парке культуры, — и прошел низом по бетонным плитам, возвышавшимся метра на два над уровнем воды. Так, вдоль реки, можно было дойти почти до самого дома. Теперь уже берег не поползет. Каждую весну здесь рушились ломти берега, иногда прямо со скамейками, с соснами.

На мокрых плитах блестело небо и не видно было ни одного дурака. Хотя нет, вдалеке сидел кто-то скрюченный, и Дмитриев медленно пошел к нему. Вода казалась очень чистой, незамусоренной, но темной — осенняя вода. Дмитриев остановился за спиной рыболова и стал глядеть на поплавок. Он глядел минут пять, со все большей тревогой и каким-то внезапным ослаблением духа, думая о том, как тяжело будет говорить. Невозможно тяжело. И с Лорой тоже. Может быть, с Лорой даже тяжелей, чем с матерью. Что же делать? Они все, конечно, поймут. Впрочем,

мать может и не понять — если представить дело именно так, как предлагает Лена, мать же очень простодушна, — но Лора-то поймет сразу, Лора хитра, прозорлива и очень не любит Лену. Если мать при всем неприятии Лены все же с нею смирилась, научилась чего-то не замечать, что-то прощать, то Лора с годами твердеет в неприязни — из-за матери. Она сказала однажды: «Не знаю, каким надо быть человеком, чтобы относиться к нашей матери без уважения». Верно, Ксению Федоровну любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи по квартире и по павлиновской даче, потому что она доброжелательна, уступчива, готова прийти на помощь и ***принять участие***. Но Лора не понимает… Ах, она не понимает, не понимает! Лора так и не научилась заглядывать немного глубже того, что находится на поверхности. Ее мысли никогда не гнутся. Всегда торчат и колются, как конский волос из плохо сшитого пиджака. Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели!

Все правда, истинная правда: мать постоянно окружают люди, в судьбе которых она ***принимает участие***. В ее комнате подолгу живут какие-то пожилые полузнакомые люди, друзья Георгия Алексеевича, и еще более ветхие старухи,

друзья деда, а то и случайные приятельницы по домам отдыха, желающие попасть к московским врачам, или провинциальные девочки и мальчики, дети отдаленных родственников, приехавшие поступать в институты. Всем мать старается помогать совершенно бескорыстно. Хотя где там — помогать! Связи давно порастеряны, и сил нет. Но все-таки — кровом, советом, сочувствием. Очень любит помогать бескорыстно. Пожалуй, точнее так: любит помогать таким образом, чтобы, не дай бог, не вышло никакой корысти. Но в этом-то и была корысть: делая добрые дела, все время сознавать себя хорошим человеком. И Лена, учуяв маленькую слабость матери, в минуты раздражения говорила про нее Дмитриеву: ханжа. А он приходил в ярость. Орал: «Кто ханжа? Моя мать ханжа? И ты посмела сказать…» И — начиналось, катилось… Ни мать, ни Лора не знали, как он буйствует из-за них. Кое о чем они, конечно, догадывались и кое-чему бывали свидетелями, но в полной мере — со всем набором оскорблений, с плачем Наташки, ***неразговором*** в течение нескольких дней, а порой даже легким рукоприкладством — это было им неизвестно. Они считали, особенно твердо считала Лора, что он их тихонько предал. Сестра сказала как-то:

«Витька, как же ты олукьянился!» Лукьяновы — фамилия родителей Лены.

Дмитриев вдруг решил, что надо продумать что-то важное, последнее. Не было сил идти в дом, и он оттягивал минуту.

Он сел неподалеку от рыбака на деревянный ящик — тоже рыбацкая чья-то принадлежность, — лежавший тут давно, побуревший и насквозь сырой. Как только Дмитриев сел, ящик стал мягко крениться, и пришлось очень крепко упереться ногами, чтоб удержать равновесие. На противоположном берегу, где когда-то был луг, теперь устроили громадный пляж с балаганами, ларьками. Лежаки были сложены штабелями, но два лежака до сих пор почему-то стояли у самой воды, смутно голубея на темно-сером песке. Все на том берегу было темно-серого, цементного цвета. За пляжем курчавилась молодая роща берез, насаженная лет десять назад, а за рощей туманно-белыми глыбами высились горы жилья, среди которых стояли две особенно высокие башни. Все изменилось на том берегу. Все «олукьянилось». Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, что все олукьянилось — окончательно и безнадежно. Но, может быть, это не так уж плохо? И если это

происходит со всем — даже с берегом, с рекой и с травой, — значит, может быть, это естественно и так и должно быть?

Первый год Дмитриеву и Лене пришлось жить в Пав-линовё. Лора, тогда еще без Феликса, жила в Москве 9 Ксенией Федоровной, дача пустовала, а Дмитриеву и Лене хотелось побыть одним. Но это все равно не удалось. Дачная квартира в Павлинове давно пришла в запустение. Протекала крыша, прогнило крыльцо. Больше всего забот доставляла канализационная яма — то и дело переполнялась, особенно с дождями, и невыносимая вонь распространялась по участку, мешаясь с запахом сирени, лип и флоксов. Жители давно смирились с этим переплетением запахов, которое сделалось для них неизбежной принадлежностью дачной жизни, и с мыслью о том, что ремонт ямы безнадежен, стоит баснословных денег, каких ни у кого нет. Поселок-то обеднял, жители стали не те, что прежде, — бывшие владельцы перемерли, сгинули кто куда, а их наследники, вдовы и дети, жили довольно трудной и вовсе не дачной жизнью. Петька, например, внук Марьи Петровны и сын красного профессора, работал простым грузчиком на лесоторговой базе. А Валерка, сын Василия Алексеевича, дво-

юродный брат Дмитриева, сошелся со шпаной, стал вором и пропал где-то в лагерях. Иные из наследников, утомившись дачными поборами и заглядывая вперед — город-то надвигался, — продали свои паи, и в поселке появлялись вовсе чужие люди, не имевшие к красным партизанам никакого отношения. И только березы и липы, посаженные сорок лет назад отцом Дмитриева, страстным садоводом, выросли мощным лесом, сомкнулись листвой и горделиво оповещали прохожих, заглядывавших через забор, о том, что все в поселке кипит, цветет и произрастает, как должно.

И вдруг Иван Васильевич Лукьянов, отец Лены, который заехал проведать молодых и погостить денек, сказал, что Калугин, водопроводный мастер, чинивший трубы в поселке в течение тридцати лет, жулик и негодяй и что он вкупе с ассенизаторами, приглашаемыми регулярно для откачки ямы, грабит красных партизан и что ремонт ямы можно произвести быстро и недорого. Все были ошеломлены. Собрали деньги. Иван Васильевич привез рабочих, и через неделю ремонт был закончен. Наследники красных партизан очень боялись, что Калугин, разобидевшись, покинет их поселок, бросит на произвол судьбы, но

Иван Васильевич сделал как-то так, что старый пьянчужка ни на кого не обиделся, а к Ивану Васильевичу даже проникся почтением — стал называть его «Василич».

Лора с ее манерой высказываться прямолинейно заметила тогда, что это, наверно, потому, что Калугин почуял в Иване Васильевиче родного человека. Где он нанял рабочих? Откуда достал кирпич? Цемент? Ясно, что слева. Путями не очень благородными. Мать была возмущена. «Откуда ты знаешь? Какое у тебя право так грубо, бездоказательно наговаривать на людей?» — «Ну, не знаю, не знаю, мама. Может быть, я ошибаюсь. — Лора таинственно улыбалась. — Это просто предположение. Поглядим…»

А Иван Васильевич был действительно человек могучий. Главной его силой были связи, многолетние знакомства. Через полгода он поставил телефон на павлиновской даче. По профессии Иван Васильевич был кожевенником, начинал когда-то у хозяина в городе Кирсанове, но уже с 1926 года, когда его выдвинули на директора фабрики — маленькой, реквизированной у нэпмана фабричонки на Марьиной Роще, — он двинулся по линии административной. Когда Дмитриев познакомился с ним, Иван Васильевич

был уже сильно стар, грузен, страдал одышкой, пережил инфаркт, всяческие невзгоды и бури вроде снятия с работы, партийных взысканий, восстановлений, назначений с повышением, клевет и наветов разных мерзавцев, норовивших его погубить, но, как признавался сам, «в отношении этих моментов спасался только одним: был начеку».

Привычка к постоянному недоверию и неусыпному бдению втерлась в его натуру настолько, что Иван Васильевич проявлял ее повсюду, по малейшим пустякам. Спросит, например, Дмитриева вечером перед сном: «Виктор, вы крючок на дверь накинули?» — «Да», — ответит Дмитриев и слышит, как тесть шлепает по коридору к двери проверять. (Это было уже после, когда жили на лукьяновской квартире в городе.) Иногда Дмитриева так разопрет, что он крикнет: «Иван Васильевич, да зачем же вы спрашиваете, ей-богу?» — «А вы не обижайтесь, золотой человек, это я автоматически, без злого умысла». Забавно было, что таким же недоверием ко всем и каждому — и в первую очередь к людям, живущим бок о бок, — была заражена и Вера Лазаревна. Иногда позвонит откуда-нибудь по телефону, спросит Лену. Дмитриев ответит, что Лены нет. Через

некоторое время снова звонок, и Вера Лазаревна, изменив голос, опять зовет Лену. А какие комические сцены разыгрывались иногда вечерами, когда тесть и теща поили друг друга лекарствами! «Что ты мне дал, Иван?» — «Я тебе дал то, что ты просила». — «Ну, что, что именно? Произнеси!»— «Ты просила, по-моему, дибазол». — «Ты мне дал дибазол?» — «Да». — «Это точно?» — «А почему ты подняла этот вопрос?» — «Вот что: принеси, пожалуйста, обертку, из которой ты взял, — мне почему-то кажется, что это не дибазол…»

Дмитриева такие разговоры, слышанные мимоходом, когда-то потешали, так же, как манера тестя выражаться: «В этом отношении, Ксения Федоровна, я вам скажу от себя следующую аксиому». Или вот эдакое: «Я никогда не был техническим исполнителем отца и от Елены требовал аналогичного». Посмеивались потихоньку. Мать называла нового родственника «ученый сосед» — за глаза, разумеется, — и считала его человеком недурным, в чем-то даже симпатичным, хотя, конечно, вовсе, к сожалению, не интеллигентным. И он и Вера Лазаревна были другой породы — из «умеющих жить». Ну что ж, не так плохо породниться с людьми другой породы. Впрыснуть свежую кровь. Попользоваться чужим

умением. Неумеющие жить при долгом совместном житье-бытье начинают немного тяготить друг друга — как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гордятся.

Разве могли бы Дмитриев, или Ксения Федоровна, или кто-нибудь другой из Дмитриевской родни организовать и провернуть так лихо ремонт дачи, как это сделал Иван Васильевич? Он и денег одолжил подо всю эту музыку. Дмитриев и Лена уехали в первое свое лето на юг. Когда вернулись в августе, старые комнатки было не узнать — полы блестели, рамы и двери сверкали белизной, обои во всех комнатах были дорогие, с давленым рисунком, в одной комнате зеленые, в другой синие, в третьей красновато-коричневые. Правда, мебель среди этого блеска стояла прежняя, убогая, купленная еще Георгием Алексеевичем. Раньше было незаметно, а сейчас бросалось в глаза; до чего ж бедность! Какие-то железные сетки на козлах вместо кроватей, столы и шкафы из крашеной фанеры, плетеный топчан, еще что-то плетеное, ветхое до невозможности. Из большой комнаты с зелеными обоями, где расположились молодые, Лена всю рухлядь, конечно, вынесла и купила несколько вещей самых простых, но новых: матрац на ножках, уче-

нический письменный столик, два стула, лампу, занавеску, а из других комнат принесла два ковра, старых, но очень хороших, бухарских, один на стену, другой на пол. Дмитриев удивлялся: как все чудесным образом изменилось! Даже матери говорил: «Смотри, какой у Лены вкус! Мы столько лет жили и ни разу не догадались повесить этот ковер на стену. Нет, у нее очень тонкий вкус!»

В средней комнате, синей, поселились временно, на август и сентябрь, чтоб помочь Леночке, уже ждавшей ребенка, Вера Лазаревна и Иван Васильевич, а в маленькой, красновато-коричневой, жила Ксения Федоровна и изредка останавливалась Лора. У Лоры начался тогда ее нудный роман с Феликсом, ей было не до дачи. Был еще жив дед, отец Ксении Федоровны, тоже приезжал иногда погостить — спал в проходной комнате на топчане. Чудно́ вспоминать. Неужто было так: сидели все вместе на веранде за большим столом, пили чай, Ксения Федоровна разливала, Вера Лазаревна нарезала пирог? И Лору когда-то называла Лорочкой и устраивала ей своих лучших портних? Было, наверно. Было, было. Только не осталось в памяти, пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Были юг,

духота, жаркий Батум, старуха Властопуло, у которой снимали комнату рядом с базаром, какой-то абхазец, с кем он дрался из-за Лены на ночной набережной, абхазец пытался всучить Лене записку в ресторане; сидели без денег на одних огурцах, телеграфировали в Москву, Лена лежала без сил голая и черная на простыне, а он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое, Москва, он уже работал — летело с разгона одно дикое лето, — опять Лена лежала мулаткой на простыне, опять были купания почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И между прочим: чертовская наблюдательность! Ого, она так умела подметить слабое или смешное! И ему все нравилось, он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал.

Ему нравилась легкость, с которой она заводила знакомства и сходилась с людьми. Это было как раз то, чего не хватало ему. Особенно замечательно ей удавались ***нужные*** знакомства. Едва поселившись в Павлинове, она уже знала всех соседей, начальника милиции, сторожей на лодочной станции, была на «ты» с молодой ди-

ректоршей санатория, и та разрешала Лене брать обеды в санаторской столовой, что считалось в Павлинове верхом комфорта и удачей, почти недостижимой для простых смертных. А как она отчесала Нижнюю Дусю, жившую в полуподвале, когда та с обычной наглостью явилась требовать, чтобы очистили их собственный, Дмитриевский, сарай, которым, правда, Нижняя Дуся пользовалась самостоятельно последние десять лет! Нижняя Дуся так и слетела с крыльца, как будто ее ветром сшибло. Дмитриев восхищался, шептал матери: «Ну, как? Это не то, что мы с тобой, мямли?» Но все его тайные восторги скоро сами собой отпали, потому что он уже знал, что нет и не может быть женщины красивее, умнее и энергичнее Лены. Поэтому — чего же восхищаться? Все было естественно, в порядке вещей. Ни у кого не было такой мягкой кожи, как у Лены. Никто не умел так увлекательно читать романы Агаты Кристи, тут же переводя с английского на русский. Никто не умел любить его так, как Лена. А сам Дмитриев — тот далекий, худой, с нелепым кудрявым чубом — жил оглушенный и одурманенный, как бывает в жару, когда человек плохо соображает, не хочет ни есть, ни пить и только дремлет, валяется в полусне на кровати в

комнате с занавешенными окнами.

Но однажды вечером, в конце лета, Лора сказала: «Витька, на два слова…» Они спустились с крыльца на дорожку и, пока были в квадрате света, падавшего с веранды, шли молча, а как только вошли в тень, под липы, Лора, неуверенно засмеявшись, сказала: «Вить, я хочу поговорить о Лене, можно? Ничего особенного, не пугайся, это пустяки. Ты знаешь, я отношусь к ней очень хорошо, она мне нравится, но главное для меня то, что ты ее любишь». Это вступление его сразу задело, потому что ***главное*** было вовсе не то, что он ее любил. Она была прекрасна безотносительно к нему. И, уже настороженный, стал слушать дальше.

«Меня просто удивляют некоторые вещи. Наша мать никогда сама не скажет, но я вижу… Витька, ты не обидишься?»— «Нет, нет, что ты! Говори». — «Ну, это действительно вздор, чепуха — то, что Лена, например, забрала все наши лучшие чашки, и то, что она ставит ведро возле двери в мамину комнату…» («Господи! — подумал он. — И это говорит Лорка!») — «Я не замечал, — сказал он вслух. — Но я скажу ей». — «Не надо, не надо! И не надо было тебе замечать. — Лора опять както сконфуженно засмеялась. — Еще не хватало

замечать тебе всякий вздор! Но я ругала маму. Почему просто не сказать: «Леночка, нам нужны чашки и не ставьте, пожалуйста, ведро здесь, а ставьте там». Я сегодня так сказала, и она, по-моему, на меня вовсе не обиделась. Хотя говорить о таких мелочах, поверь, очень неприятно. Но меня покоробило другое — она зачем-то сняла портрет папы из средней комнаты и повесила его в проходную. Мама очень удивилась. Вот об этом должен знать ты, потому что это не бытовая какая-то мелочь, а другое. По-моему, просто бестактность». Лора замолчала, и некоторое время они шли, не говоря ни слова. Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам спиреи, чувствуя, как колются мелкие острые веточки. «Ну пожалуйста! — сказал он наконец. — Насчет портрета я скажу. Только вот что: а если б ты, Лорхен, попала в чужой дом? Не делала ли бы ты каких-нибудь невольных бестактностей, промахов?» — «Возможно. Но не в таком роде. В общем, надо не молчать, а говорить — я думаю, что правильно, — и тогда все образуется».

Он сказал Лене насчет портрета не в этот вечер, а наутро. Лена была удивлена. Она сняла портрет только потому, что нужен был гвоздь для настенных часов, и никакого иного смысла в этом

поступке не было. Ей кажется странным, что о такой совершеннейшей ерунде Ксения Федоровна не сказала ей сама, а посылает послом Виктора, чем придает ерунде преувеличенное значение. Он заметил, что Ксения Федоровна с ним вовсе об этом не говорила. А кто же говорил? Тут он брякнул по глупости, — сколько по глупости будет «брякнуто» потом! — что говорила Лора. Лена, покраснев, сказала, что его сестра взяла, по-видимому, на себя роль делать ей замечания: то самостоятельно, то через третьих лиц.

Когда Дмитриев вернулся в этот день из города, в квартире было необычно тихо. Лена не вышла его встречать сразу, а появилась через минуты две и задала ненужный вопрос: «Тебе разогревать обед?» Лора уехала в Москву. Мать не выходила из своей комнаты. Затем появилась Вера Лазаревна, одетая по-городскому, напудренная, с бусами на мощно выдававшемся вперед бюсте, и сказала, улыбаясь, что они с Изаном Васильевичем благодарят за гостеприимство и ждут его, чтоб попрощаться. Иван Васильевич сейчас приедет с машиной. В открывшуюся на миг дверь Дмитриев увидел, что портрет отца висит на прежнем месте. Он поинтересовался: почему же так вдруг? Хотели жить весь сентябрь. Да, но возникли

дела — у Ивана Васильевича на работе, а у нее — домашние, надо варить варенье, и вообще — дорогие гости, не надоели ли вам… Ксения Федоровна вышла попрощаться с родственниками — вид у нее был обескураженный, — приглашала приезжать еще. Вера Лазаревна не обещала. «Боюсь, что не удастся, милая Ксения Федоровна. Уж очень много всевозможных забот. Нас столько друзей хотят видеть, зовут, тоже на дачу…»

Они уехали, а Дмитриев с Леной пошли на соседнюю дачу играть в покер. Поздно ночью, когда Дмитриев вернулся, Ксения Федоровна зазвала его в свою комнату в красновато-кирпичных обоях и сказала, что у нее скверное настроение и она не может заснуть из-за этой истории. Он не понял: «Какой истории?» — «Ну вот из-за того, что они уехали».

Дмитриев выпил у соседей две рюмки коньяку, был слегка взвинчен, неясно соображал и, махнув рукой, сказал с досадой: «Ах, чепуха, мать! Стоит ли говорить?» — «Нет, все же Лора невыдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то передал Лене, та — своей матери, тут был глупейший разговор… Полная нелепость!» — «А потому, что не перевешивайте портретов! — сказал Дмитриев, твердея голосом и со строгостью покачивая

пальцем. Вдруг он ощутил себя в роли семейного арбитра, что было даже приятно. — Ну и уехали, ну и на здоровье. Ленка не сказала мне ***абсолютно*** ничего, ни единого слова. Она же умная баба. Так что не волнуйся и спи спокойно». Он чмокнул мать в щеку и ушел.

Но когда пришел к Лене и лег рядом с ней, она отодвинулась к стене и спросила, зачем он заходил в комнату к Ксении Федоровне. Почуяв какую-то опасность, он начал темнить, отнекиваться, говорил, что устал и хочет совсем другого, но Лена, действуя то строгостью, то лаской, все же выудила из него то, что ей нужно было узнать. Она сказала затем, что ее родители очень гордые люди. Особенно горда и самолюбива Вера Лазаревна. Дело в том, что она всю жизнь ни от кого не зависела, поэтому малейший намек на зависимость воспринимает болезненно. Дмитриев подумал: «Как же не зависела, когда она никогда не работала и жила на иждивении Ивана Васильевича?» — но вслух не сказал, а спросил, чем ущемили независимость Веры Лазаревны. Оказывается, когда Лена передала Вере Лазаревне разговор насчет портрета, та просто ахнула: боже, говорит, неужели они подумали, что мы можем претендовать на эту комнату? Дмитриев что-то

ничего уж не понимал: «Как претендовать? Почему претендовать?» Кроме того, ему хотелось другого. Кончилось тем, что Лена заставила его пообещать, что он завтра же с работы позвонит Вере Лазаревне и мягко, деликатно, не упоминая ни о портрете, ни об обидах, пригласит в Павликово. Они, конечно, не приедут, потому что люди очень гордые. Но позвонить нужно. Для очистки совести.

Он позвонил. Они приехали на другой день. Почему вспомнилась эта древняя история? Потом было много похуже и почерней. Но, наверное, потому, что первая, она отпечаталась навеки. Он помнил даже, в каком пальто была Вера Лазаревна, когда приехала на другой день и с видом непоколебленного достоинства — гордо и самолюбиво глядя перед собой — подымалась по крыльцу, неся в правой руке коробку с тортом.

Потом были истории с дедом. Той же осенью, когда Лена ждала Наташку. Ах, дед! Дмитриев не видел деда много лет, но с каких-то давних, безотчетных времен тлела в сердце эта заноза — детская преданность. Старик был настолько чужд всякого ***лукьяноподобия*** — просто не понимал многих вещей, — что было, конечно, безумием приглашать его на дачу, когда там

жили эти люди. Но никто тогда еще ничего не понимал и не мог предвидеть. Деда пригласить было необходимо, он недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе. Через год он получил комнату на Юго-Западе.

Дед говорил, изумляясь, Дмитриеву: «Сегодня приходил какой-то рабочий перетягивать кушетку, и твоя прекрасная Елена и не менее прекрасная теща дружно говорили ему «ты». Что это значит? Это так теперь принято? Отцу семейства, человеку сорока лет?» В другой раз он затеял смешной и невыносимый по нудности разговор с Дмитриевым и Леной из-за того, что они дали продавцу в радиомагазине — и, веселясь, рассказывали об этом — пятьдесят рублей, чтобы тот отложил радиоприемник. И Дмитриев ничего не мог деду объяснять. Лена, смеясь, говорила: «Федор Николаевич, вы монстр! Вам никто не говорил? Вы хорошо сохранившийся монстр!» Дед был не монстр, просто был очень стар — семьдесят девять, — таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше, а тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с

Верой Засулич, — и вовсе раз-два и обчелся. Может быть, в каком-то смысле дед и был монстр.

И какие у него могли находиться разговоры с Иваном Васильевичем и Верой Лазаревной? Как ни тужились обе стороны, ничего общего не подыскивалось. Ивана Васильевича и Веру Лазаревну прошлое деда не интересовало начисто, а в современной жизни дед смыслил настолько мало, что тоже не мог сообщить ничего полезного, поэтому они и относились к нему безучастно: старичок старичком. Шаркает по веранде, чадит дешевыми вонючими папиросками. Вера Лазаревна обыкновенно разговаривала с дедом насчет курения.

Дед был маленького роста, усохший, с сизовато-мед-ной дубленой кожей лица, с корявыми, изуродованными тяжелой работой, негнущимися руками. Всегда аккуратно одевался, носил рубашки с галстуком. Ботиночки свои мальчиковые, сорокового размера, начищал до блеска и любил гулять по берегу. Было какое-то воскресенье, последнее теплое в сентябре, когда собрались все на прогулку, — давно уже возникла натуга в разговорах, — никому эта вылазка была не нужна, но как-то так сошлось: собрались одновременно и побрели вместе.

Народу в тот день было полным-полно. Толклись в лесочке, по берегу, обсели все скамейки: кто в спортивных костюмах, кто в пижамах, с детьми, собачками, гитарами, пол-литрами на газетке. И Дмитриев стал иронизировать над нынешними дачниками: шут, мол, знает, что за публика. А до войны, помнится, гуляли тут эдакие с бородками, в пенсне… Вера Лазаревна неожиданно его поддержала, сказав, что Павликово и до революции было чудесное дачное местечко, она девочкой бывала здесь у своего дяди. Ресторан был с цыганами, назывался «Поречье», его сожгли. Вообще живали солидные люди: биржевые игроки, коммерсанты, адвокаты, артисты. Вон там на просеке шаляпинская дача стояла.

Ксения Федоровна поинтересовалась: кто был дядя? На что Вера Лазаревна ответила: «Мой папа был простой рабочий-скорняк, он очень хороший, квалифицированный скорняк, ему заказывали дорогие работы…» — «Мамочка! — засмеялась Лена. — Тебя о дяде спрашивают, а ты рассказываешь про отца». Дядя, как выяснилось, имел магазин кожаных изделий: сумки, чемоданы, портфели. На Кузнецком, на втором этаже, где сейчас магазин женской одежды. Там и во время нэпа был магазин кожаных изделий, но

уже не дядин, потому что дядя в девятнадцатом году, в голодное время, куда-то пропал. Нет, не сбежал, не умер, а просто куда-то пропал. Иван Васильевич прервал супругу, заметив, что эти данные автобиографии мало кому интересны.

И тут дед, до того молчавший, вдруг заговорил, обращаясь к Дмитриеву: «Так, милый Витя, представь себе, если б дядя твоей тещи дожил до тех времен, когда тут гуляли бородки и пенсне, что бы он сказал? Наверно бы: ну и публика, мол, теперь в Павлинове! Какая-то шпана в толстовках, в пенсне… А? Так ли? А еще раньше тут именье было, помещик разорился, дом продал, землю продал, и лет полета тому какой-то наследник заскочил бы сюда мимоездом, для печального интереса, глядел на купчих, на чиновниц, на господ в котелках, на дядюшку вашего, — дед поклонился Вере Лазаревне, — который прикатил на извозчике, и думал: «Фу, гадость! Ну и дрянь народишка! А? — засмеялся. — Так ли?»

Вера Лазаревна заметила с некоторым удивлением: «Не понимаю, почему — дрянь? Зачем же так говорить?» Тогда дед объяснил: презрение — это глупость. Не нужно никого презирать. Он сказал это для Дмитриева, и тот вдруг подумал, что дед в чем-то прав… В чем-то, близко касаю-

щемся его, Дмитриева. Все немного задумались, затем Ксения Федоровна сказала, что нет, она не может согласиться с отцом. Если мы откажемся от презрения, мы лишим себя последнего оружия. Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со стороны, но оно должно быть. Тогда Лена, усмехаясь, сказала: «А я совершенно согласна с Федором Николаевичем. Сколько людей кичатся непонятно чем, какими-то мифами, химерами. Это так смешно!» — «Кто именно и чем кичится?»— спросил Дмитриев в полушутливом тоне, хотя направление разговора стало его слегка тревожить. «Мало ли! — > сказала Лена. — Все тебе знать...» — «Кичливость, Леночка, и спокойное презрение — вещи разные», — произнесла Ксения Федоровна, улыбаясь. «Ну, это смотря откуда глядеть, — ответила Лена. — Вообще я ненавижу гонор. По-моему, нет ничего отвратительнее». — «Вы говорите таким тоном, будто я доказываю, что гонор — это нечто прекрасное. Я тоже не люблю гонор». — «Особенно когда для него нет оснований. А так, на пустом месте...»

И вот отсюда, с невинного препирательства, возрос тот разговор, который завершился ночным сердечным припадком у Лены, вызовом неотложки, криками Веры Лазаревны об эгоиз-

ме и жестокосердии, их поспешным отъездом на такси утром, а затем отъездом Ксении Федоровны и тишиной, наступившей на даче, когда остались двое: Дмитриев и старик. Они гуляли у озера, подолгу говорили. Дмитриеву хотелось разговаривать с дедом о Лене — ее отъезд мучил его, — ругать ее за вздорность, родителей за идиотизм, а может быть, проклинать себя, как-то терзать эту рану, но дед не произнес ни о Лене, ни об ее родителях ни слова. Он говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил то, что ему было назначено в этой жизни, вот и все. «Боже мой, — думал Дмитриев, — как же она там? А вдруг это серьезно, с сердцем?»

Дед говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, его не занимает. Нет глупее, как искать идеалы в прошлом. С интересом он смотрит только вперед, но, к сожалению, он увидит немногое.

«Звонить или нет? — думал Дмитриев. — Все же, какое бы ни было состояние, это не дает права…»

Он позвонил вечером. Дед умер через четыре года.

Дмитриев приехал в крематорий прямо с работы и выглядел глупо со своим толстым желтым

портфелем, в котором лежало несколько банок «сайры», купленных случайно на улице. Лена очень любила сайру. Когда вошли со двора в помещение крематория, Дмитриев быстро прошел направо и поставил портфель на пол в углу, за колонной, так, чтоб его никто не видел. И мысленно твердил: «Не забыть портфель, не забыть портфель». Во время траурной церемонии он несколько раз вспоминал о портфеле, поглядывал на колонну и в то же время думал о том, что смерть деда оказалась не таким уж ужасным испытанием, как он предполагал. Было очень жалко мать. Ее поддерживали под руку с одной стороны тетя Женя, с другой — Лора, и лицо матери, белое от слез, было какое-то новое: очень старое и детское одновременно.

Лена тоже пришла, сморкалась, терла глаза платком, а когда наступил миг прощания, вдруг громким низким голосом зарыдала и, вцепившись в руку Дмитриева, стала шептать о том, какой дед был хороший человек, самый лучший из всей Дмитриевской родни, и как она его любила. Это была новость. Но Лена рыдала так искренне, на глазах ее были настоящие слезы, и Дмитриев поверил. Ее родители тоже появились в последнюю минуту, в черных пальто, с черны-

ми зонтами, у Веры Лазаревны была даже черная вуалька на шляпке, и они успели бросить в отплывавший в подземелье гроб букетик цветов. Потом Вера Лазаревна говорила с удивлением: «Как много людей-то было!» С этим и пришли, стариковским любопытством: поглядеть, много ли придет провожать. Пришло, к удивлению Дмитриева, много. И, главное, приползли откуда-то в немалом числе те, будто бы исчезнувшие, ан нет, еще живые странные старики, старухи курильщицы с сердитыми сухими глазами, друзья деда, некоторых из них Дмитриев помнил с детства. Пришла одна горбатенькая старушка с совсем подслеповатым древним личиком, про которую мать когда-то говорила, что она отчаянная революционерка, террористка, бросала в кого-то бомбу. Эта горбатенькая и говорила речь над гробом. Во дворе, когда все вышли и стояли кучками, не расходясь, к Дмитриеву подошла Лора и спросила, поедут ли они с Леной к тете Жене, где соберутся близкие и друзья. До той минуты Дмитриев считал, что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебался: в самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора. Значит, и Лора, и мать полагали, что он, если захочет, может не ехать, то есть что ему ехать

не обязательно, ибо — он вдруг это понял — в их глазах он уже не существовал как частица семьи Дмитриевых, а существовал как нечто другое, объединенное с Леной и, может быть, даже с теми в черных пальто, с черными зонтами, и его надо было спрашивать, как постороннего.

«Вы поедете к теге Жене?» Вопрос был задан бегло, но как много он означал! И среди прочего: «Если бы ты был один, мы не стали бы спрашивать. Мы всегда хотим тебя видеть, ты знаешь. Но когда у нас горе, зачем нам чужие люди? Если можно, лучше обойтись без них. Если можно, но — как ты хочешь...» Дмитриев сказал, что они, пожалуй, не поедут к тете Жене. «Почему? Ты поезжай! — сказала Лена. — Я себя неважно чувствую, а ты поезжай. Конечно, поезжай!» Нет, он не поедет, у Лены сильно болит голова. Лора понимающе кивнула, даже улыбнулась Лене с сочувствием и спросила, не дать ли ей таблетку. «Да! — сказал Дмитриев. — Я же забыл портфель!» Он вернулся в помещение крематория, где на постаменте лежал в гробу уже новый покойник, вокруг которого ютилась жидкая кучка людей, и на цыпочках прошел за колонну. Взяв портфель, остановился, чтоб побыть минуту в одиночестве. Чувство непоправимости, ***отрезанности***, кото-

рое бывает на похоронах — одно безвозвратно ушло, отрезалось навсегда, а продолжается то, да не то, что-то уже новое, в других комбинациях, — было самой томящей болью, даже сильнее, чем печаль о деде. Дед был ведь стар, должен был угаснуть, но вместе с ним исчезло что-то, прямо с ним не связанное, существовавшее отдельно: какие-то нити между Дмитриевым, и матерью, и сестрой. И это исчезновение обнаружилось так неумолимо и сразу, спустя несколько минут после того, как вышли из тяжелого цветочного запаха на воздух. Лора спокойно согласилась с тем, что он не поедет к тете Жене, а он легко примирился с ее спокойствием. И только мать, полуобернувшись, сделала слабое, прощальное движение кистью, и он вдруг почувствовал, что добавил ей боли, рванулся догнать — рванулось внутри, секунд-но, — но было уже поздно, непоправимо, отрезалось. Лена тянула его к такси, чтобы ехать домой.

Вместе с матерью, Лорой, Феликсом, тетей Женей и другими родственниками шел в удалявшейся толпе Левка Бубрик. Может быть, он приехал и раньше, но Дмитриев заметил его, только когда вышли на двор. Левка был без шапки, черный, всклокоченный, слепо блестел очками.

К Дмитриеву он не подошел, кивнул издали. Лена спросила шепотом: «Откуда здесь Бубрик?» Дмитриев, подавив в себе чувство неприятного удивления, сказал: «Ну как же? Он какой-то наш родственник, седьмая вода на киселе».

Впервые за несколько месяцев после той тягомотной истории с институтом Дмитриев увидел Левку Бубрика. И сразу вспомнил, что покойный дед осуждал его за Левку. Был даже какой-то разговор, когда дед сказал: «Мы с Ксеней ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и неудивительный».

А с Левкой были знакомы с детства, учились в одном институте. Не то что друзья «водой не разольешь», но связанные крепью домов и семей товарищи. Отец Левки, доктор Бубрик, лечивший Дмитриева еще в малолетстве, был братом мужа тети Жени, погибшего на войне. То есть Левка был племянником тети Жени. Сразу после института Левка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории. Ему тоже предлагали разные заманчивые одиссеи, но согласиться было

трудно. Мать очень хотела, чтобы он поехал в Туркмению, в Дарган-Тепе, потому что недалеко от родного Лориного Куня-Ургенча — каких-нибудь шестьсот километров, пустяки! — брат с сестрой могли бы встречаться за пиалой кок-чая и скучать вместе по дому. Наташка родилась слабенькой, болела, Лена тоже болела, не было молока, нашли кормилицу Фросю, школьную уборщицу, жившую в бараке на Таракановке, Дмитриев ездил к ней вечерами за бутылочками. Какой там Дарган-Тепе! Да и не было никакого Дарган-Тепе. Были грезы по утрам, в тишине, когда он просыпался с нечаянной бодростью и думал: «А хорошо бы…» И все представлялось так прозрачно, четко, как будто он поднимался ясным днем на гору и смотрел оттуда далеко вниз. «Витя, — говорила Лена (или Витенька, если был период безмятежности и любви), — зачем ты себя обманываешь? Ты же не можешь никуда от нас. Я не знаю, любишь ли ты нас, но ты не можешь, не можешь! Все кончено! Ты опоздал. Надо было раньше…» И, обняв, смотрела ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы. Он молчал, потому что это были его собственные мысли, которых он боялся. Да, да, он опоздал. Поезд ушел. Прошло уже четыре года с тех пор, как он окончил инсти-

тут, потом прошло пять, семь, девять. Наташка стала школьницей. Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерило родительской любви и ***расшибаемости в лепешку***. Другой микрорайон, почти немыслимо. И никому, кроме Лены, было бы не под силу. Ибо она вгрызалась в свои желания, как бульдог. Такая миловидная женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор, пока желания — прямо у нее в зубах — не превращались в плоть. Великое свойство! Прекрасное, изумительное, решающее для жизни. Свойство настоящих мужчин.

«Ни в какие экспедиции. Не дольше, чем на неделю» — это было ее желание. Бедное простодушное желание со вмятинами от железных зубов.

Другим желанием Лены, которое ее занимало в течение нескольких лет, было — устроиться в ИМКОИН. О ИМКОИН, ИМКОИН, недостижимый, заоблачный, как Джомолунгма! Разговоры об ИМКОИНЕ, телефонные звонки насчет ИМКОИНА, слезливое отчаянье, вспышки надежды.

«Папа, ты разговаривал с Григорием Григорьевичем по поводу ИМКОИНА?» — «Леночка,

тебе звонили из ИМКОИНА!» — «Откуда?» — «Из ИМКОИНА!» — «О боже мой, из отдела кадров или просто Зойка?» Две идеально устроенные в этой жизни приятельницы работали в ИМКОИНЕ — Институте международной координированной информации. Наконец, удалось. ИМКОИН стал плотью и хрустел на зубах как хорошо прожаренное куриное крылышко. Удобно, сдельно, прекрасно расположено — в минуте ходьбы от ГУМа, — а прямой начальницей была одна из приятельниц, с которой вместе учились в институте. Приятельница давала переводить столько, сколько Лена просила. Потом-то они поссорились, но года три все было «о'кей». В обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбросили ли каких кофточек. По четвергам показывали иностранные фильмы на языках. Но подготовить диссертацию вместо Дмитриева Лена, к сожалению, не могла. Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник — серый малый, но большой трудяга, хитрый Митрий, который во всем себе отказывал и даже не женился до поры, — получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию. Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем

хотелось того же. Лена помогала в английском, мать одобряла, Наташка по вечерам разговаривала шепотом, а теща присмирела, но через полгода он сдался. Наверное, потому же: поезд ушел. Не хватало сил, каждый вечер он приходил с головной болью, с единственным желанием — поскорей завалиться спать. Он и заваливался, если по телевизору не было чего-нибудь стоящего — футбола или старой комедии. И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией, говорил, что лучше честно получать сто тридцать целковых, чем мучиться, надрывать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами. В это время, как нельзя более кстати — а может, некстати, — подкатился Левка Бубрик со своей просьбой насчет Института нефтяной и газовой аппаратуры, сокращенно ГИНЕГА.

Левка, возвратившись из Башкирии, долго не мог найти подходящей работы. И вот нашел ГИНЕГА. Но туда еще надо было попасть. Никогда бы ни Левка, ни кто другой не попал в ГИНЕГА, если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казенной машине. Прусаков держал это место

для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал, и Прусаков согласился. В конце концов не Левкйн же тесть ездил к Прусакову, а Дмитриевский! Правда, ради Левки. Это верно. Потому что Лена попросила отца, она жалела Левку и его жену, эту толстую клушу Инночку. Потом Инночка устроила хороший бенц в гостях у общих друзей, кричала: «Ты жуткий человек!» Но Лена на все это пошла сознательно и держалась очень стойко и хладнокровно. Друзья говорили, что Лена держалась великолепно. Она все взяла на себя и говорила, что Дмитриев не хотел, но она настояла. «Виновата я, одна я, Витьку не виниге! А вы бы хотели, чтоб мы жили на сто тридцать и Витька убивал три часа на дорогу?»

Конечно, так и было. Мысль пришла ей первой, когда Иван Васильевич приехал и рассказал, что за место. И Дмитриев действительно не хотел. Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чем нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки. «Я Леву

уважаю, — говорила Лена, — и даже люблю, но почему-то моего мужа я люблю больше. И если уж папа, старый человек, который терпеть не может одолжаться, собрался и поехал…»

Надо было сказать им сразу, но не хватило духу — тянули, отмалчивались. Они узнали стороной. И как отрезало: не приходили, не звонили. Черт их знает, может, они были и правы, но так тоже не делается: придите, поговорите по-хорошему, узнайте, как и почему. А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть. И только года через четыре или пять — был день рождения Ксении Федоровны, зима, конец февраля — Вся эта история опять всколыхнулась. Мать с дедом и раньше пилили Дмитриева, но не очень злобно, потому что и вправду считали, что все завела Лена. А с Лены какой же спрос? С Леной приходилось мириться, как с дурной погодой. Но вот тогда, в день рождения матери…

Отчетливо, как сейчас: поднимаются по лестнице, остановились у двери. Наташка держит подарки, коробку конфет и книгу на английском языке Теккерея «Ярмарка тщеславия», а Лена прислонилась плечом к двери и, закрыв глаза, шепчет как бы про себя, но, конечно, для Дмит-

риева; «Ой, боже мой, боже мой, боже мой...» Вот, мол, на какие испытания иду ради тебя. И он начинает привычно закипать. Лена не любит ходить к свекрови. С каждым годом — все больше через силу. Что поделаешь? Ну, не любит, не может, не выносит. Все ее раздражает. Как бы сладко ни кормили, как бы любезно ни разговаривали, бесполезно: все равно что отапливать улицу. Нарочно ласково Дмитриев говорит с дочкой, обняв ее: «Как, мартышка, довольна, что пришла к бабушке?» — «Ага». — «Любишь сюда ходить?» — «Люблю!» А Лена, улыбаясь, добавляет: «Люблю, скажи, но я должна рано ложиться спать. И пусть папочка, скажи, не засиживается, чтоб не тащить его из-за стола силой. В половине, скажи, десятого встаем и едем».

Все бы обошлось тогда, если б не эта дура Марина, двоюродная сестра. Как увидел ее красную физиономию за столом над пирогами и вафлями, сразу понял: несдобровать. Лена гораздо умнее ее, но чем-то они схожи. И всегда, как встречаются на семейных сборах, затевается между ними какая-то петуховина. То спорят в открытую, а то пикируются хитро, так что со стороны и не заметишь. Вроде ватерполистов, которые бьют друг друга ногами под водой, чего зрители не

видят. Ночью Дмитриева вдруг ошеломляли: «Почему твоя кузина весь вечер меня язвила?» — «Как язвила?» — «А ты не слышал?» — «Что именно?» — «Ну, хотя бы то, что она говорила насчет женщин Востока? Насчет их задов и ног?» — «Позволь, но ты ведь, кажется, не женщина Востока?» — «Ах, что с тобой говорить…»

И тогда, в феврале — почему-то запомнилось до последнего слова, — началось с невиннейшего, с подводных толчков. А запомнилось потому, что — последний раз Лена в гостях у матери. С тех пор никогда. Уже лет пять ни разу. Ксения Федоровна заходит, навещает внучку, а Лена к ней — нет. «Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?» — «Конечно! А как у тебя? Служишь все там же?» Эти фразы, сказанные с улыбкой и в рамках правил, означали на самом деле: «Ну, как, Марина, никто на тебя по-прежнему не клюнул? Я-то уверена, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева». — «А меня это не волнует, потому что я живу творческой жизнью. Не то что ты. Ведь ты служишь, а я творю, живу творчеством». Марина работала тогда редактором в издательстве. Сейчас где-то на телевидении. «А что-нибудь хорошее вы издали за последнее время?» — «Кое-что издали. Это у

тебя что за материал? Брала в ГУМе?» И тут были упругие удары под водой: «О каком творчестве ты там лепечешь? Хоть одну хорошую книгу ты лично отредактировала, выпустила?» — «Да, конечно. Но говорить с тобой об этом нет смысла потому, что тебя это не может интересовать. Тебя же интересует ширпотреб». Были какие-то споры о стихах, о всемирном мещанстве. Эту тему Марина очень любила, не упускала случая потоптать мещанство. У, мещане! Когда она клокотала по поводу тех, кто не признает Пикассо или скульптора Эрьзю, во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало.

Все ненавистное, что для Марины соединялось в слове «мещанство», для Лены было заключено в слове «ханжество». И она объявила, что «все это ханжество». «Ханжество?» — «Да, да, ханжество». — «Любить Пикассд ханжество?» — «Разумеется, потому что те, кто говорят, что любят Пикассо, обычно его не понимают, а это и есть ханжество». — «Бог мой! Держите меня! — хохотала Марина. — Любить Пикассо ханжество! Ой-ой-ой!» Лица обеих горели, глаза пылали нешуточным блеском. Пикассо! Ван-Гог! Сублимация! Акселерация! Поль Джексон! Какой Поль Джексон? Не важно, потому что ханже-

ство!. Ханжество? Ханжество, ханжество. Нет, ты объясни тогда: что ты называешь ханжеством? Ну, все то, что делается не от сердца, а с задней мыслью, с желанием выставить себя в лучшем виде. «А-а! Значит, ты занимаешься ханжеством, когда приходишь к тете Ксене на день рождения и приносишь ей конфеты?»

Лена, поглядев на Дмитриева с улыбкой, в которой было почти торжество (я предсказывала, но ты настоял, так что получай, кушай!), сказала, что у нее с Ксенией Федоровной отношения действительно не самые лучшие, но она пришла ее поздравить не из ханжества, а потому, что просил Витя. Что-то вроде того. Дальше провал. Гости прощались. Мать спотыкалась. Тетя Женя заговорила о Левке Бубрике, зачем — неизвестно. Она всегда хочет сделать как лучше, а получается наоборот. Мать сказала: возмутительная история, и она долго не верила, что Витя мог так поступить. «Ах, вы считаете, что во всем виновата я? А ваш Виктор был ни при чем?» — «Виктора я не оправдываю». — «Но все-таки я?!» — Щеки Лены покрывались бурным румянцем, а в лице Ксении Федоровны проступали гранитные черты.

«Да, конечно, я способна на все. Ваш Виктор хороший мальчик, я его совратила». Тетя Женя

сказала, тряся благожелательной сивой головкой: «Милая Лена, вы же сами так объясняли Левочке, я очень хорошо помню». — «Мало ли что я объясняла! Я заботилась о своем муже. И вы не имеете, не имеете…» — «Перестань кричать!» — «А ты предатель! Не хочу с тобой разговаривать». Схватив Наташку, рванулась из-за стола. «Почему ты всегда молчишь, когда меня оскорбляют?» И — на лестницу, на мороз, навсегда.

Он бежал вниз, поскальзывался на обледенелых лужах. Лена и Наташка глупо прыгали от него в троллейбус, дверь замыкалась, и он не знал, куда дальше, что же будет. Не мог никуда. Когда дом разрушался, он не мог никуда, ни к кому. Нет, еще однажды после того февраля она пришла к матери — не было выхода. Иван Васильевич лежал с инсультом, теща дни и ночи проводила с ним, а у Дмитриева и Лены горели путевки на Золотые пески — не с кем было оставить Наташку. В Болгарии вечерами гуляли в свитерах и очень сильно любили друг друга. Днем номер накалялся, хотя опускали штору, вода в душе была теплая. И никогда так сильно не любили друг друга.

Дмитриев стоял перед домом и смотрел на единственное освещенное окно — кухни. Второй

этаж и левая сторона дома были темны. В это время года здесь никто не жил. В кухне что-то делала Лора. Дмитриев видел ее опущенную к столу голову, черные с сединой волосы, блестевшие под электрической лампочкой, загорелый лоб — ежегодные пять месяцев в Средней Азии сделали ее почти узбечкой. Из темноты сада он рассматривал Лору точно на светящемся экране, как чужую женщину — видел ее немолодость, болезни, заработанные годами жизни в палатках, видел грубую тоску ее сердца, охваченного сейчас одной заботой.

Что она там делает? Гладит, что ли? Он почувствовал, что ничего не сможет ей сказать. Во всяком случае, сегодня, сейчас. К черту все это! Никому это не нужно, никого не спасет, только принесет страдания и новую боль.

Потому что нет дороже родной души.

Когда он поднимался по ступенькам крыльца, сердце его колотилось. Лора резала ножницами на кухонном столе газету на длинные полосы. Вошел Феликс с миской, где был разведенный клейстер. Дмитриев стал им помогать. Сначала заклеили окно на кухне, потом перешли в среднюю комнату. Мать с шести часов заснула, но скоро, наверное, проснется. Примерно около

половины пятого ей сделалось плохо, начались боли. Лора очень перепугалась и хотела вызывать неотложку, но мать сказала, что бесполезно, надо звать Исидора Марковича или врача из больницы. Приняла папаверин, боли прошли. В чем дело? Мать очень подавлена. Такое внезапное ухудшение. После больницы это впервые. Она говорит, что все совершенно как в мае: боли такой же силы и там же.

Разговаривали вполголоса.

— Я тебе звонил в четвертом часу!

— Да, и все было хорошо. А через час…

Феликс, мурлыча что-то, запихивал кухонным ножом старый нейлоновый чулок в щель между створками рам, Лора намазывала газетные полосы клейстером, а Дмитриев клеил. Потом сели пить чай. Все время прислушивались к комнате матери. Глаза у Лоры были жалкие, она отвечала невпопад, а когда Феликс зачем-то вышел из комнаты, быстро прошептала:

— Я тебя прошу: сейчас он начнет о Куня-Ургенче, скажи, что ты решительно против… Что не можешь…

Феликс вернулся с черным пакетом, в котором были фотографии. Все еще мурлыча, стал показывать. Это были цветные фотографии ку-

ня-ургенчских раскопок: черепки, верблюды, бородатые люди. Лора в брюках, в ватнике, Феликс на корточках с какими-то стариками, тоже на корточках. Феликс сказал, что в конце ноября нужно ехать. Самое позднее — начало декабря. К пятнадцатому быть там как штык. Лора сказала, что он будет, будет, пусть не волнуется. Она его отпустит. Конечно, ехать необходимо, восемнадцать человек ждут. Собирая фотографии и засовывая их в черный пакет — пальцы слегка дрожали, — Феликс сказал, что Лора, к сожалению, тоже должна ехать. Потому что восемнадцать человек ждут и ее.

— Мы же договорились: сначала едешь ты…

— Как ты себе это представляешь?

Очки подпрыгивали на крупном носу Феликса, он приподнимал их каким-то особым движением щек и бровей.

— А как ты себе все представляешь?

— Но есть Витя, по-моему, родной сын…

— Ну, хватит! Витя, Витя. Мало ли что Витя… Не сегодня это обсуждать.

Феликс спрятал пакет в. карман байковой курточки, направился к двери в другую комнату, но остановился в дверях.

— А когда прикажешь обсуждать? Надо давать

телеграмму Мамедову.

Лора еще раз махнула рукой, более энергично, и Феликс исчез, тихо затворив дверь. Лора сказала, что Феликс очень хороший, любит маму, мама любит его, но он бывает туп. Редкостно туп. Лоре даже кажется иногда, что тут некоторая патология. Есть вещи, которые ему невозможно объяснить, тогда надо просто категорически сказать: так и так, мол, и никаких! И он смиряется. Спорить он не умеет. Надо, чтобы Дмитриев твердо сказал, что не может остаться с мамой, и тогда он перестанет нудить. А как действительно Дмитриев может остаться? Взять маму к себе? Переехать на Профсоюзную? Лена не согласится ни на то, ни на другое. Феликсу, конечно, важно поехать в Куня, ей тоже важно, все верно, но что поделаешь?

В комнате Ксении Федоровны по-прежнему было тихо. Феликс взял угольное ведро и протопал через веранду вниз по лестнице, в сарай. Гремел там лопатой, набирая уголь. Дмитриев сказал, что можно, конечно, попробовать обменять две комнаты на двухкомнатную квартиру — то, что он пытался сделать когда-то, — чтоб жить вместе с мамой, но это целая история. Не так-то просто. Хотя сейчас такая возможность есть.

Не хотелось это говорить, но как-то удобно и кстати сказалось само. Лора поглядела на Дмитриева слегка удивленно. Потом спросила:

— Это идея Лены, что ли?

— Нет, моя. Старая моя идея.

— Только не сообщай эту *свою идею* Феликсу, хорошо? — сказала Лора. — Потому что он ухватится. А маме это совершенно не нужно. Когда она в таком состоянии, еще испытывать что-то… Я же знаю: сначала все будет мило, благородно, а потом начнется раздражение. Нет, это ужасная идея. Какой-то кошмар. Бр-р, я себе представила! — И Лора передернула плечами с выражением мгновенного страха и отвращения. — Нет уж, я буду с мамой, никуда не поеду, а Феликс как-нибудь обойдется.

Вернулся Феликс с ведром угля. Было слышно, как он тихо, чтоб не будить Ксению Федоровну, шебаршит руками в ведре, вынимая уголь по кускам, и с осторожностью кладет куски на железный лист перед печкой. Раздался легкий, со звоном, скрежет чугунной заслонки. Лора ухмыльнулась, желая что-то сказать, но промолчала.

— Что? — спросил Дмитриев.

— Нет, ничего. Я, между прочим, часто удивля-

лась: почему вы не построите себе кооперативную квартиру? Не так уж дорого. Родственники помогут. Они же так любят внучку… — Ее лицо улыбалось, но в глазах была злоба. Это было старое, знакомое по давним годам лицо Лоры. В детстве они часто дрались, и Лора, рассвирепев, могла ударить чем угодно, что подворачивалось: вилкой, чайником.

— О чем вы там? — спросил Феликс из кухни. Он почуял что-то в голосе Лоры.

— Я говорю: почему бы Виктору и Лене не построить кооперативную квартиру? Маленькую, в две комнаты. Верно?

— Не нужно нам никакой квартиры, — сказал Дмитриев задыхающимся голосом. — Не нужно, понятно тебе? Во всяком случае, *мне* не нужно. Мне, мне! Ни черта мне не нужно, абсолютно ни черта. Кроме того, чтобы нашей матери было хорошо. Она же хотела жить со мной всегда, ты это знаешь, и если сейчас это может ей помочь…



Лора закрыла ладонями лицо. Только губы остались видны: они мучились, сжимались. Дмитриев думал с отчаяньем: «Идиот! Зачем я это говорю? Мне же действительно ничего не нужно...» Ему хотелось броситься к сестре, обнять ее. Но он продолжал сидеть, прикованный к стулу. Феликс, стоя в дверях, с рассеянным видом

смотрел то на жену, то на брата жены. Он ходил как хозяин по этим комнатам — незнакомый коротышка в байковой курточке с накладными карманами, что-то галочье, круглое, чужое, в скрипучих домашних туфлях со стельками, — по комнатам, где прошло детство Дмитриева. Смотрел на плачущую сестру с недоумением, как на непорядок в доме. Как на зачем-то открывшуюся дверцу буфета. Дмитриев пробормотал:

— Феликс, сгинь на минуту!

Человек в байковой курточке сгинул. Дмитриев подошел к Лоре, с неловкостью пошлепал ее по плечу:

— Ну, перестань…

Она мотала головой, не в силах ее поднять.

— Как хотите, как хотите… Если хочет — пускай…

Ровно через минуту за дверью был голос Феликса: «Можно, друзья?»

Он вошел с каким-то конвертом.

— Сегодня, смотри вот, пришло послание от Аширки Мамедова. Бедняга спрашивает, покупать ли на нашу долю спальные мешки. Это в Чарджоу, на базе у Губера. Деньги у него есть, но надо ответить немедленно: брать или нет. Даже телеграфом.

Он мурлыкал и скрипел стелькой, стоя возле стула Лоры с конвертом в руке. В комнате Ксении Федоровны послышался шум. Дмитриев на цыпочках рванулся к двери. Сразу увидел, что у матери другое лицо.

— Ну, ты видишь это безобразие? — сказала Ксения Федоровна слабым голосом и попыталась привстать.

Лежавшая на одеяле книга скользнула на пол. Дмитриев нагнулся: все тот же «Доктор Фаустус» с закладкой на первой сотне страниц.

— Я же разговаривал с тобой сегодня утром! — сказал Дмитриев с каким-то страстным упреком, точно этот факт был крайне важен для состояния матери и всего хода болезни.

— А как сейчас, мама? — спросила Лора. — Вот лекарство. И поставь градусник.

Ксения Федоровна мгновение сидела на кровати не двигаясь, с выражением отрешенно-сосредоточенным — всеми чувствами впивалась в себя. Потом сказала:

— А сейчас как будто бы… — Осторожно протянула руку и взяла у Лоры чашку с водой. Немного наклонилась вперед. — Как будто ничего. Вроде нет. Фу-ты, какая чепуха! — Она улыбнулась и сделала Дмитриеву знак, чтобы он сел на стул

рядом с кроватью. — Все-таки ужасная гадость эта язвенная болезнь. Я возмущена, мне хочется писать протест. Требовать жалобную книгу. Только вот у кого? У господа бога, что ли?

— Тебе удобно так лежать? — спросила Лора. — Придвинься сюда поближе. Сейчас подержи градусник, а потом я принесу чай. Дай мне грелку.

Лора вышла. Дмитриев сел на стул.

— Да, Витя! Хорошо, что ты приехал, — сказала Ксения Федоровна. — Мы с Лорой сегодня поспорили. На плитку шоколада. Ты видишь свой детский рисунок? Вон там, на подоконнике. Лорочка нашла его в зеленом шкафу. По-моему, ты рисовал это летом тридцать девятого года или в сороковом, а Лорочка говорит, что после войны. Когда тут жил, помнишь, этот, как его… ну? Неприятный такой, с восточной фамилией. Я забыла, скажи сам.

Дмитриев не помнил. Рисунка тоже не помнил. Все, что касалось его художества, было вычеркнуто навсегда. Но мать лелеяла эти воспоминания, поэтому он сказал: да, тридцать девятый или сороковой. После войны фигурного забора уже не было, его сожгли. Ксения Федоровна спросила про командировку Дмитриева, и он сказал, что

как раз сегодня решилось, что он не едет.

Ксения Федоровна перестала улыбаться.

— Надеюсь, не из-за моей болезни?

— Нет, просто отложили. При чем тут твоя болезнь?

— Я не хочу, Витя, чтобы нарушались малейшие ваши дела. Потому что дело прежде всего. А как же? Все старухи болеют, такова профессия. Полежим, покряхтим, встанем на ноги, а вы теряете драгоценное время и ломаете свою работу. Нет, так не годится. Например, сейчас меня мучает… — она понизила голос. — Лорочка. Она же мне бессовестно врет, говорит, что в этом году ехать не обязательно, Феликс тоже мямлит, отвечает уклончиво. Но я-то знаю, что у них происходит! Зачем же они так делают. Разве я беспомощная старуха, которую нельзя оставить одну? Да ничего подобного! Конечно, могут быть ухудшения, как сегодня, даже сильные боли, я допускаю, потому что процесс идет медленно, но в принципе я же иду на поправку. И прекрасно справлюсь одна. Тетя Паша будет приходить. Ты рядом, есть телефон — господи, какие проблемы? Есть, наконец, Маринка, есть Валерия Кузьминична, которая с удовольствием… — Она умолкла, потому что в комнату вошла

Лора с чаем.

— Мама, не возбуждайся, — указала Лора. — Пусть Витька разговаривает, а ты слушай. Что это ты так возбудилась?

— Некоторые люди меня возмущают, которые говорят неправду.

— А! Ну-ну. Дай-ка сюда градусник… — Лора взяла градусник. — Нормальная. Витька, не давай матери возбуждаться. Слышишь. А то я тебя прогоню. И через десять минут приходи ужинать.

Когда Лора вышла, Ксения Федоровна опять зашептала о том же: как устроить так, чтобы старые люди могли спокойно болеть и у детей ничего бы не нарушалось. Как всегда, мать говорила полушутя, полувсерьёз. Дмитриев стал потихоньку раздражаться. Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые разговоры. Все равно ничего нельзя изменить. Потом Дмитриева позвали к телефону. Лена спрашивала, приедет ли он домой или останется ночевать в Павлинове. Был уже одиннадцатый час. Дмитриев сказал, что останется здесь. Лена велела передать Ксении Федоровне большой привет и спросила, взял ли он ключ. Он ответил: «Спокойной ночи», — и повесил трубку.

Это касалось его одного. Он один мог решить: спрашивать ключ или нет. Часа через полтора,

перед тем как ложиться спать, он улучил минуту, когда Ксения Федоровна была одна, и сказал:

— Есть еще такой вариант: можно обменяться, поселиться с тобой в одной квартире, — тогда Лора будет независима…

— Обменяться с тобой?

— Нет, не со мной, а с кем-то, чтобы жить со мной.

— Ах, так? Ну, конечно, понимаю. Я очень хотела жить с тобой и с Наташенькой… — Ксения Федоровна помолчала. — А сейчас — нет.

— Почему?

— Не знаю. Давно уже нет такого желания.

Он молчал, ошеломленный.

Ксения Федоровна смотрела на него спокойно, закрыла глаза. Было похоже, что она засыпает. Потом сказала:

— Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел… — Вновь наступило молчание. С закрытыми глазами она шептала невнятицу: — Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно…

Посидев немного, он встал и вышел на цыпочках.

Дмитриев лег спать в комнате, где когда-то жил

с Леной, в первое лето. Там по-прежнему висел на стене ковер, прибитый Леной. Но красивые, зеленого цвета обои с давленым рисунком заметно выцвели и полысели. Засыпая, Дмитриев думал о старом акварельном рисунке: кусок сада, забор, крыльцо дачи и собака Нельда на крыльце. Была такая похожая на овцу собачонка. Как же Лора могла забыть, что после войны Нельды уже не было? После войны он рисовал как помешанный. Не расставался с альбомом. Особенно здорово получалось пером, тушью. Если б не провалился на экзамене и не бросился с горя в первый попавшийся, все равно какой — химический, нефтяной, пищевой.... Потом стал думать о Голышманове. Увидел комнату в бараке, где прожил в прошлом году полтора месяца. И подумал о том, что Таня была бы для него лучшей женой. Один раз он проснулся среди ночи и слышал, как в комнате за стеной Фелиск и Лора разговаривают вполголоса.

Утром Дмитриев уехал рано, когда Ксения Федоровна еще спала. Он дал Лоре сто рублей. Лора сказала, что очень кстати. Позавтракали наспех, и он побежал к троллейбусу. Был темный рассвет. С деревьев в саду сбегал ночной дождь. На остановке стояли два человека, и чуть поодаль сидела

на земле большая немецкая овчарка. Непонятно было, кому она принадлежит. Подошел пустой троллейбус, все влезли, после всех неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. Собака была брюхата, впрыгнула тяжело и села на пол возле кассы. Двое испуганно прошли вперед, а Дмитриев остановился в нерешительности. Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что водитель может завезти ее далеко и она погибнет. Ведь никому не понять, что с ней происходит и почему она в троллейбусе. На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: «Выходи, выходи!» — и собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел вскочить обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него.

Ксения Федоровна позвонила через два дня Дмитриеву на работу и сказала, что согласна съезжаться, только просила, чтоб побыстрей. Началась эта волынка. Маркушевичи, конечно, отпали, потом отпало много других, потом появился мастер спорта по велосипеду, и с ним-то все совершилось в середине апреля. Ксения Федоровна была не так уж плоха. Устроили даже новоселье, пришли родственники, не было толь-

ко Лоры и Феликса, которые не вернулись еще из своего Куня, где торчали, как обычно, до большой жары. Но хлопоты на этом не кончились: нужно было перевести оба лицевых счета на имя Дмитриева, что оказалось делом не менее тяжким, чем обмен. Поначалу исполком отказал потому, что заявление было составлено неудачно и не хватало каких-то бумаг. Старичок Спиридон Самойлович, маклер, который все хвастался, что юрист райжилотдела его добрый знакомый, оказался просто лгуном. Юрист с ним даже не поздоровался, когда они столкнулись лицом к лицу. А этот юрист был главным винтом дела, потому что заявителей на заседание не вызывают и решение выносится лишь на основе заключения юриста и представленных документов. В конце июля Ксении Федоровне сделалось резко хуже, и ее отвезли в ту же больницу, где она была почти год назад. Лена добилась вторичного разбора заявления. На этот раз юрист был настроен как нужно, и все документы были в порядке: а) документ, подтверждающий родственные отношения, то есть свидетельство о рождении Дмитриева; б) копия ордеров, выданных в свое время на право занятия жилых площадей; в) выписки из домовых книг; г) копии финансовых лицевых счетов, выданных

бухгалтерией ЖЭКа; д) выписка из протокола общественно-жилищной комиссии при ЖЭКе, в которой ОЖК просила исполком удовлетворить просьбу об объединении лицевых счетов. Ну, и на этот раз решение было благоприятное. После смерти Ксении Федоровны у Дмитриева сделался гипертонический криз, и он пролежал три недели дома в строгом постельном режиме.

Что я мог сказать Дмитриеву, когда мы встретились с ним однажды у общих знакомых и он мне все это рассказал? Выглядел он неважно. Он как-то сразу сдал, посерел. Еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька. Я ведь помню его мальчишкой по павлиновским дачам. Тогда он был толстяком. Мы звали его «Витучный». Он младше меня года на три, и в те времена я больше дружил с Лорой, чем с ним. Дмитриевскую дачу в Павлинове, так же как все окружающие дачи, недавно снесли и построили там стадион «Буревестник» и гостиницу для спортсменов, а Лора со своим Феликсом переехала в Зюзино, в девятиэтажный дом, *1969*

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Вначале мая ударила тропическая жара, жизнь в городе сделалась невыносимой, номер накалялся с одиннадцати часов и не остывал до рассвета, у меня начались одышки, головокружения, одна ночь была ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей, стеснением в груди и страхом смерти, к утру смалодушничал и позвонил в Москву. Был девятый час, значит, в Москве седьмой. Я услышал испуганный голос Риты: «Что с тобой?» Через секунду вспомнив о том, ***как я себя вел***, она заговорила суше, даже с ноткой недовольства: зачем звонить в такую рань, если ничего страшного не случилось? Но ведь я позвонил в седьмом часу! После почти двухмесячного молчания. Это что-нибудь да значило. Могло значить — бедствие, желание примириться, раскаяние, тоску, что угодно, и все вместе взятое. Но она тут же успокоилась, когда я сказал: «Ничего страшного, просто жара, тридцать четыре в тени, и я хочу прилететь сегодня или завтра, как достану билет». Она сказала: «Ну, прилетай. У тебя что, давление поднялось?» Я сказал, что не мерил, но, наверное, поднялось. Получил совет прини-

мать рауважан и показаться врачу прежде, чем брать билет. Совет был разумный, я согласился. В общем, была сделана глупость: если уж возвращаться, то безо всяких звонков. Ночной перепуг. Нечто старческое. Вот это меня больше всего и огорчило. Однако улетать отсюда немедленно я решил твердо.

Утром пришел Мансур и отговорил. Мой благодетель сказал, что устроит меня в Тохир, что там чудесно, прохладно, можно спокойно работать, можно отдыхать, как в магометанском раю. При этом Мансур подмигивал, его широкое рябое лицо намекало на что-то, и он делал большим пальцем правой руки загадочные жесты, имеющие целью заинтриговать, но я-то знал, что ему главное — чтоб я не уехал, не закончив работы. Какой уж там магометанский рай! Вода с перебоями, сортир во дворе, а вместо райских гурий — несколько пенсионерок из профсоюзного санатория.

Но не было денег на билет. Вообще — на жизнь. И я не мог улететь.

Я ехал в Тохир на старом, дребезжащем, как разболтанный велосипед, допотопном ЗИМе. Его где-то списали за допотопность и ветхость; Мансур приобрел этот катафалк для своего учреждения, и я, кажется, догадываюсь почему. Не

последнюю роль тут сыграли пыльные, но чрезвычайно просторные сиденья: на них можно было лечь втроем, вчетвером, раскинуть скатерть и даже положить целую тушку джейрана. Я сидел на барском сиденье, дышал горячим ветром, бившим в лицо, ощущая в то же время не истребимую никакими сквозняками пыль и легкий запах духов — катафалк с хорошей скоростью мчался по шоссе на юг, — и представлял себе, как Рита сейчас мечется по Москве, не зная, что предпринять. Мой звонок, конечно, выбил ее из колеи. Матери она не скажет, а Кириллу, может быть, и обмолвится с чувством некоторого торжества: «Звонил отец. По-моему, подбрасывает хвост», — на что мудрый сыночек, которому все совершенно все равно, скажет: «А я что говорил? Я ж говорил, что он больше двух месяцев не продержится». Советоваться она побежит к какой-нибудь из подруг, скорей всего к Ларисе. Дружба с Ларисой мне представляется постыдной, несколько раз я пытался открыть Рите глаза, увещевал, требовал, бывал с Ларисой намеренно груб по телефону и даже дома, когда она появлялась, — никакого успеха. Рита не хотела видеть правды и, в своей манере, действовала назло, а Лариса прощала мне самый оскорбительный тон

и отвечала лестью и шуточками. Вначале, когда дружба лишь зародилась — дамы познакомились в Ессентуках лет семь назад, — Рита отзывалась о Ларисе с простодушным восторгом. Поразительная женщина, как она умеет жить! Идеальные отношения с мужем, идеальные — со свекровью, идеальные — на работе. При этом мужа рогатит почем зря, свекровь глубочайшим образом презирает, а на работе устраивается так, что ни фига не делает, то берет работу на дом, то у нее свободные дни, то командировки. Работает Лариса вот уже десять лет в каком-то комбинате каким-то инженером по реализации. Тогда еще Рита относилась к этим милым качествам своей приятельницы хоть и с восторгом, но как к чему-то далекому и чужому, поражалась со стороны, иногда даже с юмором и не без тайной горделивости: а я вот так не могу! Тогда она говорила: «Лариса — это не подруга, это — учреждение. Ларисбюро. Все может организовать». Верно, диапазон гигантский: рейтузы шерстяные, билеты на Райкина, путевки, курортные карты, встречи с нужными людьми, до которых обыкновенным смертным просто так не дорваться. Постепенно, однако, учреждение превращалось в подругу. Что-то я упустил, проворонил, и теперь, когда мне, в сущности, все равно,

они — закадычнейшие подруги. Созданы друг для друга. Сейчас, например, советуются: как быть?

Сидят на кухне в однокомнатной квартирке Ларисы в доме-башне у Сокола, пьют кофе из болгарских чашечек и говорят о моем здоровье. Обе в курсе дела. Два года назад, когда меня шлепнул гипертонический криз — летом в электричке, ехали на дачу в Хотьково, и вдруг я поплыл, стал задыхаться, выскочили на первой же станции, в медпункт, Рита проявила мужество, — Лариса устроила мне некоего Печенега А. Е., знаменитость. К нему в клинике стоят по два месяца в очереди, только чтоб записаться, а она притащила его запросто домой, чаем угощала и пластинки мои французские ему крутила, чаровала, как могла. Не знаю уж, что у нее за чары. Но что-то есть. Как женщина она, на мой взгляд, непривлекательна: толста, малорослa, посадка низкая. Но лицо миловидное, круглое, и глаза всегда блестят, лучатся. Этакая протобестия с румяными щечками, не скажешь, что сорок лет. О господи, при чем тут Лариса? Какое мне дело до Ларисы? С мозгами что-то неладно. От жары, от давления и от — ну, конечно же! — от того, что разваливаюсь на ходу, по болтам, по железкам, как темно-фиолетовый катафалк. Не Лариса же виновата в том,

что случилось девятнадцатого марта.

Но сейчас Лариса тем не менее дает советы, а Рита — внимает. «Александр Ефимович мне сказал, антр ну, как говорится, что с таким сердцем, как у Геннадия, можно прожить сто лет. Вот так. Чтоб ты знала». — «Я знаю. Он говорил мне то же самое. Но если Геннадий позвонил… Ты представляешь, с его самолюбием?» — «Ритуля, до чего ж ты наивна!» — «Я понимаю, но все же…» — «Только не раскисай, пожалуйста. Прилетаешь? Хорошо. Болен? Будем лечить, достанем лекарства. Устроим хорошую больницу, если нужно. Но болезнь, к сожалению, не может зачеркнуть того, что ты натворил, тех страданий, которые ты причинил. За все надо платить, мой дорогой. И пока ты не поймешь… Линия, по-моему, должна быть только одна». — «Ты так считаешь?» — спрашивает Рита. «А как же иначе!» — говорит Лариса, изумляясь и возмущаясь одновременно тем, что могут быть какие-либо сомнения.

За стеною, в комнате, гудит электрический полотер. По случаю воскресенья Цебриков, муж Ларисы, натирает паркет. Делает это так рьяно, с таким увлечением, что можно не опасаться визита на кухню. Вообще Цебриков превосходный хозяин и замечательный муж: чуть выдастся

свободная минутка — он тотчас за совок, за веник, начинает мести ковер, а то полощет чашки, пылесосит диван или же затеет маленькую постирушку. Лариса достает из холодильника бутылку армянского, слегка початую, две рюмки из шкафчика. «Витасик! — стучит в стену. — Хочешь рюмку коньяку?» — «Не-ет! — Бодрый крик сквозь шум мотора. — Возьмите лимон, я купил утром! Только ошпарьте кипятком!»

Девятнадцатого марта, когда я вышел на улицу в снег, в полночь, я думал: если уж дома, в своем скворечнике, в том, до чего никому нет дела, кроме меня, я не могу быть независимым, не имею права совершать поступки, тогда я ничтожество, насекомое.

Ну, что такое Тохир? Это шестьдесят километров от города, на юг, где кончается пустыня и начинаются горы. Когда-то местечко принадлежало персам. У некоего хана, как рассказывает Атабалы, была очень красивая дочь Тохира, и в ее честь хан назвал местечко Тохир.

Радио сообщает, что в городе тридцать два. А здесь, зерно, как в другой стране: воздух прохладен, дуют ветры, шумят деревья. Когда выйдешь на улицу — она одна в поселке, длинная, полого спускающаяся в тени вековых тополей и

чинар, — слышно, как, не умолкая, с чеканным клекотом бежит вода в арыке. Первое время, слыша этот клекот, я невольно оглядывался, ища глазами: казалось, где-то шумит водопад.

От персов в Тохире не осталось ничего, кроме двух жалких глинобитных домиков. Один полуразрушен, другой превращен в сарай: Атабалы держит в нем свои мотыги и грабли. Из окна комнаты я вижу это бывшее шахское владение из кизяка и думаю: «Also, Sprach Zarathustra». У меня есть пристрастие к цитатам, словечкам. Из книг я выковыриваю цитаты. «Also, — думаю я с удовольствием, — Sprach Zarathustra». Изумительно точная цитата. Одна из тех, что сопровождает меня всю жизнь. В ней есть философское отношение к жизни, начитанность, интеллигентность, знание языков, а также — ерунда и обман. Ибо знания мои приблизительны, интеллигентность показная, я никогда всерьез не читал Ницше и ничего по-настоящему не знаю ни о Персии, ни о Заратустре, а немецким и французским языками владею лишь в той степени, чтобы в туристской поездке сказать кельнеру в ресторане: «Пожалуйста, еще хлеба!»



Когда-то я дурил голову одной девочке, ей было тринадцать, а мне четырнадцать. Дело происходило в центре Москвы, на улице, которой сейчас не существует. Дома, естественно, тоже. Дом был крепкий, пятиэтажный молодец в стиле дешевого модерна начала века. Я помню лестницу, пахнущую кошками и нечистотами,

но чугунные тонкие решетки на полукруглых окнах были изысканны, как рисунки Бердслея. Помню квартиру, запутанную, как аквариум, полный водорослей. Было несколько коридоров, заставленных шкафами до потолка, где можно было проплывать только боком. Девочка сидела на диване, от ее рук шел запах йода, и она читала собственные стихи, на мой взгляд, прекрасные. Я же спросил ее: «А ты читала «Also, Sprach Zarathustra?» И после этого были какие-то полудетские движения, основанные на мелком обмане. Also, я живу в деревянном домике на территории дачи работников культуры. Таких домиков на территории пять, сейчас они все пустуют. Сезон начинается в июне. Устав от работы, от сиденья на одном месте, я выхожу в сад и веду беседы с директором дачи — он же садовник, он же сторож — Атабалы Кульмамедовым. Милейший человек. Ему лет пятьдесят пять. Он худощав и высок, какими бывают туркмены из племени «теке», в его сухом, черновато-смуглом, небритом и вытянутом, со впалыми щеками лице видна постоянная озабоченность, что не удивительно для человека, у которого орава детей; он очень работящ и одновременно добродушен и, если видит, что мне хочется с ним поболтать, отложит

любую работу и будет разговаривать со мной час и два. Он угощает меня чаем и вареньем из алычи, покупает сигареты, если я попрошу, и оказывает другие небольшие услуги. Жена Атабалы тоже текинка, она полная, статная, медленно двигается, ходит в длинном темно-вишневом платье «куйнак». Ее зовут Язгуль, Лицо Язгуль усталое, пыльно-коричневого тона, несколько квадратное, отчего напоминает львиное, все в морщинках непрестанного материнства, а руки, обнаженные до локтей, — молодые, сильные. Наверно, и тело Язгуль с большим животом, низкой тяжелой грудью, едва очерчивающееся под складками «куйнака», — еще сильно, полно жизни. Ей лет сорок шесть, сорок семь. Старшие дети давно женились, живут отдельно. Сейчас здесь, в Тохире, осталось пятеро: три дочери и два сына. Самого младшего зовут Дурдкули. Это важный медлительный пятилетний человек, от которого не добьешься лишнего слова. Как-то я спросил у него: «Дурдкули, сколько тебе лет?» Он не ответил и, важно повернувшись, побежал прочь, но ладошку с растопыренными пальцами держал сзади на штанах, показывая: пять. Вечно он куда-то пропадает, мать его ищет, и по саду разносится ее крик: «Дурдкули-и!»

Язгуль неграмотна, по-русски говорит очень плохо, но в отличие от многих деревенских туркменок лишена утомительной восточной стеснительности. Разговаривая со мной, с трудом подбирая слова, она спокойно и прямо, не мигая, смотрит на меня своими желтыми неподвижными глазами.

— Язгуль, — спрашиваю я, — у вас есть ножницы?

— Сейчас. — Язгуль величаво кивает и, обращаясь к кому-то в глубь дома, кричит по-туркменски.

Выходит одна из дочерей и, глядя вбок, мимо меня, протягивает ножницы. Иногда я прошу кусок мыла, лампочку, нитку с иголкой, чистую тетрадку, клей, и все это находится в доме Язгуль. Разумеется, я стараюсь вручить Язгуль деньги, но она никогда не берет.

— Ай, — говорит она и делает плавный, презрительный жест рукой.

Однажды долго не мог заснуть, думая о Язгуль. Меня это даже слегка напугало. Хотя что может теперь меня напугать? Была какая-то секундная горечь. Человек осознает свой возраст с опозданием. Вроде того, как с изменой жены: все уже все знают, а ты не догадываешься. Но есть

нечто, существующее помимо сознания, какой-то тайный часовой механизм, который вдруг подает сигналы. Помню, как ехал подростком в трамвае и увидел молодую женщину, сидевшую напротив, ничем не примечательную, загорелую, грудастую, с сумкой на коленях, с голыми ногами, которые она скрестила небрежно; то, ***как*** я увидел эту сидящую женщину, было для меня внезапно и ново и тоже, как теперь, слегка напугало. Сразу после того, как думал ночью о Язгуль, перекинулся на мысли о себе. Это связано неумолимо: как только задумываюсь о времени, тут же перескакиваю на свою дорогую персону. Кто я, что я и так далее. Иногда думаешь: все ничего, я в порядке. А иногда — тоска. Нет, думаешь, толку не вышло. Всю жизнь делал не то, что хотелось, а то, что делалось, что позволяло жить. А мог бы, наверное. Вот если б тогда, сразу после института, в сорок каком-то… ну, и так далее, и тому подобное.

Мне уже сорок восемь, а выгляжу еще лет на десять старше. От сидячей жизни и неумеренного курения мое лицо приобрело желтоватый оттенок, одрябло, под глазами у меня мешки, которые темнеют и увеличиваются, когда накануне «расширишь сосуды». Раньше я пил порядочно,

называл это «расширить сосуды», теперь же врачи запретили, да и сам чувствую: после трех, а то и двух рюмок сердце колотится неимоверно и задыхаюсь. Курить тоже заставили бросить. Но дело не в том. Совершенно не в том! Можно болеть, можно всю жизнь делать работу не по душе, но нужно ощущать себя человеком. Для этого необходимо единственное — атмосфера простой человечности. Простой, как арифметика. Никто не может выработать это ощущение сам, автономно, оно возникает от других, от близких. Мы не замечаем, как иногда утрачивается это вековечное, истинное: быть близким для близких. Ну, что за ветошь: возлюби ближнего своего? Библейская болтология и идеализм. Но если человек не чувствует близости близких, то, как бы ни был он интеллектуально высок, идейно подкован, он начинает душевно корчиться и задыхаться — не хватает кислорода.

Когда он сказал мне: «А ты чем лучше? Производишь какую-то муру, а твоя совесть молчит?» — я почувствовал, как у меня что-то остановилось в груди, в аорте. Я двигал ртом, ничего не мог произнести, а он смотрел на меня уже не так, как раньше, а с испугом. Наконец я сказал: «Негодяй! На эту муру я тебя поил и кормил семнадцать лет,

довел до десятого класса! На эту муру ты покупаешь себе джинсы, пластинки и всякую дрянь! И сам ты дрянь!» И тут я его ударил. Он согнулся и побежал в свою комнату. Я знал, что ему было больно. Но я не чувствовал никакой жалости к нему — хотя я бил его редко, может быть, два или три раза за всю жизнь, — я только чувствовал пустоту и отчаянье, которое эту пустоту заполняло. Фраза, брошенная мне в лицо, была давно придумана, и в ней были ненависть и презрение, накопленные месяцами и, может быть, даже годами. Там был, конечно, не один Кирилл, но и Рита. Так они разговаривают обо мне между собой. И, главное, в этой фразе был я! Я, я! Узнал свои словечки: «производишь муру». Презрение — вещь заразительная. Я никогда не вскипел бы так бурно, если б не почуял в этой фразе себя, свое тайное, как дурная, скрываемая болезнь, презренье к «муре», и к своей собственной тоже.

Но ведь парень ничего этого не знал. Он получил затрещину и убежал ошеломленный, давясь слезами.

Тот день начался с того, что я нашел у Кирилла в комнате в ящике стола — очень хотелось курить, я искал сигареты — маленькую книжечку в кожаном переплете с запором. Заинтересовался,

открыл: ключик лежал рядом. Это оказался дневник, начатый Кириллом несколько месяцев назад. Я пробежал по диагонали страниц двадцать, исписанных крупным и жидким, полудетским почерком, — было неловко, но я сказал себе, что с позиций воспитателя имею абсолютное право. Много было ерунды, описание футбольной встречи с другой школой, рассуждения о какой-то научно-фантастической книге современного автора, по-видимому, порядочной гадости, взаимоотношения с неким А. и некоей О., описанные многословно и туманно, с многоточиями, и затем запись о праздновании собственного дня рождения. Накануне — подробнейшие прогнозы насчет того, кто что подарит. Эта страсть к получению подарков, которую Кирилл демонстрировал с такой замечательной искренностью и прямотой, — началась в младенчестве и продолжается до сих пор — всегда меня коробила, но все же я к ней привык. Не новость. То же самое было у Риты. «Посмотрим, на что расшибется папа. Еще летом обещал мне маг, ну не «Грундиг», конечно, на это его не хватит, но хотя бы «Комету». У Серого «Комета» работает клево, так что я буду вполне satisfied». Развязный тон слегка задел, но я проглотил, читал дальше. Действительно, я подарил

парню «Комету». Причем, помню, предвкушал впечатление, какое произведет подарок. Я-то был уверен, что для него это сюрприз, летнее обещание совершенно из меня выветрилось, но он все помнил железно. То-то я удивился: хоть и благодарил, но как-то спокойно, без восторга.

Допекла меня другая запись: «Приходила кикимора и принесла какой-то жалкий альбомчик для открыток и набор красок. Рубля на три все вместе. Недаром мама говорит, что старые девы отличаются подозрительностью и жадностью…» Это было сказано о моей сестре и его тетке Наташе. Если б Наташка прочла — брр! Я содрогнулся. Мне захотелось вырвать страницу, чтоб этого страшного никогда не случилось. Но остановился: страница могла понадобиться. В бедной Наташкиной памяти остались наши дни рождения, когда альбом для открыток и краски считались ценностью. Нет, возмутило не то, не торгашеская — в рублях — оценка, а хладнокровное лицемерие. Ведь он, подлец, тетку благодарил, даже чмокнул в щеку, улыбался приветливо и задавал, как нежный племянник, вопросы: «А что у тебя на работе? А когда ты будешь отдыхать?» И в тот же вечер: кикимора…

Я тупо рассматривал книжечку, кожаный пере-

плет, запорчик, ключик (не Наташка ли подарила год назад?) и размышлял: говорить подлецу или промолчать? Решил — молчать. Иметь в виду на крайний случай. Но предчувствовал, что не сдержусь. И верно, в тот же день вечером он канючил билеты на американский джаз. Приставал сначала к матери, потом ко мне. Рита сказала, что она против категорически: во-первых, на другой день была какая-то ответственная контрольная, во-вторых, дорого, два билета по пять рублей, он собирался идти со своей девочкой, и, в-третьих, Рите не нравилась девочка. По мнению Риты, она плохо воспитана и, когда приходит к нам в дом, ведет себя недостаточно скромно. Ну, бог с ней, я этого не замечал и возражал по другим причинам. Тот продолжал ныть со своим обычным упорством. «Па-а…» — нудил он плачущим голосом, как обиженный маленький мальчик. «Билетов нет, и достать их невозможно. Все! Конец! — сказал я. — Иди в свою комнату и занимайся». — «А попросить тетю Наташу?» Я поглядел на него с большим интересом. Голубые глаза смотрели ясно и преданно. Наташа работает в министерстве, иногда достает дефицитные билеты. «Тетю Наташу?» — «Ну да, помнишь, она доставала на Дина Рида?» — «А тебе не будет ли

неприятно, — сказал я, чеканя каждое слово, — получать билеты из рук кикиморы?»

Он уставился на меня обалдело. «Какой кикиморы?» — «Но ты ведь называешь тетю Наташу кикиморой?» *И тут* я увидел, как лицо моего сына мгновенно и на глазах — как светочувствительная бумага — покрывается темной краской, начиная с ушей. «Ты читал дневник? — вскрикнул он. — Как же ты мог…» Его лицо исказилось, глаза сузились, я увидел бешеное презрение, и это был его истинный взгляд. Разумеется, я объяснил ему, что не «как же я мог», а «как же он мог» — писать так гнусно о своей тетке, родном человеке, который его искренне любит. Я говорил очень взволнованно. Рита пришла из своей комнаты и стояла молча. Хотя отношения у нас были натянутые, она не пыталась взять сторону сына, который не слушал меня и только повторял, качая головой: «Эх, ты… Эх, ты…» Наверное, ей было неприятно. Но тот не понимал ничего. По-видимому, был сражен тем, что я мог прочесть его глупости по поводу А. и О. Наконец Рита раскрыла рот и произнесла укоризненно: «Кирка, действительно, как ты мог написать такую вещь?»

Я сказал: «А ты не удивляйся. Он написал то,

что ты говоришь вслух». Конечно, был возглас протеста, оскорбленное лицо и мудрый, педагогический вывод: «Кирилла я не оправдываю, но тон твоего разговора меня возмущает!» После этого она ушла. А Кириллу только того и нужно. Он сказал, что я всех оскорбляю, и его и мать, что у меня самого нет совести, если я читаю дневники. Но я закричал, что у меня есть право отца. Что пока ему нет восемнадцати, сопляку, я обязан знать, чем он живет, его личную жизнь, всю его подноготную, потому что несу ответственность за него, а после восемнадцати — может катиться на все четыре стороны, пожалуйста, не возражаю. «Я тоже не возражаю», — пробурчал этот наглец. «Но сейчас, когда я вижу подлость, — гремел я, — я не намерен давать тебе потачку!» — «Я тоже, если увижу подлость...» Вот так мы пререкались скандально, базарно — с каждой минутой я все более ощущал свое бессилие, — и потом он сказал фразу «производишь муру», после чего я его ударил, ладонью по губам, и он убежал. Сначала в свою комнату, потом — из дому.

Он исчез на сутки. Это были, наверное, самые кошмарные сутки в моей жизни. Потому что я казнил себя и терзался. И Рита, конечно, не умолкала, но ее беснования меня не трогали;

Я просто отупел от ужаса, от того, что я себе представлял и в чем видел виновником себя, одного себя, несчастного идиота, неврастеника, — подумаешь, распустил руки, назвали сестру кикиморой! Ну и что? Устраивать из-за этого допрос, мордобитие, так унижать и оскорблять парня? В третьем часу ночи дежурный по городу сообщил нам, что в Коптеве найден труп юноши лет семнадцати, зарезан ножом. Не было ли на нашем мальчике меховой шапки и кожаной безрукавки на меху? Меховая шапка была! Была! Но кожаной безрукавки не было. Он мог взять безрукавку у товарища. Мог зачем-то поехать в Коптево. Вызвали таю си, помчались в Коптево, на другой конец города. В машине Рите сделалось дурно, остановились, я массировал ей сердце, шофер побежал за лекарством — в медпункт Белорусского вокзала. В морг Коптевской больницы я пошел один, Рита осталась в машине. Хотя я был совершенно уверен в том, что наш мальчик не мог очутиться здесь, ноги мои подгибались, когда я спускался по лестнице в узком каменном коридоре. Юноша был черноволос, один глаз открыт, другой заляпан черной кровяной коркой. Мы приехали домой в пятом часу.

В семь он позвонил и сказал, чтоб мы не вол-

новались, что он у девочки на даче, здесь нет телефона, поэтому он не сообщил вовремя, виноват, excuse me. А сейчас звонит со станции. «Ты не пойдешь на контрольную?» — с внезапной и, как обычно, изумившей меня трезвостью спросила Рита. «Нет, пока!» Это «пока» было сказано залихватски, этакое веселенькое, забубенное — однова живем! — затем щелк, трубка повешена. Рита тихонько плакала, а я сидел в кресле, закрыв глаза, и видел рассветную тьму на станции, будку автомата, промерзшую, как погреб, запах гари и низкую, над лесом, луну. Двое бегут на лыжах: сначала по лыжне вдоль путей, потом сворачивают в лес. За калиткой их встречает собака, на даче тепло, в печке горят березовые дрова — впрочем, это из моей юности, на даче у «девочки», наверное, батареи водяного отопления, топят углем или газом. Все было когда-то и у меня. Какие там контрольные! Он про отца-то, раскровенившего губу, и думать забыл…

Моя ***необходимость*** отпала. Это было ясно. Ну — деньги, кормежка, билеты на джаз, полезные знакомства, это само собой. Некоторое волнение, когда мне бывает плохо. «Папа, тебе дать что-нибудь? Нет?.. Ну, я побежал! У меня деловая свиданка. Ты лежи, не вставай». А что еще

нужно? Один приятель, папаша моего возраста, сказал: «Скажи спасибо, что он тебе не ответил крюком слева в печень. Мой однажды меня нокаутировал». Наверное, все нормально, но я просто не знаю этого: когда я был в возрасте Кирилла, у меня не было ни матери, ни отца. Мать подолгу болела, месяцами в санаториях, отец погиб в тридцать девятом на Карельском перешейке, он был военный инженер. Воспитывала, тянула изо всех сил старшая сестра, Наташка. Из-за меня, может быть, и осталась «кикиморой». Откуда мне знать, нужен ли парню отец, когда у парня рост метр восемьдесят, канадская стрижка, бас, когда он может три часа танцевать без устали, прочитать за день целиком английский детективный роман и подойти на улице к любой девушке и взять у нее телефон?

Летом оказалось, что отец пока еще нужен. «Папа, там кафедрой руководит такой Меченов, Александр Владимирович, он и экзамен будет принимать. Я точно выяснил, что он друг твоего Рафика. Будь добр...» И он и мать знают, что я не люблю такие дела. Не потому, что чересчур принципиален и мое нравственное чувство возмущается, а потому, что — неврастеник, не люблю одолжаться. Что такое Рафик? Они ведь не

понимают, что такое Рафик. Им кажется: если говорят «ты», пьют коньяк в «Национале» и изредка бывают вместе в Лужниках или на бегах (Рафик — игрок, болельщик), то, значит, истинные друзья. Рафик дает мне работу. Я от него завишу. Ну, не на сто процентов — я получаю работу еще в восьми местах, — но в значительной степени. Рафик для меня ценная фигура, фрезь. Я в ***нем*** заинтересован, а не он во ***мне***.

Вот этого никак нельзя было растолковать Рите. Как всегда, когда начинались какие-нибудь домашние кампании, она впадала в панику и творила глупости. Ей казалось, что Кирилл ни за что не поступит, если не мобилизовать Рафика. Честно говоря, я считал, что он и с Рафиком не поступит. Все-таки он обалдуй, наш парень. С его ростом, басом и этакой наружной, молодцеватой независимостью он еще какой-то пацан и рохля. Сочинение писал посредственно, почерк ужасен, в математике соображал слабо. Газет и журналов не читал вовсе, кроме «Советского спорта» и «Экрана». Английский язык? Ну, разве что. В детстве силой заставляли ходить в английскую группу, а потом пристрастился к detective story. Но ведь только лексика, а в грамматике — как в лесу. Кроме того, наш парень, наглый и очень

бойкий на язык дома, совершенно меняется с чужими людьми. Тут он слова не может вымолвить, мямлит, конфузится и вообще производит впечатление Митрофанушки. Где ему выдержать бой на вступительных! Вначале говорили, что двенадцать человек на место, потом оказалось — девять, тоже не ерунда.

Надо было идти к Рафику. Никто не знал, как это мне не по нутру. Рафик из тех людей, которые ни одного доброго дела не могут сделать просто так, без расчета на ответ, без «два пишем, один в уме». Нет, не вульгарно «товар — товар», а в смысле лобызания своего благородства, вымогательства дружбы, ощущения вечной благодарности и так далее. Все добрые дела Рафика надо хорошо помнить. Это нудно, но ничего не поделаешь, входит в правила игры. А я со своей расхлябанностью и ленью часто нарушал правила, вот же в чем дело. Этого никто не может понять, как ни объясняй. Надо знать Рафика, этого самодовольного сморчка, но, в сущности, добрейшего человека. Незадолго до того, как возникла проблема Меченова, я получил от Рафика большую работу, очень солидную, она заняла у меня потом полгода интенсивнейшего труда — спасибо ему по гроб жизни, thank you very much, как сказал бы

наш обалдуй, — но вышло так, что, получив сию работу, я тут же исчез с Рафикова горизонта. Провалился. Схватил и уполз в нору. А где дружба? Где вечная благодарность? Вместо этого вдруг явлюсь с новой просьбой. Я отлынивал, искал другие возможности, но ничего не находилось, Рита и Кирилл наседали на меня — самым недопустимым было, конечно, то, что Кирилл посвящался во все секретные предприятия! Я много раз делал за это выговор Рите — и кончилось тем, что Рита, потеряв терпение, тайно от меня сама позвонила Рафику и встретилась с ним.

Помню, как однажды в июне она пришла вечером какая-то молчаливо-напряженная, с пятнами на лице — эти аллергические пятна всегда выдавали ее возбуждение — и вдруг объявила, что только что видела Рафика, все ему сказала и он все сделает. Она была на бегах, выиграла полтора рубля.

Оказывается, у Рафика был игровой день, он назначил встречу у метро «Динамо», откуда, разговаривая, дошли до ипподрома, и там уж она решила — «чтоб сделать ему приятное, потому что он сказал, что новичкам всегда везет» — пойти с ним на бега. Мудрейший шаг! Вначале он был сух, а расстались друзьями. Во-первых, он

действительно выиграл. А во-вторых, она ему понравилась, это точно. Эге, матушка, да не пьяна ли ты? Нет, пила лишь воду, съела мороженое и два апельсина, угощал Рафик в буфете, но, в самом деле, она как будто пьяна. Потому что все замечательно удалось. Жалко, что он такой страшненький, такой уродушка-квазимодушка. Познакомил ее с какими-то дядьками, они целовали ей руку и говорили «мадам». Меченов его старый приятель, они из одного города, так что — дело в шляпе…

Кирилл ликовал: «Мать, ты гений!» Я испытывал неясное чувство. Конечно, хорошо, что дело сделано и, может быть, поможет нашему обалдую, но я представлял себе выражение лица Рафика, когда они встретились и Рита, покрываясь аллергической сыпью от волнения, бормотала первые слова. «Он был сух!» Слабо сказано. Надо знать Рафика. Он тут же решил, что я подослал ее, и, наверное, возмутился: «Какова скотина! Почему я должен ***без конца*** делать ему одолжения?» Но потом она его как-то размочила. Никаких подозрений, ни намека на ревность я не испытывал. Эти студенческие чувства теперь посещали меня довольно редко, так же, например, как желание поиграть в волейбол — у Риты было,

кажется, то же самое, — и, кроме того, известно, что Рафик женщинами не интересуется. Всю эту историю я отнес к разряду Рафиковых чудачеств. Но там были еще какие-то дядьки, целовавшие ей руку и говорившие «мадам». И почему надо было торчать до последнего заезда?

В результате всего, как в сложной задаче, где много различных действий, делений, умножений и извлечений корня, осталось одно: чувство неловкости и возникшее отсюда раздражение.

Я смотрел на Риту, сидевшую в небрежной позе, положив ногу на ногу, на диване с сигаретой в зубах и с еще не отошедшими пятнами на шее и старался увидеть ее так, как ее видели Рафик и дядьки на ипподроме. Рита относится к тем женщинам, которые выглядят явно моложе своих сорока. Сорок-то лет видны, но одновременно видно и то, что выглядит моложе. Она хорошего роста, статная, длинноногая, правда, если отпустить все крючочки, стан заметно деформируется. Но это не беда. Она еще вполне ***ничего***. Когда-то, лет двадцать назад, когда я отбил ее у одного молодого человека, сына гомеопата, она была красоткой. Ради нее я оставил первую жену, сына (он геолог, где-то тут, в Средней Азии), ради нее тяжело ссорился с матерью, которая была

против развода. Просто мать, при ее бесконечной доброте, должна была кого-то жалеть. Ей делалось больно, когда кому-то причинялась боль. Потом-то она подружилась с Ритой. И жалела ее, когда ей казалось, что я ее обижаю. Далеко же это ушло. Давно нет ни матери, ни той Риты, которая обижалась, ни моей любви, ни нашей старой квартиры на Житной, коммунальной толчеи, тесного дивана, криков Кирки по утрам и знобящего чувства, что — все впереди, все еще случится, произойдет. Не надо было Рите бросать работу. Не надо было сооружать этот кооперативный храм в шестьдесят два метра жилой площади, не считая кладовки.

И вот я смотрел на женщину с красивыми длинными ногами, в красивом шерстяном платье, с красивым и несколько бледным лицом, на котором читались намеки на увядание, но и прекрасная зрелость, вегетативный невроз, холецистит, любовь к сладкой пище, ежегодные морские купания, и говорил ей спокойно: «Ты ему понравилась? Дело плохо. Это должно тебя насторожить». И она отвечала так же спокойно: «Очень остроумно!» Не надо было жить вместе двадцать лет. Also, sprach Zarathustra: это слишком долго. Двадцать лет, шутка ли! За двадцать

лет редеют леса, оскудевает почва. Самый лучший дом требует ремонта. Турбины выходят из строя. А каких гигантских успехов достигает наука за двадцать лет, страшно подумать! Происходят перевороты во всех областях научных знаний. Перестраиваются — города. Октябрьская площадь, рядом с которой мы жили когда-то, совершенно изменила облик. Не говоря уж о том, что возникли новые африканские государства. Двадцать лет! Срок, не оставляющий надежд.

Я перевожу громадную поэму моего друга Мансура, три тысячи строк. Называется «Золотой колокольчик». Колокольчик, как можно догадаться, это прозвище девушки: односельчане прозвали ее так за звонкий, мелодичный голосок. Поэма будет напечатана здесь, в Москве и в Минске. Не знаю, почему в Минске. Это уж его дело. Я спешу, мне нужны деньги, и надо уехать отсюда пе позднее десятого июня. Нынешняя жара временна, она может ослабеть, смениться дождем, но с июня жара ляжет прочно, чугунно — не даст поблажки ни облачку, ни капле дождя. Я делаю по шестьдесят строк в день — это много. Вдохновенья не жду: в восемь утра выпиваю пиалушку чаю, принесенного с вечера в термосе, сижу за столом до двух, в два обедаю в паршивенькой

чайхане возле почты и с трех сижу до пяти или шести, когда начинает давить в затылке и мухи мелькают перед глазами. А что делать? Переводить стихи — моя профессия. Больше я ничего не умею. Перевожу я с подстрочника. Практически могу переводить со всех языков мира, кроме двух, которые немного знаю — немецкого и английского, — но тут у меня не хватает духу или, может быть, совести. Слава мне не нужна, это уже было (не слава, разумеется, а нужда в ней).

Говорят, скоро, числа двадцатого, откроется сезон в летнем ресторане «Чинар», и жизнь моя станет легче. На днях, доработавшись до черных мушек, я пошел в чайхану — это обыкновенный трактир, по-нашему «павильон» или «забегаловка», где, кроме водки, воды, пива, крепленого красного вина, крутых яиц, лука, пампушек, рыбных консервов, бывают иногда чай и плов из мяса неопределенного происхождения, боюсь, что верблюжьего, — и, чтоб ободриться, выпил рюмки две дрянной ашхабадской водки. Пил с удовольствием, но с некоторым страхом. И она на меня странным образом подействовала. Не то чтобы я опьянел — сказалось, должно быть, долгое воздержание, — голова работала ясно, все было в норме, кроме одного пункта, как в мире

Кафки, где все достоверно, кроме какого-нибудь одного обстоятельства: того, например, что Замза превратился в насекомое. Мне представилось, что дрянная ашхабадская водка, стоявшая на моем столе, есть ***подстрочник***, который я должен ***перевести*** четырехстопным амфибрахием на русский язык, и тогда это будет бутылка «столичной». В тот день я перебросал семьдесят с лишним строк. Ночью проснулся от тяжкого знакомого сна — моей обычной лестницы. Будто поднимаюсь по каким-то бесконечным ступеням, каждый шаг все тяжелей, все невозможней, не хватает дыхания — и когда уж, кажется, конец, асфиксия, — вдруг просыпаюсь. Болело сердце, стал искать воды. Термос был пуст: вчера выхлестал весь чай после водки. Вот болван! Ведь знал же, что ночью может понадобиться питье.

Оделся и вышел в сад. Была отличная ночь. Светила луна. Давно я не видел такой ночи. Две чинары стояли, как две скалы, вокруг них конусом легла черная непроглядность, зато акации, туя и разные другие более мелкие кусты и деревья светло серебрились под светом луны и шевелились, журчали, дышали. От их дыхания воздух был сладок. Его можно было пить. Я прошел несколько шагов на слабых ногах, сел на

скамейку и пил воздух. Ну и ночь! Самая подходящая для смерти. Думал о том, что могу умереть. Мыслей о смерти не бывает. Мысли о смерти — это страх. Я сидел на скамейке спиною к теплому стволу дерева и беспорядочно думал: позвонить, Мансур, он приходит в десять, машину, кардиограмму, рублей пятнадцать, при инфаркте боль гораздо сильней, удар топора в грудь. Ах, какой идиот — пил водку. Потом, когда боль утихла и дыхание стало ровней — раза два удалось глубоко вздохнуть, — я подумал о том, что это было бы слишком бессмысленно. Ведь должен же быть какой-то смысл. Какой-то итог. И уж после того. Теперь мои мысли стали спокойнее.

Когда боль исчезает, думать о смерти легче. Где-то далеко на горной дороге шла машина — в тишине отчетливо слышалось, как шофер сбавлял газ на поворотах.

Нет, смерть меня не пугала. Ведь громадное большинство людей умерло и только ничтожная часть живот. (Боль прошла совершенно, я поднялся со скамейки и двинулся по аллее. Хотелось дойти до колодца и набрать в кувшин воду на всякий случай.) Конечно, обидно: маловато успел. Со стороны может показаться, что вовсе не так. Я и то, и это, пятое, десятое. Но уж я-то знаю,

что чепуха. Задумано было иначе. Хотя как же иначе? Что я мог сделать иначе? Мальчишкой попал на фронт, был ранен под Ленинградом, болел, лечился, потом хватал и грабастал жизнь в веселых послевоенных вузах, женился рано — от той же жадности. И все было так: одно хватал, что попроще, а другое — откладывал па потом, на когда-нибудь. И то, что откладывалось, постепенно исчезало куда-то, вытекало, как теплый воздух из дома, но этого никто не замечал, кроме меня. Да и я-то замечал редко, когда-нибудь ночью, в бессонницу.

А теперь уж некогда. Времени не осталось: И другое: нет сил. И еще третье: каждый человек достоин своей судьбы. Так, успокоенный, рассуждал я о своей жизни, подходя к дому Атабалы, где во дворике был колодец.

Какие-то люди разговаривали в темноте. Я подошел, увидел Атабалы и коротконогого уродца с большой головой— Назара. Этого Назара я встречал в чайхане. Он ростом с десятилетнего мальчика, и, когда я подходил к дому Атабалы, мне показалось вначале, что Атабалы разговаривает с мальчиком.

Назар хрипло вскрикивал, вырываясь из рук Атабалы. Они боролись при свете луны. Атабалы

тихонько хихикал.

— Ай! Эй! — давясь смехом, говорил Атабалы. — К женщинам хочет пойти, какой фулюган!

Я подошел к колодцу и начал качать, наклоняя и поднимая деревянную ручку. Воды не было долго. Говорили, что когда-то это был прекрасный колодец, но в прошлом году случилось землетрясение, где-то сместилась почва, и воду заклинило. Наконец потекло очень тонкой струйкой. Атабалы и Назар продолжали вполголоса браниться.

— Нет! — говорил Атабалы. — Фулюган, иди спать!

В соседнем домике, где жили в сезон отдыхающие, а теперь в трех комнатах жили несколько женщин, служащих санатория и официанток, хлопнула рама, и женский голос строго сказал:

— Пошел, пошел домой, Назарка! Рожа твоя бесстыжая! У-ух!

Снова хлопнула рама. Уродец покачался, двигая большой головой из стороны в сторону, как качается тяжелый подсолнух, потом повернулся молча и ушел куда-то.

Атабалы сказал:

— К Вале приходил. Жениться хочет.

— На Вале?

— Да… — Атабалы зевал. — Ай, час ночи… Вот

фулюган, час ночи, всех будил.

Валя была рослая, сочная, лет двадцати шести. Работала медсестрой в санатории, и я раза два просил ее измерить мне давление. По утрам видел, как она бегала, сверкая икрами, из своего домика в другой конец сада.

Я спросил:

— И она пойдет за такого? — Я показал рукой аршин от земли.

— Э, ты не смотри, что маленький. Он сильный. Бить может любого-каждого, хоть вас, хоть меня. Сразу кидает. От него падаешь, как все равно с ишака — головой в землю. С верблюда падаешь боком, а с ишака — головой… Да, такой фулюган, черт. Пьяница он. Его бабы жалеют.

Я побрел назад, к своему домику — он стоял на отшибе, в глубине сада. Была смутная ночная радость. Именно ***ночная***, неясная. Утром ничего не поймешь, почему? А ночью вдруг желание жить и радость от этого воздуха, шелестения. Хорошо, думал я, что карлики с большими головами хотят жениться и пьют вино, а женщины смеются над ними, отворив окна в сад, и хорошо, что люди выходят ночью из дома и разговаривают. У меня ничего не болело. Я шел легко. Услышал, как на пустой веранде звонит телефон. Кого это в такой

час? В домике с верандой никто не жил. Летом сюда приезжает начальство, оно и провело телефон, который при мне никогда не звонил.

Я должен был спать, ничего не слышать. Чистая случайность, что я проходил мимо. Но звонили, может быть, как раз мне. Звонила, может быть, Рита. Она узнала, что я в Тохире, через Мансура, а его телефон через министерство. Сейчас там десять часов, еще не поздно. Ведь после моего звонка прошло шесть дней! Я снял трубку. Спрашивали какого-то Садыкова. Не приехал ли Садыков. Говорила женщина, и голос ее дрожал.

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, и приехал.

— Наверное, нет, если вы не знаете. Передайте же, — голос женщины задыхался, — чтобы он непременно, сразу же позвонил домой! Непременно, непременно позвонил бы домой!

Рафик что-то сделал, чем-то помог. Хотя кто его знает? Он ***говорил***, что сделал и помог, но проверить-то невозможно. Предприятие закончилось успешно, так что он имел основания приписывать успех себе, но мне почему-то казалось, что он не сказал Меченову ни слова. Кирилл говорил, что Меченов гонял его зверски, не отпускал тридцать минут, и «четверка» заработана честно.

Клялся, что в глазах Меченова не мелькнуло ни искры интереса, когда он подошел к столу и назвал фамилию. А Рафик каждый раз потом при встрече спрашивал: «Как там мой подопечный?» Не важно, дело сделано. Потом была Лидия Николаевна, старушка дворянского рода, готовившая по-английски, и потом появился Гартвиг, Герасим Иванович. Скоро он стал Герой. Привела его Лариса, рекомендовав как одного из лучших в Москве репетиторов по истории. Кирилл занимался с Гартвигом несколько раз, за что была уплачена солидная сумма — рублей, кажется, сорок или сорок пять. Если б из Гартвиг… Да что уж теперь говорить!

Гартвиг — человек особый. В чем-то я ему завидовал, за что-то глубоко его презирал и даже, наверное, ненавидел. Но, разумеется, и отдавал ему должное: свой предмет он знает великолепно, и, главное, знает ***то, что нужно знать***, и Кирилла натаскал здорово. Кроме того, его приятель оказался секретарем приемной комиссии. И этого секретаря, малоприятного господина с рыжей разночинской бородкой, удалось заполучить однажды на дачу к нашим знакомым в Снегири — там он надрался до положения риз, всем надоел, хозяева еле вытерпели, насилу отправили с

попутной машиной в Москву, но впоследствии это сыграло нужную роль. Все было хорошо, большое мерси и до свидания. Но Гартвиг не исчез из нашей жизни, как другие. Наоборот, он стал нам близок и дорог, как никто. Кирилл говорил: «Мы едем с Герой на водохранилище», «Гера сказал, что фильм ***туфта*** — я не пойду».

Рита говорила: «Гера достал билеты на Глюка. Ты» конечно, пас?» Гартвиг был такой человек: если он шел по улице и где-то раздавалась музыка, он должен был непременно прислушаться и объявить: «Ага, вот и товарищ Бах!», или: «Кажется, мы имеем товарища Моцарта!», или еще как-нибудь в таком же дурацком стиле, Рита при этом краснела и обращалась ко мне с укором: «Ну почему ты так невежествен в музыке? Ведь это твой большой недостаток». Она могла сказать даже более агрессивно: «Нет, ты не можешь считаться в полном смысле интеллигентом!» А я и не считаю себя таковым.

Но вовсе не потому, что я не корифей музыковедения.

Да, серьезной музыки я не понимаю, устаю от нее, а вот шлягеры и всякие джазовые мотивчики доставляв ют мне удовольствие. Даже сам их насвистываю. А на симфонической — начинаю

дремать или думать о делах, работе, всякой ерунде. Что я могу поделать? Да, недостаток, изъян, прореха духовной культуры, но зачем же постоянно меня этим корить? Боже мой, сама по себе любовь к музыке ничего не говорит о человеке! Не определяет ***человеческого***. Змеи тоже любят музыку, Есть целые нации, которые можно назвать немузыкальными, например, англичане, и, однако… Так что не на-до преувеличивать и чересчур возноситься. Можно любить музыку и быть циником.

В таком духе я раза два давал Рите отпор в присутствии Гартвига, причем нарочно нажимал на «цинизм». Я-то сразу понял, что за птица этот Гера. Он помалкивал или иронически ухмылялся, как лицо заинтересованное, и только однажды позволил себе раскрыть рот якобы шутливо и деликатно, но с достаточным ядом внутри. «Вы не с той стороны пытаетесь воздействовать на Геннадия Сергеевича, — обратился он к Рите. — Надо не упрекать его за отсутствие интереса к музыке, а, так сказать, жалеть, сострадать ему!» И рассказал некстати анекдот про Сократа и грубого человека, оскорбившего Сократа на улице. Я заметил: «Герасим Иванович, по-моему, так не принято в лучших домах Филадельфии: учить

жену, как она должна вести себя с мужем!» Он засмеялся и сказал, что это, мол, шутка. Но я не желал все сводить на шутку, нарочно принял твердый, суровый тон, и ему волей-неволей пришлось извиниться. При этом я заметил, как он и Рита переглянулись.

Гартвига я виню не за то, что он, воспользовавшись праздностью и манерой развешивать уши моей жены, а также моим легкомыслием и душевной усталостью и еще тем, что мы чересчур много недель в году были с ней в ссоре, без труда подчинил Риту какой-то своей власти. Я не принадлежу к идиотическим ревнивцам. Может быть, между ними ничего и не было. Не знаю, не хочу знать. Дело не в этом. Намекала Лариса — что само по себе показалось мне отвратительным, даже более отвратительным, чем то, на что был намек. Мы с Ритой давно и негласно установили некий кодекс взаимной независимости. Вернее, так: внутренне мы допускали полную независимость каждого. Но когда лучшая подруга намекает мужу на свою лучшую подругу! Мне было жаль Риту. Но дело совершенно не в этом. Я виню Гартвига за то, что он внес в наш дом — на почву, правда, достаточно благоприятную — свой цинизм, свою манеру все переоценивать,

переворачивать, ничем не дорожить.



Я сам не люблю голубоглазых оптимистов и всегда смотрел и смотрю на мир, на людей критически, но такое отношение к окружающим, как у Гартвига — тайная насмешливость надо всем

и вся, — приводит меня в ярость. Я становлюсь бешеным ортодоксом, мне хочется взять большую дубину и лупить по этой даровитой головке. Да, он способный тип, я знаю. Он кандидат наук, занимает хорошую должность в научном институте, что-то пишет, где-то преподает — устроен преотлично. О господи, но отчего же тогда? Ведь столько людей не устроены в этой жизни. Стремятся чего-то достичь, но не могут, не в силах. Вот тут-то и скрыт секрет Гартвига. С легкостью достигает он того, из-за чего другие бьются всю жизнь, и, добившись, может наплевать на свое достижение. Говорят, ему предлагали место заместителя директора в институте, но он отказался. А сколько кругом людей больных, одиноких, несчастных по разным причинам, умирающих в раннем возрасте! Нет, это здоровяк, каких мало. Ему тридцать семь лет, он смугл, жилист, на лыжах бегает, как эскимос, а на велосипеде гоняет по шоссе — его любимое занятие, — как истинный гонщик. Своей короткой стрижкой и черной бородкой смахивает на француза. (Говорит, что мать гречанка, а отец из обрусевших немцев.)

Одевается как попало. Чаще всего он появлялся в нашем доме в каких-то полутуристских-полуспортив-ных обносках, в лыжных штанах,

вылинявших куртках, кедах. Конечно, когда дело доходило до Глюка, он наряжался — тоже не бог весть во что: дешевенькое, купленное с ходу в универмаге. Эта часть жизни не интересовала его напрочь. Несколько раз он приходил на урок к Кириллу небритый. Однажды явился босой. По словам Ларисы, он был дважды женат на ярких женщинах, на кинозвезде и на цыганке из театра «Ромэн», танцовщице, но разошелся с обеими и сейчас живет с некоей Эсфирью, врачихой, страшненькой, но очень доброй, она разрешает ему все его чудеса. Мне он сказал: «Красивые женщины меня уж не волнуют. Этот этап я, слава богу, прошел». Не знаю, что тут было: бравада или неуклюжее заверение в том, чтобы я не беспокоился. Я, разумеется, принял последнее, почувствовал себя задетым и сказал грубо: «Но вы-то красивых женщин когда-нибудь волновали?» — «Многажды!» Вот такой фанфарон.

И при всем фанфаронстве — интеллигентнейший господин. Знает четыре языка, читает латинских авторов в подлиннике. Занимается он ранним средневековьем, историей религии. Фома Аквинский, Дунс Скот и так далее. Рита заинтересовалась — от безделья, голова-то праздная — всей этой муровиной, и иногда за ужи-нем

разыгрывались схоластические диспуты. Например, так: что более ценно — воля или разум? Рита стояла на точке зрения Фомы Аквинского — за примат разума. Приводила примеры из собственного житейского опыта. Она, кстати, считает себя в высшей степени homo sapiens. Кирилл был на стороне Дунс Скота: защищал волюнтаризм. Он говорил: «Если б не моя железная воля, разве я поступил бы в институт?»

Я их вышучивал, но на Риту это действовало мало. Она стала добывать, где могла, книги в затрепанных, мусорных переплетах — мистические, религиозные. Черт знает откуда она их выкапывала. В букинистических магазинах этот хлам, по-моему, не продается. Доставала с рук, на черном рынке. В доме стали мельтешить бородатые и очкастые юнцы, книжные маклеры, которые наряду с редкой книгой могли торгануть и какой-нибудь дефицитной ветошью, например, белыми водолазками из ГУМа с наценкой пять рублей. Милая публика! Раза два я вытурял их из дома. Рита вставала на защиту, винила меня в деспотизме и в жадности. (Все эти Леонтьевы, Бердяевы или, как я говорил, ***белибердяевы*** стоили порядочных денег, которых я дать не мог, ибо в последние полтора года мои заработки по ряду

причин уменьшились.) Но ничто не могло остановить ее: она выкручивала из хозяйственных сумм, меняла, продавала свои тряпки. В общем, тут было не увлечение, а страсть и даже, быть может, болезнь. Но в основе всего лежало не подлинное чувство, а ложное, суетное. В этом я был глубоко убежден. Однажды так ей и сказал.

Я тревожился за Кирилла — первый курс! — и вся эта болтология, валявшаяся там и сям в квартире, могла сбить его с толку. Честно говоря, я не столь тревожился, сколь ***высказывал*** тревогу, но Рита резонно заметила, что Кирилла эти книги интересуют еще меньше, чем вузовские учебники. Тогда я повысил голос: «Прекрасно! И ты, вместо того чтобы изменить такое положение, отвлечь парня от девочек и магов и привлечь к учебникам, сама занимаешься черт знает чем». — «Я ничем дурным не занимаюсь, мое чтение никого не касается и вообще — что ты сходишь с ума?» Я сказал, что мне все это глубоко антипатично. Что ее псевдорелигиозность есть лицемерие и обман, что первой заповедью всякой религии — и уж тем более веры Христовой — есть любовь к ближним. А где она? Равнодушие, бегство из дома, книжное тщеславие. Муж заброшен, сын растет как трава. И — климакс,

матушка, климакс. Не Фома Аквинский, а пешие прогулки и холодные обтирания по утрам.

Но и такие прямые удары не действовали. Наше отчуждение и взаимная холодность все увеличивались. Несколько раз, прочитав через силу какие-то из старых книжонок, вернее не прочитав, а перелистав, потому что дочитать до конца ни одну из этих книг я не мог, слишком мудрено, ей-богу, через пять страниц я переставал понимать, о чем речь, а я ведь не самый большой кретин на свете; я пытался затеять спор, прочистить ей мозги: ведь все это так безумно далеко от нас, от наших истинных сложностей и загадок! Писано красиво и когда-то, может быть, волновало, мучило, угадывались прозрения, читались пророческие слова на пиру Валтасара, но ничего ведь не угадалось, не прозрилось, и чтение таких книг теперь — ненужная роскошь, все равно что держать дома арабского скакуна. Куда поеду на арабском скакуне? В молочную бутылки сдавать? Или в прачечную за бельем? Не нужна мне сия высокоумность, абсолютно не нужна, а те, кто говорят, что им нужна, — мошенники. Однажды был такой разговор, с Ритой: «Ну, что ты вычитала в этой книге? Чем обогатилась?» В тот день она чем-то особенно меня раздражала,

я так и рвался в бой. Рита сидела в своем любимом кресле под торшером, курила сигарету и только что отговорила с кем-то битый час по телефону. Затянувшись дымом и глядя на меня с необычной внимательностью, она сказала: «Чем обогатилась? Хотя бы тем, что лучше узнала твой характер. Как раз сегодня читала у одного автора о вечно бабьем в русской душе». Я расхохотался: «Вот здорово! Ну, ну поподробней». Она стала молоть вздор насчет того, что я чему-то покорствую, подчиняюсь обстоятельствам — «среда заедает», — что то, чем я занимаюсь, есть адаптация к условиям существования и я понимаю это умом, но не имею сил восстать против собственного образа жизни. По причине женственной слабости характера. И еще потому, что благодаря дуализму моей души во мне отсутствует нравственная самодисциплина. Сначала я слушал усмехаясь, потом разозлился.

«А ты, матушка, неблагодарна, — сказал я. — Я изнуряю мозг, занимаюсь черной работой, перевожу всех подряд — для чего? Для того, чтобы ты сидела в кресле, курила «кент» и говорила мне гадости? Если тебя так точит нравственное чувство, почему бы не пойти работать в наше домоуправление — там нужен экономист с окладом

восемьдесят рублей...» — «Кажется, это попрек куском хлеба?» — спросила она. Я махнул рукой и ушел. Не то что объясниться, даже поспорить по-настоящему стало трудно.

Зато с Гартвигом, когда тот появлялся у нас, была оживленна, многословна, хохотала, спорила, и мне кое-что перепадало: при нем она делалась со мной приветлива и даже назвала как-то раз Геночкой, от чего я давно отвык. Началось новое увлечение: прогулки пешие, на велосипеде, на лыжах — с Гартвигом. Я сам рекомендовал когда-то. Сначала они меня приглашали. Я раз-два увязывался, но было так-то тягостно и тяжеловато. Гартвиг в шортах — даже в октябре, подлец, щеголял черными волосатыми ногами! — скакал по кочкам, как лось. Рита, задыхаясь, поспешала за ним, а мне такая гонка была не по нраву. Бог с ними, оставил их и себя на произвол судьбы.

То они в Загорск, то в Суздаль, то на Святые Горы. И все поближе к монахам, к старине. То где-то под Москвой нашли церквушку, познакомились с попом, и тот разрешал Гартвигу забираться на колокольню и звонить. И Кирилла таскали туда, тоже звонил. Все это, конечно, было вздором, причудами полусладкой жизни и меня не так смущало или коробило, как попросту удивляло.

Ведь была когда-то активной профсоюзницей в институте коммунального хозяйства!

Нет, конечно, никакой верой в настоящем смысле тут и не пахло, а вот так: томление духа и катастрофическое безделье. И даже, пожалуй, мода. Все эти книжонки, монастыри, путешествия по «святым местам» на собственных «Волгах» сделались модой и оттого пошлостью. Раньше все скопом на Рижское взморье валили, а нынче по монастырям. Ах, иконостас! Ах, какой нам дед встретился в одной деревеньке! А самовары? Иконы? Как придешь к какому-нибудь провизору или художнику, зарабатывающему на хлеб рисованием агитплакатиков, обязательно у них иконы торчат, и чай пьют из самовара, настоящего тульского, отысканного за большие деньги в комиссионке.

Все, друзья мои, благородно, прекрасно, любите красоту, взыскуйте града, а только вот — с любовью к ближнему как? Бабушку свою старенькую, которая в деревне горбатится, не забыли? Жену в тяжкую минуту не бросите или, наоборот, мужа? А то ведь старичок с бородой, который на черной доске в столовой висит, над сервантом, одно велит: добро делайте. Ну, и как с ним, с добром?

Нельзя ей было с работы уходить. Потому что

если нет людей вокруг — и добро делать некому. Впрочем, и зло тоже. Все равно нельзя.

Но Гартвиг — то особь статья. О каком же добре речь! Главное, что сидело в нем, в сердцевине, — взор ледяной, изучающий. Кроме древностей, отцов церкви, интересовался он и современными делами: писал что-то по вопросам социологии. Связывал как-то старину и современность, не знаю уж как. Он и веру, и древность, красоту, музыку, людей кругом себя трогал с одинаковым ледяным рвением — изучал. Не просто узнавал, а ***изучал***, то есть до последней капли, до дна. И куда другие заглянуть не решатся, он заглянет, не смутится ничем. Это я сразу в нем почувствовал. Истинный ученый, такие только и добиваются и творят. Но — подальше от них. И женщина для него экспонат и добрые знакомые — объекты для изучения, вроде какого-нибудь мураша или лягушки.

Раза два я на себе это почуял всей кожей, и надо сказать: приятного мало. Сидели вдвоем в ожидании Риты, разговаривали, он больше спрашивал, причем почтительно, с уважением и, я бы даже сказал, искательно, как мог бы спрашивать ученик у профессора, а я отвечал. И, растаявши от его почтительности, отвечал охотно и с подробностя-

ми. Интересовался он разными пустяками моего быта и моей работы: когда встаю, какие газеты читаю, пользуюсь ли словарем синонимов, каковы мои отношения с редакторами и авторами, которых перевожу? Еще что-то о кино, о том, как отдыхаю, куда люблю ездить.

Я вообще человек бесхитростный, стал разъяснять, ничтоже сумняся, давать мудрые советы, а потом меня вдруг ударило: господи, да ведь он меня ***изучает***! Он же на меня досье заводит! Нет, не в вульгарном смысле, а именно — в научном, для каких-то своих специальных работ и целей. Для своего домашнего «хобби». Придет домой и настрочит целую тетрадь. «Такой-то, такой-то, 48 лет. Тип: средний интеллигент конца шестидесятых годов. Род: литературный пролетарий. Вид: из неудачников, умеющих устраиваться. Встает в восемь утра. Газеты читает после завтрака, состоящего обычно из яйца, сваренного «в мешочек», ломтика хлеба с сыром и большой чашки чрезвычайно крепкого чая. Любит пить чай всегда из одной, так называемой любимой чашки. Это крупных размеров посуда вместимостью в полтора стакана, расписная, темно-красная с золотом, дулевского завода. В газетах наибольшее впечатление производят статьи, касающиеся работы

коллег по перу, хвалебные или ругательные. Особенно ругательные. Поднимают настроение. Хочется работать…»

Я сказал, что он расспрашивает меня, как доктор — пациента. Не рассказать ли, каков у меня стул? И как я исполняю супружеские обязанности? Он серьезно сказал: это было бы интересно! Затем заметил, что действительно в разговорах с людьми старается получать как можно больше информации. Ничего другого не остается. Ведь наши обыкновенные беседы, сказал он, не выходят за рамки пустой болтовни, передачи слухов, анекдотов и перемывания косточек общим знакомым. Вместо обмена мыслями мы обмениваемся слухами. Конечно, не преминул блеснуть ученостью, вспомнил Сократа, перипатетиков и прочую древность, где, видно, чувствовал себя как рыба в воде. И только спустя некоторое время я понял, что меня обхамили. Значит, в разговорах со мной он не надеется приобрести никаких ***мыслей***, только лишь ***информацию***, причем все равно какую, на худой конец даже копеечную! С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я вспомнил, как однажды он расспрашивал меня, где я сшил костюм, и почем стоит, и где куплен материал. И я, идиот, объяснял ему добросовестнейшим

образом! В этой манере было не только пренебрежение к собеседнику, но и главная гартвигсвская черта — его циническое стремление приобретать, поглощать, ничего не давая. Делиться своими мыслями и знаниями с людьми, которых он считал ниже себя и бесполезными для себя, он не желал, не умел, он хотел только обогащаться.

Беда в том, что я сопоставляю факты с опозданием. Когда я понял, что обхамлен — и обхамливаюсь постоянно: молчанием, улыбками, деликатными разговорами о пустяках, — мне захотелось при первом удобном случае обрушиться на наглеца с громовой речью и сказать ему однажды всю правду, чтобы он не зазнавался. Сказать, что мы с ним не равновеликие величины. Что наш жизненный опыт несравним. Я не успел прочитать так много книг и вызубрить иностранные языки потому, что жил в другое время: работал с малых лет, воевал, бедствовал. Не приписывайте себе чужих заслуг — они принадлежат времени. Мы сдавали другие экзамены. И вообще, ну вас к черту, научитесь уважать людей! Нр удобного случая никак не подворачивалось. Речь моя кипела, кипела, так и вышла вся паром.

Кажется, он сам ощущал недостаток опыта жизни. Отсюда его знаменитые бегства — то что

так поражало людей, мало его знающих, и нравилось женщинам. В основе своей эти бегства были не романтического свойства, а умозрительного. Чистейший рационализм и все то же стремление — изучать. Он мог неожиданно уйти из института (взять академический отпуск), уехать в Одессу, поступить матросом на торговый корабль и на долгое время исчезнуть из жизни своих друзей и близких. Правда, это было в период его холостячества, между цыганкой и Эсфирью. Но в другое лето, уже во времена Эсфири, он два месяца бродил по Украине, работал, где косарем, где сборщиком яблок, дорожным рабочим. Рита восхищалась этими подвигами, которые знала по рассказам гартвиговских приятелей. «Вот это я понимаю, мужчина! — говорила она. — Представляю себе тебя в роли матроса или землекопа. Да ты через два дня ноги протянешь». Конечно, протяну. И сомнений нет. Ну, а зачем это нужно: копать землю и таскать мешки человеку, знающему четыре языка? Польза, мне кажется, невелика. О, господи, как же я не понимаю? Ведь тут самоутверждение. Свободный выбор. Это нужно не обществу, а — личности.

Пускай самоутверждение, хорошо, соглашался я, но какова его природа? Комплекс неполноцен-

ности. Не хватает опыта жизни и творческого накала. А когда нетворческий человек пытается творить, он заменяет акт творчества чем попало — чаще всего ничтожными домашними революциями. Внушает себе уважение к самому себе. Ну, а дальше? Ведь обществу, окружающим от этих геройств не холодно и не жарко. Только бедная Эсфирь страдает и ребеночек отвыкает от отца. Обыкновенный цинизм в благородной упаковке: потому что наплевать на всех, кроме себя. Захотел удрать от вас от всех на полгода — хоть матросом, хоть куда — удрал, и до свиданья.

Но Рита мечтательно говорила, что все это не так просто, что надо, мол, решиться, надо перешагнуть. И смотрела на меня с видом тайного превосходства и некоторого сожаления, как на пропащего человека, который никогда не сможет перешагнуть. Чужая глупость бывает иногда ослепительно прекрасна. Мне была совершенно ясна бессмыслица гартвиговских авантюр, но иные интеллигенты, и в особенности дамы с воспаленным воображением, были от них без ума. Говорят, его так ласкали, когда он возвращался! Такие пиры закатывались в его честь! Рита утверждала, что тут какой-то протест и своего рода кому-то вызов. Какой протест? Кому, прости

господи, вызов? Эсфири? Ну, скажем, вызов тому положению, которое сложилось в институте. Но, матушка моя, его положение в институте отменно, лучшего и желать нельзя, если ему разрешают пропадать на полгода. Ах, он брал отпуск по болезни, у него что-то с желудком, гастриты, язвы? Значит, пользовался льготами как больной и при этом работал матросом? Талантливый молодой человек. Пойдет далеко.

В результате оказалось, что я недобр, в чем-то ограничен и не могу стать выше своих личных неприязней.

Зимою он вдруг явился к нам в телогрейке, валенках и сказал, что уезжает на месяц в Калининскую область: завербовался в артель лесорубов. Говорят, интересный народ эти лесорубы. Пощупать их психологию. И тут у Риты возникла идея. Наша домработница Нюра была родом из Калининской области, района Торжка, где в деревне осталась жить ее тетка, старуха — единственный родной человек Нюры, мать ее умерла в войну в голодное время, отец и брат погибли на фронте, — и вот Рита попросила Гартвига, чтобы тот отвез Нюриной тете Глаше, которую мы все знали по письмам, московские подарки: конфеты, апельсины и маленький транзисторный приемник. Рита

очень любила Нюру. Потом-то выяснилось, что эта любовь имеет границы, но тогда еще об этом не догадывались. Нюра работала у нас лет десять, пришла, когда Кирилл был первоклассником. К Кириллу она была привязана необычайно. Идея Риты заключалась в том, чтобы выпросить у тети Глаши — взамен транзистора — одну-две иконки. Было известно, что тетя Глаша набожна, иконы у нее есть, остались от матери, Нюриной бабки, и она ими дорожит, но если Нюра напишет, что больна и иконы для нее единственная надежда, тетя Глаша может сжалиться и уступить.

Рите очень хотелось повесить дома две-три иконы. Она и место им приготовила: на фоне розоватой стены, рядом с большой репродукцией Пикассо. А то Рита чувствовала себя обездоленной. Ее подруги уже сумели раздобыться иконами, а Лариса, которая в общем-то малоинтеллигентна, не читала ученых книг, просто ограбила своих деревенских родственников и привезла целую коллекцию — шесть досок, среди которых была одна безусловно старинная, северного письма. Гартвиг определил семнадцатый век, сказал, что вещь музейная, можно взять за нее большие деньги. Везучая эта Лариса! Всегда ей все так и плывет в руки.

Нюра написала тетке письмо, отдали Гартвигу, тот вернулся в январе с двумя иконами. Одна была никудышная, ширпотреб, другая — ничего, лет полтораста. Рита повесила обе на розовой стене рядом с Пикассо. Потом дешевую, яркую Нюра выпросила для себя: она на самом деле заболела и думала, что икона поможет. Но старинная доска продолжала висеть в столовой, и все, кто приходил к нам, изумлялись ее черноте и говорили с видом знатоков: «О, чудесная вещь!»

Между тем Нюра заболела всерьез. Я что-то слышал о ее болезни и раньше, но толком не знал, чем она больна. Нюра была в ведомстве Риты. Я знал лишь то, что когда в доме Нюра или какая-либо другая женщина, ведущая хозяйство, устанавливается покой и можно работать. Рита не выносит домашней возни. Больше недели одна, без помощницы, не выдерживает. До появления Нюры, когда наш обалдуй был милым маленьким карапузом и требовал гуляний, стирки и прочего обихода, эта проблема — домашней работницы — была острейшей, даже более острой, чем проблема моих заработков. Я ведь долгое время зарабатывал неравномерно, приходилось уезжать надолго в командировки, чтобы подмолотить погуще и облегчить семью,

сам-то как-нибудь перебьюсь, но и им без меня проще. И до рубля доходили.

И так бывало, что Кириллу не на что молока купить. И все же помощницы в доме были всегда.

Без них Рита просто не справлялась — работала она тогда далеко, в Останкине, уезжала в половине восьмого, возвращалась поздно, — но и с помощницами не ладилось. Почему-то Рита ссорилась с ними постоянно. Иная трех дней не проработает, а Рита уже стонет: «Не могу ее видеть! Рассчитай завтра же, умоляю тебя...» Я, конечно, понимал, что с этими пожилыми неудачницами, тайными злыднями, одинокими и обнищавшими старухами, молодыми дурами, полными пустых надежд — профессия-то вымирающая, — ладить не просто, но выхода не было. Я говорил Рите: «Заткни свое раздражение куда-нибудь подальше! Ведь тебе же будет хуже. Ты не можешь одна. Это уже доказано. Поэтому — прикуси язык...» Доводы логики не доходили. Какие живописные персонажи появлялись у нас в доме! Каким странным личностям доверялся наш безответный Кирка! Была одна пухлая, пунцоволицая пожилая матрона, которая почему-то твердо считала, что я могу оставить Риту ради нее, но только вот она колебалась. Была одна

одесситка с длинным, усатым лицом, которая всегда лопотала настолько бессвязно, что ее не мог понять ни один человек. Муж пунцоволицей попал за что-то в тюрьму на десять лет, а все родные одесситки погибли. Была одна тишайшая старуха, землисто-серая голубица, которая вдруг среди ночи вошла в комнату, где мы спали с Ритой, и, остановившись в дверях, на нас смотрела: ради этого мига и нанималась. Было несколько удивительных скандалисток. Мне хотелось напечатать объявление и повесить на дверях: «Здесь всегда нужна домработница».

Однажды пришла женщина с лицом бледной, стеариновой желтизны, закутанная, как бабка, бессловесная, безулыбчивая, но глаза сияли ясно, голубо. Разговаривала едва слышно, двигалась медленно. Было Нюре всего тридцать два, но выглядела она лет на сорок пять: в волосах седина, лицо опавшее, зубов нет и почти глухая. Про себя говорила горделиво: «Я вся скрозь гнилая». Здоровье и зубы потеряла во время войны, в голодуху, когда кору ели. Работала Нюра не хуже, чем другие, только помедленней, зато молчком, тишком: ничего не слышала и других не раздражала.

Была она девица, и теперь уж, конечно, без надежды. Кто такую убогую да глухню возьмет?

Правда, деньги у нее водились, кое-что подкопила за восемь лет работы «по домам», да еще пенсия ежемесячная как инвалиду, рублей тридцать. С этой пенсией приходилось неустанно хитрить, чтобы не потерять ее, милую. В группкоме домашних работниц, где Рита заключала с Нюрой договор, не должны были знать про пенсию: иначе не позволили бы заключить договор, а без договора Нюре было никак нельзя, потому что теряла временную прописку. Прописка же была необходима, ибо Нюра надеялась когда-нибудь (болтали: через десять лет) получить право на постоянную жилплощадь в Москве. А с другой стороны, в отделе, где дают пенсии, ни за что не должны были знать про то, что Нюра работает в домашних работницах: сразу бы пенсию долой. Вот и вертись. Но Нюра давно уже знала, что никто за нее не исхитрится и не вырвет нужное ей для жизни — не было таких людей, все померли, а новых не ожидалось, — и она уж сама исхитрялась, помогала себе изо всех сил.

Рита считала ее хитрой и умеющей жить. Но, боже мой, какая уж тут хитрость! Давнишний голод, изгрызший молодую жизнь и отнявший сестру, брата и мать, до сих пор сидел в этой женщине непобедимой памятью и тайным страхом.

Иногда я замечал это во время обеда, когда чересчур медлительно и как бы нехотя протягивалась рука к хлебу, или же, перетирая своим старушечьим ртом мясо, Нюра хсмотрела не отрываясь на другие куски мяса, лежавшие в общем блюде. И что-то в глазах тлело старое, против чего она сама была бессильна. Десятка два лет прошло с той голодухи. Нюра осталась одна одиннадцати лет, не понимала, как жить, и тут ее обманула тетка Шура, жена отцова брата: приехала из соседней деревни в Нюрину избу за тем будто, чтоб сиротку обеспечить, да так и завладела избой и Нюру выставила. С этой теткой и ее родней Нюра не желала иметь никаких сношений, хотя тетя Шура, бессовестная, мучила ее письмами, то просила прислать сахару, то еще чего-нибудь, и все жаловалась на жизнь, как трудно корову держать, нанимать косарей. Письма с просьбами от тети Шуры вносили в наш дом волнение: Нюра советовалась, как быть? Рита говорила: «Не смейте ей ничего посылать! Как вам не стыдно? Я не буду вас уважать. Она — сволочь, она вас ограбила». Нюра кивала: «Верно, верно, Маргарита Николаевна, сволочь она, ой, такая женщина нехорошая». Решала ничего не слать и даже не отвечать на письмо. Но проходило дня два или

три, и Рита замечала, что Нюра что-то зашивает в холстинку. «Вы что же, собираете посылку тетке Шуре?» — «А ну ее к лешему! — Нюра вдруг улыбалась, прикрывая беззубый рот ладонью. — Я хоть в Москве живу, по улицам гуляю. А она чего видит, дура старая?»

Но другую родную тетку, сестру матери — Глашу, Нюра любила и переписывалась с ней с удовольствием. Та была совсем бедная старуха, жившая у чужих людей в прислугах в поселке Кувшиново. Из родной избы ее тоже выперли, хотя и не силой, а так сделали, что жить стало невозможно. Варвара сделала, невестка, жена сына Петра. И только незадолго до того, как Гартвиг повез ей гостинцы и транзистор, тетя Глаша после семи лет работы в прислугах вернулась по просьбе Варвары из Кувшинова в деревню: второй сын народился, нянчить некому. Тетя Глаша, хоть и бедная и обиженная судьбой, никогда ничего у Нюры не просила и, наоборот, сама, как могла, старалась Нюру ободрить. Вскоре после того, как Гартвиг отправился в калининские леса, Нюра получила от тетки Глаши письмо, где та просила разрешения называть Нюру дочкой: «Знаю что живешь ты адинока и невидеш материнской ласки дорогая доченька…»

Потом были письма с благодарностью за подарки, тревогой из-за Нюриной болезни — подробности болезни надиктовала Рита — и с жалобами насчет икон, которые тетя Глаша никак не решалась оторвать от души. Да еще невестка, Варька, заедала, сын молчал, никакого утешения. Куда ж ей без икон? Тетя Глаша уже жалела о том, что перешла от чужих людей в дом к сыну: «Очень скандалим мне негде свои тряпки положит куда что положу и все не так».

Перед Новым годом там случилась беда: сын Петр внезапно умер. Письма тети Глаши, извещавшие об этом, запомнились хорошо, потому что Нюра много раз просила читать их вслух. Сама Нюра, хоть и грамотная, с трудом разбирала теткины каракули. Та писала, что сын умер 23-го, а хоронили 26 декабря, ни одного дня не лежал и, конечно, помогла водка. Приехал другой сын тети Глаши, Виктор, они выпили в пивнушке и «вониво стало плохо сердцем и навулицы умер находу заключение врача что вниво сколороз ета болезнь очень опасная Нюра вот такие дела невеселыи очень жаль так плакала что сама помечтала что буду жыва». Дальше были проклятия по адресу невестки, которая не захотела, чтобы Виктор и Петр пили водку дома, прогнала их,

всегда прогоняла с водкой, и дело кончилось так печально.

Эта смерть решила судьбу икон. Тетя Глаша не желала, чтоб иконы попали в руки невестки. Про себя думала, что скоро умрет. В другом письме писала, как ездила куда-то, где жили лесорубы, нашла Герасима Ивановича и отдала ему две иконы, а себе оставила одну маленькую, Григория Чудотворца. После похорон тетя Глаша сразу ушла жить к людям, потому что не могла слышать, как Варвара с первого дня стала толковать про женихов. «Нюра вот какие дела неочень хорошые просто никак ни-магу сама себя вруки взять чтобы неплакать намогилочку хожу каждое воскресенье и так плачу пока кто свалакет смагилы». А злыдня, Варвара, которой сыночек поддался, конечно, и не охнет, на могилочку не ходит и «веселая как лошадь рьжот».

Зачем все это застряло в памяти: Нюра, навсегда исчезнувшая, ее неведомая тетка, какая-то невестка, чья-то смерть? Но ведь все вместе и еще много другого, такого же чужого, нанесенного издалека — казалось бы, чужого! — и составляет громадную нелепицу, вроде нескладно сложенного стога сена, мою жизнь. Одна сухая травинка цепляется за другую, другая громоздится на тре-

тью. Все связано, сцеплено, висит, лежит, трется, шуршит друг на друге. Не приехал бы некий Виктор в гости к брату, тот не выпил бы лишку и не умер, тетя Глаша не отдала бы иконы, Гартвиг их не привез бы, Нюра не стала бы просить старую икону в больницу как раз в тот момент, когда приятели Кирилла взяли его за бока, и не случилось бы всего остального, в результате чего я сижу ночью в саду, так далеко от своего несуществующего дома. Наверное, никакая боль в мире не проходит бесследно ни для кого. Но дело не в этом. Она не должна была уходить с работы тогда, пять лет назад, ибо праздный человек теряет равновесие.

Гартвиг приехал с перевязанной рукой: повредил на лесоповале. Вид у него был живописный, к тому же вместо маленькой французской бородки он отпустил большую мужицкую бороду и стал похож на разночинца семидесятых годов. Я спросил, зачем он занимался этим вздором? Он сказал, что хотел узнать, что за штука лесоповал. Много слышал о лесоповале.

Тут я заметил — признаюсь, с ехидцей, а это я умею, — намекая на его перевязанную руку, что он сочетает в себе сразу два образа — Печорина и Грушницкого, этакий ***Грушчорин***. Он серьезно

спросил: «Печорин и Грушницкий? Это, кажется, из Тургенева?» Я расхохотался и напомнил ему, что из незабвенного «Героя нашего времени». Он был смущен. В тот же день я не без злорадства рассказал об этом позорном случае Рите, она даже не нашлась, что ответить, и только смотрела на меня, улыбаясь, и кивала. «Вот что значит начитаться всякой дребедени!» Она молчала. Когда-то ударялась в амбицию, спорила со мной из-за каждого пустяка, теперь же новый метод — молчание. Но дело совершенно не в этом.

Зима была трудной. Я плохо зарабатывал, было туго с заказами, и я болел. Рафик потерял ко мне интерес, не знаю уж почему. За всю зиму я не получил у него ни одного гонорара. Я встречал его в клубе в компании малознакомых мне молодых субъектов, переводчиков новой формации, людей деловых, прытких, умеющих работать с быстротой и размахом. Некоторые из них знали по три, четыре языка, но это не меняло их сути. Молодые дельцы! У них не было прошлого, смутного от несостоявшихся надежд. С младых ногтей они приступили к делу. И, кроме того, были жилисты, как лошади, с отличным давлением, крепкими зубами. Они могли пить водку до утра, разговаривать о футболе часами (а Рафику

только того и надо!) и вообще были мастера на все руки. Один раз в издательстве я столкнулся с Рафиком в коридоре, поздоровался с ним, он мне даже не ответил — прошел мимо важный, как гарь иудейский. Когда у человека наступает полоса невезения и он, как говорят, сбивается с панталыку, — кому какое дело! Вылезай сам.

Впрочем, ничего ужасного в моей жизни не происходило. То же, что бывало временами у всех — болезни, неудачи, какое-то разжижение духа. В такие минуты как раз и нужно то, о чем я говорил — близость близких. Рита была занята своей жизнью, Кирилл — своей. Зимнюю сессию он одолел «еле можахом», с хвостами, затевал разговор об академическом отпуске, даже пошел без моего ведома в поликлинику, надеясь получить у врачей справку для отпуска, но там ему намылили шею. Он клянчил у меня деньги, я жадничал, он злился, оскорблялся, как взрослый, бросался к матери, но у Риты не очень-то разживешься, и тогда он тайком просил у Нюры, и она давала. Мы долго не знали об этом.

Когда узнали случайно, я пришел в ярость. «И ты, подонок, — кричал я, — можешь обирать бедную женщину. Только потому, что она к тебе привязана?» Он с невозмутимостью ответил,

что никого не обирает, а лишь занимает деньги, отдает их в срок и даже с процентами: на каждые десять рублей по плитке шоколада. Это поразило меня совершенно. Откуда берутся деньги, чтобы отдавать долги? Оказывается, он уже больше года — с тех пор как участвует в качестве гитариста в битлгруппе «Титаны» — зарабатывает деньги, и не такие уж маленькие, за выступления на школьных балах, вечеринках и свадьбах. Мне-то казалось, что это делалось ради искусства и новых знакомств с девочками. Ан нет! Сколько же он заработал, хотелось бы знать? Он добросовестно подсчитывал, морща свой чистый девический лобик. Двести двадцать примерно. От весны до начала зимы.

«И ты имел наглость просить у меня какие-то рубли и трешницы?» Что ж, доходишь и до рубля. Деньги разлетаются быстро, сам должен знать. Мокасины, брюки с поясом — вот уже сотня. А синий пиджак с алюминиевыми пуговицами? А в Ленинград ездил в ноябре — неужели па ту тридцатку, что дала мама? Я строжайше запретил занимать у Нюры. Сказал, что это почти то же, что быть «альфонсом», эксплуатировать женскую любовь. Он сконфузился, но попросил у меня пятьдесят рублей до февраля, когда с ними

обещал расплатиться какой-то заводской клуб. Свободных денег не было. Я дал ему пять рублей.

Ах, боже мой, не надо искать сложных причин! Все натянулось и треснуло оттого, что внезапно напрягся быт. Современный брак — нежнейшая организация. Идея легкой разлуки — ***попробовать все сначала, пока еще не поздно***, — постоянно витает в воздухе, как давняя мечта совершить, например, кругосветное путешествие или проплыть однажды на теплоходе «Победа» из Одессы в Батуми. За двадцать лет, что я прожил с Ритой, не было, наверное, ни одной недели, чтобы я так или иначе не касался мыслями этой темы. Не всегда прорезывалось на поверхность, но где-то внутри, как догадка и тайное утешение, существовала всегда. Когда сидишь в битком набитом театре в духоте, приятно сознавать, что над одной из дверей, прикрытых зеленой портьерой, горят буквы: «Запасный выход». В любую минуту можешь встать с кресла и направиться к этим буквам. И выйти на улицу, на воздух, и, пользуясь тем, что вечер лишь начинается, отправиться куда угодно — в ресторан, к приятелю. Но мы очень редко выходим из зала раньше времени. Только когда пьеса уж чересчур ужасна или духота смертельно невыносима. Билеты куплены,

и, кроме того, — неохота подниматься с места и идти по рядам, переступая через чьи-то ноги, под осуждающими взглядами зала. Но сознание возможности ***в любую минуту*** — отрадно, и оно должно быть, чтобы легче дышалось. Говорят, в каждом человеке, даже совершенно здоровом, сидит бацилла туберкулеза, но нужны особые условия, чтобы бацилла дала рост и процесс начался. Идея разлуки сидит потаенно в каждом, как дремлющая бацилла. Не надо спорить, это истина. Загляните в себя.

Нет, история с Нюрой не могла быть причиной, она была лишь последней простудой, которая ввергла меня в болезнь, в пожар. Однажды пришла женщина, сказала, что хочет видеть Анну Федосеевну — Нюру, — заперлась с нею на кухне, долго о чем-то говорили, потом женщина вышла к Рите и сказала, что забирает Нюру на месяц в больницу, в психиатрическую. Ничего страшного, особый вид шизофрении. Оказывается, Нюра давно уже на учете, а мы не знали.

Без Нюры стало худо. Все трое мы люди безалаберные, обедали как попало, квартира пришла в запустение. Рита то и дело ложилась с грелкой или с компрессом и говорила, что — все, выдохлась окончательно. Но без Нюры было худо еще

вот почему: эта бессловесная, глухая женщина непонятным образом умела нас мирить. Придет, сядет, скажет что-нибудь пустяковое, но не без смысла и — раздражение улетучится, обида пройдет. Была в ней преданность, и это истинное чувство, ничем не разбавленное, действовало, наверно, так сильно. Как-то мы с Ритой здорово поссорились, я грозил, что уйду, брошу всех ко всем чертям — было давно, когда еще страсти кипели и все принималось близко к сердцу, — потом примирились, забылось, прошло, и вдруг вижу: Нюра на кухне плачет. В чем дело? «Маргарита Николаевна сказала, что вы нас покинете. Как же она жить будет?» — «А как все, милая Нюра. Работать пойдет. Она женщина вполне здоровая, здоровей вас». Нюра, закусив губы, качала головой и, не слыша моих слов, шептала: «Я себе место найду, не пропаду, а Маргарите Николаевне как же?»

Иногда вечерами Нюра приходила в комнату, садилась в угол и глядела на Риту: как та что-нибудь шьет, читает или пишет. Просто глядела и улыбалась молча.

Года три назад, когда с деньгами было особенно туго, да и Кирилл подрос, решили с Нюрой расстаться. Ну, что делать: из месяца в месяц

задалживаем зарплату! Нюра выслушала спокойно, но вечером опять видел, как тихонько плачет на кухне, сидя на своей раскладушке. А на другой день сказала, что готова работать у нас бесплатно до той поры, когда появятся деньги. И вот ушло это существо, которое так странно цементировало дом. Ведь все мы расползались в разные стороны, каждый в свою комнату, к своим делам и тайнам, своему молчанию, и только она была подлинным ***домом***, хранительницей плиты, очага.

Но и у нее не было никого, кроме нас. И для нее наша разрозненная троица была единственным человечьим теплом, к которому она тянулась и потерять которое страшилась.

Нюра писала из больницы письма: «Дарагая Маргарита Николаевна с «чистосердечным приветом к вам...» В палате было четырнадцать человек. Нюре все нравилось: доктора, сестры, еда, ее кровать, третья от окна, и окно с видом на набережную. Иногда по ее просьбе звонила из больницы сестра — Нюра в телефон ничего не слышала — и задавала вопросы: что у нас нового, как себя чувствует Маргарита Николаевна, приносили ли белье из прачечной? Зачем-то ей было нужно. То тепло, от которого она не могла

отстать. «Аннушка спрашивает, не забыли ли оттаять холодильник?» Рита жалела Нюру. Раза три ездила к ней в больницу, возила фрукты. Врачи сказали, что болезнь у Нюры с трудом излечимая, но прогрессировать не будет и для окружающих неопасная. Сказали, что Нюра вполне может делать нетяжелую домашнюю работу, может вязать, шить и клеить, например, елочные игрушки из бумаги. Нюра попросила Риту, чтоб та прислала в больницу старую икону, и Рита, хотя и расстроилась, поручила Кириллу отвезти. Пожалуй, это был подвиг. Никто не ожидал. Сначала были муки жадности и колебания совести, но потом Рита стала гордиться и рассказывать всем знакомым, что отдала больной домработнице лучшую вещь, украшение дома: безумно жаль, но что делать. Там, в обители страдания, она нужнее, чем на розовой стене рядом с Пикассо. И — надо ***делать добро***, а не только читать о нем в умных книжках. При этом как-то забывалось, что драгоценность принадлежит Нюре.

Гартвиг был возмущен: «Как можно отдавать музейную вещь? Надо было отдать ту, палехскую, какая ей разница?» Но Нюра требовала именно старую икону. Суть выяснилась после, а тогда мы лишь удивлялись настойчивости, с какой она

просила, — скорее, скорее! — чтоб ей прислали икону, точно редкое лекарство, от которого зависело выздоровление.

В начале марта позвонила врач из больницы, некая Радда Юльевна, и сказала, что может нас обрадовать: Аннушке стало лучше и к женскому празднику ее выпишут. Только вот — куда? Свободно ли у нас место? Никого не взяли? Мы никого не взяли. Рита обрадованно кричала в трубку: «Конечно, что вы, как же можно! Ждем не дождемся!» Радда Юльевна обещала о точной дате выписки сообщить позднее, числа пятого. Но позвонила на другой день. Тем временем Рита слегка опомнилась и сообразила: разве ее жизнь станет легче, если в доме появится больной или полубольной человек? Ну, хорошо, нетяжелая домашняя работа, понемногу готовка, магазины, но ведь, как ни крути, она психически неполноценна, могут быть обострения, в любой день снова больница… Тут мы все призадумались. Рита советовалась с Ларисой. Та сказала: обождать, не пороть горячки. Пусть вылечат как следует и дадут гарантию. А то они рады выписывать, лишь бы с рук сбыть. И когда Радда Юльевна позвонила второй раз, Рита ей высказала — по глупости, откровенно — некоторые свои сомне-

ния и насчет гарантии тоже, что Радду Юльевну крайне раздражило. Она сказала, что не ожидала таких разговоров, что все это ее изумляет, и когда Рита, продолжая гнуть свою линию глупейшей откровенности — она бывала иногда ужасно недальновидна и неуклюжа! — сказала, что боится за себя, за то, что не хватит пороха ухаживать за больной и что ей бы самой хотелось, чтобы за нею кто-нибудь поухаживал, Радда Юльевна грубо прервала ее и попросила к телефону меня.

Я услышал резкий голос, привыкший распоряжаться младшим медперсоналом: «Вы как будто человек интеллигентного труда, не так ли? Переводите литературу? Как же вы допускаете, чтобы ваша жена говорила, простите меня, такую чушь? Мы не часовая мастерская и не даем никаких гарантий. Аннушка совершенно одинока. Это вопрос вашей совести, вашего человеколюбия. По рассказам Аннушки я представляла вас совсем другими людьми, не такими, простите меня, расчетливыми и черствыми». — «Позвольте! — возразил я. — Вы не знаете ни меня, ни моей жены и на основании пятиминутного телефонного разговора…» Радда Юльевна пресекла и меня: «Извините, мне некогда вести душеспасительные беседы. Вы продумайте как следует и

позвоните мне не позже завтрашнего вечера. Я должна знать до субботы».

Трубка брякнула. Мы принялись обсуждать возникшую проблему, спорить и, как всегда, раздражаться и винить друг друга. Я говорил Рите, что она неправильно разговаривала с врачихой и все испортила, восстановив ее против нас. Рита же обвиняла меня в том, что я, по своему обыкновению, боюсь ***показаться плохим*** в глазах людей, веду себя трусливо, в результате чего плохой оказывается она. Кирилл спросил: «Она что же, будет с нами всегда?» Я сказал, что не всегда, наверное, но длительное время. Мы берем на себя ответственность. «Ну не-ет! — сказал Кирилл, помолчав. — Все-таки она нам не родственница, правда же?»

Мы все думали одинаково, но Кирилл обнаружил себя честно, а мы с Ритой еще вертелись и прятались за ело-ва, обвиняя друг друга во всех смертных грехах и не замечая за собой главного. Рита говорила: «Что вы за люди? Как можно называть Нюру чужим человеком, если она прожила в нашем доме десять лет! Ведь она любит тебя, как сына, она тебя вынянчила, здоровенного дяденьку, а ты говоришь: она нам не родственница. Да она мне ближе любой родственницы, если хотите

знать!» — «Тогда в чем дело? Возьми ее в дом!» — «Конечно, мамочка! Возьми, возьми. Ухаживай за ней, вари ей кашку, покупай молочко». Рита говорила, что мы злостные бездельники, не помогаем ей, она с ног сбилась и теперь еще мы хотим навьючить на нее больную домработницу. Я же твердил одно: «Позволь, пожалуйста, а где любовь к ближнему? Для чего ты читала книжки о божественном? Вот тебе ниспослано испытание, нужна твоя жертва — где она? А? В кусты? Сразу стали атеистами? И все это — поповские выдумки?» — «Если б у меня были другой муж и другой сын, я бы взяла эту женщину не задумываясь». Да, да. Конечно. При этом уже все было решено, она уже отделила от себя Нюру, назвала ее ***этой женщиной***. Я говорил: «А если бы у меня была другая жена, такого вопроса вообще не стояло бы. Да боже мой, сколько в простых семьях таких случаев, когда…»

Ни в четверг, ни в пятницу мы Радде Юльевне не позвонили. Не позвонил ни я, ни Рита. Мы не сговаривались. Каждый думал, что позвонил другой, имел основания так думать, но нарочно не спрашивал об этом, как бы перекладывая в случае чего вину на другого. *У* Риты, как обычно в критические минуты, «разыгралась» печень,

целый день она лежала с грелкой и с преувеличенным страхом говорила только о своей болезни и лекарствах. У меня тоже что-то болело. Кажется, сердце. И я, лежа в кабинете на диване и глотая то валидол, то валокордин, думал о том, что у нас есть некоторое оправдание: мы люди больные. Себя я считал менее виновным, ибо я болен серьезней. Нельзя же сравнивать холецистит и болезнь сердца. С холециститом живут всю жизнь, а от сердца умирают в молодом возрасте. Так что во всем этом предательстве — да, именно, небольшом, но явном предательстве, и не надо хитрить — Ритина доля вины побольше моей. И вообще она ближе к ней, чем я. Я — что? Я видел Нюру лишь по утрам, когда убирался кабинет, и не чаял, чтобы она поскорее исчезла со своими тряпками и пылесосом, и днем, за обедом. Очень редко с ней разговаривал. Да и разговаривать с глухой было трудно. А Рита — другое дело.

Поздно вечером Рита вдруг пришла в кабинет — в халате, нечесаная, с мятым, серым лицом, какое у нее бывало, когда мучила печень, — села на край дивана и смотрела на меня. Я видел, что ей худо. То ли она пришла мириться, то ли на что-то жаловаться, а может быть, ее грызла совесть. Но мне тоже было худо. Я молчал и смот-

рел на нее. «Знаешь, что я вспомнила? — сказала она. — Как мы жили в Подлескове. Кирке было лет семь. Избу нашу вспомнила. Верандочка такая маленькая, деревенская, и всегда куры залетали — помнишь?.. Нюра была молодая, только пришла к нам… А я в то лето уезжала в командировку на Север…» Я кивал. Тоже вспомнил то лето. Были еще живы отец Риты и моя мать. Рита писала нам письма с Севера. Мы все так ждали ее, и маленький Кирка ждал. Лето было наполнено ожиданием. И вот она приехала в августе, привезла белого щенка, лайку — потом он душил кур у хозяйки, — и шкуру полярного медведя, кто-то подарил в Мурманске. Я терзался догадками: кто подарил, за что? Шкура была невыделанная, скоро истлела, и ее выбросили года два назад. Больше такого августа, как тот, не было. Маленькая речонка Соня, дубовые леса с грибами. Помню: ходили однажды далеко, километров за десять, в село Городок, где была колокольня восемнадцатого века.

«А помнишь, — сказала Рита, — как в сентябре я заболела? Думали аппендицит, а оказалось, нужен срочный аборт. Повезли в районную больницу, была какая-то ужасная грязь, дожди, машина не могла подъехать, и ты с каким-то

мужиком тащил меня на руках». Я помнил и это. «Нюра оставалась с Киркой одна целую неделю, — сказала Рита. — А ведь он тогда тоже чем-то болел».

Потом она сказала: «Мне кажется, с Нюрой уйдет от нас что-то навсегда. Как ты думаешь?» Я сказал: «Да». Видел, что у нее глаза на мокром месте, но она не хотела этого показывать и ушла.

На другой день вдруг явилась Нюра. Днем. Мы садились обедать. Сказала, что отпустили на два часа: взять вещи. Размотала свой всегдашний платок, сняла пальто, валенки с галошами, сунула ноги в шлепанцы и села с нами обедать как ни в чем не бывало. На ее тусклом лице было написано громадное удовольствие. И она все время улыбалась, глядя на Риту. Опять я увидел, как медленно тянется рука к хлебнице и как в бледно-голубых глазах сияет ясное, давнее — любовь, голод, война, надежды, все вместе. Она очень жалела Риту: «Ой, Маргарита Николаевна, да как же вы без помощницы?» Рита говорила, что очень трудно. «Конечно, — сказала Нюра. — Вам человек нужен». И то, что она назвала кого-то неведомого, кто займет ее место, так спокойно и равнодушно «человек», значило, что она смирилась и ни о чем говорить не нужно. Рассказывала

про больницу, про то, что обещают какую-то еще лучшую больницу, за городом, там кругом лес и можно ходить на станцию, где есть ларьки и кое-что продают. После обеда Нюра помыла посуду, и потом еще Рита попросила ее ***вынести мусорное ведро***. Вот это ведро меня почему-то добило. У нас в доме нет мусоропровода, ведро выносим во двор, где стоят большие баки для мусора. Ежедневная проблема. Иногда мне вручался мусор, аккуратно упакованный в газетный сверток. Словом, чепуха. Не знаю, что на меня наскочило. Когда мы попрощались с Нюрой, она ушла — сначала за такси, вернулась с шофером, который потащил два узла и чемодан, Нюра была порядочная барахольщица — и мы остались одни, я вдруг стал орать: «И у тебя хватило совести посылать ее напоследок? Урвать хоть что-то? Хоть ведро, да?!» — «Какое ведро?» — спросила Рита и заплакала.

Меня охватила жгучая боль — так было впервые, я не понимал, болит ли сердце или сразило чувство стыда, какое-то отчаянье, — я ушел в кабинет и заперся. Я слышал свой крик и видел лицо Риты, побелевшее от испуга. Прошло два или три часа. В квартире стояла могильная тишина. Наконец, часов в шесть вечера, Кирилл постучал

в дверь кабинета и сказал голосом тюремного надзирателя: «Иди пить чай!» Я понял, что прощен, что дело не в ведре, не в моем срыве и крике, а в том, что когда совершается предательство — даже маленькое, — всегда потом бывает тошно. На другой день по просьбе Риты были куплены в киоске «Мосгорсправка» десять бланков объявлений, и я сел писать своим красивым, чертежным почерком, как я умею: «В семью из трех человек — муж, жена и сын-студент — очень нужна…»

Вскоре все это померкло и забылось. Точно помню: пятнадцатого. В середине дня звонок телефона. Высокий, быстрый и, как мне показалось, малопочтительный мужской голос просит меня, Геннадия Сергеевича, и затем представляется: следователь имярек. Не могу ли я прибыть завтра по такому-то адресу для разговора? Могу. Свободен ли я часов этак, что ли, ну, скажем, в половине одиннадцатого? Вполне. Значит, договорились. До завтра. Ориентир: рядом с магазином «Синтетика». Все длилось не дольше двадцати секунд. В некотором обалдении кладу трубку и начинаю бешено соображать: что сей сон значит? Никакого криминала я за собою не знаю. И все же прохватывает легкая паника. Ну, может, и не паника, но какой-то невыносимо тревожный зуд.

Главное, не понятно, что это может быть. Рядом с магазином «Синтетика». А быть может абсолютно все! Никто ведь не застрахован ни от чего.

Мне не приходилось раньше иметь дело со следователями. Рите ничего не говорю. Зачем испытывать еще добавочную Ритину панику? Но самое тяжкое то, что нужно ждать почти сутки. Почему я не догадался назначить встречу не на завтра, а на сегодня? Пожалуйста, я готов. Сейчас выезжаю. Нет, завтра я занят, только сегодня, сейчас же. Все равно никакая работа не прет в голову. И почему, например, не спросить было: по какому вопросу? Совершенно спокойно мог спросить. Он бы мне ответил, и я бы не мучился целые сутки. Впрочем, он мог бы и не ответить. А если бы он не ответил, я бы мучился в десять раз больше. Они делают так специально, чтобы вызываемые больше волновались. Чтобы пришли уж тепленькие, все бы у них внутри тряслось и дрожало, ударишь пальцем — развалятся. Или, как говорят: ***расколются***. Но, убей меня бог, если б я знал, в чем мне надо ***колоться***! Ах, магазин «Синтетика» — знаю, где это. Что-то однажды покупал.

Вечером должны были идти в гости к Володе, моему кузену, который получил квартиру на Жи-

вописной улице в районе Хорошево-Мневники, и целый месяц упорно зазывал нас на новоселье, мы под разными предлогами отказывались — скучнейшая компания, и в принудительном порядке просмотр любительских фильмов самого Володи, его жены Ляли, энтузиастов туризма, — но настал день, когда отступать некуда, визит неотвратим, иначе кровная обида на десятилетия. Купили в ГУМе два немецких бра, бутылку шампанского, нагрузили на Кирилла, поехали.

Все это время, хотя я двигался, отвечал на вопросы, сам что-то спрашивал, ходил по магазинам, покупал билеты в метро, я думал неотрывно о том, что будет со мной завтра, и чем больше ветвились мои мысли, тем страшнее становилось: я убеждался, что есть неисчерпаем мое количество поводов, по которым я мог быть привлечен к допросу следователем. Стоит только захотеть. Боже мой, за мной числились, кажется, все виды нарушений Уголовного кодекса!

Я мог быть привлечен к суду ***за взятки***, и только потому, что не раз ходил с Рафиком на бега и угощал его там в ресторане. Впрочем, были случаи, когда и он угощал меня. Я мог обвиняться в ***скупке краденого***: иногда приобретал у рабочих нашего ЖЭКа за цену почти государственную

всякую хурду-мурду, вроде стекла, провода, выключателей, листового железа. ***А спекуляция заграничными товарами***? Когда в последний раз я привез Рите кофточки из Австрии и они оказались велики, Рита продала их Ларисе, и та, подлинная спекулянтка, могла сплавить подальше и подороже. И где-нибудь попалась. Превосходно: очная ставка с Ларисой в кабинете следователя! «Это ваши кофточки?» — «Собственно...» — «Где вы их приобрели? Почему не сдали в комиссионный магазин?» ***А кража***? Однажды за границей я украл в отеле отличную пепельницу с видом городской ратуши и надписью по-латыни: «Beati Possi-dentes». Она и сейчас украшает мой письменный стол. Как-то случилось украсть в библиотеке дома отдыха том энциклопедии: он был крайне нужен для работы, а я уезжал. Правда, когда я приехал в дом отдыха в следующий раз, через полтора года, я привез этот том и незаметно поставил на полку. Вот, пожалуй, только с ***убийством***... Впрочем, было и убийство. Трагическая история шесть лет назад, когда я возвращался из Риги на машине Арутюняна, его жена сидела за рулем, и мы сбили на Минском шоссе старика. Бедняга был пьян вдребезину. Он умер через два часа в больнице. По закону отвечала жена

Арутюняна. Ее сумели спасти, она получила год условно, но ведь и я был виновен — я очень спешил в Москву, так же, как она. Да мало ли…

В таком настроении я шел на бессмысленное новоселье. Рита делит всех родственников и друзей на «своих» и «моих». К «своим» относится не то что любовно, но — пристрастно, к «моим» же равнодушна и одновременно проявляет немалую зоркость в оценках. Володю и Лялю она назвала как-то «джентльменами удачи». Подмечено ловко: тут и глупая тяга к путешествиям, и недостаточная интеллигентность, и поистине пиратская страсть к накопительству. Володя — заводской инженер, Ляля трудится в проектной организации, доходы не бог весть — и, однако, постоянные обновки, всегда есть деньги и даже можно занять на короткий срок, но лучше не нужно. Чудеса экономии! То, что нашей семье (бывшей, бывшей семье!) неведомо. Рита однажды зло заметила, что склонность Володи и Ляли проводить отпуск в пеших походах — тоже от скопидомства. Дешевле, чем по путевкам к морю.

Володя и Ляля относились к нам как будто дружески, но с какой-то внутренней настороженностью. Почему-то считали нас дельцами. Главным дельцом был, конечно, я. Им казалось,

что я гребу деньги лопатой. Когда Рита по простоте жаловалась на отсутствие денег, они смеялись: «Ах, нету денежек? А если снять со срочного вклада?» И, конечно, наша квартира, шестьдесят два метра жилой площади, не считая кладовки, сразила их когда-то насмерть. В общем, родственники как родственники. Зная их, я понимал, что упорное зазыванье на новоселье должно иметь подоплеку. Что-то им нужно. Через час сидения за столом с яствами из близлежащего ресторана «Орел» это «что-то» четко нарисовалось.

Володина дочка Вероника кончает школу. Надо думать о поступлении. И представьте — как раз туда, куда поступил Кирилл. У Кирилла был, кажется, какой-то замечательный репетитор, со связями, очень помог — немецкая фамилия, им говорили… «Гартвиг!» — выпалил Кирилл. Нельзя ли его как-нибудь приспособить, так сказать? «Конечно, — сказала Рита. — Почему же нельзя? Но, мне думается, сейчас он уехал. Он все время в разъездах». Было мало приятно слышать про Гартвига, что он ***со связями*** и что он ***помог***. Хотя это так. Но мы никому не рассказывали. Как выяснилось, они услышали про него от одной приятельницы Ларисы, которая знакома с какой-то сослуживицей Ляли. Все пошло от этого

трепла, от Ларисы. Я сказал, что Гартвиг, по-моему, сейчас не берет учеников, он очень занят в институте. Это было правдой — Гартвиг сам говорил, — но Володя и Ляля решили, разумеется, что мы не хотим ***давать*** им Гартвига. Впрочем, и это было правдой.

Я не желал ***давать*** его потому, что меня пронзило страшное подозрение: а вдруг Гартвиг со своим приятелем, секретарем приемной комиссии, тем самым, что приезжал в Снегири, попались на какой-нибудь махинации с приемными делами? Хозяин дачи в Снегирях мне почти не знаком. Он из Ритиных друзей. Господи, какая опасность! Я ведь ничего не знаю. Все делалось помимо меня. Но Гартвиг с его цинизмом способен на что угодно.

У Риты были, кажется, свои причины не слишком большого желания ***давать*** Гартвига Володе и Ляле.

Они угадали правильно. И с тем большей настойчивостью и чисто туристическим упорством стали тут же, за столом, выбивать из нас Гартвига. Они требовали, чтоб мы позвонили и выяснили, здесь он или уехал. И, если не уехал, можно ли возлагать на него надежды. Рита сказала, что не помнит телефона. Я тщетно старался вспомнить,

но я-то никогда и не знал наизусть, а Рита знала. «Телефон Геры? — вскрикнул наш обалдуй. — А я помню!» Пришлось звонить. Эсфирь сказала, что Гартвиг на концерте в консерватории. Они требовали, чтоб я звонил завтра утром. Я обещал. Да, да, завтра утром.

Когда я думал о завтрашнем утре — в половине десятого надо выйти из дома, — у меня будто что-то вжималось в низ живота и ноги слабели. Догадка насчет Гарт-вига обуревала меня с панической силой. Теперь я был почти убежден в том, что Гартвиг и следователь чем-то связаны. Недаром Гартвиг сгинул в последние дни, не звонил, не показывался. И ни с одним человеком я не мог посоветоваться! Володя и Ляля, повеселевшие оттого, что Гартвиг в Москве — им казалось, что дело уже слажено, — вытащили белую тряпку, киноаппарат, и мука началась. Я ничего не понимал, что там происходит. То ли там была тайга, то ли Крым. Какие-то люди куда-то шли, что-то ели ложками из большого котла. Была новинка: изображение сопровождалось дикторским текстом, который самим авторам казался верхом остроумия, и они то и дело, не в силах сдержаться, прыскали со смеху. Вот Ляля щеголяла голым животом и какими-то немыслимыми бриджами,

и голос Володи произносил: «Людмила Александровна потрясала общество туалетами от Диора» или что-нибудь в таком духе. Рита вздыхала, но Кириллу нравилось, и он хохотал. Вдруг Рита сказала: «Между прочим, дорогие друзья, хотя Герасим Иванович отличный преподаватель, но прежде всего Кирка помог себе сам. Он занимался как проклятый. Совершенно как проклятый».

Володя и Ляля дружно сказали: «Конечно! А как же иначе?» Я тоже решил вставить слово: «Так что не думайте, что Гартвиг — это решение проблемы. И никаких особых связей у него нет». — «А не особые?» — лукаво спросила Ляля. Как раз в этот момент на экране показалась Ляля в купальнике, по колени в воде, делавшая танцевальные жесты руками. У нее были странные ноги: не круглые сверху, а какие-то плоские и широкие. В купальнике это выглядело не блестяще. Донесся голос Володи: «…при переходе вброд танец умирающего лебедя». «Да нету у него никаких связей! — сказал я, вдруг озлобившись. — Ерунда там, а не связи!»

Когда вышли на улицу, Рита сказала: «Молодцы твои родственники. Так и впились клешнями, вынь да положь им Гартвига». Не было сил возражать. Можно было ответить: «Это уж по твоей

части, что касается Гартвига», но Кирилл был рядом, и мысли мои гнуло в другую сторону. ***Ведь я знал то, чего не знала она***. Я вдруг подумал о ней с жалостью. И о сыне подумал с жалостью. Кирилл внезапно свистнул по-бандитски и заорал во все горло: «Эй, шеф, вертай сюда!» Сели в такси, и я подумал, что неплохо все-таки иметь взрослого сына.

Ночью почти не спал. Задремал часов в пять и вскочил в восемь. Всю ночь буравило одно слово: «синтетика».

Молодой человек без пиджака, в белой льняной рубашке и с галстуком, на котором изображались пять олимпийских колец, спросил: «Это ваша икона?» Я увидел старую икону тети Глаши, недавно висевшую рядом с Пикассо. «Да! То есть, собственно…» Я объяснил. Икона изъята у крупного фарцовщика, против которого сейчас возбуждено дело. А фарцовщик купил икону за сто двадцать рублей у Кирилла. Пока еще не ясно: будет ли Кирилл привлечен к суду, покажет ход следствия, но дело непременно получит огласку, и в первую очередь в комсомольской организации института. Затем я ответил на несколько вопросов насчет Кирилла, Нюры, происхождения иконы и какого-то малоизвестного мне Кирил-

лова приятеля из группы «Титаны» по имени Ромик. Я подтвердил, что ничего не знал о продаже иконы и вообще все это для меня полная неожиданность. Я считал, что икона находится в больнице у Титовой А. Ф.

Был составлен протокол допроса, я подписал его, направился к выходу и уже возле дверей спросил: «А моего сына вы когда вызовете?» И следователь меня огорошил: «Он уже давал показания. Понадобится, вызовем еще». Значит, вчера, когда он так хохотал в гостях… В первую секунду, поняв, из-за чего меня вызывали, я испытал мгновенное облегчение. Не я, не я! Кирилл, конечно, тоже «я», какая-то часть «я», но еще небольшая, незрелая часть, не так уж страшно, рана не смертельна. Однако облегчение было действительно мгновенным: оно длилось одно мгновение. Когда же картина раскрылась — а это произошло там же, за столом следователя, озарилось все за секунду, и не следователь подсказал, а я сам вдруг увидел, дорисовал, — когда я понял, как Кирилл все устроил, уговорил бедную дуру, обманул нас, скрывал, лицемерил, меня схватило и стало душить чувство, еще более непереносимое, чем страх. Это было чувство ужасающего стыда. Потому что все-таки — я! Я, я и никто другой! Не

Кирилл, а я сидел перед столом следователя, и молодой человек задавал мне вопросы, глядя с холодноватой и тайной брезгливостью. О, я это отлично чувствовал! И если бы не я, целиком я со всеми моими потрохами, а какая-то часть меня, какой-то Кирилл сидел перед столом следователя, я бы никогда не почувствовал той брезгливости, не испытал бы того стыда и боли.

На улице я, как больной, думал вслух. Ну и прекрасно. Ну и замечательно. Подонок, ничтожество, дождался? Не-ет, пускай будет суд, пускай тебя вытащат, скотину. Не мог воспитать единственного сына, жалкое существо, старый идиот… Бежал домой, чтобы что-то сказать, спросить— что? ***О чем спрашивать, что говорить***?

Рита была дома, Кирилл еще не вернулся. Рита все знала. Он ей сказал. А мне что же — узнавать через прокуратуру о том, что происходит в собственном доме? Может, я уже не член семьи? Тогда скажите об этом. Поставьте в известность. Я соберу чемодан и уеду.

Рита очень спокойно: «Да, мы решили тебе не говорить. Ты начнешь буйствовать, волноваться… А тут надо не кричать, не ругаться, а думать — как и что… Он поступил отвратительно, все верно, но надо выручать. Просить Меченова,

Рафика, Геру, кого угодно, потому что парня выкинут из института. Сначала спасать, потом — судить». Нет! Нет! Сначала судить! А спасается пускай сам! Она мне что-то протягивала. «Успокойся, потом поговорим. Прими элениум». И я заметил в ее взгляде ту же холодноватую, почти казенную брезгливость, что и у следователя. Она ушла в свою комнату. Я заперся в кабинете.



Наконец через несколько часов пришел Кирилл. Я тут же позвал его. Он зашел с сигаретой, сел на диван и, нагло улыбаясь, уставился на меня. Прежде всего я вырвал у него изо рта сигарету и выбросил ее в форточку. «Это что должно означать?» — спросил он. «Должно означать, что сегодня я был...» — «Знаю! У Василия Василье-

вича». — «Какого Василия Васильевича?» — «Ну, следователя, Катеринкина». — «Откуда ты знаешь?» — «Я же у него свой человек. Четыре раза вызывали». — «Да? — спросил я грозно. — Четыре раза?» На самом деле мой запал иссяк, и я сказал — ничего не получалось иначе — постыдным, укоризненным голосом: «Ну, ты понимаешь хоть, что ты негодяй? А?» — «Конечно, папа. Чего ж не понимать? Понимаю». Он склонил голову удрученно и легко. Я видел, что дураченье меня продолжается. Вдруг он вскочил с места, подбежал к столу, где лежал маленький транзистор, и включил его. Диктор что-то тараторил. Лицо Кирилла озарилось радостью, он хлопнул в ладоши и прошептал: «Ура, ура!» Я подошел, вырвал из его рук транзистор и выключил его. «Вот что, говорю с тобой последний раз и совершенно серьезно. Выкручивайся сам! Понял?!» — «Ладно, папа, — сказал он. — Вас понял. Ты только не волнуйся». Я возмутился, и одновременно мне стало дико смешно. «Да не я должен волноваться, а ты, ты! Ты должен волноваться!.. Глупый тип!» — «Я понимаю, папа. Я и волнуюсь. Но ты не должен волноваться. Все будет нормально, не думай ни о чем. Принести тебе воды?»— «Пошел от меня прочь!» — закричал я. Он выскочил из кабинета

прыжками волейболиста. А я остался лежать на диване. Как жалкий, раздавленный таракан. И это было окончательным доказательством того, что там, перед столом следователя, сидел я, а це он.

Потом я действовал: выхода не было. У шахматистов это называется «цугцванг». Все ходы вынужденные. Над дураком нависло исключение. Я бросился к Рафику и через него — к Меченову. Оказалось: «У вашего любезного сына слишком много прегрешений. Он до сих пор не сдал зачета по физкультуре. В первом семестре пропущено двадцать два академических часа без уважительных причин». Пришлось обращаться к Гартвигу, приятель которого, бывший секретарем приемной комиссии, стал шишкой в ректорате, Рита почему-то не хотела звонить Гартвигу. А со мной Гартвиг был очень холоден и сказал, что с приятелем поговорит, но за успех не ручается: потому будто бы, что его, гартвиговский, кредит в том доме пошатнулся. Я не стал выяснять, в чем дело. Кто-то мне сказал, что у Гартвига неприятности в институте и ему вроде бы даже грозит увольнение. Ну, следовало ждать. Я нисколько не удивился. Но все же Гартвиг, по-видимому, позвонил, и содействие его приятеля помогло:

Кирилл остался. По комсомольской линии он получил строгий выговор с предупреждением. Я заставил его отвезти сто двадцать рублей Нюре, в загородную больницу Мурашково, привезти от нее расписку, а икона застряла в недрах органов правосудия в ожидании своего часа — лечь на стол вещественных доказательств. Но дело не в этом. Дело совершенно не в этом! Когда все кончилось, наступила тоска. Вот в чем дело. Мы больше не ругались с Ритой, мы просто обменивались мнениями. Она говорила: «Когда три эгоиста живут вместе, ничего хорошего быть не может». — «Да, но у каждого эгоиста есть выход, — говорил я. — Найти доброго человека, который будет ему все прощать». — «Это такая волынка — искать доброго человека. Я устала. Я уже старая женщина». — «Ничего, охотники на тебя найдутся». Так мы разговаривали за завтраком, а Кирилл сидел тут же и читал газету.

Утром пришел Атабалы с банкой молока. Я еще лежал, разбитый после бессонной ночи. По всем признакам был подскок давления. Может быть, оттого, что близка перемена погоды, к холоду или к еще большей жаре, а может, переработался, мозг устал, нужна пауза. Попросил Атабалы позвать Валю, медсестру, если еще не убежала на

работу, измерить давление.

И узнал новость: Валя — приемная дочь Атабалы. В сорок пятом они взяли ее, трехлетнюю, из детского дома. Родители неизвестны, ничего не известно, кроме того, что она откуда-то с Украины. Валя прибежала с аппаратом тотчас. Какая добрая девушка! Не так уж плохо: сто сорок на девяносто пять. Я приободрился, даже забормотал какие-то пошлости: «Валюша, одно ваше присутствие действует, так сказать...» От ее халата слегка пахло карболкой, но от рук, прикасавшихся ко мне, когда она закатывала рукав рубашки и прилаживала аппарат, и от ее лица, близко склоненного, с выражением величайшей детской сосредоточенности — точно это была игра, а не работа, — я ощущал свежий, телесный запах и подумал, что еще года три назад не упустил бы возможности, приударил бы, взвинтился бы от одной близости молодой женщины, но теперь внутри меня сидел страх.

Валя сказала строго:

— Вам надо лежать. Нижнее девяносто пять — это много.

— Да что вы! Для меня это отличные цифры. Даже хочется ухаживать за красивыми девушками... — Я взял ее за руку в тот момент, когда она

поднималась со стула, и она снова села. Увидел, что она покраснела. Держа ее за кисть, положил невзначай руку на ее колени. Она могла быть дочерью: разница лет двадцать. Ровесница моему первому сыну.

— Ну и глаза, — сказал я. — Ну и синие.

— Вечером принесу вам лекарство, — сказала она хмурясь. — Что принести, резерпин или раунатин?

— Все равно. Только обязательно.

Она встала с тем же суровым видом, вышла через маленькую терраску в сад и, проходя под окном моей комнаты, посмотрела на меня, улыбнулась и сказала, грозя пальцем:

— А вы не вставайте!

Я лежал некоторое время, глядя в раскрытое окно, где сквозь зелень накалялся день, и думал о Вале, о том, как ловко и быстро все сделала с аппаратом, и о том, что если бы такое существо было рядом… А что еще нужно? Вот только странно, что ночью к ней рвался этот недотыкомка Назар. Вдруг вспомнилась моя первая жена Вера. С нею было хорошо месяца два, она была такая же плотная, синеглазая, с крепким телесным запахом, играла в гандбол за студенческую команду. Но потом оказалось, что не понимает ясных и

скучных вещей, объяснять каждый раз было тягостно, лучше молчать, молчали утром, днем, вечером, когда ложились спать, когда ехали в поезде в двухместном купе. И разлука была такой же спокойной, ни одного лишнего слова, как и двухлетняя жизнь. Не о чем было говорить. Рита показалась мне Шехерезадой. В первые годы с Ритой разговаривали ночами напролет: обсуждали знакомых, родственников, книги, фильмы, фантазировали, спорили бог знает о чем. На Ритиной работе все время происходили разные истории, кипели страсти, и Рита мне все рассказывала в лицах, с возбуждением, и я должен был давать советы, выносить суждения и сочувствовать. Но главное, что было в Рите, при всех ее качествах и невозможностях, — она понимала, что я такое, как я задуман и что из меня получилось. Даже в тот последний день, когда произошла ссора из-за жировок и Рита сказала, что я профессор Серебряков, что она всю жизнь надеялась на ***что-то во мне***, но ничего нет, я пустое место, профессор Серебряков, я это услышал и не взорвался, потому что в ее словах была боль, истинная боль, которую я почувствовал. Профессор Серебряков тоже человек. Зачем уж так презирать его? Он не гангстер, не половой психопат, он хотел жить,

любил женщину, по-своему, в меру своих сил, и годами без устали занимался одним — писал, писал, писал, писал. Тем же, чем занимался я. Но нельзя же корить людей тем, что они не Львы Толстые, не Спенсеры. Всего этого я ей не сказал, когда услышал о профессоре Серебрякове, потому что говорить было ни к чему: решение созрело. В тот день на языке вертелось дурацкое двустишие, которое я сам придумал. Люблю дурацкие двустишия, вроде такого, но это мое старое: «Он играет в банде роль, посылает бандероль». Риту всегда эти шутки раздражали: «Тратить серое вещество…» Не понимала, что человеку, который всю жизнь занимается игрой в слова, это вроде разминки.

Утром был спор из-за жировки, которую я забыл оплатить, и Рите в ЖЭКе не дали какой-то справки, она пришла разгневанная. Я ходил и бормотал: «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помешанного не говорят о жировке…» Это двустишие я и сказал ей в ответ на профессора Серебрякова. Кирилл, услышав из соседней комнаты, закричал весело: «Как, как? Папа, повтори!» Через некоторое время я им сообщил о своем решении. Чемодан был собран. Кажется, они не приняли мои слова всерьез, да я и сам не до конца верил собственным словам.

Рита заметила ядовито, но спокойно: «Ага, теперь понятно, почему жировка не была оплачена». — «Нет, — ответил я тоже спокойно, — я просто забыл. Жировки будут оплачиваться в срок». Они продолжали мне не верить. Я тоже себе не верил. Кирилл смотрел на меня, улыбаясь как-то криво и снисходительно. Однако я попрощался, взял чемодан и вышел на улицу. На остановке такси, как всегда в этот час, стояла очередь, и я продрог в своем плаще, было морозно, как будто не март, а февраль. В такси по дороге в гостиницу «Варшава» — где остановился Мансур — я бормотал: «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помешанного не говорят о жировке…»

Все же мысли о Вале как-то утешили, я вдруг подумал, что до конца еще далеко, и решил сегодня не работать, дать голове отдых. Вышел в сад. Земля на дорожке была мягкая от цветов акации, они липли к ботинкам, воздух был душен, и это значило, что зной нависал, в городе могло быть все сорок.

Шел в глубину сада, где был виноградник и где прямо из виноградника, выбитая в скале, поднималась в гору тропа. Было жарко, хотя я шел тенью: сначала под сводами старых чинар, им лет по полтораста, вокруг них текучая мгла, зем-

ля пуста, все забито исполинской силой, потом — под высокими яблонями, грушами, в тени акаций и американского клена. Атабалы сказал, что плодов в нынешнем году будет мало: нашествие тли. Маленькие черные мошки облепили ветви, стволы, беленные известью стены домиков. Садятся на белое. Моя белая рубашка вся в черных точках, а станешь смахивать — остаются следы. Зима была теплой, сказал Атабалы, без снега, и вся эта дрянь не вымерзла.

Сидели на каменной скамье, у подножия тропы в гору, и разговаривали. Он сказал, что звонил Мансур, сегодня приедет. Просил растопить баню. И с ним приедет товарищ Мергенов.

— Атабалы, сколько же у вас детей? — спросил я.

— Ай, много. Одиннадцать.

— А сколько было, когда Валю взяли из детского дома?

— Три. Еще мало. — Он засмеялся. — Если бы много было, не взяли тогда.

Но по его лицу, улыбке — в сухом, глянцевато-коричневом рту сверкнули белые до синевы, молодецкие зубы— увидел, что взяли бы все равно. Жаловался: с маленькими трудно и с большими тоже. Четыре старших дочери повыходили

замуж, живут отдельно, но у каждой своя беда, надо помогать. Одна болеет, другая хочет работать, муж не пускает, у третьей ребенок хилый, в болячках, и не знают, как лечить. У Вали был муж осетин, работал буфетчиком в Тохире, но жить не смогли, ревновал ее, как зверюга, бил, запирал на замок, и так и расстались, он уехал в Бахарден. Плакал, говорил: «Не могу с тобой жить, зарежу кого-нибудь, лучше уеду». Теперь пристают всякие, говорят: «Гуляй со мной!» — а ей какой интерес, она девушка хорошая, как туркменка воспитана. Не смотрит на мужиков. Назарка стучался ночью, жениться хотел, конфет три кило купил, она сказала: «Гони его, папа, фулюгана, черта, своей метлой!» Она Мишку любит, осетина. Что же делать, если жить нельзя?.. Товарищ Мансур Гельдыевич тоже, как приедет, всегда просит: «Пускай Валя постелю принесет!» Она, пожалуйста, принесет, а больше ни-ни. Потому что — нет, нельзя. Товарищ Мансур Гельдыевич сердился. Зачем, говорит, на территории дачи работников культуры такой некультурный деревенский дом, дети бегают и тряпки висят? Семья, говорит, у тебя слишком большая. Гостям смотреть некрасиво. Они отдыхать хотят, а твои дети плачут и козы гуляют, как в ауле. А без коз

и без коровы Атабалы никак невозможно, детей не прокормишь.

Нужно было ему идти, но, как всегда, встретясь со мной, усаживался надолго и говорил, говорил. Обычно я прерывал его какой-нибудь полувопросительной фразой: «Ну, что ж, пойти поработать?..» — «Ага! — кивал он охотно и улыбался. — Работа ишаков любит!» И мы расходились: он к своим кетменям, грядкам, а я — в дом, к столу. Но сегодня решено было сделать паузу, и я не прерывал его. Не знаю, отчего так любят со мной разговаривать. Наверное, оттого, что я терпелив. Они там говорят, а я киваю и думаю про свое. Вот слушал его и думал: Толстой прав наполовину, все счастливые семьи счастливы одинаково, это верно, но и несчастные семьи тоже ведь, боже мой, несчастливы как-то однообразно. Да и сам он рассказал такую стандартную историю: муж, любовник, свекровь… Эгоизм? Это — недостаток любви. Несчастья происходят от этой однообразной причины. Однако может ли человек, у которого одиннадцать детей, быть эгоистом? Немыслимо же! При всем желании, при любых врожденных качествах это было бы невыполнимо.

Атабалы что-то опять рассказывал про коров.

Любит вспоминать про коров: как их трудно было держать при «Кель», плешивом начальнике. Было лет пять назад, но не мог забыть.

Тогда мы отдыхали под Одессой. И Арутюняны были на своей машине.

«Кель» приказывал, а милиционеры были знакомые, предупреждали: завтра приедем. Делайте, как хотите, угоняйте, убивайте. Два месяца прятали корову в ущелье. Траву носили ей на себе, пять километров в горы. Одну остановку на автобусе и потом — наверх, спасли. Потом «Кель» пропал, слава аллаху. Ну, ну, это очень интересно. Арутюнян расхаживал в шерстяных плавках с белым поясом по пляжу и говорил: «Процесс необратим…» Рита и жена Арутюняна ездили в Одессу на толкучку и покупали барахло. Если бы у меня было хоть четверо детей, если б Рита работала и если бы мы держали корову — каким бы я был замечательным человеком! Как только приедет Мансур, нужно взять его за горло: пускай одолжит рублей триста, потом с издательством рассчитается. Все-таки нету совести. Знает, что сижу без гроша, надо слать в Москву, и делает вид, будто его не касается.

— Значит, Мансур хотел вас выселить?

Было сладко услышать о Мансуре что-нибудь

неприятное. Он мой друг, выручает всю жизнь, дает работу, но временами я его ненавижу. Мансур не ведущий поэт, местные литераторы относятся к нему иронически, но он удивительно везуч и ловко умеет устраивать свои дела.

— Мансур Гельдыевич приехал два дня, суббота, воскресенье, обратно просил: «Пускай Валя постелю принесет!» Утром злой идет. От твоей кухни, сказал, запах по всему территорию, надо тебя убрать окончательно. А в райсовете сказали: «Язгуль — мать-героиня, никто не выселит, не беспокойся». Ха-ха! — Он смеялся, сверкал зубами. Потащил саксаул. Я понял, что его жизнь необыкновенно трудна, почти идеальна в этом смысле, и он счастливый человек.

Когда жара спала, в пятом часу пошел в чайхану обедать. Маленький Назар стоял при входе на каменных ступенях и высокомерно разговаривал с горбатым человечком, у которого было скучное, интеллигентное лицо с черной бородкой и черными усиками. Лицом горбун напоминал какого-то из испанских королей. Когда после плова и пиалы чаю я выходил спустя четверть часа из чайханы, Назар и горбун ссорились и было похоже, что затевается драка. Вокруг стояли зрители. Некоторые садились на корточки, чтобы уютней

смотреть. Мне сказали, что горбун — курд, его зовут Саша, он тоже большой драчун. Назар внезапно толкнул Сашу, и тот упал. Зрители сказали: «Ва-ах…» Я вспомнил, как говорил Атабалы: «От него падаешь, как все равно с ишака — головой в землю». Этот коротышка Назар занимал меня. Может быть, потому, что он хотел жениться на Вале и купил с этой целью три кило конфет. Я рассматривал: на нем была бумажная, дешевая рубашонка навыпуск в каких-то цветочках, сатиновые брюки, темно-красные бумажные носки и босоножки из кожзаменителя. Он поднялся по ступеням и встал на прежнее место у входа в чайхану. В его глазах, смотревших на всех нас сверху вниз, что-то пылало.

— Почему дрались? — спросил я одного парня.

— Ай, делят чего нет… — сказал парень презрительно. — Она ни тому, ни этому. А он ему сказал. Ну, и поругались.

Никто не заметил, как снова возник Саша с ножом в руке, он приближался, шатаясь, к крыльцу чайханы, люди шарахнулись, но Назар стоял неподвижно и смотрел на горбуна. Потом юркнул в дверь и через минуту вернулся, держа громадный кухонный тесак. Люди засмеялись. Назар стоял на верху крыльца, напыжившись,

расставив свои крепенькие ноги гнома, и держал кухонный тесак, как алебарду. Саша плюнул, махнул рукой и ушел. Все стали громко хохотать. В это время к чайхане подъехал с дребезгом и остановился автомобиль, хлопнула дверца, и я увидел своего друга Мансура в белом костюме и белой соломенной шляпе.

— Салам! Салам! — Мансур поднимался по ступеням крыльца, вельможно помахивая рукой и кивками приветствуя хохотавших людей.

Назар, выпучив глаза, заорал:

— Товарищ Мансур Гульдыевич — ура!

Меня Мансур не заметил. Я ждал, пока он выйдет. В машине на заднем сиденье был еще кто-то. Через некоторое время Мансур появился, неся авоську с тремя бутылками коньяку.

— Бензин заправку сделать забыл, — объяснил он стоявшим вокруг крыльца людям. — Мотор дальше не идет… Тссс! — Как обычно, не хохотал, а тоненько хихикал, прыскал сквозь зубы. И это «тсыканье» означало, что настроение отличное, пищеварение в порядке, дела идут хорошо и виды на будущее еще лучше.

Увидел меня, посадил в машину, и мы прокатились метров пятьсот вверх по тенистой улице. Телеграммы не было. Никто не звонил. Вместе с

Мансуром прибыл огромный человек по фамилии Мергенов, начальник треста ресторанов и столовых, друг Мансура: в воскресенье должно состояться открытие ресторана «Чинар», и товарищ Мергенов приехал, чтобы лично присутствовать. Когда он вылез из машины и распрямился, я увидел нечто каланчеобразное: рост не менее двух метров, холм живота обнимали полотняные штаны какого-нибудь шестьдесят четвертого размера, гигантские руки-лопаты, и при этом — небольшая голова полированным и сверкающим под солнцем коричневатым яйцом, напоминающая гладкостью щек и большим ртом голову чудовищного младенца. Товарищ Мергенов мог бы играть в детском театре Идолище Поганое. Вскоре выяснилось, что он деликатнейший милый человек. Он тотчас после обеда лег спать, а Мансур прослушал две главы своей поэмы «Золотой колокольчик» — все двенадцать глав слушать было ему недосуг, перенесли на вечер — и побежал в «Радугу», министерский дом отдыха, где отдыхал какой-то нужный ему человек. Я не обижался на то, что Мансуру некогда было слушать собственную поэму в моем переводе, эти ворохи строк, в которых были мои одышки, находки, придумки, издыхающий мозг. В поряд-

ке вещей. Я к этому привык. Но взорвало меня другое. Когда я сказал: «Ладно, беги. А как там с деньгами?» — он ответил небрежно, на ходу:

— Слушай, закончим дело — тогда будем говорить…

И даже звякнуло раздражение. Вот, мол, бестактность: пристают с деньгами. Меня как будто шлепнули по щеке. Я закричал:

— Как — поговорим! Да ведь ты обещал привезти деньги сегодня! Да черт вас дери совсем! — орал я в беспамятстве. — Ты можешь понять, в каком я сейчас положении? Я должен посылать в Москву! Именно сейчас я не могу задерживать! Наши приятельские отношения тебя избаловали! А я переводчик первого ранга! Меня добиваются, за мной стоят в очереди! Ты понимаешь это?..

— Понимаю, понимаю, начальник, — кивал Мансур, совершенно спокойный. — Ты большой человек, я знаю… Не ругай нас, бедных кочевников…

— Не фиглярствуй!

— Слушай, не кричи, все сделаем. Возьми пока… — Он протягивал бумажку в двадцать пять рублей. — Дома ремонт начали, сами без денег. В понедельник пойдем… нажмем, сделаем…

— Нет, в понедельник ты купишь билет на

самолет! Шиш я тут останусь!

Четвертная полетела на пол. Он ушел, успокаивающе махая на меня руками, как на больного, кивая и подмигивая и твердо зная при этом, что все кончится благородно: я никуда не уеду, пока он не выжмет меня до капли. Ведь я в капкане. И все движения, которые я делаю будто бы независимо, на самом деле движения существа, находящегося в капкане. В радиусе не длиннее собственного хвоста. Я поднял четвертную и положил на стол. Потом лег на кровать, сунул под язык таблетку валидола— сердце заныло — и лежал с закрытыми глазами час или полтора.

Солнце краем вползло в комнату. Это значило, что наступил вечер. За перегородкой затрещала кровать — громадный человек проснулся, трубно вздыхал, сопел, потом сказал: «Ай-вай-вай…» — снова затрещала кровать, протопали тяжелые ноги, ударила дверь, ушел. Теперь, когда я лежал в полной тишине и одиночестве, я понял, что безобразное орание из-за денег — вовсе не из-за денег. Все-таки я надеялся на известие. Я — не они. Молчание неестественно, даже если все кончено, потому что когда человек звонит вдруг на рассвете и говорит, что болен, пускай даже чужой человек, бывший родственник, надо быть

уж совсем скотами, чтобы тупо молчать девять дней. Впрочем, Кирка пригрозил как-то: «Ладно, вот убегу из дома, а тебя хватит инфаркт. Потому что я могу жить без тебя, а ты без меня — не можешь». Поганец, сказал правду. Там что-то случилось. Черт с ними, позвоню и узнаю.

Я ходил по комнате, бормоча: «В доме помешанного не говорят о жировке, в доме повешенного…» Стало легче оттого, что принял решение. Вдруг пришла Валя. Совсем забыл, что она должна принести лекарство. Я сел на кровать к столу, она измерила давление. Немного повысилось: сто пятьдесят на сто. Ага, «кондратий» все ближе. Вот что значит поволноваться.

— Вы работали сегодня? — спросила Валя.

— Бездельничал.

— А выходили из дома? Гуляли?

— Немного.

Валя морщила лоб, глядела на меня с напряжением и, как видно, собирая воедино все свои небольшие познания о гипертонии и сердечных болезнях. Она была не в халате, а в белой нарядной кофточке и в синих нейлоновых брюках, плотно облегающих. Наверное, здорово жарко в этих брюках. Но зато выглядело элегантно. Я заметил, что и прическа не та, что утром.

— Вы куда-то собрались? — спросил я. — В кино?

— Нет, я сегодня дома буду.

Она сидела, положив одну синюю ногу на другую, и у меня не было никакого желания притронуться к ее коленям или взять за руку, как было утром. Резерпин она положила на стол, аппарат спрятала, но почему-то не уходила. Я не знал, чего мне хотелось: чтобы она ушла или осталась. Разговаривать было вроде не о чем. Она молчала, я тоже молчал. Игра в молчанку была как раз ей по возрасту. Я думал: сегодня позвонить уже не удастся, почта до пяти. Завтра с утра. Никаких разговоров. Просто узнать: все здоровы? Прекрасно. Повесить трубку. Всего этого уже не существует в моей жизни, но должен быть порядок.

— Да… — сказал я после молчания. — Между прочим, знаете что, Валя? Я видел вашего кавалера.

— Какого это кавалера?

— Ну, этого маленького. Который ночью приходил с конфетами.

— А! Назарчика? — Она засмеялась, и ее лицо вдруг стало оживленным и милым. — Он пьяница, все его угощают, бедного, и он шатается

каждый день. А ему пить нельзя. Здоровье не позволяет. Недавно два ребра сломал, влезал через форточку в свою комнату, ключ потерял. Мы его в больницу возили. Вообще он сирота, один живет, как собака бездомная. Я его жалею, дурачка, а он и вправду подумал…

— Что? — спросил я, зевая. Началась одышка, как всегда вечером, от переутомления. Но ведь сегодня я не работал. — Жениться предлагает?

— Не жениться, а так: защищать меня хочет. Если, говорит, кто тебя обидит, ты мне скажи, я его бить буду. Умора!

— А-а! — Никак не мог глубоко, всеми легкими вздохнуть. — А вы что же… не согласны?

Она молчала, глядя, как я ловлю губами воздух. Когда наконец успокоился и вздохнул, сказала тихо:

— Зачем же мне такой чертик-защитник? Даже странно, как вы говорите. По-моему, я сама могу себя защитить.

Посидев еще немного, ушла.

Вскоре ворвался Мансур, стал тащить меня в соседний домик, где товарищ Мергенов и работники ресторана отмечали канун торжественного события — открытия сезона в ресторане «Чинар». Да я-то при чем? Все хотят меня видеть.

Немедленно доставить живого или мертвого. Товарищ Мергенов приказал. Мансур был заметно пьян, хлопал меня по плечу и кричал: «Мой повелитель! Кто вы и кто я?» Он делал страшную гримасу, зажмуривал глаза, кривил рот и показывал, какое он ничтожество: держал перед носом двумя пальцами невидимого комара. Обычное юродство, к нему я тоже привык. И все-таки, если будет нужно, он меня выручит. В том-то и дело: он добрый малый, несмотря ни на что. Я знаю его сто лет, это точно. Да господи, он лучше многих, гораздо лучше, о чем говорить! Там все были навеселе: товарищ Мергенов, два пожилых лысых человека, похожих, как братья, директор ресторана и его заместитель и три официантки, которые заливались хохотом, когда я вошел, и муж одной из официанток, капитан с погонами войск связи. Перегнувшись ко мне, капитан прохрипел в ухо: «Тринадцать лет среди этих милых лиц…» По-видимому, тут было окончание долгого обеда. Вдруг пришел Назар. Все восклицали: «Ура, Назарчик!» Коротышка каждый год летом работал швейцаром-вышибалой в ресторане «Чинар», и это были лучшие месяцы его жизни.

— Назар, пойди Валю найди! Скажи, Мансур Гельдыевич зовет, шампанское есть, кролик

есть…

Назар убегал, возвращался один. Почему не хочет? Как такое — не хочет? Скажи, Мансур Гельдыевич заболел, сердечный приступ, помогать нужно. И — падал на кровать так, что все тряслось, и, махая на себя полотенцем, кричал:

— Уй-уй, сейчас умираю! Скорей доктора! Хочу доктора!

Товарищ Мергенов и оба директора хохотали, официантки пели, я выпил рюмку коньяку, потом еще одну и вышел на улицу. Было совсем темно. Я чувствовал себя прекрасно, дышалось легко, но радости не было. Вчера ночью была неясная, ночная радость, а сегодня — ничего, пусто. Мог бы сейчас же все бросить и уехать куда-нибудь. Перевалить через горы на север. Там, за горами, были пустыни, степи, леса, прохлада. Я болен. Если б я был здоров, мне бы хотелось жить дальше. Не знал, куда себя деть. Ходил туда-сюда по ночному саду, добрел до виноградника, оттуда дорожкой вернулся мимо персидских домиков и пришел в свою комнату. Не раздеваясь, лег в постель. Пение и крики был слышны минут двадцать, потом затихло. Я слышал легкие шаги бега под окном, дверь отворилась, в комнату бесшумно скользнула Валя. Спросила шепотом:

— Можно? Это я… Вы не спите? — Она тихо смеялась, но без всякого смущения, возбужденно, как заговорщица. — Я спрячусь тут?

— Валяйте. От кого это вы?

— Да ну! Мансур Гельдыевич гоняется. Завтра будет прощенья просить, а сегодня себя не помнит. А Назарка его убить грозится, тоже дурачок…

Откуда-то издалека раздались крики: высоко, истошно, как кричат во время драки или скандала. Прислушались, но понять было нельзя.

— Вроде отец кричит, — сказала Валя и спросила: — Можно, я свет погашу? А то увидят и прибегут.

— Да не бойтесь вы. Ну, погасите.

— Я потом зажгу.

Она щелкнула выключателем настольной лампы. Обозначились звезды в окне. Что делать в потемках? Стали разговаривать о том о сем. Она рассказывала про своего отца, про то, что три года назад нашлась настоящая мать, живет в селе Григоровка Черниговской области, Валя туда ездила, и мать очень просила остаться жить с ней — там очень чудесно, большая река, и живут хорошо, муж матери, не отец Валин, а отчим, работает ветеринаром, своя машина «Победа», а мать

больная, ноги опухают, работать по хозяйству почти не может — надо бы остаться и помогать, да сил не было бросить родных здесь, в Тохире. Мама Язгуль очень плакала, когда узнала, что нашлась родная мать. Та приехала тайком. Валю отыскала тайком и потом деньги прислала до востребования, чтобы Валя приехала в Григоровку. Наверно, она хорошая женщина. Только ведь жизнь прошла без нее. Родные люди — кто добро делает. А уж сколько папа и мама Язгуль добра сделали Вале! Школу окончила, каждое лето в пионерлагере, потом на курсы медсестер, потом свадьбу с Мишкой устроили в «Чинаре» на сорок пять человек. Всегда с Мишкой мирили. Что ж делать, если так вышло… И я стал рассказывать про свою жизнь. Она знала многое от отца: я успел что-то наговорить.

— Вы еще не старый, — сказала Валя. — Какой же вы старый?

— Старый, старый, — сказал я. — Я-то знаю.

— Что вы! В вас еще девушки будут влюбляться.

— Старый, потому что… Понимаете, Валя, вот ваш отец садовник; отчим ветеринар, вы медсестра. А я всю жизнь куда-то карабкался, карабкался. Старость оттого, что устаешь карабкаться. Какая-

то мура, понимаете?

Понять было невозможно. Но она поняла.



Я почувствовал, как ее пальцы нашли мою руку и несильно сжали. Такое скромное, тимуровское пожатье: так пионеры ободряют одиноких стари-

ков, навещая их вечерами, после уроков.

— Знаете что? — сказала она. — Вы не огорчайтесь. У вас все будет хорошо. Ну, гипертония, ну, ничего.

— Да я не так уж огорчаюсь.

— Совсем не огорчайтесь! Сын вас любит. И жена любит. Куда они без вас? Никуда ведь не денешься. Вот мы с Мишкой расстались, а знаете…

Хорошо, что темнота. Мне было не по себе.

— Что? — спросил я.

— Куда ж я уеду, если он здесь, в Бахардене? Все равно я к нему побегу, правда же?

Хорошо, что полная ночная тьма и она ничего не видела. Что-то она шептала, я потянул ее за руку, она села на кровать, потом сбросила туфли, потом легла рядом, голову положила на мою руку, я обнял ее. Кто-то кричал вдали: «Ва-ля!» Еще что-то кричали по-туркменски. Она всхлипнула едва слышно или засмеялась. Я обнял ее крепче. Она гладила мою голову. Такое доброе, шелковое, родное. Добро имеет губы, шею, его можно обнимать. Ну вот, и незаметно лодка ударилась носом в песчаный берег, ее стало сносить течением, но я успел выпрыгнуть, коленями и руками вжался в травяной склон, напрягся, выпрямился, встал на ноги, железная цепь была у меня в руке, и я,

повернувшись, легко втащил лодку на берег. Рита перешагнула через скамейку, встала на нос, я подал ей руку, и она сошла на землю. Со стороны леса восходила туча. Тело тучи было пухлым и пепельно-серым. Мы плыли сюда, в бухту, издалека, это было наше место, нигде лучше нет купания на всей реке, но этого никто не знал, кроме нас. Мы с Ритой открыли эту бухту, держали ее в секрете. Вода здесь была чистой и теплой, всегда градуса на два теплее, чем в реке. Наверное, тут был где-то теплый ключ. Рите уже запрещали помногу плавать. Но когда она шла в воду, осторожно ступая своими длинными ногами, никто бы ничего не заметил. Был ветер, и небольшая волна все время нас похлестывала, когда мы смотрели в сторону противоположного берега, следя за тучей, поэтому мы повернулись туда затылками и упустили минуту, когда туча вдруг быстро надвинулась и настали сумерки. Вода была замечательно теплая. Когда ливень ударил, воздух сразу похолодал, но вода оставалась теплой, и мы, держась за руки, отталкиваясь от песчаного дна, выпрыгивали из этой теплой воды навстречу стегавшим водяным струям и хохотали, как безумные, а все кругом было скрыто падающей стеной воды, шумящей и непроглядно-белой, как туман. Скоро мы озябли,

перестали выпрыгивать и старались отсидеться в воде, она все еще была теплой, а воздух исчезал, нечем было дышать. Вода душила нас. Все та же лестница, на которой я задыхался, еще одна ступень, еще усилие, зачем-то надо подниматься все выше, но воздуха не было.

В Москве люди ходили в пальто. Шофер такси сказал, что холода и дожди весь месяц, сады померзли, на рынке молодая картошка полтора рубля килограмм. Я отвертел стекло и с радостью вдыхал сырой воздух. В июле Кирилл уехал со студенческим отрядом в Новгород, а мы с Ритой в конце июля взяли путевки на Рижское взморье, поехали немного раньше, пожили в гостинице, а с августа поселились в доме отдыха. Август стоял прекрасный, солнечный, нежаркий и без дождей. Я гулял по многу часов. Балтийский климат, как всегда, действовал целительно: я дышал глубоко и ровно, давление пришло в норму, и в конце нашего пребывания я даже достал ракетку и немного играл в теннис.

1970

• ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

В те времена, лет восемнадцать назад, на этом месте было очень много сирени. Там, где сейчас магазин «Мясо», желтел деревянный дачный заборчик — все было тут дачное, и люди, жившие здесь, считали, что живут на даче, — и над заборчиком громоздилась сирень. Ее пышные формы, не в силах удержаться в рамках заборчика, переливались на улицу. Тут было неистовство сиреневой плоти. Как ее ни хапали проходившие мимо, как ни щипали, ни ломали, ни дергали, она продолжала сохранять свою женственную округлость и каждую весну ошеломляла эту ничтожную, пыльную улицу цветами и запахом. Когда она цвела и стояла вся в пене, она была похожа на город. На старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом, на город с монастырями, с извилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин. Она напоминала старый город в час сумерек.

Но, впрочем, все это было давно. Сейчас на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже которого помещается магазин «Мясо».

Тогда, во времена сирени, жители домика за желтым дачным заборчиком ездили за мясом далеко — трамваем до Ваганьковского рынка. А сейчас им было бы очень удобно покупать мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут.

Когда приехали в Саратов, все было вначале очень скверно: поселились в плохой гостинице, стояла жара, публика не ходила, все как-то разладилось, актеры болели, и Сергей Леонидович, не выносивший жары и плохих гостиниц, укатил в Москву, оставив вместо себя Смурного. Этот Смурный пришел в театр года два назад и сразу, как заметила Ляля, «положил на нее глаз», Но она отвергла его без колебаний, потому что прошел слух, что он интригует против Сергея Леонидовича, хочет занять его место, а это казалось Ляле чудовищной подлостью. Подлых людей она терпеть не могла. Правда, она не знала в точности размеров подлости Смурного и как именно он интригует против Сергея Леонидовича, но люди говорили, что подлость имеет место, и Ляля каким-то особым чутьем, которому привыкла доверять, этим слухам поверила. Уж очень он был галантен, белолиц, глаза с поволокой и эта провинциальная манера гордым, резким движением головы отбрасывать назад волосы,

падающие на лоб. Сергей Леонидович однажды смешно показывал, как — он наблюдал случайно — Смурный бежал своим быстрым, энергичным шажком-пробежкой один через пустое фойе, вдруг остановился у зеркала, поглядел на себя пронзительно и движением головы откинул волосы с такой горделивой сластью, что Сергей Леонидович, по его признанию, даже несколько обомлел. Сергей Леонидович умеет ведь показать убийственно. И ничего не скажет, а все ясно, портрет готов. Ну, и Смурный, разумеется, не забыл, что его отвергли, стал всячески вредить, зажимать, или, как говорят на театре, устраивать ***Ляле затир***. А сам между тем прощупывал — ну как? Два спектакля он ставил, Сергей Леонидович болел, оба провалились; один тащился полсезона, другой и того меньше, но дело не в этом: в оба не взял Лялю. Одна роль была уж точно Лялина, всему театру видно, и все-таки умудрился не взять, пригласил стажерку из театрального училища. В общем, все было ясно. Подруги говорили: «Чего ты уперлась? Мужик уязвлен, согласись для смеха. Подумаешь, не убудет». Но у Ляли как будто что-то заколодило. Не то что согласиться, но даже просто сидеть с ним рядом в буфете и то не могла.

Было похожее: война на исходе, Ляле восемнадцать, сбилась веселая компания в Путинковском переулке у Аллочки Шлейфер, кто с фронта, кто из госпиталя, кто из эвакуации, из какого-нибудь Камышлова или Намангана. Все начиналось сызнова: надежды, песни, молодое рвение жить, стать, любовь и жалость ко всем, кто вернулся, долгие провожания через Москву, ночные подъезды, — и вдруг пришел один, седой, тридцатилетний, глаза белые, ясные, как хрусталь, он не просил и не звал, потому, что все приходили к нему без зова. Сказал, что организует студию «Голубой ковчег». Ляле очень хотелось попасть в студию, ибо все было решено: жизнь без театра не имеет смысла. Затея со студией, конечно, лопнула, но в. нее верили долго. В то время были Яша и Лазик, она разрывалась между ними, жалела обоих: Яша появился раньше, в сорок третьем году, вышел из госпиталя, вся его семья погибла под Минском, он был старше на двенадцать лет, но неумелый, беспомощный, как ребенок, замечательный математик, а Лазик — поэт, хромой, потерял ногу под Ленинградом, сочинял песенки и пел изумительно под гитару. Но человек с седым бобриком и прозрачными глазами был совсем другое: от него зависела жизнь. Ляля не знала, как

себя вести с ним. И была какая-то суббота, когда в громадной пустой Алочкиной квартире (родители занимались важными государственными делами в побежденной Германии) набилось человек двадцать молодого сброда, и он вдруг вывел Лялю на лестницу и сказал тоном приказа, что они поедут сейчас к нему домой и он даст ей книгу, которую давно обещал. Ляля не могла вымолвить ни слова, и ее стала бить дрожь. Всю дорогу, пока ехали трамваем, незаметно дрожала и стискивала зубы, чтоб не стучали. Нет, ничего не боялась, дрожь была не от страха: билась ее мечта, «Голубой ковчег»! Он ни разу до этого ни о чем не говорил с Лялей и даже, кажется, не замечал ее. Ни о какой книге не было речи. Как только вошли в комнату, не успели зажечь свет и Ляля даже не сняла пальто, он схватил ее за плечи, почти опрокинул, грубо, по-хозяйски нашарил ртом ее губы, так что у нее все помутилось от гнева, и она стала его отталкивать, он не отпускал, тянул куда-то, боролись в темноте, она ударила его кулаком в лицо, должно быть сильно: потому что он вскрикнул от боли, она убежала. Два дня не выходила из своей мансарды на втором этаже, говорила, что больна, а на самом деле рыдала оттого, что жизнь кончилась, мечты не сбываются

и людям верить нельзя, но на третий день вышла из дому, дошла до метро «Сокол» и купила мороженое — это была новинка, довоенная радость, впервые стали продавать свободно, хотя и по дорогой, коммерческой цене, но это значило, что карточки непременно отменят, прежнее счастье близко и новое недалеко, — наступило успокоение и душевная тихость, что всегда происходило внезапно, от совершеннейших пустяков. И она уже не жалела о рухнувшем «Голубом ковчеге», о том, что ударила пожилого человека в лицо и никогда больше не придет к Аллочке Шлейфер. Но вспоминая и раздумывая о том, что случилось, узнала себя по-новому. Значит, думала она, самое страшное и невозможное — зависимость. Когда зависимость, тогда конец, тупик, не перепрыгнешь. Ведь когда ехала в трамвае, всеми силами смиряя дрожь, уже знала, ***что будет*** и ***зачем едет***. Надо было решать. И там же, в трамвае, поняла: нет. Ошибок за недлинную жизнь было наделано много, но все это были ошибки чувств, но не ошибки расчетов. С тем человеком встретились через три года случайно в доме у одного Гришиного приятеля, и оба сделали вид, что незнакомы.

И так же, как тот, хрустальноглазый, Смурный

нравился многим, особенно же еще молодым женщинам, которых всегда избыток после долгой войны. Могущество Смурного в театре с каждым месяцем росло, тем более что Сергей Леонидович хворал и подолгу отсутствовал. Было известно, что Смурный разошелся с женой, оставил ей большую квартиру, крайне благородно — взял пару белья и пишущую машинку (загадка: зачем ему пишущая машинка?), — что он в превосходном возрасте, тридцать восемь, и живет один в скромной комнатке у Красных ворот. Но всем, разумеется, было ясно, что будет у него и то и это, все блага жизни. Ляля мыкалась на седьмых ролях, и все-таки — нет, заколодило. Скоро он перестал смотреть в ее сторону и в Саратове, когда остался за главного, сунул ее в самую худшую комнату, на первом этаже, вместе с гримершей.

В Саратове шел спектакль, поставленный Сергеем Леонидовичем весною, где Ляля играла пустяки, два выхода, двадцать пять слов. Спектакль был серый, но не по вине Сергея Леонидовича, а по вине пьесы. Какая-то скукота о лесополосах. Поставили из-за темы. В газетах похваливали, но публика ходила вяло. Саратовские газеты писали о спектакле с особенным пылом, потому что автор — мало кому известный начинающий

драматург Смоляное — был саратовец, вернее, теперь-то москвич, но детство и юность прошли в Саратове. Автор и сейчас, в дни гастролей, приехал в родной город, где жили мать-старушка и дочка, больная девочка, и однажды в понедельник, когда театр не работал, в жаркий июльский день пригласил всех актеров, занятых в спектакле, к себе домой на ужин.

Тот день начался с неприятности. Утром Смурный встретил Лялю в коридоре гостиницы и, не поздоровавшись — что было для него, мужчины воспитанного, фактом странным, — пригласил к себе в номер для разговора.

— Пять минут! — сказал он и как-то глупо помахал перед Лялиным лицом ладонью с растопыренными пальцами.

В номере Смурного, лучшем в гостинице и называвшемся «семейный люкс», где были занавеси из малинового панбархата, такой же панбархат лежал на овальном столике с графином, где имелся альков, тоже задрапированный малиновым панбархатом, в глубине которого что-то белело, и где смрадно пахло табачными окурками и одеколоном «Шипр», Ляля села к овальному столику, а Смурный исчез на секунду в алькове и тотчас вернулся, держа в руке бумагу.

— Вот полюбуйтесь, пришло вчера с московской почтой. Переслано из высшей инстанции. Адресовано-то было туда, но они переслали.

Ляля увидела несколько страниц, исписанных чернилами, и с ужасом узнала знакомый почерк — писала мать!

Вот оно, самое страшное, чего Ляля больше всего боялась. Мать добивается справедливости. Господи, ведь сколько раз было сказано, умоляла ее, стояла перед ней на коленях — чтобы не смела вмешиваться, чтобы никаких писем, жалоб! Любимое занятие: писать письма. Когда-то писала директору школы с требованием, чтобы письмо обсуждалось па родительском совете, писала в роно, потом, когда Лялю не приняли в театральное училище, писала в министерство. Она и дома, когда сердится на кого-то, выясняет отношения с помощью писем. Нередко Ляля, проснувшись, находила па своем столе страницы две, три, четыре, а то и больше, бывало до целой ученической тетради, исписанные крупными слитными строчками без знаков препинания: «Людмила ты должна знать что когда берешь чужую вещь ее необходимо возвратить не дожидаясь просьбы это неделикатно ты взяла мою черную меховую накидку…»

Подавив стон, Ляля придвинула к себе рукописные листки — сразу узнала большую счетоводческую книгу отца, из которой листки были вырваны, — и стала бегло читать, перескакивая через строчки. Читать подробно, вникая в каждое слово, не было сил. «Обращается мать молодой артистки… Еще в школьном драмкружке, которым руководил заслуженный артист… Шестой год после зачисления в труппу… Неужели наша артистическая молодежь должна… До каких пор самовластье режиссеров…»

— Ну что я могу сказать, Герман Владимирович? — Ляля отбросила листки и с отчаянием взглянула на Смурного, который навис над столиком и смотрел на нее сверху с застылой улыбкой. — Писала моя мама. Я за нее, как вы понимаете, не отвечаю. К тому же она больной человек.

— Больной человек? По письму незаметно. Написано связно, обвинения серьезные, хотя и бездоказательные, то есть — клеветнические. Но написано хитро и кое-что между строк прочитывается. Больные люди на этакое не способны.

— Что между строк?

— Да вот здесь! — Он ткнул пальцем. — Пахучее местечко.

Ляля увидела фразу, которую при первом чтении проскочила: «…не пошла ему навстречу, после чего последовала режиссерская месть, оба спектакля, им поставленные…» О-о! Ну зачем же это? Зачем, боже мой, зачем, зачем? Теперь Ляля не могла поднять глаз на Смурного и тянула время, шевеля губами, делая вид, что с трудом разбирает почерк. Смурный терпеливо ждал, потом спросил:

— Ну? Хотелось бы услышать…

— А что я могу сказать?

Ляля взглянула — он не улыбался, глаза оловянно-строгие, губы пучком.

— Как — что? Позвольте узнать: что означает сей бред? Какая месть? Что за околесица?

— Я не знаю, Герман Владимирович, ей-богу…

И вдруг, не выдержав, прыснула смехом. Потому что все было какой-то жалкой ерундой. Не напоминать же ему. И это лицо, багровое, колыхавшееся от гнева. Мать сотворила глупость, но ведь написала правду. Он знает, что написала правду, но делает оловянные глаза и требует — боже мой, чего же он требует? — чтобы она, Ляля, стыдилась за мать, чтобы умирала от чувства стыда и этот стыд был бы некоторой отплатой за те неприятности, которые он испытал, получив

письмо, пересланное из высшей инстанции. Теперь уже все равно. Значит, стыдиться за мать не нужно. Зачем стыдиться за несчастную женщину, которая терзается и не спит ночей из-за дочкиных неурядиц и пытается в меру своего разумения… Да ведь главное, главное: написала правду! Все правда от первой до последней строчки.

И, совершенно успокоившись, Ляля выложила все это Смурному: мама, конечно, не дипломат, действует глупо, за это ей будет хороший бенц, но кое в чем она права. Как — права? О чем вы говорите? Вот о том-то, о том-то. О чем вы прекрасно знаете. Вы дико самоуверенны! Просто мне нечего терять. Нет, моя милая, вам есть что терять. Не страшно, Герман Владимирович. Чтицей в Мосэстраде или на радио и то лучше, чем здесь, под вашим крылышком. Не думайте, что так легко устроиться, тем более вам — без театрального образования. Ничего, свои шестьсот пятьдесят я всегда заработаю, и даже больше. Ну хорошо, ваши личные планы меня мало интересуют, а это пирожное мы перешлем сегодня же Сергею Леонидовичу, пусть он его кушает. Высшие инстанции требуют ответа. А мне безразлично, делайте, как хотите. Значит, договорились. До свиданья. Будьте здоровы. И надо проветрить,

Герман Владимирович, комнату: тут какой-то нехороший запах.

Ляля выбежала от Смурного на улицу, кружила по скверу, стояла бесцельно в какой-то очереди, потом вернулась в гостиницу в свой номер и легла. Колотилось сердце, и набегали всякие слова, злые, справедливые, которые не были сказаны. А почему Милютина, которая в театре без году неделя?.. — и так далее и тому подобное. Женьку Милютину не трогать, бог с ней, мать-одиночка. Но каков подлец: без театрального образования! Второй раз колет этим. Можно иметь диплом и быть дубиной. Мало ли примеров! Артистами не становятся, а родятся, болван. Ее приняли в труппу по личной просьбе Сергея Леонидовича, а уж он-то понимает, наверное, побольше какого-то Смурного. Но не в том беда. А вот в чем: стыдно за мать. Нет — за себя, за себя, невыносимо! Он этого и добивался: чтоб сгорела со стыда. И правда — хочется. Просто вот так вытянуться, стиснуть зубы, закрыть глаза и лежать не двигаясь: ***гореть со стыда***. Обуглиться, уничтожиться. Жизни в театре не будет, Сергей Леонидович проклянет. Актеры будут смеяться и, как выражается Боб Миронович, «злошутничать», когда узнают, а узнают непременно: Смурный позаботится.

И придется уходить. Но ведь некуда и невозможно. Если б у Гриши хоть как-то сдвинулись его дела — тогда рискнуть… Но теперь — как же? Откуда брать шестьсот пятьдесят? И как всегда, когда получала щелчок по носу— а щелчков таких в Лялиной жизни набралось порядочно, с каждым годом больнее, — после обиды, тихого отчаяния, поспешных и суматошливых соображений, что делать, как протестовать, наступало самое гнусное, убивающее: сомнения. А если — правы? А вдруг — бездарность? И все видят, понимают, Сергей Леонидович жалеет по старой дружбе, а Смурному жалеть нет надобности.

Удрученная страшными мыслями, Ляля долго, недвижно лежала в пустой комнате — гримерша куда-то ушла, не с кем было поделиться, — пока крик из коридора: «Телепнева, на выход!» — не вывел ее из унылого оцепенения. Понедельник! Мать звонит каждый понедельник, когда театр выходной. Слышно было отлично:

— Доченька! Ну как ты? Что у тебя?

Телефон стоял в вестибюле, вокруг шныряли люди. Паша Корнилович с Макеевым прошли с сумкой к дверям, наверно, на рынок. Паша, проходя, шлепнул Лялю сзади ладонью, такой негодяй, всегда шлепает, и Ляля, как ни была

расстроена и поглощена разговором, прикрыла трубку и крикнула:

— Одерни! Одерни немедленно!

Паша послушно подбежал и одернул юбку: чтоб поклонники не переводились. Говорить маме все, что кипело, было тут, конечно, немыслимо. Ляля спрашивала, узнала, что отец здоров, хлопочет о саде, движения пока нет. Гриша на Башиловке, недавно привез по ее просьбе овощей, правда, картошка неудачная, мелкая и дорогая, сейчас молодая по три с полтиной повсюду, а он как-то неловко купил, с утра поехал, по четыре рубля, — разговор о картошке Лялю слегка встревожил, тут был скрыт намек на привычное недовольство зятем, и Ляля с некоторым раздражением прервала мать, сказав, что цены на картошку ее не интересуют, а вот что-нибудь о Гришиных делах: из киностудии ему ответили? Мать точно только ждала этого, сказала тоном агрессивной жалобы:

— Ты же знаешь, твой Гриша никогда ничего нам не рассказывает о своих делах!

В другой раз Ляля пропустила бы фразу мимо ушей, сочла бы ее нормальной, но теперь, когда она едва сдерживалась от того, чтобы не накричать на мать, она не могла смолчать и ответила тоже с нажимом:

— Но можно и самой поинтересоваться, правда же? Ты знаешь, как это нам важно.

— Я не люблю вмешиваться в чужие дела.

— Нет, любишь! — вырвалось у Ляли. — Любишь, любишь!

И уж не могла удержаться, выпалила все: сто раз просили ***этого не делать***, умоляли, объясняли, и вот это здесь, каким же надо быть упрямым, нехорошим человеком, теперь скандал, ну, ладно, что ж говорить, не поправишь, но все очень плохо. Мать, не понимая, металась на другом конце провода:

— Что? Как? Говори яснее!

— О твоих ***стихах***!

— Каких стихах?

— Которые ты любишь ***сочинять*** и посылать в разные редакции!

— Господи, да ведь… когда это было? Четыре месяца назад?

Разговор был бессмыслен, Ляля сказала слабым голосом: «Ну ладно, мама, пока», — и звякнула трубкой.

Старая актриса Алмазова шла к титану за кипятком, замешкалась в вестибюле, ушки топориком, и, когда Ляля кинула трубку, блеснул на секунду жадный старухин взгляд. То ли Алмазиха

услышала и разгадала, то ли Смурный уже пустил звон, но вечером в доме автора кто-то из актерок шептал Ляле возбужденно:

— А верно говорят, ты какое-то заявление на наших написала?

Настроение было такое, что лучше бы вовсе не ходить на этот ужин. Ляля колебалась, но потом — одной в комнате лучше, что ли? С тоски помрешь. И покормят все ж таки. Винца можно выпить, настроение поднять. Но в большой комнате, где все слиплись боками вокруг стола, в теснотище, со Смурным во главе, сидеть было тяжко — видеть перед собой самодовольное лицо, наблюдать откидыванье волос, ускальзыванье глаз, слушать глупые тосты, шутки, подначки. Возмущало Лялю и то, что актеры— особенно Пашка Корнилович с Макеевым, грубая работа, да и Смурный, тот похитрей, — подтрунивали над бедным автором, втайне издевались над ним, тот не понимал, а если и понимал, то не все, жалко отшучивался, его мать-старушка пугалась, ахала или благодарила от души, гости хохотали. Все шутки вертелись вокруг угощения.



— Паш, а капустка-то в пирожках с душком, а? Не находишь?

— Не нахожу-с, ваше сиятельство. Вот грибки, позволю заметить, не того-с…

— Как не того-с? Почему молчали? А я две тарелки Навернул!

— Гриб в желудке не жилец, ваше сиятельство…

Вскрытие покажет…

В таком стиле шла игра, актеры потешались, плакали от смеха, пили, жевали, хлебали, кто-то вдруг вскакивал и истово возглашал:

— Дорогой Николай Демьянович! Спасибо вам за каждую вашу строчку! Спасибо за то, что вы есть!

Аплодировали, кричали «ура». Несчастный Смолянов с землистым от смущения лицом — такое же лицо было у него весной на премьере — не знал, благодарить или отвечать шуткой, только улыбался и кивал, как немой.

— Николай Демьянович! — кричал Макеев. — Вы нас совершенно заговорили! Вы же никому не даете раскрыть рта!

И опять хохотали, а Смолянов кивал, улыбался.

Ляле же это не нравилось. Она не любила, когда ***злошутничают***. Ну что ж, что слабенькая пьеса, не Шекспир? А человек, может, хороший. Пригласил с открытой душой, деньжищ ухлопал тыщи, наверно, три. И все ведь пришли, не отказались, и Смурный пришел, хотя Ляля сама слышала, как однажды в кабинете директора поносил Смолянова, называл его пьесу «рептильной драматургией» — Ляля такого слова не знала, даже выясняла потом. И Боб Миронович был тут,

у мясных пирогов и у водочки, а ведь он в открытую на худсовете выступал против смоляновской пьесы, с директором спорил, Сергея Леонидовича уламывал, чтобы тот отказался. Все, все были тут, критики тайные, насмешники, презиратели, все на дармовщинку сбежались, актер-актерычи несчастные. Выпить-закусить загорелось. Ах ты, боже мой, и глядеть тошно, и жалко их, бедных, и смешно: как дети! Играют, бузят, веселятся по пустякам и больно делают, как настоящие дети, жестокие. И когда вдруг поднялся жалконький актеришка Ерошкин Иван Васильевич и туда же, чтоб не отстать: «Дорогой автор, разрешите поднять сей бокал за то, чтобы вы еще много, много раз радовали нас своими прекрасными… (пауза) пирожками с капустой!» — и были крики «ура», «браво», Ляля не вынесла затравленного вида автора и вышла в другую комнату. Стала там помогать старушке, смоляновской матери Евдокии Ниловне, готовить стол для чая.

Старушка вовсе с ног сбилась. Ляля, как увидела ее, сразу полюбила — на бабушку похожа, такая же хлопотунья, суетится попусту. Бабушка умерла два года назад, жила в Измайлове, в старом дедовском доме.

— Да не ставьте вы пироги! — шептала Ляля

старушке. — Печенья хватит!

— Не ставить? — пугалась старушка.

— Ну их! Обойдутся.

Было жаль трудов Евдокии Ниловны: два блюда с мясным пловом и громадную миску с пирожками за полчаса подмели. Потом Ляля пошла наверх по скрипучей лестнице в светелку — старушка повела знакомиться к больной девочке. И опять Ляля удивилась: дома, в Москве, у нее такая же комнатка наверху, мансарда, где все детство прошло, юность и где теперь они с Гришей. Девочке было тринадцать лет, и она была толстая, развитая, с полной грудкой, как взрослая девушка, но лицо бессмысленное, овечье, с пустым взглядом. Видно было, что бабушка очень любит Галочку: сразу заговорила нежно, тихо, поправила чулки, застегнула пряжку на туфле и, когда привела Галочку в порядок — та сидела в качалке и, качаясь, играла детским шариком на резинке, стукала им методически в пол, — дала ей на тарелке кусок пирога и чашку чаю. Галочка чай не хотела, отодвигала рукой, а пирог ела, но шарик свой не бросала — продолжала стучать в пол.

— А я думаю: кто это наверху долбит? — сказала Ляля.

— Стук-постук, — сказала старушка ласково. —

Это наша Галочка стук-постук да стук-постук… — И, приникнув к уху Ляли, шептала — Целый день вот так стукотит. Горе у нас, горе…

Внизу, в большой комнате, запели. Кто-то стал плясать, топали, двигали с шумом мебель. Ляля вдруг остро почувствовала: домой, увидеть отца, Гришу! Выйти в сад. Вспомнилось: дома вот так же иногда пели, плясали. Сойдутся родные, дядя Коля, тетя Женя с ребятами, дядя Миша, а то отцовская родня привалит с Урала, заведут песни, а Ляля, когда надоест, убежит к себе наверх, в мансарду, читает книгу, а внизу шум, пляс. Девочка бросала мячик, не глядя на Лялю, и, кажется, вовсе не замечала ее присутствия. Старушка шепотом делилась: Галочка от первой жены Николая Демьяновича, которая умерла, уж очень тужила из-за дочери, а новая жена Марта, самолюбивая женщина, Галочку знать не желает и ее, Евдокию Ниловну, видеть не хочет, никогда сюда не приедет, письма не пришлет и Николаю Демьяновичу приезжать запрещает. Деньги, мол, посылай, а больше ничего. А какие деньги? Тоже сказать, пензия небогатая: четыреста рублей шлет. Это когда у них ссора, тогда он и прикатит, в какой год раз. Мама, говорит, она женщина очень даже плохая, взгальная баба, но я, говорит,

ее люблю и она мне в работе помощница.

Ляля слушала старушку, горевала с ней, смотрела на тупое, овечье лицо девочки и думала: «У всех горе. А ведь драматург, успешный…» От этой мысли, что — у всех, и — еще горше бывает, собственные неприятности легчали, таяли.

Через час гости стали собираться, директор вызвал автобус, Ивана Васильевича Ерошкина тащили, беднягу, волоком, все ж таки набезобразничал, успел, в полночь укатили, а Ляля пожалела старушку — осталась посуду мыть. Шофер автобуса обещал вернуться через тридцать минут. Не вернулся почему-то. Смолянов ходил в пижамных штанах и в майке по дому и, напевая, возил по полу мебель, расставлял по местам, таскал грязную посуду на кухню и то и дело подходил к буфету — прикладывался. Ляля думала, что вот-вот свалится. Но автор держался, смотрел на Лялю добрыми голубыми глазами сквозь очки в круглой оправе и улыбался, как официант. Было видно, что рад тому, что гости ушли и все кончилось.

Ляля продолжала надеяться, что он свалится и захрапит, как полагается пьяному человеку, как всегда бывало с отцом, с дядей Мишей, дядей Колей и с Гришей тоже — Гриша мог захрапеть

неожиданно за столом, при гостях, — но автор был, видимо, покрепче. Спина у него широкая, как у гимнаста, и на левой руке выше локтя выколота русалка с хвостом и вокруг русалки два каких-то имени. Когда Ляля разглядела русалку, стало не по себе — подумала, что сейчас, среди ночи, в доме, где нет никого, кроме старушки и больной девочки, автор вовсе и не автор, а здоровый мужик, который спьяну может накуролесить. Но Смолянов вроде не собирался куролесить и даже, кажется, не понимал, что в его доме остается ночевать молодая женщина — а куда ей деться во втором часу ночи? Вдруг взял ее руку, клюнул мокрыми губами — так же клевал тогда, на сцене, в день премьеры, — и невнятно, плачущим голосом пробормотал:

— Простите, добрая моя… Не гневайтесь на меня, ладно?

— Я нисколько не гневаюсь, Николай Демьянович, — сказала Ляля. Руку на всякий случай осторожно отняла.

— Человек я маленький, незаметный, цепу себе знаю, — бубнил Смолянов, — никакой я не этот… Какой я, к черту?.. Но и они тоже дрянь людишки… Только вы не гневайтесь, ладно? Милая моя, хорошая…

Опять норовил клюнуть.

Ляля забеспокоилась, позвала громко:

— Евдокия Ниловна!

Он облокотился о стол, вдруг заплакал, снял очки и стал вытирать глаза ладонью.

Деться было некуда, она легла на диван, накрылась пальто. Но заснуть не могла, было беспокойно и как-то нестерпимо неловко. Чувствовала себя виноватой: за Пашку, за дураков, за всех. Ну, зачем обижали человека? Такой крепыш, плечистый, с широкой грудью, не старый еще, правда уж с лысиной, и — плачет отчего-то, несчастен. Ведь он, должно быть, богатый. Нет, богатство не лает счастья. Надо еще что-то, главное. От этой мысли была смутная радость и чувство превосходства: таинственное что-то, нужное для счастья, казалось Ляле, у нее есть. Она не могла бы твердо объяснить, что это было, но уверенно знала: у нее есть. Потому что, когда другие были несчастны, ей хотелось жалеть и облегчать, делиться чем-то, а значит — было чем делиться, если получалось такое желание. Иногда думала, что это оттого, что нет детей. Но, подумавши глубже, понимала — нет, дети не уменьшили бы желания делиться чем-то нужным для счастья, потому что родные дети были

бы все равно что она сама.

И беспокоясь все больше, Ляля спросила, не сделать ли крепкий кофе. Он согласился, Ляля пошла на кухню, сделала, принесла две чашки. После кофе — была уже половина третьего — спать совсем расхотелось. Смолянов отрезвел, рассказывал, как ему трудно жить, работать: друзей нет, люди к нему недоверчивы, семейная жизнь не удалась. В Москву приехал четыре года назад, до этого работал в провинции, во время войны — во фронтовой газете, а еще раньше, в тридцатые годы, был полярником, зимовал на Диксоне, служил в погранчастях, в угрозыске, в физкультурных организациях, сам был боксером. Однажды своей рукой застрелил бандита на станции Калач. Сейчас вот уже третья пьеса, две других шли в провинции, образования не хватает, все сам, своим горбом, а зимой, когда пробивал «Лесные дали», было так тяжело — сил нет. Хотели его придушить, уже удавку. при-готовили, но ничего не вышло. Знает теперь, какие есть на свете поганые люди. И в ее любимом театре тоже, да, да. Смеялся — пирожками с капустой гнушаетесь? Ничего, мои милые, будете умолять, на коленях ползать: дяденька, дай пирожок с капустой! Ляля слушала с жадным интересом,

удивлялась: похоже, похоже. И его образованием колют, пользуются. Представляла, как на такого здоровяка, жилистого, навалятся всем миром, с удавкой, а он их — боксом.

Стало светать, петухи запели. Смоляиов и Ляля вышли в сад, дорожкой спустились сквозь заросли — душно пахло крапивой — мимо какого-то старого кладбища с поникшими в разные стороны крестами, к обрыву над Волгой и сели там на бревне.

— Вся моя юнь с этим бревнышком закадычным… — рассказывал Смоляков. — И как его в войну не сожгли? Мужиков не было…

Ляля пожималась, зябла, он ее обнял. Река была в белых клочьях, только у края темнела вода, глыбилась черная баржа и еще что-то чернело на берегу, может быть лодки. И там, среди этого черного, на песке жгли костер. Смолянов говорил, что там ютится шпана, ходить опасно. Вот если сейчас спуститься вниз — свободно прирежут, пи за понюх табаку. Он рассказывал что-то про шпану, бандитов, вспоминал. Слушать было интересно, нисколько не страшно, только холодно. Когда шли обратно, продолжал ее обнимать, вдруг остановил, прижал неловко — хотел получше погреть, — и так стояли. И правда, холод был

невероятный — не скажешь, что днем жара, — он грел ее движениями ладоней по всему телу, а сам все говорил, бубнил, напевал, гладил неторопливо и крепко, все крепче, и чем дольше это длилось и чем больше она чувствовала его силу, тем сильней почему-то его жалела.

Вернувшись в дом, выпили немного водки, чтоб согреться, поднялись на второй этаж, прокрались в комнатку, где было темно, шторы опущены и пахло псовым, холостяцким жильем. Разговаривали шепотом, чтоб не разбудить девочку: она спала за стеной.



Он бормотал обиженно, неразборчиво, грозил кому-то, и Ляля все не могла отделаться от чувства стыда за актср-актерычей, ей казалось, что непременно надо оправдываться, утешать — ведь ни за что обидели, за его же хорошее. И утешала горячо, как могла. Не нужно па них сердиться, они наивные, добрые, очень добрые,

а какие они товарищи превосходные, последним поделятся, только вот дурачества иногда говорят, глупости, ради красного словца, да бог с ними, Ляля всегда прощает, потому что — жизнь-то у них какая? Попробуйте-ка на семьсот рублей. А у Ивана Васильевича, у Ерошкина, семья пять человек. Тут должна быть любовь, величайшая, бескорыстнейшая. И у нее, у Ляли, есть враги, вредят ей, устраивают ***затир***, а все равно отравить ей радость не могут — ради этой радости, может быть, даже счастья, пускай минутного, все терпеть, прощать, потому что… Для чего же иначе?.. И он утешался, кивал: «Да, да, понимаю вас…»

Ну вот, и была последняя Лялина доброта и последняя жалость. Поздним утром, разлепив глаза и плохо еще соображая, услышала — стучат. Потом вдруг вспомнила, что больная за стенкой стучит мячиком.

Через полтора месяца, когда Ляля приехала после гастролей и уже после крымского отдыха в Москву, чуть ли не в первый день встретила Смолянова. Он сказал, что пишет новую пьесу. Принес Сергею Леонидовичу первый акт, и тот вроде бы одобрил.

Ляля знала, что она всегда хороша после Крыма. И все люди обычно хороши, но она бывает — осо-

бенно. Как Машка, верная подруга, утверждает: ***возмутительно*** хороша, потому что лежит бесстрашно на солнце, обжаривается дочерна, светлые волосы выгорают до цвета соломы, и тем ярче на смуглом лице яснеют синие глаза, и потому что купается неутомимо, заплывает далеко, не отставая от самых сильных пловцов, а вечерами волейбол, теннис, может быть и не классно, но с азартом, лишь бы двигаться, прыгать, хохотать, уставать, доводить себя до изнеможения. И никаких курортных романов, на фиг, на фиг, от них ни проку, ни соку. Зато когда возвращается, полная сил и тоски по мужу, подругам, театру и даже просто по родной улочке, бегущей мимо церкви, овощного магазина… Смолянов разглядывал Лялю, улыбался, и в его взгляде было то мужское, радостное и откровенное, что Ляля любила ощущать, потому что это ощущение означало, что она ***в порядке*** и все у нее ***как надо***. У Ляли в такие минуты тайного ликования перед собой даже голос менялся. И она изменившимся голосом приветствовала Смолякова, подавая ему руку и слыша, как голос звучит нараспев и в нос:

— Николай Демьянович, ну что же, порадуете нас, значит, новеньким? Очень здорово, очень хорошо!

При этом с удивлением подумала о том, что была ночь, когда она горячо жалела этого человека со скучным лицом — господи, да за что же? В лице Смолянова было что-то сырое, непропеченное.

Он бормотал в своей манере — невразумительно, мял Лялину руку. Ляля сказала легко: «Николай Демьянович, еще увидимся! Пока!» — побежала. На секунду потом остановилась, оглянулась.

— Я очень рада, что вы снова у нас в театре!

Но прошло несколько дней, и все крымское отлетело, а может, просто навалилась Москва с холодами, дождем, спехом, болезнью отца, сердитым Сергеем Леонидовичем, волнениями из-за новой постановки и беготней по магазинам в поисках туфель на каучуке для мокрой погоды.

В новой постановке Ляля, конечно, получила шиш. Но в декабре Смолянов принес пьесу «Игнат Тимофеевич», стал бывать в театре часто, то читка, то обсуждения, доработки, распределение ролей. Сперва ничего не обещали, потом дали муровую ролишку, потом — хорошую, одну из героинь. Ляля совершенно ни о чем не просила, Смолянов сам догадался, поговорил с Сергеем Леонидовичем. Смурный на худсовете возражал, но Николай Демьянович твердо сказал: «Вот так-

то!» — и Смурный заткнулся.

Хотя роль Евдокии, жены Игната Тимофеевича, директорши сельской школы-семилетки, была не ахти какая завидная — очень уж лобовата, ревность, страдания, разговоры поучительные, — но Ляля надеялась всех поразить, показать класс, «из карася сделать порося», как говорил Сергей Леонидович. Работать взялась с упоением. В роли своей отыскивала такие тонкости, такую глубину, что автор изумлялся простодушно:

— Ну и ну! А я и думать не думал…

Все-таки, что бы ни говорили о Смолянове разные умники вроде Боба Мироновича, Ники Герасимова или родного Гриши, одни из снобизма, другие, чего скрывать, от зависти к успехам, — Смолянова в газетах поминали все чаще, хвалебней, «Лесополосы» шли уже в сорока театрах, — было в этом провинциале что-то славное, прочное, какое-то умение нерасторопно, но властно подчинять, добираться ходким медвежьим шагом до сути, до цели. Смолянов теперь приходил в театр ежедневно, сидел на репетициях. Иногда после репетиции, незаметно отлучившись, шли с Лялей в ресторан — обычно в «Москву», на десятый этаж, где был знакомый метрдотель, — оттуда ездили в пустую квартиру

одного друга Смолянова, который уехал в Китай и оставил Смолянову ключ. Однажды в обувном магазине на окраине, где директором был знакомый Смолянова, купили туфли на каучуке (с осени искала, а тут заикнулась и — раз, пожалуйста!). Удивлялась: ведь он в Москве житель недавний, а уж все ходы-выходы знает и знакомых полно. И человек-то не очень уж общительный, мрачноватый даже, не шустряга какой-нибудь. Значит, талант особый. Есть такие люди: все-то им удается по-тихому, дела у них идут, денежки текут, женщины к ним льнут, дуры глупые. Талант! Самый драгоценный: жизнь устраивать, обставлять, как комнату мебелью. Вот бы Грише такого хоть немножко. И то, что было в Саратове случайностью, блажью сострадательной, химерой предрассветной — то ли было, то ли не было, — стало теперь, на исходе зимы, обыкновенностью и простотой, вроде и нельзя без этого никак. В марте, когда премьера была уже близка, Ляля заметила, что Смурный стал ей улыбаться и первым издали здороваться почтительно.

…И забывается вся мерзость ненастья, холод, слякоть, и кажется, что тепло и солнце были всегда и, главное, ***всегда будут***. И вот когда в Лялиной жизни случилось то, о чем она мечтала

годами, почти без надежды, потому что в глубине души с некоторым страхом и смирением подозревала в себе вечную неудачницу, — Сергей Леонидович теперь подолгу работал с нею одной, гримерша, неискренняя баба, стала называть ее Людмилой Петровной, и был случай, когда за Лялей прислали директорскую машину, чтобы ехать на радио рассказывать вместе с директором и Сергеем Леонидовичем о том, как идет работа над новым спектаклем, — когда все это и другое в таком же роде случилось в Лялиной жизни в конце зимы тысяча девятьсот пятьдесят второго года, когда Ляле исполнилось двадцать пять, она очень быстро, пожалуй, даже мигом, привыкла к происшедшей перемене и думала, что теперь так ***будет всегда*** и в дальнейшем может быть только лучше.

— Что переломило жизнь, оставалось для Ляли загадкой, да она и не задумывалась. Ветра, что ли, переменили направление в поднебесье? Где-то за тысячи миль пронеслись ураганы? Бабушка, покойница, любила такую поговорку: «Придет время, будет и пора». И вот пришло Лялино время — а почему бы и нет? Она так упорно ждала, терпела. Мама считала, конечно, что поворот к лучшему случился благодаря ей: давешняя кля-

уза помогла. Возможно, что и так. А возможно, что Николай Демьянович повлиял. А еще того возможней, что Сергей Леонидович, который вообще-то всегда, еще с приемных экзаменов в училище, на которых Лялю провалили, относился к ней хорошо, даже чересчур хорошо, привык, пригляделся, а вдруг увидал сосвежа и сам изумился: «Да что ж это, товарищи, мы с Людмилой Телепневой делаем?» Он однажды, передавали, так про нее сказал: «Ну, милота, ми-лота, а дальше что?» Да ведь если милота есть, это ужасно много. Милота на улице не валяется. «Милота» — дар божий, — говорил Ксенофонт Федорович, художник, который и передавал услышанное. — Развивать нужно, лелеять, а не нос воротить». Ксенофонт Федорович был отличный человек. Лялю любил, как дочь. Умер, бедный, от сердечного приступа: пил много.

И все-таки бабушка мудрей всех — пришло время, вот и пора.

Занавес закрылся, актеры поспешно бросились за кулисы, но Ляля не успела за другими, и, когда полотнища вновь распахнулись, шумящая волна из зала захватила ее, она оказалась одна на сцене и не могла сообразить, кланяться ей одной или ждать остальных. Кто-то схватил ее руку

и, больно сжав пальцы, потянул к рампе. Она поклонилась, краем глаза увидела, кто тянул: Макеев. Тот улыбался и шептал злобно:

— Кланяйся, ну! Тебя же вызывают…

И снова так же: все гурьбой, отпихивая друг друга, кинулись за кулисы. Ляля почему-то замешкалась, и волна накрыла ее одну. Кто-то бросил букет. Актеры перестали кланяться, выстроились неровной шеренгой, тоже стали аплодировать, и все повернулись в сторону правой кулисы, откуда вышел Сергей Леонидович с лицом немного бледным и брезгливым, какое бывает у него от усталости к концу репетиций. Ляля смотрела на Сергея Леонидовича, едва сдерживая слезы, ей хотелось обнять его и сказать ему, какой он настоящий и замечательный. Неожиданно он взял ее за руку и вывел вперед. Они стояли одни перед залом, который наполовину уже опустел, но гремел, клокотал и напирал на сцену еще сильнее, чем прежде.

— Спасибо, Сергей Леонидович, — сказала Ляля. — Спасибо вам…

— В зал, в зал! — не глядя на нее, пробормотал он.

Потом вышел Николай Демьянович в отличном светлом костюме, с белым платочком в

карманчике, в каких-то новых очках с толстой черной американской оправой — эти очки совершенно его изменили, и вообще он выглядел непривычно. Он уже не сгибался в поклонах, как официант, лицо его не покрывала смертельная бледность, и оно не блестело потом, держался он прямо, кланялся солидно, опуская голову, и было похоже, что он соглашается с кем-то: «Да! Да! Да!» Потом он подошел к Сергею Леонидовичу, обнял его и поцеловал. Ляля заметила, что Сергей Леонидович запунцовел, стискивая Николая Демьяновича с горячностью и что-то говоря ему на ухо. Затем Николай Демьянович подошел к Ляле, поцеловал ей руку, шепнул:

— Сегодня бы надо отметить…

Ляля не успела ничего сказать, как он уже отошел, жал руки актерам, а женщинам целовал. Наконец отгремело, иссякло, все спускались по узкой лестнице вниз, разговаривали хором, хохотали, поздравляли друг друга. Сергей Леонидович поддерживал Лялю под локоть.

— Семь раз вызвали! Семь, семь! — кричала помреж Лемберг, которая стояла внизу лестницы и, подняв обе руки, показывала растопыренными пальцами: семь. — Успех, Сергей Леонидович!

— Да, да, посмотрим… — кивал главный. — Но

вы, Ада Максимовна, очень торопите занавес. Получается назойливо, провинциально.

— Вы же сами просили, Сергей Леонидович!

— Надо соображать: видите, обозначился успех, значит, незачем гнать занавес, и без того хлопают. Вы соображайте. Ну, ничего, пустяки. Поздравляю вас. — Он устало улыбнулся, пожал Лемберг руку. — Облака в третьем акте снять, запишите. Ни черта не получается, какая-то каша.

Сергей Леонидович прошел дальше, а Лемберг обхватила Лялю сзади за плечи и чмокнула в щеку.

— Лялечка, поздравляю! Ой, прости, испачкала! Ну, ничего, сейчас смоешь грим. Все чудесно, замечательно, только в последнем действии одно местечко, когда Макеев подходит к крыльцу и ты поворачиваешься…

Лемберг тараторила в возбуждении, двигая большим накрашенным ртом, но Ляля понимала плохо.

— Спасибо, Адочка, большое спасибо.

Она кивала и улыбалась почти бессознательно, потом тоже чмокнула Лемберг в щеку. Им тут же пришло в голову, что еще месяц назад (да какой месяц — еще вчера!) она не посмела бы не только поцеловать Аду Максимовну, но даже назвать

ее Адочкой, а сейчас это вышло так просто, само собой, и Лемберг как будто даже довольна тем, что ее чмокнули. Все вокруг продолжало меняться, и она менялась сама, она это чувствовала. Так и должно быть, ничего странного. Не нужно удивляться. Все, что ее окружало и было с нею связано, менялось, менялось неумолимо и ежесекундно, и люди, кажется, это чуяли, как птицы чуют перемену погоды.

Когда, разгримировавшись и переодевшись, Ляля вышла в кулисный зал, там уже стоял окруженный актерами Сергей Леонидович и делал замечания по какой-то сцене. Он сам показывал, что следовало делать и в чем была ошибка, и по тому, как он показывал, смешно, с увлечением, было ясно, что у него превосходное настроение, что он чувствует удачу и уже слышал от кого-то ободряющие прогнозы. И все это понимали и, глядя, как Сергей Леонидович показывает, хохотали восторженно. Здесь же был Смурный, который тоже улыбался, глядя на Сергея Леонидовича, и на его лице застыло выражение несколько приторной радости. Он сказал Ляле:

— Очень, очень здорово, Людмила Петровна! Поздравляю от души!

По глазам было видно, что фальшивит. Впро-

чем, так же фальшивила Женька Милютина, которая целовала Лялю, говорила, что страшно счастлива за нее и что пора наконец положить предел террору старух и всей молодежи объединиться. Раньше, когда Женька была в порядке, а Ляля в ***затире***, она этого не предлагала. Но все это Лялю сейчас не трогало, худое не вспоминалось, хотелось быть доброй, великодушной, и, прочитав в ласковых глазах Смурного глубоко запрятанный мелкий собачий страшок, она даже испытала к бывшему врагу нечто вроде сочувствия и ответила радостно:

— Спасибо, Герман Владимирович, спасибо вам!

Тут в зале появился Николай Демьянович, сказал что-то насчет банкета в «Гранд-отеле», кажется, в понедельник— Ляля слушала плохо, думала как быть: Гриша ждет внизу, придется знакомить. Николай Демьянович, подойдя к Ляле, сообщил негромко, но совершенно спокойно, как будто вокруг не было людей:

— Буду ждать внизу, у кабинета директора. Там два друга со мной.

После этого исчез.

Ляля вернулась в свою уборную, сложила вещи в чемоданчик, взяла цветы, но, прежде чем уйти,

присела на минутку перед зеркалом. На душе было смутно. Радость мешалась с ощущением тревоги, надвигалась громадная неловкость. Гриша не рвался на премьеру, не любит сюда ходить, болезненно самолюбив, здесь его обижали. Но она уговорила. Мать, которая не могла оставить отца, тоже уговаривала, но в своем стиле: «Идите, идите! Кто-то должен Лялечку встретить и проводить домой». Родственников набежит много — дядя Коля в полном составе, младшая мамина сестра Вероника, тетя Женя и дядя Миша, их ребята Майка и Борька, Майка уж наверняка, завзятая театралка; Валентина Абрамовна, сестра дяди Миши, хотела прийти, и тетя Тома собиралась специально приехать из Александрова. Всех мать перебулгачила. Ляля с ней даже поругалась. Зачем это нужно: устраивать в театре ***телепневскую*** ходынку! Нет, правильнее сказать ***фомичевскую*** ходынку, потому что все — мамины родственники, а из отцовских если кто и придет, так один, может быть, Славик, сын дяди Феди. Но всем было сказано абсолютно твердо: никаких ожиданий в фойе, семейных демонстраций, возгласов, букетов и т. п. После третьего акта — пальто, галоши, и до свиданья. Встретимся дома — 4-я Почтовая, тридцать два. И

только Борьке, страстному фотографу, разрешено было сделать два-три снимка где-нибудь в фойе, когда все кончится. А встречать будет один Гриша. И с ним Ляля поедет домой. Но как раз Гриша был единственный — Ляля знала — кто придет сюда без охоты и даже, наверное, без букета. Бог с ним, не важно. Мрачнейшее настроение, можно простить. Временами становилось безумно его жаль, ночами ломала голову: что сделать для него, как помочь? И казалось, если не вытащить в театр, еще тягостней будет ему дома или в его любимой библиотеке. Все было бы нормально, если бы Николай Демьянович не предложил куда-то пойти. Один, без жены. Значит, опять в ссоре. Ужасная женщина: в такой день ссориться! Отравляет ему все праздники. Ах, было бы недурно пойти куда-нибудь вкусно поесть, выпить вина, красненького сухого, в «Арагви», например, — даже засосало под ложечкой и на языке возник вкус сациви. Но Гриша… а если — всем? В самом деле — ну что особенного?

Ляля смотрела на себя в зеркало — лицо было бледно, чуть розовело у скул, нежная немецкая помада придавала губам влажный и какой-то очень свежий, девический блеск. Все говорили, что у Ляли красивый рот, и она это знала.

Смотрела па свой роте удовольствием. Медлила: пусть актеры разойдутся, не надо спешить, проще встретиться с Николаем Демьяновичем в максимально пустом фойе и потом где-то возле вешалки в вестибюле знакомить его с Гришей. И пускай родственники исчезнут. Особенно опасны были Майка с ее назойливостью и жена дяди Коли Липа, Олимпиада Афанасьевна, патентованная семейная дура. А уж неловкости с Гришей и Николаем Демьяновичем, разумеется, не избежать. Гриша, может быть, что-то почуял, но скорее всего нет, слишком удручен своими невзгодами. Был неуклюжий эпизод с рубашкой, которую Ляля купила в подарок Николаю Демьяновичу ко дню рождения: хранила рубашку в комоде, Гриша случайно нашел, удивился, спросил, чья. Ворот-то чересчур большой, сорок пять сантиметров. Гриша носит сорок один. Пришлось соврать, что собирают коллективный подарок одному хорошему человеку, виолончелисту Тамаркину из театрального оркестра. Стыдно, а что делать? Ведь сказать честно значило бы, во-первых, нанести Грише удар чудовищной силы, что было бы бесчеловечно, особенно теперь, когда он в таком состоянии, и, во-вторых, — неправда, вернее, частичная правда, не истинная правда.

Потому что то, что происходило у Ляли со Смоляновым, нельзя было назвать ни увлечением, ни чем-то другим, определенным. Ляля не знала, что это было. Ничего от него не требовала, не ждала. Никакой воспаленности, жгучей необходимости видеть и знать ежедневно, ежечасно — что Ляля испытывала когда-то с другими — здесь не было. Могла неделями не видеть Смолянова и не страдала оттого, что он не звонит в театр, не разыскивает. Но когда с ним встречалась, было всегда хорошо. И всегда его за что-то жалела. Знала, что эта жалость ему нужна: ведь ни жена-эгоистка, ни больная дочь, и ни старуха мать где-то там, далеко, и уж тем более ни публика, ни театральные друзья не могли ему этого дать. Он так и говорил: «Одна ты во мне хоть что-то понимаешь».

Оставить ради него Гришу! Может, он и хотел бы. Но речи о том не было, и Ляля никогда бы не согласилась — еще сильнее мучилась бы за Гришу. С Гришей вся жизнь. Хоть и не расписаны. Но не в этом же дело! И школа, и юность, и война, голод, надежды, дети неродившиеся. И вот теперь, когда что-то засветило…

У Ляли даже горло сжало, когда вдруг представила Гришу, оставленного ею. Нет, никогда!

Сейчас дождь на улице, гремит по железному отливу, а Гриша наверняка ждет ее не в театре и даже не под аркой театрального подъезда, а где-то поодаль, жмется к степе. Такой человек. Все в нем больное, перекрученное. Ляля заторопилась, схватила чемоданчик, цветы, погасила свет и вышла поспешно.

Когда шла быстрым шагом, почти бежала по коридору, услышала обрывок разговора:

— Заметила, как она себя выделяла? Одна на сцене оставалась несколько раз. Манера захолустных премьерш.

— Господи, чего ты хочешь? В пашем театре только так и выдвигаются…

На секунду было искушение вернуться, поглядеть: кто? Не имеет значения. Теперь это будет, начнется, и — все правильно, так и быть должно. Фойе было полутемное, публика почти рассеялась, и, слава богу, никаких знакомых лиц. Вдруг слева ослепительно вспыхнуло — Борька подскочил и щелкнул почти в упор. Ляля даже не поглядела в его сторону. Николай Демьянович разговаривал с двумя незнакомыми мужчинами, тут же стояли Роман Васильевич, директор, и администратор Бра-вин. Ляля прошла мимо, кивнула скромно:

— Всего доброго!

Мужчины нестройно, весело отозвались, кажется, были уж в легком коньячном возбуждении, директор сверкал золотыми зубами в улыбке, администратор Бравин крикнул: «Людочка, на чаек с вашей милости! По случаю премьеры!» — а Николай Демьянович сказал:

— Людмила Петровна, а не подвезти ли вас? Я на машине.

Ребров, конечно, на спектакль не пошел. Еще чего: ходить на Смолянова! С одиннадцати часов засел в Библиотеке Лепина в третьем научном зале и читал об Иване Гавриловиче Прыжове. Накануне заказал все, что нашел в каталоге: «Русский архив» за 1866 год, «Историю кабаков», «Нищих на святой Руси», статьи в «Голосе», в «Московских ведомостях», в «Санкт-Петербургских ведомостях», книжку Альтмана, сборник статей и писем тридцать четвертого года, «Минувшие годы» и многое другое. Великолепное чтение на несколько дней. Зачем был ему нужен Прыжов, Ребров и сам не знал. Зачем-то нужен! Сидение в библиотеке, глотание старых книг, газет и журналов превратилось в необоримую, тяжелую привычку вроде пристрастия к картам или курения наркотиков. На Прыжова Ребров

наткнулся, заинтересовавшись Нечаевым. Собственно, впервые он узнал об этом имени год назад, когда здесь же, в третьем зале, читал номера старых журналов. Все это было ни к чему. Какой-то неизбывный дурман. Были дни, когда он даже не обедал, только ходил в курилку. А ведь нужно писать какой-то очерк, что-то придумывать со сценарием! Нет, Иван Гаврилович Прыжов, совершенно бесполезный и давно всеми забытый дядя, незадачливый бунтовщик, историк, пьянчужка и попрошайка, благороднейший человек, бытописатель народного житья, живший сто лет назад, не отпускал Реброва. А может быть, глупая, бездонная любознательность или еще более глупая лень. До шести часов, когда уже зарябило в глазах, Ребров просидел в библиотеке, исписав страниц двадцать — боже мой, для чего же? — разных фактов и соображений, почерпнутых из жизни Ивана Гавриловича и из его сочинений. Потом пошел в кафе «Националь» ужинать. Угнездившись за любимым столиком у окна, он пил кофе, жевал весь вечер один остывший шницель с сухим картофельным «паем», который умели по-настоящему делать только здесь, в «Национале», и выпил раза два по рюмке коньяку: подходили знакомые и угощали.

Ребров был без денег. Утром взял у Ляли десятку. В «Национале» все шло чередом: подсаживались, знакомились, уходили, передавали, сообщали, острили, пугали, возмущались, одалживали, устраивали, напивались, буянили. В седьмом часу пришли с бегов, рассказывали, какие были выдачи и новые плутни, в девять, как всегда, явился художник Рысев, про которого говорили, что с ним надо поосторожней, в десятом стали возникать актеры, не занятые в последних актах. «Говорят, в Малом полный провал…», «А Мыщикова действительно сняли?», «Слушайте, а это знаете: пришел раввин к проститутке…», «За таким товаром надо ехать в Ригу!», «Смотрите, какая красотка у нашего друга!», «Что это значит: у Ляльки премьера, а он тут бражничает? Почему ты не в директорской ложе, негодник?»

Ребров делал ленивое, презрительное движение рукой, не желая пускаться в объяснения: презрение относилось и к сути вопроса, и к тому, кто спрашивал. Каждому ярыжке кабацкому давать отчет. К тому же коробило — «негодник», «Лялька». Вечное актерское панибратство. Он все еще был во власти Ивана Гавриловича, и, разговаривая с ярыжками, думал о нем. Кабацкий механизм остался, по-видимому, неизменным: та

же тяга к общению, забвению. Недаром Прыжов сжег два последних тома своей «Истории кабаков», боясь, что правительство усилит надзор и прижмет эти горькие клубы. Никто не мог понять, что с Ребровым происходит.

Около десяти, когда Ребров уже собрался уходить — до театра на троллейбусе было не больше четверти часа, — появился Шахов, как обычно на бегу, второпях спросил, как дела у Реброва. Вид был инспекторский, деловой, и, спрашивая, окидывал орлиным взглядом соседние столики: не терял ни минуты. Ребров ответил, что ничего нового. И добавил по-прыжовски:

— Умираю, а ногой дрыгаю.

— Вот что, милый, — сказал Шахов, высматривая кого-то в дальнем углу зала, — ты мне позвони дней через пяток или я тебе. Может, что-нибудь придумаем. Подрыгаем вместе…

Было холодно, лил дождь. Публика из театра уже потекла, но не толпой, а ручейком, те, кто сбежал до конца. Ребров не стал заходить под арку театрального подъезда, не желая встречать актеров и всяких знакомых деятелей, обыкновенных посетителей премьер, и всего более опасаясь наткнуться на Лялиных родственников. Не то чтобы он не любил этих людей, большинство которых

было из клана Ирины Игнатьевны, но старался держаться от них подальше: может, многие были прекрасные люди, вполне добропорядочные, но в каждом из них ему чудилась небольшая порция тещи. Он встал у стены, чтобы скрыться от дождя и одновременно наблюдать за выходящими. А вот почему — «ну, почему, спрашивается? — он не мог бы стоять в подъезде и с улыбкой встречать знакомых, пожимать руки родственникам, шутливо отвечать на приветствия? «Муж волнуется?» — «А что делать? Сэ ля ви!» А еще лучше — с букетом цветов в фойе, внизу, и на глазах у всех кинуться навстречу, обнять, расцеловать при одобрительном гуле толпы?

Но все это было ***совершенно невозможно***. Пуще всего на свете Ребров боялся показаться смешным.

Это свойство, присущее натурам самолюбивым и замкнутым, доставляло Реброву порядочно затруднений в жизни. Затруднения начались давно, еще в годы школы. С Лялей учились в одном классе, она очень нравилась, мучительски, немо, непонятно чем — косами, что ли, голосом, ранней женской статью или смелостью на школьных подмостках в роли Неле из «Уленшпигеля». Сказать было нельзя, даже смотреть в ее

сторону невыносимо, и вот — истязание. Однажды выскочил с ребятами после уроков, Ляля на дворе, спросила: «Ты домой?» Вместо того чтобы закричать: «Конечно! Идем!» — едва не задохнулся, буркнул: «Да нет, я тут…» Если бы не было ребят! Но те следили зорко, и — ушла, больше не спрашивала, так и ходили целый год, а то и два в одну сторону, но не вместе.

Потом, в классе уже девятом, был темный зал в каком-то клубе на Тверской-Ямской, вечерний сеанс, на экране ловили вредителей, стреляли, мчались на конях. Ребров и Ляля, сидевшие в заднем ряду, ничего не понимали. Его левая рука и Лялина правая сплелись в темноте и ласкали друг друга, обнимали, стискивали до боли. Полтора часа это длилось. Ребров и Ляля не произносили ни слова, и лица их были обращены к экрану. Когда зажегся свет, встали и, пряча глаза, по-прежнему не говоря ни слова, пошли к выходу. На улице Ляля вдруг расхохоталась и сказала, что он очень смешной. Пораженный в самое сердце, он пробормотал: «Ты тоже смешная!»

Да, да, старый страх: быть смешным. Но получалось еще хуже. Просто сказать «я тебя люблю» представлялось смехотворной нелепостью, нарушением всех правил хорошего тона, и в

результате он тупо молчал, что было нелепостью еще большей. Она ведь первая предложила стать его женой — зимой в сорок седьмом. А у них тогда уже все произошло. Но он никак не решался. Потому что вдруг откажут? Что тогда: под электричку? И вокруг нее были мужчины, тот хромой, потом тот, кто устраивал ее в театр, еще был какой-то Яша, какой-то Валерий, друг детства, сын тещиной приятельницы. Теща давно мечтала выдать Лялю за этого Валерия и, кажется, до сих пор не оставила дикой надежды.

А Гриша любил ее всегда, все тринадцать лет. Не было дня, чтобы о ней не думал. Когда уезжала на гастроли или на юг — она любила отдыхать одна, так уж был|о заведено, — он не находил себе места, мыкался, мертвел от тоски, не мог ни работать, ни гулять. Приятели знакомили с девушками, старались отвлечь, но у него пропадал всякий интерес, когда Ляля странствовала и когда, казалось, наступало удобнейшее время. Вот если она в Москве и все в порядке — тогда он не прочь. Но и то больше в разговорах, чем на деле. «А хорошо бы нынче это самое — оторваться…» — говорил приятелю за чашкой кофе, глядя на каких-нибудь бледных студенточек в библиотечной столовой. Ах, боже мой, за все годы

было, может быть, два или три случая, когда он отрывался. Разве это цифры для молодого мужика? Все равно что нуль. Тут было еще суеверие, нечто вроде тайного страха, в каком даже себе не признавался: если он позволит, значит, и там будет что-то позволено. Наверное, там и позволялось. Это была главная мука его жизни. Ведь удивительное простодушие — ничего не стоило поцеловать, с легкостью ответить на ухаживание. Нет, это не значило, что пойдет до конца, но несколько шагов ***по пути к концу*** пробежит не задумываясь. Тут не актерское, не среда, а — характер. Доброта, будь она неладна. Был однажды случай, давно, перед войной. Ну, конечно, перед самой войной, в июне: поехали после экзамена вдвоем купаться на Щукинский пляж. Пляжа там до войны никакого не было, а был только высоченный и крутой песчаный откос. Вода, конечно, холодная, начало лета, окунулись раза два и лежали на песке, и тут откуда-то взялись три парня, стали заигрывать с Лялей, задираться с Ребровым: вели к драке. Ребров, как всегда в таких историях, терпел долго, накалялся, потом будто взорвался, полез в беспамятстве с кулаками, ну и те стали его молотить. Избили бы, наверное, «вусмерть», как тогда выражались на

улице, но Ляля бросилась защищать, закричала: «Перестаньте! Что вы делаете? Что вам нужно от нас?!» И вдруг: «Ну, хотите, я вас всех поцелую?» И верно, поцеловала всех троих, одного за другим. Те оторопели, она взяла Реброва за руку и увела. Привезла на трамвае к себе домой, Ее родители ужасались, делали ему примочки, поили чаем и оставили ночевать в дачном домике на веранде. Ночью пришла Ляля, ничего не было, кроме ласк, бурной Лялиной жалости, и Ребров не испытывал потребности доказывать, что он настоящий мужчина, — он и так ощущал это всем своим гордым избитым телом. Лишь одна мысль терзала, не давала сна и утром — сквозь пение птиц, солнечный, лиственный свет — разбудила злой болью: как же могла поцеловать? Всех троих? Так просто? Господи, да ведь хотела его спасти. И спасла, спасла! Спасла? А если бы, чтоб спасти… еще похуже? Со всеми тремя? Помедлив, ответила твердо: если бы, чтоб спасти — могла. Да, могла бы. Безусловно могла, если бы чтоб его спасти. Он застонал, повалился на кушетку, до крови мучая зубами губу. Отчаянность была не в том, что могла бы, а в том, что — так просто, твердо, не колеблясь. А потом, когда встретились с Лялей случайно, после трех лет военной круговерти

— после фронта, ранения, сибирского госпиталя — в каком-то доме у Сретенских ворот, и он увидел рядом с нею хромого поэта, знаменитого тем, что сочинял песенки для инвалидов и слепцов, жалкое созданье, мозгляка, алкоголика, и Реброву сказали, что Ляля ходит за Лазиком — так звали этого хромушу — как нянька, предана ему необыкновенно, и когда поэт был отброшен, хотя и с трудом, все кончилось, старое зачеркнуто, замазано черной дегтярной краской, все равно сквозь эту черноту проглядывали и Лазик, и трое на берегу, и какой-то подлец, пытавшийся Лялю изнасиловать, и еще много неведомых, о существовании которых он достоверно не знал, но догадывался. Никого из них нельзя было уничтожить навсегда.

В разные времена возникали разные тревоги: то Макеев, то сам Сергей Леонидович, о котором она говорила с придыханием как о существе божественном, то беспокоил режиссер Смурный, хотя Ляля его ненавидела, и в этом была как будто некоторая гарантия, но Ребров знал, что при Лялином мягкосердечии самая страстная ненависть может легко перекинуться в страстное сожаление, даже в сочувствие, тут надо держать ухо востро. Неприятен был Валерий с его

мамашей, которых теща любила приглашать в гости. Иногда вызывали подозрение драматурги, особенно такие удачливые, как Федька Арнольдов, жгучий брюнет, в Лялином вкусе, Смолянов тожа мог представлять опасность, и уж крайнее раздражение вызывал один актер по фамилии Корнилович, некий Пашка: под маркой товарищества он держался с Лялей невероятно фамильярно, в присутствии Реброва позволял себе с Лялей сальные шуточки, говорил ей «ты», обнимал ее, хватал за руки. Поэтому Ребров не любил бывать в актерских компаниях. Да и о чем с ними разговаривать? Было скучно, к тому же он напрягался, душил в себе ревность, а это вело к гадкому, унизительному. В том-то и дело, что, мучаясь, он не желал ничем эту муку обнаруживать. Готов был умереть от удушья ночью, в припадке тоски, но ни за что не примчался бы в город, где шли гастроли, или на курорт, куда Ляля улетела с подругой, и никогда во время Лялиных отъездов не звонил ей по телефону. Звонила Ирина Игнатьевна. Сообщала все сведения. А он, с жадностью ловя каждое слово, напускал на себя уныло-спокойный и даже рассеянный вид, отчего теща скрытно негодовала, считая, что он мало волнуется и, значит, мало любит: это подтвер-

ждало ее догадку.

Но когда Ляля возвращалась — счастливейшие дни! — он с первых же минут, с вокзала или аэропорта, старался кое-что тончайшим образом выведать и распознать. Шло исследование самых малых изменений, происшедших за дни разлуки в ее привычках, голосе, здоровье, отношении к нему, и в первую же ночь тайному суровому испытанию подвергалась ее любовь: не дай бог, не появился ли в ней какой-нибудь новый опыт. Она, конечно, ни о чем не догадывалась. И вот из-за всего этого, наверное, он не мог так свободно приходить сюда и, улыбаясь, разговаривать со всеми этими людьми. Когда летом приехали из Саратова и Ребров встречал ее на вокзале, Корнилович нарочно громким, шутовским голосом говорил Ляле: «Ну что, Лялечка, признаемся Грише во всем? А? Давай признаемся!» Актеры хохотали, Гриша силился улыбаться, а на душе кошки скребли: черт их знает, а вдруг?

В театр не любил приходить еще вот почему: Лялю тут унижали. И он не мог защитить. Его тоже унижали. Две пьесы сюда давал, одну молодежную, о стройке университета, другую вроде детской сказки, о войне в Корее, обе не прошли. К своим пьесам Ребров относился двойственно — с

одной стороны, как бы не всерьез, видел их слабину, прозрачный расчет, но не очень-то огорчался, полагая, что эти пьесы для него дело второстепенное, неглавное; с другой же стороны, они были делом вполне главным и даже главнейшим в смысле житейском, на них зиждилось будущее. И потом, оскорбительно — почему не берут? Неужто настолько плохо, хуже всего остального, даже какой-то смоляновскюй чепухи?

Публика уже шла густой толпой, дождь усиливался, проходившие говорили о такси, метро, о том, что надо зайти в булочную, никто не говорил о спектакле. «Ну конечно! Все правильно», — без всякого удивления думал Ребров. Со Смоляковым он знаком не был, пьес его не видел и не читал, но почему-то был убежден в том, что Смолянов — бездарность и ловкач, а пьесы его — чепуха.

Появился завлит Маревин Борис Миронович, или, как его называли в театре, Боб; держал ребровские пьесы четыре месяца, этакая свинья, и лишь недавно через Лялю передал, что, мол, не подойдет. Не удосужился даже пригласить, объяснить. Не написал никакого официального письма. А чего церемониться? Свой человек, муж Лялечки, не ***настоящий*** автор. Когда приносит Берг или Федька Арнольдов, он небось за одну

ночь глотает и чуть свет звонит: «Послушайте, безобразие, вы меня лишили сна, не мог оторваться…» На улице грозный Маревин, перед которым трепетали авторы, выглядел совсем иначе, чем в своем кабинетике с чернильным прибором зеленого мрамора в бронзулетках, — довольно жалко. Да еще под дождем. Неказистый, плюгавого роста господинчик в берете, в пальтишке не лучше ребровского, с портфелем, он выбежал под дождь, согнулся, подергал, как комарик, тонкими ножками, поглядел по сторонам — увидал Реброва, поклонился. Ребров ответил высокомерным кивком. Тут сильный, с ветром обвал дождя шарахнул Маревина, шатнул его к стене дома, и Маревин невольно приблизился к Реброву — так что нельзя было не поздороваться и не сказать двух слов.

— Ждете Лялю? *У* нее сегодня большой день. И вас поздравляю…

Ребров не желал разговаривать с ним о Ляле. Спросил:

— Ну, что пьеса — колоссальный успех? Публика воет?

— Вы с ума сошли! — зашептал Маревин. — Дерьмо средней руки. Желаю здравствовать…

Убежал, подпрыгивая. Вдруг подумалось:

можно бы написать отличную пьесу об Иване Гавриловиче. Все тут есть — драма, и смерть, и живописные лохмотья, и преданность женщины, и мученическая жизнь нищего литератора, готового продать рукопись за рюмку! А как с убийством? Но ведь он не хотел убивать Иванова, отказывался, умолял, говорил, что стар, слеп, но они сказали: «Мы вас понесем». И, кажется, напоили водкой. В том-то и ужас. Достоевский сотворил гениальную карикатуру, «Бесов», а если попросту, как оно было… Только вот зачем? Для кого?

В дверях появился Макеев в роскошном пальто с шалевым воротником, руки в карманах, до носа закутан белым шарфом, кто-то тащил сзади его чемоданчик. Макеевские поклонницы, «сыры», дежурившие под аркой, запищали хором: «Макеев душка — да! да! да!» Потом вывалилась большая компания, в центре — Ляля. В согнутой левой руке, как ребенка, держала громадный букет. Шумно прощались, вскрикивали, махали шляпами, какая-то женщина целовала Лялю, компания быстро рассеивалась. Ребров слегка попятился и вышел под дождь. Ляля продолжала разговаривать с кем-то. Ребров узнал Смолянова. Он напрягся. Прирос к месту, сказав себе, что не

сделает ни шага к Ляле, пусть она подойдет к нему. Ляля и Смолянов, разговаривая, медленно приближались к Реброву. Ляля его увидела, но была настолько увлечена, что не кивнула, не улыбнулась ему, не сделала никакого жеста, свидетельствующего о том, что она его вообще заметила. Они, кажется, и дождя не замечали. «О черт! Зачем она его тащит?» — заметался Ребров. Ляля и Смолянов подошли, остановились в двух шагах, и Ляля, не глядя на Реброва, протянула ему букет.

— Это что? — спросил Ребров, беря букет. — Мне подарок, что ли?

— Гриша, подержи. — Ляля впервые посмотрела па него. Взгляд был слегка очумелый, глаза блестели. — Ой, прости, Гришенька! Вы не знакомы? Смолянов Николай Демьянович. Ребров Григорий Федорович. Гриша, вот Николай Демьянович предлагает куда-нибудь пойти отметить…

Смолянов приподнял шляпу, его рука оказалась неожиданно сильной.

— Поздравляю вас с, так сказать, праздником… — пробормотал Ребров, чувствуя в своем голосе какую-то гнусность. В следующую секунду оправдал себя: «Да что ж, бедняга разве виноват в том, что бездарен? А у человека как-никак

премьера».

Смолянов, наверное, не расслышал — не поблагодарил, не сделал даже маленького поклона в ответ на поздравление и вместо этого бубнил чепуху:

— И вот странность, Григорий Федорович: не играл, не бегал, сидел в ложе и смотрел, а, знаете, спину ломит, будто мешки с картошкой таскал. Ну — работа! Я бы драматургам молоко бесплатно давал, как за вредное производство…

Подошли двое, Смолянов знакомил: один был из управления театров, другой — какой-то земляк Смолянова, саратовский, теперь работал в Москве. Земляк попрощался, а тот пригласил всех в «Победу». Когда садились в машину, невесть откуда высыпались вдруг Лялины родственники, человек пять или шесть, предводительствуемые тетей Липой, громогласной дурой; все это обрушилось на Лялю, с поцелуями, букетами, вскриками, вспыхивал блиц, кто-то эту суматоху снимал; наконец Ляля отбилась, удрала в глубь машины, за нею полез Ребров, которого никто, слава богу, не заметил, и последним втиснулся Смолянов, захлопнул дверь. В машине нельзя было повернуться от букетов. Ляля отчего-то безумно хохотала. Куда ехать? Решили: в новую

гостиницу «Советская», на Ленинградском шоссе. Там, говорят, был ресторан с цыганами.

До революции домик, где жили Телепневы, был дачкой какого-нибудь фабричного служащего или чиновника из небольших, у кого не хватало пороху поселиться в настоящей подмосковной, с речкой и берегом, в Лосином острове или Кускове, и кого служба обязывала ежедневно ездить в Москву, отчего близость к городу играла первейшую роль; революция всех дачевладельцев, крупных и мелкоту, вытряхнула из домиков, заселила светелки, зальцы и верандочки рабочим людом, недавними солдатами, мужиками и бабами, прихлынувшими в столицу из голодных мест. Так в 1922 году поселился здесь, тогда еще за чертой города, демобилизованный красный боец Петр Телепнев, из екатеринбургских мещан, по профессии мастер-котельщик, по призванию садовод. Учился на рабфаке, работал сперва мастером, а потом до сменного инженера дошел на большом новом заводе, что вырос неподалеку от дома, на старом Ходынском поле.

Но сильней, чем завод, чем дорогие сердцу котлы и, может, сильней, чем жену и дочку, любил Петр Телепнев свой сад, взлелеянный за три десятилетия. Особенно богаты были георгины.

Ими славился Телепнев по всей Москве. Среди цветоводов так и говорилось — «телепневские георгины», иногда даже просто «телепневские», потому что каждый понимал, о каких цветах речь. Были в саду и другие цветы — тюльпаны, астры, хризантемы, левкои, замечательные и тоже знаменитые ирисы, и была сирень, богатейшая, восемнадцать кустов, вдоль всего забора. Но к сирени Петр Александрович относился почему-то не так бережно и ревниво, как ко многим цветам, разрешал ломать ее, отсаживал кустами, дарил направо и налево, благо что родственников пол-Москвы.

В войну сад едва не погиб. Кому было дело до цветов, когда жили едва-едва, впроголодь, у девчонки ни платьиц, ни туфель, в мае, по сухому, бегала в валенках, а Ирина Игнатьевна мучилась язвою, неделями по больницам. И все же выжили и сад спасли. Спас Петр Александрович — часами, ночами, отнятыми у жизни, верою в то, что спросят однажды, очнувшись: «А чего-то у нас вроде не хватает? Стояло что-то вроде на столе посередке?» И верно, народ возвращался к цветам, картошка-лорх и редис ранний помаленьку выходили из моды, хотя места на грядках еще не уступали, но были уже не властные хозяева,

а как бы временные жильцы, кого терпят по нужде, за хорошую плату, не чая поскорее отделаться, но тут неожиданно навернулась новая опасность. Через два года после конца войны стали застраивать Почтовые улицы каменными домами. Над сиреневым садом, над сорока восемью сортами Dahlia variabilis нависла беда — снос. Домик — шут с ним, не жалко, куча дров, дадут другую квартиру, еще получше, а вот саду грозила смерть.

Петр Александрович пустился собирать бумаги, ездил к именитым клиентам, кого когда-то сиренью одаривал, за подписями, писал заявления в райсовет, в райжилуправление, в Моссовет, в Мосжилуправление, главному архитектору города с единственной просьбой: сад, как уникальный и после смерти Петра Александровича переходящий в собственность государства, оставить в целости, а ему дать квартиру в близлежащем доме, чтобы мог продолжать уход за садом и вести наблюдения, имеющие общепризнанное научное значение.

Третий год это длилось, Петр Александрович писал, звонил, мыкался по приемным, стучал во все двери; каменные дома приближались, уже застроили всю улицу от церкви до Таракановки,

уже засыпали гнилую речонку мусором, навезли земли, разбили скверик, уже пустили троллейбус, уже Лялька сыграла три роли в театре, но все была недовольна, хотела уходить, то съезжалась, то разъезжалась со своим горемыкой Григорием, и уже родилась и тут же умерла единственная дочка Варенька от менингита, а вопрос о саде все не был решен.

Районный инженер говорил: «Ваш дом находится в квартале восемь. Сейчас мы добиваем два квартала за Таракановкой, ваша очередь третья. Если к тому времени Моссовет никакого решения не примет — ждите в гости трактор».

Тут еще соседи из двух таких же деревянных домиков портили дело: тоже строчили заявления, собирали подписи. Но они-то наоборот — торопились ломаться, ругали Петра Александровича почем зря. Особенно допекал Куртов, милиционер. Когда-то жили по-доброму, водочку попивали, на рыбалку ездили вместе, дочки были дружны, Лялька и Маргаритка, в один класс ходили, а теперь из-за этой колбасни переругались дотла.

Петр Александрович посерел лицом, согнулся от беготни и волнений. В сентябре вышел в сад нарезать бело-желтых imperialis в подарок

отставному полковнику Дудареву, которому исполнилось шестьдесят пять, — георгины в эту осень вышли на редкость, хоть в Женеву на выставку, imperialis двухсаженные, — и подумал вдруг, что на тот год ни его, ни imperialis на этом месте не будет, а будет котлован, извести наляпано и бабы носилками кирпич таскают. И в тот же миг что-то вонзилось, как сверлом маленьким, в сердце и опрокинуло. Лежал на клумбе с ирисами в полном сознании, только боль сверлила и страх был: не двигаться! Звал слабым голосом: «Ирина! Ирина!» Ирина Игнатьевна, конечно, не слыхала, но Кандидка, умница, залаял от забора, и немного погодя жена вышла и увидела. Два месяца Петр Александрович пролежал дома. Первые двадцать дней приказано было — пластом, головой не шевелить, с боку на бок не дергаться, понемногу оклемался, стал ходить. В январе отправили в санаторий на полтора месяца. Вернулся — вроде бы ничего, да как-то ненадежно. То, да не то.

В неважном виде встречал Петр Александрович радость: Лялечкину премьеру и большой успех. Петр Александрович, конечно, радовался за дочь, особенно за жену, которая от успехов Людмилы расцвела, возгордилась, забыла про язву, но мысли о саде мучили неотступно.

Возникали идеи. А если письмо из театра? Всем коллективом? Народный такой-то, заслуженная такая-то. Главного режиссера привлечь… «Узнав о готовящемся варварском уничтожении очага цветоводческой культуры Ленинградского района…» Ляля обещала поговорить с главным администратором товарищем Бравиным. Этот Бравин, по ее словам, очень полезный и толковый товарищ, к нему по всем вопросам обращаются, он и заявления пишет и в суды ходит, он и по разводам и по жилплощади. Поговорить с ним Лялечке никак не удавалось, надо наедине, обстоятельно, а в театре всегда гонка, толкотня, тихой минуты не бывает. Но — обещала добиться. «Может, — говорит, — приглашу домой на рюмку водочки, си не откажется». Другая идея: фельетон. Для этой цели следовало насесть на Григория: у него ведь знакомства в газетном мире и у самого рука легкая. Говорил с ним, обещал, но обычное дело — десять раз напоминай, пока с места стронется. А напоминать тоже не просто, выбирать нужно подходящее время: часто бывал не в духе, скрытно раздражен против Ирины Игнатьевны, в ссоре с Лялей, иногда непонятно из-за чего дулся и на Петра Александровича. Ляля иной раз сама предупреждала: «Вы сегодня с Гришей полегче,

а то у него неприятности с работой. Он очень расстроен». Да ведь когда были ***приятности***? Все года у него кругом одни неприятности и расстройства.

Удачный момент, чтобы напомнить и подтолкнуть, выпадал, по мнению Петра Александровича, на понедельник, когда молодые вернутся с банкета, если, конечно, не за полночь. Петр Александрович заметил, что когда Григорий выпивал — выпивал он не часто, на какие шиши, а угощать нынче не очень-то угощают, — он становился разговорчив, общителен и даже не скуп. Вообще-то Петр Александрович считал зятя скупым. Не так насчет денег, как насчет вещей: попросишь, бывает, какой пустяк, бритвенное лезвие, помазок или шарф надеть, на улицу выскочить, он всегда дает как-то вроде нехотя, не сразу. Книгу попросишь, вот Жуковского просил, Анатоля Франса — библиотека у него на Башиловке видная, прекрасно подобранная, — пообещает: «Хорошо, Петр Александрович, завтра принесу». А завтра: «Ай, забыл! Следующий раз как буду там, обязательно захвачу». Жуковского два месяца мурыжил-мурыжил, а потом: вчера, говорит, искал специально, не нашел, куда-то делся. Скупенек, чего говорить. Да ведь жизнь несладка:

какой год бьется, а толку нет. Никто его пьес не берет, киносценариев тоже. А пишет неплохо, замечательно, талант большой. Не хуже, чем у других-то. Про восстание в Сибири давал читать: здорово! Язык очень хороший, крепкий, факты богатые. Видимо, связей не хватает. Там ведь без этого никуда. Сто лет будешь биться — все впустую, даже не думай…

Не дождавшись Григория и Ляли, Петр Александрович уснул. Сон был тяжкий: трактор, треща изгородью, ломая столбы, ползет в сад, на клумбы, сначала на георгины, потом на флоксы, нежно-розовые, в осенней великой силе, ирисы, левкои — все в кашу. На тракторе за рулем Митька Куртов, орет злобно: «Довольно! Наигрались!» Проснулся с колотьем в сердце, звал Ирину напрасно, за стенкой шум, разговор. Лялькин веселый хохот. На часах был час с половиной.

Вдруг вбежала Ирина Игнатьевна, всполошенная:

— Отец! Не спишь?

— А ты где, чертушка? Второй час, люди добрые… — ворчал сердито, весь еще во власти кошмара, и голос слаб. — Не напрасднуетесь… Подай сердечное. Запить. — Когда давило в груди и нападал страх, будто смерть вблизи, все казалось

чепухой: радость жены, Лялькины успехи, неудачи — все, все. И только одно — сад. — Попроси Григория зайти.

— Петраша, гости там, чай пьют, — зашептала Ирина Игнатьевна, наклоняясь низко к лицу Петра Александровича. Зачем-то улыбалась впотьмах, глупо. — Драматург, которого пьесу играли…

— Ну и шут с ним, какая важность. Позови тотчас! Скажи — срочно прошу!

Через короткое время вошел, распахнув дверь настежь, Григорий, сел осторожно на стул рядом с диваном. Покачивался. Сильный запах вина распространился по комнате.

— Гриша, вот какое, значит, дело… — начал Петр Александрович, стараясь придать голосу строгую деловитость. Объяснил, что нельзя терять ни дня, ни часа. Насчет газеты. Прямо завтра с утра: позвонить куда нужно, написать, свезти, безобразие вопиющее, вредительство высшей марки, рассказать кому — не поверят, что на тридцать пятом году Советской власти такое творят.

Григорий сидел, опустив голову, уставив локти в колени, и кивал, понурясь:

— Да… Да… Да… — Потом вдруг поднял голову и спросил — Петр Саныч, а почему меня не по-

здравляете?

— С чем?

— А с премьерой моей незаконной супруги Людмилы Петровны Телепневой.

— А, ну что ж, пожалуйста! Я тебя поздравляю.

— Вы меня должны поздравлять. — Грозил пальцем. — Меня все поздравляют, а я всех благодарю. Вот сейчас в «Советской» все руку жали, говорили: «Мы вас поздравляем, мой милый». Или так: «Поздравляем от души, любезный». А я благодарил. Спасибо, благодарю вас. Потому что благодарить необходимо! Человечество погибает от недостатка благодарности — Благодарности в высшем смысле, с большой буквы…

Ирина Игнатьевна, стоявшая в дверях за спиной зятя, делала знаки: прогоняй, пьян — не видишь? По дерганым движениям, глупой улыбке — среди ночи вздумала, дура, чаем поить! — увидел, что и сама матушка хороша.

— Ладно, уходи… — сказал слабым голосом. — Завтра. Поздравляю тебя.

— Спасибо, спасибо. Искренне вами тронут… — шептал Григорий, шаркая и кланяясь низко, как шут. Когда бывал пьян, всегда вот этак шептал и паясничал.

Ирина Игнатьевна погасила свет в коридоре.

Через полминуты Григорий снова зажег, вперся в комнату, зашептал:

— Между прочим, драматург будет здесь ночевать. Поскольку час поздний. С женой, говорит, ссорюсь, не хочу домой.

— Что ж, пускай, — сказал Петр Александрович. — Место дозволяет. Товарищ Смолянов?

— Товарищ Смолянов. Должен сказать, человек в высшей степени загадочный. У меня есть подозрение, по некоторым данным, мельчайшим наблюдениям… — Наклонился и шепнул — Достоевского не читал!

— Ну? — спросил Петр Александрович, как бы испугавшись.

— Не читал. Ей-богу! Тссс… — Гриша смеялся беззвучно, махая руками над лежащим Петром Александровичем. — И с Толстым, по-моему, не все в порядке… Кстати, у Достоевского в «Бесах» есть такая мысль — человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Это очень глубоко, Петр Саныч! Понимаете ли, Прыжов Иван Гаврилович… Я вам не рассказывал? Ну, не важно. Отставной коллежский регистратор. Там целая история. Не важно, не важно. Так вот жизнь этого Прыжова была невероятно мучительной, цепь несчастий, и все-таки, пони-

маете, Петр Саныч, у него было и счастье. Какое же, спросите вы? А его жена, Ольга Григорьевна Мартос… Самоотверженная женщина… Ведь намучилась с ним в Москве, всегда без гроша, вечные неудачи, пьяница страшный, неизлечимый, и потом еще — в Сибирь за ним… Вот-с какие пироги… — Григорий стоял, покачиваясь, вытирая щеки ладонью, минуту целую стоял вот так молча, потом ушел на цыпочках.

На другой день Ляля привела драматурга товарища Смолянова к отцу знакомиться. Пока Ляля с матерью и тетей Томой, приехавшей в субботу из Александрова нарочно на Лялину премьеру, готовили завтрак, а Григорий бегал в «церковный» — так называли магазин рядом с церковью, самый близкий, через парк бежать — за бутылочкой для поправки. Петр Александрович и Николай Демьянович разговаривали. Драматург оказался мужчина славный, добродушный. Мучился сильно: ждал поправки. Разговаривали насчет рыбалки. Тот был любитель. Держал у себя дома, под Саратовом, моторную лодку, со снастью, каждое лето скрывался туда от невозможной московской сутолоки на месяц, на полтора. Говорил, что осетры по пуду не редкость. А отец его, рыбопромышленник, владевший когда-то

при царе Горохе, двумя баркасами «астраханками», рассказывал, что в его времена и по пять пудов ловились. Незаметно сползли на сад. Петр Александрович всю боль выложил. Николаи Демьянович обещал помочь обговорить кое с кем и, если бы, сказал, был тут телефон, сию минуту позвонил бы и кое-что выяснил.

Петр Александрович воскрылнлся, звал жену, требовал, чтобы гостя вели в сад, все показывали. Заколотилось в груди: вдруг и правда поможет? Ведь человек большой. Захочет — сделает! Велел достать папки с бумагами, разложил на одеяле все свои записочки, заявления, телеграммы, челобитные.

— А вот доктор наук Стружанинов… Вот тоже видный товарищ: «С возмущением узнав…»

Тут вернулся Григорий с бутылкой, сели завтракать, Лялечка — за гитару, и вдруг стук в окно. Входят: Куртов, сосед, в форме старшего лейтенанта милиции, другой сосед — пенсионер Беспалов и Халидова, тетя Роза, школьная уборщица. С этой Розой у Ирины Игнатьевны были раньше отличные отношения: та приходила стирать, па рынок бегала, иной раз и цветочки продаст, а Ирина Игнатьевна ее жалела, детишкам когда чего подбрасывала, у той четверо, муж погиб. Но

за последний год стали, конечно, врагами.

Опять начался шум — Халидова верещала тонким голосом, понять невозможно, пенсионер бубнил и кулаком размахивал. Ляля пыталась их урезонить и прекратить скандал — при госте-то, срам! — но те напирали сильней, трясли какой-то бумагой от районного архитектора. Петр Александрович его знал: никудышный человек, чего хочешь подпишет.

Прилег на диван, молча — прислушивался, как сердце колотится. Руки немели, и по всему телу текла дурная, зыбкая немота.

Ирина Игнатьевна вдруг закричала:

— Что вы делаете, подлецы! Больной человек лежит— не видите? Сволочи!

«Зачем ругаться? — думал Петр Александрович почти равнодушно. — Не нужно это. Бесполезно же…»

Куртов Митька гудел что-то насчет райсобеса. «Пенсию отнять… Цветами спекулируют…»

— Дурак ты, Митька, — выговорил так тихо, что, наверно, не услышал никто.

Николай Демьянович вдруг побагровел, щеки затряслись, и — ка-ак грохнет по столу:

— Сейчас же все из комнаты вон! Вон, вон, вон! Немедленно, сию минуту! А о вашем поведении,

товарищ старший лейтенант, — тыкал пальцем в обомлевшего Куртова, — буду разговаривать с Иваном Григорьевичем! Какое отделение? Район Ленинградский?

Вытолкались из комнаты, шум длился за стеной, Ирина Игнатьевна присела рядом с диваном, лицо закрыла, заплакала:

— Такой день, Лялечка, подлецы… Петраша, а если — ну их к лешему? Жизнь-то дороже…

Петр Александрович молчал, прислушивался. Нехорошо было. Все внутри сделалось зыбким, непрочным, не хотелось ни говорить, ни двигаться, потому что то, что давило, могло разорвать непрочность и уже разрывало, боль начиналась. Не где-то в одном месте, в сердце или в середине груди, а повсюду, во всем теле, одна громадная боль. Вернулся драматург, говорил: «Мы их доведем до ума! Ерунда, не волнуйтесь!» Гриша кричал высоким голосом во дворе. И без того лютая боль с каждой секундой жгла сильнее. Через силу проговорил:

— Доктора вызывайте, что ли…

Летом был Ленинград впервые в жизни, прогулки, «Астория», джаз, настоящий, откуда-то из Китая, танцевать все равно с кем, до закрытия, Николай Демьянович был тяжел, тяжело напивался,

ночью — врача, сердце разрывалось от жалости к одному и другому, кто остался в Москве, тому — кожаное пальто в комиссионном на Невском, ночной плач, убегание на Башиловку, в театре все переменилось: новый сезон начался с высшей ставки, «Игнат Тимофеевич» шел на премию, Николай Демьянович купил автомобиль, переехал на новую квартиру, холстяной мешок на сундуке в прихожей распухал от писем, особенно много было от солдат, после того, как Лялин портрет напечатали на обложке журнала, Смурный заискивал, в подругах проступало скрытое, самое плохое, некоторые исчезли, не могли пережить, а бедный отец маялся в Боткинской, снова попал туда в конце осени, третий инфаркт.

Опять был декабрь, снег. Но совсем другой декабрь, другой снег. Ляля вышла на улицу из больничного двора— сидела у отца долго, отнесла мандарины, новую книгу «Лунный камень», за которой все гонялись, сунула пятьдесят рублей старушке, чтоб лучше смотрела, — и медленно шла по темноватому, окутанному морозным дымом переулку, ее обгоняли люди с авоськами, свертками, бежавшие к трамваям, а она шла не торопясь, ее ждала машина, и впервые почему-то здесь, после больницы, в миг усталости и печали

из-за отца, вдруг ощутила себя вновь, неиспытанно и спокойно: ***богатой женщиной***.

Все эти бегущие впереди, озабоченные несчастьями родных, торопятся по своим делам, унылым и длинным, как больничный забор, а она идет тихо, дышит глубоко, печально, спокойно, как и полагается ***богатой женщине***. Ощущение было многослойное, вовсе не означало, что в Лялиной сумочке много денег — как раз денег не было, быстро тратились, — означало разное; то, например, что на морозе Ляле тепло: впервые, может быть, в жизни, в парниковой цигейковой роскоши, пахнущей так свежо и чудесно, она не испытывала страха перед морозом. Означало также спокойствие в главном, без чего нет жизни, ведь теперь уже никто не посмеет ничего плохого сказать и даже подумать, она доказала, это признано, достаточно посмотреть, как вытягиваются лица актрис, когда она входит в репетиционное фойе или когда, когда, когда, когда; в это ощущение входило и то, что она нравится, любима, из-за нее мучаются, и то, что она могла купить то, что раньше казалось недоступным, например китайский чайный сервиз, и вечерами могла есть то, что любит — цыпленка «табака», сыр «сулугуни», — пить красное вино, и — новые

удивительные знакомства.

За премьерой следовала другая, потом радио, потом приглашение на «Мосфильм», рецензия, статья, портрет, повышение оклада, обещание новой квартиры, выдвижение на конференцию, на прием, на премию, и на Сретенке в меховом магазине, когда искали шапку для Гриши, директор магазина, пожилая дама в очках, с пятнами диатеза на подбородке, внезапно покраснев, спросила:

— Простите, вы не из Драматического театра? Ваша фамилия Телепнева?

Шапка была принесена из-за кулис магазина, завернутая в газету, чтобы не раздражать очередь. Когда вышли на улицу с покупкой, Гриша пробормотал с хохотком:

— Черт возьми, потрясающая известность! Даже как-то неловко ходить с вами, мадам…



Да, да, неловко. Ляля чувствовала, как он съеживался, когда ее известность тыкала его в бок, в спину. Он и радовался, конечно, ликовал втайне, даже плакал однажды — кто-то видел его вытирающим глаза на концерте, когда она пела песни Евдокии из «Ивана Тимофеевича», эти песни стали популярны, она теперь часто выступала в

концертах, даже выезжала в другие города, — но внутри, кажется, что-то точило его непобедимо. Ведь его собственные дела не продвинулись ни на шаг, ни на сантиметр! Это было новым страданием, мешавшим тому, чтобы ощущение ***богатой женщины*** стало подлинным счастьем и, может быть, даже блаженством. До блаженства было не так-то далеко. Но вот — чужое, родное страдание мешало. Мешала еще мать с ее нервами, похудением, ежедневным трепетом за отца, и мешал отец, судьба которого оставалась смутной: то казалось, что выкарабкается, то опять надвигался ужас.

Николай Демьянович изнутри отпахнул дверцу, и Ляля, подобрав длинную полу цигейки — раньше только поглядывала на, улице, как дамы небрежно, привычным движением поднимали полы своих дорогих шуб, прежде чем скрыться в глубине автомобиля, а теперь вот сама, на зависть проходящим женщинам, — юркнула довольно проворно на заднее сиденье. Смолянов спросил об отце. Шофер проехал Белорусский, площадь Маяковского, свернул по Садовой налево.

— Куда мы едем? — спросила Ляля.

— Будем ужинать у Александра Васильевича.

Он пригласил.

Александр Васильевич Агабеков, друг Николая Демьяновича, жил у Курского. Чем занимался Александр Васильевич, Ляля в точности не знала, какой-то солидный работник. В гостях у него Ляля еще не бывала. И не хотелось туда. Вообще — никуда. Томило: Гриша где-то болтается, жалко ожесточаясь, в библиотеке, у приятеля или дома кружит, как волк, по комнате, ждет. Ну что сделать? Как помочь человеку? Ведь человек хороший, способный. Прекрасный человек! Редких качеств, настоящий интеллигент — отлично знает историю, литературу, польский язык выучил самостоятельно, чтоб читать газеты. Вообще он талантливый во всем, рисует очень хорошо, любит музыку. Но какое-то невезение. И — бесплодно утекает жизнь.

Николай Демьянович слушал холодновато.

— Почвы у него нет, вот беда, — сказал вдруг, и Ляля вспомнила, что он уже говорил так однажды. Именно такими словами: почва, беда.

Летом в парке Горького была вечером какая-то встреча со зрителями па открытой эстраде, сцены из спектакля, Смолянов выступал, почему-то и Гриша там оказался, и потом ужинали в «Поплавке». Был еще Сергей Леонидович, кто-то из

актеров. Возник спор, что-то высокоумное, Гриша был раздражен, цеплялся, и Смолянов сказал: «Ваша беда в том…» Конечно, так не следовало, неосторожность. Гриша воспламенился и стал кричать: «Какая почва? О чем речь? Черноземы? Подзолы? Фекалии? Моя почва — это опыт истории, все то, чем Россия перестрадала!» И зачем-то стал говорить о том, что одна его бабушка из ссыльных полячек, что прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь, что другая его бабушка преподавала музыку в Петербурге, отец этой бабушки был из кантонистов, а его, Гришин, отец участвовал в первой мировой и в гражданской войнах, хотя был человек мирный, до революции статистик, потом экономист, и все это вместе, кричал Гриша в возбуждении, и есть почва, есть опыт истории, и есть — Россия, черт бы вас подрал с вашими вывороченными мозгами! Было неприятно, похоже на ссору, Сергей Леонидович успокаивал и говорил, что Николай Демьянович имел в виду, по-видимому, жизненный опыт, что Гриша еще неискушен, молод, но Смолянов в пьяном упорстве бубнил свое: «Нет, почва непременно, обязательно…» Гриша сказал ему что-то злое. Но тут неожиданность: за соседним столом разгоре-

лась вдруг зверская драка, примчалась милиция. Когда вышли на улицу, о «почве» уже не говорили.

— Какая там почва! — сказала Ляля. — Помочь надо человеку.

Николай Демьянович помолчал.

— А если в штат куда-нибудь? Нелегко, правда, но — попробовать…

— Нет! Ты же знаешь, он очень гордый, ранимый…

— Место можно найти приличное.

— Нет, Коля, ему нужно помочь в творчестве. Где-то подтолкнуть, подать руку, а дальше пойдет сам. Доброе слово хотя бы…

Лялин голос слегка дрожал. Никогда и ни о чем она Николая Демьяновича вот прямо так не просила, если он что и делал, то — сам, догадывался. А теперь впервые — просила. И сразу стало не по себе, потому что он как-то напрягся. А ведь он добрый. Ляля знала, что он помогал многим, особенно землякам, молодежи, людям бедным, незадачливым; знала, что не мог оставить жену, хотя не любил ее, терпел ее вздорность, но — не мог, жалел, она психически неуравновешенна.

Но тут, с Гришей, другое, Ляля предчувствовала, что будет натуга, и шла на это, на неприятное. Ту

вспышку в «Поплавке» он, наверное, не забыл, но никогда, ни разу, не говорил Ляле ничего. Только однажды довольно робко заметил: «Не понимаю, как ты можешь жить с таким человечком?» Ляля оскорбилась. Ну нет, таких штук она не потерпит! Гриша никакой не человечек, он человек в настоящем и большом смысле. «А ты как можешь жить со своей истеричкой?» Оправдывался: «Марта не истеричка, она больная женщина. И у меня не осталось к ней никакого чувства, кроме, может, чувства долга и боязни нанести смертельную рану. А вот ты от своего Гриши никак не отлипнешь». И это было правдой. Зачем отрицать? Гриша — это Гриша. Как у Чехова где-то: «жена есть жена». Самое странное, что Гриша даже не «жена», то есть не муж, они не расписаны, у Гриши есть своя комната на Башиловке, куда он регулярно сбегает после ссор с Лялей или в дни особого угнетения духа; он не кормит ее, как полагается мужу, и не одевает, и все-таки — ведь непонятно же, невозможно объяснить! — все-таки отодрать от души нету сил. Прикипел, вплавился со всеми своими детскими бедами, корями, скарлатинами, картавостью, сыпью, потницей…

Николай Демьянович положил свою руку на

Лялину.

— Ладно! Подумаем…

У Агабекова были гости. В громадной гостиной — Ляля таких больших комнат никогда и не видела, метров сорок — за столом под люстрой, как в театре, сидели несколько мужчин и женщин, ужин был в разгаре, еды много, отборной и, сразу видно, не домашнего приготовления, а из ресторана. Улучив момент, Николай Демьянович шепнул:

— Забыл сказать. У его папаши день рождения…

Во главе стола сидел старичок с необыкновенно розовым, глянцевитым, как бы муляжным личиком, в черной черкеске. Поднимались тосты, произносились речи.

Одна дама с внезапным энтузиазмом подняла тост «за присутствующую здесь, среди нас, замечательную представительницу…». Мужчины смотрели восторженно:

— Людмила Петровна, за вас! До дна! Все пьют за Людмилу Петровну!

Кто-то крикнул:

— Предупреждаю, кто не выпьет до дна за Людмилу Петровну…

Волновались, спешили чокнуться, излуча-

ли радостную преданность и даже, пожалуй, преклонение, и хотя Ляля догадывалась, что — пьяный вздор, большинство никогда не видели ее на сцене и, наверное, не слышали имени, а все равно было приятно, даже очень. Появилась гитара. Ляля стала петь — сначала без желания, очень уж просили, и Николай Демьянович, сжав ее колено под столом, сказал тихо: «Прошу не отказываться», — но потом, выпив рюмку-другую вина, сама разохотилась, и пела с удовольствием «Среди миров, в мерцании светил», цыганские и любимую с детства, которой мама научила: «По улице пыль подымая». Александр Васильевич смотрел на Лялю в упор, не мигая. Взгляд был странный, направлен на Лялин рот, и от этого — оттого, что не в глаза смотрел, а на рот, поющий — было неприятно. Что-то неживое было во взгляде лобастого человека с усиками, все больше стекленело, стекленело и превратилось в совершеннейшее холодное стекло, даже страшно на миг, но потом— веки мигнули, стеклянность исчезла. Грузины голосили по-своему, очень красиво. Ляля пыталась аккомпанировать. Один из гостей вдруг вскочил и захлопал в ладоши.

Будем пэть, будем пэть,

Будем вэ-сэ-литься!..

Все подхватили, захлопали, переместились в другую комнату, потащили Лялю — уже немного кружилась голова, хотелось дурачиться и быть, уж коль на то пошло, настоящей царицей бала! — и она шлепнулась с гитарой на пол, на медвежью шкуру, и запела-заорала от души, перекрывая музыку радиолы:

Хас-Булат у-да-лой!..
Бедна сакля твоя!

И отчего напало такое веселье? «Хас-Булата» пели дома. Отец басом, а дядя Миша, муж тети Жени, изо всей мочи старался высоким-высоким голосом. Когда через полчаса вернулась в большую комнату с люстрой — что-то вдруг больно кольнуло, точно повернулось неудачно больное ребро, а это была лишь мысль о Грише, — за столом сидели одни мужчины, спорили, Николая Демьяновича не было. Сказали, уехал за товарищем, скоро приедет. Ляля прислушалась — что-то о политике, насчет американского президента, Германии, Югославии. Все это Лялю совсем не интересовало, было скучно. Прошло два часа.

Александр Васильевич и Ляля сидели за маленьким столиком в кабинете, над головами в

позолоченном бра три свечи. Было жарко от раскаленных батарей, вина; Александр Васильевич расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки. Разговаривали о музыке. В детстве Ляля три года посещала музыкальную школу, у нее находили абсолютный слух и хороший голос, но нужно было купить пианино, а у отца никак не собирались деньги, все тратил на сад, удалось купить только перед самой войной, но в сорок третьем году, когда было голодно, продали. Правда, мама купила тогда гитару. Александр Васильевич сказал, что очень любит итальянское пение и у него много пластинок, немецких, с записями Карузо, Джильи, Тоти Даль Монте. Ляля загорелась: послушать! Пошли в другую комнату, сели на диван. Гостей никого не осталось, они двое. Пластинки были настолько прекрасны, что Ляля обо всем забыла: о том, что дома ждут, что Николай Демьянович куда-то провалился и что Александр Васильевич раньше не очень-то нравился, подозревала в нем бабника. Никаких улик, а так — подсознательно. Глупость: усики и чересчур деликатное обхождение, он как будто даже остерегался до Ляли пальцем дотронуться. А бабников Ляля терпеть не могла.

Когда подошло к часу ночи, Ляля сильно завол-

новалась:

— Где же Николай Демьянович? А вдруг несчастье?

— Коля приедет, — твердо обещал Александр Васильевич. — Приедет обязательно.

— Но я вас замучила!

— Обо мне не беспокойтесь, ночами как раз не сплю, работаю. А зеваю — это сердечное, мотор стучит. Значит, нужно принять. — Он вынул из кармана стеклянную трубочку, высыпал на ладонь несколько крохотных красных шариков.

— Принести воды?

— Пожалуйста. Если не затруднит…



Она побежала на кухню, зажгла свет, кухня оказалась огромной комнатой, вроде столовой — за занавеской кто-то храпел, — налила в чашку остывшую воду из чайника, Александр Васильевич лежал на диване, полузакрыв глаза. Лицо его, недавно румяное от вина, стало бледно, осунулось. Все это было как-то нехорошо. Приняв

лекарство, он взял Лялину руку.

— Не уходите, Людмила Петровна.

— Я не ухожу, — сказала Ляля. Сама подумала: «Куда ж уходить? Второй час. На метро опоздала. И он какой-то плохой, и там — Гриша…»

— Сядьте ближе, рядом. Вот так. Здесь, пожалуйста… — Не отпускал ее руку, держал крепко. Было похоже, что боится ее отпустить, как больной — сиделку, но почему-то жалости к нему не было. Вдруг — звонок телефона в большой комнате. Николай Демьянович слабым голосом? едва слышно сквозь треск — из автомата — сообщил, что застряли в Замоскворечье, сели в кювет, машин нет, никто не вытащит до утра.

— Ты уж меня извини, переночуй там, у Александра Васильевича, а утром я тебя заберу. Только веди себя хорошо. Слышишь? Веди себя хорошо!

— А ты здоров? — кричала испуганно.

— Да, да! Здоров! Ты меня извини!

Непонятно было, зачем извиняется.

— Николай Демьянович не приедет, — сказала Ляля, входя в комнату, где тот лежал на диване. — Я побегу, Александр Васильевич? Может, успею на троллейбус. До свиданья! Где моя сумочка?

Вдруг нахлынуло — уйти немедленно, не оставаться больше ни секунды. Так бывало: непо-

нятно отчего, и — никакой силой не удержать. Хозяин дома пытался уговорить, даже вскочил с дивана с неожиданной живостью. Куда? Что случилось? Не отдавал сумочку. Нет, нет, должна идти непременно. Но почти два часа ночи! Ничего, есть такси. А если вызвать домой? Нет, нет. Нет, нет, нет! Нет, исключено, совершенно невозможно. Сумочку — на память. Бегу, бегу, извините, большое спасибо. Да почему же такой пожар? В чем дело, собственно?

Смотрел с каким-то странным, напыщенным удивлением, почти высокомерно.

— Что вам сказал Смолянов?

— Сказал, чтоб вела себя хорошо. Что это значит, как вы думаете?

— Это значит… я думаю… — Схватил ее за руки, потянул. — Он болван! Зачем он вам нужен?

И тут — догадка ударила, оледенила. Всегда у нее так: сначала чувство, инстинкт, а потом догадка. В первую секунду сама себе не поверила, но затем — да, возможно, звонок не случайный. Потому что зачем же тогда извинялся? Человек, когда пьян, не умеет хитрить. Невольно проболтался: просил прощения.

— Нам надо о многом поговорить. Мы не успели… — Лобастый человек говорил теперь очень

строго и крепко держал Лялины руки, она вырывала их, но пока еще не изо всей силы, потому что он какой-то больной, и она боялась. Он говорил об Академическом театре, о том, что он ее устроит, переведет, назначит, повысит, предоставит любые концерты, поездки и что, в противном случае, она должна понять, женщина с такими губами… Ну нет уж! Этим способом от нее никто ничего не добивался. Спросила вдруг ласково:

— Скажите, а Николай Демьянович очень вас боится?

— Что? Еще бы!

Ляля засмеялась. Спокойно, спокойно, отдохните, вам вредно. Тоска и презрение к тому, врал ю, вдруг превратившемуся в жалкое, нечеловеческое отродье. Про себя клятвенно: ни одного слова, ни взгляда в его сторону. Летела сквозь метель по громадной пустой Садовой. Куда? Пробежав долго, вдруг поняла, что бежит без смысла, надо к центру, метро закрыто.

Повернула к Покровке, чтобы дойти до бульваров, и — к Маше, на Чистые пруды. Через полчаса, измучившись, брела по бульвару, тихому и голому, как лес: ни бродяг, ни милиционеров, одни скамейки в толстой снеговой броне, и думала со слезами: «Господи, какая дура! На что трачу

жизнь… А Гриша, родной…»

Ребров понемногу зарабатывал ответами на письма в дзух редакциях и очерками для радио. Кроме того, печатал иногда мелкие исторические заметки в тонких журналах. Все это был мизер, чтобы как-то держаться на поверхности. В лучшие времена выходило около тысячи в месяц. Иногда набегало по семьсот, по триста, а то и вовсе — пшик. Теперь, когда Ляля стала приносить большую получку и возникали неожиданные гонорары, жизнь вроде упрочилась, но сделалась отчего-то еще тревожнее и нуднее. Раньше — нет денег, ну и нет. Обойдешься чашкой кофе, не барин. А теперь Ляля может вынуть и тридцатку и сотню, но ведь — просить. И тут еще Ирина Игнатьевна портила кровь. Ей казалось, что он заставляет Лялю в погоне за рублем мотаться по концертам, выступлениям, то есть что он ее ***эксплуатирует.***

И Ребров, ощущая эти тещины мысли — так прямо она их не высказывала, но давала понять, а иногда ему попадались ее послания к дочери, Ляля бросала их где попало, — чувствовал порой, что начинает Ирину Игнатьевну ненавидеть. Вечерами доносились ее жалобы Ляле: «Вошел в кухню и не поздоровался… Три раза просила

наколоть дров...» Все это была нудность, невозможно терпеть. Рвался убежать на Башиловку, Ляля умоляла остаться, потому что тогда бы и ей пришлось ехать на Башиловку — что бывало и раньше, — но бросить мать одну было нельзя. Умолять-то умоляла, а вот приструнить мать по-настоящему никогда не хватало духу.

Молчал, терпел, старался пораньше удрать в библиотеку, попозже вернуться.

В тот день он, как назло, вернулся домой рано. Был расстроен: в одной из редакций, где третий год исправно давали отвечать на письма, вдруг сказали, что новое начальство пересматривает список внештатников и он под вопросом. Почему? С какой стати? Знакомый человек смущенно пожимал плечами:

— Ничего не понимаю. Я думаю, через какое-то время ситуация прояснится...

Знакомая дама иронически заметила:

— Кажется, вы сейчас не так уж нуждаетесь? Ваша жена процветает? А есть люди, для которых эти письма — единственный способ заработать кусок хлеба.

Надо бы проявить настойчивость, пожаловаться, поскулить, там были колебания, но старая боязнь — показаться смешным, жалким проси-

телем, и — уступил. Конечно, есть люди более достойные, какой разговор? Все правильно. Новость была на редкость неприятной, но он виду не подал, даже пошутил, рассказал анекдот и ушел в гордом спокойствии. Бюджет сократился на треть. Никого не хотелось видеть, только — домой, к Ляльке. Она одна могла успокоить, сказать какую-нибудь утешительную чепуху.

Ляля должна была навестить в шесть часов отца в больнице и прийти около семи домой, спектакля в этот день не было. Она не пришла ни в семь, ни в восемь, ни в десять. Теща начала психовать, что, как всегда, выливалось в формы бессмысленных метаний: то она решала зачем-то бежать к метро, то звонить из автомата в Боткинскую, то прямо ехать туда. Ребров насилу уговорил: будоражить отца, какая глупость! В доме жила уже несколько дней Тамара Игнатьевна, тетя Тома из Александрова, приехавшая, чтоб немного помочь теще по хозяйству. Эта тихая, длинная старуха с несчастной судьбой — все ее близкие, муж и дети, погибли кто где — хотя прописана была постоянно в Александрове, в ста километрах, но подолгу жила в Москве у сестер Жени, Вероники, у брата Коли в Измайлове или, реже всего, здесь, у тещи. Была она домашняя портниха, неважная,

теща говорила — «кунденщица», выучилась, чтоб хоть чем-то жить, и часто оставалась неделями у вовсе чужих людей. Теща свою Тамару не жаловала. Лялька и Петр Александрович относились к ней добрее, чем родная сестра, а та под разными предлогами старалась от сестринского пребывания и ее услуг отделываться. Предлог чаще всего был такой — боязнь штрафа. За то, что ночует без прописки. А при том, что сосед-милиционер полон злобы к Петру Александровичу, такой штраф может легко случиться.

Но истина-то была другая — глупая старушечья ревность с какой-нибудь подоплекой этак в четверть века. Когда Петр Александрович оказался второй раз в больнице, теща сама написала тете Томе и попросила приехать. Все, что копилось в Ирине Игнатьевне: страх за мужа, раздражение зятем, тревоги за дочь, мучения язвой, — падало громом на тихую долговязую тетю Тому. И та сносила, терпела, прощала, успокаивала. Сейчас она тоже пыталась Ирину Игнатьевну утихомирить и, уж во всяком случае, отговорить от поездки в Боткинскую, за что получила жестокий удар:

— Ты давно без мужа и без детей, ты меня не можешь понять!

Однако в одиннадцатом часу Ребров сам занерв-

ничал, побежал к автомату и позвонил Лялиной подруге Маше, которой Ляля иногда передавала сведения для него — это был способ связи. Маша оказалась дома. Нет, никто не звонил. Может быть, вот что — возник неожиданный концерт? Кажется, собирались на какой-то концерт в Красногорск.

— А ты почему не поехала? — спросил Ребров подозрительно, хотя от души чуть отлегло.

— Концерт-то не наш, мосэстрадовский, — объяснила Маша. — Но я точно не знаю. Это предположение.

Ребров рассказал теще про концерт, и она как будто успокоилась. Сели пить чай. Ни в двенадцать, ни в час Ляля не явилась. Поездки от Мосэстрады обычно делались на автобусе, и Лялю привозили домой тоже автобусом. Тем не менее в половине первого ночи теща схватила шубу, закуталась в платок и побежала на Сокол, к метро — встречать. Кого она могла встретить? Ребров пытался доказать, что — нелепость, пустая трата сил. Ирина Игнатьевна, однако, была уже в том состоянии полубезумия, когда доводы логики бессильны.

— Конечно, идти ночью на улицу не очень приятно… Лучше сидеть в теплом доме… — бор-

мотала она.

— Да я могу пойти вместо вас, пожалуйста. Только какой смысл?

— Смысл, смысл! Вам все смысл нужен. А того не можете понять, что у человека сердце горит, я себе места не нахожу…

Кандидка залаял тоненько, визгливо-радостно во дворе: значит, отвязывает, берет с собой. Беспокоиться нечего, Кандидка перервет любых обидчиков, но во всей этой сцене — демонстративном, бессмысленном убегании — было что-то оскорбляющее. Не для того побежала на Сокол, чтобы Лялю встречать, и сама на это не надеялась, а для того, чтоб оскорбить и обвинить. Чтобы сестра видела, какой Ребров ужасный, бесчувственный: остается дома, а старуха, одна, в ночь… Но не мог же он только затем, чтобы что-то доказывать, совершать бессмысленные поступки!

Из комнаты Петра Александровича тихо вышла Тамара Игнатьевна. Вид у нее был виноватый. Шаркая валенками, ходила некоторое время по комнате, потом сказала:

— Хотела с ней пойти, она меня прогнала… Сердится за то, что за вас вступилась… А что ж, у меня права голоса нет? Я что вижу, то и говорю…

Ребров сидел за столом, курил.

Долговязая старуха, продолжая шаркать вокруг, гудела жалобно:

— Я не приживалка, не попрошайка какая-нибудь. У меня свой дом. У меня друзей пол-Москвы. Вот Михначева Наталья Алексеевна, генеральша, сколько меня умоляет, чтоб я у нее пожила, две телеграммы прислала. Я зачем приехала? Пожалела Ирину, она тут бесится без Петра, растерялась, распсиховалась, я же знаю — она того не испытывала, что мы испытали… И Ляльку жалко, хотелось помочь… А зачем же мне все это слушать? Я и то не умею, и это не понимаю. «И зачем ты к нему подлизываешься?» Это я к вам подлизываюсь! Ну скажите на милость — не дура? Зачем мне к вам подлизываться? Что вы мне — пенсию даете, шоколадом кормите?

— Ваша сестра любит людей унижать, — сказал Ребров.

— Верно, верно, Гриша, очень даже любит! Верно говорите. Еще в гимназии учились, за ней это было. Она Веронику, нашу младшую, заставила однажды мел есть — та ее умоляла об одной вещи, письмо показать… Ирину у нас в семье не очень… А вот видите: самая счастливая! У всех семьи порушились, что-нибудь да не так. У Жень-

ки Михаил Абрамович — второй муж, первый до войны умер. У Вероники вовсе мужа нет, был какой-то пьяница, она его выгнала, про меня и говорить нечего. Да и у Коли — чего ж хорошего? Олимпиада такая жадная, корыстная. Маме век сократила. Нет, счастливых среди нас нету, одна Ирина, да и то, видите, судьба настигла… А что я сказала про вас? Ничего особенного. Я, говорю, всегда вашему Грише сочувствую, потому что он один как перст. Ни отца, ни матери, ни сестер, ни братьев, никого нет. Верно?

— Да, — сказал Ребров. — Но жалеть меня не нужно.

— Гриша, я вас не жалею, я только то говорю: можно ведь понимать? У тебя, говорю, Лялька, Петя, нас, таких-сяких родственников, целая деревня, а у него — кто?

— Не надо, не надо мне сочувствовать. Я в этом не заинтересован.

— А она мне: «Ты к нему подлизываешься!» То, что один, это еще не заслуга. Ты тоже, дескать, одна. Ну я, конечно, не стала больше разговаривать — бог с тобой, думаю, жизнь тебя еще не учила, но научит. Да… — И вдруг, присев к столу, под лампу, сразу осветившую все ее большеносое, изрытое многими годами, бедами, широтами

лицо, странно соединявшее в себе лицо никчемной старухи и битого морскими ветрами моряка, сказала мягко и даже просительно: — А все же вы на нее не сердитесь, ладно? Знаете, какая Ирина была красивая! Сколько у нее было предложений в двадцать третьем году! Она была просто замечательная. Она же балерина. Училась у Полякова в студии на Бронной. Мы бегали всей оравой смотреть. Поляков предлагал уехать в Ригу. И не поехала, маму пожалела — отец наш как раз умер, у Коли были неприятности… Петя тогда уже появился, но никто не знал… Нет, из-за мамы, только из-за мамы… Я говорю — счастливая. А какое ж счастье? В земле, в навозе копаться, картошку сажать, дрова пилить, колоть, как мужик. Вся родня говорила: продайте вы этот дом, сад, на шута это нужно в Москве, купите квартирку небольшую, удобную, в центре, будете жить по-человечески. Нет, Петя не может. Без сада ему не жить. Вот чего не отнимешь: она семье предана. Ведь вся Иркина молодость, все ее надежды, таланты какие-никакие, но что-то ведь было — все в землю ушло. Вот вам, Гриша, и счастье, жизнь кончается. А не дай бог с Петром Александровичем что? Не переживет она… Ой, такая она глупая, наивная, если рассказать…

Тамара Игнатьевна бормотала, Ребров прислушивался— ни собаки, ни голосов не было слышно. Он думал: как отвратительно должно быть человеческое лицо, если его рассматривать в лупу, все поры, волоски, неровности кожи… А мы только и делаем, что рассматриваем в лупу. Каждая минута, секунда — тысячекратное увеличение. А нужно все время видеть — годы, целое… Тогда бы не было ненависти. Нельзя ненавидеть женщину, родившую другую женщину, — ту, без которой нет жизни. Это невозможно, ведь они одно целое, непрерывное. Они — как дерево с ветками. Боль нельзя разделить. Хотела быть балериной и прожила жалкую, садово-огородную жизнь — ну и что же? Нельзя ненавидеть. Человек не замечает, как он превращается во что-то другое…

Ирина Игнатьевна вернулась через час и, узнав, что Ляля не приехала, зарыдала. Ребров тоже представлял себе разные страсти, бедствия, нападения. Ни о каком спанье не могло быть и речи, но и находиться в одной комнате с рыдающей тещей не мог — поднялся наверх, в мансарду, пробовал читать, не читалось, лег на кровать, курил, томился, иногда сламывала дремота, несколько минут проходило в бреду, вдруг вскакивал, хва-

тался за папиросы. В непонятное время возникла Ирина Игнатьевна— лицо вспухшее, волосы космами из-под платка — и с порога:

— Будь прокляты эти деньги! Всех денег не заработаешь! Зачем вы ее посылаете на заработки? Как вам не стыдно?

Что-то стало душить Реброва.

— Кто ее посылает?

— Вы! Есть ли у вас совесть? — Ив глазах, белых, слезящихся, не злоба, а истинная вера в то, что говорит, и отчаяние перед ним, злодеем.

— Никто ее не посылает! Это вы… я!.. — заорал он, задыхаясь. — Вы разрушаете нашу жизнь! Вы, а не я! Вы! Вы!

— Эх вы, посылаете на заработки…

— Не врите! Уже разрушили нашу семью — да, да! Вы запрещаете Ляле со мной расписываться! Требуете, чтоб она делала аборты!

— А вы ей не муж. Зачем ей от вас детей?

— Нет, я муж, а вы не мать, потому что творите ей зло, одно зло!

Тут был снова приступ рыдания, крик сквозь слезы:

— Не смейте так говорить! Я люблю свою дочь больше жизни! — И, аккуратно высморкавшись и вытерев губы: — Вы не муж, вы жалкий человек,

и моя дочь с вами несчастна.

Он сбежал вниз, схватил пальто, шапку, сунул ноги в валенки и выскочил в сад. Кружил по снегу в потемках. Было гадкое чувство: страх перед собой, перед минутой ненависти, почти сумасшествия. Что произошло? Ведь только что думал о старухе спокойно. Он сходит с ума, превращается в злобное существо. Надо что-то делать. Попросить извинения, что ли? Не то: надо что-то делать ***с собой***. В третьем часу, одеревенев от мороза, вернулся в дом, свалился на кровать. Утром приехала Ляля, румяная с холода, с каким-то жадным нетерпением страстно целовала Реброва, жалела мать:

— Боже мой, вы не спали! Бедные мои! Тетя Томочка, и ты не спала? Какая я негодница, как я вас мучила…

Теща слезливо:

— Ляля, зачем ты себя изнуряешь концертами?

— Я была вовсе не на концерте, глупейшим образом попала в один дом, Смолянов обещал заехать, сломалась машина, я шла пешком к Машке в два часа ночи, словом — кошмар…

— Ах, Лялечка!

Теща вздыхала, но было заметно, что она сразу успокоилась, услышав про Смолянова и про

какой-то «один дом». Ребров чуял, о чем она мечтала.

Его сосала новая тревога — где она все-таки была? Не приставал ли кто? Опять возник Смолянов. И несмотря на тревогу, был счастлив оттого, что она так истинно, горячо страдала из-за его страданий, целовала страстно, не постеснявшись матери, тетки. Ляля же, уловив, что между матерью и мужем натянутость — она улавливала это тут же, — спросила у Реброва, все ли в порядке. Они поднялись к себе в мансарду. Ребров сказал, что все нормально.

— Гриша, я тебя ***очень*** прошу! — зашептала Ляля внушительно. — Будь с мамой поласковей. Она же с ума сходит из-за папы…

— Ладно, — сказал Ребров.

Ляля сбросила платье, туфли, надела халат и легла. Морозный румянец спал, она лежала, закрыв глаза, побледневшая, с пятнами усталости на щеках.

— А где все-таки ты была? До Маши?

— Ой, Гриша, совершенно не интересно. В одном доме, там праздновали день рождения какого-то старика… Потом расскажу. Я хочу поспать.

— Тебе делали гнусные предложения?

— Конечно… Со всех сторон… — Она повернулась на бок, лицом к стене. — Разбуди меня через час, в половине двенадцатого придет машина. И накрой одеялом. Спасибо, Гришенька.

Ребров вышел. В коридоре столкнулся с тещей и совершенно неожиданно для себя сказал:

— Я вчера кричал что-то глупое, не обращайте внимания, Ирина Игнатьевна…

— Да, да, понимаю, мы оба нервничали. Виновата эта негодяйка. Гриша, сходите за молоком. Пожалуйста! — Умильная, просительная улыбка как ни в чем не бывало. — Она кашляет, я хочу дать горяченького…

Ребров легко побежал в магазин, принес две бутылки и поднялся наверх, в свой «кабинет».

Рядом с мансардой была совсем маленькая комнатка, щель с косым потолком, с одной стороны стенка комнаты, с другой — скат крыши. Здесь, в «кабинете», помещались письменный стол и стул, больше ничего, но ‘было окошко и можно работать. Ребров стал раскладывать свои папки, толстые тетради. Придвинул к себе одну с надписью на обложке «Наброски для п. о н.», что значило «Наброски для пьесы о народовольцах». Этим он занимался несколько последних недель, пожалуй, почти месяц, с тех пор, как увлекся Ни-

колаем Васильевичем Клеточниковым, агентом народовольцев в Третьем отделении. О Клеточникове впервые узнал четыре года назад, когда в издательстве Академии наук вышло новое издание воспоминаний Морозова, шлиссельбуржца, потом читал о нем в других книгах, в «Былом», у Фигнер. Но идея пьесы возникла недавно и, как обычно, вдруг. Пылко начал работать. Так же пылко, как начинал когда-то повесть о декабристах, потом о восстании ссыльных поляков в Сибири, потом об Иване Прыжове, о поэте Михайлове. Все это, незаконченное, сумбурное, грудами черновиков лежало в бесчисленных папках, ожидая своего часа. Внезапно наступал такой день, когда прорезывался пока еще робкий, холодноватый, но обещавший великое оледенение вопрос: зачем? Дальше все происходило быстро. Мотор переставал стучать, надвигалась скука, и, кроме того, следовало срочно зарабатывать деньги на жизнь.

Он вынул тоненькую пачку бумаги — на первом листе рядом с несколькими чернильными абзацами были нарисованы лица с бакенбардами, шпаги, лошади. Ребров любил рисовать лошадей. Собственно, это была не любовь к лошадям и вовсе никакое не рисование, а рисовальная

неврастения — косматые уродцы рождались сами, механически, стоило о чем-то задуматься.

Большое количество уродливых лошадок на исчерканном листе было дурным знаком — оледенение близилось. Ах, он знал в чем дело! Сам виноват. Третьего дня разговаривал с одним знакомым, работником журнала, тот выслушал про Клеточникова и сказал: нет, вряд ли кого-то заинтересует. Ребров и сам догадывался. Но не надо было спрашивать. Бедный Николай Васильевич Клеточников, столоначальник департамента полиции, тихо скончавшийся от голодовки в Алексеевском равелине после тихой, героической и краткой жизни, на что мог рассчитывать через семьдесят лет? Он был болен неизлечимо, обречен. Обречен на забвение. Все это не имеет ровно никаких перспектив, дураку ясно. Надо было на что-то решаться. Куда-то, может быть, уехать. В другой город, черт знает куда. Но ведь Ляля никуда теперь не поедет, ее дела превосходны.

Ребровская рука с привычной, ловкой безнадежностью — и одновременно с какой-то жуткой быстротой — лепила лошадок, одну за другой, одну за другой…

Два года назад Реброву предложили Барнаул, место в газете, и Ляля списалась с барнаульским

театром, совсем уж было собрались, но в последний момент теща нечеловеческими усилиями — слезами, демагогией — все-таки поломала. Но не в теще дело. Та страшилась одного: как бы Ребров и Ляля не соединились прочно, навсегда. А Барнаул значил — навсегда. Для Реброва тут была громадная жертва, утрата многого — и третьего научного зала, старых книг, букинистов, приятелей, тонких журнальчиков, где он печатал свои исторические завитушки (посылать почтой? сомнительно! да и брать откуда?), и, однако, он шел на все. ***Временно***, разумеется. Даже рвался к этим утратам, к тому, чтобы — перелом, все заново. Ведь жизнь велика. Да, теща протестовала изо всех сил, однако Ляля часто поступала вопреки матери, не такая уж примерная дочь — вопреки матери бросила музыкальную школу, вопреки матери крутила с поэтом, убегала к нему, жила у него и вопреки матери вот уж пять лет с ним, Ребровым. Значит, сама не могла решиться на Барнаул, на то, чтобы навсегда. Он должен был пройти испытательный срок, что-то доказывать, предоставить гарантии. Теща говорила об этом прямо, а Ляля — был убежден — мыслила о том же втайне, даже втайне от себя. Но ведь если думать глубже, до конца… Тогда, наверно, и не в Ляле

дело, а в нем. Он сам не может сказать ни себе, ни ей: навсегда. Если думать до конца. Не потому, что не хватает любви, а потому, что слишком много ее, чересчур тесно, лодка перевернется, есть страх — в открытое море. Сначала должен сам себе что-то доказать. Предоставить себе самому гарантии. И она это чувствует: «Гриша, теперь, когда не надо думать о куске хлеба, ты можешь сидеть спокойно и работать…»

За завтраком Ляля, торопясь, рассказывала о посещении отца — к февралю, может быть, выпишут. Что-то о театре, кознях Смурного, о том, что у Сергея Леонидовича конфликт со Смоляновым, не хочет ставить его новую пьесу. Боб с ним заодно, но директор настаивает, Бобу грозит увольнение, а Смурный уже подбрасывает Смоляиову хвост. Ирина Игнатьевна жадно спрашивала, Ребров молчал. В присутствии тещи не любил разговаривать с Лялей о театральных делах. Вдруг вырвалось:

— И правильно, что не хочет ставить! Наконец-то опомнился.

— Почему правильно?

— Да потому, что ерунда. Никому это не нужно…

— Гриша, ты не прав и, прости меня, немного

завидуешь. У Смолянова есть неплохие вещи, публика его принимает.

— Публика принимает! Критерий! Да выпусти на сцену двух дураков, пусть лупят друг друга по мордасам… Главное, я завидую! Чему завидовать? Его деньгам, что ли? Тогда уж завидовать модельному сапожнику Аркаш-ке, нашему соседу.

— А знаете, Гриша, — вступила в разговор тетя Тома, — я с вами не согласна. Спектакль, где Лялечка играла, мне понравился. Я очень много смеялась.

— Не отвлекайте ее пустыми разговорами, Она ничего не успеет поесть, — сказала теща строго.

Ребров засмеялся.

— Нет, вы меня изумляете! Да неужто вы всю эту музыку принимаете всерьез? Так называемый успех, шум-гром?

Почему-то он распалялся, городил лишнее. Теща тут, же спросила:

— А вы считаете — успеха нет?

— Гриша, а вот Смолянов добрее тебя. Ты о нем с такой злостью, а он хочет помочь.

— Во-первых, безо всякой злости. Во-вторых, кому помочь?

— Яс ним вчера говорила. Насчет тебя.

— Что — насчет меня? — Он смотрел на нее

в ошеломлении. Лицо ее стало краснеть. Ляля краснела редко, и если уж это случалось, то были, значит, причины. — Ну, о чем ты могла с ним говорить?

— Вообще я сделала глупость. Человек он ненадежный, не нужно было…

— О чем, о чем?

— Ну, о том, чтобы как-то помочь. В творчестве…

Он пробормотал: «Вот еще вздор… Как он может мне помочь?» — махнул рукой и вышел. Возмутила бестактность — говорить об этом при теще! Кроме того, хотелось немедленно, сию же минуту, спросить о Смолянове все — рассеять или укрепить подозрение, которое уже саднило занозой, но при старухах спрашивать было нельзя. Поэтому он поднялся в мансарду и ждал в нетерпении. Наконец Ляля взбежала по лестнице — театральная «Победа» стояла у ворот, — стала, торопясь, собираться, бросать вещи в чемоданчик. Он спросил: как возник разговор? Ляля что-то ответила. Тогда схватил ее за плечи, стиснул, глядя твердо, с отчаянием:

— У тебя с ним роман!

Она секунду глядела с недоумением, лицо ее вновь начало краснеть.

— Конечно, как же иначе! Ведь он наш драматург, мы от него зависим. Нет, Гришенька, выяснилось, что он глуп. А, как ты знаешь, глупые люди для меня не существуют. Я побежала! Пока!

Ребров смотрел сверху, как цигейковая шуба мелькает в саду, на белом, среди голых деревьев. Ничего не разрешилось. Конечно, она шутила. Это было бы невероятно. Она знала, что тогда он не сможет жить.

Через час трамваем поехал на Башиловку. Нужно было взять несколько книг, которые давно уже оторвал от сердца, мысленно свыкся: продать. Сосед Канунов сказал, что приходили из домоуправления и строго требуют справку с места работы. Вплоть до выписки и выселения из Москвы. Сосед был человек неважнецкий. Комнату занял нахраписто после войны под маркой того, что инвалид. Комната раньше принадлежала хорошим людям, ребровским старинным соседям, которые замешкались в эвакуации, а этот вселился в одну из комнат — у тех было две, — и уж потом его ни кипятком, ни керосином не выморить.

Насчет справки повторил три раза, даже в комнату нагло просунулся.

— Сказали, Григорий Федорович, если до первого не представите, заявят в милицию.

— Хорошо, хорошо. Представлю.

— Так что вы побеспокойтесь. Ввиду того, что я назначен уполномоченным по подъезду.

— Очень приятно… — Ребров с некоторым усилием — сосед не давал — придвинул дверь, закрыл.

Минуту спустя был стук и голос соседа, гораздо более требовательный, резкий:

— И прошу окно заклеить! Вы где-то живете, неизвестно где, а квартиру морозите. Прошу безотлагательно утеплить.

«Иди к чертовой бабушке», — пробурчал Ребров неслышно, но вслух ничего не сказал. Раздражение и упадок сил — вот что он испытывал. Скандалить с такими, как Канунов, не нужно. Справку? Принесем. Заклеить окно? Пожалуйста. Не теряя времени стал рыться в шкафу и на полках, отыскивая книги для продажи. Попадались старые общие тетради, альбомы с бездарными школьными рисунками, а вот и учебник польского языка, самоучитель итальянского — господи, сколько благих начинаний! В книгах был хаос, пришлось потратить часа полтора, да он и отвлекался, всовывал нос в старье, в пыльные тетради

и, забыв обо всем, наслаждался бессмысленным чтением, пока не нашлось нужное количество книг, рублей на сто двадцать. Наконец, набив портфель до отказа, вышел из дому, который когда-то был родным, единственным, но после смерти родителей, гибели брата и после того, как жизнь переломилась Лялей, сделался нежилым помещением, вроде сарая.

Справку для домоуправления два года давала как раз та редакция, где накануне его вычеркнули из списка внештатников. Искать выход. Причем срочно! Этот дядя доведет дело до конца. Кажется, нацелился на его комнату. Ну да, у него семья, тесно, а тут — видит — месяцами никто не живет, несправедливо же. В домоуправлении, может, и забыли про справку, в прошлом году приносил, но Канунов напомнит. Что он там делает, на мясокомбинате? Мастер, инженер, нормировщик, шут его знает. Делает колбасу. Чуть зазеваешься, и он тебя — хоп, в машину, и вылетаешь с другого конца рулончиком «любительской» в целлофане, с аккуратными хвостиками. Если бы студия взяла сценарий, а какой-нибудь театр принял пьесу — хотя бы на будущее, с переработкой, но с договором, — дело в шляпе, справка будет. А пока что он зеро, продавец воздуха. На заводе силикатно-

го кирпича всегда нужны разнорабочие, и вам дадут справку. Он ведь даже не муж известной артистки. Канунов что-то почуял, недаром выспрашивал: «А почему бы вам не прописаться на площади жены? А вы член какого-нибудь творческого союза?»

Все ясно: Канунов приступил к действиям! Прошлый раз очень ласково пытался выяснить адрес Ляли для того будто бы, чтобы письма не залеживались: пересылать. Но Ребров угадал опасность и адреса не дал. Ничего, пусть залеживаются. А то явится однажды: «А мы, Григорий Федорович, насчет справочки».

Ребров невольно оглянулся. Улица была пустынна, ветер мел снежок по тощему тротуарчику.

За книги в проезде МХАТа, в четырнадцатом магазине, где был знакомый товаровед, выручил девяносто рублей и сразу поехал в редакцию на Гоголевский бульвар, где у него брали иногда «Исторические курьезы» и «Забытые факты». Там сказали, что справку дать не могут, потому что он не включен в официальный список. В другую редакцию, где лишь изредка получал работу — ответы на письма, — идти было вовсе бессмысленно.

Побрел в «Националь». И первый, на кого наткнулся в зале, был Шахов.

— А! — сказал Шахов будто бы дружелюбно. — Как ваши дела, вьюнош? Садитесь, примите стопаря. У вас какой-то вид замороженного судака.

— Дела мои прекрасны, — сказал Ребров, садясь и наливая в фужер коньяк из шаховского графинчика. Вел себя нахально, потому что решил сразу же заказать двести. — Слушай, а ты мне что-то предлагал, помнишь?

— А? Помню. Что? Забыл… — Шахов захохотал, подмигивая. Красные в синеву щечки, набрякшие от коньяка, тряслись, глаза смотрели вроде пьяно, но одновременно как-то цепко, внимательно. — Сейчас обсудим. Ты поешь поплотней. Закажи карпа. Сегодня карп колоссальный…

Предложение было таково: есть один человек, который может помочь. Надо принести, показать все, что есть — сценарий, пьесу, он скажет что, где, куда, почем. Человек крайне солидный, с большим опытом. Это что же — соавторство? Почему так уж обязательно сразу? Как говорится, будем посмотреть. Но вариант не исключается. Нет, исключается! К чертям собачьим! Кто же этот крайне солидный человек? Тихо, тихо, не

нервничать, особенно с карпом. Слишком много костей.

— Как говорится, наше дело предложить, а ваше принять…

Со своими красными, всегда влажными глазками он похож на старого сеттера, больного конъюнктивитом. Ему лет под семьдесят, но все зовут его Костей. Кажется, он что-то делал еще в «Биржевых ведомостях». Мог что-то делать и семьдесят лет назад, и сто, и раньше. В «Голосе» у Краевского, в «Московских ведомостях» у Каткова — где угодно. Милый Костя, это уж наглость, неудобь-глаголемая, ни в какие ворота! Почему же, позвольте узнать? А что вы о себе воображаете, вьюнош? Ну, хорошо, закажите еще двести — и никакого разговора не было. В случае чего я здесь во вторник после шести. Что рассказывает супруга? Как дела у Сергея Леонидовича? Я слышал, у него неприятности? Конфликт с директором?

Было около трех. Ребров поехал в театр. Не был там очень давно, и не хотелось, не мог. Но теперь гнало последний раз толкнуться, ***потому что стоял на грани***. Ведь настоящего ответа так и не получил. Обсуждения не было. И рукописи до сих пор там. И еще — увидеть Лялю, спросить немедленно. Как она скажет, так и будет.

Проскользнул пустой вестибюль, кинул пальто на крюк в гардеробе, и — к завлиту в кабинетик, набитый табачным дымом.

Маревин сидел на диване, притулись небрежно, одну коротенькую ножку подогнув под себя, другой покачивая, рядом с ним на краю дивана чинно выпрямилась сухая кеглеобразная дама. Разговаривали вполголоса, у Маре-вина в руках четки. Всегда с четками, как правоверный мусульманин. На Реброва взглянул устало, с удивлением.

— Позвольте, Гриша, мне думается, какой-то разговор у нас был. Разве нет? Мне думается, вы ошибаетесь…

— Ничего подобного! Через Лялю…

— Да был, был! Вы запамятовали. По поводу «Высокого дома» — или как там у вас? — вы спрашивали по телефону… Я передал мнение Сергея Леонидовича…

— А где официальный письменный ответ?

— Я не понимаю, Григорий Федорович… — В черных глазах Маревина сгущалось неудовольствие. Под глазами темными нашлепками висли мешки, как с перепоя. И этот пигмей, жалкий язвенник, тут царь и бог! — На чем вы настаиваете? Обсуждение? Мы вас щадили… Зачем вам?

Актеры, члены совета, люди бестактные, грубые, скажут какую-нибудь неприятность — вы полгода работать не сможете, руки опустятся. В ваших же интересах… Официальное письмо — пожалуйста, хоть сию минуту…

Кажется, издевательство. Но ведь, наверно, по делу. Издевательство-то по делу. ***Считает халтурщиком***. Голову стягивало болью, будто кто-то все туже закручивал вокруг черепа полотенце. А, плевать! И вдруг неузнаваемым, пошло-напористым голосом, каким должны разговаривать халтурщики:

— Борис Миронович, мне бы хотелось получить справку о том, что я ваш автор и работаю для театра над пьесой. Это необходимо…

Зазвонил телефон. Пигмей спустил ножки с дивана.

— …для домоуправления.

Пока он бубнил в телефон, дама склонила кеглеобразный стан к Реброву, шепнула:

— У Бориса Мироновича — вы знаете? — большое горе. Жену похоронил. Он ведь один, детей нет, родных никого…

Маревин продолжал бубнить в телефон:

— Выписку, да, да, в понедельник, попрошу подготовить всю документацию, да, да, да, да, да,

существенно важно…

— Отчего умерла? — поинтересовался Ребров.

— Она болела очень долго, — сказала дама, кивнув скорбно и почтительно, но в то же время с видом какого-то неизъяснимого уважения.

Маревин пытался понять, о какой справке идет речь. Потом, поняв, дал совет: Людмила Петровна должна переговорить с директором, ей не откажут. Он бы сам мог переговорить, но теперь это не имеет смысла. Он из театра уходит. Для него директор не сделает ничего, скорее наоборот, а если Людмила попросит — может сделать. Она как раз пользуется сейчас кредитом. Ребров содрогнулся от мысли: потерять человека, который единственный в мире. Остаться ***совсем одному***. Он взглянул пронзительно в маленькое, померкшее — теперь видел, что померкшее — лицо Маревина, который снова сел на диван и теребил четки, и понял, что этому человеку худо. Не из тех, кто может жить совсем один. Сухопарые дамы вроде сидящей тут, на диване, его не спасут.

«Боб скоро умрет! — вдруг подумал Ребров с испугом. — Без театра…»

— А вы, пожалуй, зайдите к Сергею Леонидовичу, — сказал Маревин. — Поговорите с ним. Зайдите, зайдите сейчас же! Он у себя, я знаю.

Реброву захотелось сказать: да бог с ними, с пьесами, справками. Все это мура, не стоит разговора. В самом деле мура. Можно как-то перекрутиться и жить дальше. Ведь жизнь велика. А стоит разговора другое: смерть, одиночество. Но это как раз то, о чем разговаривать невозможно. И он тряс руку Маревина, заглядывал в его глаза — в них была беззащитность и одновременно все же какое-то высокомерие — и, потоптавшись, помяв пальцы, так ничего не сказал и ушел.

Зачем было идти к главному? Ведь все стало ясно, пользы не будет. Но он действовал теперь — как бывало с ним часто — во власти инерции, не в силах затормозить. Главный режиссер знал Реброва довольно хорошо как мужа Ляли, но серьезных разговоров никогда не было, все так, мимоходное, застольное, два слова на вокзале, в буфете, у вешалки… И вдруг этот тучный седой человек — ошеломительная неожиданность! — стал говорить Реброву все свое сокровенное, мучающее. Ребров ему что-то про справку, а тот — про то, что зол на весь мир, находится в опаснейшем, мизантропическом настроении, человечество себя не оправдало, мы погибнем от лицемерия — и что-то еще в таком духе. Он почти бегал по комнате, а Ребров стоял у окна,

прижатый спиной к высокому подоконнику.

Оказывается, полчаса назад окончился худсовет и старик всем дал по мозгам — директору, заму, второму режиссеру! Вчера ночью, в бессонницу, вдруг отчетливо понял, что спасение в одном: говорить людям правду в глаза. Автору, конечно, донесут сегодня же, потому что сыр-то бор разгорелся из-за него. Борис Миронович встал поперек третьей пьесы… А что такое третья смоляновская пьеса, это, знаете ли, особый разговор — действие происходит в Чикаго, Белграде и на Волго-Доне…

— Почему, собственно, я все это рассказываю? Наверное, потому, что ваша Людмила была единственным человеком на худсовете, кто пытался — пускай робко! — помочь мне спасти Боба.

Он поглядел на Реброва внимательно и вдруг продолжал иным голосом, сухо и неприязненно:

— Так, теперь поговорим о вас. Я предупредил, сегодня я беспощаден. Согласны? Идет? Так вот, читаю я ваши сочинения, читаю других молодых авторов — того же Смолянова — и удивляюсь: ну зачем люди себя мучают? Почему пишут о том, о чем имеют лишь слабое представление? Ведь у каждого из вас есть свое, кровное, что дорого до слез, как у Чехова — его дяди Вани, докторы

Астровы, а у Горького, допустим, его мещане, Булычовы, Достигаевы. А у вас — кто? Что? Вот сочинили о корейской войне. Корею вы не знаете, войны тамошней не нюхали и вообще на востоке дальше Казанского вокзала не бывали, а? Так ли?

— Эта пьеса не вполне реалистическая… Скорее сказка, — пробормотал Ребров, не в силах побороть улыбки, которая со стороны выглядела, наверное, дурацкой. — Даже, пожалуй, притча…

— Притча! Послушайте, это самонадеяннейшее заявление: я написал притчу! Притчи пишут народы, а не авторы. Теперь другая ваша пьеса, о строительстве университета. Терпите, терпите, такой уж день. Но ведь боже мой, друзья мои золотые, научитесь сначала писать о двухэтажных домишках, о бараках, о комнатках в цветочных обоях, где живут Петры Ивановичи и Марьи Ивановны, а потом уж кидайтесь на сорок пять этажей! Вот Смолянов, человек не без способностей, принес когда-то первую немудрящую пьеску о лесополосах, что-то было свеженькое, от жизни… Опыта еще мало, а замахивается… Я колебался, но убедили, упросили, тема нужная, поставил. Тут вступает в действие мифотворчество, возникает мифологема…

Ребров был не в силах сосредоточиться и вникнуть по-настоящему. Что-то о Смолянове, невероятно длинное, сложное, накипевшее. Но ведь пустяки, вздор. Зачем так долго? Такая горячность? Одно ясно: одинок, ущемлен, на что-то решился и уже испуган, некому пожаловаться, не на кого излить. Здорово же Смолянов успел насолить. Какие-то клочья фраз достигали сознания: «Герман Владимирович, этот магистр лицемерия, рвется в постановщики… А раньше, вы помните?.. Оба моих спектакля — мой, мой грех, я этого Голема породил!..»

— Сергей Леонидович, — сказал Ребров, — а как вы полагаете с моим вопросом? Как мне-то быть? — Вновь, как в кабинетике Маревина, возникло грубое вожделение халтурщика: бить в одну точку. А что делать? Явился в таком качестве — и должен вести себя соответственно. — Мне бы справку хотя бы.

— Справку? Какую справку? — удивился главный режиссер. — Ах, ту справку, о которой вы говорили. Обратитесь к администрации.

Он включил настольную лампу, стал шевелить бумаги на столе, лицо вмиг сделалось старческим, брезгливым. Ребров неожиданно сел в кресло под лампу и сказал:

— А вот что: у вас есть десять минут времени? Хочу кое-что рассказать. Нет, не к тому, что вы читали. То — мура! Имейте в виду, я на вас совершенно не в обиде…

— Не тратьте времени зря. Я вам дал семь минут.

Просидели в кабинете два с половиной часа. Ребров рассказывал о Николае Васильевиче Клеточникове. Все, что горело в нем последние месяцы и что стало остывать и превращаться в лед за последние дни. Но теперь, рассказывая, снова воспламенялся: ведь история Николая Васильевича была примером того, как следует жить, не заботясь о великих пустяках жизни, не думая о смерти, о бессмертии… Неизвестно даже, был ли он истинный революционер, то есть сознавал ли в полной мере задачи и цели. Явился неожиданно, чахлый, полубольной, никому не ведомый, провинциальная чиновничья крыса в круглых очках, и предложил свою помощь революции. И были сомнения, неясность — ничего ведь героического! Ни стальных мускулов Александра, ни кинжалов и пистолетов Сергея, ни начитанности Льва, ни карбонарского романтизма Николая. Ну ничего, ничего. Был исполнителем. Исполнял чужую волю, которую несколько человек

назвали «народной». Внедрился в полицейское чрево, проник под панцирь, просочился в самую глубь, в кишки, в сердцевину Третьего отделения, и оттуда — спасал, выручал, убивал. Исполнял волю собственной совести. Вот и все. Объяснить это почти невозможно, ибо совесть — понятие туманное, вроде словечка «рябь». Попробуйте объяснить словечко «рябь» — ничего не выйдет, начнете дрыгать в воздухе пальцами. И однако, тут гигантская сила. Правда, в разные времена эта сила то прибывает, то убывает, в зависимости, может быть, от каких-то взрывов солнечного вещества. На следствии он говорил нелепицу, клевеща на себя, будто получал деньги от революционеров за сообщаемые сведения, надо было как-то объяснить. Как же объяснить? Ну, хорошо, болен, чахоточный, больше двух-трех лет не протянул бы, но болезнь обостряет только то, что в человеке заложено, — и вот обострилась совесть. Когда он играл в карты с жирной домовладелицей, полицейской наушницей, желая ей понравиться и через нее получить место в заветном учреждении…

Сергей Леонидович слушал с азартом и жадностью, как слушают дети. В нем было что-то безусловно детское, в толстом старике. И по ходу

рассказа вставлял внезапно слова насчет «мирового лицемерия». Наконец он сказал:

— Удивительно, как много прекрасных и забытых людей жило на земле. И ведь недавно! Мой отец был современником вашего Николая Васильевича, тоже петербургский житель… — И он, пораженный, рассуждал об этом. Ребров был почти растроган. Кажется, главреж впервые слышал такое имя, как Николай Морозов, а уж про Льва Тихомирова говорить нечего. — Понимаете ли, какая штука: для вас восьмидесятый год — это Клеточников, Третье отделение, бомбы, охота на царя, а для меня — Островский, «Невольницы» в Малом, Ермолова в роли Евлалии, Садовский, Музиль… Да, да, да! Господи, как все это жестоко переплелось! Понимаете ли, история страны — это многожильный провод, и когда мы вырываем одну жилу… Нет, так не годится! Правда во времени— это слитность, все вместе: Клеточников, Музиль… Ах, если бы изобразить на сцене это течение времени, несущее всех, все! Но сегодня я заявил: если уходит Борис Миронович, уйду и я. Так что господа должны решать. Обычно после худсовета у меня тут шум, толкотня, анекдоты рассказывают, а сегодня, видите, все разбежались, я их озадачил…

Ребров вышел на улицу в сумерках, уже горели фонари. Измочаленный долгим разговором и отчего-то бессмысленно радостный — вот уж вправду бессмысленно! Ведь ничего не добился, ни самой малой малости, какую можно было бы принести в клюве, — брел по улицам: от Пушкинской площади к Трубной, оттуда по Неглинной вниз, опять на Пушкинскую. Однако радость постепенно гасла, проступало уныние. Нет, не оттого, что еще один день сгорел бесплодно, даже библиотека пропала. Вдруг подумалось: у старика, так же как у Реброва, нет желания идти домой. Это была печальная мысль. И когда Ребров встретил у дверей диетической столовой старого приятеля, некоего Толю Щекина, он был уже весь во власти уныния. Этого парня, с которьм когда-то учился в институте, Ребров всегда встречал на улицах. Щекин получал пенсию как инвалид войны. Он был одинок, жил скудно, почти загадочно, не пил, не курил, питался в столовых, всегда ходил в одном тонком пальтишке, с одним и тем же клетчатым шарфиком.

Встречая Реброва, Щекин почему-то разговаривал с ним свысока, с неизменной покровительственной улыбкой. А Ребров любил встречать Щекина. Один вид этого человека, который пре-

кратил всякие попытки подняться выше нулевой отметки, улучшал настроение. Обычно говорили о женщинах. Ребров спрашивал, не женился ли Щекин. Тот хохотал: «Что ты, что ты! Никогда!» Лицо Щекина было неистребимо румяное, зубы, аккуратно починенные, сверкали. Друзьями Щекина были продавщицы, официантки, судомойки, приемщицы из ателье и химчистки, с которыми он проводил несколько запланированных часов в неделю: приглашал в свою скромную комнату, угощал скромным ужином, бутылкой вина, иногда просто чаем с колбасой и радовался скромному призу. Вот о них-то и случалось кратко, на бегу, поговорить. Но сейчас усталость и уныние не располагали к балагурству. Исподлобья взглянув на Щекина, Ребров спросил машинально:

— Ну, как, еще не женился?

— Никогда! — захохотал Щекин и дружелюбно, хотя и несколько покровительственно пошлепал Реброва по плечу. Он стоял почти у самых дверей диетстоловой, впереди были только старухи, а сзади человек двадцать. Очередь, по-видимому, стояла долго, намерзлись и, заметив приставшего Реброва, злобно насторожились. А Ребров почувствовал голод. Ведь он ел часов в двенадцать, а

теперь был уже седьмой! Щекин спросил:

— Говорят, твоя жена пошла в гору? Ты машину покупаешь?

— Кто тебе сказал?

— Вся Москва говорит, ха-ха…

— Гражданин, встаньте в очередь! — проскрипело сзади.

Щекин громовым голосом заявил, что Ребров стоял впереди него. Очередь заколыхалась, кто-то вскрикнул: «Мы не видели!» — электрические разряды щелкали в воздухе. Ребров не оборачивался, открылась дверь, три старухи и за ними Ребров под прикрытием щекинского протеза вклинились внутрь. За супом и запеканкой Ребров рассказывал о своих бедах. Он понял: кто-то должен слушать. Щекин слушал хорошо. Кивал, вставлял сочувственные глупости и, улыбаясь, поглядывал на Реброва свысока.

Вдруг он сказал:

— А ты, брат, обуян гордыней! Какие-то пьесы сочиняешь, повести о народовольцах.

— То есть как это? — удивился Ребров.

— Честолюбие тебя замучило. Суетишься зря. Я вот преподаю в вечерней школе литературу, шесть часов в неделю. И как мило! Фонвизин, Пушкин, Державин… «Я царь, я раб, я червь, я

бог!» Хочешь, устрою? Будешь историю преподавать. И справку дадут.

Ребров покачал головой.

— Пока не хочу.

— Ну, ладно. Посуетись немножко. А зря вообще-то. Не взять ли еще по стакану киселя?

Ребров молчал, подавленный.

В том, что честный недалекий Щекин — почему-то Ребров был убежден в том, что Щекин недалек, — высказал так открыто и доброжелательно, была какая-то наивная, смертельная беспощадность. Вот она, ***правда в глаза***. А не те колкости, которые отпускал Сергей Леонидович. В самом деле, не лучше ли так — лапки кверху? История в вечерней школе. Шесть часов в неделю. Справка, положение, существование. Щекин приковылял с двумя стаканами киселя и говорил что-то про черненькую подавальщицу, ее зовут Рита, из хорошей семьи. «Могу дать телефон. Дать телефон?» Ребров был так далеко, что хотя слышал вопрос, не ответил. Когда вышли на улицу, Щекин сказал:

— А ты не расстраивайся. Через двадцать лет все будет наоборот. Вы с этим режиссером, СергеехМ Леонидовичем, поменяетесь местами, я тебе обещаю. — Он засмеялся. — И только я останусь

на прежнем месте!

— Через двадцать лет? Кому это нужно. Я буду старичком, почти таким же, как он…

— Я и говорю: поменяетесь местами. А он перестанет существовать. Почти так же, как ты теперь, ха-ха!

— Спасибо, обрадовал.

— Не горюй, милый! Звони. Про вечернюю школу помни. Еще есть место заведующего клубом в Первомайском районе, могу устроить. Не пропадай!

И прожигатель жизни по диетическим столовым двинулся Пушкинской вниз, к метро. Ребров пошел по той же улице вверх. Последние слова Щекина, вроде бы исполненные доброжелательства, удручили вконец. Неужели без злого умысла? «Но ведь прав, подлец, — не существую…»

Долго ходил по улицам и думал об этом.

Если вдруг окочуриться — кто заплачет? Да попросту — кто спохватится? Ляля заплачет. Некого будет жалеть. Но через три месяца познакомят с одним туберкулезником, физиком, любителем симфонической музыки пли с чудесным человеком, землемером, запойным пьяницей, Ирина Игнатьевна все равно будет рада и найдет

преимущества. Главное преимущество: туберкулезник и запойный пьяница ***существуют***. Начался снегопад. Ехать домой было все еще рано. Тянуло по бульварам, сначала вниз, по Трубной, потом в гору, к Сретенским воротам. Знал, куда тянет: к дому на Сретенском бульваре. «Аннушка» очень. медленно одолевала подъем. В электрической уютной теплоте качались бескровные лица. Ребров почти шагом догнал трамвай и вскочил на подножку. Было когда-то: зима, снегопад, горбился бульвар с вымершими деревьями и вот тут — справа темнела кирпичами древняя крепостная стена — он вскакивал на подножку. Портфель держал в левой, семенил быстро и четко, стараясь попасть в ритм колеса, молодецкий прыжок и — там! Правой ухватывал поручень. Так было ежедневно до того марта, в гололед, когда нога провалилась в пустоту, портфель выпал и кто-то сильный схватил за ворот, выволок на площадку. У Сретенских ворот, которые были конечной целью недолгого приятного путешествия— всего одна остановка! — услышал крик и увидел бегущую снизу, от Трубной, размахивающую руками фигуру человека. Это был отец. Он нес портфель, за которым Ребров собирался бежать вниз. Подбежал, тяжело дыша,

с белым лицом, и, ни слова не говоря, отвесил такую плюху, что Ребров брыкнулся на тротуар, а лишь только поднялся, отец ударил снова, выговорив с ужасающей ненавистью: «Негодяй! Я все видел!» После того дня отец долго втайне следил, скрываясь, как настоящий шпион, за углом дома на Рождественке, за тем, как Ребров возвращается из школы, не прыгает ли в трамвай. Делать отцу было нечего. Он тогда уже не работал, был раздражительный, крикливый, ругался с мамой. Мама его жалела. Когда Ребров ей жаловался, что отец шпионит и ребята заметили, дразнят его, она говорила, что не нужно обращать внимания. «Пусть делает что хочет! — говорила мама. — Ведь он страдает, а мы не можем помочь». Ребров не понимал, почему нельзя найти другую работу и не страдать. Отец был экономистом. Но он уже был тогда болен, чего Ребров не знал. В конце лета отца увезли в больницу, из которой он не вернулся. Мама навещала его, но Реброва и его брата Володьку никогда не брала с собой. Однажды приехала радостная и сказала, что отец ее узнал. Отец сидел на кровати, шил из лоскутов одеяло и, когда мама зашла в палату, вдруг посмотрел на нее и сказал своим обычным ворчливым тоном: «Вера, у нас дома много разных лоскутов. Почему

ты мне не привезла?» Мама так растерялась и обрадовалась, что не нашлась что ответить и расплакалась. Когда началась война, больницу эвакуировали в Кировскую область, отец умер в начале сорок второго от воспаления легких, но Ребров узнал об этом только через два года. Мама, наверное, узнала сразу же, она переписывалась с больницей. Она была в Кузнецке, куда эвакуировался завод. Мама умерла в сорок третьем году от сердечного приступа, а Володька перестал писать летом сорок второго — Ребров прочитал об этом в мамином письме, — и, вернувшись в Москву после госпиталя, Ребров стал наводить справки, писать повсюду, но ответ был один: данными не располагаем. Потом уж, сопоставив известные факты и некоторые сведения из последних писем Володьки, Ребров понял, что Володькина часть попала в котел под Харьковом.

Вот он, двухэтажный дом с полуколоннами, львиными облупленными мордами. На втором этаже третье и четвертое окна справа. Тут протекала лучшая жизнь: до шестого класса. Когда отца уволили с работы, он почему-то не мог тут жить — говорил, что мешает уличный шум, мучает бессонница, — и переехали на тихую Башиловку, почти за город. Как Ребров тогда сопротивлялся!

Как не хотелось покидать школу, ребят, бульвар, каток на Чистых прудах, марочный магазин на Кузнецком, куда бегали после школы и где в подворотне происходили жестокие драки! Однажды получил от матери шесть рублей на серию французских колоний, вышел, счастливый, из магазина, вдруг кто-то толкнул в подворотню — трое пацанов стали молча крутить руки, отнимать пакет, он боролся отчаянно, раскидал, вырвался, побежал вниз по улице и, только добежав до метро, заметил, что весь перед его нового весеннего пальто висит клочьями: порезан бритвой. Но гордость тем, что раскидал, вырвался и спас драгоценный пакет, была больше мелкой неприятности: подумаешь, пальто…

Снег валил гуще. Заваливал все: закусочную, из хлопающих дверей которой вырывался теплый воздух, тротуар, бредущих людей, шапки, лица, воспоминания, мальчика в черном тулупчике, сначала длинном, потом куцем. Четыре человека жили за этими окнами на втором этаже. Один Ребров остался из четырех — стоит и смотрит в довоенное… Куда ж они делись все? Нет их ни здесь, ни там — нигде. Так получилось. Он их представитель на земле, где сейчас снегопад, где троллейбусы медленно идут с включенными

фарами…

Ляля спросила:

— Зачем ты приходил сегодня пьяный?

— Куда приходил?

— Мне сказал Боб. Пришел, говорит, твой, пьяный вдрабадан, стал требовать обсуждения пьес. Про какую-то справку. А у Боба — ты же знаешь? — ужасные неприятности…

Ребров махнул рукой. Знает! Говорить обо всем этом сил не было. Сказал единственное:

— Смолянову передай спасибо.

Легли спать, и Ребров рассказал, что ходил сегодня к старому дому на бульваре. Добашиловская жизнь Реброва волновала Лялю, она любила его расспрашивать про отца, про времена, когда Ребров был совсем маленьким, — они-то познакомились в седьмом классе. И сейчас лежала, притихнув, и слушала. Ребров рассказывал, как когда-то давно, году в тридцать третьем, отец купил два детских соломенных креслица и приделал их к багажникам велосипедов, к своему и к маминому, и по воскресеньям вчетвером ездили кататься: Ребров и Володька сидели в креслах на багажниках. Где-то есть такая фотография, надо поискать. Лялина рука коснулась в темноте его лба, волос, стала гладить. Он взял эту руку,

прижал к губам. Сказал, что сегодня один человек предложил работу: в школе для взрослых, преподавать историю. Можно еще пойти завклубом в Первомайский район. Ляля молча гладила его лицо. Он сказал, что есть другое предложение: отнести обе пьесы к кому-то, кто имеет связи, может помочь. Там, вероятно, придется брать в соавторы. Но ведь лучше, чем так, без движения. Хотя противно. Ляля шепнула:

— Ну и не надо. — Стала целовать его. — Не надо, мой милый. Не надо, родной мой. Не думай ни о чем. Все будет у нас хорошо. Справку достанем, будешь работать спокойно, добьешься всего, ведь ты талантливый, не надо, не надо, не раскисай. Что за дурак тебе предложил завклубом?

Он лежал не шевелясь, слушая, впитывая в самое сердце ее бормотание, сладкий шепот, обволакивающий, как эфир.

— Ты знаешь, что мне кажется? Что я… ты понял?

— Да?

— Мне кажется — да. И я хочу оставить.

Забилось в груди, силы возвращались. Радость, испуг — все вместе, слитно. Столько же счастья, сколько и несчастья: вот все, что необходимо. И это родное, теплое рядом и есть единственное

доказательство: ***существую***!

Тут, как бывает во сне, возникла истина, показавшаяся ясной и старой: не когито эрго сум, а люблю эрго сум, вот и все. Как же люди не догадываются? Почему не поймут? Ведь это же поразительная очевидность. «И я существую! Существую вопреки вам всем», — думал он с бурной и злобной нежностью, не ощущая ничего, кроме вкуса любви на губах и великого прилива сил.

Днем около одиннадцати пришли двое с телефонного узла и стали смотреть, откуда и как тянуть в дом «воз-душку». Никто их не вызывал. Все думали, что ошибка, но рабочие показали наряд, на котором значилась фамилия Телепневой Л. П. и стояла подпись начальника узла. Тогда Ляля сообразила и сказала: «Ах, я знаю, что это!» — но было видно, что смущена и как будто не очень рада. Ребров потребовал отчета. Ляля сказала, что о телефоне давно хлопочет дирекция театра — им самим неудобно, часто приходится гонять машину только для того, чтобы что-нибудь сообщить, — но ничего не клеилось, кабеля поблизости нет, «воздушка» вещь дорогая, и вот, должно быть, в дело вступил Смолянов. У Смолянова с^вязи и в этой области. Ирина Игнатьевна радостно восклицала!

— Какая прелесть, Лялечка! Большое, большое ему спасибо. Передай Николаю Демьяновичу, что он душка, молодец…

— Мама, я не хочу одолжаться.

— Ляля, какие глупости! При чем тут одолжаться? У всех наших родных, у всех знакомых сто лет телефоны, одни мы как в деревне…

Что-то в этой суете, внезапности, Лялиной ***нерадости*** и чересчур горячем тещином ликовании было такое, от чего Ребров насторожился. Ведь, черт возьми, телефон! Это — вещь! У него никогда в жизни не было телефона, ни на Сретенке, ни на Башиловке. Но как-то странно Ляля смутилась: будто споткнулась на ровном месте. Вскоре пришла машина, Ляля уехала, а теща через час уже звонила дяде Коле, тете Жене, дяде Мише, всей ораве родственников, сообщала номер телефона и последние сведения про Петра Александровича.

Через неделю старика обещали выписать.

Ребров шел от метро домой — спустя два дня после того, как возник телефон, — и, приближаясь к желтому дачному заборчику, увидел нечто, в первую секунду его изумившее. У ворот соседнего участка стояли милиционер Куртов и Канунов в черном длинном пальто, разговаривали. Канунов

встал вполоборота, сделал вид, что не заметил Реброва. И Ребров сделал вид, что не узнал, хотя прошел рядом, почти коснулся плечом.

Чувство было невыносимо гадостное и от неожиданности — слабость в ногах.

Приятного мало узнавать, что кто-то под тебя упорно роет. Ты живешь, а чье-то рыло работает. «Ну, все!» — подумал Ребров, подходя к своей калитке, и рассмеялся. Оглянувшись, увидел, что милиционер и Канунов на него смотрят.

Планида Смолянова, четыре года круто набиравшая высоту, вдруг замедлила ход. Собственно, ничего страшного в делах не произошло, никаких катастроф, но темп снизился — это могло быть дурным предзнаменованием. Как Николай Демьянович себя ни уговаривал в том, что самая лучшая футбольная команда, например ЦДКА, и то иногда теряет очки, нельзя же нигде не ошибаться и не нести урона ни в чем, терпения не было и мудрости не хватало. Вместо того чтобы хладнокровно двигаться дальше, не реагировать на стоны и оскорбления, он, не выдержав характера, ввязался в прямой скандал: где-то на ходу, на лестнице стал отвечать на крики и грубости старика, угрожал, тряс на него пальцем, бывшего завлита Маревина обозвал двурушником и, как

дуралей, полностью раскрылся. Нервы сдали! Оно понятно, ведь как раз в январе случились тяжелые неприятности: в Саратове мать разбил паралич, отнялись ноги и речь, и неизвестно было, как поступить с девочкой, куда ее пристроить; пока что нанял для нее старушонку, соседку, а спустя десять дней Марта выкинула номер. Хотела из окна прыгнуть из новой квартиры на шестом этаже, Фрося, свояченица, увидела, поймала на подоконнике. Это уж второй раз, первый раз было в октябре, на старой квартире. Пришлось, конечно, заявить, отвезли в Кащенко. Николай Демьянович никому не рассказывал, особенно в театре. Зачем? Никого не разжалобишь, а навредить могут. Настроение от всего этого было хуже некуда.

Людмила вторую неделю избегала Николая Демьяновича. Встречались в театре, сухо кивнет в ответ на «здравствуй» и — мимо. Николай Демьянович и сам в иные минуты подумывал о том, чтобы «завязать». А ну ее к богу в рай с ее обидами! В точности не знал, но догадывался — видно, решила, что он ее Александру Васильевичу подсватывал. Верно, Александр Васильевич просил, даже требовал, и отказать было никак невозможно, но знала б она, дура, как он страдал

из-за нее, какие кошмары представлял в своем воображении и как уповал на ее независимый нрав, столько раз его зливший. Ведь он ***в ту ночь*** глаз не сомкнул. Ни минуты сна не было, бред мучил, галлюцинации: то Александр Васильевич морщился, будто на него кулаком стучит и глазами сверлит по-своему, то Людмилу представлял в невыносимом виде, с тем вместе, и Николаю Демьяновичу язык показывает. И все же верил, всем сердцем, всеми печенками-селезенками: нет, нет, нет, ни за что! Убежден был почти железно, тыщу рублей поставил бы против рубля за то, что Александру Васильевичу ***ничего не обломится***. Ни боже мой, никогда! Не тот случай. Когда Александр Васильевич позвонил наутро, сердито что-то басил — ничего не понять, только ясно, что злой как черт, — Николай Демьянович от радости даже подпрыгнул у телефона. «Ах ты, бедняга ты мой! Изжога, говоришь, одышка, соболезную…» — бормотал сочувственно, а сам, глядя в зеркало, строил веселые рожи.

Привык к Людмиле, присушился, что правда, то правда. И быстро-то как! Хотя томила его, раздражала обидами, отвращала иной раз дураком Гришенькой и капризами, самодурством («Какой шум из-за Маревина подняла! А старика

защищать по-глупому?»), доводила до желания порвать навсегда, женщин кругом много, не такая уж сладкая, не заносись, бывают и слаще, а у него, если разобраться, возможности безграничны, только помани, и хотя знакомили с разными на скорую руку, ездили на дачу, в Химки, к приятелям, туда-сюда — через час все надоедало и превращалось в скуку. Потому что люди пустые, без понятия. Им бы только пенки снимать, а он на таких насмотрелся, на пенкоснимателей. Человек он сложной судьбы, характера непростого, не всякая поймет.

А Людмила — понимала. Удивительная: ничего у него не просила, ни за что не бранила, денег не брала. Раза два предлагал, отказывалась категорически: «Ну как тебе не стыдно?» Он радовался, приятно было — не оттого, что деньги жалел, а оттого, что такая женщина удивительная и — любит. Всего-то и трат — туфли на каучуке за триста восемьдесят рублей когда-то давно. Ну, и рестораны, само собой, не считано. Терпел Николай Демьянович, томился и — сил не стало терпеть — в коридоре остановил за руку, сказал:

— Людмила, а у меня беда.

Она глаза вскинула:

— Что такое?

— Мать с инсультом, в больнице. Не знаю, как с Галкой быть…

В глазах Людмилиных мелькнуло начальное, доброе: то ли испуг, то ли жалость.

— Возьми Галочку в Москву. А то мать себя доконает, если будет волноваться…

— И в Москве беда. С Мартой…

Рассказал скупо. Со всех сторон край — в театре война, Маревин, сволота, актеров настраивал, рецензентов подбивал, хорошо хоть отделались, а дома судьба смертным боем бьет. И близкие люди отворачиваются, ни помощи, ни тепла.

— Марту жаль, очень, очень даже жаль. Женщина еще не старая, тридцать восемь. Но центральная нервная система расшатана до предела, лечиться не меньше года и неизвестно как и что, какие результаты. Очень жаль. Она ведь отличный педагог, преподавала в детской школе гимнастику. У нее, значит, таким образом: маниакальный бред и навязчивые идеи. Ну, с Фросей скандалы, крики, с кулаками бросалась, ты же знаешь. А оказалось вот что — болезнь, никуда не денешься. Ну так жаль…

Рассказывал Николай Демьянович, буровил вполголоса и смотрел: милое лицо бледнеет, на глаза будто слезы наворачиваются. Вдруг схва-

тилась:

— Тебе помочь?

Он кивнул.

— Поедем ко мне, сейчас же!

Соображал: Фрося может надуться, будет тарелки швырять, а ну ее к богу в рай. Отослать куда-нибудь. В Тарасовку, на дачу. Ага, протопить дачу, давно не топили.

— Где телефон? Сейчас позвоню, и поедем.

— Нет… Не поедем.

Вышли из коридора, стояли на широкой лестничной площадке перед окном. Был виден двор с грязной, в утоптанном черном снегу землей. Директорская машина стояла перед воротами гаража, капот был открыт. Возле кирпичной стены, отделявшей территорию театра от соседнего дома, высились намертво заваленные снегом какие-то декорации. «Не забыть в гараж зайти, насчет аккумулятора», — подумал Николай Демьянович.

— У нас, Николай Демьянович, все кончилось, — услышал голос. — Я так решила.

— Почему?

— Так…

Стукнула дверь внизу, кто-то поднимался тяжело, кряхтя. Людмила умолкла. Старик, из

театральных пенсионеров. Поздоровался. Людмила ответила и, когда старик прошел в дверь, ведущую в коридор, повторила тверже:

— Так!

— Ты другого времени не нашла?

— Я про твои несчастья не знала.

— Но теперь знаешь?

— Знаю. Сочувствую тебе… — Помолчала. — Но все равно.

Глаза чужие, холодные.

— Ты мне казался… А ты, видишь, какой! Я привыкла к слабым мужикам… Я им защита, и мать, и жена… Думала вначале, что и тебе я нужна…

— А что в них хорошего, в слабых мужиках?

— Они подлого не сделают.

— Да? Еще как сделают!

— Нет, их на это не хватает.

— Неправду говоришь! Глупости какие-то, вздор несешь, — бормотал он, чувствуя, как в нем поднимается нехорошее волнение, вроде озноба и жара. — Ну я, например, что подлого сделал? Кого убил, удавил?

— Любого, если понадобится. Боба уже удавил, теперь за Сергеем Леонидовичем очередь — я же вижу…

— Ну и что? Правильно видишь. Только я

непричастен. Время его вышло, поняла? Запутался он, не годится, отстал безнадежно.

Ляля засмеялась.

— От кого отстал? От тебя, что ли?

— От ***времени***, моя милая!

— Ой, боже мой… — Она продолжала смеяться.

Вдруг понял: жар, охвативший его, был страхом, потому что — конец, он видел.

— Зачем же было комедь ломать?

— Не догадывалась, Николай Демьянович. Ну, глупа, глупа матушка, что поделать? Виновата, казните. Вот Гриша несильный человек, верно, очень несильный, без меня ему погибель, но никогда же — на подлое…

— Неправду говоришь, совершенную неправду говоришь, чепуху какую-то, — молотил почти неслышным тетеревиным голосом, не было сил сказать громче. — Обыкновенный человек, такой же, как я, твой Гриша. Что ж он, не знает, что у нас с тобой? Ведь знает, а терпит.

— Не знает.

— Знает, очень даже, только у него ума больше, чем благородных кровей.

— Не знает! — вдруг крикнула Ляля и глазами сверкнула так, что Николай Демьянович попятился.

— Неправду говоришь… — шептал отчаянно и смотрел, как она ему кивает, делает рукой прощальный знак, поворачивается и уходит.

И когда через два дня Костька Шахов привел к нему домой этого самого Гришу и тот, каменно напрягаясь, показывал свою хурду-мурду в обтрепанных папках с тесемками, повторяя то и дело не к месту: «Да ведь вся штука в том…» — а Костька ерничал и за журнальным столиком нахально в счет комиссионных хлестал коньяк, Николай Демьянович смотрел на Гришу с каким-то даже печальным изумлением и думал: «Да что же в нем есть? Отчего это?» Вид у Гриши был затруханный, оторопевший, и говорил он дребедень: про справку какую-то для домоуправления. Николай Демьянович Костьку просил, чтобы тот темнил подольше, не открывал Грише, к кому его поведут, чтобы только сегодня открыл бы, у метро, где у них встреча назначалась, — и ведь не плюнул же, не закричал возмущенно: «Ах вот как?» — не побежал обратно в метро. Пришел как миленький. Сидит на диване плотно, хорошо, нога на ногу, папироса в зубах, и поглядывает этак с достоинством, как благородный человек. Да ведь, может, не догадывается? Ни боже мой! Догадывается, собака. Непременно догадывается.

Людмила рассказывала, как он дома рубашку нашел, которую она ему, Николаю Демьяновичу, ко дню рождения приготовила, в комоде хранила. Спросил тогда, она отговорилась, будто какому-то музыканту из оркестра коллективный подарок. Николай Демьянович нарочно эту рубашку надел и халат распахнул. И Гриша, верно, рубашку заметил сразу же, но молчал, не спрашивал, только глаза на нее пялил. Обо всем переговорили — о критиках, о главреже, которому давно на покой пора, освободить место, а не хочет, брыкается, о том, что меры нужны, на собрании выступить, рассказать, какие безобразия творятся, молодых авторов жмут («Вам бы и поднять вопрос, Григорий Федорович?»), и все время Гриша рубашку глазами щупал и, как видно, сильно себя изводил. Наконец не вынес:

— Скажите, Николай Демьянович, где вы купили эту рубашку?

— Вот эту? Людмила Петровна подарила.

— А! — сказал Гриша.

И больше ничего. Действительно, слабые мужики никогда шума не сделают. Нет чтобы по скуле дать или закричать хотя бы: «Ка-ак! Почему такое? На каком основании?» Попрощались мирно, условились, что Николай Демьянович поглядит,

подумает и через денька три-четыре даст знать.

— Телефон-то у вас теперь имеется, знаю, знаю… — улыбался благодушно, начальственно и рукой махал, провожая до двери.

Сочинения в обтертых папках посмотрел в тот же день, посоветовался кое с кем. Костька дал почитать Левке, Алинке. К Алинке, Левкиной жене, всегда прислушивался: мудрая баба, кандидат наук. Все это, сказала Алинка, написано неплохо, но без царя в голове. Если только перелопатить солидно, перештыковать, тогда, может, дело и будет. Но вдвоем подписывать резона нет. Со Смоляновым, конечно, любой в соавторство пойдет, а Ребров — кто такой? С чем его кушают? «А кушают его, — подумал Николай Демьянович и даже засмеялся, — с женой вместе. С женой и кушают!» Ну, ну, шутка, ничего страшного, не беспокойтесь, помочь поможем, скушать скушаем, но ведь не за красивые же глаза и не за то, что ***было***, а за то, ***что быть должно***. И тут влетела к Николаю Демьяновичу одна стремительная мысль: будто птичка летним вечером залетела вдруг на веранду. Окна все закрыть, двери закрыть, будет птичка колотиться в стекла — тук, тук! тук, тук! — пока не обессилеет вконец, не упадет на пол, и тогда бери ее голой рукой.

Николай Демьянович видел всю картину отчетливо, и у него даже во рту пересыхало, как бывало, когда думал о женщине, и дней через пять, управившись с другими делами, позвонил по Людмилиному телефону и позвал Григория Федоровича. Женский голос ответил, что Григорий Федорович больше здесь не живет.

Третьи сутки Ребров, лежа на верхней полке, мучил себя — делал из мухи слона. На листке бумаги писал: муха — мура — кура — кора — корт — торт — торс… Спасительную отраву подсунул человек с полки напротив, некий Модест Петрович, как только отплыли от московских окраин и углубились в снега, в черные дачные заборы. Когда Ребров откладывал бумагу, переставал бормотать «морс — морг — торг» и взгляд его утыкался в потолок или скользил по скучной заоконной белизне — март был в начале, сугробами еще стояла здоровенная зима, — он слышал речи, видел лица, от которых отрывался навсегда, летел в неведомое. Петр Александрович улыбался сохлыми, желтыми губами. «Вам видней, Гриша. Делайте, как знаете…»

Старику было все безразлично. Даже сад — когда-то вся жизнь — теперь не волновал. Целыми днями старик сидел в кресле у окна, слушал

радио, дремал или читал «Огонек», на его губах стыла улыбка. Улыбка равнодушия ко всему, что не есть болезнь, то есть смерть. Он говорил только о своем самочувствии, лекарствах, врачах, сестрах, одна делала уколы лучше и приятно разговаривала, он ее очень любил, другая была угрюма, колола больней, не сразу попадала в вену, и он ее ненавидел, называл «сверловщицей». Ребров изумлялся краем сознания: как может человек измениться всей сутью! Он еще не знал, что и ***его сад*** — когда-то тоже вся жизнь — может быть отринут навсегда. И сроки были уже близки.

— Я вам советую, Гриша, не обращать внимания. Плюньте, плюньте! Ах, боже мой… — Старик вздыхал легкими судорожными вздохами, но вовсе не от приступа жалости к Реброву, а оттого, что вдруг опять нападала мысль о болезни. — Вы не знаете женщин… Они сделаны иначе, чем мы. Ирина, например, никак не может понять, что, когда она открывает дверь на кухню… — Вдруг спрашивал шепотом: — И зачем вы пошли к Смолянову?

— Какая разница! — раздражался Ребров. — Нужно было и пошел.

Ребров долго после того посещения, гадчайше-

го (и в самом деле, поступок идиота! Нет, труса. Вдруг страх — надо что-то делать, немедленно, где-то крупно заработать, прибавление семьи, жить отдельно. Нет, не то, главным была, может быть, низменная, самоистязательная тяга — полюбопытствовать, вмазаться в эту пытку, ведь давно уже догадался, что ***один человек*** — это Смолянов), дня два не хотел никаких выяснений. Не хотел ни во что верить, ничего знать. Потому что какой смысл? Доказать нельзя. То, что она подарила рубашку и он нагло улыбался, рассказывал об этом, еще ничего не значило. Он вообще наглец, скотина. Однако утром третьего дня все переменилось. Случайно — на полу в мансарде — Ребров наткнулся на послание Ирины Игнатьевны к Ляле. К этим сочинениям на листках ученических тетрадок, иногда в конвертах, иногда и без, Ребров привык; теща делалась графоманкой, когда бывала с дочерью в ссоре. А та, шляпа, раскидывала повсюду — не хочешь, а прочитаешь! Между ними что-то произошло, они почти не разговаривали, было заметно, но Ребров не спрашивал, в чем дело. Знал одно: начинается между ними, а замыкается на нем, Ляля не выдерживала долгих ссор с матерью. Не нужно было поднимать этого письма, черт бы с ним совсем!

Как всегда, теща писала современнейшей прозой, как Дос Пассос, без точек и запятых:

«Дура ты дура жизнь тебя ничему не учит идиотка последняя зачем тебе это нужно? Имей в виду я возиться с ним не стану на меня не рассчитывай у меня сил нет мне отца достаточно как бы на ноги поставить ты на него ишачишь мотаешься теперь еще ребенок совсем закабалишься очень скоро постареешь превратишься в клячу как тети Женина Майка ни кожи ни рожи деточки заездили а у тебя талант но ты дура им бросаешься от детей радости нет а есть только горе и разочарование ты многого не понимаешь у тебя детское сознание он тебя эксплуатирует в хвост и в гриву сам сидит в ресторане Националь пьет и жрет за твой счет а ты работай как лошадь если бы настоящий муж тогда бы я не так переживала Николай Демьянович за тобой ухаживал но ты отказалась ради чего? Если ты не пригласишь Алексея Ивановича я не желаю тебя знать живите как хотите на нас с отцом не рассчитывайте земельную ренту налог на строение все коммунальные расходы платите половину телефон на ваш счет нам он не нужен питайтесь в столовых я готовить отказываюсь Верни мне двести сорок рублей которые я тебе одолжила на мех…»



Во всем этом полубреде Реброва сразила одна фраза: «Николай Демьянович за тобой ухаживал но ты отказалась». Вечером Ребров не выдержал, спросил:

— Ну как, пригласишь Алексея Ивановича или нет? Алексей Иванович был старичок гинеколог, пользовавший еще Ирину Игнатьевну и дважды

делавший аборты Ляле. Ребров видел, что Ляля накалена, изнемогает от материнской враждебности — теща мучила ее молчанием четвертые сутки, чем-то это должно было разрешиться, надо было прикусить язык, но Ребров потерял равновесие, Слово за слово — и все, будто только того и ждали, закрутились в эту воронку. Ляля и теща обвиняли друг друга, и теща, как всегда, оказалась более стойкой — Ляля рыдала, ей стало плохо, давали лекарство, перепуганная теща лепетала: «Деточка, я тебя не оставлю», — брызгала на Лялю холодной водой. Наступило какое-то тупое нежелание говорить. Петр Александрович тоже стоял молча, опираясь на палку, и слушал крики женщин. Потом женщины разошлись по комнатам, и Ребров остался вдвоем с Петром Александровичем.

— Гриша, хочу вам сказать… — заговорил вдруг старик, приближаясь тихо. — Мне все едино… Вы завтра уедете, я послезавтра помру. Мне что? Ну вот, пятнадцать, не то шестнадцать лет назад был Валентин… — Оглянувшись, продолжал шепотом — Иванович Скобов. Старший мастер по нашему заводу. Солидный человек. Очень солидный, представительный. В кузнечном цехе. Вместе на рыбалку ездили, гостевали, то, се. И вдруг чую: у

Ирины с ним какая-то хреномутия, сохнет баба, любовь, понимаете ли…

Ребров усмехнулся:

— Если бы…

— Ну, не любовь, не знаю, кто ее знает, как хотите называйте. Но что характерно! Был момент: уйти, думаю. Непременно уйти. Девку забрать, уйти куда глаза глядят…

— Так. И дальше?

— Дальше ничего. Глупость, понимаете? Глупость проходит, а жизнь-то длинная.

— Нет, — сказал Ребров. — Тут дело другое. Я бы — пожалуйста. Но не могу. Не могу, потому что… — И, не договорив, махнул рукой и побежал вверх по лестнице.

На другой день уехал. И, уезжая, понимал, что на этот раз совсем не то, что было когда-то, когда он бросался на Башиловку от обиды. Был сине-солнечный, ярчайший день посреди зимы. Старик, улыбаясь, смотрел в окно на снег, слепящий глаза, и жевал губами.

— Делайте как знаете, Гриша…

На третью ночь прибежала Ляля с чемоданами: жить. С матерью поругалась навеки. Простить, поверить, нельзя же так поступать с человеком, без жалости, без пощады. Он рвался понять и

простить. Но все-таки: отчего? И Ляля, плача и каясь, говорила что-то такое мелкое, стыдное, что слышать было невыносимо. Да, да, говорила она, где-то внутри, в подкорке, — и это самое ужасное — было, наверное, вот что: как-то себя устроить. Ему хотелось заорать: «Боже мой, зачем на себя наговаривать? Ведь не могло же такого быть!» Могло, могло. Именно так и было. Она не желала уступать. Он надеялся, но — нет. И эта правда, вся правда, ***голая правда*** была исступленней и голей, чем самая голая страсть. Он истерзывал, выпытывал из нее все: про того, другого, всех давнишних, и она рассказывала до конца, отдавала эту жалкую правду, они оба как будто сошли с ума. Теперь-то ясно, что было той ночью: конец. Но они не понимали, им казалось, что начинается что-то новое, необыкновенное.

А на другой день, когда Ребров остался один, Ляля ушла в театр, он ощутил такую пустоту и скуку, что подумал: не бросить ли записку в почтовый ящик и не уехать ли куда-нибудь далеко? Пришел Шахов и сказал, что Смолянов давно ждет его, но Ребров сказал, что никуда не поедет. Потом однажды вечером явился сам Смолянов с ребровскими папками, коньяком и тортом для Ляли: «Если гора не идет к Магомету…»

Он сообщил, что нашел для Реброва работу: завлитом в театре вместо Маревина. С директором договорились, в управлении тоже. Ляля была на спектакле. Ребров испытывал стыд за хлам, неуют комнаты, плач канунов-ских детей за стеной, за свой затрапезный вид — в шлепанцах, старой пижаме. Он смутно представлял себе, что ему надо сейчас делать: бить Смолянова или ехать к директору и договариваться о работе? От того, чтобы бить, останавливала мысль о том, что все-таки тот приехал с добром, хочет помочь. Зачем же сразу бить? От коньяка отказался. Была еще проблема справки, потому что Канунов приставал. Во всем была какая-то странная необязательность, будто происходило во сне. И стыд во сне и удивление сквозь сон.

— Почему же «Дяля ничего не сказала?

— Она не знает. Договоренность пока только с директором и с Германом Владимировичем… Герман Владимирович — вы знаете? — будет, вероятно, главным… А Сергея Леонидовича вчера свезли в больницу, инфаркт^ говорят, обширнейший. Что ж вы хотите? Нельзя так себя не щадить… Оклад полторы тысячи, неприсутственные дни, приходить к часу…

Ребров в последние дни отчетливо ощущал: в

нем что-то разрушительно переменилось. Это случилось тогда, перед отъездом. Перемена была такого свойства, что Реброву казалось, будто он теперь другой человек, с другой кровью, другим химическим составом молекул. И этот другой человек мог и вести себя иначе, чем тот, старый, а тот, старый, имел право не отвечать за поступки другого. Сказал, что нужно посоветоваться с Лялей.

— Да чего ж тут советоваться? — смеялся Смолянов.

Но посоветоваться не удалось. Ляля заболела, лежала у матери, он туда ездил, а через дня два вызвали телеграммой, и он узнал, что приезжал Алексей Иванович и теперь все в порядке. Ляля была еще слаба, не вставала, глаза лучились светло, счастливо и, как показалось Реброву, виновато. Тому, старому Реброву захотелось рвануться к Ляле, прижаться лбом к ее белой руке, потому что счастье во влажных глазах было преодоленным страданием, но другой Ребров сказал спокойным голосом:

— Как ты себя чувствуешь? Я рад, что все кончилось.

Теща улыбалась умиротворенно, шептала:

— Только не беспокойте ее сейчас, хорошо?

Гришенька, я вас прошу, сбегайте на рынок, купите фруктов…

Ребров подумал: «Она будет в ее власти всегда. До чьей-нибудь смерти». Через час, когда он вернулся с Инвалидного рынка, Ляля спала. Ребров уехал на Башиловку. На другой день, в пятницу, пришел Шахов, они отправились обедать в ресторан, а оттуда в театр. Выпили так много, что Ребров еле передвигал ноги. Сели в такси. Но сознание работало четко. Самое страшное, думал Ребров, это долгое прощание. На площади Маяковского он велел шоферу остановиться, открыл дверцу и высадил Шахова на тротуар. Он испытывал небывалую легкость, нечто пленительное и нелепое. Если бы не боялся показаться смешным, он мог бы подняться и взлететь над домами. Поезд отходил в двадцать один час. Ляля, наверно, бродила в халате по комнате, пила чай, а он улетал не прощаясь, парил в зимнем небе над крышами, исчезал, пропадал.

Модест Петрович спустил ноги в серых вязаных носках с полки и, помахивая ими над кем-то спящим, спросил:

— Вы что же, Григорий Батькович: после окончания института?

— Нет, мой милый. Мне, слава богу, под трид-

цать, — сказал Ребров. — После окончания жизни.

— Ах вот что…

Модест Петрович засмеялся. Синева за окном густела. Включили свет. Одна жизнь кончилась, другая начинается. Собственно, человек — любой, даже вот этот геологоразведочный Модест Петрович, — живет не одну, а несколько жизней. Умирает и возрождается, присутствует на собственных похоронах и наблюдает собственное рождение: опять та же медлительность, те же надежды. И можно после смерти оглядывать всю прожитую жизнь. Этим и занимался Ребров, пока поезд тащил его на восток, во все более глубокие снега и крепнущие морозы. На пятые сутки утром в коридоре была шумная толкотня. Голосисто и странно, по-дурному кричала женщина: «Ай-ай-ай-ай-ай-ай!» Отпахнулась дверь, всунулось красное, какое-то смятое, кисельное лицо с глазами навыкате, дохнуло шепотом: умер… в пять утра… Ребров вышел в коридор. Из одного купе доносились рыдания, в другом — дверь была настежь — играли в карты. Какой-то человек, расталкивая теснившихся, бежал по коридору, держа перед собой громадный китайский термос. Ребров вернулся в купе, залез на свою верхнюю

полку. Слезы душили его, он повернулся к стенке и, стискивая зубы, чувствуя лицом мокроту казенной наволочки, думал о жизни, которую успел прожить: да что же в ней было?

— Вся штука в том… — бормотал он сквозь стиснутые зубы, — будет ли другая?

Через неделю из окна гостиницы на Большой Сибирской, где Ребров ждал начальника партии, он увидел такую сцену: на мостовой затеялась драка, мужик ударил ножом в живот одного, другого; бросился бежать, его догнали, повалили, стали, бить. Сначала схватили трое: рабочий в белом, мучном комбинезоне (на углу разгружали машину с мешками муки), какой-то проходивший мимо солдат и женщина. Когда Ребров сбежал вниз, вокруг убийцы уже сгрудилась толпа. Один из тех, кого он ударил, лежал и стонал, другой кружил на месте, согнувшись, держась за живот. Несколько человек подымали мужика и били его головой о мостовую. Торопились добить до прихода милиции. Милицейский автомобиль подкатил через пять минут. Толпа раздвинулась, убийца лежал не двигаясь, с лицом неживым, черным, как подошва. Было ясно, что суд свершился. Два милиционера подняли его и поволокли, держа под мышками, к задней

открытой дверце машины. И вдруг убийца двумя руками поправил кепку, надвинул ее глубже на свою маленькую детскую головенку и самостоятельно влез в машину.

Ребров вернулся в гостиницу, на второй этаж. Подумал: как легко убить человека. И как невозможно трудно убить человека. Скоро приехал начальник партии Балашов, хороший малый, томич. Мостовая была пуста, и только на том месте, где стоял грузовик с мешками муки, было немного насыпано белым. Балашов сообщил последние сроки: до середины апреля камеральные работы в городе, а двадцатого числа на пять месяцев в тайгу. И уж оттуда, решил Ребров, на обратном пути можно будет попасть в Петровск-Забайкальский, бывший Петровский железоделательный завод, где погибал в ссылке, а все ж таки «дрыгал ногой» Иван Прыжов. Увидеть, что же там было и во что это превратилось силою времени.

Когда Ляля проезжает троллейбусом мимо восьмиэтажного дома с магазином «Мясо» на первом этаже — Ляля ездит иногда на бульвар Карбышева в срочную химчистку, — ей вспоминается вдруг кое-что из прошлой жизни, восемнадцать лет назад: Гриша, театр, старик режиссер, запах сирени весной, собака Кандидка, гремящая це-

пью вдоль забора, — и она испытывает странную мгновенную боль, сжатие сердца, не то радость, не то сожаление оттого, что все это было с нею когда-то. А иногда проезжает мимо дома с «Мясом», как мимо совершенно пустого места, потому что забот у Ляли хватает, голова пухнет: о муже думай, о сыне-восьмикласснике думай, на работе все сложно, директор Дома культуры нагружает на Лялю посторонние дела, она трехжильная, вывезет, да еще местком, да еще занятия в кружке физвоспитания на стадионе «Динамо», где Ляля бегает по субботам с пожилыми полковницами. Муж у Ляли военный, кандидат наук, преподает в академии. Папа, мама, тетя Тома, дядя Коля и даже несчастная Майка, моложе Ляли на пять лет, умерли за эти годы; старые друзья по театру исчезли, видеть никого из них не хочется (Ляля долго судилась, когда увольняли, боролась отчаянно, астму заработала в этой борьбе, но пришлось уступить), и у Ляли теперь новый круг — военные, инженеры, автомобилисты. Всеволод сам страстный автомобилист, каждое лето ездят с приятелями в две, три машины то в Крым, то на Карпаты, в Прибалтику. А от театральных, когда встречаются случайно, бывает только неприятное.

Как-то наткнулась в ГУМе в очереди за подушками на Машу, старую подругу. Как Машка изменилась! И лицом постарела, и вся какая-то ломаная, недобрая. Зачем-то рассказывала про Смолянова. Кому интересно? Ляля даже не помнила отчетливо, как этот Смолянов выглядит, толстый или тонкий, в очках или без очков. Будто бы обеднял, захирел, пьес не пишет и живет тем, что сдает дачу жильцам на лето. Ну и бог с ним, ну и на здоровье, зачем все это знать?

— А у твоего Реброва с дочкой одной моей приятельницы роман.

— Да что ты?

Тут Ляля насторожилась, хотя напустила на себя равнодушный вид. Маша стала рассказывать: девчонка снималась в какой-то его картине, потом вместе ездили на фестиваль в Аргентину или в Бразилию, куда-то туда, и с ними ездил один общий знакомый… Но в это время очередь подошла к прилавку, завертелись в толпе, растерялись, и потом уж Ляля не стала ее искать. Про Реброва примерно знала: процветает, хорошо зарабатывает сценариями, живет на Юго-Западе, тоже есть машина, и, кажется, был уже дважды женат. Вот, собственно, и все. И она радовалась за него. Ведь всегда относилась к нему очень

хорошо. Не знала одного: он часто думает о своей жизни, оценивает ее так и сяк — это его любимое занятие повсюду, особенно в путешествиях, — и ему кажется, что те времена, когда он бедствовал, тосковал, завидовал, ненавидел, страдал и почти нищенствовал, были лучшие годы его жизни, потому что для счастья нужно столько же…

А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа, и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу — гибель, с каждым годом все гуще. Ляля удивляется. «И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повырастали?»

1971

РАССКАЗЫ



• ПУТЕШЕСТВИЕ

Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как, самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале — уехать немедленно. Почему мне стало так худо — это другая история, рассказывать ее долго и ни к чему. Просто вдруг на рассвете, когда меня томила бессонница и стеснение в груди, — врачи объясняли это вегетативным неврозом, но я-то знал, что дело в чем-то другом, может быть в том, что где-то бродит гроза, что волны теплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на Москву, — мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровел, что, если я не вырвусь завтра же из этой клетки из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных книжных полок, переплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц, — я умру.

Трудно объяснить, что делается с человеком на рассвете, в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полосой.

Пришел день. Он был сер. Лишь немного погодя оказалось, что он синь и безоблачен. Первый раз в этом году я вышел без шапки на улицу и отправился в редакцию одной газеты, чтобы взять командировку и немедленно уехать. Люди из этой газеты однажды предлагали мне командировку, но сейчас они не могли понять, чего я хочу. Заведующий промышленным отделом, маленький болезненный человечек в рубашке джерси, рассказывал о том, что в Соликамске и Кондопоге полным ходом разворачивается стройка громадных комбинатов по производству бумаги, а в Тюменской области открыты новые месторождения нефти. Еще более интересные дела творятся в Иркутской области, где создается новый промышленный бассейн. А если говорить о большой химии, сказал он, то нельзя не упомянуть о Навоинском химическом комбинате, где досрочно введены в строй корпуса аммиака, синтеза и конверсии.

Я сказал, что все это для меня одинаково необыкновенно интересно. Но именно поэтому мне трудно сделать выбор. Я намекнул, что мне хотелось бы познакомиться с какими-нибудь конфликтами, страстями, производственными драмами, в которых раскрывались бы судьбы

людей и разные точки зрения на жизнь.

— Это вы найдете где угодно, — быстро проговорил заведующий отделом. На его лице застыло странное двойное выражение: скорби и надменности одновременно. И, разговаривая со мной, он все время катал пальцами по столу заграничный шариковый карандаш.

Я поблагодарил его и вышел, сказав, что подумаю. Молодой человек, молча присутствовавший при нашем разговоре, вышел вместе со мной в коридор. Мы стали спускаться по лестнице.

— Вам нужны впечатления? — спросил молодой человек неожиданно.

— Ну конечно! — сказал я. — В том-то и дело, что мне нужны впечатления, черт бы их побрал! Я остался совершенно без впечатлений. Это как-то глупо звучит, но это так.

Мне было немного стыдно: я как будто признавался в том, что оказался без денег, и просил в долг. Но молодой человек искренне хотел помочь, я это чувствовал.

— Если вам нужны впечатления, — сказал он, — тогда вовсе не обязательно ехать куда-то далеко, в Тюмень или в Иркутск. Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк, там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу.

— Вы так думаете? — спросил я, втайне обрадовавшись. Он высказал мои собственные мысли. — Конечно, вы правы: дело не в километрах…

Когда я вышел на улицу, солнечный полдень был в разгаре. Перед входом в кинотеатр стояла толпа. Я прошел через толпу, повернул налево, миновал памятник, возле которого всегда стояло несколько провинциалов в длинных пальто с фотоаппаратами в руках, и пошел вниз по широкой улице. Навстречу мне двигался густой и медленный, весенний поток людей, Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезавшие сзади, за спиной, исчезавшие бесследно, для того чтобы никогда больше не появиться в моей жизни, и думал: зачем ехать в Курск или в Липецк, когда я как следует не знаю Подмосковья. Я никогда не был в Наро-Фоминске. Не знаю, что такое Мытищи. Да и в самой Москве есть улицы и районы, совершенно мне неведомые.

Через полчаса я вышел из троллейбуса возле своего дома. На углу Второй Песчаной, где находится диетический «гастроном», я остановился и поглядел кругом: я увидел сквер с нагими деревьями, сырые ветви которых искрились на

солнце. На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух. Они сидели тесно, по пятеро на скамейке. Я не знал никого из них. Солнце ласкало их старую, в мешках и складках кожу. Некоторые из стариков улыбались, лица других казались окаменевшими и тупыми, некоторые дремали.

Постояв немного, я направился к своему подъезду, сел в лифт и поехал на шестой этаж. Там, на шестом этаже, из квартиры напротив вышел Дашенькин, мои сосед. Он молча протянул мне свою руку, всегда немного дрожащую, и побежал вниз по лестнице. Он всегда торопился, ходил сутуля плечи, и в глазах его тлела какая-то безумная озабоченность. Он работал жестянщиком в трамвайном депо. Его соседка по коммунальной квартире считала его сумасшедшим и написала заявление в психдиспансер с требованием, чтобы его забрали. Несколько дней назад она пришла ко мне и попросила тоже написать заявление или хотя бы подтвердить, что Дашенькин изводит свою жену и дочку, ученицу третьего класса, нескончаемыми скандалами. Шум скандалов и даже драк доносился в мою квартиру часто, иногда соседка, ее муж и Дашенькин с криками

выскакивали на лестничную площадку, что я и подтвердил. Потом спохватился: зачем я это сделал? Ведь человека могут действительно забрать в больницу. В тот же вечер я пошел к соседке и попросил вернуть заявление, мной подписанное, но она сказала, что уже отослала его. Она успокоила меня: Дашенькина не заберут, только попугают. По-видимому, заявление еще не начало действовать, ибо Дашенькин пожал мне руку с чувством, как доброму другу. Я слышал, как он, стуча тяжелыми башмаками, бежал по ступеням вниз и где-то на четвертом или на третьем этаже громко откашлялся и — харкнул на лестницу. У него никогда не хватало терпения добежать до улицы.

Я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. На кухне жарили навагу. Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек десять, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновенье серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю.

1969

• МАКИ

Босоногая девочка поставила на стол кувшин холодной воды, миску с кислым молоком и круглый туркменский хлеб. Гриша и два его товарища набросились на кислое молоко. Хлебали ложками из одной миски. Вошли две женщины в сарафанах, с голыми, крепко загорелыми плечами и поздоровались. Одну из них, черноволосую, с сухим смуглым лицом и сухими икрами, звали Фаиной, она была тут радисткой. Другую, полную и высокую, звали Ольгой. Потом пришла начальница метеостанции Глафира Степановна.

Женщины улыбались, глядя, с какой жадностью топографы едят. И топографы тоже улыбались и кое-как, наспех, подшучивали друг над другом. Жадность, охватившая их, была не только жадностью к еде, но и к этой тенистой террасе, запаху сырого пола, прохладе, отдыху, женским лицам…

— У вас тут чудесно, — говорит Лобутев. — Прямо как в Сочи.

— Какое там! В тысячу раз… лучше! — с набитым ртом возражал ему Рейф. — Скажите, а вы тут одни, без мужчин?

Фаина, более бойкая, ответила, что они действительно, можно сказать, без мужчин. Их метеостанцию так и называют: «женская». Николай Макарович, муж начальницы, не в счет. Он вообще такой скромный, незаметный!..

— Когда спит, — сказала Глафира Степановна. Она курила и угощала топографов папиросами.

С террасы был виден песчаный двор перед станцией с ветродвигателем и какими-то приборами на высоких подставках, похожими на пчелиные ульи. Вечернее солнце делало песок яично-оранжевым. Барханы вокруг станции были залиты красной пеной, миллионами цветущих маков. Ярко-красное, коралловое море, горящее под лучами солнца, застилало глаза, как кровь.

Стоял апрель, пустыня цвела.

Никто, кроме Гриши, не видел этой ошеломляющей красоты. Он был новичком. Его изумляли маки, изумляла жизнь в этом заброшенном деревянном домике в глуши песков, о которой так спокойно рассказывала Глафира Степановна.

— Я ведь самоучкой выучилась, тринадцать лет уж работаю. Здесь — что! Здесь, мы считаем, как в доме отдыха живем. Пресное озеро, аул неподалеку — шестьдесят километров. А вот в Чишмах мы с мужем работали, там и правда как

на острове. Первые шесть лет вдвоем жили — он да я. Он и детей принимал — за акушера.

Голос у Глафиры Степановны низкий, сиплый, совершенно мужской. А сама — плотная, невысоконькая и круглолицая, как кукла матрешка. Пятерых детей вырастила. А чего делать в песках? Время есть…

В Гришиных мыслях было странное волнение, он не мог сосредоточиться — то ли от усталости, то ли кислое молоко непонятным образом ударило в голову. Он испытывал чувство, похожее на легкий хмель. А скорее всего виной была Ольга.

Она сидела в стороне от всех, прислонив спину к деревянному барьеру террасы. В линиях ее полных рук, плеч и бедер, туго обтянутых сарафаном, была какая-то спокойная ленивость, что-то бесконечно женское, вызывавшее тоску. Она молчала и смотрела чуть улыбающимися зеленоватыми глазами то на Рейфа, то на Лобутева, то на свою начальницу, Глафиру Степановну, и бог знает о чем думала. О чем она думала?

— Курить я в Чишмах привыкла. У нас там зубы очень болели, — рассказывала Глафира Степановна, — а лечения никакого, кругом пески. Вот меня и научили чабаны терьяк курить, ихний опиум. Он, правда, боль ти-шит, но зато от него

зубы ужасно разрушаются. Это я уж потом узнала… Видите?

Она открыла рот, показывая металлические зубы.

— Нет ли у вас горячей воды побриться? — спросил Рейф.

— Я дам, пойдемте, — сказала Фаина.

Они ушли в дом. Лобутев сказал, зевая:

— Завтра раненько, часов в пять отправимся…

— А пожалуйста, гостите, — сказала Глафира Степановна. — Потом, значит, к нам старичка Мигунова прислали, учителя физики. И дочка с ним. Он через полгода заболел цингой и помер. Опять мы с Николаем одни остались…

— А вы, Ольга, кем работаете? — вдруг спросил Лобутев.

— Я — агрометнаблюдатель, — сказала Ольга.

— Это что такое?

— Наблюдение за травой, за птицами, рыбой, когда рыба икру мечет, и так далее, — объяснила Глафира Степановна. — Она у нас недавняя, Ольга Сергеевна. Здесь место хорошее, воды много, деревья. А в Чишмах вода за три километра была и насквозь серная. Крепко мучились, особенно таскать.

Ольга молчала, слушая объяснения начальни-

цы, и улыбалась скрытно, одними глазами.

А Глафира Степановна рассказывала о землетрясении сорок восьмого года, как у них кладовка потрескалась, и о том, как она одна оставалась, совсем одна с детьми, и к ней два бандита пришли, из тех, что в песках скрываются, и на ночлег просились, а она их радиостанцией отпугивала (они радиостанции пуще всего боятся), и о том, как муж лапти плел, чтоб по пескам ходить, и как его черная фаланга укусила и они в Ашхабад радировали: «Вреден ли укус черной фаланги?» — все события долгих тринадцати лет.

На дворе кто-то ломал саксаул. Слышно было, как дерево сухо трещит, расшибаясь о камень. Запахло дымом. Босоногая девочка внесла на террасу самовар, потом появился Николай Макарович — мелкий сутуловатый человечек с морщинистым, коричневым от многолетнего загара личиком. Он молча и как-то напыщенно пожал руки топографам, налил себе кружку зеленого чая и начал пить, громко откусывая сахар и чавкая. Глафира Степановна продолжала рассказывать. Потом пришел Рейф, и топографы тоже принялись за чай.

Сумерки наступили вдруг, будто свалились с неба. Лобутев уже откровенно зевал и огляды-

вался, ища, на что бы прилечь. Как все толстяки, он любил поспать. Две старшие дочери Глафиры Степановны втащили раскладную алюминиевую кровать и черную большую кошму, от которой душно запахло бараньей шерстью.

Женщины вышли. Грише спать не хотелось. Посидев минуту и отчаянно собираясь с духом, он вдруг вскочил и выбежал вслед за Ольгой.

— Оля, вы — спать? — голос его прозвучал развязно и фальшиво. Она удивленно оглянулась.

— Я? Нет.

— Может быть… Не хотите пойти к озеру?

— Пойдемте. Я что-нибудь накину. Сейчас…

Он стоял во дворе и смотрел в небо. Оно было прозрачно-зеленое, с чайным желтоватым отливом на западе. Ольга вышла в темной кофте. Руки она держала сложенными под грудью, отчего грудь ее казалась еще пышнее. Сказала просто:

— Пошли.

Она была одного с ним роста. Когда они прошли через калитку в деревянном заборчике, в доме хлопнула ставня.

— Ты надолго? — спросил чей-то резкий голос.

— На четверть часа, Фаечка, — ответила Ольга, оглянувшись поспешно.

Берег озера был растоптан скотом. Из-за бар-

хана выглядывала низкая, оранжевая луна, но свет ее не достигал озера, и оно светилось бледным, зеленоватым отражением неба. Вокруг на десятки, а к северу и на сотни километров простирались пески, это озеро было случайностью, изумительным чудом Каракумов, и таким же чудом, казалось Грише, была встреча с Ольгой. Она ленинградка, биолог. Где-то на севере остался муж. Нет, детей у них нет и не будет, наверное. Так уже сложилась жизнь…

Вскоре совсем стемнело. Они вернулись на станцию. Говорили о скучных пустяках: об уровне воды в озере, о том, что цветы тут не пахнут, а звезды необыкновенно крупные. Возле террасы остановились. Гриша взял Ольгу за руку, спросил шепотом:

— Вам хочется спать? — и медленно потянул к себе.

— Немножко уже хочется. Мы тут рано ложимся.

Он взял ее за локоть другой руки и привлек еще ближе. Она придвинулась.

— Вы с Фаиной живете?

— Нет. Фаина — вон в той комнате, угловой…

Говорили шепотом. Лицо Ольги было совсем близко, он слышал, как пахнут ее волосы: земля-

ничным мылом.

— А вы где?

— Я здесь, возле террасы… Видите, открытая ставня?

Ольга отворачивала голову, а он тянул губы, стараясь поцеловать. Гриша обнимал ее большое, легкое тело обеими руками, прижимая к себе все плотнее. Она не сопротивлялась, только отворачивала голову.

— Меня ждет Кирилл…

Гришины пальцы разжались.

— Где?

— Дома. Хотите, познакомлю с ним?

Помолчав, он вздохнул:

— Хочу.

Поднялись по крыльцу на террасу, где храпели Рейф с Лобутевым, потом на цыпочках через маленький коридор проскользнули в комнату со скрипучей дверью. Повсюду было темно. Натыкались на вещи. Ольга опустилась на колени и стала бросать под кровать горящие спички.

— Кир, Кир, Кир!

Гриша смирно стоял в потемках, потом тоже опустился на колени. Кирилл оказался маленьким зайчонком, не желавшим знакомиться. Гриша полез под кровать. От волнения никак не

мог зажечь спичку. Зайчонок промчался мимо его щеки и скрылся в другом углу комнаты, за чемоданом. Ловить его было нелегко, тем более в темноте. Он носился, как пуля, между кроватью и чемоданом. Но ловить его почему-то было необходимо. Наконец Гриша схватил теплый тщедушный комок и передал Ольге, и они сели, задыхаясь и тихо смеясь, на кровать и гладили его, зажатого в подоле сарафана, невероятно дрожащего, и Гришино сердце тоже колотилось, как заяц…

Утром, как и вчера, горели на солнце маки. В низинках между барханами красный цвет был особенно насыщенным, винным, к вершинам он редел, а на самые гребни забирались отдельные цветы. Казалось нелепым, что это море цветов ничем не пахнет.

— Я не могу уехать от вас, Оля, я просто болен… — глухо говорил Гриша и мял в руке ее мягкие, ленивые пальцы. — Можно, я останусь здесь? Навсегда?

Она осторожно высвободила руку, нагнулась и сорвала мак. Тронула пальцем черное сердечко, потом стала обрывать лепестки.

— Правда, красивые? — Последний лепесток она подняла высоко и отпустила. — А через месяц

начнется жара и все сгорит. Все, все… Ничего не останется.

Она смотрела на него со спокойной улыбкой, как смотрят взрослые, грустные люди на игрушечное горе детей.

Верблюды уже были навьючены. Рейф и Лобутев стояли рядом с ними на вершине бархана и махали руками. Рейф что-то кричал.

Гриша поплелся наверх. Он чувствовал себя разбитым, безнадежно несчастным…

В середине июля экспедиция возвращалась из песков в Казанджик. Пятнадцать человек, две грузовые машины и семь верблюдов остановились на несколько часов на берегу озера. Гриша за три месяца почернел, исхудал, спекся на солнце, отпустил рыжие усы, успевшие уже выгореть, и голос у него стал грубый, простуженный ветрами и водкой — настоящий землемерский бас.

— Ой, вас не узнать, Гриша! — изумленно сказала Ольга, когда они встретились. Она тоже изменилась. Гриша заметил, что у нее низкая, неряшливо подобранная грудь, утомленное лицо, на платье под мышками круги от пота. И все же в ней было что-то, что тянуло к ней, но совсем не так, как прежде.

Они сидели в тени на крылечке террасы.

— На станции все по-прежнему, — рассказывала Ольга, — только вот Фаину уволили. Глафира Степановна приревновала ее к своему Николаю, скандалила ужасно. Глупость, конечно, но Фаину жалко. Она ведь такая одинокая…

Гриша не мог вспомнить лица Фаины. И не старался вспомнить. Мысленно он уже был в Ашхабаде, а через четыре дня — дома, в Москве.

Стоял удушающий зной. Песок выгорел до белизны, и барханы вокруг станции были пустынные, голые, как гробы. Кое-где торчал из песка пыльный кустарник. Никогда тут не было ни маков, ни зеленой травы, ничего, кроме песка и зноя.

1959

• КЕПКА С БОЛЬШИМ КОЗЫРЬКОМ

Арташес приехал в С. пять лет назад с твердым намерением за короткий срок заработать шестьдесят тысяч денег (это было в 1955 году) и купить дом в Кисловодске. Он очень хотел купить дом в Кисловодске. Сам он в Кисловодске не был, но знал, что там красиво, хороший воздух, курортное снабжение, много армян, кроме того, там жил дальний родственник Арташеса и еще один знакомый человек, земляк Арташеса, из одной с ним деревни, которые оба имели ту же профессию, что и Арташес, и от них доходили слухи, что в Кисловодске работы много и можно жить хорошо, Арташес родился и прожил до двадцати лет в глухой карабахской деревне. Детство его попало на военные годы. Он привык к иссушающему солнцу, пыльным дорогам, к бедности, к темным вечерам без света, к козьему молоку и к тому, что он старший в доме. Его отец умер до войны от укуса змеи, мать была больная женщина, у нее гноились глаза, в сорок лет она почти потеряла зрение. Арташес с трудом закончил четыре класса деревенской школы, потом работал землекопом, возчиком на арбе, одно лето подрядился

ремонтировать дорогу, но все это ему не нравилось, потому что труд был тяжелый, а платили за него мало, и к тому же Арташес не чувствовал себя достаточно крепким для такой работы. Потом вернулся с военной службы брат матери, дядя Ашот, инвалид с покалеченной рукой, и он-то выучил Арташеса ремеслу парикмахера. Он сказал, что это золотое дело: везде нужно и везде за него платят деньги. Наверно, это было так, но только в карабахской деревне никому это дело не было нужно: стричь и брить было некого. Каждый думал, как бы постричь другого. Потом, года через два, начались разговоры о том, что за морем, в Туркмении, можно хорошо заработать на нефтяных промыслах и что туда уехало много людей, у которых были родственники в Баку, а те знали некоторых, кто возили картошку за море и продавали на красноводском рынке. Арташес, недолго думая, собрался и поехал. Полтора дня он шел пешком, потом на попутной машине достиг Нахичевани, оттуда поездом приехал в Баку. Он никогда прежде не был в Баку, никогда не был вообще в большом городе. Но его ничто не интересовало, кроме того чтобы найти людей, родственников которых он знал *и* которые могли бы ему кое-что посоветовать. Он нашел этих

людей, один из них работал парикмахером на пляже. Это было порядочно далеко от вокзала, за городом, и Арташес замучился, пока дотащил туда свой узел с вещами. Самой тяжелой в узле была громадная баранья кошма, которой Арташес покрывался ночью в дороге, еще там лежали сапоги, зимняя шапка, вязаные носки и парикмахерская машинка.

Пляжный парикмахер оказался в некотором роде родственником Арташеса: его первая жена, как выяснилось после недолгого разговора, приходилась племянницей двоюродной сестре Арташеса. Арташес никогда раньше не видел пляжа и не знал, что на земле есть места, где сразу собираются так много голых женщин и на них можно смотреть. Но сейчас его ничто не интересовало: он должен был ехать дальше. Пляжный парикмахер рассказал Арташесу, как ему купить билет на пароход, и дал адрес одного человека в Красноводске, который мог бы помочь. Он сказал, что, будь он помоложе, он бы тоже поехал в Туркмению, там люди делают хорошие деньги, но там пустыня и жить тяжело. Надо иметь здоровье, как у верблюда. «А у тебя, — сказал парикмахер, — по-моему, как раз такое здоровье». Сам же он был высокий, с грудями как у женщины, с большим

животом, с толстыми волосатыми руками. Здоровье у него было, конечно, в два раза лучше, чем у Арташеса. Но Арташес не стал возражать. Он видел, что этот человек просто ленив, привык к сладкой городской жизни и даже собственную работу делает неохотно. Когда в его будку входил клиент, он с таким неудовольствием поднимался со стула, так медленно двигался, что смотреть па него было неприятно.

Ночь Арташес провел на набережной. Вечером на другой день сел на пароход «Туркменистан» и наутро приплыл в Красноводск. Город был гораздо меньше Баку, и Арташес почти не устал таскать свой мешок, разыскивая нужный дом и нужного человека. У этого человека было совсем не армянское имя — Поль. Он долго жил во Франции, воевал в партизанском отряде с немцами и приехал в Советский Союз недавно. Жена у него была русская. Он женился тут, в Красноводске. Поль и его жена оказались добрые люди, Арташес провел у них три дня, спал на полу в их маленькой комнате, обедал вместе с Полем в портовом ресторане: жена Поля работала там официанткой. Поль сказал, что мог бы устроить Арташеса в Красноводске, что сам он зарабатывает неплохо, работы хватает, и что он вовсе не

рвется на восток, в пустыню, как некоторые, кого мучает жадность, и что всех денег все равно не заработаешь. Верно, на востоке мастеров мало и люди гребут там большие деньги. И чем дальше в глубь песков, тем больше можно заработать. «Но мне ничего не нужно, кроме хорошего радиоприемника, — сказал Поль. — Я коплю деньги, чтоб купить хороший радиоприемник и слушать Францию. Французские песенки, французский разговор и какие там футбольные команды идут впереди». У Поля была гитара, вечерами он играл и пел для Арташеса французские песенки, при этом смешно подмигивал, а его жена, веселая толстая женщина, подпевала ему громким голосом, хотя и без слов.

Конечно, они были хорошие люди, но немного пустые. Арташес думал о них с жалостью, а когда они пели, его клонило в сон.

Арташес не остался в Красноводске и отправился дальше, на восток. Он сел в поезд и доехал до Небит-Дага. Поль дал ему адрес человека, который заведовал парикмахерскими в этом городе, он был хорошим знакомым Поля. Этот человек, по фамилии Вартанян, сказал, что мастера ему очень нужны и он может принять Арташеса на работу немедленно. Но Арташес был не из тех,

которые порют горячку. Он присмотрелся, поговорил с одним, с другим и понял, что Небит-Даг — еще не самое лучшее место для парикмахера. На нефтяных промыслах, сказали ему, на юг от Небит-Дага, в пустыне, был один парикмахер, который за два года собрал шестьдесят тысяч и купил дом в Кисловодске. Нефтяники люди богатые, деньги в песках тратить некуда, вот и кидают парикмахерам по тридцатке да по полсотенной за простую работу, поневоле озолотишься. Но, конечно, и жить там нужна привычка: кругом пески, ни деревца, ни травинки, вода привозная, все привозное. Арташес решился, поехал. Сначала на рейсовом автобусе до Кум-Дага, оттуда на попутном самосвале в С.

Стоял октябрь, но в воздухе была сушь, солнце калило по-летнему. Горизонт был синий, слоился и плыл, как живой. Асфальт, по которому ехали, то и дело заметало языками песка: сосед, ехавший в кузове, сказал, что это наносит ветром за ночь. Потом асфальт кончился, дорога пошла нырять меж песчаными горбами. С обеих сторон стлались пески, белые, немые, ни человека, ни жилья, и чем дальше шел самосвал, чем более диким казался Арташесу окружавший его простор, тем сильнее он радовался: ему хотелось забраться в

такое место, где на сто километров кругом он был бы единственным парикмахером. К концу дня самосвал остановился. Арташес увидел нефтяные вышки, десятка полтора деревянных бараков, груду белого строительного камня, цистерну, радиомачту и несколько палаток. Он спросил у первого встречного рабочего: где тут баня? Тот показал на деревянную постройку. Старик в меховой шапке рубил топором кривые сучья. Арташес еще не знал, что это дерево называется саксаул, что оно замечательно горит и дает много тепла. Арташес спросил у старика, есть ли тут, при бане, парикмахер. Старик долго не понимал, потом понял, сказал «йок» и покачал головой. Арташес сказал: «Тогда я буду тут парикмахером». Старик кивнул и вновь стал рубить топором сучья.

Когда я приехал в С., это был уже город. Во всяком случае, после долгого блуждания в песках он показался мне большим городом. Было много двухэтажных домов из белого камня «гюша». Были больница, школа, магазин, была площадь с почтой и телеграфом, были диетическая столовая и еще одна, обыкновенная столовая, которую с легкой руки каких-нибудь москвичей называли «Арагви», и еще закусочная в «парке»: столы под открытым небом в окружении трех десятков

молоденьких тополей. В общем люди тут жили, работали, рожали детей, пили водку в «Арагви», смотрели кинофильмы, покупали холодильники в кредит и мечтали о чем-то, когда оставалось свободное время. Но свободного времени было у них мало.

Я поселился в одном из двухэтажных домов, снял комнату у Арташеса. У него была еще одна комната, побольше, метров в тринадцать, где он жил с женой Ларисой и двумя сыновьями дошкольного возраста. Сыновья целую неделю находились в детском саду, Лариса шила дома платья, а Арташес трудился в парикмахерской. Он был худой, жилистый, с лицом синевато-смуглым, походкой и фигурой напоминал мальчика, и волосы у него были, как у мальчика, черной лохматой шапкой. Поглядев на него, можно было догадаться, что этот человек одержим страстью. Он был молчалив, быстро двигался, почти не пил вина, не курил, не читал книг, да, пожалуй, и газет, не интересовало его и кино; в доме было радио, но он его никогда не слушал. Как ученый, фанатично преданный своей идее, он был поглощен одним: работой в парикмахерской. Он вставал в шесть утра, в половине седьмого начинал работать и возвращался домой в восемь. Так

было изо дня в день. За пять лет он ни разу не был в отпуске и ни разу не болел. В воскресные дни он тоже работал.

За две недели, что я прожил в доме Арташеса, я разговаривал с ним лишь дважды. Он рано ложился спать. Да и разговаривать с ним было трудновато: он едва выдавливал слова от застенчивости. Однажды за ужином он спросил, не знаю ли я, какое напряжение тока в Кисловодске. Я не знал. Он объяснил, что ему это важно знать вот почему: брать в Кисловодск старый холодильник или продать его и купить на сто двадцать.

— Значит, день переезда близок? — спросил я.

— На будущий год, — сказал он гордо и улыбнулся.

Я подумал о том, какое это могучее свойство, может быть, самое могучее в человеке, — целеустремленность. Нас обуревает слишком много желаний, но люди, подобные Арташесу, выбирают что-нибудь одно. Они знают, зачем живут. Они не порют горячку в этой жизни, столь приспособленной для горячки, они не суетятся, не разбрасываются, а с муравьиным упорством продвигаются вперед и достигают чего-то ведомого им одним.

У Арташеса не было друзей, был лишь один

приятель, с которым он иногда встречался и выпивал стаканчик красного, — его карабахский земляк: тоже парикмахер, приехавший в Туркмению на год позже. Его звали Хачик. Это был совсем другой парень, гуляка и озорник, но беззлобный, даже несколько придурковатый озорник. Работал Хачик в еще более глухом месте, в Гулым-Тепе, где недавно возник нефтяной промысел, и в С. приезжал изредка, как в столицу, погулять и пропить деньги. Я видел однажды, как он разгуливал по поселку в женском платье и за ним шаталась толпа его прихлебателей, которые хохотали и улюлюкали, желая доставить ему удовольствие. На голых руках Хачика было надето штук восемь часов, и он делал руками волнообразные движения, как делают восточные танцовщицы. Говорят, он был добрый малый, у него было несколько жен, одна на родине, другая в Баку, третья еще где-то, и он обо всех заботился, всем посылал деньги.

Жена Арташеса, Лариса, родилась и выросла в Туркмении. Она не хотела уезжать в Кисловодск. Жалела деньги. С Арташесом она спорить устала, а мне тихонько жаловалась:

— Подумаешь, курорт! А что в нем хорошего? Нефтяников не хуже снабжают. У нас тоже можно

прекрасно жить, правда же? А в жару занавесочку мокрую повесишь, зеленый чай пьешь понемногу, и ничего страшного. Это только дураков пугают — пустыня, пустыня… Да моего ишака разве переспоришь…

И так я уехал из С., который вначале показался мне большим городом, а потом с каждым днем делался все меньше и меньше и, наконец, превратился в убогий, знойный, пропахший запахом нефти, иссушаемый ветрами и пылевыми бурями клочок пустыни, где, как мне почудилось, я не мог прожить больше ни одного дня, и так и не узнал, кто победил в споре жены и мужа. Наверное, думал я, победил Арташес. Ведь люди, подобные ему, охваченные страстью к достижению цели, не придают большого значения мнениям других людей, и тем более мнениям своих близких.

Через полтора года я вновь попал в этот край и заехал в С. нарочно, чтоб повидать Арташеса или что-нибудь узнать о нем. Все-таки он мне крепко запомнился. Он так не походил на меня и на всех, кого я знал. Оч был какой-то удивительно цельный.

В квартире Арташеса жили новые люди — буровой мастер с женой и детьми, они недавно переехали из Челекена и ничего не знали о преж-

них жильцах. В поселке была теперь настоящая парикмахерская, где работали четыре мастера, и один из них, сидевший на крылечке в тени, рассказал мне про Арташеса.

В прошлом году весной Арташес заторопился с отъездом, собрал деньги в кучу и приготовился ехать в Кисловодск оформлять сделку. Сначала решил поехать один, все устроить, а потом перевезти семью. Поторопиться ему следовало, потому что военный комиссар, который все время давал ему отсрочку от армии, как раз тогда был снят с должности и попал под суд за какие-то дела. За взятку, что ли. Приятель Арташеса, Хачик, устроил Арташесу проводы. Они сидели в закусочной в компании человек шести хачиковых прихлебателей, много веселились, выпили несколько бутылок ашхабадского красного, и Хачик стал задираться к одному парнишке, незнакомому, который сидел за соседним столом и скромно обедал. Парнишка этот был, видимо, приезжий, армянин из Тбилиси. На нем была светлая кепка с очень большим козырьком, какие носят в Тбилиси. По такой кепке можно сразу узнать грузина. Но этот парнишка был армянин. Армянин из Тбилиси. А ведь известно, что между теми армянами, тбилисскими, и этими, из

Карабаха, всегда бывают какие-то несогласия. Что-то они между собой не поделили. Никто не знал, зачем этот парень приехал, что он делал в поселке, он просто сидел себе один-одинешенек и обедал, даже без вина. Но кто-то пустил слух — так, для смеха, — что это, мол, известный тбилисский парикмахер, что он получал дипломы на международных конкурсах, а сюда прибыл организовать большой парикмахерский салон, самый большой в Западной Туркмении. Ну, и Хачик стал к нему задираться. Сперва спросил, так это или нет. Парнишка ответил, что ничего подобного, он никакой не парикмахер. Хачик стал передразнивать его тбилисский выговор, потом начал издеваться над его кепкой с большим козырьком, а парнишка — он и правда походил па парикмахера, такой худенький, миловидный, с проборчиком, — ничего не отвечал и держался спокойно. Тогда один из хачиковых дружков подошел к нему, сорвал кепку и бросил на пол. Все, смеясь, смотрели, как кепка с большим козырьком лежит на полу, а тбилисский парнишка продолжает молча обедать, как ни в чем не бывало. Потом он встал и говорит: «Поднимите кепку». Никто, конечно, не поднял, а все только громче захохотали. Арташес тоже хохотал. Он

никогда за последние пять лет не был так пьян и так не веселился, у него даже слезы текли. Тот парень постоял и ушел. Он пошел в гостиницу, взял, что нужно, и через десять минут вернулся в закусочную. Его кепка все еще лежала на полу. Он подошел к столу и ударил первого, кто сидел ближе, ножом в сердце. Первым был Арташес. Потом ударил второго, третьего. Все произошло в секунду, никто ничего не успел сделать, к тому же люди были пьяные. Й только когда третий человек упал на пол, на этого парня кинулись остальные, свалили, вырвали нож, стали топтать ногами. Его убили бы сразу, но прибежал милиционер и спас его от смерти — на несколько часов.

Арташес был убит на месте, двое других остались живы, а тот парень с проборчиком — он оказался тбилисским бандитом, который, как рассказывали потом, пробирался поближе к границе, хотел бежать в Иран, — умер в больнице, вечером. Перед смертью попросил послать телеграмму в Тбилиси на почтамт, до востребования, какой-то женщине, всего два слова: «Жорик умер».

А жена Арташеса уехала из С. очень скоро. Говорят, она вышла замуж, живет в Кизыл-Арвате и на деньги, скопленные парикмахером, ее новый

муж купил легковую машину.

Людей в поселке стало гораздо больше. Старые каменные дома уже успели кое-где потрескаться, зато выросли новые. Заметно поднялись деревца в парке, но некоторые засохли.

Я сидел в закусочной, возле ограды из тонких металлических труб, пил воду, смотрел в небо — был вечер, солнце, невидимое за домами, садилось, — смотрел, как по небу на большой высоте летело едва различимое облачко, такое прозрачное и маленькое, что на нем почти не удерживался розовый рефлекс заходящего солнца, и оно быстро, как кусок сахара в кипятке, на глазах таяло.

1966

• БАКО

Он — курд, Бако Иванович Агануров. Все зовут его просто Бако. Приземистый, темнокожий, с мощными плечами и грудью, с лицом оливкового оттенка, носатым, пугающе некрасивым, лицом разбойника. Он лучший водитель автотранспортной конторы и член месткома. Когда в позапрошлом году контора задержала выплату денег рабочим, Бако, недолго думая, бахнул в Москву телеграмму: «Москва. Кремль. Верховный Совет. Рабочие такой-то конторы месяц не получают зарплаты, примите меры, накажите виновных — член месткома Агануров». Через два дня пришел приказ из Москвы, и деньги были выплачены.

Жена у него немка, но совершенно обрусевшая, из давних переселенцев, рыхлая голубоглазая женщина огромных размеров. Она ленива, неряшливо одевается, курит папиросы, и лицо у нее всегда измятое, утомленное и какое-то двусмысленное. Регулярные аборты не могут укротить эту могучую плоть. Мужа она называет Бобик. У них трое детей.

Бако счастлив. Когда Лиза беременна, он заяв-

ляет шутливо и не без гордости:

— Плохо, опять Лизавету бить нельзя! — и ухарски подмигивает.

В конторе он человек уважаемый. Он справедлив, никого не боится, зато многие боятся его необузданной вспыльчивости и привычки резать правду в глаза. Про себя говорит: «Мы, курды, мстительные». Впрочем, Бако ни одному человеку не сделал зла, никого не ударил напрасно, а вот поддержал, выручил из беды, защитил от несправедливых нападок — многих.

Я увидел его впервые на вокзальной площади в Небит-Даге. Подъехал автобус, и началась давка. Очередь смешалась, все полезли друг на друга, передавали вещи через головы, бранились, кричали истошными голосами.

И вдруг все прекратилось. Какой-то человек молча раскидывал толпу возле входа. Я увидел его не сразу, он был слишком невысокого роста. Одних он отпихивал, других совал вперед, кому-то дал по шее — ив минуту навел порядок. Последнего человека он вмял в дверь, как вминают вещь в набитый битком чемодан.

Затем, ударом ладони проверив, хорошо ли закрылась дверь, побежал к кабине.

Это был регулярный рейс Небит-Даг — Кум-Даг.

Автобус бросало на дырах асфальтового шоссе. И пассажиров бросало друг на друга. Здесь ехали рабочие с нефтяных промыслов, командировочные из Ашхабада и Красноводска, старухи с детьми, колхозники в громадных меховых шапках, везущие на рынок в Кум-Даг мешки с. луком и вяленую воблу.

На полдороге возник скандал. Трое парней отказывались платить за билеты. Они говорили, что у них нет денег, что они отдадут двадцатого, после получки. Кондуктор дернул за проволоку. Автобус остановился посреди пустынного, белого от солнца солончака.

Человек с оливковым лицом выскочил из кабины. Он был в майке, мокрой насквозь. От его голых плеч, волосатых рук и черной волосатой груди шел запах солярки и пота.

— Чего такое? — спросил он, влезая в кузов.

— Вот эти трое не платят за билеты, — тонким голосом ябедника сказал кондуктор. — Вот эти. Да, да.

— Платите, ребята, или выматывайтесь из машины, — сказал шофер.

— Сейчас. Разбежались, — сказал один парень.

— Откуда ты такой, не нашего бога? — спросил Другой.

— Он из зоопарка, братцы!

Парни сидели в ряд на заднем сиденье, дымили папиросами и веселились от души. Шофер взял крайнего за ворот рубахи и поднял с сиденья. Двое других вскочили на ноги, они были на голову выше шофера. Казалось, начинается драка, но никакой драки не произошло. Все случилось как-то нелепо и быстро. Шофер спиной отодвинул людей, загораживающих выход, и начал выбрасывать парней через дверь на землю, одного за другим, как мешки с луком. И они почему-то ни разу его не ударили, только отбивались нескладно, махали руками и матерились.

Спрыгнув на землю, шофер деловито отругнулся и побежал вперед. Через четверть часа в знойной свинцовой дали всплыли первые качалки Кум-Дага.

Кто не бывал в маленьких нефтяных городках Западной Туркмении, выросших среди песка и такыров, тому трудно понять их суровое волнующее своеобразие. Ведь недавно, пять и восемь лет назад, здесь была пустыня. Она и сейчас вокруг на десятки и сотни километров. Рыжая, она сквозит между домами, гнетет сухим жаром, сугробами наметает песок — по утрам здесь откапывают двери лопатами. Но город укореняется с жесто-

ким упорством. Возникают улицы, растут дома с квартирами не хуже московских: с балконами, газом, электричеством. А во дворах между домами бродят верблюды, перекликаются дикими скрипучими голосами.

Я жил в этом странном городе, где все перемешалось: трухлявые кибитки, дома с балконами, верблюды и самосвалы, горький аромат пустыни и запах нефти. И — люди отовсюду: туркмены, русские, казахи из кибиточного «казах-аула», азербайджанские нефтяники, евреи, осетины, персы и латыши; все они были чем-то похожи, и не только темной смуглотой лиц, прокаленных в одном каракумском горниле. Так делаются похожими люди, творящие сообща великое: новую религию, революцию или новый маленький город.

Все они верили, что их город когда-нибудь станет великим. Таким же, как Небит-Даг.

Много дней я не видел Бако. Потом мне сказали, что у Бако несчастье: толстуха его бросила, убежала с каким-то железнодорожником в Ашхабад. Это случилось недавно.

Моя соседка, Валентина Семеновна, очень сочувствовала Бако. Она работала плановиком в той же автотранспортной конторе — одинокая

немолодая женщина, заброшенная в этот край превратностями судьбы. Валентина Семеновна читала по-французски, ее любимым поэтом был Иннокентий Анненский.

Бако любил бывать у Валентины Семеновны. Его тянуло к высокой интеллигентности. Кроме того, они оба были членами месткома. Бако приходил к ней с тремя детьми; теперь он повсюду ходил с детьми — на рынок, в столовую и даже в забегаловку, когда привозили пиво. Дети убегали во двор, где жаркий ветер носил песок и всегда пахло хлором, которым заливали уборные, а Бако сидел в комнате Валентины Семеновны и советовался о жизниУ него теперь одна мысль: «Как бы ей отомстить?»

— Не могу понять, чего Лизе не хватало, — изумлялась Валентина Семеновна. — Вы так ее любили, и зарабатываете вы хорошо…

Бако не знал, чего ей не хватало. Но однажды у него вырвалось с горечью:

— Ей, дуре, не хватало деревьев!

Бако пытались женить, знакомили с разными женщинами, но ему никто не нравился: одна чересчур худа, другая стара, третья плохо на детей посмотрела. Про одну очень толстую армянку он сказал:

— Она ничего, фигуристая. Но о чем я буду с ней разговаривать?

С Лизой он любил разговаривать о международном положении, особенно если бывал «под мухой».

В конце концов детей устроили в детский сад. Они находились там всю неделю, и только на воскресенье Бако забирал их домой. А Лиза не вернулась даже тогда, когда в городе появились деревья. Первые деревья привезли при мне на двух грузовиках. Из открытого заднего борта торчали тоненькие голые прутья, а корни вместе с землей лежали в кузове, бережно запеленатые серыми пыльными тряпками.

1959

• ОЧКИ

Самое трудное в этой работе — научиться ходить не утомляясь. Ходить приходится много, иногда по десять — пятнадцать километров в день. Ноги вязнут в песке, каждый шаг требует усилий. Лучше всего ходить босиком, но песок за день так накаляется, что босой ногой не ступишь. Опытные люди соорудили себе легкие войлочные тапки вроде туркменских чувяков.

Молоденький рабочий Ашир, прикрепленный к Гале, скачет по барханам, как ящерица. Он изнывает от сострадания к Гале и желания ей помочь.

— Ты не думай, ходи, как верблюд! Совсем не думай!

У Гали это не получается. Она думает слишком много. Все время думает о разных вещах: то вспоминает мать, то московских знакомых, то думает о людях, с которыми вместе работает уже третий месяц и не перестает им удивляться. Странные они, пестрые какие-то. Хорошие или скверные — не разберешь. От зари до зари в поле, ночью зябнут, днем пекутся на солнце, ссорятся из-за планшетов, ругаются, хитрят, поют песни… Пьют

не часто, но с удовольствием. А часто пить и нельзя: шофер Миша ездит в Казанджик раз в месяц, привезет полдюжины коньяку — надолго ли хватит? Коньяк — не водка, его и женщины пьют.

Многому научилась Галя, от многих городских предрассудков помаленьку отвыкла, например, от глупого принципа, чтоб мужчина делал даме любезности. В пустыне все равны, все в штанах ходят. Научилась Галя сама о себе заботиться. За едой, когда все садятся как попало вокруг котла, научилась, не деликатничая, брать куски побольше, не ожидая, пока предложат или все съедят. Научилась ловко перелезать через борт грузовика и занимать место возле кабины, где меньше трясет, — кто опоздал, пусть мотается сзади, сам виноват.

А вечером от ходьбы поясницу ломит и ноги гудят, все равно как после первого зимой выхода на каток.

Вечером чаевничают в палатках при свете керосиновой лампы, потом — кто спать сразу, кто в карты, кто письмо пишет. Галя живет в одной палатке с поварихой Катей и Марьей Андреевной Феничевой, инженером-мелиоратором. Катя укладывается раньше всех, потому что и встает первая. Марья Андреевна ложится последняя,

иногда за полночь явится, а иногда и вовсе не ночует. Здесь не город, чего стесняться? Все и так знают. Малаев как начальник отряда живет в маленькой отдельной палатке, где хранятся карты, документы и стоит радиоприемник «Урожай».

Утром, когда Марья Андреевна сидит на койке и расчесывает свои длинные русые косы, Галя любуется ее складной фигурой, гибкими руками, нежно-белыми до запястий и глянцевито-смуглыми, обветренными в кистях. И делается грустно, когда подумаешь, что ласкать это тело досталось лысому, неряшливому, с грубым испитым голосом старику. Малаеву сорок семь лет, в Галином представлении он старик. Напряженно волнует Галю загадка: что привлекло в Малаеве эту молодую красивую женщину? Известно о ней немного. Был муж, полярный летчик, которого она, по собственным словам, «любила безумно». Он погиб шесть лет назад, Марья Андреевна еще училась в институте. Потом было несколько романов, но все неудачные. И вот — Малаев. Почему? С какой радости? Если это так, без любви, то, по мнению Гали, Сергей Павлович совсем неподходящий партнер. А если это глубоко, по-серьезному, тогда вообще ничего не понятно.

Несколько раз, мучимая любопытством, Галя

затевает разговор с Катей, но рябая повариха не проявляет интереса к проблеме.

— А я почем знаю? Присохла, видишь…

— Что вы говорите, Катя! — ужасается Галя. — Как можно «присохнуть» к Малаеву?

Иногда Марья Андреевна приходит вечером в палатку, и лицо у нее такое счастливое, что Гале делается неловко. Почуяв это, Марья Андреевна заводит с Галей надменный, официально-сухой разговор о работе. Как все люди, привыкшие долго жить в одиночестве, Марья Андреевна необыкновенно чутка и самолюбива. Она может вдруг резко спросить:

— Почему вы на меня так смотрите?

— Я? На вас? — изумляется Галя.

— Да, да. Я знаю все ваши взгляды, хоть вы и очки носите. Только мне наплевать с высокой горы.

Или незаметно появится из-за угла палатки и бросит подозрительно:

— Вы о ком, обо мне судачите?

Как-то вечером Галя и Марья Андреевна сидели вдвоем в палатке и разговаривали о Махонине, бородатом геодезисте, который презирает все науки, кроме геодезии, и всегда ходит в поле особняком. В отношении к геодезисту у женщин

единство взглядов: его считают грубияном и зазнайкой. Марья Андреевна с возмущением говорила о том, что Махонин, стараясь доказать, что он работает вдвое быстрей других, стал за последнее время картировать с ошибками и такие пикеты второпях ставить, что их надо два часа отыскивать. В углу палатки что-то зашуршало.

— Марья Андреевна, по-моему, у нас фаланга, — сказала Галя.

Керосиновая лампа чуть освещала две койки и большой Галин чемодан, служивший столом. Шуршанье послышалось вновь и громче, а затем фаланга — небольшой мохнатый комок — прыгнула на край чемодана и оттуда под койку. Все это произошло мгновенно. Марья Андреевна ахнула, схватила лампу и выскочила с ней на волю, чтобы осмотреть свое платье. Галя осталась в темноте. Минуты две она сидела не шевелясь и дрожа от страха, каждую секунду ожидая, что фаланга прыгнет на нее. Но шуршанья больше не слышалось. Марья Андреевна тоже не обнаружила фаланги и вернулась с лампой в палатку. Она была немного смущена. Женщины с величайшей осторожностью, то и дело взвизгивая, осмотрели палатку, переворошили все вещи, но фаланга исчезла бесследно.

— Почему вы не выбежали из палатки? — спрашивала Марья Андреевна нарочито сердитым тоном. — Я думала, вы бежите за мной!

Галя промолчала, но это маленькое предательство поразило ее почему-то очень больно. Потом, немного успокоившись, она мысленно простила Марью Андреевну. Что же, она такая же трусиха, как большинство женщин. Галя сама дико боялась фаланг и скорпионов, от ее близорукости они мерещились ей повсюду. Каждую ночь перед сном она тщательно осматривала постель и поверх спального мешка накрывалась еще кошмой: по словам чабанов, пауки боятся бараньей шерсти.

На запах лагерной кухни фаланги набежали со всей округи. Галя видела крохотных желтеньких паучков, которые легкомысленно прыгали и резвились в траве, и толстых, брюхатых, с волосатыми лапами, совершавших огромные скачки в полтора метра и сипло стрекотавших. Но случаев укуса пока не было, и Галя понемногу преодолела отвращение и страх перед этим мохнатым паучьем. Относительно вредности фаланг среди туркменов были различные мнения: одни считали, что фаланги вообще безвредны, другие говорили, что укус их опасен лишь в том случае,

если фаланга недавно питалась падалью и на зубах у нее сохранился трупный яд. Ашир говорил, что надо опасаться только черной фаланги.

Среди туркменов у Гали много друзей. Большинство рабочих — молодые, двадцатилетние парни, которые кажутся еще моложе благодаря тому, что все они по-мальчишески худенькие и безусые. И тем не менее почти у каждого есть жена и дети… Рабочие относятся к Гале как к сестре и называют ее — Галя-джан. Им нравится, что она сразу запомнила, как кого зовут (Малаев до сих пор путает имена), нравится, что она советуется с ними в работе, интересуется их языком и уже выучила порядочно туркменских слов.

Самый близкий друг — Ашир. Он тихий, меланхоличный, всегда погруженный в свои думы. Ашир, единственный из рабочих, принадлежит к племени иомудов, все остальные — текинцы. Его работа у Гали несложная, он носит гербарную сетку, отмеряет площадку и садится где-нибудь на пригорке в виде живой вешки. Он может сидеть так, не шевелясь, часами, в то время как Галя ползает по земле, выщипывая растения. Иногда ему приходится копнуть разок-другой лопатой, извлекая какое-нибудь крупное растение с корнем. Пустынную флору он знает великолепно.

И вдруг Галя узнает — от других рабочих, товарищей Ашира, — что Малаев собирается Ашира уволить. Режим экономии. Сокращение штатов. Но почему Ашира? Почему не уволить одного из четырех махонинских рабочих?

Происходит долгий отчаянный спор. Малаев, Марья Андреевна, геодезист Махонин — все заодно против Гали, Ее обвиняют в том, что она белоручка, боится натрудить гербарной сеткой пальчики, что ей чужды интересы коллектива и что настоящие комсомольцы так не поступают.

Галя упорствует. Она вовсе не белоручка, ей жалко терять Ашира: он прекрасный помощник, а кроме того, хороший парень, добрый, мягкий…

Но об этом Галя не говорит. Она ставит вопрос принципиально: почему от сокращения штатов должна страдать именно она, геоботаник? Если она молодой специалист, с ней можно и не считаться — так, что ли?

— А гербарную сетку я буду носить сама!

— Ох и упрямая вы женщина, — говорит Марья Андреевна со злой усмешечкой. — От вашего упрямства сами же и страдаете. И всю жизнь будете страдать.

— Почему — страдать? Не понимаю, Марья Андреевна.

Галя делает наивное лицо. Она понимает только, что Марья Андреевна хочет съязвить, сказать что-то злое, затаенное. Ну-ка, пусть выскажется!

— Я вам потом объясню, — свысока обещает Марья Андреевна.

Малаев устало машет рукой.

— Ладно, договаривайтесь с Махониным. Если согласится сократить кого-нибудь из своих, не тронем вашего Ашира…

Но геодезист не тот человек, с кем можно договориться. Он заявляет, что, хоть он и не кончал университетов, обхитрить его никому не удастся, даже академику. Дудки! Где сядешь, там и слезешь!

Огорченная, Галя заходит вечером в палатку рабочих. Ашир лежит на войлоке, закрыв руками голову. Реджеп и Бегенчи играют на тюйдуках, остальные пьют чай.

— Ну что, Галя-джан? — спрашивает Реджеп.

Ашир садится и смотрит на Галю.

— Пока яман. Но я буду бороться… Ты не печалься, Ашир!

— Не печалимся, — усмехается Ашир, — Мамка совсем печалится…

Реджеп пододвигает Гале пиалу.

— Пей чай!

— Не хочу, сагбол. Завтра опять пойду к Малаеву. Это какое-то безобразие! Я даже не понимаю!

— Ай, Галя-джан! — Ашир делает слабое движение рукой, говорящее «что тут понимать?» — и снова ложится на войлок.

Когда Галя выходит из палатки, за ней выскакивает Реджеп. Догнав ее в темноте, шепчет возбужденно:

— Галя-джан, скажи Малаю: Ашир нельзя уволить, никак нельзя. Он бедный человек, у него мамка старый, жена, сестра есть. Он самый бедный, ему нельзя уволить. Пускай другой уволит, скажи…

— Я знаю, знаю, — шепчет Галя, кивая. От внезапной жалости горло ее стискивает спазма.

Галя поспешно уходит. Впервые в жизни она чувствует себя начальницей, ответственной за судьбу человека, и это чувство тяжестью ложится на сердце. Что она может сделать? Как помочь?..

Перед сном происходит объяснение с Марьей Андреевной.

— Вы спрашиваете, почему вы будете страдать? Я вам объясню. Вы чересчур гордая и мнительная, Галина Ивановна. Поэтому вы не можете найти общий язык с людьми. Всегда вам кажется, что вас ущемляют.

— Неправда, — говорит Галя. — Просто я чувствую, как ко мне относятся люди, и плачу им тем же.

— Ну как, например, я к вам отношусь?

— Вы? — Одно мгновенье Галя смотрит в синие, широко открытые глаза Марьи Андреевны. — Вы равнодушны, вот и все.

Марья Андреевна возражает. Ничего подобного, она искренне желает Гале добра, ведь она сама недавно была молодым специалистом.

— Видите, какая вы! — возмущается Марья Андреевна. — Уже обвинили меня в равнодушии. А ведь я всей душой хочу вам помочь — ив работе и в личной жизни.

— О последнем можете не беспокоиться, — говорит Галя несколько высокомерно.

— Пожалуйста, я не беспокоюсь. Но я старше вас, пусть немного, на пять лет...

«На семь», — мысленно поправляет ее Галя.

— ...у меня есть жизненный опыт, я знаю, что такое любовь, что такое материнство, — у меня была девочка, она умерла пятимесячной, — и что такое все остальное. И я вам говорю: вы живете неправильной, неполной жизнью. Смотрите, даже рябая Катя, такая уж невзрачненькая, и та утешается с нашим шофером Мишей. А как же

иначе? Женщина не может жить без любви.

Галя уже залезла в спальный мешок, сняла — очки и, лежа на спине, глядит в низкий пахнущий резиновым клеем брезентовый потолок палатки. На воле раздаются глухие удары о землю, сухой треск: Катя ломает дрова на завтра. «А ты воровка, — думает Галя. — Украла на полгода чужого мужа и радуешься. Воровка, воровка! Боже мой, разве это любовь? С Малаевым…»

— Вы скажете, наверно, что вас интересует работа? — продолжает Марья Андреевна.

— Да. Интересует.

— И меня интересует, и Сергея Ивановича, и Махонина — мы все работаем увлеченно. Это в порядке вещей. Мы все работаем для будущего этой земли, хотим превратить ее в сад, украсить зеленью — мы тоже романтики, Галина Ивановна. Но нельзя же себя обкрадывать…

«А вы разве счастливы, Марья Андреевна?» — хочется спросить Гале, но она понимает, что это было бы зло и жестоко. Эта женщина хочет убедить всех и, главное, самое себя в том, что она счастлива. Но стоит ли заниматься разоблачениями? Галя молчит. Нет, она не решится обидеть Марью Андреевну. Не имеет права. Ведь на стороне Марьи Андреевны огромное оправдание

— опыт жизни.

И вдруг Галя говорит:

— А почем вы знаете? Может, я тоже счастлива — с Аширом.

— Что? Ну, неправда… — Марья Андреевна неуверенно улыбается.

— Хотите верьте, хотите нет.

Марья Андреевна даже села на койке. В глазах ее жадное изумление.

— Галя, расскажите!

— Рассказывать я не буду. Вам этого не понять.

— Почему «не понять»? Вы что, из другого теста, что ли? — Голос Марьи Андреевны вздрагивает от обиды. Кажется, Галя сказала лишнее и сейчас вспыхнет ссора, но Марья Андреевна почему-то молчит и Галя тоже молчит.

Входит Катя, медленно раздевается и со словами: «Спокойной ночи, девочки» — задувает керосиновую лампу. И только после этого в наступившей тишине в темноте раздается робкий, смеющийся шепот Марьи Андреевны:

— А я смотрю: она так его защищает, так отстаивает… Какая скрытная, подумайте!

На следующий день специалисты отправляются с утра на близкий «ключ», в пяти километрах от лагеря. Рабочие заняты свертыванием пала-

ток, укладкой вещей: лагерь перебирается на новое место.

Днем на «ключ» приезжает грузовик. Галя, Марья Андреевна, почвовед Домрачеев залезают в кузов и навсегда прощаются с этой холмистой песчаной равниной, где им знакомы каждый куст, каждая сусличья норка. Почвы, растительность, впадины и возвышения — все занесено на карту, оконтурено, тщательно описано в цифрах.

— Прощайте, песчаные горы! — дурашливым тенором поет Герман Домрачеев. У всех веселое настроение. Новое место, говорят, будет веселее: рядом с лагерем геофизиков, а у тех патефон, волейбольная площадка, молодежи много…

В лагере суматоха. Малаев орет на верблюдчиков, Катя в огромные узлы увязывает посуду. Ошалело носятся рабочие. Гремит бас геодезиста:

— Если кто-нибудь трррронет мои теодолиты!..

Галя вдруг обнаруживает, что у нее пропали очки. Они остались в песках, на «ключе». Близорукость у Гали несильная, она надевает очки только во время работы и в кино, и все же без очков жить нельзя.

Эта потеря вызывает у всех почему-то улыбку. Гале сочувствуют, но как-то глупо, легкомыслен-

но. Герман плоско острит насчет того, чтобы Галя не расстраивалась, ее очки пригодятся очковой змее, и т. д.

Люди с хорошим зрением вообще отличаются тупостью и самодовольством, когда дело касается очков.

Галя рассказывает о своей неприятности Малаеву и просит дать грузовик съездить на «ключ». Начальник смотрит испуганным, непонимающим взором: «Нет, нет! Что? Грузовик пойдет первым рейсом в Теза-Кую...» Его обуревают тысячи забот, ему нет дела до каких-то очков. Подумаешь, происшествие! Но Галя крепко хватает Малаева за локоть.

— Сергей Павлович, поймите, я без очков не работник...

— Ну, завтра съездите, послезавтра. Я не знаю, что вы хотите — чтоб я родил ваши очки?

— Отпустите на полчаса грузовик...

— Да вы с ума сошли, Галина Ивановна! Что? — И он произносит отчетливо и раздраженно: — Странный человек: то вы скандалите из-за рабочего, который вам совершенно не нужен, то теряете очки и кто-то виноват, ей-богу!

Закусив губы, Галя поворачивается и убегает. Ее душат слезы. Ей кажется, что ее обижают на-

рочно, никому нет дела до ее неприятностей и все вокруг — равнодушные, желчные эгоисты. Она убегает за бархан и плачет там, сидя в ложбинке на корточках, чтобы никто не видел.

Через несколько минут она встает и, все еще глотая слезы, бежит по пескам в обход лагеря к автомобильной колее. Некоторое время Галя слышит за спиной голоса, шум мотора, потом все стихает. Она одна среди барханов. Следы грузовика бегут по песку — то взлетают на гору, то вьются по подножью, замысловато огибая барханы.

Тишина песков понемногу успокаивает Галю.

Она смотрит на часы: половина пятого. За час двадцать минут она добежит до «ключа», возьмет очки и часам к восьми вернется в лагерь. Дорога легкая, ветра нет и не жарко. Надо только ни на шаг не отклоняться от колеи, и все будет в порядке.

А в лагере пусть-ка поволнуются эгоисты! Интересно, какая физиономия будет у Малаева, когда ему сообщат, что Стрелкова исчезла, сгинула, провалилась в песок, как песчанка. Хотя до восьми часов никто, наверно, и не хватится.

Галя размышляет о людях. О здешних и о московских, о всех, кого она знает. Вообще о человечестве. В здешних пока разобраться трудно.

Иногда Галя чувствует, что Марья Андреевна пылает к ней какой-то темной, бабской ненавистью, совершенно необъяснимой, а иногда удивляется ее доброте, щедрости и желанию искренне чем-то помочь. Малаев страшно мелочен, спорит из-за копейки, когда собирают взносы на общую кухню, а то вдруг притащит из города вина и закусок на пятьсот рублей и ни с того ни с сего угощает весь лагерь. Геодезист Махонин грубиян, презирает женщин, разговаривает хамским тоном, зато влюблен в свою работу, и влюблен бескорыстно, красиво. И у других так же — хорошее и плохое вперемешку. А может, все люди такие? Но ведь мама, например, определенно хорошая, и Тамарка, самая близкая подруга, тоже очень хорошая…

«Наверно, я мало их знаю, — решает Галя^За три месяца нё узнаешь».

Она приходит на «ключ» в почти намеченный срок: за полтора часа. Вот свежая яма, шурф, откуда Герман брал сегодня почвенные пробы. Вот кустики селина, стебли песчаной осоки — Галя ползала сегодня по этому склону и считала, считала… Вот серые угли утреннего костра… Банка из-под сгущенки… Очков пока не видно.

Полчаса, час ходит Галя по маленькому участку, глядя под ноги, то и дело нагибаясь. Очков нету.

Уже около восьми, надо возвращаться в лагерь, но ведь глупо возвращаться ни с чем, проделав путешествие в десять километров!

И Галя ходит, ищет, заглядывает под каждый стебель, пытается вспомнить…

И вдруг вспоминает: на обратном пути грузовик подобрал их не на самом «ключе», а шагах в двухстах к востоку. Утром Миша с трудом преодолел гряду барханов и поэтому днем остановился как раз перед грядой. Галя быстро пробегает этот короткий отрезок, спускается с бархана, видит место, где Миша разворачивался, — но и здесь ничего не находит.

Галя бежит назад, к «ключу». Спешит, спотыкается. Солнце село, небо быстро сереет. Как у всех близоруких людей, зрение у Гали резко ухудшается в сумерки. Теперь ей приходится передвигаться чуть ли не ползком для того, чтобы разглядывать землю. От усталости и волнения подкашиваются ноги, она садится на песок. Ей становится страшно. Она понимает вдруг, что темнота наступит очень скоро, — надо бросать поиски и бежать, бежать немедленно!

Пока можно различить в сумерках дорогу, Галя бежит быстро. Странная вещь: она отчетливо сознает, что ее поступками руководит сейчас не

разум, а смятенное чувство. Бежать ведь некуда. Время упущено. И все-таки, уже не различая дороги, она продолжает бежать, потом идет шагом.

Барханы налились тушью, а небо еще светится.

Стоп! Вот здесь, не отходя от дороги, она будет спать, а завтра на рассвете пойдет дальше.

В лагере, конечно, тарарам. Переезд отменен, рабочие ушли на поиски, жгут костры. Малаев радирует соседям…

Галя складывает ладони рупором и кричит:

— Я здее-е-есь!

Потом просто:

— Аааа!..

Молчат барханы. Галя ложится на песок прямо там, где стоит. Спать, спать! Скорей бы прошла ночь.

Песок твердый и такой холодный, что Галю бросает в дрожь. На боку лежать неудобно, на спине тоже. Галя сгребает песок руками, делает из него нечто вроде изголовья, съеживается, поджимает колени. А может быть, зарыться в песок, как ящерица?.. Главное — без паники. И не терять чувства юмора. Завтра утром, в лагере, она будет смеяться, вспоминая сегодняшние страхи. Ха-ха, сбегала за очками. Прекрасная тема для

письма Тамарке. Маму пугать нельзя, а Тамарке можно написать со всеми подробностями, даже название есть: «Первое приключение в пустыне Каракум», или лучше: «Приключения идиотки».

Галя закрывает глаза. Горько, одуряюще пахнет полынью…

Всю ночь снятся кошмары. Галя то и дело просыпается от страха и, проснувшись, не может вспомнить, что именно ее напугало. Отвратительно сияют звезды. Нет конца их сиянию, нет конца их бессмысленному множеству. Это называется — бесконечность. Дрянь и глупость, никому это не нужно.

А нужно тепло и солнце…

Она просыпается от солнца. Оно уже в небе, бирюзово-сером, рассветном. Галя вскакивает на ноги. Ее трясет озноб. Пять часов утра.

Что такое? Следов автомобиля не видно. Она спала на голом песчаном склоне. Значит, вчера вечером, в потемках, она потеряла дорогу. Где это случилось? Галя взбирается на высокий бархан и оглядывается, но без очков увидеть след автомобиля довольно трудно. Надо идти назад, по своим следам. Главное — без паники. Она еще вернется на «ключ» и, кстати, найдет очки. Вот ее следы, и вот, и вот… А дальше? Дальше ничего.

Ровный, чистый песок. Что она, летела тут по воздуху, что ли?

В пустыне всегда ветер, вот и пропали следы.

Покружившись вокруг последнего следа и наделав новые следы, Галя окончательно запутывается и решает идти в лагерь на страх и риск. Лагерь должен быть, если вспомнить карту, на юго-юго-востоке от «ключа». Примерно определив по восходящему солнцу, где юго-юго-восток, Галя отправляется в путь.

Она пересекает могучие, грядовые пески. Чтобы не сбиться с направления, Галя не обходит барханы, а все время идет напрямик. Каждый раз взбираясь на высокий гребень, она надеется увидеть автомобильный след, или палатки на горизонте, или кибитку верблюдчика, но видит только барханы. Очень жарко. Галя снимает вязаную кофту, обматывает ею голову, чтобы не напекло.

Она идет все медленнее. Первые признаки отчаяния и голода, слабеют ноги, хочется лечь. Но останавливаться нельзя, надо идти. Говорят, это умеют кочевники: идти по прямой.

Плавится песок. Душный, знойный воздух в низинах. На припеке греется здоровенная, с желтой шкурой, змея.

Галя идет весь день.

Опять наступают сумерки. Галя ложится на спину и закрывает глаза. Она думает: я умерла в двадцать три года, потеряв очки. Меня искали, искали, но без очков не нашли. В сумерках идти нельзя, потому что куда-то исчезает дорога. Хотя это уже не важно.

Как всех людей, погибающих в пустыне от жажды, Галю преследуют видения воды. Утром она встает с трудом. Солнце парит вовсю. Толстое, с мясистым стволом растение туркмены называют «чомуч» и едят его, нарезая ломтиками, как колбасу. Вырвать из земли нет сил, надо сломать ствол, как можно ниже, обтереть пыль и сразу в рот, где все болит, сухо…

Галя видит черный мохнатый клок бороды. В рот ей суют флягу, она пьет, но очень немного. Фляги уже нет.

— Дудки, — слышит она знакомый голос, — Хорошенького понемножку.

— Я заблудилась, — говорит Галя.

Потом они сидят рядом на песке, Махонин что-то говорит, а Галя пьет воду. Махонин опять отнимает флягу. Галя смотрит на его прекрасную черную бороду и плачет.

В лагере первая подбегает Марья Андреевна. У

нес ошеломленное, красное от слез, незнакомое лицо, она вскрикивает тонким голосом:

— Господи, да вот она! — и, подхватив Галю под руки, бережно ведет куда-то, так бережно, как будто Галя может рассыпаться. Потом ее окружают рабочие, Катя, Герман Домрачеев, подбегает Малаев — родные, милые лица. А Миша с грузовиком и верблюдчики еще в песках.

— Она, видишь, вкруговую шла, — говорит Махонин. — В первый день километров восемнадцать да сегодня семь. Хорошо, свалилась без памяти, а то чеши за ней до Ашхабада…

Рабочие смеются, Ашир протягивает Гале очки: он их нашел на «ключе», засыпанные песком. И первое, что замечает Галя, надев очки; бледное, с вымученной улыбкой лицо Малаева, постаревшее как будто на десять лет. А Марья Андреевна обнимает Галю страстно и шепчет непонятное:

— Не волнуйся, Галочка: твоего Ашира решили оставить. Сергей Палыч не против..

1959

• ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

Чертиком выскочила на дорогу рыженькая песчанка и понеслась впереди машины, охваченная ужасом и загипнотизированная ревом мотора. Сапар Мередович задумал: если песчанка свернет с дороги влево, значит все останется по-прежнему, если вправо — произойдут перемены. Очумелая песчанка мчалась по колее в двух метрах перед радиатором, не находя сил свернуть ни вправо, ни влево, и вдруг исчезла, точно провалилась. Сапар Мередович решил дождаться второй. Будущее было тревожно, и Сапару Мередовичу не терпелось получить хоть какой-то ответ.

Вторая песчанка появилась скоро и, так же как первая, с идиотическим упрямством заплясала перед носом машины. Сапар Мередович впился в нее глазами. Но тут Реджеп неожиданно дал сильный газ и переехал рыжую тварь колесами.

— Зачем? — с досадой спросил Сапар Мередович.

— Я эту пакость всегда давлю, Сапар Мередович. Только заразу разносят, пропади они совсем…

— Машину надо жалеть, — проворчал Сапар Мередович.

Третья песчанка появилась через полчаса. Она отчетливо увильнула с дороги влево, но Сапар Мередович уже успел забыть, что означало — если влево, и что — если вправо. Таким образом, будущее осталось неясным.

Сапар Мередович Мередов, заведующий райотделом культуры, ехал охотиться. Это был рослый полный мужчина, с гладко выбритым шарообразным черепом, с той бледной смуглотой кожи, которая присуща большим начальникам, проводящим дни в кабинетах. Охоту Сапар Мередович считал лучшим средством против служебных неприятностей. Пески успокаивали, исцеляли его, возвращали душевное равновесие.

А сегодня Сапар Мередович нуждался в душевном равновесии больше чем когда-либо.

Последние две недели он испытывал неотвязное и почти необъяснимое чувство тревоги. Это чувство не было вызвано никаким конкретным событием. Оно возникло как бы из воздуха, из мелких и безобидных на первый взгляд примет. Например — ревизоры. В конце мая приехали двое из областного отдела культуры, потом явился один из облоно, а еще через несколько дней — из обкома комсомола. Не успел уехать последний, как на один день мелькнул подобно

метеору товарищ из столицы республики. Все это были люди знакомые, и действовали они знакомо, с обычной торопливостью, с обычной жадностью к бумаге и всему бумажному. Интересовали их разные вещи: кого — библиотека, кого — культпросвет, кого — кинофикация в сельских районах. Насытившись бумагой, они уезжали стремительно и с видным удовлетворением.

Само по себе нашествие ревизоров не встревожило Сапара Мередовича: оно было так же безвредно и немного парадно, как метеоритный дождь в августе. Мелькнули — и сгинули. Но Сапар Мередович почуял за этим нашествием какую-то неясную, отдаленную угрозу — это было смутное предчувствие, ничего больше.

Одновременно разнесся странный слух. Кто-то приехал из областного центра и рассказывал, что видел человека, вернувшегося из Ашхабада, которому говорил один его близкий знакомый, прилетевший из Москвы, что в Москве уже с полмесяца ответственные работники ездят исключительно на такси. На душе у Сапара Мередовича сделалось неуютно. Особенно насторожили его разговорчики насчет перераспределения легкового транспорта. Старый, замызганный ГАЗ-67, приданный райотделу культуры и являвшийся

по существу собственностью Сапара Мередовича (с той разницей, что Сапар Мередович платил шоферу и за бензин не из собственных денег, а из казенных), был главной приманкой, соблазнившей Сапара Мередовича взять на себя нелегкий труд заведования райкультурой.

Шесть лет назад Сапара Мередовича перебросили с зампредседателя облисполкома на замдиректора педучилища, затем он заведовал отделом культтоваров в министерстве и после одной неприятной истории попал в район. Ему предложили на выбор: замзавоблотделом или же заврайотделом. Сапар Мередович выбрал район, ибо лучше быть первым человеком в районе, чем вторым в области. Кроме того, в области Сапар Мередович не был бы полновластным хозяином машины, а начальник без машины — какой же начальник?

И вот теперь старенький райотдельский «газик», этот символ власти и благополучия, Подвергался опасности. Сапару Мередовичу и раньше приходилось держать ухо востро, давая отпор покушениям на свою драгоценность. На «газик» претендовали, например, работники райкома партии, у которых была одна машина на всех, райпрокурор и заврайздравом, у которых

не было машин вовсе, и еще несколько влиятельных лиц. Сапар Мередович хитрил: он велел своему шоферу Реджепу содержать «газик» в затрапезном виде, не мыть его, не красить, не чинить порванный брезентовый верх, чтобы не вызывать зависти. «Газик» был вполне исправен и хорош на ходу, но внешний вид его был так ужасен, что, казалось, машину вытащили со свалки и она вот-вот развалится.

После трехчасового тряского путешествия по барханной дороге «газик» выбежал на солончак. Реджеп предложил Сапару Мередовичу отправиться на этот раз в отдаленную местность за колодцы Теза-Кую, Кзыл-Кятта и еще дальше к северу, где простирался обширный такыр, называемый жителями «Алым-такыр». Четыре года назад там работало много экспедиций, огромный такыр избороздили автомобильными колеями, истыкали скважинами, а пустынное зверье распугали. Потом экспедиции уехали, сделав свое дело. И пустыня вновь воцарилась на прежних местах. Стерлись следы машин, засыпало песком скважины.

Напоминанием об изыскателях, некогда поливавших потом эти пески, осталось только название, данное такыру чабанами: Алым-такыр,

что значит — Такыр ученого.

На этом такыре, по словам Реджепа, должна быть пропасть джейранов. Кишмя кишат джейраны, и никто не охотится: далековато.

Июньский полдень давил зноем. «Газик» шел на большой скорости, и, хотя драный брезентовый верх его был открыт (чтобы стрелять стоя), движение воздуха почти не приносило прохлады. Вот оно, время охоты: одурев от жажды, джейраны выходят из глубины песков в поисках водопоя. Сапар Мередович не страшился жары. Только пыхтел и вытирал платком лоб и шею, Пусть прячутся от солнца изнеженные арыйцы или чарджоуские эрсари, избалованные водой, а он настоящий туркмен, его деды были «кумли» — жители песков, выносливые, как ящерицы.

Сапар Мередович чувствовал себя отлично. Жадно вдыхал он душный и горьковатый запах пустыни, запах истлевших на солнце трав. Целебные силы песков начали действовать. Прошло каких-нибудь четыре часа, а Сапар Мередович уже не смотрел на жизнь так уныло, как прежде.

В самом деле, размышлял он, откуда взялась тревога? Что произошло? Ничего ровным счетом. Все на своих местах. Третьего дня он нарочно ездил в область, чтобы проверить, нет ли ка-

ких перемен в руководящих организациях. Нет, повсюду сидят прежние знакомые люди: Чары Мурадович, Девлет Курбанович, Иван Васильевич... А если все они на своих местах, значит и тревожиться нечего.

Могучее спокойствие пустыни, солнца и неба вливалось в Сапара Мередовича. И вскоре он совсем перестал думать о служебных делах и мыслями его овладела охота.

Джейраны что-то не бежали навстречу.

Сапар Мередович шарил биноклем по знойной дрожащей кайме горизонта, выискивая добычу, но пока ничего не видел. Он знал, как трудно заметить джейранов на большом расстоянии: палевая окраска делает их почти неразличимыми на фоне песка. Только белые подпалины на ляжках выдают джейранов, но увидеть подпалины можно лишь тогда, когда животное повернется задом к охотнику.

Сапар Мередович смотрел в бинокль с таким напряжением, что у него заслезились глаза. Безжизненно и пустынно белел такыр. Кайма горизонта слоилась, трепеща от жаркого воздуха, и казалось, что впереди маячат гребни барханов, но это был все тот же плоский глиняный стол такыра, изрезанный трещинами и побеленный

там и сям пятнами соли.

Неожиданно Реджеп сказал:

— Вон рогаль стоит. Видите, Сапар Мередович?

Сапар Мередович перекинул бинокль по направлению взгляда Реджепа и действительно увидел на горизонте застывший на мгновение силуэт сторожевого самца-джейрана. Через секунду рогаль исчез из поля зрения.

— Поворачивай против солнца, — сказал Сапар Мередович, и голос его дрогнул от знакомого внезапного волнения.

Реджепа не надо было учить. Он превосходно знал все хитрости автомобильной охоты. Он знал, что преследовать джейранов по следу — пустое дело; надо кружить спиралью вокруг добычи, приближаясь к ней осторожно и как бы нехотя. Поэтому Реджеп изменил направление, погнав машину на запад и постепенно забирая чуть к северу. Через четверть часа на горизонте мелькнуло стремительно мчащееся стадо джейранов, семь или восемь голов. Они были как тени, легкие и призрачные, — вот-вот растают в знойном тумане.

— Так держи… Не ближе, не ближе! — закричал Сапар Мередович, нервным движением выхватывал с заднего сиденья дробовик.

Реджеп и сам знал, что приближаться рано. «Газик» ехал сейчас параллельно бегущему стаду. Почуяв преследование, джейраны ускорили бег и начали быстро удаляться. «Газик» тоже понесся на предельной скорости, но заметно отставал от дьявольских антилоп: ведь они мчались сейчас со скоростью ста с лишним километров в час. Но этого темпа им хватит на пять минут. Затем они неминуемо и быстро начнут сдавать.

— Нажимай! Жми!.. Еще нажми! — орал Сапар Мередович, захлебываясь от возбуждения и ветра, бьющего в рот. Он вскочил на ноги и стоял, держась свободной рукой за борт.

«Газик» начал медленно нагонять стадо. Он все еще шел параллельно, но уже ближе к джейранам, и с каждой минутой придвигался к ним все более. Сапар Мередович мог теперь сосчитать джейранов, растянувшихся вереницей: их было пять голов. Они стлались над землей, как птицы: движения их ног были почти неуловимыми для глаза.

Реджеп упорно избегал решительного наступления. Он точно испытывал терпение Сапара Мередовича. Расстояние между машиной и последним джейраном, замыкавшим летучую пятерку, сократилось до ста метров, до восьмиде-

сяти, до семидесяти…

Железный грохочущий аппарат с бензиновым сердцем и нежно-палевые маленькие, легконогие существа неслись сейчас рядом, словно в честном соревновании. Уже можно было стрелять. Мелкая картечь — двадцать две дробины, забитые в патрон двенадцатого калибра, — берет метров на восемьдесят. Уже можно… Сапар Мередович вскинул дробовик, целясь заднему джейрану в лопатку.

«Газик» слегка подпрыгивал на неровностях почвы. Корпус его дрожал от скорости. И колени Сапара Мередовича неуемно дрожали, и его все время тянуло сесть. Поэтому он промазал.

— Выворачивай руль же, черт… подрал! — крикнул Сапар Мередович диким голосом.

Реджеп послушно вывернул руль. Джейран шарахнулся в сторону, и Сапар Мередович снова выстрелил в розовую лопатку и увидел, как джейран подпрыгнул, кувырнулся через голову, беспомощно сверкнув белым брюхом. «Есть шашлык!» — пробормотал Сапар Мередович, хотя был не уверен, что попал хорошо, а проверять было некогда. «Газик» нагонял уже второго джейрана. И опять у Сапара Мередовича не хватило выдержки, и он поспешил выстрелить. Второму

джейрану выстрел отнял переднюю ногу, но он продолжал бежать по-прежнему быстро, а перебитая нога болталась под животом, как плеть. Пробежав метров сорок на трех ногах, подранок свалился.

— Бери того! — крикнул Сапар Мередович, дулом ружья указывая на третьего, молодого джейранчика с яркой, почти оранжевой шерстью. — Загоняй, загоняй его…

— Подождите вы стрелять, — огрызнулся Реджеп.

— Ладно! Гони!..

Машина шла на одной скорости с джейранчиком, постепенно и боком приближаясь к нему. Вот он уже совсем близко: видна его тонкая, вытянутая в безумном усилии шея и круглый, косящий, темно-вишневый глаз. Затем маленькая голова на вытянутой шее начала клониться книзу, движения ног замедлились. Джейран «загорался». Неодолимая сила притягивала его голову к земле — верный признак того, что силы покидают животное.

Теперь автомобиль ехал наравне с джейраном, в двух шагах от него. Джейран уже вяло перебирал ногами, голова его безнадежно опустилась. Готов! Стоит ткнуть его дулом под ребра, и он тут

же испустит дух. Сапар Мередович аккуратно прицелился, выстрелил. Джейран подогнул передние ноги и покорно и мягко, точно только и ждал этого, покатился, чертя мордой, по земле.

Охотники вдруг заметили, что такыр кончился и впереди желтеют пески. Два передовых джейрана уже ныряли в барханах, в спасительном отдалении. Сапар Мередович засуетился, выстрелил и, конечно, не попал. Пришлось повернуть назад. Оранжевый джейранчик был убит наповал. Реджеп положил его на заднее сиденье, где был разостлан брезент. Первый джейран, подстреленный с большого расстояния, еще дергался и хрипел, выдувая из рта кровяную пену, и Реджеп прикончил его и тоже положил в машину. Исчез только второй джейран, подранок с перебитой ногой — по-видимому, ушел в пески.

Пока Реджеп свежевал добычу, Сапар Мередович занялся приготовлением ужина: разостлал на земле небольшой коврик, достал из походного баула бутылку коньяку, две стопки, кастрюлю с кусками холодной баранины, хлеб, лук, пучок редиса и поллитровую стеклянную банку, наполненную паюсной икрой, которую привез ему в подарок один земляк с гассанкулийского побережья.

Руки Сапара Мередовича дрожали от недавнего возбуждения и голода. Не дожидаясь Реджепа, он глотнул коньяку и с жадностью принялся за баранину, круто посоленную, липкую от застывшего сала; не успев прожевать мясо, совал в рот редиску, обмакивая ее вместо соли в банку с икрой и, сделав вдох облегчения, вновь опрокидывал в рот коньяк, чувствуя, как ободряющий жар охватывает тело. Вскоре и Реджеп подсел к коврику.

Покончив с едой, охотники легли отдыхать.

Ночью охота должна была возобновиться. Правда, Реджеп, осмелев от коньяка, начал было уговаривать Сапара Мередовича удовольствоваться дневной добычей и повернуть к дому. Он даже высказал сомнение в том, хватит ли им бензина для ночных блужданий, и напомнил, что жена Сапара Мередовича умоляла их именем детей не охотиться ночью. Однако Сапар Мередович разгадал за этими доводами обычную Реджепову лень и желание поспать лишних два часа. Он сурово сказал, что только ради ночной охоты он и поехал в пустыню, и велел разбудить себя ровно в полночь. А слушаться женщин в делах, касающихся мужчин, сказал он, — великая глупость.

Завернувшись в плащ, накрывшись ковриком

и подсунув баульчик под голову, Сапар Мередович очень скоро заснул. Реджеп улегся рядом с начальником. Он видел, как из-за темного барханообразного живота Сапара Ме-редовича выползали в сумеречное небо звезды. Они были неяркие по-вечернему и мерцали робко: свет их то исчезал в сиреневом тускнеющем сумраке, то опять возгорался. Реджеп боялся спать, зная, что наверняка проспит полночь, и тогда начальник страшно рассердится.

И вот он лежал и слушал оживающую к ночи пустыню — какие-то шорохи, шелесты, похрустывания — и думал о всякой всячине. Он думал о том, что вентиляторный ремень истрепался: менять надо, пропади он совсем, и о том, что детей пора отправлять в лагерь в Чули, и сегодня следовало бы съездить в областной центр, купить детям летнюю обувь и кое-что из белья, чтобы не были хуже других, а он вместо этого проводит воскресенье в пустых забавах. С обидой подумал он о том, что его приятели-шоферы спят сейчас в теплых домах, а он, наломавшись за день, точно это и не воскресенье было, а будний день, должен зябнуть на такыре и, не смыкая глаз, сторожить полночь. И какой шайтан придумал эту охоту на джейранов? Правильно, что запретили ее зако-

ном. Очень правильно, пропади она совсем!

Потом он стал думать о том, что лето запоздало, слишком долго стояли прохладные дни, и что для людей это хорошо, а для хлопка худо. И что лучше было бы наоборот. Потому что, если будет хорошо для хлопка, то и людям в конце концов будет хорошо.

И так он думал о разных вещах, пока не пробрал его ночной холод. Тогда он встал и вынул из-под сиденья машины коротенькую истертую кошомку. Он был худ и очень долговяз, и поэтому кошомка укрывала что-нибудь одно: спину или ноги. «Это хорошо», — подумал он. Если он укроется весь, то, наверное, заснет в тепле и проспит полночь, и начальник утром страшно рассердится.

Долго крепился Реджеп и все же не удержался и задремал перед самой полночью. Проспал он минут пятнадцать, а может быть, двадцать, и увидел, как громадный самосвал, выскочив на повороте арчманского шоссе, проломил ему левый борт, опрокинул и потащил, словно щепку, колесами вверх…

Сапар Мередович тряс Реджепа за плечо.

— Какой же ты человек неверный, Реджеп! Можно ли иметь с тобой дело?

Реджеп вскочил, дрожа от озноба. Протер кулаками глаза. Роскошная звездная ночь цвела над такыром.

Выпив для бодрости стопку коньяку, Реджеп сел за руль. И ночная охота началась. Сапар Мередович стоял рядом с шофером, держа в руках специально приспособленную автомобильную фару: главное оружие ночной охоты. Сапару Мередовичу очень нравилось стоять в машине; он сам себе казался похожим на джигита, летящего на резвом ахалтекинце. А какая темнота вокруг! Едешь неизвестно куда, точно в пропасть. Вай, замечательное дело! И умник, должно быть, был тот человек, который придумал ночную охоту с фарами!

«Газик» ехал не быстро, но и не очень медленно. Как раз так, чтобы Сапар Мередович получал наибольшее удовольствие: не раздражаясь на медленность и не слишком опасаясь быстроты. Луч автомобильной фары скользил по такыру, за одно мгновение обшаривая огромное пространство. Он был щупальцами и приманкой одновременно. Глупый джейран всегда попадается на эту простую уловку: лишь бы они заметили друг друга, джейран и охотник. После часа бесплодного кружения по такыру Сапар Мередович

радостно вскрикнул: «Есть шашлык!»

На конце луча, метрах в ста от машины, засветилась крохотная посеребренная фигурка. Джейран стоял как вкопанный. Он смотрел на удивительный свет, возникший из темноты и медленно приближавшийся в сопровождении странного шума… Любопытство сковало его. Теперь уж он будет стоять, глазея с дурацким интересом на фару, до последней своей минуты.

«Газик» тихо катился ему навстречу. Реджеп прибавлял обороты, заставляя мотор реветь что есть мочи и распаляя тем самым любопытство джейрана. Так охотники приблизились к своей жертве на расстояние плевка. Шерсть джейрана, видимая до малейшей шерстинки, казалась седой под электрическим светом; стройные и тонкие, как тростник, ноги были широко расставлены, и выглядел он поразительно спокойным. Его изящно поднятая мордочка и круглые немигающие глаза выражали наивное изумление — и только.

И из-под брюха его, склонив голову набок, выглядывал длинноногий, как паучок, ягненок.

Реджеп осторожно взял из рук начальника фару. Сапар Мередович поднял дробовик и выстрелил в джейрана в упор.

Таким же образом Сапар Мередович застре-

лил до рассвета еще двух джейранов. На этом решили кончить. Реджеп развернул изрядно потяжелевшую машину, и охотники помчались домой, на юг.

Водянисто-зеленый, словно плохо заваренный кок-чай, вставал над пустыней рассвет понедельника. Шофер и начальник ехали молча. Сапар Мередович зевал, поеживался и с удовольствием раздумывал о том, что он будет делать с добычей. Три тушки отдаст жене в хозяйство, одну подарит Давлету Курбановичу… А пятую? Сапар Мередович искоса взглянул на худое, обтянутое фиолетово-черной, эфиопской кожей лицо Реджепа. По справедливости, одного джейранчика надо бы отдать шоферу. Только Реджеп не стоит того. Во-первых, он уговаривал вернуться домой, значит, он не заинтересован в добыче. Во-вторых, ему и так неплохо живется. Должен быть счастлив тем, что работает на чистой работе, а не трясется в грузовике по сельским дорогам и не возит камни с карьера.

Сапар Мередович еще раз подозрительно взглянул на Реджепа и, прочитав на его сонном, равнодушном лице полное отсутствие каких-либо претензий или желаний, кроме единственного желания — спать, отвернулся успокоенный.

Пятого джейранчика надо подарить Клычу Аманычу, председателю райисполкома. Это будет правильно.

Сапар Мередович был вполне удовлетворен охотой. Пять джейранов — отлично! И, главное, пустыня не обманула его надежд. Тревог и сомнений как не бывало. Все остается по-прежнему. Ни единая звездочка не сдвинулась со своего места в необъятном пустынном небе, вечном небе, которое он помнит с детства.

Хорошее настроение не могли омрачить даже мысли о предстоящей неделе с ее нудными заботами, сидением в душном кабинете и необходимостью постоянно что-то писать, решать, о чем-то совещаться под жужжание вентилятора. Один из ревизоров (тот самый, что мелькнул метеором) требовал принятия срочных мер по коренному улучшению лекционной работы. Сапар Мередович привык к тому, что от него всегда требуют не просто улучшения, а коренного улучшения. Надо будет поработать. Мобилизовать актив. Самому прочитать пару-тройку лекций на предприятиях и в колхозах. Что поделаешь! Жизнь состоит не из одних удовольствий.

…Солнце уже поднялось высоко. Стало жарко.

Когда подъехали со стороны такыра к колодцу

Кзыл-Кятта, Сапар Мередович заметил в тени колодезного домика знакомый мотоцикл с коляской, выкрашенный в яркий маково-красный цвет. Это был мотоцикл Ага НПяза, областного инспектора по делам охоты.

Сапар Мередович велел Реджепу остановиться. Ему захотелось повидать старого приятеля Ага Нияза — вот уж кто по достоинству оценит джейранчиков!

Подходя к дому, он еще издали услышал несколько возбужденных голосов, говоривших наперебой. В темной комнате с низким потолком и земляным полом стояли трое мужчин: грузный, седеющий, с багровым лицом Ага Нияз в своем куцем холщовом костюмчике и с полевой сумкой через плечо, какой-то старый чабан и незнакомый молодой парень в ковбойке и белой соломенной шляпе. И еще — босоногий мальчишка лет двенадцати, который стоял рядом с чабаном, вцепившись пальцами в его грязный халат.

Все эти люди замолчали и оглянулись на дверь, когда вошел Сапар Мередович.

— Где, где он тут? — весело, с начальственной фамильярностью заговорил Сапар Мередович с порога. — Где начальник над всеми джейранами,

фазанами и песчаными кошками, старый басмач Ага Нияз?.. — и, подойдя к Ага Ниязу, дружески шлепнул его по спине.

— Салам, Сапар Мередович, салам! Кургум… — хриплым и быстрым говорком отозвался Ага Нияз, обеими руками пожимая руку Сапара Мередовича.

— Как живешь, старый басмач? Все водку пьешь, а? В песках жена не видит, а? — и Сапар Мередович подмигнул незнакомцам.

— Не пью, Сапар Мередович, некогда. Познакомьтесь, — Ага Нияз повернулся к молодому парню в ковбойке. — Это товарищ Мередов, наша райкультура…

«Зачем рекламировать?» — удивился Сапар Мередович и с некоторым беспокойством взглянул на молодого человека. Тот назвал себя:

— Хангельдыев.

Ладно, пусть Хангельдыев. Ни о чем не говорит.

Чабан, стоявший в стороне, выглядел отщепенцем. Опираясь на ружье, он угрюмо смотрел в раскрытую дверь на волю, где слепил глаза пылающий, накаленный солнцем песок. Мальчишка с челкой на лбу, обозначавшей особую родительскую любовь, испуганно выглядывал

из-за его спины.

— Ну! Штраф платить будешь? — грозно двигая бровями, обратился к чабану Ага Нияз.

— Я не стрелял, начальник. В песках его нашел… — пробормотал чабан.

— В песках нашел! Джейран — черепаха, что ли?

— Правда, начальник. Подбитый был, умирал…. Не знаю, кто стрелял…

— «Не знаю, кто стрелял!» — повторил Ага Нияз, с презрением передразнивая грубый выговор чабана. — А это кто стрелял — тоже не знаешь?

Ага Нияз подошел к лежащему в углу джейрану (Сапар Мередович только теперь заметил это) и ударом ноги перевернул мертвую голову, мотнувшуюся на тонкой, тряпичной шее. Морда джейрана была запачкана темной кровью, над ухом чернела ружейная рана.

— Правда, я, — ответил чабан, — застрелил его, чтоб не мучился. Все равно волку достался бы!..

— В общем, плати штраф. Охотпродукцию мы отбираем согласно закону.

Чабан покачал головой. Его темное, иссеченное морщинами и плоское, как такыр, лицо выражало упорное недоумение. Он нагнулся, вытер нос полою халата и вновь встал в прежнюю позу,

обхватив руками свое старое кустарное ружье с граненым стволом.

— Не будешь платить?

— Йок, — цокнул языком чабан. — Кто стрелял, не знаю. Зачем буду платить?

Сапар Мередович уже успел сообразить, в чем дело. Этот жалкий охотник нашел в песках раненого джейрана, — верно, того подранка, которого они упустили вчера вечером, прикончил его и подобрал. В другое время Сапар Мередович мог бы пожалеть чабана и попросту объяснись все Ага Ниязу, но сейчас он чуял опасность в этом незнакомце Хангельдыеве, да и сам Ага Нияз вел себя как-то неестественно строго и придирчиво. Поэтому Сапар Мередович счел за благо промолчать.

Ага Нияз гневно кричал на чабана, называя его обманщиком и нарушителем закона, обвинял его в хищническом истреблении джейранов и угрожал передать дело в суд, если чабан не уплатит штрафа. Он совал ему под нос только что нацарапанный акт и требовал, чтобы старик подписал бумагу. Старый чабан растерялся от этих угроз и криков. Он твердил одно: «Я не знаю, начальник», — и бормотал что-то насчет сына, который приехал к нему на летнее время из аула,

хорошо умеет читать и, может быть, поймет, что написано в бумаге. Он стал подталкивать вперед мальчишку, но тот заплакал, уткнувшись лицом в отцовский халат.

Хангельдыев молча наблюдал за этой сценой.

И вдруг глаза старика загорелись, и он закричал неожиданно высоким, бабьим голосом, обращаясь к Сапару Мередовичу и почему-то ища у него сочувствия:

— Скажи, человек, правильно так: чабан не охотился — и чабан штраф плати, а начальник из города приедет, настреляет полный грузовик — и штрафа не боится. В пустыне закона нет, что ли?

— Кто, кто стрелял? Кто? — скороговоркой выпалил Ага Нияз.

— Зачем обманывать, скажи? Чабан совсем глупый, не понимает, что ли? — кричал старик, протягивая к Сапару Мередовичу худую руку со сжатыми пальцами и отчаянно тряся ею. — Пускай начальник штраф платит, а я ничего не буду платить! Я в город пойду. Клыч Аманычу буду жаловаться! У меня сын в школе учится, тоже может бумагу написать…

Сапар Мередович тупо и холодно смотрел на раскричавшегося старика, обдумывая, как бы поскорее избавиться от этого ненужного разговора.

Но тут спокойно заговорил Хангельдыев:

— Помолчи, отец. Если ты не охотился, никто тебя не заставит платить штраф. Сейчас посмотрим, кто его подстрелил. — Хангельдыев подошел к убитому джейрану, но, прежде чем наклониться к нему, сказал, глядя на чабана с улыбкой: — А насчет закона ты не волнуйся, отец. Я тебе обещаю, что никакой начальник и никакой чабан больше не смогут охотиться безнаказанно.

Став на одно колено, Хангельдыев принялся изучать перебитую ногу джейрана, а Сапар Мередович решил, что сейчас самое время уйти, не прощаясь.

— Черт знает!.. Безобразие… — сердито пробормотал Сапар Мередович, хотя непонятно было: на что он мог рассердиться. Он вышел из дома и быстрым шагом направился к машине. Реджеп спал, положив голову на руки, а руками обняв руль.

— Дома будешь спать, — встряхнул его Сапар Мередович. — Поехали!

Не успел «газик» тронуться, как из дома выбежал Ага Нияз и торопливо подскочил к кабине. Взгляд его скользнул по груде убитых джейранов, чуть прикрытых брезентом. Нагнувшись к уху Сапара Мередовича, он зашептал:

— Сапар Мередович, хотел тебя попросить… Нет ли в городе какой работы для меня? Я ведь теперь не инспектор.

Сапар Мередович смотрел на него, ничего не понимая.

— С первого числа… Это я сейчас нового инспектора вожу, знакомлю… Очень тебя прошу…

— Да? — Сапар Мередович помолчал. — А новый кто такой?

— Да вот… этот, — Ага Нияз кисло скривил губы, — С дипломом. А я думаю: рука у него в Ашхабаде.

Сапар Мередович только теперь заметил, как Ага Нияз сдал, осунулся, глаза его, воспаленные от долгой жизни в песках и пристрастия к спиртному, болезненно помутнели. Сапар Мередович почувствовал нечто вроде сожаления к Ага Ниязу, но в действительности это была инстинктивная, мгновенная жалость к самому себе. Он рассеянно обещал посодействовать насчет работы.

Машина поехала, и колодец Кзыл-Кятта скрылся за облаком густой пыли, Сапар Мередович обдумывал новость.

1956

• ДОКТОР, СТУДЕНТ И МИТЯ

I

В один из апрельских дней со станции К. выехал легковой автомобильчик ГАЗ-67, а попросту «козел», взяв направление на север, в глубь пустыни. В машине, кроме шофера, ехали доктор Ляхов, возвращавшийся в свою экспедицию после двухнедельной отлучки, и московский студент-энтомолог Бочарников, который по болезни отстал от своих в К. и, случайно познакомившись с доктором, напросился в попутчики — их экспедиции оказались соседями.

На полдороге между колодцами Чотур и Керпели машину захватил дождь. Было три часа дня, но сразу стемнело, как в сумерках. Сильный восточный ветер, дувший уже вторые сутки, бросал в кабину волны холодных дождевых капель, и Ляхов, который сидел рядом с шофером и оказался, таким образом, на наветренной стороне, очень скоро и основательно вымок.

— И это называется пустыня… Безводье, пекло, черт побери… — ворчал Ляхов, кутаясь в коротенький летний плащ. — Какого дьявола вы

сняли боковины? Я же предупреждал вас, что снимать боковины рано. Считаете себя старожилом и вечно попадаете впросак со своими прогнозами.

Это замечание относилось к шоферу Мите, с которым у Ляхова произошел крупный спор в К. из-за брезентовых боковин на машине. Митя предсказывал наступление в ближайшие дни настоящей каракумской жары, когда в закрытой машине невозможно будет проехать и километра, и в конце концов настоял на своем и снял боковины.

Борис Иванович Ляхов, худощавый, начинающий лысеть кудрявый блондин с узким и нервным, красноватым от загара лицом, казался старше своих тридцати лет. Он работал в Туркмении всего лишь второй год, но любил изображать из себя бывалого каракумца, щеголял мест-ними словечками и усвоил манеру со всеми и обо всем разговаривать ворчливо-поучительным тоном. Ему казалось, что такой тон придает солидности.

— Я ведь предупреждал, что этот ветер кончится плохо. Всегда надо слушаться, когда говорят, — бубнил он, уткнувшись носом в сырой воротник плаща. — Нелепо, что я был прав и я же первый мокну, как цуцик…

— Садитесь за баранку, Борис Иваныч. Хотите?

— Ладно уж, езжайте, не отвлекайтесь!

— Я не отвлекаюсь…

— И не спорьте никогда, если не знаете.

— А я и не спорю.

— Нынешняя весна в самом деле поразительна обилием влаги! — раздался с заднего сиденья тонкий голос Бочарникова. Студент умиротворял споры Ляхова и Мити тем, что переводил их из житейской плоскости в научную.

— По старому восточному летосчислению, существуют «год барана», «год змеи», «год коня» и так далее, всего двенадцать лет. Нынешний год считается «годом рыбы» и должен быть, следовательно, очень дождлив. Так оно и есть, как видите.

— Мне от этого не легче, — пробормотал Ляхов и, помолчав, добавил угрюмо: — Я не рыба.

Студент, толстый, румяный юноша в лыжном костюме бордового цвета, чем-то смутно раздражал Ляхова. Может быть, своим всезнайством, своей академической деликатностью, от которой Ляхов давно отвык, или тем, что он все время делал какие-то записи в тетрадке и обнаруживал радостный интерес ко всему окружающему, в то время как Ляхову было лень даже просто смотреть по сторонам. Еще в первый день знакомства

Ляхов решил, что энтомолог ограничен и Недалек, как многие «заучившиеся» молодые люди. Он говорил только о своей профессии и выражался таким напыщенным языком, что Ляхов не мог слушать его без улыбки.

— Небезызвестный Мальпиги, — говорил он, например, с важным видом, — сказал однажды крылатую фразу: «Нет такого растения, нет такого органа на растении, который не был бы способен к восприятию галла...»

Он занимался изучением галлов, странных бородавок. на растениях, создаваемых насекомыми, и был убежден в том, что история этих бородавок представляет волнующий интерес для всего человечества. Словом, Ляхову попался на редкость скучный попутчик. Полчаса они вяло беседовали, затем Ляхов начал вздыхать, зевать и наконец решительно замолчал.

Сумеречное небо и бурые от влаги барханы, однообразно убегающие в обе стороны до горизонта, запах бензина, тряска — все это нагоняло сон, и Ляхов действительно вскоре услышал за спиной похрапывание студента. Он и сам бы мог подремать, если б не холод. Внутрь кабины нахлестало воды, и на полу образовалась лужа, поэтому Ляхов сидел в неудобной позе, сгорбив-

шись и упираясь приподнятыми и согнутыми в коленях ногами в стенку кабины. Когда машину встряхивало на ухабе, ноги его соскальзывали и падали в мокрое, и Ляхов брезгливо чертыхался. «Как приедем на место, что-нибудь приму. Водки выпить, что ли, — подумал Ляхов. — Еще пневмонию тут заработаешь».

Мысль о пневмонии напомнила ему о том, что из Ашхабада до сих пор не прислали обещанной партии пенициллина, а железнодорожная К-ская поликлиника делится медикаментами очень скупо, каждую мелочь приходится выпрашивать слезно или со скандалами. Этим выпрашиванием он и занимался все дни своей командировки.

Доктор вспомнил о том, как он приехал в Туркмению, ехал без радости, по воле «распределения», но все же с некоторой надеждой. Он надеялся заняться какой-нибудь областью эпидемиологии, пописывать статьи в «Медицинский журнал» (это звучит солидно: «Д-р Ляхов, Кара-Кумы») и готовить потихоньку диссертацию. Однако бесконечные разъезды, вакцинации, тысячи административных забот так утомляли доктора, что ни на какую научную деятельность не оставалось ни сил, ни времени. И сама жизнь в пустыне оказалась тяжелей, чем он думал. До

сих пор большая часть его душевных сил уходила на то, чтобы ежедневно, ежечасно примиряться с пустыней, с ее убогим бытом, неустроенностью, одиночеством.

В Туркмению Ляхов приехал с молодой женой. Она была пианисткой, не бог весть какой, довольно слабенькой пианисткой, но она окончила училище в Москве и намеревалась преподавать. Однако в поселке, где они жили, музыкальной школы не было, а перевестись в Небит-Даг или Красноводск Ляхов не мог. Вероника плохо переносила жару и отсутствие овощей. Ляхову что? Он мог жить на одних консервах и луке. Луку здесь было вдоволь. Но Вероника страдала без картошки (картошку привозили армяне из Баку морским путем, и Она была очень дорогая на рынке), и без музыки, и без речки, и, главное, без дела. И вообще она переоценивала себя, когда согласилась отправиться с мужем в пустыню. Полгода назад Вероника уехала в Москву к родителям, и это было похоже на разрыв…

— Вот и шор Керпели, — произнес после долгого молчания Митя.

Машина выбежала на широкое гладкое пространство, похожее на дно обмелевшего озера, — это был солончак, по-местному «шор».

Справа и слева возвышались высокие песчаные гряды. Почва шора была странного розового цвета, окрашенная выходами солей. Эта розовая земля тянулась впереди до самого горизонта, постепенно теряя свой цвет и сливаясь вдали с мглистым сереющим небом.

Через полчаса «газик» остановился возле двух низеньких глинобитных домиков с плоскими крышами. Керпели — обычный пустынный колодец. Все голо вокруг, растительность выбита скотом, который сгоняют сюда на водопой. Домики возле колодца — это своеобразная гостиница пустыни, где ночуют пастухи и путешественники, и под ветхой крышей всегда можно найти кизячное топливо, клочья старых газет, завалявшиеся в мусоре кусочки сахара и одного-двух скорпиончиков, прилепившихся к притолоке.

Сейчас в домиках никого, по-видимому, не было, зато метрах в ста от колодца белело несколько палаток. Грузовик с брезентовым пологом мок под дождем, обмытые крылья его поблескивали. В кабине, обняв руль, спал шофер.

— Мелиораторы с Дарганжика, — сказал Митя и заглянул в кабину. — Хотя парень какой-то незнакомый…

На шум мотора из палаток вышли двое: один

— приземистый, бритоголовый, с круглым, опухшим, как бы мешковатым лицом, на котором терялись узкие глазки, узкогубый рот, нос пуговкой и сразу заметны были лишь оттопыренные уши, придававшие лицу выражение настороженности, и другой — худощавый рябой старичок в очках с железной оправой. Человек с оттопыренными ушами оказался начальником мелиоративной партии Петуховым.

— Куда путь держите, дорогие гости? — вежливо спросил он, когда приехавшие вошли в палатку и, сняв с себя мокрые плащи и телогрейки, уселись по-туркменски на кошмы. В палатке сидел еще третий мужчина, смуглый мрачноватый туркмен, и листал какие-то бумаги при свете керосиновой лампы.

Ляхов сказал, что они едут на Ясхан и рассчитывают приехать на место завтра в полдень.

— Боюсь, что не попадете, — сказал Петухов. — Дорога — гроб. Денек обождать надо.

— Нет, нет! — воскликнул Ляхов. — Это невозможно! Я должен быть именно завтра, и не позже.

— У меня, товарищ, у самого машина стоит за продуктами ехать, и вот не решаюсь. Теперь шор непроезжий, чистое болото.

— Но мы ведь как-то к вам проехали? — сказал студент, вопросительно улыбаясь и мигая красными заспанными глазами.

— Сегодня, товарищ, одно дело, а завтра — совсем другое. К завтрему окончательно развезет. Да вам еще Узбой переезжать, а в Узбое вода. Конечно, дело хозяйское. — Петухов пожал плечами. — Я только предупреждаю по-товарищески.

Ляхов вскочил на ноги, отвернул полог палатки, выставил зачем-то руку под дождь и снова сел на кошму.

— Ну, что будем делать, Митя?

Митя, несмотря на свою молодость, считался одним из лучших каракумских шоферов-следопытов. Он был местный уроженец, бахарденский, и в армии служил здесь же, на иранской границе, и по-туркменски говорил так же хорошо, как по-русски.

Митя поднес ко рту костлявый кулак, кашлянул солидно и сказал:

— Я думаю, Борис Иваныч, в Керпелях все одно ночевать прядется. А завтра поглядим.

II

Бочарников ушел спать в соседнюю палатку, а Митя шепнул Ляхову, что у него есть тут знакомая

повариха, и тоже исчез.

В палатке было зябко, накурено, чадила лампа, подвешенная на проволоке к потолку, и пахло сладким керосиновым дымом и сырой обувью. Дробно, разгонисто стучал по брезенту дождь. Вошла женщина в ватнике, в сером платке, скрывавшем лицо так, что виден был лишь острый нос и некрасиво поджатые обветренные губы. Очевидно, это была повариха, и к тому же сердитая. Она поставила на кошму чайник и молча вышла. Петухов принялся разливать кипяток в пиалы. Все придвинулись к чайнику: Петухов, старичок в очках, Ляхов и туркмен, отложивший свои бумаги в сторону.

— Она и ничего! — проговорил старичок, улыбаясь и потирая руки. На руках у него были надеты старые, засаленные перчатки с дырявыми пальцами. — Как туркменцы говорят: пиала выпьешь — два часа думать будешь, еще пиала выпьешь — еще два часа думать будешь.

Некоторое время все молчали, и только слышно было, как шумно, с прихлебыванием пьется чай и хрустит сахар. Потом Петухов спросил:

— А вы, товарищ, кто будете?

— Я врач, — сказал Ляхов.

Снова молчание. Старичок снял очки, за-

потевшие от чайного пара, протер их полой парусиновой куртки, надетой поверх ватника, и сказал, продолжая улыбаться:

— У нас, слава богу, все здоровеньки.

— Не жалуемся, — сказал Петухов. — Народ подобрался исключительно здоровый.

— Что ж, прекрасно, — сказал Ляхов.

Мрачноватый туркмен вновь взялся листать бумаги. По-видимому, он был начальством, потому что и Петухов и старичок обращались к нему почтительно, в каждой фразе именуя его по имени-отчеству — Караш Алиевич.

Они говорили о каком-то геодезисте Савченко, который задержался в поле и без которого Карашу Алиевичу было трудно разобраться в делах. Ляхов понял, что Караш Алиевич был здесь в качестве ревизора или, может быть, в качестве третейского судьи и сейчас выражал недовольство отсутствием геодезиста.

— Когда Савченко должен был вернуться? — спросил туркмен.

— Сегодня утром ждали, — сказал Петухов. — Он на дальнем ключе работает, километров пятнадцать отсюда.

— Почему машину за ним не послали?

— Никак нельзя, Караш Алиевич, — вздохнул

Петухов. — Через шор машину пускать нельзя, не имею права рисковать. Вот какое дело-то…

— Ждать надо, — сказал старичок.

После минутного молчания Петухов заговорил негромко и осторожно:

— Вы говорите: он сильный геодезист. Согласен, сильный. Пусть работает в другой партии, я ведь не возражаю…

— Надоело, Караш Алиевич! Окончательно надоело наблюдать его нетактичное поведение! — запальчиво и тоже вполголоса проговорил старичок. — Сил нет! Он всех шельмует, всех грязью обливает, а сам семейственность развел, и ты ему слова не скажи…

— Какую семейственность?

— А как же! Женился на Зарковской, нашем геоботанике. Еще осенью расписался, в Небит-Даге.

Караш Алиевич усмехнулся вскользь:

— Ну, это называется не семейственность развел, а семью завел…

Мелиораторы разговаривали между собой, не обращая на Ляхова никакого внимания. Потом старичок, придвинувшись к нему, сообщил доверительно:

— Это у нас тип один проявился, очень неприятный. Вот и разбираем по-товарищески, вы уж

извините!

— Пожалуйста, пожалуйста! — кивнул Ляхов. — Разбирайте. Я спать лягу.

Он вышел из палатки, чтобы взять спальный мешок и свой докторский чемоданчик из машины. На воле было совсем темно, дождь лил по-прежнему. Из дальней, невидимой в сумерках палатки доносился невнятный говор и пиликанье тюйдука — туркменской дудочки. «Какое одиночество! — вдруг подумал Ляхов, остановившись под дождем и оглядываясь с чувством внезапной, необъяснимой тревоги. — Ведь эта тьма, безмолвие на сотни верст вокруг и ни одного звука, кроме шума дождя и этой унылой дудки…»

Он поспешно вернулся в палатку, расстелил мешок на брезентовом полу, снял намокшие башмаки и, не раздеваясь дальше, залез в свою тесную дорожную постель. Как всегда в таких поездках, он страдал от чувства физического неудобства и нечистоты и, чтобы избавиться от этого чувства, старался поскорее заснуть. Но сделать это было нелегко. Мелиораторы возбужденно разговаривали о делах, потом в палатку пришла худенькая молодая женщина с длинным восточным носом и, сильно жестикулируя, очень нервно и зло

начала ругать Петухова за то, что он не послал куда-то машину. Петухов оправдывался, старичок в чем-то обвинял женщину, а Караш Алиевич пытался всех успокоить и примирить, но его никто не слушал. Потом женщина неожиданно исчезла, а мелиораторы продолжали жужжать…

Ляхов не слушал их, думая о своем.

Он думал о том, что уже скоро месяц, как от Вероники нет писем. Ах, не надо было привозить ее сюда! Первый раз она уехала, когда началась летняя жара, второй раз — зимой, когда разыгрались бураны, ухудшилось снабжение и вообще ей стало тоскливо в этом милом городишке, где имелось только три развлечения: чайхана, баня и железнодорожный клуб. И третий раз она уехала осенью, и, по-видимому, навсегда. Что ж, у других это выясняется десятилетием, а ему повезло — чем раньше, тем безболезненней. Ему замечательно повезло, если подумать трезво…

Но Ляхов не мог заставить себя думать трезво. Он ворочался с боку на бок, насколько это позволял мешок, пахнущий дезинфекцией, потом выкурил несколько папирос, чтобы успокоиться, и понемногу задремал.

Среди ночи его разбудили громкие голоса. В палатке появился кто-то новый, большой, в гро-

моздком плаще и грязных сырых сапогах. Лица его Ляхов не видел. Человек был очень высок и стоял горбясь, так что голос его глухо уходил в землю.

Мелиораторы говорили все вместе, и понять их было трудно. Пронзительно и остро звучал голос женщины с длинным восточным носом; она цеплялась за рукав громоздкого плаща и тянула его к выходу. А плащ отмахивался, из брезентовых недр его гудел голос:

— Я пустыни не боюсь… Меня никакая хворь не берет…

— Спать идите, отдыхайте, товарищ Савченко, — говорил Караш Алиевич.

— Я только сусликов ненавижу и разных гадов ползучих…

— Вы конкретно говорите! — выкрикивал из угла старичок.

— Вася, завтра! Завтра, я тебя прошу! — умоляла женщина. — Двадцать километров отшагал, ведь ты сумасшедший.

— Они чего хотят, суслики? — гудел плащ. — Чтоб я в другую партию ушел, или вовсе из экспедиции, или как-нибудь иначе рот мне заткнуть. Потому я их насквозь понял и каждую их махинацию вижу. Я их на мелкую воду выведу…

Голос Савченко звучал тяжело и глухо, точно бубен, и Ляхову представлялось, что лицо человека с таким голосом должно быть угрюмым, серым, с каменными скулами. Но когда Савченко повернулся, Ляхов увидел совсем незлое лицо молодого парня, очень светлые и нагловатые глаза, мягкий мальчишеский рот.

Смешно вел себя старичок в железных очках. Он больше всех нервничал— то подымался с кошмы, то вставал на колени, то садился, и непрерывно с возмущением качал головой, вздыхал и охал вполголоса: «Ой нахал, ой нахал…» Петухов сидел неподвижно, засунув руки в карманы ватных брюк, и исподлобья следил за Савченко. Тот вдруг начал кашлять и кашлял долго, усердно, и когда он утих, наступила пауза. Ляхов чиркнул спичкой, закуривая.

— Какой же вы человек грубый, ай, боже мой! — сказал старичок шепотом. — Видите, чужой человек отдыхает, а вы шум подняли, безобразие…

— Правду говорю, чего стесняться, — хрипло сказал Савченко. — Люди душу кладут, ишачат, как дьяволы, а суслика м что? Суслики только рубли грызут. Рубль в пустыне длинный. И за дальность, и за климат, и полевые — ишь руб-

лище какой!

— За слова ответите, ответите за слова, — торопливо проговорил Петухов, делая рукой успокоительный жест. — Люди разберутся. Все ваши чудеса налицо: и хулиганство, и пьянство, и семейственность ваша прелестная…

— Ты жену не трогай, — тихо сказал Савченко. — Татьяна тебе худого слова не сказала. Она в стороне, и ее не трогай, понял?

— А все равно не имеете права. Оттого все склоки и есть, что семейственность. Да, да! — запальчиво затараторил старичок. — Потому она хоть молчком-молчком, а всегда мужа поддержит. И муж то же самое. Вы, к примеру, со мной в поле не ходите, чтоб меня уязвить, и планшеты свои уклоняетесь мне показывать, а ей — всегда пожалуйста. Это как называть?

Разговор затягивался и принимал тот бессмысленный и тоскливый характер, какой возникает, когда сталкиваются давние, зачерствевшие в своей вражде и непримиримые противники. Ляхов наблюдал за бровями Караша Алиевича: они то всползали высоко на лоб, то медленно опускались, то начинали вдруг трепетать, как будто охваченные волнением. Это было забавно — смотреть только на брови…

Наконец женщина ушла, и за ней ушел Савченко.

Оставшиеся продолжали разговор, понизив голоса. Петухов достал бутылку водки, разлил в те же пиалки, из которых пили чай.

— Ах, боже мой! Перед чужими людьми за такого арапа стыдно, — громко, чтобы услышал Ляхов, сказал старичок и зацокал языком.

Ляхов повернулся к стене. Его начал одолевать сон. «Странные люди, — думал он в полудремоте. — Вокруг пустыня, мрак, безлюдье на сотни верст, а они ругаются, интригуют, точно в коммунальной квартире. Зачем? Люди не должны жить в разлуках. Это ужасно, когда нет писем, Так можно бог знает до чего дойти...»

III

Когда Ляхов утром проснулся, дождя уже не было. Теплый туман стоял над барханами. Небо оставалось облачным, без солнца, но за этой ровной и белой, как пар, завесой облаков уже чувствовалась незримая пока голубизна. Митя сказал, что к полудню небо очистится и станет жарко. Воодушевленный улучшением погоды, Ляхов собрался ехать тотчас после завтрака, но Петухов несколько охладил его пыл.

— Советую денек у нас перебыть, пока подсохнет. Сядете в Узбое, кто вытаскивать будет?

— Нет, не могу. Я и так опаздываю, — сказал Ляхов, помедлив. — Наш водитель знает окружной путь. Верно, Митрий?

— Найдем, Борис Иванович! Как пташки долетим. В то лето я здесь профессора Редькина возил. Только вот чего… — Митя понизил голос и повернулся к Ляхову, хотя вопрос его должен был относиться к Петухову и Петухов стоял рядом. — Нам бы, Борис Иванович, литриков тридцать бензинчику признанять, тогда, аллах с ним, можно и кружным попытать.

— Вы нам одолжите, товарищ Петухов? — строго спросил Ляхов.

— Рад бы! — Петухов развел руками. — Сам сижу на мели. Я же говорил: в К. надо посылать за горючим. С удовольствием бы…

— Я вам напишу расписку, в любое время получите на нашей базе. А? Ведь тридцать литров — пустяк, — продолжал Ляхов настойчиво. — Мы в пустыне, товарищ Петухов, учтите этот момент.

— Да что ж, я не понимаю? Ясно…

Петухов сморщил лицо, точно от кислого, и с ожесточением заскреб затылок. В другое время

он, не колеблясь, сразу бы отказал в просьбе, тем более что у него действительно было худо с бензином, но сейчас он колебался, потому что ему не хотелось перед доктором, который слышал неприятный для Петухова ночной разговор, выглядеть скверным, скупым человеком. И все же он вздохнул с решимостью и сказал:

— Нет, товарищ. К сожалению, даже пяти литров вам не дам. Не имею права. Представьте, сегодня опять польет, значит, я через шор не проеду. А бензин я жгу, каждый день людей в поле отправляю. Что же я им скажу, если послезавтра ни бензина, ни хлеба не окажется?

— Доезжайте до Куртыша, там геофизики стоят. У них бензину залейся, — посоветовал Караш Алиевич. — Сто километров отсюда.

— Некогда мне по пустыне ездить попрошайничать, — сказал Ляхов сердито. — Ладно, обойдемся. Но вы, товарищ Петухов, поступаете не так, как следовало бы истинному каракумцу.

— Позвольте! Но я же объясняю, товарищ… — забормотал Петухов, и оттопыренные уши его налились краской. — Я же с радостью… Не имею права, абсолютно не имею. Я вам предлагаю: оставайтесь, будьте гостями!

— Нет! — отрезал Ляхов. — Мы едем, Благода-

рим за приют, и всего хорошего.

И он решительно направился к машине.

Люди петуховской партии тоже готовились к отъезду в поле. Молодые туркмены-рабочие, одетые в одинаковые казенные ватники щавелевого цвета, складывали в кузов грузовика треногу, ящик с теодолитом, ручной бур, обмотанный тряпкой, и что-то съестное в корзине, а потом полезли в кузов сами. За ними влезли старичок в железных очках, две женщины, какой-то молодой черномазый парень в спортивной куртке и последним Савченко — без шапки, взлохмаченный, бледный, но улыбающийся.

Ляхов подошел к своему «козлу». Студент уже сидел на месте, что-то жевал и тут же предложил Ляхову сухарик.

— Спасибо, я не ем всухомятку, — пробормотал Ляхов хмуро. Он заметил, что студент переменил рубашку, побрился, и это почему-то ему не понравилось.

— Как спали? — спросил он, сев впереди, спиной к студенту.

— Благодарю вас. Я всегда хорошо сплю в путешествиях. Это, так сказать, счастливое свойство моего организма…

— Как спал, Митя? — спросил Ляхов тем же

тоном, как бы подчеркивая, что вопрос его был обращен к другому.

— Нормально, Борис Иванович.

— Как повариха?

Митя самодовольно хмыкнул;

— Порядок…

Ляхов знал, что Митя отчаянный хвастун, и понял, что никакого «порядка» не произошло, потому что иначе Митя не ограничился бы одним словом, а завел бы туманный и многозначительный рассказ, которого хватило бы километров на десять. Начинать день с уличения Мити во лжи Ляхову не хотелось, и вообще с утра ему было лень разговаривать.

— А я спал неважно, — сказал он, зевая. — У меня в палатке черт те что, всю ночь кричали…

Машина тронулась. Впереди по раскатанной дороге ехал петуховский грузовик, потом он свернул вправо и пополз медленно и валко по барханам. Люди в кузове сидели рядком. Грузовик кренился, и они все вместе качались то в одну сторону, то в другую. Издали они производили впечатление очень дружной компании. Старичок в железных очках все время кивал доктору, как будто прощался со старым знакомым, и помахивал рукой в перчатке. Вскоре и грузовик и

домики колодца исчезли из виду.

День постепенно светлел. После дождя ехать было легко, сыроватая колея пружинила, и Митя все время поддавал газку. Студент кончил грызть свои сухари. Ляхов слышал, как он тщательно вытер рот бумагой, потом скомкал ее и выбросил.

— Так-с… — студент вздохнул, — О чем же, интересно, кричали в вашей палатке?

Ляхов ответил не сразу.

— Не знаю. Меня это мало интересовало.

— У них тут вообще склоки громадные, — сказал Митя. — Народ капризный попался, вот и бунтуют один с одним.

— А без этого скучно. Все-таки развлечение — поругаться, подраться, рапорт на кого написать, Верно, Митя? — сказал Ляхов насмешливо.

Митя пожал плечами.

— Кто его знает? Мне ни к чему, Борис Иваныч… После паузы студент заговорил с неожиданной серьезностью:

— Странное дело! Ведь вся соль комплексных экспедиций, подобных этой мелиоративной, состоит в том, что изыскатели выходят в поле вместе. Геодезист, почвовед, геоботаник, мелиоратор — все вместе, комплексом. Но если почвовед дуется на геоботаника, а геодезист не показывает

своих планшетов почвоведу, и каждый работает сам для себя, тогда что ж получается? Чепуха какая-то!

— У них начальник хитрован большой. Петухов самый. У, хитрован! — сказал Митя. — Из-за него вся склока идет. Такой хитрован — дай боже.

— Да ты-то, Митя, откуда знаешь? — спросил Ляхов.

— Знаю я. У него шофер работал Кульмамед, так он его осенью уволил, а он мой корешок, бахарденский. Он мне и рассказывал. Как вышло-то? Они тогда возле Кум-Дага стояли. Там место живое, не то что здесь, глухота. Там и вышки, и рабочих-нефтяников много, и шоссе на Небит-Даг. Кульмамед часто в Небит-Даг ездил. Ну и подвозил, конечно, то рабочих, то туркмен на рынок, то еще кого. Левачка, одним словом. Ну, а тот стал с него требовать. И не как-нибудь, а прямо за горлец прихватил, — и Митя для наглядности взял себя за кадык двумя пальцами. — Как ездку сделал, так полтинник отдай.

— Почему полтинник? — спросил студент удивленно.

— Пятьдесят рублей, одним словом. Кульмамед сперва давал, а потом — все. Тем более и выручки не стало, четвертак в день от силы. Кому же инте-

ресно? Ну, и он его уволил. Придрался к чему-то и уволил. Он его, конечно, боялся, потому что он его все дела знал.

Ляхов, усмехнувшись, передразнил:

— Он ему, он его... Рассказывать ты, Митя, мастер.

— Нет, Борис Иваныч, верно: хитрован жуткий. У него вообще шофера не держатся. Сейчас, гляжу, опять парень новый.

— Черт знает что! — с возмущением произнес студент, и слышно было, как он заерзал на сиденье. — Почему же ваш Кульмамед не заявил об этом куда следует? Ведь такого жулика в тюрьму надо!

— Это понятно, почему не заявил, — сказал Ляхов.

— А потом другое: поди докажи, — сказал Митя и, поджав губы, сделал выразительное движение шеей, обозначавшее: вот ведь что, никак нельзя.

Однако студент не унимался.

— Нет, товарищи, это безобразие! — говорил он с горячностью. — Научную работу возглавляет какой-то случайный малограмотный тип и к тому же — жулик! Я встретил здесь знакомую по университету, Таню Зарковскую, она сейчас Савченко по мужу. Она уговаривает мужа

перевестись в другую партию, потому что нет возможности серьезно работать. Петухов подобрал себе подходящую компанию; почвовед-старикашка — полный профан…

— Ох, он комичный, старикашка этот! — сказал Митя, засмеявшись. — Ему бы кладовщиком где или в канцелярии по-тихому, а он в пустыню погнался. Жадный, дьявол. Я спрашиваю: «Не тяжело, говорю, в ваши годы песочки мерить?»— «Ничего, говорит, приспособился. Одно, говорит, плохо — женскому полу недохватка». Комичный!

Студент и Митя поносили Петухова, а заодно и старикашку в два голоса, и Ляхов в душе соглашался с ними, но ему неприятно было, что он не сумел раскусить Петухова так быстро, как они, и теперь вынужден молча слушать и выглядеть человеком недалеким и отнюдь не психологом. Поэтому, воспользовавшись паузой, он проговорил с нарочитой небрежностью:

— Некрасиво, товарищи! Он вас приютил, ночевать оставил, а вы его так поливаете. Неэтично, я бы сказал.

— Меня не он приютил, — резко ответил студент, — я у практикантов ночевал. А сегодня утром я прямо сказал Петухову: я, говорю, воз-

мущен вашим бесчеловечным поступком с Савченко. Ведь он нарочно не послал за ним машины, чтобы Савченко не встретился с этим туркменом из штаба!

— Вы думаете, вы его напугали? — иронически спросил Ляхов.

— Что? Я не собирался его пугать, я сказал то, что думаю.

— Ну, а какой толк? Что-нибудь изменится?

Наступило минутное молчание. Студент как будто растерялся, а когда он заговорил, голос его звучал негромко и примирительно:

— Да, мы боремся не только с пустыней, но и с людьми вроде Петухова, с карьеристами, рвачами, которые приехали сюда за наживой. Это гораздо труднее. И я, может быть, не гожусь для этой борьбы. Но Савченко годится. И рано или поздно он выворотит этого проходимца, как гнилой пень, вот увидите.

Ляхову вспомнились светлые, абсолютно бесстрашные и нагловатые глаза Савченко, его упорно гудящий голос и сырой землистый запах дождя, который исходил от его плаща и сапог. Ему хотелось бы возразить студенту, но он чувствовал, что студент прав, а он, Ляхов, оказался невнимательным и равнодушным зрителем. Он

ничего не ответил и стал думать о лагере, о делах, которые ждали его на медпункте, и эти мысли ввергли его в состояние привычной полутревожной озабоченности. Поглядывая на часы, он торопил Митю: к вечеру надо было прибыть в Ясхан.

Митя вдруг сказал:

— А я у них одной баночкой все же разжился, литри-ков десять.

— Как разжился? — спросил Ляхов.

— Да у шофера попросил по-свойски, пока вы Петухову мораль читали. Парень хороший попался, не то что этот жмот, начальник.

— Это неплохо, Митя, что вы взяли бензин, — помолчав, сказал Ляхов. — Но, я думаю, Петухов вовсе не жмот. У него есть другие недостатки, но он не жмот. В другое время он дал бы мне и сто литров, я уверен.

Он нарочно произнес последнюю фразу с особенным ударением. Ему хотелось дать понять Мите и, главное, сидевшему сзади студенту, что нельзя так грубо и однобоко, по первому впечатлению судить о людях, и что он, Ляхов, все-таки больший психолог, чем они. Однако студент никак не отозвался на тонкую диверсию Ляхова, а Митя проговорил с неожиданной злобой:

— Тридцать литров пожалел, зараза! Разве начальник шофера понимает? Ему ведь не сидеть где-нибудь на такыре или на шоре без бензина. Он в палатке сидит. А шофер — загорай себе с пустым баком как знаешь. Шофер, конечно, всегда шофера поймет.

— Ну не болтайте, пожалуйста, глупостей, — сказал Ляхов, хмурясь. — Взял бензин, и хорошо. А болтать нечего…

— А чего болтать-то? Жмот он, жмот и есть.

— Ну хорошо! Вас ведь не переспоришь.

— Я не спорю, я правильно говорю…

Развлекаясь такой беседой, они продолжали быстро двигаться к западу. К середине дня небо очистилось, и полдневное солнце принялось за свою работу. Стало жарко. Все сняли с себя сначала плащи, потом телогрейки и остались наконец в одних рубашках.

Барханы быстро высыхали. Темный, грязно-бурый цвет, который они приняли под дождем, сменился яично-желтым. Пустыня обретала привычные краски: солнечная охра песков и пылающая синька неба. Распрямились прибитые дождем травы, и сразу стало заметно, как много в весенней пустыне цветов: пурпурные пятна маков, сиреневые гроздья кзыл-казалыка, скромные

желтенькие цветочки, похожие на лютик, — поля, поля эфемеров. В низинках, на солнцепеке, багрово краснел сочный ревень, распластанный на плоских и широких, как у лопуха, лаковых листьях.

И с приходом солнца сразу оживилась вся жизнь в песках. То и дело, испуганные шумом мотора, выскакивали из своих норок суслики и песчанки, обалдело мчались перед машиной, вихляясь то вправо, то влево, и вдруг бесследно проваливались под землю. На голом песке зачертили пунктирчики крохотные ящерки, тоненькие, как спички, а ящерицы побольше осмеливались даже наблюдать за людьми, застыв в боевой позе с закрученным вверх хвостом. Порхали трясогузки в траве, и вдали от дороги на гребне бархана возвышался изваянием черный степной орел, — он совсем был бы похож на камень, если бы не маленькая голова, которая чуть приметно, с надменной опасливостью поворачивалась вслед машине.

Теперь часто останавливались: мотор перегревался на солнце, и его следовало охлаждать время от времени. Все выходили из машины, наслаждаясь внезапной тишиной. Слышно было лишь, как шумит вода в радиаторе да посвистывают птицы.

И вдруг чувствовалось, как знойно в воздухе.

Во время одной из таких остановок решили сделать привал и пообедать. Митя расстелил на бугорке свой плащ клетчатой подкладкой наружу, выложил завернутый в газету хлеб, банку крабов, несколько луковиц и два огромных малосольных огурца, величиной с небольшие кабачки. Доктор поставил фляжку с водкой.

Пока Митя, орудуя складным ножом, приготовлял закуску, студент предложил доктору сфотографироваться. Тот встал на барханчик и, насупившись, уставился в объектив.

— Чудесный фон — весенняя пустыня! — говорил студент, оглядываясь вокруг с блаженной улыбкой. — И не верится, что вся эта зелень сгорит через месяц дотла. Вы чувствуете, как пахнет цветущий страгал?

Ляхов потянул носом, но не услышал ничего, кроме душного запаха полыни.

— Слегка напоминает ландыш. Очень тонкий запах, — сказал студент. — Вообще растения здесь пахнут еле слышно, большинство людей не слышит этих запахов.

Во время еды Митя принялся расспрашивать студента о змеях, фалангах и скорпионах, чьи укусы вреднее и как их надо лечить, на что тот

отвечал охотно и очень обстоятельно.

— Словом, я никогда не слышал достоверного факта смерти от укуса фаланги или скорпиона, — заключил он неожиданно.

Это заявление показалось Ляхову обидным, так же как и то уважительное внимание, с каким Митя слушал студента.

— То, что вы не слышали, еще ни о чем не говорит, — сказал он. — Вы здесь без году неделю, а я знаю десятки случаев.

— Сомневаюсь, — сказал студент, улыбаясь.

— Мало что вы сомневаетесь! — вспыхнул Ляхов. — Вы знаете пустыню по книжкам, а я тут живу. Она у меня вот где! — он хлопнул себя по шее. — Хорошо быть туристом и разглядывать пустыню в объектив ФЭДа, это замечательно!

Ляхов вдруг отчетливо понял происхождение своей неприязни к студенту: его мучила зависть. Он завидовал спокойствию, благовоспитанности, нежному юношескому румянцу этого молодого человека, но, главное, он завидовал тому, что студент был свободен и в любое время мог уехать в Ашхабад, а через сутки оказаться в Москве, на Внуковском аэродроме. Желая еще чем-то уколоть студента и вызвать к нему Митино пренебрежение, он сказал насмешливо:

— Какой же вы путешественник, дорогой мой, если водку пить не умеете?

— Я умею, — сказал студент. — Только не получаю от нее удовольствия.

— Это значит— счастливый человек, — сказал Митя, вздохнув. — Лучше нет если ей не пить, проклятой…

Сам он уже выпил два стаканчика и, часто моргая покрасневшими веками, с наслаждением хрупал огурцом. Ляхов, тоже выпивший рюмку, подлил себе еще на донышко, лихо опрокинул и закашлялся. Внезапно ему стали противны и водка, которую он не любил и всегда пил через силу, и свое нелепое, смешное бахвальство.

Стараясь не глядеть на студента и Митю, он поднялся и, продолжая кашлять, направился к машине и сел на место. Минуты через три поехали.

…И вновь побежали справа и слева пятнистые, желто-зеленые грядовые пески, зашмыгали суслики из-под колес, и так же одиноко торчал на далеком гребне степной орел — соглядатай пустыни. Солнце переместилось на левую сторону, знойная синева у горизонта полиловела. Вместе с ветром в машину влетал душный, дурманящий запах полыни, и Ляхов, сморенный этим запахом,

жарой и рюмкой водки, начал дремать.

IV

Через час Митя увидел на горизонте облако пыли и быстро приближающуюся автомашину. Это был старый, помятый, серый от пыли порожний грузовик, громыхавший на ходу всеми своими цепями и разболтанными бортами. Когда он поравнялся с «козлом», обе машины, по обычаю пустыни, затормозили. Из кабины грузовика выпрыгнул маленький горбоносый шоферишка в майке, взмокшей от пота.

Митя вышел ему навстречу.

— Куда едешь? — спросил шофер с восточным акцентом, глядя на Митю круглыми вороньими глазами. Он взял протянутую Митей папиросу и жадно закурил.

— На Ясхан.

— Э, далеко! Туда утром ГАЗ-63 прошел, я его встретил, Слушай, а на Куртыш-Баба я верно еду?

— Верно. Жми по моему следу до Керпелей, а там одна дорога. Куда так торопишься-то?

— Слушай, не тороплюсь я! — горбоносый шофер махнул рукой и выругался нервно. — Я из Баку вообще. Вербованный. Вторую неделю в песках…

— А! — сказал Митя. — Не привык, значит?

— В том и дело. Едешь, едешь всю дорогу — ни души живой, ни дерева, прямо жутко вообще…

Он опять выругался, глядя на Митю с жадной и заискивающей улыбкой, точно ожидая от него чего-то. Митя понял, что маленький шофер охвачен необыкновенным страхом, и почувствовал необходимость ободрить его.

— Так… Из Баку, говоришь? Сам-то кто: азербайджанец или армянин, что ли?

— Армянин я.

— Так. Ничего, парень, привыкнешь. Это всегда поначалу, — сказал Митя покровительственно.

Горбоносый шофер пробормотал тоскливо:

— Дороги нету, едешь по следу — вот чего здесь плохо. Заблудиться легко, слушай.

— Свободная вещь, — согласился Митя.

— Потерял след — и до свиданья… Так ведь? — дрожащим голосом спросил шофер.

— Точно, точно, — закивал Митя. — Ну ладно! Будь здоров, парень. Надо ехать.

Горбоносому шоферу ужасно не хотелось прощаться. Он взял у Мити еще одну папироску. Потом отсыпал несколько спичек себе в коробок, потом стал просить «литриков хоть десять бензинчику». Митя, пожалев его, отлил ему

полбанки, которую сам выклянчил в Керпелях; при этом он нравоучительно говорил о том, что «шофер всегда должен шофера понимать, тем более находящийся в данных условиях пустыни Кара-Кум». Горбоносый шофер сел в кабину с напряженным, почти отчаянным лицом, включил скорость со скрежетом и сразу дал сильный газ. Грузовик взревел, рванул, как подхлестнутый, и в одно мгновение исчез за барханом.

«Газик» тронулся в другую дорогу. Теперь ехали вдоль Узбоя. Старое русло лежало в высоких песчаных берегах, заросших поверху сухим и блеклым пустынным кустарником, черкезом и эфедрой, а понизу — тростником. Изредка попадались рощицы саксаула с корявыми и пыльными, обглоданными солнцем веточками. Дно Узбоя было залито водой, оставшейся после дождя и окрашенной в красноватый цвет.

Первый переезд через Узбой прошел благополучно: Митя включил переднюю ось и на большой скорости, с треском ломая тростник, пробился по вязкой почве на противоположный берег. Ляхов только сопел и отплевывался, закрывая лицо от комочков грязи, которые вылетали фонтаном из-под колес.

Остался второй, наиболее опасный переезд — у

колодца Декча. До него, по Митиным расчетам, было не меньше семидесяти километров.

День между тем уже склонялся к вечеру. Жара спадала. Небо оставалось ясным и голубым только в зените, на востоке оно уже тускнело, подернутое дымкой, а западный край неба золотисто светлел.

Автомобильная колея свернула в сторону от Узбоя, в пески. Эту часть дороги (тут-то и начинался кружной путь) Митя, очевидно, знал неважно. Несколько раз, когда дорога неожиданно ветвилась, он тормозил у развилки, выходил из машины и подолгу вглядывался в автомобильные следы, определяя, куда ехать.

Ляхов забеспокоился.

— Может, не туда взяли, — а, Митя? Правильно едем?

— Доедем, Борис Иванович! Как пташки долетим! — отвечал Митя с небрежной уверенностью, которая казалась доктору напускной и потому подозрительной. Он искоса поглядывал на Митю, замечая, каким сосредоточенным сделалось его лицо, и видел, что Митя едет сейчас скорее по догадке, чем по твердому знанию.

Дорога снова разветвилась, и Митя остановил машину и выпрыгнул на землю. Студент тоже

вышел из машины, сладко потянулся и сделал два приседания, разминая затекшие ноги.

— Левее надо брать, по-моему, — сказал он, зевая.

Митя не ответил. Он разглядывал дорогу, низко нагнувшись к земле, потому что уже смеркалось и стало плохо видно.

— Левее, левее. Непременно левее, — повторил студент.

— А вы-то откуда знаете? Из каких путеводителей? — спросил Ляхов из кабины.

— Я предполагаю. Все-таки я второй сезон в пустыню езжу. Правда, в этих именно местах я впервые, но у меня такое ощущение, что нам не следует удаляться от Узбоя.

Ляхов промолчал, удивленный известием о том, что студент вовсе не новичок в пустыне. Тем временем Митя нашел какой-то свежий след от грузовика ГАЗ-63 и по расположению отпечатанного на песке узора покрышек определил, что машина шла в направлении на Ясхан. Уверившись в том, что неизвестный грузовик и есть тот самый, о котором говорил горбоносый шофер, Митя решил держаться этого следа и поехал направо.

— Точно, точно! Он и есть! — приговаривал он,

убеждая спутников и главным образом самого себя. — След свежий, после дождя один такой, — он и есть, больше некому.

Еще полчаса ехали песками, а затем газовский след пошел по такыру.

— А такырчик-то совсем сухой, дождя тут не было, — сказал Митя неопределенным тоном, не уточняя, хорошо это или плохо.

Однако Ляхов понял вскоре, что это плохо. На ровной и твердой, как асфальт, поверхности сухого такыра, где автомобильная колея почти незаметна, след можно было легко потерять. Ляхов, как ни вглядывался, не видел впереди ничего похожего на след автомобиля, хотя Митя уверенно гнал машину вперед.

Начало быстро темнеть, померкла светлая полоса на западе, и в синем, густеющем небе заблистали первые звезды. Ляхов и Митя давно уже надели телогрейки, а студент лыжную куртку, но все равно им было холодно и делалось все холоднее. Теперь, когда стемнело, Митя часто останавливал машину и подолгу отыскивал след, нагибаясь так низко, точно он нюхал землю. Иногда он уходил далеко и всегда возвращался бегом.

Проехали еще километров десять, но Узбоя не

было и в помине. Длительное молчание нарушил Ляхов.

— Кажется, заблудились, — сказал он полувопросительно.

Митя промолчал. Он включил фары, и вокруг сразу стало черным-черно, точно в один миг наступила ночь. Ляхов закурил папиросу, потом прижег от нее вторую, как он это делал обычно, и отдал Мите.

— Мы едем по фальшивому следу, — сказал Ляхов, — и можем приехать куда угодно, в Ташауз или в Куня-Ургенч, но только не в Ясхан. — Проявляя хладнокровие, Ляхов сделал паузу, затянулся табачным дымом и продолжал: — Но, к сожалению, мы не приедем ни в Ташауз, ни в Куня-Ургенч, потому что у нас нет бензина.

— Еще не известно, — мрачно сказал Митя.

— Вам не известно, а мне известно. Как вы думаете, профессор, что нам следует делать? — обратился Ляхов к студенту, который молча сидел сзади и что-то жевал. — Дайте-ка мне сухарь!

— Я думаю, надо вернуться назад, — сказал студент, протягивая Ляхову кулек с сухарями. — К тому месту, где я советовал ехать влево.

— Вернуться? А ты как считаешь, Митя?

Митя не ответил. Ляхов надкусил сухарь и тут

же сунул его в карман.

— Сколько мы проехали после Узбоя? — спросил Ляхов.

Митя осветил спичкой спидометр.

— Восемьдесят два.

— Ну, ясно! — Ляхов напряженно рассмеялся. — Совершенно ясно. Мы едем по фальшивому следу. Да и есть ли вообще след? Был ли мальчик? Может, мальчика и не было? Вы посмотрите внимательней: может быть, мы едем по пустому такыру. Остановите-ка, посмотрите, посмотрите!

Митя, не отвечая, продолжал гнать машину вперед.

— След есть, — сказал он после долгого молчания.

Ляхов заерзал на сиденье, как будто собираясь вспылить, но сказал с неожиданным безразличием:

— А, делайте, что хотите! Я буду спать. — И он действительно запахнулся в свой плащик и поднял воротник. — Но имейте в виду: как бы там ни было, а утром я должен быть в Ясхане. Это непременно.

«Газик» продолжал ехать, окруженный тьмой, по зябкой, ныряющей световой дорожке, которую он сам прокладывал перед собой и которая

казалась от этого еще более зыбкой, еще более призрачной. И снова Митя останавливался, выскакивал из машины, куда-то бежал, что-то вынюхивал и возвращался, запыхавшись, и гнал дальше. Такыр кончился, опять пошли барханы, заросшие кустарником. Маленькие кустики черкеза, низкорослые саксаульники, выхваченные из темноты фарами, были похожи на толстые комли каких-то огромных деревьев, вершины которых терялись во мраке. Казалось, что машина идет через лес.

Но это была пустыня.

И Ляхову, который вовсе не хотел, да и не мог бы заснуть, вспомнились разные неприятные истории, связанные с пустыней. Один из геологов рассказывал, как он однажды потерялся в Кызыл-Кумах, плутал два дня. Когда дополз до людей, выпил, — клялся, что не преувеличивает, — ведро воды. В прошлом году где-то севернее Бала-Ишема погибли два инженера и шофер, тоже заблудились на машине и погибли от жажды. Самое странное было то, что в радиаторе машины, когда их нашли, оказалась вода. Почему ее не выпили — непонятно. Вероятно, надеялись, что смогут найти дорогу и доехать. Про какую-то девушку рассказывали недавно — тоже заблуди-

лась, причем совсем близко от лагеря. Когда ее нашли, вся кожа на ее лице была в морщинах и складках, как у старушки…

От этих воспоминаний у Ляхова пересохло в горле и невольно захотелось пить. Он пытался отбросить от себя зловещие мысли. «Все это не имеет к нам отношения, — думал он сердито. — Бензин у нас есть, воды полный челек. Бояться нечего. Хуже всего, что опаздываю в лагерь». И, однако, чем больше он себя успокаивал, тем тревожнее становилось у него на душе. Бензин пока есть и воды пока полный челек. А если они проплутают еще сутки или двое? Ведь это может случиться. Черт возьми, и надо же было этому простофиле послушаться какого-то перепуганного шоферишки с его грузовиком! Да почудился ему этот грузовик, галлюцинировал на почве страха, вот и все. Мог и мираж быть, ничего удивительного. В прошлом году один шофер разогнался на такыре и вдруг увидел прямо перед носом деревья, рощицу туранги и затормозил резко. Машина кувырком, а шофер — насмерть. Из-за невинного миражика. А этот олух еще одалживал ему бензин.

Ляхову хотелось изругать Митю последними словами, но он сдерживал себя, понимая, что, как

бы там ни было, сейчас вся надежда на Митю, на его опыт, сообразительность и шоферский инстинкт. Студент между тем заснул. Ляхов слышал за спиной его мерное посапывание. Оно казалось Ляхову возмутительным. Нарочно громким голосом он сказал:

— Митя, а если в самом деле вернуться к тому месту и поехать влево?

— К которому месту? — отрывисто и довольно грубо спросил Митя.

— Вот к тому, где тебе говорили — налево.

— Кто говорил — налево?

— Кто, кто! — передразнил Ляхов нервно. — Да вот то место, где ты остановился, не зная куда ехать, поехал направо, а тебе говорили — налево. После Узбоя — ну?!

Митя помолчал некоторое время, потом сказал спокойно:

— Разве его найдешь теперь, то место? Теперь уже куда кривая вывезет.

Ляхов, пораженный откровенностью этого ответа, почувствовал, будто внутри у него все обдало холодом.

— Просто безобразие… — сказал он ослабшим голосом.

После этого он умолк надолго. Митя, несмотря

ни на что, продолжал упорно ехать по следу, который он отыскивал вновь и вновь, то и дело останавливая машину. Кустики начали постепенно редеть и скоро совсем исчезли из полосы света. Машина шла по голым барханам. С каждым метром она двигалась все тяжелей, колеса буксовали на подъеме, со свистом прокручиваясь на песке, и наконец движение прекратилось. Митя потянул на себя ручку демультипликатора, включив переднюю ось: мотор взревел, и «газик», протащившись еще несколько метров, стал окончательно.

Митя дал задний ход и попробовал взять бархан с разгона — безуспешно. После третьей попытки он выключил мотор, съехал бесшумно вниз, вылез из машины и стал откручивать привязанные к борту узкие деревянные бревна — «шалманы», без которых ни один шофер в пустыне не отправляется в путь. Все это он делал быстро и ловко, и хотя Ляхов не видел в темноте его лица, но догадывался, что оно выражает сейчас злую спокойную сосредоточенность. Сам же Ляхов как-то обмяк и утратил всякое желание и волю действовать. Когда Митя попросил его выйти из кабины, он покорно вышел и встал возле машины, горбясь от холода.

— Что такое? Сели? — хрипло спросил проснувшийся студент и соскочил на землю. — Ну шалманить, так шал-манить!

Митя включил мотор, и «газик» пополз в гору; студент подкладывал «шалманы» под колеса, потом стал толкать машину руками. Ляхов тоже принялся подталкивать сзади. Студент и Митя отрывисто переговаривались между собой, мотор ревел, со свистом вылетал из-под колес песок, а Ляхов, машинально упираясь плечом в кузов машины, со странным чувством отчуждения думал! «Зачем эти страдания? Почему надо влезть именно на этот бархан? А что дальше— разве кто-нибудь знает?»

После первого бархана таким же образом пришлось форсировать второй и третий, пятый, десятый… Это был бешеный, изнуряющий труд, то самое знаменитое каракумское «шалманство», о котором Ляхов часто слышал, но которого ему, по счастливому случаю, еще ни разу не пришлось испытать. Он обессилел вконец, ноги его подгибались и скользили по песку; он уже не толкал машину, а просто лежал на ней, опираясь на нее всем телом, чтоб не упасть. Митя и студент возились в темноте с «шалманами», совещались, спорили, кричали друг на друга азартными голо-

сами, и студент командовал, когда приходилось раскачивать машину: «А-а!.. Два-а!.. Взяли!»

Прошло больше часа, пока наконец миновали небольшую косу голых барханов метров сто шириной. Дорога опять пошла по заросшим пескам, и все трое, измученные, взопревшие, сели в машину, и «газик» двинулся своим ходом. От усталости никому не хотелось разговаривать, но все думали об одном: насколько приятней все же ехать в машине, чем толкать ее руками! Великое изобретение — автомобиль! Они блаженствовали.

У Ляхова слипались глаза, но он крепился, а Митя начал уже клевать носом. Как только его одолевала дремота, он, повинуясь инстинкту, машинально убавлял газ, и движение замедлялось. Его толкал локтем доктор или будил неожиданно глохнувший мотор, и Митя, встряхиваясь, кряхтел сладко и шумно. Как и прежде, он часто выходил из машины, отыскивая след. Но иногда «газик» довольно долго полз со скоростью пяти километров в час, Ляхов не замечал этого, обуреваемый своими мыслями, и Митя дремал безмятежно.

Во время одной остановки Митя ушел вперед и долго не возвращался. Студент и Ляхов тоже вы-

шли из машины. Ночь была в зените. Светящееся, рябое от звезд небо низко висело над черными барханами.

— Дмитрий Васильевич! — позвал студент.

Митя не откликался. Минуты через две он появился в полосе света и крикнул издали, махнув рукой:

— Всё! Приехали.

— Как приехали? — спросил Ляхов.

— Лагерь тут какой-то был, стоянка. Чуть подале…

Митя подошел к машине и выключил зажигание. Стало тихо.

— То есть мы приехали в чей-то покинутый лагерь? — спросил студент.

— Так точно, — сказал Митя и, сев на корточки возле машины, стал доставать что-то из-под сиденья, гремя инструментом.

— Ну? — сказал Ляхов после паузы. — И что же?

— А ничего. Спать будем, завтра дальше поедем.

Пройдя немного вперед, Ляхов попытался разглядеть при свете фар какие-нибудь следы оставленного жилья, но увидел лишь обычный микроскопический пейзаж пустыни: муаровый

песок, редкие кустики на нем, отбрасывающие гигантские тени, и несколько головок маков, казавшихся сейчас черными. А дальше все было скрыто темнотой.

Он вернулся к машине и в изнеможении сел на подножку. Ни возмущаться, ни ругать Митю, ни что-то советовать у него не было сил.

— Кому нравится в машине, а я на воле буду спать, — сказал Митя и, достав из-под сиденья кусок юртового войлока, бросил его на землю. Ему, собственно, не так уж нравилось спать на воле, но в машине трое не улеглись бы. Отвязав и, вытащив с заднего сиденья маленькую туркменскую бочку — «челек», Митя налил воды в чайник. Студент тем временем, ползая на корточках в темноте, ломал саксаульные ветки для костра и сносил их в одно место, на свет фар.

Из темноты доносился его голос:

— Жители пустыни предпочитают путешествовать ночью, когда силы велики, звезды высокие, вода недорога, а песок крепче. Но они к тому же очень педантичны и никогда не отклоняются от привычной караванной тропы. Это осторожность, выработанная веками.

«Господи, какой недалекий человек! — думал Ляхов апатично. — Болтает, болтает, точно на

экскурсии в Сокольниках. Что-то в нем есть шизоидное».

Митя и студент начали спорить о том, как действовать завтра: студент предлагал вернуться к Узбою, а Митя клялся, что он возил кружным путем профессора Редькина и если где и сбился с дороги, так только на такыре. С упрямством твердил он, что все время ехал правильно, только на такыре оплошал. Ляхов не вступал в спор, и никто не интересовался его мнением.

Разожгли костер. Сухой саксаульник разом взялся огнем, пламя пыхнуло и взметнулось, потом уже запахло дымом. Все сели вокруг огня в ожидании, пока закипит чайник. Студент вывалил на газету сухари, на которые Митя набросился с жадностью, и оглушающе захрустел. Доктор теперь тоже не отказывался от сухарей, он был голоден, а у них с Митей не осталось ничего, кроме водки и чая.

V

Чуть брезжил рассвет, когда Митя вскочил на ноги. Его взбодрил холод. Земля была еще теплая, в низинках между барханами по-ночному густел сумрак, и только небо зеленовато светилось, и в нем, как крупицы льда в воде, истаивали звезды.

Бегом, чтобы согреться, Митя бросился осматривать окрестность. Он понимал, что не увидит ничего радостного, но все же надеялся на что-то. Отбежав довольно далеко от машины, он сделал широкий круг по барханам. Никаких следов — ни машины, ни человека, ни верблюда.

Барханы, барханы…

Однообразные фиолетовые горбы холодного песка. Однообразные полулуния с западной стороны и мощный покатый склон с восточной. Однообразная игра ветра. Жалкая растительность: хвостики илака — песчаной осоки, полузадушенные веточки черкеза, торчащие кое-где из песка. Это и есть пустыня. Ее царство. Ее мертвое торжество.

Когда Митя вернулся к машине, студент сидел на подножке и, кривя рот, ожесточенно тер щеки и лоб ваткой, смоченной одеколоном. В нескольких шагах от него стоял Ляхов с насупленным, синюшным от холода лицом и делал руками какие-то вялые взмахи, изображавшие утреннюю гимнастику.

— С добрым утречком! Как спалось? — громко, с преувеличенной бодростью сказал Митя.

— Слушайте, где же лагерь? — спросил Ляхов. — Я что-то никаких следов не обнаружил.

— Да я соврал насчет лагеря, Борис Иваныч. Чтобы вы не расстраивались на ночь глядя.

Митя произнес это очень спокойно, а Ляхов ошеломленно замер в середине упражнения, с раскинутыми в стороны руками. Несколько мгновений он напоминал фигуру распятого Христа, потом руки его беспомощно опустились.

— Значит, что же такое… просто-напросто…

— Я виноват, Борис Иваныч! Я, я, я! — Митя ударил себя в грудь. — Режьте, бейте меня. Что же теперь делать? Сейчас будем мотор прогревать…

Он подошел к машине, вытащил заводную ручку и начал возиться с мотором. Студент молчал. По-видимому, он знал или догадался о том, что для Ляхова оказалось новостью.

Все трое понимали: положение серьезное. Наиболее правильным, вероятно, было бы податься назад по своему же следу, но это удлинит путешествие еще на сутки, сожрет дефицитный бензин и заставит возвращаться в Керпели к Петухову. Кроме того, никому не улыбалась перспектива вновь «шалманить» на том же месте. Митя предлагал более рискованный план: ехать сейчас к западу — там барханы пониже и легче будет проехать, а затем при первой возможности поворачивать на юг, круто на юг. Узбой остался

на юге. Надо ехать к Узбою.

— Как, Борис Иваныч? Согласны? — спросил Митя.

— Пожалуйста. — Ляхов, кисло усмехнувшись, пожал плечами. — Я уже ничего не понимаю.

— Ясно одно, — сказал студент, — ехать надо сейчас же, пока не наступила жара.

Подуло ветром— в нем была свежесть утра и неизбежная песчаная пыль. Вершины барханов дымились. Ветер выгонял из них тоненькую желтоватую струйку песка, и они были похожи на небольшие вулканчики. Все сели в машину, прячась от ветра. Доктор отхлебывал из кружки холодный чай, и на зубах его хрустел песок.

— Где-то за холмом должны быть цветы. Море цветов… — говорил студент, высовываясь из машины и шумно втягивая в себя воздух. В его голосе слышалась тоска по этому морю цветов, которое он оставлял. — Запах лилейных — вы чувствуете? Когда их много, они пахнут мощно и сладко…

Помолчав, он сказал:

— Всегда грустно расставаться с местом, где ночевал или провел несколько часов. Даже вот с этой бедной котловиной, с этим костром, с запахом цветов из-за холма. Здесь остается что-то

мое, неповторимое… у вас нет такого чувства?

— У меня нет, — сказал Ляхов, сжав зубы, и после паузы добавил: — Странный вы человек, ей-богу! Сейчас надо думать, как выбираться из этой бедной котловины и вообще доехать живыми. А вы…

— Живы будем — не помрем! — отозвался Митя весело— Будь уверен, Борис Иваныч, как пташки долетим.

— Это я уже слышал, — пробормотал Ляхов.

Небо стремительно алело на востоке, но западный край неба, который путники видели перед собой из машины, еще туманился сумеречной синевой. Но сумрак быстро редел и там, и небо прояснялось и голубело, голубело, точно промываемое ветром. Вспыхнули кустики, подожженные первыми лучами, багряно засветился песок на вершинах, и Митины затылок и уши залило вдруг алым светом, хлынувшим из-за спины. Теперь, ныряя с бархана на бархан, машина то попадала в прохладную тень, то, вылетая на гребень, вся озарялась красным, пламенеющим светом. В воздухе потеплело.

Вскоре Митя повернул машину на юг. Барханы стали положе, но по-прежнему были безжизненны, ничто не напоминало здесь о присутствии

человека. Солнце ползло все выше, голубизна линяла, день наливался зноем.

Теперь по целине машина шла очень медленно, километров двенадцать в час. Все трое молчали, угнетенные тревогой и голодом. Митя и сейчас часто останавливал машину, взбирался на какой-нибудь высокий бархан и оглядывал горизонт. Потом возвращался молча, и ехали дальше.

У Ляхова от куренья натощак начиналась тошнота, и он решил не курить, но каждый раз забывал об этом и машинально вытаскивал новую папироску.

Около полудня сделали привал. Доели студентовы сухари и последний огурец, разделив его на три части. Пока Ляхов и Митя отдыхали, лежа на песке, студент бродил по барханам, что-то прилежно высматривая.

Смотрите, какая штука! — вдруг раздался его громкий голос из-за холма. Он подошел, держа в руках странный красноватый предмет размером с небольшую дыню. — Возле саксаульника из песка выкопал.

Ляхов только скосил глаза и не шевельнулся, а Митя спросил лениво:

— А жрать ее можно?

Студент серьезно покачал головой:

— Ну нет, вряд ли. По всей видимости, это паразит саксаула. — Он торопливо счищал песок, разглядывая находку. — Да, это безусловно паразит. Пожалуйста — редуцированные листочки. Интереснейший экземпляр!

Он положил растение в машину и что-то записал в свою книжечку. «Последние часы его жизни были озарены радостью необыкновенной находки», — подумал Ляхов.

Вновь тряское, фыркающее, черепашье движенье на юг. Какая пропасть черепах! Они греются на солнце, поблескивая бутылочным панцирем, и некоторых «газик» переезжает колесами, вдавливая их в песок. Жара. Вся дрянь повыползала из нор: снуют ящерицы, там и сям чернеют пятнами скарабеи, вон стремительно скатилась по бархану змея — и пропала. Только чуть подрагивает кустик селина…

VI

Через час или два Митя увидел вдали первого верблюда. Он маячил на гребне бархана, расставив ноги треугольником, как тригонометрический знак. Проехали еще немного и увидели второго, третьего. Пески неожиданно кончились, впереди расстилался огромный, слепящий белиз-

ной такыр.

У кромки песков чернела кибитка. В песках и на такыре вокруг нее стояли верблюды. Их было очень много, но стояли они как-то разрозненно, каждый особняком, в задумчивом оцепенении. Все они были облезлые, с вылинявшей шерстью, спины их напоминали старые, пыльные кушетки, из которых клочьями торчит вата. И все же это были живые верблюды, и при них должны были быть живые люди!

Тихо, стараясь не распугать верблюдов, Митя подвел машину к кибитке: возле входа лежали в тени две здоровенные туркменские овчарки с грязно-белой курчавой шерстью; бока их тяжело ходили от жары, из разинутых пастей вывалились арбузно-розовые языки. Собаки почему-то не лаяли.

Заискивающе улыбаясь и подмигивая собакам, Митя осторожно направился ко входу в кибитку. Студент шел за ним следом. Собаки не шевельнулись. Митя, а за ним студент беспрепятственно пролезли сквозь темную дыру, наполовину завешенную ковром.

Через минуту Ляхов услышал Митин голос:

— Борис Иванович! Взойдите сюда!

Ляхов вошел в кибитку. Сразу окунулся в по-

лутьму, где застойно клубились вечные запахи пастушеского жилья: бараньей шерсти, дыма, кислого молока. Сквозь прорехи в крыше косо пробивались лучи солнца. На кошме лежал старик в кургузом халате, рядом с ним стояли две миски — одна с водой, другая с чалом, кислым верблюжьим молоком.

— Что с ним? — спросил Ляхов.

— Шут его знает. Ни мычит, ни телится… — ответил Митя и громко сказал: Ясхан! Бабай, на Ясхан как ехать?.. Ясхан надо!

Он повторил то же самое по-туркменски. Старик чуть приподнялся и сделал слабое движение рукой — по-видимому, желая показать направление на Ясхан.

— Этак нам непонятно, — проворчал Митя.

— Старик еле дышит. Отдает богу душу, — сказал студент вполголоса. — А вы пристаете к нему с Ясханом.

— Да нет, просто болеет. Может, у него папатач, а может, чего похуже — чума, например$_0$. Как думаете, Борис Иваныч?

Ляхов опустился на одно колено и взял руку старика, чтобы прощупать пульс.

— Вот не везет! — Митя даже сплюнул с досады. — Прямо беда как не везет.

Пока Ляхов ощупывал старика, Митя поднял миску с чалом, и, держа ее двумя руками, как огромное блюдце, шумно чавкая и всхлипывая, начал пить. Он опорожнил сразу полмиски и, отдуваясь, протянул миску студенту, но Ляхов внезапным командным голосом произнес:

— А ну, бросьте всё! Давайте его к свету.

Митя подхватил чабана под мышки. Старик отчаянно задергался и попытался упасть на кошму. Ио его все-таки вытащили на воздух и посадили, прислонив спиной к кибитке.

— У него отек под левой щекой, видите? — сказал Ляхов. — Вероятно, флегмона в горле. Потому и жар, и озноб, и рта он открыть не может… Рыбу вяленую ел? Балык, балык ел, признавайся?

Старик, не отвечая, моргал слезящимися глазами.

— Мог и чем-нибудь другим поцарапать. Ничего, ата, все будет в порядке… Минутку терпения, ата… — Ляхов, точно прицеливаясь, изучал изрытое морщинами, глянцевито-коричневое лицо старика, не выражавшее ничего, кроме испуга. Старик мотал головой и что-то невнятно, одними губами, шептал.

— Что он говорит? — спросил студент, у которого от жалости к старику лицо тоже приняло

испуганное выражение.

— Сынок ишел, Ясхан ишел… — шлепал губами старик.

Митя наклонился к нему и что-то громко спросил по-туркменски.

— Доктор ишел… Ясхан доктор…

— Да вот тебе доктор! Самый доктор и есть, — сказал Митя.

— Ясхан доктор… Ясхан доктор… — мотал головой старик. — Хорош доктор…

— Сын его, значит, в Ясхан поехал за доктором. За вами, то есть, Борис Иванович, — сказал Митя, засмеявшись. — Ой бабай, бабай! Не верит, понимаешь, что вы доктор, Борис Иванович. Не веришь, бабай? — И Митя с веселым изумлением смотрел то на старика, то на Ляхова, который уже вынимал из машины свой чемоданчик с инструментами. — Ведь он и есть тот доктор, за которым сын-то поехал! Понял, бабай?

— Йок, йок… Ясхан доктор… — упрямо шепелявил старик.

— Никак не верит! — хохотал Митя. — Да я ж тебе толкую, башка твой глупый…

— Замолчите! — резко сказал Ляхов. — Принесите лучше миску с водой, чем язык коверкать.

Митя, вмиг притихнув, кинулся исполнять

приказание. Он знал, что, когда Ляхов занят делом, с ним спорить опасно. Повелительный тон и решительный вид Ляхова подействовали на старика, и он уже не сопротивлялся, когда доктор запрокинул ему голову и сильными пальцами разжал ему рот. Осмотрев горло, Ляхов быстрым, привычным движением протер скальпель ватой, смоченной спиртом, потом скрутил из сухой ваты тампон и плотно надел его на острие скальпеля, оставив свободным самый кончик.

Студент отвернулся, а Митя с интересом наблюдал за операцией. Она длилась не больше минуты — старик не успел крякнуть, как все было кончено, и он, тараща глаза, уже выплевывал гной…

Через четверть часа старику стало заметно лучше: он встал на ноги, улыбался, ходил и послушно полоскал горло водой с содой, как того требовал доктор. А через полчаса, когда «Ляхов и студент наелись чала и Митя залил радиатор, старый «бильбрут-чапан» вызвался проводить гостей до ясханской дороги. Доктор воспротивился этому, говоря, что старику следует полежать, но так как тот ничего не мог объяснить на словах, решено было взять старика с собой, а потом подвезти его до кибитки обратно.

Старик нахлобучил высокую баранью шапку

«тельпек», подпоясал халатик грязным вафельным полотенцем и сел рядом с Митей, а доктор встал на подножку. Проехали по такыру километров шесть, и старик велел остановиться.

— Ясхан! — сказал он, показав рукой на юго-восток.

На иссохшей, растрескавшейся от зноя земле пролегал автомобильный след. Митя развернул машину и погнал обратно к кибитке.

— Ну как, ата, поверил теперь, что это доктор? — спросил Митя на прощанье.

Старик с некоторым смущением взглянул на «Ляхова.

— Ясхан доктор, большой доктор есть, — тихо сказал он и, пожав руку Ляхову, добавил успокоительно — Ты тоже хорош доктор…

Все засмеялись, старик тоже засмеялся, показывая голые, младенческие десны.

«Газик» весело побежал по своему следу, и долго еще, если посмотреть назад, видна была темная фигура чабана, и чем больше она удалялась, тем величественней — по странному оптическому эффекту — казалась на фоне пустынного, белого от соли и солнца такыра.

Митя узнал дорогу: это была та самая, по которой он возил в прошлом году профессора

Редькина.

— Я ж говорю, правильно ехали! У меня память исключительная!

Доктор тоже приободрился и начал, как прежде, ворчливо пикироваться с Митей и поучать его: «Дело не в такыре, а в том, что вы легкомысленно себя ведете. Пустыня не любит легкомысленных, учтите это». Студент сидел молча. Он думал о мясистом растении с редуцированными листочками, которое он покажет сегодня геоботанику Лиде Назаровой. Лида будет, конечно, отрицать, что это паразит саксаула. Она никогда не соглашается с ним, невозможная спорщица…

Машина неслась по такыру на предельной скорости. Жаркий ветер, завихряясь, залетал в кабину, кидал в лицо душную солоноватую пыль. Синька неба слепила глаза, текуче дрожала воспаленная зноем даль, и плавал над краем земли плоский миражик: какие-то деревца, светлая полоска воды. Час и другой мчалась машина по такыру, а деревца, не приближаясь и не отдаляясь, все так же плясали на горизонте, и не верилось, что этот волшебный лес возник из чахлых кусточков, разбросанных там и сям на такыре.

Когда переехали Узбой, Ляхов тоже стал узна-

вать дорогу. Но, странное дело, он не испытывал радости от того, что путешествие благополучно приближалось к концу. Он просто думал, равнодушно и спокойно думал о том, что он никуда не уедет из этой бедной, испепеленной зноем страны с ее горечью, духотой, солью, простором, миражами и человеческим упорством. Что-то незримо и прочно связало его со всем этим. И когда это случилось — неизвестно. Но он не уедет, так же как не уйдет из пету-ховской партии Савченко, как не уедет румяный студент, хотя он человек свободный и может в любой день отправиться в Ашхабад и через сутки оказаться в Москве…

Ляхов представлял себе, сколько дел накопилось в лагере за эти две недели, и сердце его тяжелело от предчувствия неизбежных забот. Ремонт медпункта не продвинулся, конечно, ни на йоту. Помощница Ляхова, молоденькая сестра Роза, слишком неопытна и слабохарактерна, чтобы добиться от начальника экспедиции людей и материалов, ежедневно наседать на него, требовать, угрожать, торговаться, а без этих мер ремонт затянется еще на два месяца. К вакцинации она тоже, конечно, приступить не решилась. Все это навалится сейчас на его плечи.

С неудовольствием вспомнил Ляхов манеру

Розы смотреть на него в упор своими черными наивными глазами и при этом часто-часто, по девчоночьи моргать. Роза вовсе не девчонка, ей двадцать восемь лет, но иногда она напускает на себя какую-то глупую конфузливость и манерность. Ей, видите ли, хочется быть девочкой, а на самом деле ей давно пора быть мамашей. Глупо. Надо сказать, она довольно миловидна и говорит с легким южным акцентом, тоже довольно миловидным. Ее лицо немного портит маленькая ямка посредине лба, след от пендинки. И Роза ужасно стесняется своей пендинки. Тоже глупо. Вот Вася Шарапов, долговязый рыжебородый геолог, его отнюдь не смущает маленькая ямочка на Розином лбу.

Возвращаясь с поля, Вася всегда привозит Розе подарки: то букет тюльпанов, то маленького варанчика, который смешно шипит и злобно разевает рот, если его бить палкой по носу, то страшного песчаного кота с огненными зрачками.

И все это бесполезно. Хоть бы раз Роза покраснела, сконфузилась или заморгала бы наивно ресницами в присутствии Васи… А когда не нужно, она разводит сентименты. Вот сейчас она выскочит навстречу машине и чуть ли не со сле-

зами воскликнет: «Борис Иваныч, что случилось? Ах, мы так волновались!..»

Начало смеркаться, когда «газик» подъехал к озеру. Дорога еще долго шла вдоль озера, прежде чем вдали показались кибитки туркменского аула.

— Эх, сейчас два борща! — сказал Митя мечтательно. — Три раза тефтели! И соответственно…

Проехали аул, и вот уже мелькнули впереди крыши поселка, тополя возле воды. Белые овчарки, казавшиеся в сумерках еще более громадными, с дурным лаем кинулись под колеса и потом припустились следом. Какая-то партия возвращалась с поля: впереди ковыляли трое мужчин, за ними на верблюде ехала женщина в светлой широкополой шляпе.

— Остановитесь, пожалуйста! — крикнул студент.

Митя затормозил. Студент вылез из машины и, держа в одной руке чемоданчик, другой прижимая к груди паразит саксаула, побежал навстречу женщине в светлой шляпе. Ляхов ждал, что он остановится и попрощается. Но студент почему-то не остановился. Подождав минуту, Ляхов пробормотал:

— Вежливо, нечего сказать… Двигай, Митя!

И «газик» медленно покатил дальше.

1956

• БЕСЕДА С ГЕРПЕТОЛОГАМИ

Я познакомился с двумя герпетологами: Левиным из Москвы и Тереховым из Ташкента. Ночью герпетологи охотятся. Они уходят за город, на каменистую предгорную равнину и ловят ночных ящериц-гекконов, приманивая их светом карманных фонариков.

Герпетологи молоды, белобрысы, у них томатно-красные, загорелые лица и воспаленные от ночной работы тяжелые веки. Я провел с ними целый вечер. Говорили о змеях. Терехов поймал в окрестностях Иолотани около 2000 эф, в окрестностях Байрам-Али — 1500.

Эфа — наиболее ядовитая змея Туркмении.

— …Я наступаю на нее ногой и беру крепко за загривок. Ядовитых змей ловить легко: они не боятся человека и не убегают.

Терехов находится здесь в командировке, а у Левина отпуск: он приехал сюда, в пустыню, отдыхать.

По словам Терехова, местные жители поразительно плохо разбираются в змеях. Все они считают, например, стрелку (ок-илён) ядовитой, а на самом деле она абсолютно безвредна. Это

небольшая змея с красивой, узорчатой, желтоватого цвета шкурой. По легенде, она пронзает, как стрела, грудь верблюда. И эту чушь повторяют из поколения в поколение…

А эфу в некоторых местах считают безопасной. Все это от того, что укусы бывают редко.

Терехов показывает свои коллекции.

В кухне под столом лежат холстяные, перевязанные бечевкой, мешочки, маленькие ящички, клетки. В ящичках что-то скребется, а мешочки забавно топорщатся и подрагивают, как живые.

— Вот самое ценное, — говорит Терехов, беря с пола небольшую клетку, на дне которой лежит ворох травы, а на сетке с внутренней стороны сидят две маленькие ящерицы. Засунув руку в траву и пошевелив там, Терехов вынимает маленькую извивающуюся змейку. — Это афганские лотаринги. У них крест на голове, видите? Очень редкие экземпляры. В Советском Союзе было всего три штуки, и вот я нашел еще две. А ящерицы — им в корм.

Затем он берет холстяной мешочек, развязывает его.

— Ну-ка, ну-ка… Что там у нас? — приговаривает он, запустив руку в глубь мешка и копаясь там ощупью довольно долго. Потом вдруг вы-

таскивает пучок змей. Это стрелки. Туркмены, стоящие рядом, отшатываются. Терехов, чтобы доказать безвредность стрелки, берет змеиную голову в рот.

В другом мешке — полозы. Эти кусаются, но, находясь две недели в неволе, они утратили рефлекс укуса. В деревянном ящичке лежат сваленные друг на дружку ящерицы агамы. Они неподвижные, сонные: время позднее, двенадцатый час ночи, а ящерицы живут по режиму.

Вот маленькие, величиной с блюдечко для варенья, черепахи — для подарков в Москву. Вот привязанный к ножке стола небольшой варанчик «зем-зем». Он сердито шипит, надувая зоб, и бьет хвостом. Он похож на резиновую надувную игрушку. Затем извлекаются из мешков удавчики, гекконы, ящерицы, «кизыл-кулак» и прочая гадость. Ядовитые змеи, к сожалению, отправлены сегодня в Москву. Герпетологи очень огорчены тем, что ядовитых змей не удалось отправить самолетом, они поехали в поезде.

Когда я спрашиваю, а куда, собственно, ядовитым змеям спешить, Левин озабоченно вздыхает:

— К ним на железной дороге относятся плохо. Ящики бросают как попало, кормят не вовремя

— в общем, казенщина, без души относятся…

Незаметно разговор перебрасывается от змей к паукам. В Туркмении наряду с эфой и гюрзой очень опасен маленький черный паучок — каракурт или «мей», как его называют туркмены. А вообще здесь бесчисленное множество пауков, самых разнообразных. Каждый второй паук — не описанный, неизвестный науке. Можно настрапать кучу диссертаций. Но никто пауками не занимается, потому что нет специалистов. Герпетологи рассказывают это как смешной анекдот и очень смеются…

Они славные ребята, но слегка однообразные. Говорят только о своем. Несколько раз я пытаюсь пробиться сквозь этот панцирь профессионализма.

— Кстати, насчет черепах, — говорю я. — Есть такие стихи, кажется, Халифа: «Из чего твой панцирь, черепаха? — я спросил — и получил ответ…»

Щупленький, с красными глазами гнома Левин неожиданно перебивает меня:

— Между прочим, это неверно, что у черепах отсутствует слух.

— Послушайте, Левин! — возмущаюсь я. — Я читаю стихи, а вы перебиваете!

— Простите, — говорит Левин.

Я декламирую громко, с чувством:

«Из чего твой панцирь, черепаха?»—
Я спросил — и получил ответ:
«Он из мной пережитого страха,
И брони надежней в мире нет!»

Пауза. Герпетологи из деликатности молчат некоторое время. Затем Терехов говорит негромко:

— Панцирь черепахи состоит из кости и тонкого слоя рога.

А Левин немедленно продолжает свою тему о наличии у черепах слуха. Он горячится, он спорит с каким-то неизвестным мне противником. Черт возьми, у черепах отсутствует среднее и внешнее ухо, и, однако, исследованиями англичан установлено…

Но я не теряю надежды. Выбрав момент, говорю:

— А вы помните у Хемингуэя в «Иметь и не иметь», когда Генри Морган приезжает к жене, и она говорит насчет черепах? Она говорит, что хотела бы быть черепахой, потому что они делают это непрерывно в течение трех дней… — Тут я игриво подмигиваю, как бы приглашая, оттолк-

нувшись от черепах, открыть новую тему.

Герпетологи смотрят на меня серьезными, в красноватых веках глазами.

— Это неверно, — заявляет Левин. — Оплодотворение у черепах длится всего несколько минут.

— Может быть, имеется в виду процесс течки? — осведомляется Терехов.

Я невнятно бормочу: «Да, да. Возможно...» Ах, милые люди эти герпетологи! Именно такими я всегда представлял себе герпетологов.

Мы продолжаем разговор о змеях. Я узнаю много интересного. Во втором часу ночи все вместе выходим на улицу — герпетологи идут на ночную ловлю, а я домой, спать.

1959

• ОДИНОЧЕСТВО КЛЫЧА ДУРДЫ

Маленький старый город невдалеке от иранской границы. Душный вечер. Городской парк. Сегодня здесь соревнования по народной борьбе — гюреш.

В глубине парка на небольшой площадке, освещенной двумя гирляндами электрических лампочек, зрители образовали четырехугольник, в середине которого лежит темный борцовский мат, покрытый ковром. Зрители сидят на скамейках. В первом ряду — белобородые старики, настоящие знатоки гюреша. Многие из них специально приехали в город из аулов, чтобы посмотреть районных богатырей-пальванов.

Соревнования еще не начались. Судьи с красными повязками на рукавах о чем-то азартно спорят, суетятся, бегают с какими-то бумажками, размахивают ими, требуют друг у друга каких-то новых бумажек. Я протискиваюсь вперед, нахожу место на первой скамейке: мне уступает его мальчуган лет десяти. Сам он примостился у меня в ногах, прямо на земле. Бумажки мелькают еще полчаса. Наконец, около восьми часов вечера, духовой оркестр ударяет туш. Начинается парад

борцов.

Гуськом, вслед за судьями, проходят внутрь четырехугольника и выстраиваются вокруг ковра восемьдесят борцов. Много пожилых, лысых, бородатых, с сутулыми спинами, а есть и совсем мальчишки. Одеты обыкновенно, кто в чем. Специальная борцовская одежда лежит на ковре: два халата и два пояса на всех. Зрители радостно окликают земляков и знакомых.

— Эй, Мурад-Али!

— А, Бегенче-е!

— Эй-йее!..

Борцы смущенно отмахиваются, скалят зубы. Вся эта торжественность и музыка угнетают их. Вот они выстроились, неловко переминаются с ноги на ногу. Смуглые настороженные лица, спаленные до черноты шеи, грубые мужицкие руки — руки трактористов, кетменщиков, хлопкоробов. Среди зрителей больше половины — колхозники. Сегодня воскресенье, многие приезжали на базар да так и остались до вечера.

Выходит первая пара: молодой парень из Векиль-Базарского района и сухопарый, костистый мужик средних лет из Туркмен-Калинского. Снимают ботинки, сбрасывают пиджаки и надевают короткие борцовские халаты — это даже

не халаты, а длинные подпоясанные широкими кушаками рубахи, нечто вроде тех, что надевают борцы дзюдо. Прежде чем начать борьбу, гюреши-сты проверяют, как у противника завязан кушак. Они могут перевязать его по своему вкусу, туже или слабее, с одним узлом или с двумя. Кушак тут основное орудие, поэтому важно проверить, как он завязан.

Борьба не начинается, пока оба не схватились как следует. Судья следит за этим, прыгает вокруг борцов, вертит их по-хозяйски, одного шлепает по руке, другому помогает взяться покрепче, наконец, дает сигнал и отскакивает. Борцы начинают кружиться по ковру. Головы опущены, ноги отставлены далеко назад, а руки вцепились в пояса так крепко, что кисти побелели. Слышно, как тяжело дышит сухопарый туркмен-калинец. Молодой парень яростно кряхтит и напирает вовсю. Его противник отступает, отходит все дальше. Земляки подбадривают его, но, кажется, он проиграл. И вдруг — мгновенный рывок, схватка вплотную, желтые пятки молодого парня сверкают в воздухе, на миг он касается коленом земли и тут же вскакивает. Но поздно, поздно! Судья дает свисток. Победил сухопарый. Вторую схватку он также выигрывает, и это дает ему

общую победу. Земляки сухопарого, колхозники из Туркмен-Кала, выбегают вперед и, подхватив победителя на руки, уносят с ковра.

Всех следующих победителей тоже уносят на руках.

Схватка протекает очень быстро, ибо техника примитивна. Один бросок через бедро, или подножка, или же прием «мельница» — и победа. Достаточно, чтобы противник рукой или коленом чуть коснулся пола.

Эти правила сообщает мне мальчуган, который уступил место. Он сидит, скрестив ноги, на земле и все время подпрыгивает, точно его толкает снизу пружина. Иногда он сердито вскрикивает, грозит кому-то кулаком, иногда смеется, иногда изумленно ахает: «Ва-а!» Про одного борца он говорит: «Варан пришел. Как варан сосать будет». И действительно, этот борец своими длинными жилистыми руками обвивает противника, «присасывает» его к себе, как варан, и, подняв в воздух, бросает на землю. Про другого борца мальчишка отзывается презрительно: «Ай, жулик этот! Сейчас будет подножку между ног делать, все ташаузские так делают…»

На ковре высокий бритоголовый борец с большим животом. По-видимому, это чемпион.

Зрители, как везде, болеют против чемпиона. Ему кричат что-то обидное. Расставив толстые, с набухшими венами ноги, чемпион угрюмо смотрит на своего противника, нехотя натягивает халат, медленно подпоясывается. Лицо у чемпиона неприятное, отекшее, под глазами мешки. Ему лет сорок.

— Этого толстого как зовут? — спрашиваю у мальчика.

Мальчик бормочет что-то невнятное. Сидящий рядом со мной туркмен говорит:

— Клыч Дурды его зовут. Пять лет чемпионом был, теперь немножко старый стал.

— Какой старый! Водку пьет много, вот что, — вступает в разговор другой туркмен.

— Э, когда на той зовут, пить не будешь, что ли?

— Каждый день той у него…

— Он вообще шофером числится в Байрам-Али, — говорит третий голос.

— Да нигде он не работает! Вообще дурной человек.

— С гюреша кормится…

— Говорят, две жены у него, узбечки…

— Ай, зачем болтать? Бросил! Как волк, один…

Теперь уже говорят несколько человек, и все

почему-то по-русски, точно все отвечают на мой вопрос. Клыч Дурды тут не любимец, это ясно. Я трогаю за плечо мальчика:

— Скажи, профессор, какой пальван победит?

— Откуда знаю? — шепчет мальчик и оглядывается испуганно.

Я вдруг вспоминаю, что однажды видел чемпиона.

Три года назад я случайно попал на той в один из колхозов Марыйской области. Той делал председатель колхоза, известный в Туркмении «башлык» Ага Сафар Ниязов, по поводу того, что его сын защитил кандидатскую диссертацию. Сидели на дворе под виноградником, где были расстелены длинные ковры, а на них стояли блюда с пловом, каурмой, фруктами, чай и водка: то и другое пили вперемежку из одних пиалушек. Тут же, во время пиршества, устроили гюреш. Всех побеждал колхозный тракторист, кудрявый, огромного роста русский малый, которого называли Антошей. Когда у него не осталось уже противников, вышел борец такого же богатырского сложения — Клыч Дурды. «Башлык» пригласил его на той, как приглашают музыкантов или шутов. Нанял его за деньги. Клыч Дурды был уже сильно пьян и нетвердо стоял

на ногах, однако куражился и отпускал громкие хвастливые замечания перед схваткой. Было удивительно, что он продержался против Антоши несколько минут, а не рухнул сразу. Ага Сафар очень рассердился. Я слышал, как вечером он ругался с Клычем Дурды из-за денег, потому что с гостей не удалось собрать суммы, на которую договаривался пальван с хозяином тоя, и теперь пальван требовал, чтобы Ага Сафар доплатил. Сын Ага Сафара, молодой кандидат технических наук, поддерживал в этом споре Клыча Дурды. Он был тоже пьян, и ему хотелось бороться. Одной рукой он выбрасывал из кармана мятые бумажные деньги, а другой хватал Клыча Дурды за ворот рубахи и кричал что-то вызывающее. Все были пьяны на этом тое. На другой день протрезвившийся чемпион боролся с Антошей и с легкостью победил его, но впечатление было испорчено. Говорили, что Клычу Дурды пришел конец: кто из пальванов начинает шататься по тоям, тот долго не протянет.

И вот я вижу его вновь. Он заметно постарел за три года, как-то огрузнел и сгорбился. Противник Клыча Дурды — черный лицом, коренастый борец с необычной для туркмена волосатой грудью и волосатыми ногами. Может быть, он азербай-

джанец, может быть, перс. Он нервничает и от волнения выкатывает белки и скрипит зубами. Чемпион борется равнодушно. Это возмущает зрителей, им хочется настоящего боя. Они начинают потихоньку свистеть и кричать оскорбительные слова: «Заплатите ему деньги, тогда он будет бороться», «Эй, Курбан, покажи ему…»

Курбан очень старается и, к всеобщему ликованию, побеждает в первой схватке. Зрители в восторге. В воздух летят шапки, старики трясут костылями, несколько человек подбегают к ковру, чтобы похлопать Курбана по плечу. И только мальчик сидит неподвижно, съежился, втянул голову в плечи…

— Молодец Курбан! — кричит мой сосед справа и бьет меня локтем. — Вот увидишь, Курбан победит! Я знаю, он механиком работает на нашей фабрике. Ай, Курбан, дал жизни!

Волосатый Курбан жадно пьет из бутылки, потом полощет рот и шумно и далеко, как из шланга, выплевывает воду на песок. Клыч Дурды тоже пьет воду. В прежние времена борцы в перерывах пили чай: садились на ковер и дули чай досыта, а зрители терпеливо ждали. Теперь комитет физкультуры навел порядок, перерывы строго ограничены.

Рефери уже на ковре и жестами приглашает борцов. Вот они не спеша выходят, упираются друг в друга плечами, просовывают руки под пояс противника. Болельщики сразу же начинают орать. Они страстно желают, чтобы Клыч Дурды проиграл. И это не только злая радость толпы, получающей удовольствие от унижения чемпиона, но и неприязнь рабочих людей к ловкачу и «артисту», который умеет выколачивать деньги из безделицы, из игры.

Во второй схватке побеждает Клыч Дурды. Его никто не поздравляет, кроме мальчика, который робко, раза два, подбрасывает в воздух свою тюбетейку. Борцы снова пьют воду.

Наконец рефери зовет их для последнего поединка.

Кряхтя, поднимается с земли Клыч Дурды. Его слегка пошатывает, когда он идет к середине ковра. Зрители что-то кричат ему, наверное «сдавайся» или «ложись». Однако победить чемпиона, даже усталого, нелегко.

Курбан опять скрипит зубами, выкатывает белки, прилаживается и так и эдак, и вдруг — вот оно! — ему удается плотно обхватить Клыча Дурды и оторвать от земли. Широко расставив свои мускулистые ноги, весь изогнувшись и

побагровев от усилия, Курбан держит на весу семипудовую тушу и несколько секунд, как бы в нерешительности, раскачивает ее, а затем пытается бросить на землю. Опытный Клыч Дурды увлекает соперника за собой, и они падают вместе. Кто же коснулся первый? Судья поднимает руку Клыча Дурды.

— Неправильно! — кричит мой сосед, вскочив с места.

Вслед за ним вскакивают и что-то кричат еще двадцать, сорок человек. Начинается суматоха. Двое судей ругаются между собой. Какой-то седобородый аксакал подходит к главному судье, сидящему за отдельным столиком, и тычет свой посох ему в лицо. И все же победителем признается Клыч Дурды: на долю секунды его противник коснулся ковра раньше.

Победителя не уносят на руках. Клыч Дурды идет сам, с трудом передвигая ноги, замученно дыша, и лицо у него серое и пыльное. Мальчик подскакивает к нему, берет его за руку, и они проталкиваются мимо скамеек к выходу. Отец не обращает внимания на ругань и крики, а мальчик плачет и тюбетейкой закрывает лицо.

Соревнования продолжаются, но я ухожу.

Высоко в небе стоит луна, одинокая серебряная

луна в голом и темном небе. За парком шумит поезд. Это скорый московский. Через четверо суток он будет в Москве.

На другой день утром я вижу Клыча Дурды в чайхане возле парка. Парк опустел, чайхана тоже почти пуста: вчерашние борцы разъехались по домам, по колхозам, уже начали сегодня трудовую неделю. Сторож шаркает по песку, сгребая воскресный мусор. Клыч Дурды пьет водку в компании каких-то стариков, а мальчик сидит поодаль возле стены на стуле и дремлет, склонив голову набок.

1959

• ОДНАЖДЫ ДУШНОЙ НОЧЬЮ

Выходим на улицу втроем: Яков, Ачилов и я. Ждем такси, которое вызвали час назад. Пустынная улочка окраины Ашхабада. Одноэтажные до-мишки. Теплая темь. Редкие фонари вдали, за деревьями. И — небо, полное звезд.

Как всегда в южных городах, откуда-то тянет запахом уборной.

Мы немного навеселе. Громко разговариваем. Какой-то человек приближается к нам из темноты и говорит что-то невразумительное, вполголоса. Вот он подошел, остановился.

Мы удивленно смотрим на него.

— Что вам нужно?

— У вас есть топор? — наконец внятно спрашивает человек. Он маленького роста, сухой, темнолицый, в темном костюме и кепочке, какие носят рабочие.

— Зачем вам топор?

— Нас два товарища: один — русский, другой — испанец. Я испанец, — торопливо объясняет человек и зачем-то вынимает бумажник, достает паспорт.

— Не надо, мы вам верим. Ну и что?

— Мы живем одна комната. Он куда-то ушел, дверь закрыл, а я что должен — на улице ночевать?

Испанец говорит заикаясь, нервным тихим голосом и таким тоном, точно мы виноваты а том, что он оказался на улице. Глаза у него круглые и Светлые: это видно даже в темноте. Может быть, он пьян. Может быть, он вовсе не испанец. Всё это как-то нелепо и неожиданно.

— А зачем все-таки вам топор? — помедлив, спрашивает Ачилов.

— Дверь ломать! Зачем топор? Дверь ломаю, войду в комнату!

Испанец глядит на нас обиженно и сердито, и вместе *с* тем в его хрупкой фигурке, в его глазах и маленьком сухом ротике — что-то жалкое, детское.

— *У* тебя есть топор? — спрашиваю я Ачилова.

— Не знаю. Где-то был без ручки…

— Дайте без ручки, хорошо! — Испанец говорит на таком же ломаном русском языке, как Ачилов.

Толстый Ачилов не торопясь идет в дом. В одной из комнат зажигается свет. В остальных окнах и во всех домах на улице темно. Третий час ночи.

— Значит, вы испанец? — спрашивает Яков.

— Я испанец, да. — Он снова лезет за бумажником.

— Да мы верим вам!

— Нет, если вы думаете, что я вор или кто-нибудь…

— Вы из тех испанских детей, которые приехали в тридцать восьмом?

— Нет, я не детей! Я взрослый приехал.

Он и сейчас похож на подростка. Сколько же ему было лет, когда он приехал? Девятнадцать. Он приехал из Франции в 1941 году.

— Я работаю бетеринар. Колхоз Чапаева, далеко…

— А учились в Москве?

— Почему Москве? Франция учился! Ветеринарная школа.

Каждую фразу он произносит с обиженным недоумением. Желая блеснуть эрудицией, Яков заводит разговор об испанской войне. Узнав, что наш собеседник — наваррец, он утверждает, что Наварра, Астурия и вообще север были самыми надежными районами республики. Испанец вдруг необычайно оживляется. Он говорит о войне так, точно она была вчера. Он горячится. Он ругает Да-ладье и генерала Миаху, восхищается Барселоной и Мадридом и клеймит Толедо.

Боже мой, как это было давно! О, магические, волнующие имена детства: Каса дель Кампо, генерал Вальтер, генерал Лукач… А что было потом? О, потом! Целая жизнь. Миллион жизней. Потрясения и надежды. Но для испанца не существует «потом». Он все еще бредит выжженной Сиеррой-Невадой, и проклинает Франко, и горячится. Сердитый маленький человечек, вечный юноша, вечный испанец…

И так странно слышать его воспаленную речь — может быть, он действительно немного пьян? — на этой ночной аш. хабадской улице, где лают собаки, и пахнет уборной, и все еще нет такси (шофер, наверно, заехал домой попить чайку), и огромное азиатское небо полно звезд и одинаково равнодушно к генералу Вальтеру, и к генералу Миахе, и ко всем испанцам на свете!

— Парле ву франсе? — жадно спрашивает он у Якова.

Тот отрицательно качает головой.

— Есть тут еще испанцы?

— Нет. Я один Ашхабад.

— А семья у вас есть?

— Жена есть. Она на Украине, в Херсоне. А здесь я один.

Почему он здесь, а жена на Украине? И почему

он выбрал Ашхабад? Испанцев много, он мог бы жить в других городах и встречаться с соотечественниками, говорить с ними о Каса дель Кампо и генерале Вальтере. Я не решаюсь спрашивать.

— Жена у меня украинка, — говорит он.

— А почему вы не живете с ней? Вы могли бы работать ветеринаром и в Херсоне, — говорит Яков. — Или она могла бы приехать к вам.

— Могла бы? — переспрашивает он, загадочно усмехаясь. — Нет…

— Почему же?

Он вновь усмехается и пожимает плечами. Вид у него очень таинственный.

— Человек не живет сам, — говорит он тихо и несколько напыщенно и поднимает палец. — А жизнь сама знает, как лучше. Правильно?

— Безусловно.

— Ну вот. И не надо спрашивать.

Из дома выходит Ачилов.

— Топора нет, — говорит он. — Искали, искали — нет нигде. У нас ремонт дома.

Испанец вздыхает.

— Ну что ж… Буду ночевать на улице.

Он не уходит, а мы продолжаем Стоять.

— Хотите закурить? — спрашиваю я.

— Нет. Я не курю. Спасибо.

— Вы — испанец? — говорит Ачилов и издали деликатно тычет в маленького человека пальцем.

— Да, да. Я испанец.

Помолчав, Ачилов говорит:

— Это хорошо…

И мы снова молчим. Испанец все еще не уходит. Мы ждем такси. И наконец оно подкатывает. Испанец садится с нами, с Яковом и со мной: он тоже хочет поехать в гостиницу. Он не хочет ночевать на улице. Ачилов прощается, и мы едем. В машине душно даже теперь, ночью.

— Теплая ночь, — говорю я.

— В Испании еще жарче, чем здесь, — говорит испанец.

— Жарче?

— Да. Гораздо жарче.

— Ну, не везде! — говорит Яков, желая еще раз блеснуть эрудицией. — В горах Невады, вероятно…

— Жарче, — говорит испанец твердо. — Всегда жарче.

1960

• ПРОЗРАЧНОЕ СОЛНЦЕ ОСЕНИ

В буфете аэропорта, где всегда суета, нервность, пассажиры отсчитывают минуты, где пахнет борщом, который некогда есть, где официантки мечутся между столиками, где летчики в кожаных куртках пьют возле стойки сметану из граненых стаканов, встретились два человека, которые не виделись много лет. Один из них сидел в компании молодых людей в клетчатых пиджаках за столиком возле окна, пил коньяк и ел заливную рыбу, густо приправляя ее хреном. Другой пил чай, сидя за столом возле двери. Они оба заметили и узнали друг друга, но еще не решались подойти и поздороваться. Слишком долго они не виделись.

Потом тот, что пил чай, поднялся и, посмеиваясь издали, медленно пошел к столику возле окна.

— Здравствуй, Величкин Толя! — негромко сказал он, останавливаясь в трех шагах от столика.

Человек, которого назвали Величинным Толей, повернулся вполоборота. Он был крупного роста, большеголовый, рыхлый, лет сорока пяти. Судя по его галстуку, значкам, приколотым к пиджаку,

по пачке сигарет, лежавшей на столе, он летел из-за границы. Может быть, из Японии или из Вьетнама. Увидев подошедшего, он сделал вид, что заметил его только сейчас, сию секунду.

— Галецкий? Аркадий? — спросил он, привстав, и вдруг порывисто, с некоторой театральностью вскинул руки. — Аркашка! Как ты здесь очутился?

— Что значит — очутился? Я не очутился…

— Постой, постой! Ты сначала садись и выпей. Мы тут празднуем прибытие на родную землю. Ребята, познакомьтесь: это Галецкий, мой однокашник, мы вместе учились в Институте физкультуры в Москве лет примерно… сколько же?.. лет восемнадцать назад.

— Да говори уж двадцать, — сказал Галецкий, — Двадцать годков как кончили.

— Ну двадцать — двадцать пять — какая разница? Для этих молокососов все это одинаковая древность. Называется «до войны». Они тогда в песочек играли на Тверском бульваре. А мы уже гоняли в футболешник на первенство вузов, вот этот Аркашка Галецкий стоял в голу сборной института, а я, представьте, играл на краю.

Кто-то из молодых людей недоверчиво хмыкнул.

— Когда ты играл на краю? — спросил Галецкий.

— Я? Конечно, играл! Только не в первой команде, а во второй. Еще Петька Щипанов со мной играл, Проценко, Михей Белобородов… А где Михей сейчас?

— Не знаю.

— Говорят, где-то здесь, в Сибири. Кто-то мне говорил.

— Не знаю. Я человек таежный, ничего не знаю. Это вы, столичные деятели…

— Да мы, столичные деятели, тоже ничего не знаем. Всех разбросало. Я тут встретил как-то Соню Кудинову на курорте. Помнишь ее? С внуками отдыхала. Она про Михея что-то рассказывала, но я уже забыл что.

Галецкий присел к столу. Он был худощав, с сутулой спиной, с обветренным, в жестких морщинках, грубо затопорелым лицом старого спортсмена или охотника. Когда он улыбался, обнажались два ряда металлических зубов.

Долговязые молодые люди в клетчатых пиджаках оказались волейболистами. Они возвращались из месячной поездки в Японию. Величкин был у них руководителем. Нет, не тренером, а именно руководителем, то есть он руководил

всеми, всей делегацией. Тренер скромно сидел в углу стола — щупловатый, смуглый, с черными галочьими глазами юноша по имени Марат. Спортсмены по очереди вставали, пожимали Галецкому руку и называли себя. Они делали это довольно небрежно. Галецкий не вызывал у них интереса, он казался им старым и провинциальным. Они сейчас же заговорили о чем-то своем, а Величкин и Галецкий начали вспоминать прошлое.

Величкин по временам прерывал воспоминания и вскрикивал возбужденно:

— Позволь, в чем дело? Почему ты не пьешь?

— Я уже выпил, Толя.

— Что ты выпил? Какую-то каплю!

Галецкий морщился, крутил головой и одновременно водил своей огромной красной рукой перед носом. Кожа на его руках была в ссадинах и царапинах, как у деревенского жителя, которому часто приходится иметь дело с дровами и топором, а концы пальцев были желтые от табака. В своем коротком пиджачке, в старых полинялых лыжных штанах он выглядел невзрачно рядом с толстым, солидным Величкиным. Но Галецкий не замечал этого. Наоборот, он все время чему-то радостно улыбался, перебивал Величкина и с фа-

мильярностью шлепал его по толстой ноге: «А ты, Толя, разжирел безобразно! Куда это годится!»

Говорили они сбивчиво, торопясь, прерывая друг друга. Особенно спешил Галецкий. Самолет на Москву должен был отлетать через тридцать пять минут, а в поселок Чижму, куда летел Галецкий, самолет уходил еще раньше.

Два человека не виделись двадцать лет. Они расстались юношами, а встретились поседевшими, помятыми жизнью мужчинами. Война, потеря близких, годы труда, надежд, устройство дома, маленькие удачи, которые когда-то радовали, а сейчас забылись, — все это они пережили порознь. Они стали совсем разными людьми. И жили за тысячи километров друг от друга. И ничто их не связывало, кроме давнишних воспоминаний. Величкин пошел по административной линии, работал в центральном совете крупного спортобщества, часто ездил за границу — был, одним словом, человеком начальственным, а Галецкий давно уже стал рядовым винтиком огромной физкультурной машины. Он работал преподавателем физкультуры в Чижминском лесном техникуме. Вот куда докатили его волны моря житейского. Ему очень нравилось жить в тайге. И своей работой он был

доволен. А Величкину нравилось жить в столице и разъезжать по разным странам. Они оба были в общем довольны.

Сейчас они пытались рассказать друг другу о том, как они прожили эти двадцать лет, и чего добились, и как они в общем довольны. Но разве можно рассказать жизнь!

Разговор был бессмысленный. Они говорили о чем-то пустяковом, вспоминали всякую чушь, перебирали в памяти людей давно забытых, ненужных, о которых оба не вспоминали годами и, не встретясь сейчас, не вспомнили бы еще десять лет. Никто, кроме щуплого тренера, не прислушивался к их разговору. Тренер смотрел на них пристальными круглыми, как у птицы, черными глазами и улыбался в душе. Итог жизни этих старых людей казался ему незавидным. Один стал чиновником, другой прозябал в глуши. Тренер был молод, честолюбив и наделен волей. Говорили, что он «далеко пойдет».

Усмехаясь незаметно, уголком рта, тренер слушал, как Величкин рассказывает о своих поездках за границу: он объездил уже восемь стран. В некоторых странах бывал по три-четыре раза, даже надоело. Больше всего ему понравилась Швеция — очень дешевая страна. Швеция не во-

евала полтораста лет. Если покупать шерстяные вещи, так только в Швеции. Вот уж действительно дешевка, так дешевка! А в Италии…

— У нас, между прочим, тоже встречаются шведские вещи, — сказал Галецкий. — В Дудинку заходят шведские корабли, моряки продают барахлишко, а к нам это попадает по Енисею.

— А в Италии, — продолжал Величкин, — очень дешевое вино. — Вот, например, вермут «Чинзано», который в Чехословакии стоит пятьдесят крон…

— Толя, знаешь что? — перебил его Галецкий. — Я хочу познакомить тебя с моими ребятами, учениками. Ведь я, кроме общей физкультуры, веду занятия с футболистами — в порядке, так сказать, общественном. Вон два моих орла сидят…

— А сколько у нас времени? — спросил Величкин у тренера.

Тот взглянул на часы и сказал, что надо расплачиваться, времени осталось семнадцать минут. Волейболисты стали поспешно допивать пиво. Кто-то из них подозвал официантку. Молоденькая пышногрудая девушка с ярко накрашенными губами подбежала к столу, облокотилась на него голой до плеча, крепкой белой рукой и начала что-то шептать и чиркать карандашом в блок-

ноте.

Галецкий энергично жестикулировал, подзывая к столу двух своих учеников, которые все еще сидели возле двери и пили чай. На стульях рядом с ними лежали два туго набитых мешка. Ученики стояли в нерешительности, не зная, что делать с мешками.

— Тащите их сюда! — закричал Галецкий. От возбуждения и нервности лицо его покрылось потом.

Два коренастых паренька, насупленные и побагровевшие от смущения, подтащили мешки к столу и встали рядом. Галецкий сказал, что в мешках находится двадцать пар футбольных бутсов. Достали их с большим трудом. Из-за этих бутсов он с ребятами мытарился в городе восемь дней, прожились до копейки, но зато своего добились. Не стыдно возвращаться в Чижму. Парни переминались с ноги на ногу и смотрели на волейболистов с немым мучительным интересом.

— А вот с этим толстым пожилым товарищем мы когда-то гоняли в футбол. Он, как видите, потерял форму, — Галецкий шутливо приосанился. — А я, кхе-кхе, еще держусь.

— Да, да. Ты держишься, — проворчал Величкин, которому замечание Галецкого не очень

понравилось. — Ну, а что это за молодые люди, кому ты меня представляешь так торжественно?

— А это, Толечка, мои питомцы, игроки чижминской юношеской команды. Могу похвалиться — они чемпионы края, завоевали приз крайкома комсомола.

— Поздравляю. Это замечательно.

— Замечательно не замечательно, а все же приятно. Не зря хлеб жуем. Верно, ребята? И могу еще похвалиться, — продолжал Галецкий, разгорячась и торопясь все высказать за оставшиеся минуты. — Слышали такого футболиста — Ивана Краснюкова?

— Я не слышал, — сказал Величкин..

Тренер пожал плечами.

— И я нет.

— Неужели не слышали? — Галецкий смотрел на них огорченно и с изумлением. — Ведь он сейчас у вас, в Москве… Краснюков Иван…

— Краснюков? Первый раз слышу, — сказал Величкин.

— Погодите! — сказал один из волейболистов. — По-моему, есть какой-то Краснюков в «Крыльях Советов». Только он в дубле играет.

— Верно, верно! Он в дубле пока что! — обрадованно воскликнул Галецкий, — Значит, вы

знаете? Есть такой?

— Вроде есть…

— Так вот, они взяли его из Красноярска, а в Красноярск он попал в позапрошлом году из нашей Чижмы. Играл у меня целый год. Парень Золотой. Вы увидите, он еще в этом сезоне прогремит.

— Дай ему бог, — сказал Величкин. — Хотя Москву удивить трудно. Сколько с нас, девушка?

Официантка все еще чиркала в блокноте. Волейболисты смущали ее своими расспросами и комплиментами, которые они сыпали наперебой, щеголяя друг перед другом. Больше месяца они не видели русских девушек. Величкин расплатился за весь стол: он отдал семь пятьдесят и еще полтинник на чай. Девушка не сразу поняла, что ей дают на чай, а когда поняла, то покраснела и почему-то прошептала: «Пожалуйста». Потом Галецкий заплатил сорок восемь копеек за себя и за двух своих питомцев.

— Будешь в Москве, Аркадий, прошу ко мне, — говорил Величкин. — Живу я на Фрунзенской набережной, в новом доме. Квартира у меня хорошая, большая, и Лужники рядом.

— Спасибо, может, и приеду на спартакиаду. А ты бы ко мне погостить, а? Охота у нас отличная!

А рыбы у нас!

Ты не пропадай, Аркаша. Запиши свой адрес.

— Где записать-то?

— Да вот… Ну, здесь хотя бы, на пачке сигарет.

— Толя, старик…

— Счастливо, дорогой! Рад был тебя увидеть.

Ученики уже понесли мешки с бутсами к выходу, Галецкий и Величкин долго трясли друг другу руки, обещали писать, не забывать, говорили, что хорошо бы как-нибудь встретиться всем вместе в Москве или где-нибудь на юге, вызвать Соню, Михея, Васю Проценко, если он жив-здоров. Потом Галецкий пожал руки волейболистам и тренеру, сделал еще один общий прощальный жест и быстро зашагал к выходу. Держался он прямо, и походка у него была бодрая, молодецкая, и совсем бы он казался молодым человеком, если бы не торчавшие сзади из-под кепки седые клочковатые волосы.

Тренер взглянул на часы.

— Через пять минут нам пора, Анатолий Кузьмич, — сказал он.

Величкин сидел, задумавшись, и ковырял спичкой в зубах. Помолчав немного, он сказал:

— Вот этот самый Аркашка Галецкий всегда был неудачником. И в институте и вообще… И

черт его знает почему! — Он вздохнул сочувственно. — Как-то не везет ему всю жизнь... Помню, мы ухаживали за одной девчонкой вместе, он и я, Был такой период, Очень люто соперничали.

— Ну и чем кончилось? — спросил тренер.

— Это целая история. В конечном счете я, кажется, победил.

Разговаривая, они встали из-за стола и пошли к выходу. Впереди шли волейболисты в клетчатых пиджаках и ярко-голубых тренировочных брюках. Все женщины, сидевшие за столиками, украдкой смотрели на этих высоченных парней.

Величкину хотелось, чтобы тренер проявил интерес к истории его соперничества с Галецким, стал бы его расспрашивать, и он бы вспомнил кое-какие подробности, которые приятно оживить в памяти, но тренер только сказал скучным голосом: «Это здорово, Анатолий Кузьмич, что вы победили», — и, вдруг сделав два быстрых шага, догнал волейболистов и заговорил с ними о волейбольных делах. Через две недели в Москве им предстояла встреча с командой Польши.

Величкин обиделся и нарочно отстал от волейболистов. Заложив руки за спину, он медленно шел позади всех и смотрел то по сторонам, то в небо. Было ветрено, и пахло влажной после

дождя, осенней землей. Величкин подумал о Том, что в Москве он еще застанет теплые дни. Можно будет пожить на даче.

Треща мотором, низко пролетел маленький щавелевого цвета почтовой АНТ. «Аркашка полетел в свою Чижму, — подумал Величкин. — И как он там живет? Убей — не пойму…»

Величкин даже не спросил Галецкого, женат ли он и есть ли у него дети. Надо в следующий раз спросить. В какой следующий раз? Он вдруг понял, что следующего раза не будет. Никогда больше он не увидит Галецкого. Никогда в жизни…

В кабине почтового самолета на откидных стульях сидели шесть человек: Галецкий со своими питомцами, молодая женщина, похожая на доктора или медсестру, державшая на коленях маленький Чемоданчик, и два рабочих леспромхоза в одинаковых темно-фиолетовых плащах. Один из рабочих читал растрепанный «Огонек», другой сидел бледный, нахохлясь, приготовившись к качке. Мотор ревел, разговаривать было трудно. И все же Галецкий громко кричал, обращаясь к своим ребятам:

— Когда-то он был влюблен в мою жену! В Наталью Дмитриевну! А парень он очень хороший…

Жаль только, жизнь у него сложилась как-то неудачно… Ведь он талантливый человек, а стал администратором…

Ученики Галецкого молча смотрели в окна. Им не казалось, что жизнь Величкина сложилась неудачно, но они и не завидовали ему. Нет, они были уверены, что им предстоит жизнь еще более заманчивая и прекрасная. И они с жадностью смотрели вниз, как будто надеялись увидеть свое будущее там, внизу, где проплывало рыжее бескрайнее, залитое прозрачным осенним солнцем таежное редколесье. С высоты трехсот метров каждое дерево было видно отчетливо, и тайга была похожа на мох.

1962

• ВЕРА И ЗОЙКА

Перед обедом пришла одна знакомая клиентка, пятьдесят два восемьдесят, — аккуратная такая, чистенькая, в плаще «болонья», белье сдавала тоже всегда чистенько, аккуратно и мужского много, — и спросила у Веры, не поедет ли она с субботы на воскресенье за город — убрать дачу. Вера спросила: много ли дел? Виду не показала, что обрадовалась. А обрадовалась очень, потому что деньги нужны были до зарезу, и этот зарез обозначился именно сегодня, утром, и Вера до сих пор не могла прийти в себя и, бегая от прилавка к полкам, цеплялась за выбитую половицу. Это уж как закон: чуть понервничаешь — всегда за эту половицу цепляешься, чтоб она пропала, зараза.

Клиентка объясняла: помыть полы в четырех комнатах, три внизу, одна наверху, вымести сор, открыть рамы, ну как полагается после зимы. Говорила она быстро, небрежно, как о чем-то легком и пустяковом, о чем не стоит распространяться подробно, но Вера-то поняла, что она хитрит, ей важно получить согласие, а на самом деле работы там, конечно, будь здоров сколько, и работы тяжелой, тем более что зимой в доме

никто не жил, не убирались. Но никакой работы Вера не боялась и поэтому подумала даже с радостью, что это хорошо, что работы много: заплатят больше. Деньги Х5были очень нужны. Утром одна клиентка, старуха, сорок восемь сорок четыре — и цифра-то гадостная, одни четверки, — подняла шум из-за одеяла: подменили, мол, сунули вместо шестирублевого какое-то чужое, дешевое. Старуха была права, но спохватилась поздно, когда уже расписалась на двух квитанциях. Напутали упаковщицы, Вера была виновата только в том, что, выдавая, не проверила тщательно, а лишь поштучно. Да ведь всегда так пррверяла, и ничего не случалось. Искали-искали шестирублевое, нигде не нашли, Предлагали старухе замену, она отказывалась требовала свое, и тут Вера вспыхнула — потому что упаковщицы ее виноватили — и сказала, что старуха, мол, уже расписалась и мое дело маленькое. Та пошла к заведующей, к Раисе Васильевне, вызвали Веру, упаковщиц, орали, шумели — упаковщицы на Веру, она на них, насчет крика Вера всех могла переорать, потому что голос у нее хотя и хриплый, но очень дробный, пронзительный, — и, главное дело, было обидно, что ее одну виноватят, а упаковщицы как будто ни при чем. А

сколько раз она упаковщиц выручала? Сколько раз чужое отдавала: возьми, не греши, мне чужого не нужно. Ничего знать не хотели, ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. А шесть рублей — деньги не маленькие. За них Вера три дня горбатится. Могли бы, кажется, войти в положение: у обеих мужья зарабатывают, могли бы по рублю кинуть, все легче. Куда там! А Евдокия, старшая упаковщица, еще насмехалась: ничего, мол, на два поллитра Сережка пострадает, и все дела. Такая ехидная, зараза: ее это касается, на что Вера деньги тратит! Сама, паразитка, живет за мужниной спиной, а как другие мучаются, об этом у нее понятия нет…

— Так как же, Вера? Беретесь? — спросила пятьдесят два восемьдесят (Вера успела в квитанции прочитать фамилию: Синицына). — А то я с другими буду договариваться.

— Отчего же? Возьмусь. Где наша не пропадала!

— Может, вы помощницу найдете? Все-таки вы такая, ну — маленькая…

— За это вы не беспокойтесь, что маленькая. Я никакой работы не боюсь. Я на заводе с мужиками работала, заготовки таскала. — Вера немного шепелявила, у нее получалось так: «жаготов-

ки ташкала». — А помощницу можно и найти. Найдем!

Вера сразу подумала про Зойку. Она всегда сразу вспоминала про Зойку: и когда работа подворачивалась, и когда гулянье, и если в продовольственном воблу выбрасывали или гречку. А Зойка — нет. Но Вера на нее не обижалась. Она знала, что Зойка больная, у нее печень испорчена, оттого она всегда злая, недовольная, да и забот у нее больше: двое ребят на руках и бабка старая. Кроме того, Вера понимала, что они с Зойкой никакие не подруги — подруг у Веры сроду не было, если не считать одной давнишней, Настеньки, с которой вместе во второй класс ходили, — а просто соседки, обе безмужние: у Веры вовсе мужа не было, а Зойкин ушел лет пять назад, платил алименты.

Женщина сказала, что ждет Веру в субботу к четырем, дала адрес на бумажке, туда же телефон записала и фамилию: Синицына Лидия Александровна.

В обед Вера поскорей побежала домой, надеясь застать Зойку дома и заранее спросить насчет субботы. Зойка работала уборщицей в школе. В воскресенье она наверняка была свободна, а насчет субботы нужно было узнать, если нет

— договориться с кем-нибудь еще. Жила Вера в бараках, от прачечной через двор. Работа удобная, прекрасная, две минуты ходьбы — и дома.

«Бараками» жители Песчаных улиц называли пять деревянных двухэтажных домов, которые странным образом затесались в гущу многоэтажных корпусов, возникших тут — на месте пустырей, свалок, огородов, домиков сезонных рабочих — после войны, в начале пятидесятых годов. Никто не знал, почему эти пять бараков уцелели. Скорей всего произошла какая-то ошибка строителей. Лет десять назад жители пяти бараков еще пытались изменить судьбу, требовали сноса, переселения, ссылались на то, что их «неказистые строения портят общий замечательный вид района», им было обидно, что жители остальных бараков давно получили квартиры в новых домах, — а чем они, собственно, лучше? — но исправить ошибку было, видимо, нелегко, стройка ушла из этих мест, сметы закрылись, и неудачникам пришлось мириться со своей участью. Бараки были стиснуты высокими шестиэтажными домами с четырех сторон. Они напоминали деревушку в горной долине. И жизнь там шла своя, деревенская: с палисадничком, грядками с луком, сиренью в окнах.

На скамейке перед входной дверью сидела, как всегда, баба Люба — Зойкина бабушка, старуха лет под девяносто, в черном платке до глаз. Вера спросила, дома ли Зойка. Баба Люба кивнула, медленно опустив желтоватое лицо в глубоких морщинах, и рот, сжатый, без губ, тоже был как морщина. Рот вдруг разжался, баба Люба решила что-то сказать, но Вера уже не слышала, бежала по лестнице: она жалела бабу Любу, защищала ее иной раз от Зойки, но не любила стоять с ней и разговаривать. Ей казалось, что от бабы Любы пахнет как-то нехорошо, могильно.

Зойка в своем длинном байковом халате, в резиновых тапках на босу ногу стояла на кухне, варила кашу для ребят. Услышав насчет уборки дачи, она сразу грубо ответила: дураков, мол, нет за город ехать, а уборки и в Москве завались. Вера привыкла к тому, что Зойка все ее предложения встречала в штыки, подозревая за ними какой-то умысел, невыгодный для себя и чересчур выгодный для Веры, и спокойно ответила:

— Смотри, я и одна могу.

Стала картошку разогревать, которую со вчерашнего дня нажарила. Полную сковороду навалила, подсолнечным маслом полила, яичко туда кокнула и остаток колбасы «отдельной»,

гузку граммов в пятьдесят, настрогала: вот и обед готов — дай бог всякому! Вера знала, что через минуту Зойка, одумавшись, спросит, как, да что, да за сколько договорились. И верно, спросила. Вера сказала, что насчет цены разговору пока не было, а работа примерно такая-то. Рублей двадцать взять можно. Почему-то втемяшилась Вере именно эта цифра.

— Ладно, поглядим завтра, — буркнула Зойка и, взяв кастрюлю, с сердитым лицом пошла из кухни. И уже из коридора, скрывшись, вдруг крикнула: — Тебе бабка передала? Николай приезжал.

— Николай? — ахнула Вера. — А что сказал?

Вот человек: нет чтобы сразу сказать! Вера метнулась в коридор. Зойка шла к своей комнате и, не оборачиваясь, ответила:

— А я знаю? Он с бабкой разговаривал, у нее спроси.

Вера — опрометью вниз, к бабе Любе. Та подтвердила: приезжал Николай, огорчался, что не застал Веру дома, и велел сказать, что приедет в воскресенье вечером обязательно. Вера разволновалась и от радости даже чмокнула бабку в щеку. Она не видела Николая месяцев пять и думала, что никогда уж больше не увидит. На

улице это было, после кино, смотрели в «Дружбе» какую-то картину, потом Вера хотела сбегать в продовольственный за бутылочкой, а он вдруг сказал: спасибо, ничего не нужно, и давай, мол, попрощаемся по-хорошему, потому что я женюсь. Вот как люди прощаются, которые четыре года гуляют: прямо на улице. Пожали друг другу руки и разошлись. Целый месяц потом Вера была как больная, травиться хотела, но Зойка отговорила.

В субботу, в четыре, как было условлено, Вера и Зойка пришли к Синицыной на квартиру, в восьмиэтажный дом напротив «Гастронома». Зойка взяла своего Мишку, одиннадцатилетнего малого, который неделю назад закончил ученье и сейчас без дела шатался во дворе в ожидании лагеря.

Синицына поздоровалась приветливо, пригласила зайти в дом, но заходить было некогда, да и сама она стояла уже одетая, в плаще «болонья». Вера успела осмотреть переднюю, очень красивую, с большим овальным зеркалом, висевшим возле вешалки, как в театре. Передняя Вере понравилась, и она сразу сказала:

— Как у вас хорошо-то. Я У одной артистки убираюсь— здесь, на Чапаевском, — у нее тоже красиво отделано. Только у них коридор не так

расположен, а вот так, так… — Вера стала показывать руками.

— Мальчик тоже с нами поедет? — спросила Синицына.

— Если вы разрешите, конечно, — сказала Зойка, заулыбавшись льстиво, и, как просительница, склонила длинное худое лицо набок. — Он у нас смирный! И помочь может.

Миша стоял, глядя в пол. В правой руке он держал сачок для ловли бабочек.

— Ага, он хороший мальчик, очень хороший, — подтвердила Вера. — Лида Александровна, только знаете, мне в воскресенье часам к шести надо непременно чтоб вернуться.

— Зависит от вас, девушки. Если кончим рано, может, и к обеду вернетесь.

— А вот… ты насчет цены, Вера, не спрашивала? — робко подала голос Зойка.

— Нет еще. Насчет цены увидим на месте, какая работа. Верно, Лида Александровна? Вы нас, я думаю, не обидите, и мы вас тоже. А вообще денег побольше берите! — И Вера захохотала по-своему, дробно, раскатисто.

В коридор вышел молоденький черноватый паренек в очках, в белой рубашке. Он вежливо кивнул Вере и Зойке и сказал:

— Ну что, отправляетесь в путь?

— Кирилл, я тебя прошу завтра приехать, — сказала Синицына.

— Не знаю, там поглядим. А я тебя прошу не надрываться, — слышишь, мать? Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания, а кому это нужно?

— Не буду, не буду ишачить, у меня вон какие замечательные помощницы, но я тебя завтра жду. Ты понял, Кирилл? Анатолий Владимирович поедет на машине, он тебя заберет. Тебе необходимо отдохнуть, подышать воздухом. — Сын подошел к ней, она взяла его за руку. Он был выше, смотрел на нее свысока и слегка улыбался. — И я надеюсь…

— Все будет нормально, мать. Но у меня масса дел, ты же знаешь…

— Анатолий Владимирович поедет утром.

— Хорошо. Как-нибудь доедем.

— Ну, до свиданьица! — сказала Вера и улыбнулась молоденькому пареньку в очках так, как она привыкла улыбаться мужчинам, поджимая губы: впереди у нее не хватало двух зубов. Оттого она и шепелявила.

Вера взяла две швабры, ведро, где лежали пакеты порошка для мытья окон, и стала спускаться по лестнице. За нею пошла Зойка, неся две сумки:

одну с едой, другую — большую клетчатую, в которую были набиты какие-то занавески, коврики, чайник, электроплитка и сверху лежала черная настольная лампа. За матерью ковылял, изогнувшись, волоча тюк с одеялами, Мишка. Последней шла Синицына, несла еще одну сумку, маленькую сумочку и толстый рулон зеленой бумаги, который держала бережно, боясь помять. Спустившись на несколько ступенек, Синицына сказала:

— А насчет цены я не знаю, право… В прошлом году за такую же примерно работу я заплатила пятнадцать рублей.

— Вы прошлый год с нонешним не равняйте, Лида Александровна! — крикнула Вера снизу.

— Я не равняю, просто сказала, как платила в прошлом году. Но вам тоже спорить не резонно: вы же работы не видели.

— Конечно, конечно, — сказала Зойка рассудительно. — Надо посмотреть, а потом уж договариваться. Чудная ты, Верка…

— А сын у вас черненький. В отца, наверно? — крикнула Вера.

— В отца, — сказала Синицына.

— Ага, я и гляжу, вы светленькие, а он — черненький-черненький!

Возле «Гастронома» на стоянке взяли такси, Синицына села с шофером, остальные сзади, Вера к окошку, вещи положили в багажник, поехали.

День был ясный, теплый, середина июня, на сквере цвела зелень; народу повсюду было полно, как бывает в субботу в эти часы: и на троллейбусной остановке, мимо которой проехали, и у входа в продовольственный, и возле табачного киоска, у старика Моисеича. Вера радостно, во все глаза глядела через стекло, как бы узнавая свой тысячи раз виденный и знакомый до последнего окошка, до кирпичика район заново, и сообщала:

— А у Моисеича-то какой хвост, гляди-ка! Во мужиков наставилось! И за мороженым, у Клавки… А вон мой клиент идет! Пятьдесят восемь десять! Вон, вон, вон! — закричала она вдруг так азартно, что Синицына вздрогнула и обернулась, а шофер матюкнулся тихо. — Лида Александровна, гляди, вон мой клиент идет! С портфелем, с портфелем — вон, вон, вон! Пятьдесят восемь десять! Очень хороший человек. Всегда сам приходит, а жена редко когда придет. Жена у него тоже симпатичная женщина, я ее знаю. Она здесь, у Сокола, в институте работает…

Выехали на Ленинградский проспект, Вера продолжала болтать. Настроение у нее было

прекрасное, она как будто забыла о вчерашних невзгодах, рыданьях из-за одеяла, о необходимости платить шесть рублей ни за что ни про что и о том, что вместо отдыха ей предстоит целые сутки работать; ей казалось, что она едет гулять на дачу, в лес, где поют птицы, а завтра вечером к ней придет Николай. О чем бы она ни говорила, о чем ни думала, она помнила одно: завтра придет Николай.

У Беговой свернули направо, поехали через мост, мимо Ваганьковского кладбища, и Вера вспомнила, что тут у нее тетка лежит, царство ей небесное, надо бы навестить, цветочков принести, а то с прошлого лета не была. На Красной Пресне сносили старые дома. Некоторые просто жгли, как жгут весной мусор. С правой стороны черными плоскими кучами лежали кострища, кое-где еще дымившиеся, а за этой полосой пепелищ, шагах в двухстах от дороги, возвышались новые блочные дома в пять этажей.

— Отмучились наконец, — сказала Зойка.

— А мне жаль эти домики. Все-таки старая Москва, к тому же историческая: Красная Пресня, — сказала Синицына. — И так их безжалостно жгут…

— И правильно! Чего их жалеть, клоповники

эти? — с неожиданной злобой сказал шофер. — Там люди друг на дружке жили, по десять человек на семи метрах. Нужна им ваша история! По крайности жилье человеческое получат.

Синицына поглядела в окно, помолчала.

— Но эти новые дома тоже, знаете, не украшение, — сказала она. — Довольно уродливы. И без лифтов.

— А шут с ними, давай без лифта, — сказал шофер. — Народ рабочий, небалованный, мы и пешком походим.

— Конечно! — сказала Зойка. — Мы вон какой год пишем, чтоб наши бараки снесли…

— А чего? Мне наши бараки нравятся, — сказала Вера. — У нас очень хорошие бараки. Во-первых, у нас тепло. Во-вторых, зелень кругом, никакой дачи не нужно, верно, Миш? — Она толкнула Мишку плечом и захохотала.

Зойка махнула рукой.

— Да ну, болтай…

— Я не болтаю, я верно говорю, наши бараки очень даже замечательные, крепкие, они еще сто лет простоят. — И Вера вновь еще пуще захохотала, как взорвалась, она прямо-таки стреляла хохотом и в промежутках вскрикивала тоненьким голосом: «Ой не могу… Ой, верно, еще сто лет

простоят!» Кроме нее, никто не смеялся. Зойка сердито ворчала, потом попросила у шофера папироску и закурила. Вера понемногу успокоилась, повторяя хриплым шепотом, в изнеможении: «Ой не могу…» — и вытирая ладонью наслезившиеся глаза.

Выехали к Трехгорке, на набережную, через большой мост — на Ленинский проспект, вскоре с обеих сторон появились деревянные домики, за ними громоздились кирпичные стены новостроек, подъемные краны, потом новостройки исчезли, остались одни домики, а потом и домики исчезли и остались поля, холмистые, нежно-зеленые под вечереющим солнцем.

Лидия Александровна опустила стекло, машина наполнилась густым, ошеломительно свежим полевым воздухом, и все почему-то примолкли, дышали этим воздухом, а Мишка стал дремать.

Как всегда, когда наступало молчание или когда Вера оставалась одна и болтать было не с кем, приходили мысли о неприятном. Опять вспомнилось шестирублевое одеяло. Придется заплатить, дьявол с ними, она не крохоборка, но теперь уж будет за ними следить: чуть где промашку дадут, она их сразу прищемит. Если они так, тогда и она так. Теперь она им, паразиткам,

спуску не даст. А деньги возьмите, подавитесь, кинет в рожу Раисе Васильевне, вы от моих шести рублей не разбогатеете, а я не обедняю. Хорошо, Лида Александровна подвернулась, по десятке если заплатит — как раз отдать, кинуть в рожу. И еще четыре рубля останется, Николая встретить.

Вера стала думать о Николае, и от этих мыслей сделалось жарко, радостно, и в то же время томила тревога. Чем дольше она думала, тем больше томила тревога. Зачем он, черт проклятый, объявляется? Зачем душу мутит? Пятый месяц уже Вера гуляла с Сережкой, хорошим человеком, татарином, слесарем из института: он и зарабатывает прилично, и пьет мало, вообще очень хороший человек, только болезненный, сердцем болеет. И стала Вера забывать Николая и мечтать о том, как они с Сережкой поженятся. Сережка-то больше ей подходит, по годам ровня, тоже тридцать шесть, а Николай на три года моложе, все корил ее: ты, мол, для меня старая. Ста-рая-старая, а четыре года гуляли и на молоденьких не смотрел. Для чего ж он, проклятый, объявился? Может, новая жена не по вкусу, к старой потянуло? Ох, Коля-Николай, такой лафы уж тебе не будет…

И много еще о чем думала Вера: и о том, как сынишку Юрку сдала в интернат, Николай по-

требовал, как было горько вначале, а потом привыкла, и о том, как болела после аборта, лежала в больнице, ко всем женщинам приходили мужики, несли гостинцы, передавали письма, а ей ни гостинцев, ни писем две недели, одна такая дура была на всю палату, женщины ее жалели, но она виду пе показывала и только ночью ревела, а на четырнадцатый день вдруг явился, стучит в окно со двора, сияет во всю рожу, с букетом, — говорил, что в какую-то командировку угнали, в дальнюю, а может, так и было, — и много еще разных разностей, обид, счастливых дней, разговоров, ласк вспоминала Вера и не заметила, как машина свернула с шоссе на проселок, пошли дачи, березки, заборы, проехали деревянный мост через речку, поднялись на гору, свернули направо — Лидия Александровна командовала, — потом еще направо и остановились возле калитки в ветхом, кое-где покосившемся заборчике.

Дача оказалась большая, деревянная, но старая и запущенная. На терраске были выбиты стекла, дверь заколочена доской. Участок тоже был запущен, меж нескольких высоких сосен густо росли кусты бузины, мелкий ельник, осина.

— И какой же трудяга такую дачку спроворил? Эх-хе-хе… — сам с собой разговаривал шофер. Он

помогал переносить вещи из машины в дом.

Лидия Александровна не слышала, искала ключи в сумке, а Вера отозвалась:

— А кто спроворил, тот и молодец, — верно, Лида Александровна? Тот и жить будет! Верно я говорю?

Работали все четверо дотемна: разбирали хлам, носили мусор, терли тряпками отсыревшую за зиму мебель, трясли и колотили пропылившиеся старые ковры, циновки, от которых пахло затхлостью, выметали, мыли, скребли. Лидия Александровна повязалась платочком, надела штаны, синие, грубые, вроде брезентовых, майку безрукавную и возила без отдыха, так же как Зойка с Верой, не отставала. Зойка даже больше филонила — то присядет на минутку: «Поясницу схватило», то курить пойдет в сад. В двенадцатом часу решили кончать. На другой день осталось только окна помыть на втором этаже.

Мишку, который уморился скорей всех, уложили спать наверху, в самой теплой комнате, и он мгновенно заснул, а сами сели ужинать на террасе. Оказалось — нет заварки, забыли взять из Москвы. Лидия Александровна пошла куда-то к соседям. Вера и Зойка сидели тем временем на террасе — окна были закрыты от комаров,

да и прохладно стало, хотя прохлада и комары сочились сквозь разбитые стекла, — и ели лапшу, которую Вера привезла в кастрюльке.

— Как думаешь, сколько Лиде Александровне лет? — спросила Зойка.

— А лет тридцать пять, думаю. Мне ровесница. Эх, лапша-красавица! Мало взяла, правда? Лида Александровна— хорошая женщина, очень хорошая, трудолюбивая.

— Конечно, хорошая, когда жизнь хорошая, — сказала Зойка, и ее длинное худое лицо приняло знакомое Вере выражение скрытой обиды, после чего Зойка обычно говорила что-нибудь злое. Зойка поглядела на потолок террраски, на желтый, из вощеной бумаги абажур и на его отражение в черном стекле… — А я думаю, под пятьдесят есть. Сын-то какой здоровый..

Когда Лидия Александровна вернулась с заваркой, Вера спросила, сколько ей лет. Та ответила: сорок четыре. Кириллу уже восемнадцать. Ходит на первый курс института. Вера очень изумилась.

— Ну, не скажешь, Лида Александровна, ни за что не скажешь! Я против вас старуха, у меня и зубов нет, и морщины кругом, а ведь я на восемь лет моложе. Почему ж такое? Наверно, у вас ха-

рактер покойный, а я изо всего переживаю.

Зойка молчала, все с тем же выражением скрытой обиды разливала чай в чашки.

— По-моему, вы на себя наговариваете, Вера, вы очень симпатичная, кругленькая такая. Как колобок, — сказала Лидия Александровна и засмеялась. — И, наверно, мужчинам нравитесь, правда?

Вера тоже засмеялась, польщенная.

— Вот как сказать, Лида Александровна: когда в кино пойдешь, обязательно какой-нибудь увяжется провожать. Даже девочкой называют. В потемках-то не видать!

— Она им, конечно, нравится, потому что она их на свои деньги кормит, — сказала Зойка.

— Кого я кормлю?

— Да всех. Что ж я, не знаю?

— Ну, кого я кормлю? Кого, кого?

— Кольку кормила всю дорогу? Кормила. Аркашу-милиционера кормила? Скажешь, нет? А теперь Сережку кормишь.

Вы, верно, Вера, чересчур добрая?

— Да не слушайте вы ее, Лида Александровна! Врет она. Она вообще такая завистная.

— Уж чему завидовать…

— Конечно, завистная, потому что меня наве-

щают, а к ней — раз в год по обещанью. Меня мужчины уважают, Лида Александровна, очень даже уважают, я с ними как товарищ: я и выпить могу — ну, немного, конечно, зачем много пить, правда же? — и закусить, и одолжить, если до получки. Конечно, сколько одолжить? Ну, полтора рубля или три, как обычно. Я с ними как товарищ, ей-богу, Лида Александровна.

— Дура, у тебя комната отдельная! — сказала Зойка. — А нас четверо на двенадцати метрах.

Вера хотела было ответить, но вместо этого начала вдруг икать. Минуту-другую она боролась с икотой, потом махнула на Зойку рукой: чего, мол, с тобой говорить? Продолжая икать, она положила на колени свою круглую старомодную сумку, подарок артистки, когда-то красивого темно-зеленого цвета, а сейчас сильно потертую, с расшатанным замком, и стала торопливо рыться в ней, выкладывая на стол разные предметы: гребень, зеркало, какие-то бумажки, огрызки карандашей, которыми она писала квитанции в прачечной, и наконец вынула покоробившуюся на глянцевой бумаге фотографию.

— Прочитайте вот, Лида Александровна. Это мне Коля подарил в День Военно-Морского Флота. — Она еще раз икнула и прошептала: — Ой

господи, спаси и помилуй…

Лидия Александровна взяла фотографию, прочитала вслух:

— «На добрую память в День Военно-Морского Флота от Николая З.». Да, — сказала Лидия Александровна. — Ну что ж, очень хорошая надпись. Девушки, а что, если погасить свет и открыть окна? Сейчас чудесный воздух в саду.

— И вот представьте, Лида Александровна, — сказала Вера, вставая, чтоб погасить свет. — Четыре года с ним гуляли, и ничего у меня не осталось, одна фотография. Хоть бы колечко какое или сережки, например. А мне ничего не нужно.

Как только погасла лампа под желтым абажуром, стало видно, что небо еще светлое, как бывает в июне. На терраску вместе с прохладой вливался чистый, хвойный, травяной, уже сыреющий по-ночному воздух леса.

Вера взяла чайник и пошла на кухню подогреть на плитке. Вечерами Вера любила попить чайку как следует, стакана по три. Пока ее не было, Зойка успела рассказать Лидии Александровне, что Вера не такая уж простенькая, как кажется, что она все «хихом» да «хахом», а дела свои обделывает очень ловко, сына вон сдала в интернат: одна клиентка помогла, из райисполкома. Самой

бы ни за что не устроить, а вот клиентка помогла. Сумела, значит, упросить. Одной-то жить, конечно, в тысячу раз легче. Наварила лапши на три дня, и вся забота. Она и в кино успевает, и в ГУМ, и к ней гости придут, а у нее, у Зойки, трое на руках, старый да малый, и крутись как хочешь.

Пришла Вера с чайником, и Зойка замолчала. Лидия Александровна стала рассказывать о своей жизни: ее первый муж умер восемь лет назад от туберкулеза, человек был очень хороший, научный работник, и Лидия Александровна после его смерти жила трудно, бедствовала, болела, сынишка был маленький, хотели продать эту дачу, потому что нечем было платить в кооператив, но кое-как перебились, стали пускать жильцов на лето, а потом Лидия Александровна встретила хорошего человека, тоже научного работника, и он взял ее с сыном, и теперь она живет хорошо. А она уж не надеялась жить когда-нибудь хорошо. Женщина никогда не должна терять надежды. У нее есть одна знакомая, художница, ей пятьдесят лет, и она недавно вышла замуж за одного человека моложе ее на восемь лет, тоже художника, который совершенно ее боготворит. У нее тоже было отчаянное положение: муж бросил ее внезапно, крупный военный, они прожили двадцать

лет. Влюбился в одну балерину, ленинградку из театра Кирова, и уехал в Ленинград. А эта женщина, художница, живет сейчас замечательно и счастлива. Муж у нее очень талантливый, он декоратор, оформляет наши выставки за границей, без конца разъезжает, навез ей массу вещей…

Вера и Зойка слушали жадно, молча. Обе устали, зевали по очереди, им хотелось спать и одновременно хотелось слушать: жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так не похожа на их собственную жизнь, но чем-то странно напоминала ее. Особенно поразили их слова Лидии Александровны насчет того, что женщина не должна терять надежды. Это было именно то, что они обе смутно чувствовали, но никогда не догадались бы выразить так ясно и четко. И постепенно они обе, уже не слушая Лидии Александровны, стали думать о себе, о своих надеждах.

Надежд у них было много, и они их никогда не теряли. Все свои надежды, начиная с давнишних, юных и глупых, они несли с собой.

Потом стало холодно, Лидия Александровна закрыла окна, и все пошли спать. Спали плохо, мерзли, дом был сырой. Вера и Зойка поверх пальто накрывались еще коврами и циновками.

А утром было тепло, солнечно, пели птицы. Мишка и Вера бегали по саду, по влажной траве, ловили сачком бабочек. Посмотреть издали: оба маленькие, белоголовые, мальчишка с девчонкой.

Зойка, неумытая, с лицом серым, отекшим, стояла на крыльце, чесала волосы.

— Хватит вам прохлаждаться! Мишка, беги за водой! — кричала сердито. — Кончаем по-быстрому — и домой. Нечего тут…

Лидия Александровна рано утром ушла на станцию звонить в Москву, вернулась веселая: к двенадцати приедут оба, муж и сын. По словам Лидии Александровны, муж ее был человек добрый, но бесхозяйственный и больше всего на свете любил тишину и покой. Поэтому Лидия Александровна старалась все работы по дому делать в его отсутствие. К одиннадцати часам окна наверху были помыты, но пришлось еще разбирать сарай и выносить поломанную кушетку со второго этажа в сад, к забору.

Никто не приехал ни в двенадцать, ни в час. Вера с Зойкой все кончили и теперь ждали приезда мужа, он должен был привезти деньги. У Лидии Александровны было с собой только семь рублей.

В середине дня стало очень жарко. Вера и Зойка, умывшись у колодца, сидели на скамейке перед крыльцом и совещались вполголоса, просить ли прибавки. Вера сомневалась, а Зойка говорила, что просить надо непременно, потому что насчет сарая не договаривались и насчет веранды тоже. Двадцать шесть рублей должна дать, это законно. И еще Зойка подбивала Веру спросить у Лидии Александровны, можно ли взять пустые бутылки из-под вина, которые за сараем, их там шестнадцать штук и вроде они брошены как на свалку, а если их помыть да сдать — все ж таки полтора рубля. Можно их в сетки насовать и в Москву свезти.

— Ну и спроси, — сказала Вера. — Спроси, спроси!

— Зачем я? Ты спроси. Ты ж договаривалась.

— А мне ни к чему. — Вера беспечно махнула рукой. — Таскаться…

Зойка даже побледнела от злости.

— Ах ты, барыня дерьмовая, таскаться ей, — зашипела она. — Конечно, тебе свободно, парня сдала, можно и не таскаться. А мне как же жить?

— Я и говорю: спроси…

Подошел Мишка, в руке у него был странный овальный предмет, оплетенный соломкой.

— Мам, гляди, походная фляжка! — заговорил Мишка тихо, радостным голосом. — Это я там, в углу, где мусорный ящик, нашел. И совсем новая. Давай возьмем?

— Не смей ничего брать без спроса! — Зойка вырвала у него из рук фляжку и положила на скамейку, — Отнесешь, где взял.

— Да ее ж выбросили…

— Значит, дрянь какая-то, и нечего дрянь подбирать. Не бегай никуда, мы через пятнадцать минут поедем.

— Ма-ам, а мне в лагере в походы ходить, фляжку нужно… — заныл Мишка.

— Сунь в сумку, и все дела, — сказала Вера. — Если выбросили — значит, не нужна. Подумаешь, разговору.

Мишка сделал робкое движение к фляжке и протянул руку, но Зойка сильно шлепнула его по руке.

— Я тебе что сказала? А ты, дура, его не учи.

Мишка надулся и отошел в сторону. Постояв немного, он вдруг решительными шагами пошел к калитке.

— Не уходи далеко, скоро поедем! — крикнула Зойка.

— Ага, а купаться когда же?

— Без меня на речку не смей! Слышишь? Я тебе запрещаю!

— Ага, сама обещала… — Сварливый Мишкин голос все удалялся.

— На речку не смей! Михаил! Слышишь, что ль?

Калитка хлопнула. Лидия Александровна высунулась из окна второго этажа, крикнула обрадованно: «Приехали?» Вера ответила: «Нет, это Миша пошел». А Зойка ворчала зло: «Приедут, дожидайся… Полное воскресенье тут потеряли… А нету денег — не нанимай людей…»

Но когда Лидия Александровна спустилась вниз, Зойка заговорила с ней своим льстивым, умильным голосом, склонив голову набок:

— Лидия Александровна, я вот чего хотела спросить — насчет посуды…

Никто не приехал и в три часа.

Зойка потребовала себе семь рублей, взяла пустые бутылки и уехала с Мишкой, а Вера осталась ждать. Долго сидела она с Лидией Александровной на терраске, пила чай с хлебом — ничего больше у них не осталось, и денег не было, чтоб купить, — и советовалась о жизни: как ей быть, когда Николай придет? Соглашаться ли, если он снова гулять захочет, или послать его, прокля-

того, куда подальше? Сережка, татарин, человек очень хороший, добрый, но там мать путается. Мать мечтает ему татарку найти, а они матерей очень слушаются, татары: он поперек матери ни за что не пойдет. Он и ночевать-то у Веры редко когда остается, а все норовит, как ни поздно, домой пойти. Не хочу, мол, чтоб мать волновалась. А чего ей волноваться? Она Веру прекрасно знает. Сколько раз Вера к ним заходила, картошку с рынка приносила и белье стираное всегда сама им привозит, а по субботам полы моет, во всех комнатах, у них семья большая, три комнаты в деревянном доме. На Волоколамке живут. Иной раз уж троллейбус не ходит, второй час ночи, так Сережка пешком до Волоколамки идет. А если б не мать, говорит, я бы с тобой сию минуту расписался. Так что вопрос этот очень сложный и разобрать его тяжело.

Лидия Александровна ничего не могла посоветовать, да и голова у нее была занята другим, и только говорила: «Главное, Вера, помните о своем женском достоинстве». Вера согласно кивала: «Точно, точно, Лида Александровна! Это уж обязательно…» Вера рассказывала и о своей прежней жизни, о детстве в селе Богородском, о сиротстве, о войне, о том, как в ремесленном учи-

лась, как тетка померла и Вера осталась хозяйкой в комнате, как к ней сватался один старичок, шестьдесят пять лет, из города Камышина, но Вера его прогнала: догадалась, что зарится на комнату. Рассказывала Вера, а сама думала про Николая и вдруг решила, что ничего хорошего от сегодняшней встречи не будет. Нет, не будет. Не может ничего быть хорошего. Пятерку до получки попросит, вот и все. Пятерку либо десятку. И как пришла к ней в голову эта внезапная простая мысль, она сразу замолчала. Лидия Александровна тоже молчала, сидела задумавшись.

Вера вздохнула.

— А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось?

Лидия Александровна покачала головой.

— Нет, Вера, никакого несчастья.

В пятом часу пошел дождь, и когда он кончился, очень СКорq, Вера собралась ехать. У нее было своих денег рубль двадцать. Шестьдесят копеек она оставила себе, шестьдесят одолжила Лидии Александровне, а то ей не на что было возвращаться.

На станцию Вера шла проселком через луг. Высокая, готовая для косьбы трава с обеих сторон проселка едва заметно шевелилась, дышала, ее колебало парным дождевым воздухом, поднимавшимся снизу. Вера сняла туфли, пошла босая. Много лет не ходила она по такой теплой летней дороге босыми ногами, она шла медленно, совсем одна на большом лугу, и никуда не хотелось ей торопиться.

1966

• БЫЛ ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ

На семьдесят четвертом году жизни Ольга Робертовна решила съездить на родину. Много лет собиралась она это сделать, но ее собственная жизнь и жизнь века складывались таким образом, что сделать это никак не удавалось. Вышло так, что с тех пор, как Ольга Робертовна уехала из родного города в 1906 году, она больше там не была. Родной язык она уже немного позабыла, он был ей не нужен: муж и дети говорили по-русски, и сама она за пятьдесят два года жизни в России превратилась в русскую, выдавали ее лишь отчество «Робертовна» и легкий акцент, от которого прибалтийцы не могут избавиться до самой смерти.

Летним вечером, в июне, Ольга Робертовна приехала на вокзал, провожали ее невестка и внучка. Внучка была беременна, на шестом месяце, носила тяжело, лицо ее постарело, сделалось худым, некрасивым, Ольга Робертовна беспокоилась за нее и была против того, чтобы внучка приезжала с. дачи на вокзал. Вечер был душный, за Москвой громыхала гроза. Ольга Робертовна любила внучку, а к невестке относилась прохладно, в

глубине души считала ее недалекой, мещанкой и была уверена, что сын не прожил бы с ней и пяти лет. Сын Ольги Робертовны покончил с собой в тридцать девятом году. Были у Ольги Робертовны три дочери: одна умерла в раннем детстве, две другие выросли, вышли замуж, нарожали детей, но жили от Ольги Робертовны отдельно. Ольга Робертовна не могла жить с ними: старшая дочь поселилась в Баку, там было слишком жарко, а другая жила в Москве, но в большой семье мужа, вместе с его родителями.

Невестка, рыхлая дама с красным пористым лицом, в пенсне, однообразно повторяла, чтобы Ольга Робертовна остерегалась резких перемен погоды, которые могут поднять давление. «По вечерам не выходите из дома, я вас умоляю!» У нее был такой вид, словно она очень тревожится, отпуская Ольгу Робертовну одну в путешествие. На самом-то деле она, разумеется, радовалась тому, что Ольга Робертовна уезжает хоть ненадолго, хоть на несколько дней, и муж невестки тоже радовался. Но Ольгу Робертовну это не трогало. Она любила внучку, и внучка любила ее, она это знала, хотя внучка не говорила никаких слов, выражавших заботу, а только просила купить фарфоровые банки для крупы с надписями «рис»,

«пшено», «манная». Внучка видела такие банки у своей подруги, они были куплены как раз в том городе, куда ехала Ольга Робертовна.

Когда поезд тронулся, невестка и внучка шли некоторое время рядом с окном и махали Ольге Робертовне, им пришлось идти быстрым шагом. Ольга Робертовна вдруг испугалась за внучку, жестами показывала им, чтоб они остановились, но они не понимали, и дура невестка даже слегка побежала, махая изо всех сил. Впрочем, с ее стороны все это было искренне. Наконец поезд тихо рванул, они скрылись. Были сумерки, в купе зажегся свет. Ольга Робертовна долго сидела у окна и думала о невестке, о своих дочерях, о молодом муже внучки, который поселился в их квартире недавно и своим поведением уже несколько настораживал Ольгу Робертовну: он казался ей недостаточно скромным и себе на уме. Вполне могло быть, что он женился на внучке только для того, чтобы получить московскую жилплощадь. Он был из Ростова, жил в общежитии. Ольге Робертовне показалось, что он разговаривает с нею малопочтительно, и она резко приструнила его, когда он вздумал назвать ее «бабушкой».

Поезд вошел в полосу грозы. По крыше стучал ливень, свет в купе померк. Лежа под одеялом

в темном купе, озарявшемся иногда блеском далекой молнии, Ольга Робертовна задремала. Ей приснилось вдруг давнее: салон-вагон, потрескивавший красным деревом, с бронзовыми бра, с запахами кожи и махорки, топот бегущих ног по крыше, стрельба на каждой станции — лето девятнадцатого года, поездка на Южный фронт. Сергей Иванович был во сне не такой, каким был летом девятнадцатого, а молодым, совсем молодым, каким был когда-то давно, когда они встретились на мызе пасмурным летом; их познакомила Эльза, он носил очки в тонкой стальной оправе и золотисто-рыжую бородку, как у немца. Они сели на велосипеды и поехали по узкой тропинке к морю, был ветер, полы его светлого полотняного пиджака раздувало, а она, как всегда, когда ехала на велосипеде, боялась остановиться. Но он был рядом, он ехал в двух шагах от нее, и это ее успокаивало. Вдруг она подумала, что этого не может быть: ведь он умер! Он умер давно, он не мог ехать рядом с ней на велосипеде.

Среди ночи Ольга Робертовна проснулась. Два ее попутчика храпели, наверху что-то методически звякало, какая-нибудь пряжка или ключик от чемодана раскачивался от хода поезда. Ольга

Робертовна вдруг подумала, что, наверно, она сделала глупость, согласившись на эту поездку. Если бы еще лет на двадцать раньше, а сейчас слишком поздно, она стара, жизнь кончается, а жизнь ее близких кончилась давно. Кого она там встретит? У старух не бывает детства. Старухи вспоминают детство своих детей. Уж очень ее донимали приглашениями, слали письма, телеграммы, особенно старался Никульшин. Он был очень любезный, этот Никульшин, но встречи с ним были для Ольги Робертовны тягостны. «Господи, зачем я согласилась? — думала она с тоской. — Говорят, там тяжелый климат, без конца меняется давление…» Она не замечала, что думает о своей родине, как о чужой стране.

Утро было ясное, светило солнце, город приближался. Ольга Робертовна с волнением смотрела на маленькие дома в зелени, черепичные кровли, людей на велосипедах, фабричные трубы, заборы, старые, из потемневшего кирпича стены со следами полустертых вывесок.

На перроне Ольгу Робертовну встречали Никульшин, пионеры с цветами, молодой человек — сотрудник музея — и три седые женщины, которых Никульшин назвал «наши ветеранки». Седые женщины растроганно сморкались,

вытирали платком глаза и целовали Ольгу Робертовну. Она не ожидала ничего подобного. Ее фотографировали. Пионеры запели песню на родном языке. Ольга Робертовна напряженно вслушивалась, стараясь понять каждое слово и кивая в знак того, что понимает. Но два-три слова она все-таки не поняла, песня была новая, дети пели не очень внятно, а может быть, за пятьдесят лет немного изменилось произношение. Потом Никулышин посадил Ольгу Робертовну в свой маленький автомобиль и повез в гостиницу.

Она смотрела из окна автомобиля на улицы, их старинные повороты, излуки, изгибы, исчезающие дома, раскрытые и темные в глубине парадные двери, и она знала, что все это она когда-то видела и теперь должна вспомнить. С тихим и все растущим волнением она заставляла себя вспоминать, но почему-то ничего не вспоминалось. «Я же видела когда-то этот двухэтажный дом с башенкой, — убеждала она себя, — и эту площадь с фонтанчиком, и этот облезлый многоэтажный дом, где оконные переплеты напоминают кресты, и даже этих двух старичков — счастливые, дожили вместе до старости! — сидящих на скамейке возле парадного».

Никулыпин спросил:

— Ну, как родные пенаты? Узнаете?

— По-моему, вы знаете… По-моему, ничего не узнаю! — Ольга Робертовна даже засмеялась. — Склероз.

— А! — сказал Никульшин и тоже засмеялся. — Ничего, это сначала. А потом вспомните. Я ведь сам из Грозного и вот после окончания института приехал к родным пенатам, и знаете, что характерно…

Он был довольно молодой, этот Никульшин, лет сорока пяти, но уже полный, седоватый, с висячими багряненькими щечками. Ольга Робертовна еще в Москве заметила, что он глуп, озабочен своими личными делами, но она все это прощала ему: ведь Никульшин был первый человек, который после стольких лет молчания сказал добрые слова о Сергее Ивановиче и теперь писал брошюру о нем.

Она знала, что и это приглашение ее в родной город он выхлопотал — с большим трудом, через Министерство культуры, — имея в виду какие-то свои личные, ерундовые, коммерческие цели, и все равно она была ему благодарна.

Из гостиницы, где Ольга Робертовна немного отдохнула и привела себя в порядок, Никульшин повез ее к себе домой обедать. Ей не очень

хотелось сразу идти в гости, но отказаться было неловко. Ей хотелось побыть одной и пройтись по улицам. Она начала вспоминать их, не какую-то одну или две, а все вместе. Что-то забытое поднималось в душе, что-то такое, о чем она даже не подозревала, что это еще есть в ней. И возникло это от воздуха улиц, от его запаха: она распахнула окно в своем номере, увидела очень близко старые, потемневшие с краев черепичины в известковых пятнах голубиного помета, дымчатое небо, и вдохнула сыроватый воздух, и вдруг вспомнила его.

Но весь первый день Ольге Робертовне не удалось побыть на улице, она провела его до вечера в гостях у Никульшина. Долго обедали, было много людей, какие-то школьные учителя, их жены, молодежь, потом привели одного беленького красноглазого старичка, утверждавшего, что он знал Сергея Ивановича по вологодской ссылке и встречался с ним во 2-й армии, в двадцатом году. Ольга Робертовна не помнила этого старичка, и фамилия была ей незнакома. Она не любила людей, которые знали Сергея Ивановича, но о которых она сама ничего не знала: ей чудились недостоверность, фальшь, претензия на что-то принадлежавшее только ей. И она была суха

с красноглазым старичком. Бее гости к вечеру ушли, но Никульшин попросил Ольгу Робертовну остаться и послушать первую главу брошюры о Сергее Ивановиче. Глава рассказывала о возвращении Сергея Ивановича из Петербургского университета в Двинск в 1902 году и называлась «К родным пенатам». Никульшин писал очень высокопарно, как пишут в газетах, и Ольге Робертовне это не нравилось, но она промолчала, зная о том, что о революционерах принято писать высокопарно и что важно не то, каким языком будет брошюра написана, а то, что она вообще появится, с портретом, после стольких лет молчания. Но жена Никульшина, полная маленькая брюнетка, которая во время чтения сидела здесь же в комнате и чистила клубнику, вдруг стала спорить с Никульшиным из-за какой-то фразы. Никульшин возражал с неожиданной резкостью. Спор из-за фразы внезапно перешел в ссору, нелепую, мелкую и настолько привычную, что ее не могло сдержать присутствие чужого человека. Жена Никульшина схватила таз с клубникой и убежала в другую комнату. Никульшин пошел за ней. Все это было неприятно и знакомо: Ольга Робертовна наблюдала много таких ссор между своей невесткой и ее нынешним мужем, нечто

похожее, в зародыше, уже было однажды между внучкой и этим молодцом из Ростова. Эти нелепые, мелкие ссоры происходят, наверное, оттого, что люди нелепо, мелко живут. Ольга Робертовна спокойно пошла в соседнюю комнату, где вполголоса бранились супруги, и примирила их. Они примирились легко. Им было неловко.

Весь этот длинный день, волнения, разговоры утомили Ольгу Робертовну, и в гостинице она почувствовала сердцебиение и боль в голове. Она сразу легла в постель, приняв две таблетки дибазола. Ночью проснулась в испуге. Было сильное сердцебиение и трудно дышать. Ольга Робертовна нажала на звонок горничной, но никто не пришел, звонок не работал. Ольга Робертовна зажгла свет, приняла сорок капель валокордина, открыла окно и села возле окна в кресло.

Был четвертый час утра. Белая ночь гасла. Светлое небо казалось пустым, бесплотным, в нем не было ни облаков, ни сини, ни звезд, — одна светлота. Дома на противоположной стороне улицы верхушками выплывали из белого тумана, а внизу туман густел, скрывая улицу. Ольга Робертовна толкнула раму, за окном были сырые черепицы, дома с темными окнами, спящие голуби, ночь. Кто-то шел по тротуару, стуча палкой. Сердце-

биение понемногу утихло, и голова стала ясней. Ольга Робертовна увидела такую же ночь в этом городе, когда ей было восемнадцать лет, а Сергею Ивановичу двадцать один; они возвращались с вечеринки, он что-то нес в портфеле, что нужно было передать кому-то, кто уезжал в Питер. Они познакомились недавно, между ними еще ничего не было. Тогда была первая ночь, белая ночь, такая же, как эта. Он был высокий, выше ее на голову, ходил в студенческой фуражке, хотя уже два года не учился в университете. Она плохо говорила по-русски, он учил ее, и она смеялась, очень много смеялась в ту ночь, потому что он говорил смешное и они выпили вина на вечеринке. Вот так же вставала улица из тумана, только близко у моря, и пахло морем, каменная лестница вела на второй этаж, в комнате было полукруглое окно, и они оба знали, что делают плохо, потому что тот человек, уезжавший в Питер, ждал их, но ей было восемнадцать лет, а ему двадцать один. Он снимал комнату у одной старенькой немки, немецкие изречения готическим шрифтом на деревянных дощечках были разбросаны на стенах, на столе. На полке, прикрепленной к спинке дивана, стояли в ряд десять маленьких слонов из янтаря, они прыгали, когда полка тряслась, и

падали один за другим. Она смотрела, как они сползают с полки и падают. Этого никто никогда не узнал, не узнает, это никому не нужно знать, но она запомнила на всю жизнь, как падали маленькие слоны. Они упали все десять, сначала на него, потом на пол, она боялась, что они разобьются, но ни один не разбился. Потом у них долго существовало такое выражение: «Чтоб падали слоны». Никто не понимал, что это значит. Иногда он говорил, когда приходили гости, за обедом: «И пусть падают слоны!» — и подмигивал ей. Гости думали, что за тостом кроется какой-то значительный смысл, с удовольствием чокались с ним и повторяли: «Да, да, пусть падают слоны!» — не подозревая того, что он хулиганит. Он был большой озорник. Никто не знал, какой он озорник. За обедом он всегда выпивал одну-две рюмки настойки. Разве кто-нибудь может все это описать так, как было? Туман рассеялся, небо еще посветлело, и стали видны нижние этажи домов. Уже можно было прочитать вывеску над темным провалом ворот: «Приемный пункт».

На другой день Никульшин повез Ольгу Робертовну в музей, потом, после обеда, — в библиотеку, и все следующие четыре дня Ольга Робертовна непрерывно где-то выступала, с кем-

то встречалась, рассказывала о Сергее Ивановиче и терпеливо слушала длинную, высокопарную лекцию Никулышина о 1905 годе. Потом Никулышин привез ее в давно не крашенный, старинный дом на набережной — из окна автомобиля она увидела гладь воды, парусные лодки, такие же, как были когда-то, солнце дробно сверкало в том месте, где купальщики прыгали с лодок, и вдруг вспомнился двоюродный брат Ян, прочно забытый уже пятьдесят лет; он возник от парусных лодок, он был бесстрашный, мальчишкой ходил на яхте в Германию, потом уехал в Америку, его мать очень плакала, темно-рыжие волосы с пробором сбоку и медное, наглое, доброе, с белыми ресницами мальчишеское лицо, — поднялись с Никулышиным по лестнице на второй этаж, прошли по коридору, и из маленького окошка Ольге Робертовне дали пятьдесят рублей. Никулышин тоже получил какие-то деньги. Ольга Робертовна была смущена, в первую минуту даже хотела отказаться от денег, но подумала о том, что отказываться глупо, что это так же принято, как все остальное, и своим отказом она может обидеть Никулышина.

В тот же день Ольга Робертовна купила в комиссионном магазине очень красивый шарф для

внучки. Он стоил как раз пятьдесят рублей.

Ольга Робертовна старалась разыскать — Никульшин помогал ей — нескольких людей, которых она знала в юности. Их было немного. Она уехала отсюда слишком молодой. Ни одного человека не удалось найти: одни умерли, другие кинулись в Россию в годы революции и след их пропал, одна семья погибла во время последней войны в гетто.

В пятницу Ольга Робертовна поехала на киностудию, где обсуждался киносценарий Никульшина на революционную тему (одним из действующих лиц, правда в эпизоде, был выведен Сергей Иванович, и потому присутствие Ольги Робертовны было очень важно), а в субботу решила ехать домой. Ночами она плохо спала: думала о внучке, и думала как-то тягостно, беспокойно. Сценарий на революционную тему почему-то не приняли, и Никульшин так расстроился, что слег с сердцем и в субботу не смог Ольгу Робертовну проводить. Она попрощалась с ним по телефону. Поезд уходил вечером. День был совершенно пустой, никто никуда не приглашал Ольгу Робертовну, все покупки она сделала, в том числе купила фарфоровые банки с надписями «рис», «пшено», «манная», и она села в автобус и поехала

за город на старую фабрику, где работала когда-то работницей.

Автобус долго шуршал по шоссе, моросил дождь, яблони в садах стояли темные, поникшие, и вокруг них круговым, едва заметным облаком реял дождевой пар.

Кирпичные ворота фабрики были те же, что пятьдесят лет назад. Ольга Робертовна вошла во двор, справа увидела двухэтажное длинное здание с широкими окнами, его раньше не было, а слева, за рядом лип — деревья стали громадными, разрослись необыкновенно — увидела забор, выкрашенный темно-зеленой краской, и за ним железную крышу, один вид которой как будто толкнул ее в сердце. Эта железная крыша внезапно выпрыгнула из памяти, как двоюродный брат Ян. Под крышей должен был быть барак, деревянный барак, в котором Ольга Робертовна молоденькой девушкой жила почти год. Она напрочь забыла этот барак. Никогда не вспоминала о нем.

Ольга Робертовна быстро пересекла двор, прошла через ворота в темно-зеленом заборе и увидела барак. Он был оштукатурен и покрашен охрой. На крыше стояли телевизионные антенны. Но это был тот самый барак, в одной из

комнат которого жила Ольга Робертовна с двумя подружками.

Через двор, шлепая ногами в галошах, шла маленькая сгорбленная старушка. Она несла сумку с двумя бутылками молока и булочкой. На голове старушки и ее согнутой спине лежала как защита от дождя голубая хлорвиниловая клеенка.

Ольга Робертовна увидела старушку и остановилась. Потом пошла ей навстречу.

— Марта! — сказала Ольга Робертовна, и старушка подняла древнее лицо в глиняных складках, с большим серым носом и голубенькими лунками вместо глаз. У Ольги Робертовны замерло сердце.

— Хельга, это ты? Я тебя узнала. — Старушка улыбнулась. Голубенькие лунки наполнились водой. — Боже, ты совсем старая, Хельга! Как ты поживаешь?

— Очень хорошо, — сказала Ольга Робертовна, задыхаясь. — А ты?

— Почему ты не вернулась, Хельга? Ты обещала вернуться. Я ждала тебя. Ты не прислала ни одного письма!

Старушка, перестав улыбаться, склонила голову набок. Клеенка начала сползать с ее плеч, и Ольга Робертовна обняла старушкину сухонькую,

навсегда потерявшую способность разгибаться спину и осторожно взяла из ее рук сумку.

— Я тебе помогу, — сказала Ольга Робертовна едва слышно, потому что силы еще не вернулись к ней. — Ты живешь там?

— Да, да, — сказала старушка. — Разве ты забыла?

Они медленно двинулись к бараку по дорожке, мощенной кирпичом и огороженной низкой деревянной оградой. Дождь все еще моросил. Навстречу бежали люди. Несколько парней, сокращая путь, перепрыгивали через ограду и бежали по траве. Две старушки шли молча. Ольга Робертовна поддерживала Марту под руку и видела, как они прощались здесь, во дворе; тогда не было асфальта, была пыльная земля, летний полдень, Сергей Иванович ждал на извозчике, Марта с белыми-белыми вьющимися волосами плакала; обещались писать, никогда не писали, все оборвалось навсегда, началась Россия, ссылки, вода к утру замерзала в ведре, дети росли здоровые, пароход по Енисею бежал ярким июньским днем, и шла война, и потом был Питер, квартира на Лиговке, толпы людей во дворе Таврического, орущие всю ночь «ура», он был ранен в июле, чуть не умер от тифа, потом фронт был три года,

вагоны, митинги, пайки хлеба, Москва, «Альпийская роза», потом Гнездниковский, голод, театры, работа в книжной экспедиции, дети росли; в октябре поехали однажды в Крым, без детей, поездом до Симферополя, там в эвакопункте Сергею Ивановичу дали машину «форд» с карбидовыми фонарями, ночью машина то и дело ломалась, вещи привязали сверху, и один чемодан потерялся в дороге, и море лежало внизу жемчужно-серого цвета; они сидели вдвоем на обрыве долго, пока шофер бегал куда-то ремонтировать тягу, а чекист искал чемодан, так и не нашел, и лучше этого рассвета над морем не было ничего никогда в ее жизни; потом исчезло много зим, лет, дней, июльских вечеров на терраске с открытыми окнами, куда втекал снизу, с клумб, сладкий дух табаков, мешаясь с разговорами вполголоса, чтобы дети не слышали, но дети знали, и как-то он сказал: «Будь готова, это случится со мной тоже», но случилось не с ним, а с нею, он умер внезапно, в собственной квартире на Воздвиженке, а она узнала о том, что он умер, через три года на Дальнем Востоке; предки дали ей медленную балтийскую кровь, ее руки не боялись труда, стали корявыми, как у батрачки, она работала, вынесла все, вернулась, сына не было, дочери смотрели

чужими глазами, говорили «вы», она вынесла и это, вынесла всю долгую дорогу, которая началась здесь, на пыльном дворе, жарком от прямого солнца, замусоренном обрывками пряжи, и вот она пересекла этот двор.

Она стояла перед крыльцом барака. Марта протягивала руку, чтобы взять у нее сумку.

— Почему ж ты не написала письма? — спросила Марта, глядя на Ольгу Робертовну почти с отчаяньем.

— Извини меня, — сказала Ольга Робертовна. Ей было жалко маленькую старушку, и она наклонилась и поцеловала ее в висок. — Извини меня, Марта. Так получилось. Я не виновата, честное слово.

— Ну ладно, хорошо, иди на кухню, Хельга, и поставь чайник. Ты помнишь, где кухня?

Ольга Робертовна поднялась по ступенькам крыльца, нажала на дощатую дверь. Она распахнулась. Коридор был темен и не имел конца.

А в понедельник утром Ольга Робертовна стояла в очереди за молоком в «гастрономе» и рассказывала одной знакомой женщине из соседнего подъезда, какая погода в Прибалтике: все пять дней почти сплошь дожди.

1966

• САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД

После двух часов езды в Станке Димитрове «остановились на площади. Сыпался мелкий, вдруг исчезавший дождь, облачное от самой Софии небо кое-где разрывалось, в разрывах сверкала голубизна. Посреди площади стояла очередь крестьян, ожидавших автобус на Самоков. Мы зашли в сладкарницу, где было дымно, пахло кофе, за столиками сидели старики, очень много стариков, они ничего не ели, не пили, а просто курили, смотрели друг на друга и молчали.

Когда мы вошли, они стали смотреть на нас. Они смотрели на то, как мы снимаем плащи, садимся, как Пенчо закуривает, как Аля хмуро глядит в окно, как подходит официант и Пенчо заказывает три кофе «по-турски» и как потом мы с Пенчо оглядываемся кругом и видим всех этих стариков, глядящих на нас. Болгарские старики отличаются от русских тем, что любят собираться в кучу. Русские старики более нелюдимы и в то же время более болтливы. Они могут разговаривать сами с собой. Некоторые старики в одиночку гуляют по скверу на Песчаной улице или сидят на скамейках напротив фонтана и тихо рассуж-

дают сами с собой. Я редко видел, чтобы русские старики собирались больше чем по три, четыре человека. В Болгарии же встречаются громадные сборища молчаливых стариков. Аля очень подошла бы к компании болгарских стариков. За весь сегодняшний день она сказала всего одну фразу. Утром в гостинице, когда мы ждали Пенчо, она спросила: «Зачем мы сюда поехали?»

Я сам не знал, зачем мы сюда поехали. Пенчо пригласил нас, и мы поехали. Надо было куда-то поехать. Алины каникулы начинались двадцать девятого, а мы вылетели двадцать седьмого. Пенчо встретил нас в аэропорту на своем старом «рено», на том самом, на котором мы ездили когда-то к морю, а в другой раз — возвращались с моря по южной дороге, сделав крюк, чтобы заехать на Шипку. Я думал, этого «рено» уже нет на свете. Он и тогда еле скрипел, а дорога от Пловдива до Софии, сто пятьдесят километров, запомнилась мне как ночной осенний кошмар: четыре раза садился задний левый баллон, Пенчо убегал куда-то в темноту, и мы его ждали по часу в машине, потом он возвращался, стучал ключами, клеил, бубнил, чертыхался, просил нас то выйти из машины, то сесть, мы ползли со скоростью двадцать километров в час, каждую

секунду страшась того, что снова что-то лопнет и мы остановимся. Это было четыре года назад, в октябре, мы возвращались с моря, где никто уже не купался, кроме нас и нескольких немцев, на пляже было безлюдно, тяжелый лекарственный запах осеннего моря разносился ветром и долетал до шоссе, где изредка пробегали полупустые автобусы, где, шурша, бродили по асфальту сухие листья, а над шоссе, над виноградниками, на самой верхотуре горы дед Кириак скучал в своей халупе, курил трубку и слушал по радио Стамбул. Виноград он снял, люди разъехались, и дела его кончились. Иногда мы поднимались к нему по каменистой тропе, такой крутой, что приходилось идти согнувшись, и садились на маленькой площадочке перед халупой, где помещались скамейка и стол, и дед Кириак выносил брынзу, пахнувшую овцой и морем, и бутылку мутного молодого вина. Подмигивая так, что одна сторона его беззубого, смуглого, крючконосого лица сжималась, как рукавица, дед Кириак жестом предлагал нам зайти в халупу и воспользоваться его деревянной кроватью, застеленной клетчатым грубошерстным пледом, одним из тех прекрасных родопских пледов, которые не изнашиваются век. Мы говорили, что нам не

нужно, спасибо, у нас есть отличная кровать в отеле, чья плоская крыша белеет вон там внизу, между шоссе и морем.

Дед Кириак согласно качал головой и бормотал: — «Так» — говорят поляки, «Ано» — говорят чехи, «Гут» — говорят немцы. «Добре» — говорим мы, болгары, «Да» — говорят русские…

Он подчеркивал этим, что связи его безграничны, что ему ничего не стоит завести дела с немцами или поляками, лишь бы они платили деньги или давали вино, сигареты, что-нибудь. Но с тех, кто ему нравился, как, например, тот длинный Януш и его черноволосая, похожая на туркиню девушка замечательной красоты, он не требовал ничего. Халупа деда Кириака была известна на побережье. Но нам она была не нужна.

Мы сидели на скамейке, пили вино и смотрели на море, на почти неподвижный, километрах в десяти от берега, смутно-голубой пароход, идущий в Констанцу, на мыс Калиакрия с его восковой зеленью. Дед Кириак рассказывал, как в детстве он нырял в море возле этого мыса, мечтая найти сокровища погибших здесь древнегреческих кораблей. Много людей приезжало сюда из Софии, некоторые даже из Вены и из Парижа, нанимали ныряльщиков и водолазов — это было

до войны, — но никто не нашел сокровищ. Деду Кириаку попалась один раз золотая монета, вот и все.

— И хорошо, что я не нашел сокровищ, — говорил дед Кириак. — Они бы сделали меня несчастным. Я уехал бы в другую страну, бросил бы свою Величку, заболел бы там и умер. А сейчас мне шестьдесят восемь лет, но я еще крепкий, веселый, меня любят толстые женщины, и я люблю толстых женщин и буду жить долго.

Однажды я встретил толстую рыжеволосую женщину: она спускалась по каменистой тропе. На ее пляжной сумке, наполненной виноградом, была надпись «Gott mit uns». Ее толстые ноги ступали нетвердо, ее толстые руки, покрытые свежим, багровым загаром, делали плавательные движения, а ее глаза смотрели туманно. Раза два в месяц приезжала к деду Кириаку из Варны его жена Величка, рыхлая отечная старуха, страдавшая одышкой. Она с трудом, отдыхая подолгу, взбиралась по тропе к халупе и потом лежала час на кровати, успокаивая сердце. Она приезжала забрать деньги.

Дед Кириак любил Величку. Он целовал ее в губы, гладил ее обвисшие щеки и говорил: «Моя красавица македонка!»

В середине октября, когда приехал Пенчо с Марией, мы последний раз зашли к деду Кириаку выпить вина перед дорогой. Шел слабый дождь. Тропа, обычно в дождь непреодолимо скользкая, не успела даже намокнуть. Облачное небо стояло над морем, как пар. И мыс Калиакрия был не виден. Дед Кириак говорил, что накануне был у него дурной сон: будто держит двумя руками две громадные, высотой с человека, амфоры, они. качаются, вырываются из рук, и наконец одна падает и бьется на мелкие кусочки, все вино проливается на землю, а другая хоть и падает, но остается цела, только часть вина выплескивается. «Этот сон — к смерти, — сказал дед Кириак. — Кто-то умрет из моих близких. Я думаю, это весть о смерти отца, ему девяносто два года, он живет в городе Мелник на греческой границе».

Тогда я впервые услышал о Мелнике, о самом маленьком городе Болгарии, становящемся все меньше и меньше, о городе, угасающем, как человек. Мне захотелось увидеть его: на Земле так мало угасающих городов. Большинство городов Земли предполагает жить вечно. Но тогда мы спешили в Софию, оттуда в Москву, где нас ждали дела, Алька, перемена квартиры, и я не знал, приеду ли я еще раз в Болгарию, был почти уверен в

том, что не увижу Мелник, хотя в глубине души жила странная надежда, какая-то тень надежды на то, что когда-нибудь я увижу его.

Это было четыре года назад. И вот что случилось с тех пор: я остался один. Мария ушла от Пенчо к югославу и живет в Триесте. Дед Кириак умер. Я остался один со своей молчаливой Алей. И в Софии была зима, Я ехал по городу, не узнавая его. Ненужно торчали платаны и тополя — голые, ободранные зимой. Через три дня предстоял Новый год, и повсюду на домах, в витринах магазинов видны были буквы ЧНГ, обозначавшие три слова: «Честита нова-та година». Отель «Болгария» был пуст: иностранцы разъехались встречать рождество по домам. А мы с Алей приехали из дома сюда, в пустой отель. «Что мы будем тут делать?» — спросила Аля в первый же вечер, когда мы с Пенчо поужинали, он уехал и мы остались одни. Аля сидела у стола и вырезала из болгарского журнала портреты киноартистов, а я лежал на диване и смотрел в окно. «Не знаю, что мы будем делать, — сказал я. — Посмотрим. Что-нибудь придумаем. Можем поехать, например, в город Мелник. Очень интересный город. Его население неуклонно уменьшается». — «Ну и что?» — спросила Аля.

От Станке Димитрова, где старики смотрели на нас в сладкарнице, до Мелника оставалось не меньше ста двадцати километров. Дорога шла прямо на юг, снег исчезал, земля обнажалась, голубые прорехи в облаках становились все просторней, солнце по-летнему освещало луга, башни из брикетов светло-зеленого прессованного сена, ровные, убегающие до края холмов ряды фруктовых деревьев; вдруг все меркло и вновь наступала зима, серая равнина, одетые по-зимнему люди стояли на каменных тротуарах деревни, женщины полоскали белье в луже, над которой дымился пар горячего источника, дорога поднималась, слева на горизонте вставали горы — то была Рила. Впереди нас все время шел черный «мерседес» с греческим номером, в заднее стекло был виден сидящий за рулем мужчина в белой рубашке, рядом с ним курчавый темноволосый мальчик, а может быть, это была маленькая женщина, мужчина иногда обнимал мальчика или маленькую женщину правой рукой за плечи, придвигал к себе, несколько километров они ехали обнявшись, и Пенчо сказал, что утром они будут в Афинах.

Автострада вошла в горы. Мы ехали теперь вдоль Струмы, она струилась в камнях, она стре-

милась на юг, к Эгейскому морю, которое болгары называют Белым; мы ехали то справа от Струмы, то слева, — я почему-то не замечал, каким образом мы перескакивали с одного берега на другой, и каждый раз удивлялся: «Почему мы справа? Ведь только что были слева». Когда-то в незапамятные времена, шесть лет назад, я ехал в Родопах, и меня как мгновенным холодом овеяло вдруг то ощущение счастья, которое тогда было со мной. Это было сложное и одновременно такое ясное, полное, вбиравшее в себя все остальное, но неосознаваемое ощущение покоя, простое, как сон души, и в этом сне были дорога, узнавание, мысли о деле, о моем деле, только о моем и ничьем больше, и упругость руки, и ожидание встречи, и любовь, которая жила со мной так же незаметно и привычно, как дыхание, и сумерки, и прохлада ущелья, и шум реки, и еще то, что за поворотом, за горами, за годами.

Снова было ущелье, другое ущелье, но такое же сумеречное, и шум реки. Но того ощущения, похожего на сон, не было. Как всё, и это бывает у человека однажды. Проклятое, единственное однажды, о котором не догадываешься, когда оно есть, а потом оно возникает уже как воспоминание.

— И когда царь Самуил увидел своих воинов, — говорил Пенчо, — которых император Василий отпустил из плена, он упал на землю и умер от горя…

Я видел, как они брели долиной Струмы из византийского плена, цепляясь друг за друга, и те, кто падали, оставались лежать. Василий Второй, прозванный Болгаробойцем, ослепил все войско царя Самуила, разбитое при Беласице, пятнадцать тысяч болгар, оставив кривым каждого сотого.

Аля, дремавшая на заднем сиденье, вдруг проснулась и спросила:

— А зачем — кривым каждого сотого?

— Как же! Чтобы кривые могли видеть дорогу и вести остальных. Ты понимаешь? Один кривой шел впереди, — с воодушевлением заговорил Пенчо, — а девяносто девять слепых, держа друг друга за руки, шли цепочкой за ним. Это было тысячу лет назад, осенью. Они шли через горы, леса, вдоль рек…

— И по этому ущелью тоже?

— И по этому ущелью тоже. Они шли везде. Царь Самуил перенес столицу в Орхиду. Это гораздо южнее, — Сейчас там Югославия.

— Но как могли девяносто девять… Ведь это

ужасно длинная цепочка! Как же они шли?

— Им было очень трудно, — сказал Пенчо.

Он напрягал память, стараясь вспомнить школьную историю. Ему казалось, что он должен развлекать нас.

— Я не понял, при чем тут Мелник, — сказал я.

— Как же! Я говорил, что Мелник был осажден этим Василием Болгаробойцем и долго не сдавался. И только благодаря коварству одного грека…

Камни вдоль Струмы лежали в тех же нагромождениях, что и при царе Самуиле. И еще раньше, до царя Самуила — при фракийцах, при греках, римлянах, готах — всё было так же, как сейчас, если не считать асфальтированного шоссе, построенного недавно. Из тысячелетнего котла, в котором кипели и мешались племена и народы, выплыл смуглый, курчаво-седой, голубоглазый громадный Пенчо, мой милый Пенчо, который зачем-то вызвал нас из Москвы, зачем-то вез зимней дорогой в Мелник, вместо того чтобы сидеть сейчас в Русском клубе или у журналистов и пить ракию, закусывать салатом по-шопски, кусочком белого сыра, потом взять кофе, еще кофе, и еще ракию и снова кофе, потому что все время подсаживаются новые люди, каждый что-то заказывает, приносит новые слухи, новый смех,

огорчения, страхи, анекдоты, разговор не смолкает; после часу можно поехать в Венгерский, там открыто до двух, а оттуда в «Асторию», которая, разумеется, есть лишь пародия на настоящий бар, но там можно встретить забытых друзей, и снова кофе, еще раз кофе, потом, на исходе ночи, долго ковыряться со старой клячей, — она не заводится, что-то в карбюраторе, или вдруг сел баллон, левый задний, и придется оставить ее до утра там, где она стоит, и идти домой пешком. Прекрасно идти домой пешком на рассвете. От брусчатки идет запах травы и даже тянет росой. Мимо собора вниз, а потом направо по темной узкой улице, где нет ни одного фонаря и ни одно окно не горит.

— И все-таки они хотели жить? — спросила Аля.

— Как же! — сказал Пенчо. — Конечно, они хотели жить.

— Я бы не могла. Я бы бросилась в реку.

— Нет, — сказал Пенчо. — Человек может пережить все. Ты не понимаешь еще. Не дай бог тебе это понять когда-нибудь. — Аля не ответила. Пенчо помолчал. — Они дошли до своих домов, те, кто не умерли по дороге, их встретили жены, и они родили детей. Они могли родить много

детей, эти слепые. Какой-то слепой солдат был, может быть, мой предок. Если б он упал духом от горя и бросился в реку, я бы не был на свете. Как же! — Снова помолчав, он сказал:

— Та цепь, которой шли слепые царя Самуила, держась за руки, она не порвалась и дотянулась до нас, и мы держим их за руки, тех слепых болгар.

— А они держат нас, — сказал я.

— Они держат нас, как же! — сказал Пенчо и покачал головой, что у болгар означает не отрицание, а как раз наоборот: утверждение и согласие.

«Мерседес» с греческим номером исчез: мы свернули с автострады на восток. Мелник лежал в котловине, окруженный грязно-белыми скалами. Дома теснились по берегам обмелевшей речонки, которая была сейчас просто рвом, заваленным большими камнями. Пенчо медленно вел машину по вязкому берегу. Дома были старые, с прочными толстыми стенами и маленькими окнами, они карабкались по склону, нависали один над другим, их крыши напоминали лестницу.

Возле длинного здания, похожего на барак, с вывеской «Ресторант Мелнишна Лоза», Пенчо остановился. Здесь, наверное, был центр. На другой стороне речонки, куда вел деревянный,

заляпанный грязью мост без перил, стояли два дома с какими-то вывесками, неразличимыми с нашей стороны. Мы вышли из машины. Было холодно.

В ресторане, имевшем продолговатый, с высоким потолком зал, за столами не сидело ни одного человека. Перед входом стояла железная печка-времянка, а в ней горели дрова, и два парня в черных свитерах, в грубых рабочих брюках сидели возле печки, сгорбившись, как два старичка, и грелись. Они даже не посмотрели на нас. На стенах зала еще сохранились новогодние украшения: гирлянды из золотистой бумаги и разбросанные кое-где буквы ЧНГ. В углу стояла елка. Ее украшало множество маленьких бутылочек, среди которых было и несколько больших бутылок и даже две двухлитровые, оплетенные соломой бутылки из-под вина «Мелник». Наверное, в новогоднюю ночь это бутылочное украшение казалось забавным, а сейчас, в пустом зале, выглядело глупо.

Аля сказала, что ее укачало и она немного постоит на воздухе. Она вышла, а мы с Пенчо сели за стол. В окно я видел, как Аля подошла к берегу, нагнулась, подняла с земли какую-то палочку и стала чертить на земле. Издали она была похожа

на взрослую женщину.

— Я был здесь семнадцать лет назад, — сказал Пенчо. — Мы с Марией были тогда студентами.

Оглянувшись на дверь, он проговорил быстро:

— Знаешь, два года я ждал ее каждый день. Я не спал ночи и ждал, что она позвонит. Два года!

— Ты надеялся.

— Нет, не надеялся, а мучился. Это было страдание. Ты не понимаешь, как же! — Он продолжал вполголоса, потому что приближался официант. — Непереносимое страдание. Знать, что она где-то есть, но — не со мной…

— А знать, что — ***нигде***? ***И никогда***?

— Ах, нет! — Он махнул рукой. — Это другое! Это — природа, мироздание, как же…

Официант, не понимая по-русски, слушал наш разговор и улыбался. Пенчо заказал три кибабчета и бутылку вина «Мелник». Вошла Аля, и я по ее глазам понял, о чем она думала; ее лицо было бледно и ничего взрослого, такое маленькое, детское, бледное гордое лицо, и мое сердце рванулось и сжалось, но я ничего не сказал. Следом за Алей вошел мужчина в брезентовой куртке, наброшенной на плечи, и присел к железной печке. Теперь там было трое. Они сидели молча.

— Им все ясно! — сказал Пенчо, подмигнув мне

и Але. — О чем им говорить? — Затем, вспомнив, что он должен развлекать нас, он сказал: — Это лесорубы. Здесь все мужчины работают в горах лесорубами или на виноградниках. В Мелнике самый сладкий виноград в Болгарии. Сирийская лоза, ее вывезли из Сирии.

Мы съели кибабчета, выпили вино, потом Пенчо куда-то отошел. Аля перегнулась через стол и спросила шепотом:

— Папа, зачем мы сюда приехали?

— Как — зачем? Мелник очень интересный исторический город. Его население неуклонно уменьшается…

Пенчо вернулся к столу вместе с официантом, который сказал, что директор школы Боржиков, сосед официанта, может рассказать кое-что об истории Мелника. Если нужно, он, официант, может за ним сбегать. Сейчас каникулы, и директор должен быть дома. Тут же, не снимая форменной куртки, официант выскочил на улицу и — я видел в окно — перемахнул мостик и побежал по крутой тропинке в гору.

Довольно скоро он вернулся так же бегом и, задыхаясь, сообщил, что директора нет дома, он гонит ракию. Если мы желаем, он может нас проводить к «казану».

«Казан» был каменным сарайчиком с трубой, из которой валил дым. Земля вокруг «казана» была топкая, в лужах, и лужи все увеличивались благодаря струйке воды, сочившейся из водопроводной трубы внизу, у цоколя. Прыгая с камня на камень, мы прошли ко входу. Там было полутемно, посреди в земле был очаг, где тлела гора угольев, справа стояли два чана, соединенных перегонными трубами. Сухой и жаркий от тлеющих угольев, насыщенный спиртовым запахом воздух сразу обнял нас и одурманил. Мы остановились у двери. Четверо — учитель Боржиков, его взрослая дочь, сын-подросток и родственник Боржикова — быстро работали, едва поздоровавшись с нами. Сын-подросток бросал уголья, дочь заливала воду, Боржиков и его родственник поднимали большую тяжелую кадку, наполненную выжатой виноградной кожурой, называемой «джибри» — из нее-то и получалась ракия, — и опрокидывали кадку в чан. Потом так же быстро накрывали чан крышкой, и замазывали щель вокруг крышки глиной.

Слева на лавке сидели три старика. Они держали руки над очагом, шевелили черными пальцами, потирали ладони, и двое из них смотрели на работающих, а третий, совсем древний

старик в круглой шапочке, был слеп: он вытягивал темное сморщенное личико в сторону чана и нюхал воздух. Старики ждали ракию. Аля тихо подошла к ним и села на лавку, а мы продолжали стоять у двери.

Прошло не больше четверти часа, и учитель Боржи-ков дал старикам и нам по «голяме» — большой рюмке— прозрачнейшей виноградной водки. Потом пошли к нему в дом. Снова пробовали ракию, ели сливовое варенье, и Боржиков рассказывал кое-что об истории Мелника. О виноторговцах, торговавших с арабами и с Испанией, о богомилах и турках. Я не понял одного: почему население Мелника неуклонно уменьшается? Пенчо торопил нас: небо посерело, было похоже, что пойдет дождь или снег.

Боржиков почти бегом повел нас смотреть самые старые дома Мелника. Пришлось забираться наверх по кручам, по каменистым разбитым ступеням. Жители этих верхних домов таскали воду снизу. Я увидел старика — того древнего, слепого в круглой шапочке: он карабкался по крутизне, медленный и задумчивый, как жук. Мы стояли наверху, ожидая, пока он подползет к нам. Ему было лет сто. Когда он приблизился, стало слышно, что он что-то напевает под нос. Все-таки он

немного видел и остановился, подняв к нам лицо, которое нельзя было назвать человеческим: это было лицо природы, лицо мироздания.

Пенчо взял его под руку и заговорил по-болгарски. Старик жил еще выше, его дом врос в землю, как дерево. Пенчо повлек старика, они карабкались вдвоем минут десять.

Вернувшись к нам, Пенчо сказал:

— Старик немножко, как у вас говорят, таво… — Он покрутил пальцем у виска. — Это отец деда Кириака. Ты помнишь деда Кириака?

Я помнил.

— Он даже не знает, что деда Кириака нет в живых. Сказал, что сын в Варне, капитан большого парохода. И что у сына есть жена Величка, замечательная красавица македонка.

— Ему сказали про сына, — сказал Боржиков. — Но не верит. Не хочет верить и — ничего!

Боржиков засмеялся и тоже покрутил пальцем у виска.

Снеговая туча спустилась низко, набухла, окунула в себя вершины гор, стало трудно дышать. Пенчо сказал, что если скоро не уедем, то застрянем где-нибудь в дороге: снегом завалит шоссе. Я взял Алину холодную руку: «Ты замерзла?» Она покачала головой. «Хочешь подняться к этому старику? Поговорить с ним. Мы ходили к его сыну, и он угощал нас вином, брынзой. Мы очень любили ходить к его сыну в гости. Он был такой милый старик». Аля снова покачала головой, в ее лице мелькнула слабая гримаса, и она сказала: «Нет, не хочу». Она взяла меня под руку, и мы стали спускаться вниз. Мы прошли берегом до площади, перешли мост без перил и остановились возле машины. Земля была уже белая от снега.

1967

• ГОЛУБИНАЯ ГИБЕЛЬ

Однажды утром, уже одевшись, в шапке, Сергей Иванович подошел к окну, чтобы посмотреть, какова погода и надевать ли галоши, и увидел голубя. Голубь был похож на борца: могучая спина и крохотная головка. Он сидел на узеньком железном отливе и, склонив головку набок, косым, шпионским взглядом засматривал в комнату. День был сырой, всю ночь шел мокрый снег, окна запотели, и голубь не много смог увидеть через стекло.

Он увидел грязную вату между рамами, пролежавшую там ползимы и успевшую почернеть от копоти; две поллитровые стеклянные банки на подоконнике, одну с клюквой, другую с кислой капустой, и на одной банке он увидел блюдце, на котором лежал кусочек масла в вощеной бумаге; и веревочную авоську, прицепленную к замку форточки и висевшую между стеклами, в которой хранилось несколько сморщенных сосисок. И еще он увидел старое, заметно опухшее со сна лицо Сергея Ивановича, его седые брови, немигающий взгляд и желтые от табака пальцы с широкими, плоскими и тупыми ногтями, почесы-

вающие подбородок. Это увидел голубь. А Сергей Иванович увидел то, что привык видеть по утрам в течение многих лет: семиэтажную пропасть, кирпичную, с дождевыми потеками изнанку дома, и крыши напротив, утыканные трубами и антеннами, и внизу, на дне пропасти, — туманный, заваленный серым снегом двор, беззвучную суетню людей, бегущих по утренним своим делам кто куда. И голубя на карнизе. Дымчато-синего, с розоватым отливом, цвета остывшей после горна стали. Странный нежданный гость! Никто поблизости не держал голубей, и вдруг — пожалуйста.

Сергей Иванович, размышляя, продолжал чесать ногтями подбородок… Потом стукнул по стеклу мундштуком трубки. Голубь подергал туда-сюда головкой, но не двинулся с места.

— Глянь-ка, мать, кто к нам залетел, — сказал Сергей Иванович. — А погода собачья, хуже вчерашнего.

Он зажег трубку, сунул ноги в галоши и вышел поспешно, ибо уже запаздывал минуты на три против обычного. А Клавдия Никифоровна, проводив мужа до входной двери, вернулась в комнату, подошла к окну и тоже увидела голубя, прибитого непогодой. Внизу, на дворе, чернела мокредь. По стеклу змейками сочился истаявший

снег. «Ах ты господи, склизь-то какая, — огорчилась Клавдия Никифоровна. — И верно, хуже вчерашнего». Она открыла форточку и бросила на карниз горсть хлебных крошек, думая о своем старике: как бы не поскользнулся дорогой.

…Жили одиноко. Сын Федя погиб на войне, дочка с мужем, механиком по автоделу, лет девять назад завербовалась на Север., да так и прикрепилась там, писала редко. Сергей Иванович, несмотря на года — седьмой десяток на половине, — трудился на той же фабрике, где полжизни отработал, теперь, правда, не мастером в кроватном цехе, а кладовщиком в инструментальной кладовке. А Клавдия Никифоровна хозяйство вела. Хотя какое в Москве хозяйство? В «гастроном», да в молочную, да сапожнику обувь снести.

Клавдия Никифоровна и пригрела нечаянного голубя: начала подкармливать мимоходом, а потом — привыкла. Ядрицу для него покупала, булку крошила, обязательно белую: от черной голубь клюв воротил. Сергей Иванович шутил: что, мать, забаву нашла? Скоро, спрашивал, на крышу полезешь — свистеть в два пальца и тряпкой махать?

Шутил-шутил, а, приходя с работы, стал между

прочим интересоваться:

— Ну, как наш иждивенец? Прилетал нынче?

Голубь прилетал ежедневно и вскоре совсем освоился на седьмом этаже и даже голубку привел, белую, как молочный кипень, с черными глазками в аккуратных янтарных оболочках. Когда потеплело и можно было открыть окно, Сергей Иванович смастерил — так, скуки ради, чтоб руки занять, — деревянный ящик с круглым очком и выставил на карниз:

— Вот вам, уважаемые, квартира от Моссовета. И безо всякой очереди.

В квартире этой скоро запищал птенец, беленький, в мамашу, очень прожорливый и ленивый. Через месяц он стал размером со взрослого голубя, но все еще не умел ворковать и летал, как курица.

Особенно полюбились голуби соседской Маришке, девочке лет девяти, которая по болезни неделями не ходила в школу и слонялась, скучая, по большой, безлюдной в дневные часы квартире, не зная, чем заняться. Клавдия Никифоровна жалела эту Маришку — бледненькую, на тонких мушиных ножках, — всегда зазывала ее к себе, и та сидела у окна, грызла морковку и смотрела на голубей. А родители Маришкины были люди

занятые, пропадали на работе до вечера: Борис Евгеньевич работал библиотекарем в самой главной библиотеке, а Агния Николаевна учила в школе, в старших классах. И была еще у них бабушка, Софья Леопольдовна, старушка лет под восемьдесят, совсем почти глухая, но еще крепкая, на ногах — на всех готовила и в магазины ходила.

Весна между тем забирала круче.

Расталкивая облака, гуляло над городом влажное синее небо. В овощном магазине, где всю зиму торговали консервами и черной картошкой, появился парниковый лук. По утрам мимо окна проносились стремительные, пугавшие Клавдию Никифоровну серые тени, внизу ухало, наверху гремело железо: рабочие сбрасывали снег с крыши.

Несколько теплых апрельских дней дотла сожгли хоронившийся кое-где снег, залили Москву мутной быстрой водой, но солнце высушило эту сырость очень скоро, и к маю тротуары были сухи. В мае на балконе седьмого этажа появился мальчик в бордовом свитере и в зеленых брюках от лыжного костюма. Мальчик готовил на балконе уроки. Он сидел на стуле, положив одну толстую ногу на другую, и, жмурясь от солнца,

что-то зубрил и царапал карандашом в тетрадке. Но чаще он держал карандаш во рту, делая вид, что курит трубку, или же строгал карандаш ножичком, а заодно подравнивал ножичком стул. Время от времени из двери высовывалась рука и протягивала мальчику бутерброд или яблоко. Съев яблоко, мальчик метал огрызок в балкон четвертого этажа, целясь в алюминиевое ведро, стоявшее там, и, если выстрел бывал удачным, ведро отзывалось гулким колокольным звуком. Иногда он просто кидал огрызок вниз, наобум, и, подождав немного, выглядывал через перила: в кого попал?

А скоро мальчик обнаружил голубей, стал приходить на балкон с рогаткой и стрелять в голубей абрикосовыми косточками и кусочками цемента, которые он отколупывал от балкона. Сергей Иванович как-то заметил это, пристыдил из окна:

— Эй, дяденька большой, ты что ж хулиганишь?

Мальчик засмеялся, покраснел и убежал в комнату.

Однако через день или два мальчик вновь появился на балконе и вновь готовил уроки и стрелял из рогатки. Потом неделю шли дожди, и голуби получили передышку. А в середине

мая, когда снова наладилась солнечная погода, однажды утром пришла неожиданная посетительница: высокая молодая дама в шуршащем плаще и с длинным цветастым зонтиком.

— Здравствуйте, я Моргунова из шестого подъезда, — сказала дама, с треском складывая зонтик и входя в коридор. — Я пришла относительно голубей.

— Заходите в комнату, милости просим, — сказала Клавдия Никифоровна.

— Нет, спасибо, я на минутку. Я только насчет голубей. Голуби ваши, да? Дело в том, что ваши голуби, эти милые существа, играют совершенно роковую роль в нашей семье. Нет, поймите меня правильно! Я против голубей в принципе ничего не имею… — Моргунова говорила таким громким, жизнерадостным голосом, что из своей комнаты вышла соседка Мария Алексеевна, и даже старушка Софья Леопольдовна, — глухая-глухая, а тоже услышала, — приползла из кухни.

Сергей Иванович не сразу сообразил, чего хочет дама с зонтиком. Упорным взглядом исподлобья он рассматривал ее полное румяное лицо с маленьким ротиком, красиво обрисованным розовой помадой, ее шуршащий переливчатый плащ, сопел трубкой и думал: до чего же народ

стал балованный, это на удивленье! И то им не так, и другое, и черта лысого не хватает, а как в войну переживали — об этом уж никто не помнит. Вникнув, догадался: дама просит, чтоб голубей убрали. А спроси ее — зачем? Почему такое это нужно, чтоб убрать? Кому птицы мешают? Она и не ответит, потому что одна блажь в голове, баловство.

Все это Сергей Иванович подумал про себя, а в разговоре не проронил ни слова. Клавдия Никифоровна очень вежливо и разумно отвечала даме. Она сказала, что ученику необязательно готовить уроки на балконе и что от голубей никому не может быть беспокойства, если не обращать на них внимания и не шмалять в них из рогатки. Конечно, сказала она, с учениками хлопот довольно, кто говорит. Сама, слава богу, двоих вырастила, и внучка уже в третий ходит, в Мурманске живет. Конечно, кто говорит: учиться нынче не сахар. Хоть в Москве, хоть где. С ребят требуют очень крепко…

Моргунова сказала, что ей, к сожалению, некогда разговаривать, она должна идти по делам, но напоследок повторила:

— Вы уж, пожалуйста, ваших птиц уберите. Это наша категорическая просьба. А то муж хотел

обратиться к общественности.

И, улыбнувшись приветливо, она ушла.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна были несколько озадачены последними словами Моргуновой, но, поразмыслив, сочли все происшествие пустяком, не стоящим внимания. А Мария Алексеевна, женщина деловитая (одиннадцать лет кассиршей на одном месте, в «гастрономе»), сказала, что она хоть эту Моргунову не знает, но слышала, что у нее в прошлом году работала в домработницах такая Даша, хроменькая, которая сейчас работает у одного профессора, в доме, где овощной магазин, и вот она, Мария Алексеевна, однажды познакомилась с этой Дашей в химчистке, и та порассказала ей всякого-разного про этих Моргуновых: сама, говорит, колотит мужа почем зря, и он ей тоже не дает спуску. Каждую субботу у них гости, выпивка, музыку на полную силу запускают, так, что соседи стучат в стенку и жалуются. Так что, если она что скажет, можно и про нее сказать. Можно эту Дашу в крайнем случае разыскать, она в доме, где овощной, ее там каждый знает, она хроменькая, приметная.

Старушка Софья Леопольдовна тоже была возмущена и кипятилась:

— Какая наглость, вы подумайте! Я бы на ва-

шем месте, Клавдия Никифоровна, ей ответила хорошенько! На мой характер, я бы ей задала перцу, нахалке этакой!

Сергей Иванович махнул рукой и ушел в комнату. В окно увидел, как по двору идет Василий Потапович, направляясь к деревянному столу, врытому подле забора, а за столом, в окружении мальчишек, уже сидят старик Колесов и молодой парень Мишаня Жабин, игрок хитрый и прижимистый: собираются воскресного «козла» забивать. Сергей Иванович играл обычно вечером, когда сходились люди солидные, испытанные годами и злопамятные друг против друга противники. Но сейчас, коли Василий Потапович нацелился играть, да и старик Колесов тут, грех не выйти.

— Пойду, постучу до обеда, — сказал Сергей Иванович, выходя в коридор, где Клавдия Никифоровна продолжала пустой разговор с женщинами. — Позовешь тогда…

Прошло несколько дней, и Клавдия Никифоровна опять заметила, как мальчишка в голубей стреляет. Только начала она ему выговаривать, как на балконе появилась Моргунова в длинном, из блестящего китайского шелка халате и, не говоря ни слова — раз! раз! раз! — отхлопала парня

по рукам. Тот в слезы, а Моргунова повернулась к Клавдии Никифоровне и пригрозила на весь двор: если, мол, до завтра голубей не уберете, будете иметь дело с домкомом.

Сергей Иванович, конечно, и не подумал голубей убирать. Да и куда их? В шкаф? Суп из них варить? Тут, правда, про голубей на короткое время забыли: за Борисом Евгеньевичем пришли ночью и увели. С понятыми Шум был, топот, разговоры, жильцы, конечно, проснулись, вышли в коридор. Агния Николаевна стояла нечесаная, белая и смотрела дико, как пьяная, а старушка Софья Леопольдовна кричала в голос. И только Маришка была спокойная, зевала спросонья, Борис Евгеньевич держал ее на руках до двери. Жильцы с ним прощались. Клавдия Никифоровна сказала:

— Да что ж это, Борис Евгеньевич?

А он посмотрел, улыбнулся:

— Разве не знаете, Клавдия Никифоровна, я же вчера человека убил!

Потом долго, часа два, Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна не могли заснуть, грели чайник на плитке, обсуждали шепотом: мог ли Борис Евгеньевич человека убить? Вообще-то он был шутник, скорей всего пошутил. Скорей

всего в библиотеке что-нибудь допустил, может, ценные книги портил или еще что.

Спустя день-другой после этого случая пришел член домкома Брыкин. Этого Брыкина, полковника в отставке, все в доме хорошо знали: с утра до вечера топтался он во дворе, следил за порядком, подгонял дворников или же сидел в домоуправлении и командовал как общественник слесарями и водопроводчиками, которые ему вовсе не подчинялись и часто даже не желали его слушать, но он никак не мог жить без того, чтобы кем-нибудь не командовать. Было ему лет семьдесят, но оттого, что он днями гулял на свежем воздухе, цвет лица у него был, как у милиционера, очень красный и здоровый. Еще этот Брыкин ходил по квартирам и воевал с неплательщиками, а на самых злостных писал заявления в те места, где неплательщики работали.

Зайдя в квартиру, Брыкин в первую очередь спросил: — Сысойкина дома?

— Нету, — сказала Клавдия Никифоровна.

— Передайте, что если в течение двух дней не оплатит мартовскую жировку, будем разбирать в товарищеском суде. И напишем по месту работы.

— Хорошо, товарищ Брыкин, обязательно передадим. А мы-то уж давно!

— Вы-то — я знаю. Насчет вас тоже есть разговор. Можно к вам пройти?

Не дожидаясь ответа, Брыкин шагнул в комнату, сразу к окну, посмотрел на голубей и сказал:

— Это надо убрать, граждане. Соседи протестуют, из шестьдесят второй квартиры. Согласно положению не имеете права.

— Согласно какому такому положению? — спросил Сергей Иванович, который недавно пришел с работы и сидел за столом, пил чай.

— Имеется положение, — а как вы думали? — если соседи протестуют, то не можете держать никаких домашних животных, и птиц то же самое. Касается одинаково домашних животных или птиц, это безразлично. Могут до штрафа довести, так что советую убрать.

— Ну что ж, — Сергей Иванович вздохнул. — До штрафа мы, конечно, не допустим, товарищ Брыкин. Мы их не заводили, нам что были они, что нет, все едино. Вот девочка с ними занимается, а нам — что ж, пускай.

— Девочка тем более не ваша. Это не причина.

— Наша, наша, — сказала Клавдия Никифоровна и погладила Маришку по голове.

— Где ж ваша? И масть не та. — Брыкин усмехнулся, передние зубы у него были золотые.

Наклонившись к Сергею Ивановичу так, что красные щеки его свесились, как два мешочка, сказал вполголоса — А приваживать не советую.

Тут в комнату заглянула Агния Николаевна, позвала Маришку ужинать.

— А она уж ужинает, — сказала Клавдия Никифоровна. — Вон как хорошо ужинает.

— Нет, нет, не надо мешать чужим людям, Мариша, скажи спасибо, и пойдем.

Агния Николаевна вошла в комнату, поздоровалась с Брыкиным, на что тот как-то неопределенно, не глядя, кивнул, а может, просто опустил голову и вышло похоже, что кивнул, и взяла Маришку за руку. Но девочка не хотела вставать, неспешно допивала чай с блюдца и заедала баранкой.

— Нам ваша дочка нисколько не мешает, — сказал Сергей Иванович.

— Я понимаю, но у вас люди, а ей пора домой.

— А ничего, пускай чайком погреется.

— Мариша, я тебя прошу — быстрее!

Все, даже Брыкин, смотрели на девочку, уплетавшую баранку, с улыбкой, только мать стояла мрачно, глядя на дочь совсем не материнским, холодным взором.

— Ну? — сказала Агния Николаевна.

— Мам, а дядя говорит, что голубков надо убрать.

— Надо — значит, надо.

— Мам, а мне их жа-алко!

— Мало ли что жалко. Вставай! Скажи спасибо и пойдем. Нас бабушка ждет. — И она потянула Маришку за руку из-за стола.

— Да, да, голубков ваших надо убрать непременно, — сказал Брыкин.

Бледное личико Маришки вдруг скривилось, глаза закрылись, и она заревела. Клавдия Никифоровна стала ее успокаивать, совала баранку. Сергей Иванович тоже встал из-за стола, Агния Николаевна тащила Маришку силой, а та ревела все отчаянней. Агния Николаевна не говорила ни слова, лицо ее как будто застыло, и только у самых дверей она вдруг стала кусать губы.

Брыкин сказал, когда мать и дочь скрылись:

— Ну и соседи у вас! — И покрутил головой. — А насчет птиц не затягивайте. К завтрему чтоб.

Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна особенно не огорчились: жили без голубей и проживут. Штраф платить никому не охота. Клавдия Никифоровна сгребла все голубиное семейство — и птенца великовозрастного, который уже летать начал, — и отнесла вместе с ящиком одному

знакомому малому, сыну лифтерши. Вот малый обрадовался-то!

Вечером о голубях не говорили. Точно их и не было никогда. После ужина пошли к Марии Алексеевне в дурачка перекинуться. Потом, когда вернулись и уже спать постелились, старушка Софья Леопольдовна постучала: Маришка плачет, не засыпает, хочет на голубков посмотреть.

— Нету голубков! Все! Улетели! — сказал Сергей Иванович сердито.

А на другой день, лишь только вошел Сергей Иванович в дом, Клавдия Никифоровна ему радостно:

— А у нас гости!

— Кто такие?

— Погляди вот…

Очень смеялись в тот вечер Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна.

— Мы-то их жалели, мы-то их кормили, а они нас разорить хотят, под штраф подвести!

Вскоре и малый, лифтершин сын, прибежал испуганный:

— Тетя Клава, у вас голуби?

— Здесь, здесь. Забирай свое добро и береги лучше…

Отдали ему голубей, а Сергей Иванович взял

молоток и подбил железный отлив таким образом, чтобы, если прилетят голуби в другой раз, сесть им было невозможно.

Утром Сергей Иванович прямо из постели, босой, подошел к окну, глянул — мать честная! — голуби тут как тут. Сидеть им нельзя, так они прицепились к железу и повисли. Все трое повисли. И как ухитрились, на чем держались— непонятно. Эти висящие голуби выглядели так страшно, жутко и трогательно, что Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна растерялись. Марию Алексеевну с племянником пригласили смотреть и Маришку позвали. Маришка оказалась больной, лежала в постели, вместо нее старушка Софья Леопольдовна пришла — совсем согнутая, голова трясется. Племянник Марии Алексеевны, человек ученый, студент института, сказал, что у голубей действует особенная привычка. Им, сказал, отбиться от вашего окна так же трудно, как, например, Сергею Ивановичу бросить трубку курить. Старушка Софья Леопольдовна тоже удивлялась, ахала, потом сказала Клавдии Никифоровне шепотом:

— А у нас беда: Агнию с работы сократили. Как жить будем — не знаю. Книги продаем, ковер продали… — И громко: — Нет, ваши птицы ис-

ключительно редкие! На мой характер, я бы их ни за что не отдала!

Сергей Иванович хмурился, глядя на голубей.

— Ничего, ладно, — ворчал. — Долго не провисят, устанут…

И голуби правда улетали куда-то, но потом возвращались и снова, прицепившись к отливу, терпеливо висели. Так провисели они целый день. И тогда, пораженный этой удивительной преданностью, Сергей Иванович решился: будь что будет, пускай птицы остаются. Нельзя таких птиц отдавать. Два дня прошли спокойно, а на третий явился Брыкин.

— Что ж, граждане? Акт будем составлять?

Ему показали, что ящика нет и даже отлив подогнут нарочно, и рассказали про лифтершина сына и про то, как голуби возвращаются и висят, окаянные, и сделать с ними ничего невозможно. Брыкин разглядывал висящих голубей, качал головой, и его красные щеки тряслись, как два мешочка. Он спрашивал, который тут голубочек и которая голубка, пытался взять их в руки и даже положил несколько крошек на карниз.

Поиграв с голубями, вздохнул, сказал тихо:

— А все равно, граждане, убрать надо неминуемо. И зачем вам, ей-богу, эту пакость держать,

прости господи? Если ради девчонки, то могу сказать вполне ответственно, — он понизил голос, — не жильцы они тут. Ясно?

— Какая девчонка! — Сергей Иванович махнул рукой. — Это нас не касается.

— А нам, видишь, поступило заявление, и мы обязаны прислушаться и принять меры. Так что голуби считаются птица подозрительная, ненужная в наше время. И тем более ученик занимается, и они ему мешают.

— Ну, понятно, чего говорить. У вас тоже служба…

— А как вы думали? Легко ли мне, старику, какой раз к вам на седьмой лезть да вниз топать? Одни вы, что ли, у меня? — Красное лицо Брыкина стало еще гуще, малиново-красным, голос возвысился, белые стариковские глаза с неожиданной злобой уставились в Сергея Ивановича. — Зачем столько уговоров? Пригласить вас повесткой на товарищеский суд, акт составить да штраф влепить — и вся недолга!

Едва упросил Сергей Иванович отсрочку на два дня.

В субботу вечером Сергей Иванович посадил голубей в корзинку, накрыл тряпкой и поехал на Ленинградский вокзал. Он решил отвезти

голубей своей сестре, которая жила за Клином, в ста пяти километрах от Москвы. Клавдия Никифоровна очень тревожилась за своего старика, особенно огорчилась тем, что не заставила Сергея Ивановича надеть вязаную телогрею и взять зонтик. Последнюю неделю зачастили грозовые дожди, в воскресенье тоже была гроза. Клавдия Никифоровна проклинала голубей, соседей, Брыкина, ей мерещились всякие напасти.

Сергей Иванович вернулся за полночь — продрогший, измученный, но довольный и с букетом сирени. Он рассказал, что голуби устроены прекрасно, лучшего и желать нельзя. Обе племянницы, девочки, счастливы до невозможности. Голубям отвели квартиру на чердаке, со всеми удобствами, с окном в сад — не то что ржавый отлив, где даже сесть некуда. А там-то помещение богатое, простор, воздух, сирень цветет, воркуй^на здоровье хоть сто лет.

— Так что попали наши птахи как в дом родной, — закончил свой рассказ Сергей Иванович, усмехнулся устало. — Теперь уж не воротятся…

Воротились голуби во вторник.

Клавдия Никифоровна плакала, встречая мужа в дверях. Она сказала, что голуби прилетели днем, незадолго перед обедом, и мальчишка уже

стрелял в них из рогатки.

Сергей Иванович на цыпочках, боком, подходил к окну, охваченный странным чувством, смесью восторга и испуга. Голуби висели в своей излюбленной позе, опрокинутые навзничь, зацепившись за ржавый отлив. Их крохотные бисерные глаза метали на Сергея Ивановича любовные взгляды.

В третий свой приход Брыкин принес повестку в товарищеский суд: на субботу, на семнадцать часов, в помещении красного уголка.

Был сухой, жаркий, уже клонившийся к вечеру день начального лета. В пустынном дворе — детвора разъехалась по дачам и лагерям — легкий ветер мел по асфальту невесомый прозрачно-серый тополиный пух. Отдельные пушинки достигали седьмого этажа, залетали в окна, а самые отважные, подхваченные теплым воздухом, подымались еще выше, над крышей, над палками антенн, в синее небо. Клавдия Никифоровна смотрела из окна, как ее старик плетется по двору, помахивая корзиной.

Через час он вернулся. Корзина была пуста. Клавдия Никифоровна сразу заметила, что от Сергея Ивановича пахнет вином и у него дрожат руки.

— Отдал? — спросила Клавдия Никифоровна, почему-то испугавшись.

— Не волнуйся, мать. Теперь — все порядок… Порядок, мать.

— С какой же ты радости наклюкался? Постойка… — Клавдия Никифоровна осторожно сняла прицепившееся к пиджаку Сергея Ивановича маленькое белое перышко.

— Это пух, мать. Пух с тополей — поняла? Поняла, старая, чего тебе говорят? Ух ты, мордаха! — Сергей Иванович с глупой пьяной суровостью взял пальцами Клавдию Никифоровну за щеки, сжал их и потряс грубовато, как делал когда-то давно, в молодости. И Клавдия Никифоровна вдруг вспомнила это, что было когда-то, и улыбнулась.

Белое перышко, которое она сняла с пиджака, медленно плыло в воздухе, кружилось, снижалось, но ветер из окна подхватил его, и оно взмыло вверх и тихо — никто не заметил — село на плечо Сергея Ивановича.

А потом — что ж?

Было лето, долгое и сухое, была осень с дождями, были холода, испортилось отопление в третьем подъезде, приходил Брыкин, составляли акт, две ночи спали в шубах, Клавдия Никифо-

ровна мучилась с зубами, Агнию Николаевну с девочкой и старушкой Софьей Леопольдовной переселили куда-то на край Москвы, а в их две комнаты вселились новые жильцы, семь человек, все из Тулы, потом зима кончилась, еще одно лето прошло, объявили амнистию, Сергею Ивановичу назначили пенсию, и он ушел с работы и теперь садился за домино с раннего утра. Потом вышел приказ насчет голубей — разводить их как можно больше к фестивалю, встречать иностранцев, — и за них теперь не то что штраф, а спа^ сибо говорили. И развелось их видимо-невидимо. Повсюду их кормили, на площадях, во дворах, ходили они стаями, толстые, вперевалку, летать ленились, а только ворковали целодневно да гадили где попало, особенно в углах дворов, по балконам и карнизам, и спасу от их пакости, желтовато-свинцовой, не было никакого. А в плохую погоду Сергей Иванович сидел дома и плел для удовольствия маленькие корзинки из цветного полиэтиленового провода. Обрезки такого провода — то ли он был телефонный, то ли еще для каких нужд — приносил Сергею Ивановичу сколько угодно племянник Марии Алексеевны, который уже закончил институт и работал на предприятии.

1968

• В ГРИБНУЮ ОСЕНЬ

Надя возвращалась с Колюшкой и Витей из Москвы, куда ездили на день купаться, а Антонина Васильевна оставалась на даче — сентябрь стоял ясный, грибной, решили пожить до холодов, ребятам последний вольный годик до школы. Было около семи, уже чуть свечерело, кое-где зажглись окна, и Надя лишь только зашла с ребятами на участок и стала подходить к дому, бессознательно заметила темную веранду и темное окно в кухне, что в следующую секунду показалось ей странным, но не очень, потому что мама забывчива и могла задремать, хотя обычно она зажигает свет рано. Надя поднялась по крыльцу, ребята за нею, она постучала в запертую дверь веранды — никто не отозвался; стала стучать сильнее, потом звать громко, ребята весело, изо всех сил орали: «Баба! Ба-ба!» — и, сцепив руки, размахивали ими, глядя друг на друга, как два восторженных дурачка, а Надино беспокойство вспыхнуло внезапно и жутко, и она задыхаясь сбежала по крыльцу вниз и стала кричать с клумбы. На втором этаже стукнула ставня, высунулась белая голова Веры Игнатьевны. Надя

спросила, не видела ли Вера Игнатьевна сегодня маму, старуха ответила, что видела утром: Антонина Васильевна колола возле сарая полешки. «Зачем же она это делала? — крикнула Надя с возмущением. — Почему не могла подождать нас? Я столько раз говорила!» Сердце ее сильно колотилось, она снова взбежала по крыльцу наверх, стала рвать дверь, та не поддавалась, тогда Надя побежала к дому Евлентьевых — она задыхалась уже не только от волнения, но и от физического напряжения, при ее восьмидесяти пяти килограммах и нетренированном сердце бегать было тяжко. На дверях Евлентьевых висел замок, но лестничка лежала, как обычно, прислоненная к стенке гаража. Надя схватила лестничку — правую Надину руку все еще оттягивала сумка с хлебом, помидорами, бутылками кефира и туфлями мальчишек, взятыми из починки, — и потащила лестничку к веранде. Ребята стояли, притихнув, и испуганно смотрели на мать. «Господи, господи…» — повторяла Надя шепотом. Она бросила сумку на землю, приставила лестничку к тому месту веранды, где, Надя знала, было окно, которое легко можно было открыть снаружи, и забралась на лестничку, толкнула раму, с трудом взгромоздилась коленями на подоконник

и рухнула оттуда на пол веранды с таким громом, что на втором этаже могли подумать, что опрокинулся гардероб. Хромая от острой боли в ступне, она бросилась к двери, ведущей в комнаты: кухня была пуста, печка не горела, возле печки на железном листе, прибитом к полу, валялись лучинки и кусок полуобгоревшей газеты, в следующей за кухней комнате в странной позе на полу, прислонившись к краю кушетки и запрокинув голову, сидела Антонина Васильевна. В ее глазах оставалась жизнь. Антонина Васильевна ждала Надю, чтоб умереть. Но Надя осознала это позже, а в тот миг, когда она увидела мать сидящей на полу, когда бросилась к ней, нагнулась, упала на колени, обняла ее за плечи, закричала: «Мама, я здесь! Я сейчас!» — когда оглядывалась по сторонам незрячим взором, ища что-то, еще в тот миг не определенное сознанием, но смертельно нужное, лекарство, или стакан воды, или книжку с адресом доктора, живущего на 3-й линии, который уехал в Серпухов, — господи, он же уехал позавчера в Серпухов! — она все делала повинуясь какой-то темной, надземной силе, возникшей внезапно, как ураган, которая с этого мига овладела ею.

В комнате совсем смерилось, но Надя, не за-

жигая света, одеревеневшими руками стала втаскивать тело Антонины Васильевны на кушетку, шепча одно и то же: «Сейчас, сейчас, мама, сейчас, сейчас, сейчас».

Надины руки и все ее существо дрожали от напора этой сверхчеловеческой силы, с которой никогда прежде не соприкасалась Надина жизнь, и вдруг она поняла, что эта сила есть время, превратившееся в нечто совершенно реальное, вроде ураганного ветра, оно подхватило Надю и несет. От платья Антонины Васильевны шел сильный запах валерианы, а из кухни пахло горелой бумагой.

И как у каждого человека, у нее был поступок, осветивший всю жизнь: двадцать пять лет назад она прогнала мужа, которого любила, но он стал пьяницей, и жизнь с ним сделалась невозможной. Он уехал в другой город, на край земли. Наверное, он там погибал. У него была женщина. Иногда он писал детям странные письма: «Милая Надюша! Дом, в котором я сейчас живу, представляет собою деревянный барак в два этажа с двадцатью четырьмя окнами, тремя дверями, водоразборная колонка недалеко, дымоходы отличаются хорошей тягой…» Надя показывала письма матери, та читала, мучаясь, но не выда-

вая себя — по аккуратному и бессмысленному слогу понимала, что письма писаны в пьяном виде, — и плакала украдкой, но сделать ничего было нельзя. А когда-то была хорошая жизнь, мать вспоминала ее, она плакала, вспоминая, а не жалея: отец был главным инженером завода, ездил в «эмке», приносил паек, была дачка в Крюкове, казенная, от завода, и на участке росли яблони. И вдруг все разрушилось так внезапно и быстро. Мать постарела, выбивалась из сил, особенно в войну изобретала, металась от одного занятия к другому — работала нормировщицей на фабрике, секретарем-машинисткой в конторе ОЗГУПа, ходила с группой детишек на бульваре, была шеф-поваром в столовой, красила дома шелковые платки для одной артели — тянула детей, никто не помогал: старшая сестра, тетя Фрося, хотя жила богато (муж ее, дядя Лева, тридцать лет по министерствам) и была бездетна, но в чужую жизнь не вникала. Ах, бог с ней, с тетей Фросей! Она будет рыдать. Их оставалось двое из большой семьи, она и мама. Она такая завистливая. Чему завидовать? Она находила, и завидовала маме. Мама говорила, что у Фроси дурной глаз. Только раза два в голодные годы, дойдя до точки, мама стучалась к Фросе за помощью, и та одолжала

самой малой малостью, но с разговорами («Кто ж тебя неволил детский сад заводить?» или «Кто тебе виноват, что ты женихов гоняешь, о детях не думаешь?», намекая на одного ветврача, родственника дяди Левы, приезжавшего из Орши в надежде тут прописаться), и мама заклялась когда-нибудь у Фроски просить.

Мама ее жалела. Говорила, что дядя Лева подлец, обманывает ее, а она все знает и терпит. Пусть она приезжает завтра, сегодня не надо, сегодня один Володя. Никого не хочу, не могу видеть, кроме Володи, Господи, если только он дома, если не ушел играть в шахматы к Левину!

Темный ветер гнал Надю по шоссе. Она бежала на станцию звонить в Москву. Навстречу шли люди только что с поезда, нагруженные сумками, свертками, портфелями — из другого мира, где можно идти медленно, можно быть усталыми. Некоторые из них с изумлением смотрели на Надю. Что-то было в ее лице, заставлявшее их смотреть: может быть, она шевелила губами.

Она сейчас думала об одном: о том, что Володи может не быть дома. Когда они ссорились, он всегда уходил из дома — на футбол или к Левину играть в шахматы. Надя была уверена в нем. Ничего другого быть не могло. Однако, когда

мирились, она спрашивала, томясь тайным непобедимым страхом: «А где вы были вчера, молодой человек? Скажете, опять играли в шахматы у Левина?» «Какие там шахматы! — говорил он. — Мы были у девочек. Чудесно провели время». Обрывалось и холодело внутри, хотя она твердо знала, что это шутка, примитивная шутка. Ничего не могла поделать с собой. Он тут же старался поцеловать ее, а она закрывала глаза и отворачивала лицо. Когда касалось Володи, его отношения к ней, что-то происходило с сознанием, какое-то затмение мозгов: она становилась тупа, теряла чувство юмора. Проклятая дача! Еще в мае, когда приезжали снимать, она не понравилась Наде — место невзрачное, хозяйка какая-то угрюмая и хапуга, триста пятьдесят за две комнатки с верандой, — но Володя и мама настояли, потому что близко от станции, и хозяйка до октября уезжала на юг, и надоело искать, а для мамы было главное, что рядом базарчик. Как чуяло Надино сердце, что дача проклятая. Они с Володей почти и не жили там: завезут продукты на неделю и исчезнут, мама одна управлялась. Вечерами играла в карты с ребятишками на кухне, где было всего теплее, а так-то дача холодная, даже летом подтапливали, стены дощатые — и за дос-

ки такие деньги дерут! «Где же наши гулены? Верно, в концерт пошли. По радио передавали — сегодня большой концерт в Москве...» Но Надя и Володя ходили в концерты редко. Чаще в кино, к приятелям на чаек или на футбол, а то сидели дома и телевизор смотрели. И как раз больше всего Надя любила дома сидеть, чтоб С Володей вдвоем, никаких приятелей, и чтоб знать, что дети в порядке — дышат сосной, едят вкусно и правильно, потому что мама великая кулинарка, — и полежать на тахте в тихой квартире с книжкой в руках под верблюжьим одеялом, и чтоб Володя спустился в «гастроном», купил бы сырку, колбаски, и пораньше лечь спать, часов полдесятого нырнуть в свежие простыни, — но зачем же, зачем мама выбрала это проклятое место, куда душа не лежала приезжать?

Он был дома. Надя услышала родной недовольный голос. Не смогла договорить, он закричал на другом конце провода: «Надя, я еду! Меня ждет Левин! Я к нему на секунду и сейчас же беру такси!» Зачем к Левину на секунду? Она силилась понять. Ссора вчера была ничтожна: она рассердилась на то, что юн собрался идти в субботу на день рождения своей двоюродной сестры Риты, вместе с Надей, разумеется, но Надя должна была

ехать на дачу, дать передохнуть маме, и, кроме того, Надя не любила Риту, считая ее фальшивой и скрытно недоброжелательной. Не простила ей, что когда-то давно, когда они с Володей еще не были знакомы, Рита хотела женить Володю на своей подруге. Подруга могла там быть. Конечно, все это вздор, подруга давно замужем, родила детей и превратилась в драную кошку.

И Володя сам не пошел бы, но тут он впал в амбицию. Решил, что ущемляют его свободу. «Ну, конечно! — говорил он. — Я должен делать только так, как тебе угодно!» Мама умела их мирить. Всегда держала сторону Володи. И сколько раз Надя злилась на нее из-за этого, называла «оппортунисткой», а мама была просто умница, самая настоящая умница. Что ж теперь будет? Как жить? Вдруг Надю охватил страх: она оставила ребят у Веры Игнатьевны, старуха рассеянна, и у нее открытый балкон. Телефон тети Фроси все еще был занят.

Надя побежала в другой конец здания, где принимали телеграммы, и отправила срочную брату Юрию в Петрозаводск. Потом вернулась, и тут как раз дали Москву, но номер не тети Фроси, а Ларисы, Надиной лучшей приятельницы. Лариса похоронила свою мать полтора года назад, она

сразу сказала дельное: «Обязательно достань снотворное и прими на ночь. Завтра у тебя будет очень тяжелый день». Надя подумала: завтра? Наконец дали номер тети Фроси. Надя не понимала, говорит она тихо или кричит. Когда она вышла из кабины, к ней подошла незнакомая женщина и, глядя ей прямо в глаза, сказала тихо: «Выдержать, выдержать!» Наверное, Надя кричала.

Только одна фраза, сказанная ею самой, как только она прибежала на почту, врубилась в сознание: «Девушка, мне нужно срочно в Москву: умер человек!» Почему она назвала маму человеком? Ужаснуло даже не это, а то, что она смогла произнести эту фразу, не пресекся голос, не подломились ноги, она стояла спокойно, протягивая девушке рубль, и потом взяла у нее сдачу.

На улице было черно. Надя перешла через пути: аптека находилась в другой части поселка. Из шашлычной вышли два человека. У одного на груди болтался транзистор, из которого раздавалась музыка. Надя отчетливо подумала: «Это Моцарт». И еще: «Он давно умер». Когда Надя проходила мимо, человек с транзистором сделал движение, чтобы схватить Надю за руку, и позвал: «Эй, чудачка!» Надя увернулась и побежала. Она слышала за спиной музыку Моцарта и ругань,

но оба пьяницы едва стояли на ногах. В аптеке Надя попросила капли Зеленина, валокордин и снотворное. Она задыхалась, сильно щемило сердце, и она посидела две минуты на стуле, приняв валокордин. Она подумала о том, что все ее болезни, ее полнота, гипертония, все, что ее гнело и мучило, теперь будет гнести и мучить ее одну. Но страх перед всем этим, ее привычный страх исчез: она подумала, что могла бы легко расстаться с жизнью, вот сейчас же, здесь, в аптеке. Ничто не остановило бы, даже дети. «Лариса так же убивалась в прошлом году, — вдруг вспомнила Надя. — А сейчас бегает по Москве, ищет осеннее пальто». Но и эта подлая мысль, которая пришла нарочно, чтоб облегчить, ничего не облегчила. И было что-то, о чем Надя не могла думать, что она отталкивала всем существом, всей кожей, всем своим несчастным и пустым сердцем.

Володя приехал в двенадцатом часу вместе с Левиным. Они где-то выпили, как видно, на скорую руку: Надя почувствовала запах водки, когда Володя поцеловал ее. Левин работал в том же НИИ, где и Володя, но в другой лаборатории. Надя его не очень любила, считала, что он дурно влияет на Володю, и хотя прямых улик такого влияния не было, но теоретически они могли

быть» Левин был холостяк, игрок, а Володя легко поддавался чужой воле.

В первую минуту Надя болезненно поразилась, увидев Левина, но потом ей стало все равно. Левин, стягивая берет с лысой головы и целуя Наде руку, бормотал слова соболезнования и извинения за свой приезд, в котором виноват Володя. В маленьких карих глазах Левина, как всегда, что-то посверкивало.

— Может быть, я окажусь чем-то полезен, — говорил Левин. — Куда-нибудь съездить, что-нибудь привезти. Нет? Не нужно? Я все знаю, дорогая, все понимаю. У меня самого столько потерь за последнее время. — Он поправил манжету, вытянул здоровенную руку и стал загибать крепкие толстые пальцы. — В начале шестьдесят пятого — мама. В июле того же года — родной дядя, брат отца. И сразу через неделю — бабушка. Представляете? Крематорий стал для меня, простите, родным домом. А в прошлом году — мой старинный друг, со школьной скамьи. Скоротечный рак, и ни-че-го нельзя было сделать! Красавец парень, семья, малютки дети. Талантливейший биохимик. И ни-че-го! А как умирала моя мама? Тоже кошмар. Десятимесячные мучения. Кто-то сказал: «Легкой жизни я просил у бога,

легкой смерти надо бы просить». Теперь скажите вот что: вы отсюда повезете или с городской квартиры? Я советую отсюда. Во-первых, вам не надо будет дважды заказывать машину. Во-вторых, зачем вам лишние волнения, перенос тела вверх, вниз? Теперь так: этот дачный эскулап, который констатировал смерть, для вас ничто, пустое место, вам нужно вызвать врача официально, и тот напишет заключение, причем вызывайте сейчас же, тогда у вас с утра будут развязаны руки и вы сможете действовать. Только надо решить: отсюда или с городской квартиры?

Надя смотрела на Левина, как будто не слыша вопроса. Она встала и вышла в соседнюю комнату, где было темно. Володя пошел за ней. В темноте он обнял ее, и они стояли несколько минут обнявшись, посредине комнаты.

— Ничего не понимаю, что он говорит… — сказала она дрожащим шепотом. Было похоже, что у нее начинается озноб.

— Ну, ладно. Сейчас ни о чем не думай. — Он обнимал ее одной рукой, а другой гладил ее спину.

Она прижималась к нему. Зубы ее стучали, она не могла остановиться. Она чувствовала его ладонь, нежно и твердо ласкавшую ее тело, сотрясаемое ознобом, и что-то громадное, как

тот темный ураган, обнимало, наполняло ее, и, наверное, это была любовь, но такая, какой она еще никогда не испытывала: может быть, это была любовь к жизни и одновременно любовь к смерти или, может быть, любовь к себе.

Было слышно, как Левин, скрипя ботинками, ходит по кухне. Он передвинул стул, что-то упало.

— Кстати, машину надо заказывать тоже с утра, — раздался из кухни его голос. — Там всегда очереди. И заназывайте только на Смоленской.

Володина рука замерла.

— Дурак, зачем я его привез? — прошептал Володя.

— Ничего. Пусть…

Ребята спали наверху, у Веры Игнатьевны. Часа в три ночи Надя разделась и легла спать, приняв снотворное. Левин и тут оказался на высоте. «Что вы глотаете? Дайте сюда! — Почти силой он вырвал из Надиных рук таблетки. — Выкиньте и забудьте. Вот что пьет интеллигенция…» Володя посидел немного на кровати, держа Надину руку в своей. Надя лежала, закрыв глаза. Сил не было. Вдруг она заснула. Проснувшись, испуганно вскочила на кровати, отбросила одеяло: ей показалось, что давно уже утро или вторая ночь,

что она проспала что-то бесконечно важное. В следующую секунду услышала голос из сна: умерла мама. Эти слова были бредом, не имели смысла, но прошла еще одна секунда, еще, и еще, и смысл возникал, рос, становился гигантским, отчетливым, опрокинул, она упала навзничь и лежала, неживая, со стиснутым сердцем. Часы рядом на стуле показывали без четверти четыре. В щелке двери, которая вела на кухню, был виден свет. Надя надела платье, босая подошла к двери и приоткрыла ее. За кухонным столом сидели Володя и Левин и играли в шахматы.

Через два дня погода испортилась, полил дождь, и после похорон все приехали озябшие, тетя Фрося забыла зонт в траурном автобусе, ругала за это дядю Леву и погнала его в гараж искать пропажу. Сидели на кухне. В комнате уложили мальчишек, которые все равно не спали, а хулиганили: то и дело прибегали на кухню, нацелив волчьи маски, и рычали, утихомирить их не удавалось. Кончилось тем, что Надя сильно нашлепала обоих, Володя заступался, они ревели, тетя Фрося со словами «Ах, бедные мои сиротки!» бросалась целовать внучатых племянников, те ревели пуще, с ними случилось что-то вроде истерики, никто не мог успокоить, и Надя с тяжелым отчаянием ду-

мала: «Господи, как все разваливается без мамы!» Она долго сидела в комнате, разговаривая с сыновьями, напрягая силы, чтобы говорить спокойно, и проделала весь традиционный — когда-то она улыбалась в душе, а сейчас было невыносимо, потому что вспомнилось, с какой серьезностью это делала мама, — обряд примирения: шлепая ладонями о раскрытые ладошки сыновей, повторяла трижды: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться».

Наконец заснули, а Надя все сидела в потемках на стуле. В кухню идти не хотелось. Заходил Володя, спросил шепотом: «Ну, что ты?», она отослала его к гостям: «Иди, а то неудобно». Через стенку было слышно, как Он разговаривал с Аркадием, мужем Надиной двоюродной сестры Зины, о парапсихологии. «Примерно за час до Надюшкиного звонка я почувствовал очень сильную боль в сердце. Причем никогда в жизни я на сердце не жалуюсь. Потом я вычислил…» Голос тети Фроси: «Ребята оч-чень тяжелые. Не ребята — бой…» «Абсолютно точно вычислил: это было именно в ту минуту, когда у Антонины Васильевны случился удар. Другой случай был со мной в Гурзуфе…» Аркадия и Зину, так же как мать Зины, Евгению Глебовну, — все это была семья погибшего на

войне брата Антонины Васильевны — Надя видела раз в пятилетку, а то и реже. Встреть она Аркадия на улице, наверное бы не узнала. И вот эти чужие люди сидели на кухне, ели, пили, смотрели сочувственно, что-то вспоминали, лица их были скорбные, но, вдруг забывшись, они начинали говорить оживленно и совсем о другом. Все время слезилась одна тетя Фрося, которая пришла вдвоем со старухой Марией Давыдовной, дальней и мало известной Наде родственницей. А от Юрия пришла телеграмма из Петрозаводска о том, что он болеет воспалением среднего уха и находится в госпитале. Была еще одна женщина, которую Надя не знала по имени: она когда-то работала с Антониной Васильевной в артели, красила шелковые платки. Эта женщина пила водку наравне с мужчинами и несколько раз порывалась рассказать, какая прекрасная была эта работа— красить на дому шелковые платки, анилиновыми красками — и как выгодно за нее платили. Была там еще Лариса, Надина подруга, и Левин, которые раньше не были знакомы, но сегодня, в крематории, нашли друг друга и весь вечер разговаривали вдвоем. Но почему же они не уходят? Уже одиннадцать часов.

Надя еще и потому тяготилась идти к гостям,

что все это происходило на кухне. Весь вид этой комнатки, где с утра и до вечера проходила мамина жизнь, был нестерпим и ранил каждой своей подробностью. Надя слышала через стенку, как кто-то открывал ящик кухонного стола — задребезжали ножи, вилки, — и Надино сердце содрогнулось потому, что Надя мысленно увидела этот ящик, который мама так часто приводила в порядок, застилала внизу чистой белой бумагой, в особые отделения складывала ножи, в особые — вилки, ложки, а в углу ящика хранила стопку бумажных салфеток. Сидя в темноте с закрытыми глазами, Надя видела всю кухню, вещь за вещью: полки большого чешского шкафа, где внизу в правом отсеке лежали кастрюли, терки, чугун, старинная медная ступка, принадлежавшая еще маминой маме, а в левом отсеке — разные снадобья, лекарственные травы в пакетах, банки с сушеной малиной, цикорием, содой, аккуратно связанные кусочки шпагата, которые мама берегла, за что Надя звала ее Плюшкиным, и там же стояли пустые поллитровые банки и баночки из-под майонеза и сметаны, вымытые мамиными руками и припрятанные для чего-то. Все это осталось, все жило. Остались газеты, сложенные кипой на столе рядом с гладильной доской и

успевшие выцвести за лето. Передник из темно-красного ситца висит, как всегда, возле раковины на фаянсовом крюке. Только нет, нет, нет. Нет ни в ванной, ни в прихожей. Нет ига даче. Там темные комнаты, все закрыто, на этой проклятой даче, по деревянному крыльцу льет дождь. Нет нигде. Нигде, нигде.

В кухне задвигали стульями. Кто-то уходил, Надя встала с осторожностью и вышла на цыпочках из комнаты. Левин и Лариса уже стояли в коридоре. Надя прошла мимо них, Лариса шепнула ей очень ласково: «Ну как, уснули ребятки?» — и поцеловала Надю в шею. Щурясь от света, Надя вошла на кухню. Она сразу увидела сонные, в красных веках, замученные Володины глаза. Поняла, что он выпил лишнее, что ему худо, тоскливо, но, как подобает хозяину, он продолжает вести с гостями разговор. От телепатии уже перешли к грибам. Все в эту осень помешались на грибах.

Зина подвинула Наде тарелку с салатом: «Ешьте, Надя. У вас должны быть силы». Володя налил ей водки. Его рука легла на могучую Надину спину. Надя любила, когда он трогал ее. Но сейчас она ничего не испытывала. Его рука была как чужая, а ее собственное тело было бесчувственно, и она

движением плеча сдвинула его руку. Ей стало неприятно от того, что он говорил о грибах.

Тетя Фрося упорно смотрела Наде в глаза. Лицо тети Фроси было рыхло, вислощеко, густого розового цвета, какой бывает у хорошо промытого в воде парного телячьего мяса. Из глаз тети Фроси катились слезы — она тоже говорила о грибах, но при этом вытирала щеки платком, — и Надя вдруг сердцем почувствовала, что тетя Фрося единственный тут родной ей по крови человек. Увидела знакомые, похожие на мамины, пальцы, знакомую неуловимую скуластость. И испытала к тете Фросе внезапную нежность, как никогда прежде.

— Наденька, — сказала мать Зины Евгения Глебовна. — А ведь я в этой вашей квартирке первый раз. Это вы выменяли свои комнаты на Мытной?

Надя кивнула.

— Там у вас, кажется, были две комнаты в коммунальной квартире? В старом доме?.

— Да, — сказала Надя.

— А тут однокомнатная?

Надя кивнула.

— Сколько же метров тут?

Так как Надя не отвечала, а сидела как бы в оцепенении, глядя на блюдо с салатом, Володя

сказал:

— Двадцать четыре вроде.

— Я почему спрашиваю, Володя, — сказала Евгения Глебовна, — потому что мы тоже загорелись меняться. У нас ведь прекрасные две комнаты. Ну, я потом, потом! — Она вдруг замахала рукой и зашептала: — Потом спрошу! Как-нибудь. Ладно, потом!

— Тоня-то где спала? — спросила старушка Марья Давыдовна.

— Здесь, — сказал Володя.

— Где же ей спать? — сказала Евгения Глебовна. — Там у них дети, и их двое. А здесь очень хорошо и отдельно. Только, конечно, газом чуть отзывает, но можно проветривать.

Марья Давыдовна с сомнением оглядывала кухню, где сейчас нельзя было повернуться.

— Это как же здесь?

— Стол сдвигаем сюда, к рукомойнику. А здесь ставим раскладушку, — сказал Володя. — Неудобно, конечно, да выхода не было. Мне квартиру обещают на будущий год.

Мария Давыдовна кивала.

— Очень хорошо, верно, верно…

Тетя Фрося вдруг грубым и долгим голосом всхлипнула, закрыла лицо платком и залилась

рыданьем. Надя, тоже едва сдерживая слезы, обняла ее, стала успокаивать:

— Тетя Фросечка, милая, ну не надо же, миленькая…

— Заездила мать! — рыдающим голосом проговорила тетя Фрося, локтем отодвигая Надю.

— Ну что вы, тетя Фрося! — еще не почувствовав удара, все так же нежно и успокаивающе говорила Надя.

— Заездила, заездила мать, — повторила тетя Фрося, тряся головой.

— Зачем такое говорить? Ах ты, боже мой! — сказала женщина, красившая с Антониной Васильевной платки.

Тетя Фрося сделала слабое движение рукой, означавшее: «Да что говорить…» Ее лицо перекосилось от нового приступа рыданья; она захлюпала, засморкалась и, посмотрев на Надю, заговорила плаксиво:

— Ты прости меня, Надежда. Я очень Тоню любила… Я правду говорю, истинную правду…

Надя почувствовала лицом, как побелела: так бывало у нее в часы мигреней, когда она валилась на кровать колодой. Стиснула ладонями лоб. И удивленье: «Почему никто не возражает?» Она видела со стороны свое белое лицо, такое белое и

невозможно маленькое по сравнению с грузным, отяжелевшим и старым телом. Потом услышала, как заговорили, задергались. Возник Левин, ухватил Надю под мышки. Потащил из-за стола вверх. Володя кричал: «Вы! Злобная тварь! Чтоб вашей ноги!..» Надю увели в комнату. Она лежала в темноте, слышала сквозь забытье, озноб, как кричат в коридоре.

Очнулась глубокой ночью. Володя спал рядом. Все ушли. Надя встала, вышла, шатаясь, в прихожую — посмотреть на себя в зеркало, — оттуда на кухню. Грязные тарелки были сложены в раковине. Ходики показывали три часа. Надя открыла кран горячей воды, взяла свившуюся жгутом тряпочку из обрывков капронового чулка, висевшую на кране, намылила ее и принялась за посуду.

На другой день, в четверг, Надя должна была выходить на работу. Она работала на заводе за Крестьянской заставой, ездила в один конец час двадцать минут, метро и автобусом, и обычно выходила из дома в половине седьмого. Но в четверг она договорилась по телефону — позвонила своей начальнице в ПТО, — что придет к десяти часам, потому что надо было устроить ребят. Детский сад «Ласточка» при ЖЭК № 4 был самый близкий, одна остановка троллейбусом, а можно и пешком. Говорили, что дети там часто болеют. Но выхода не было. На работе Наде выражали сочувствие, каждый по-своему. Знакомая старуха гардеробщица сказала Наде: «С печалью тебя!» Одни целовали ее, и Надя даже видела мелькавшие на миг слезы, другие молча трясли руку, а некоторые просто смотрели чуть пристальней обычного Наде в глаза, стараясь что-то понять. Были и такие, которые делали вид, будто ничего в Надиной жизни не произошло. Одна женщина сказала, что Надя за эти дни заметно похудела и что ей так гораздо лучше.

1968

• ПОБЕДИТЕЛЬ

Мы слышим шум катящегося по паркету кресла, дверь отворяется. Сначала появляются ноги в клетчатых домашних туфлях, лежащие на нижней перекладине кресла; ноги выдвигаются сбоку, затем поворачиваются носками к нам, и мы видим все кресло и сидящего в нем маленького старика. За спинкой кресла возвышается тот усач, что отворял нам ворота. Старик смотрит на нас без улыбки, ничего не говоря. Его лысая голова вставлена в плечи без помощи шеи. Она как бы утоплена в плечи и напоминает глубоко ввинченную в горлышко бутылки пробку. Есть такие приземистые, пузатые бутылки, которые затыкаются глубоко сидящими пробками, пробками-айсбергами. Вытащить такую пробку бывает адски трудно. Кончается тем, что она крошится, ее проталкивают внутрь и пьют с крошками. Похоже, что голова старика имеет как бы продолжение под воротником. Во всяком случае, стариковского подбородка мы не видим, он утоплен, сидит где-то внизу, замотанный фуляровым платком. Кроме всего прочего, старик тотально лыс. Мало того, что лыса его голова,

так же лысы его глаза без ресниц и руки, плоско лежащие на коленях, и, когда он улыбнулся, мы видим его совершенно лысые десны.

Усач ловко и аккуратно приподнимает кресло, чтобы преодолеть небольшой порожек, несильным, рассчитанным движением подталкивает его, и оно, катнувшись по полу, останавливается точно на середине комнаты.

— Voila, — говорит усач и уходит.

Базиль заговаривает со стариком по-французски. Старик слушает, едва заметно кивая, отчего кажется, что его голова еще глубже всаживается в плечи. Он мог бы, наверное, всю голову спрятать внутрь. Когда ему надоест слушать болтовню Базиля, прекрасно говорящего по-французски, он скажет «адью» и втянет голову, как черепаха.

Обернувшись к нам, Базиль объясняет:

— Я сказал, что мы о нем много слышали, специально приехали из Гренобля и так далее.

Старик что-то бормочет.

— Он говорит, что рад нас приветствовать, — говорит Базиль.

Следует еще одна длинная фраза.

— Говорит, что всегда интересовался Россией. У него был один русский друг в Марселе, хороший человек, который умер от лихорадки… La fievre?.

— Oui.

— Ну да, от лихорадки.

Старик еще что-то добавляет.

— Умер от лихорадки в Алжире, — говорит Базиль. — Хотел поехать в Болгарию, но умер.

— Кто хотел поехать в Болгарию? — спрашивает Борька.

— Его друг. Из Марселя.

— Зачем в Болгарию?

— Какая тебе разница? Не задавайте пустых вопросов, у нас времени мало! — грубо говорит Базиль. — Я не хочу возвращаться ночью. Мне еще надо заправляться, учтите.

Мне хочется сказать: «Не нужно было так долго обедать, чертов обжора», — но я молчу, поняв, что бесполезно. Мы у него в плену. Когда-то с Базилем мы жили в одном общежитии, его звали тогда Васькой, Потапычем или просто Хорьком. И он был худ, я тоже был худ, хотя мы пили много пива в подвале на Неглинной, теперь этого подвала нет. Шесть лет уже Базиль тут, во Франции. Он работает, как бешеный паровой молот: почти через день я читаю его корреспонденции. И он стал похож на француза: такой толстый, суетливый, раздражительный, завел себе крохотные усики, настоящие французские усики, какие были в мо-

де в двадцатые годы, а сейчас появились вновь, так же как брюки клеш.

В местной газете Базиль прочитал, что в городе Ку-лоз, недалеко от Гренобля, живет старец, участвовавший в парижских Олимпийских играх 1900 года. Занял последнее место в беге на четыреста метров, но дело не в месте, а в том, что участвовал и жив. Мы с Борькой загорелись найти этого Мафусаила, хоть посмотреть на него, и убедили Базиля, обладавшего казенным автомобилем, свезти нас в Кулоз. Он долго упорствовал, говоря, что не может тратить время на пустяки, что в Гренобль со дня на день ждут президента и уезжать нельзя, что бензин нынче дорог и что вся затея попахивает дешевой сенсационностью. Ну, девяносто четыре, ну, участвовал в каких-то играх, ну и что? Смысл? Идея? Если б он знал Лафарга или слышал Жореса. Старость еще не тема, даже такая чудовищная, никому не нужная старость, как этого неудачника, занявшего последнее место в бог знает каком году, когда летали матерчатые самолеты и еще не было радио. Но затем выяснилось, что президент в Гренобль не приедет, что бензин не так уж дорог, тем более что квитанции прикладываются к отчету и оплачиваются валютой, и что по дороге в Кулоз

на берегу озера есть ресторан, знаменитый рыбными супами и каким-то особенно прекрасным вином. Мы выехали в двенадцать, в час были у озера и в седьмом часу, когда уже стемнело, примчались в Кулоз. И вот мы сидим и смотрим на старика, голова которого похожа на туго забитую пробку, а в глазах — темная, как вода в стоячем пруду, усталость от вековой жизни.

О чем говорить с ним? Он ничего не помнит. Войны, смерти, болезни, революции, праздники перепутались в его мозгу, уже где-то цепенеющем и откликающемся на что-то одно, случайное, как полумертвый радиоприемник, в котором все лампы вышли из строя, кроме одной. Но я не могу уловить, на что же откликается этот мозг, что теплится в нем, чем он живет. Он помнит, что победители на Парижских играх получали в награду зонты и трости. Что в Булонском лесу шел дождь. Что была выставка. И что-то еще, невнятное, туманное. Мелькают бессвязно какие-то имена, возникают лица, но он не уверен, что эти лица оттуда, а не откуда-то раньше или позже, когда он лежал в госпитале, был жаркий летний день, и один человек, пробегая мимо окна, крикнул, что какой-то русский застрелил президента.

— Спроси у него, как он относится к делу Дрейфуса, — говорит Борька.

Базиль спрашивает.

— Он возмущен, — говорит Базиль.

— Скажи, что лучшие люди нашей страны, например Чехов…

— Спроси, что он думает об англо-бурской войне? — говорю я. — Победят ли англичане?

— А как он относится к Метерлинку?

Губы старика раздвигаются, мы опять видим его лысые десны. Может быть, он понял нашу шутку, а может, улыбается чему-то своему, тайному. Усач входит в комнату с граненой бутылкой виски и четырьмя стаканами. Базиль и усач начинают оживленную трепотню, оба смеются, говорят громко и после каждого глотка виски все громче. Усач хохочет, Базиль шлепает его, как старого приятеля, пятерней по животу. Иногда Базиль кое-что нам объясняет.

— Этот тип, мсье Жозеф, муж женщины, которая за стариком ходит… Она получает четыреста сорок франков… Работа тяжелая, потому что старик… sallisson?.. Ага, очень грязный, большой грязнуля… Он совсем один, детей не было. Люди становятся грязными от одиночества… Мсье Жозеф не понимает, зачем нам понадобился этот

старый… marchand dengrais. Старый навозник? Пожалуй, нет, старый ассенизатор — это будет точнее… Я тоже, кстати, не понимаю, зачем понадобился. Про Олимпийские игры мсье Жозеф слышал, но не верит, считает, что враки, брехня, les sornettes… Старик утверждает, что занял первое место, все это les sornettes… Сказать можно все. Мсье Жозеф работает шофером на полицейской машине…

Усач уже красный, глаза его слегка раскорячиваются, он выпил, по-видимому, недельную норму. К тому же он не привык к неразбавленному, безо льда, а Базиль с его вечной спешкой и бесцеремонностью потребовал пить так, побыстрей и поударней. Для Базиля-то, имеющего опыт подвала на Неглинной и двухлетних скитаний с экспедициями по Уралу, все это, конечно, «что слону дробина». Поразительный персонаж наш Базиль! В свои тридцать семь лет он уже пережил два инфаркта, одно кораблекрушение, блокаду Ленинграда, смерть родителей, его чуть не убили где-то в Индонезии, он прыгал с парашютом в Африке, он голодал, бедствовал, французский язык выучил самоучкой, он виртуозно ругается матом, дружит с авангардистами и больше всего на свете любит рыбалку летом на Волге.

Продолжая улыбаться, старик повторяет что-то невразумительно, но настойчиво. Он бубнит одну фразу несколько раз, пока наконец Базиль не обращает на него внимание.

— Он говорит, что он — победитель Олимпийских игр. — В каком виде? — спрашивает Борька.

Во всех, — говорит Базиль, выслушав ответ старика. — Когда-то он занял последнее место в беге на четыреста метров, но теперь он победитель. Все умерли, а он жив.

Я вижу, как в глазах старика возникает огонь, безумный огонь. Вот лампа, которая еще теплится в этом полуистлевшем радиоприемнике. Тщеславие старости! Гордость Мафусаила! Пережить всех. Победить в великом жизненном марафоне: все, кто начал этот бег вместе с ним, кто насмехался над ним, причинял ему зло, шутил над его неудачами, сочувствовал ему и любил его, — все они сошли с трассы. А он еще бежит. Его сердце колотится, его глаза живут, он смотрит на то, как мы пьем виски, он дышит воздухом сырых деревьев февраля — окно открыто, и, если он повернет голову, он увидит в глубоком, густо-синем прямоугольнике вечера дрожание маленькой острой звезды серебряного цвета. Никто из тех, кто когда-то побеждал его, не может увидеть этой

дрожащей серебряной капли, ибо все они ушли, сами превратились в звезды, в сырые деревья, в февраль, в вечер.

— Просто надо жить долго, вот и все. Надо жить долго! — говорит Борька, когда мы, выйдя из дома, идем гуськом впотьмах по каменистой дороге к воротам.

Усач провожает нас, светя фонариком. Они вполголоса разговаривают с Базилем. Базиль переводит: усач сказал, что здесь очень здоровый, крепкий климат, а старик почти всю жизнь прожил в Кулозе.

— Не надо жить долго, — бормочет Базиль, открывая дверцу машины. — И тот малый, который выиграл тогда четыреста метров семьдесят лет назад, — пускай он сгнил потом где-нибудь под Верденом или на Марне, — все ж таки он… А этот со своим долголетием слоновой черепахи…

Сразу же Базиль дает сильный газ, отлетают назад дома, фонари, спящие на узкой улице — два колеса на тротуаре, два на мостовой — скособочившиеся автомобили, и вот уже город позади, мы среди поля, во тьме. Потом начинаются подъем, виражи, туннели, дорога вдоль озера напоминает крымский серпантин, но Базиль гонит, не сбавляя скорости. Нас кидает, стукает о стенки,

мы молчим, мы у него в плену. Он включил радио и слушает какую-то политическую передачу, два голоса беседуют негромко, наперебой, то и дело слышится: «Вильсон», «Кизингер», «Помпиду». Через полчаса, миновав растянувшееся на двадцать километров озеро, мы останавливаемся на шоссе. Выходим из машины. Слева — гора, справа — долина, огни. Какое-то голое, деревенское шоссе, ни одной машины, тишина, холод и близкая ночь. Мы стоим на некотором отдалении друг от друга под небом, ошеломительно бледным и пестрым от звезд. Пахнет землей, пролитым на асфальт бензином и какой-то гарью, вроде прелых, чадящих в костре сучьев. Жгут костер на склоне, это далеко, но ветром доносит запах. Меня знобит, не могу унять дрожи во всем теле. На холоде после вина всегда чертовски знобит. И я думаю о том, что можно быть безумнейшим стариком, одиноким, опоздавшим умереть, никому не нужным, но ощущать — пронзительно, до дрожи — этот запах горелых сучьев, что тянется ветром с горы…

1968

• ИГРЫ В СУМЕРКАХ

Мы знали их всех по именам, нас же не знал никто. Мы были просто: «Эй, мальчик! Принеси мячик!» Еще мы были «Спасибо, мальчик» или же «Вон там, за кустом! Левее, левее!». Они играли с четырех часов до сумерек, а мы сидели на изрезанной ножами скамейке — я и мой друг Савва — и вертели головами направо-налево, направо-налево, направо-налево. У нас болели шеи. Это длилось часами. Ни голод, ни жажда, никакие земные желания не могли отвлечь нас от этого замечательного занятия. Направо-налево, направо-налево мелькал маленький, направо-налево белый, направо-налево теннисный мячик вместе с тугими ударами, которые равномерно направо-налево, направо-налево, направо-налево вколачивались в наши мозги и укачивали, завораживали, усыпляли: мы становились как пьяные, не могли ни уйти, ни встать, хотя дома нас ждали головомойки, и продолжали, одурманенные, сидеть, вертя головами направо-налево, направо-налево, направо-налево.

С другой стороны корта — если б кто-нибудь хоть раз взглянул на нас! — мы напоминали

двух китайских болванчиков, так неутомимо и плавно двигались наши головы, стриженные под полубокс. И верно, мы были болванчиками. Даже не болванчиками и вовсе не китайскими, а самыми настоящими, подмосковными, дачными, одиннадцатилетними болванами, которые тратили июльские вечера на верчение головами.

Рядом была река, песчаный скат, отмель, плоскодонки — запахи воды и крики купающихся доносились до нас, не проникая в глубь сознания. Это были запахи и шум отдаленного мира, ненужного нам.

В сумерки наступал наш час. Первым сдавался долговязый очкарик, которого мы с Саввой прозвали Дрожащий. Дрожащий очень нервничал на корте, при каждом неудачном ударе вскрикивал «Ах, черт!», хватался за голову, рассматривал с изумлением обод своей ракетки и качал головой или же бормотал что-нибудь вроде: «Да в чем же дело? Что со мной?» Но ничего особенного с Дрожащим не происходило. Он всегда играл одинаково. Почти одновременно с Дрожащим прекращал игру Татарников, лучший игрок, аристократ, владелец велосипеда «Эренпрайз» и образец во всем для нас с Саввой. Молчаливый, ироничный, ходивший в элегантных полосатых

рубашечках, с гладко зализанными волосами, — такая прическа почему-то называлась «политзачес». Татарников настолько пренебрежительно относился к партнерам, что мог прекратить игру когда вздумается, даже в середине гейма при счете «меньше». Неожиданно поднимал ракетку и со словами: «Все, господа! Не дворянское это дело — портить глаза», — уходил с корта. И с ним никто не решался спорить. Все глотали это хамство молча и как бы даже мысленно благодарили Татарникова за то, что он вообще приходит играть. Ведь Татарников однажды играл с самим Анри Коше, и тот сказал про него: «Хороший парень».

Татарников садился на свой «Эренпрайз» и укатывал, и сразу начинала собираться Анчик. То есть не то чтобы она тут же бросала ракетку, но видно было, как все ей становилось неинтересно, она переставала стараться, мазала и пререкалась. Анчик была смуглая, как индианка. Иногда она очень веселилась, хохотала и всех задирала, а иногда делалась мрачной и раздражительной. Бедная Анчик! Я жалел ее. И Савва тоже. Хотя Савва сказал однажды, что ему не нравятся кокетки, я видел, что он лукавит. Я замечал, как он напружинивался и покрывался пятнами, когда Анчик нежным голоском, но совершенно

равнодушно обращалась к нему: «Мальчик, если тебе не трудно...» С угрюмой поспешностью он кидался за мячом, гораздо быстрей, чем обычно. Я же, наоборот, сидел молча и неприступно. Как только прекращала игру Анчик, сейчас же уходили с корта Профессор и Гравинский (он был, может быть, Краминский, Кравинский или даже Брабинский, мы точно не знали, потому что имена и фамилии улавливали на слух). Профессор и Гравинский обычно провожали Анчик до ее дачи на 3-й линии.

Дольше других оставался играть маленький темнолицый человечек в квадратных очках, владелец японской ракетки. Мы с Саввой подозревали, что он шпион. Но еще позже «шпиона» торчала на корте одна отвратительная парочка, муж и жена, которым теннис был нужен только затем, чтобы сгонять жиры. Играли они очень плохо, но упорно и долго, до темноты. Я заметил, что чем хуже игроки, тем они жаднее к игре. Мы с Саввой их ненавидели. Они отнимали у нас последние, драгоценные секунды, потому что их, как и нас, настоящие игроки не пускали на корт, но поздним вечером они не пускали нас, нахально пользуясь своей привилегией взрослых: «Ребята, ребята! Вы здесь крутились

целый день...» Но наконец убирались и они. Я вынимал из чехла свою динамовскую ракетку в двенадцать унций, а Савва свою немецкую, чудную, со стальными струнами, и мы выбегали на пустынный корт. В эту минуту не было людей счастливее нас.

Корт был цементный, он белел в сумерках, как просторный и чистый луг. Мы очень торопились. В темноте часто промахивались. Нам хотелось ударить посильней. То и дело сильные мячи, по которым мы не попадали, ударялись с барабанным гулом в деревянную стенку. Ни задней линии, ни квадратов уже не было видно. Летящий мяч выносился из темноты так неожиданно, что я подставлял ракетку инстинктивно, для самозащиты. Мы наслаждались минут двадцать, пока не возвращался с купанья хозяин сетки Николай Григорьевич, снимал сетку и уходил. Мы еще некоторое время продолжали кидаться без сетки; собственно, в темноте было уже все равно — что с сеткой, что без сетки.

И потом долго, разговаривая о всякой всячине, брели берегом домой. На другой стороне реки, на лугу, слоями лежал туман. В реке кто-то плавал, а кто-то стоял на берегу и кричал: «Как водичка-а?» И еще кто-то бегал, согреваясь после купанья, по

гладкой песчаной полосе вдоль воды, и шлепанье босых ног по сырому песку раздавалось четко и мягко, как удары ладони по голому телу. Было слышно, как этот, шлепающий босыми ногами, говорил: «Бр-бр-бр!» И звездный июльский и ненужный нам мир лежал вокруг нас, среди сосен и за рекой, где на горизонте дрожали сквозь теплый воздух огни Тушина. Давно это было. Еще в те времена, когда Москву-реку переходили вброд, когда в Серебряный бор с Театральной площади ездили на длинном красном автобусе «Лсй-ланд», когда носили чесучовые толстовки, брюки из белого полотна и парусиновые туфли, которые по вечерам натирали зубным порошком, чтобы утром они делались белоснежными, и при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли…

Сейчас трудно сказать, кем были эти люди, сколько им было лет. Они исчезли из моей жизни, а тогда я ничем этим не интересовался. Только про Гравинского знал, что он сын какого-то работника Коминтерна. Дрожащий и Профессор были, кажется, студентами, но, может быть, и нет. Татарников где-то работал, но, возможно, он и нигде не работал, потому что часто приходил на корт днем, Анчик была десятиклассницей, что,

впрочем, тоже недостоверно, и вполне вероятно, что она была уже студенткой. Я знал, что ее отец ездит в черном «ройлс-ройлсе». Однажды я видел, как черный автомобиль остановился козле дома на 3-й линии — был страшный ливень, и я, посланный на круг за молоком, промок до нитки и плелся по шоссе, никуда не торопясь, — и из машины выпрыгнула Анчик, сняла туфли и, взвизгивая, захлюпала босыми ногами к калитке. Следом за ней вылез человек в черной шляпе. Он вдруг остановился прямо в луже, снял шляпу и стоял несколько секунд в странной задумчивости, глядя в землю, подставив лысую голову дождю.

Анчик была высокая, стройная, ***с осиной талией***, с черными ***как смоль*** волосами и с большими глазами, черными и глубокими, ***как ночь***. Она мне очень нравилась. Конечно, не так, как могла бы нравиться девочка, как например, Марина, моя одноклассница. Анчик нравилась мне платонически, как женщина. Мне нравился ее хриплый голос, нравились ее платья, сарафаны и майки, которые были как будто прошлогодние, немного малы и туго врезались ей в тело. Мне нравилось, как она ходит: размахивая руками и раскачиваясь, как матрос. Правилась ее привыч-

ка над всеми шутить и разговаривать свысока. Нравилось, как она поднимает, не нагибаясь, мячи с корта: ловко и быстро, ободом ракетки и ногой. Я тоже умел поднимать мячи таким способом, но только с помощью левой ноги, а Анчик одинаково легко делала это и левой и правой. Мяч словно прилипал к ее ракетке. И она никогда не роняла мячи на корт. А мы с. Саввой роняли часто.

Не знаю, может быть, из-за Анчик мы и притаскивались каждый вечер на корт. Тогда мне это не приходило в голову, но теперь я думаю, что так и было. Из-за Анчик и еще из-за Татарникова, который нам тоже нравился. Ведь мы могли бы приходить днем, в жару, когда никто не играл, но пустой корт и пустые скамейки нас не устраивали — нам хотелось публики, шума, страстей, борьбы, красивых женщин и чтоб мы смотрели на все это, как в театре.

В середине лета у Саввы умер отец, и мать повезла Савву в Ленинград. Он оставил мне свою ракетку со стальными струнами. Обещал вернуться в конце лета, но не вернулся. Никогда в жизни я больше не встречал Савву и ничего не слышал о нем. И он не видел, как однажды я играл в паре с Дрожащим и что произошло следующим

летом, когда открыли канал Москва — Волга: река стала полноводной и по ней начали ходить пароходы. На теннисном корте появились новые игроки, но Татарников оставался чемпионом Серебряного бора и окрестностей. С некоторыми он играл на деньги. Давал фору четыре гейма и выигрывал.

То лето — когда пошли первые пароходы — было очень жаркое вначале, а потом зачастили дожди. Какие-то беглые, мимолетные дожди, они выпадали внезапно и шли недолго. Но полчаса или час приходилось ждать, чтобы корт высох. Теннисисты собирались под навесом, устроенным возле корта, играли в шахматы, в «города» или сидели просто так, рассказывая анекдоты. Я любил сидеть на скамейке между ними и слушать. Как-то сидели все вместе — я, Татарников, Профессор с Гравинским, Анчик и еще кто-то — и пришел один парень, Борис, и сказал, что утонул наш знакомый. Этот Борис появился на корте недавно, играл неплохо, но как-то крикливо и нахально. Спорил из-за каждого мяча. Его отец был директором завода, а раньше они жили в Тбилиси. *И вот* он пришел и сказал, что утонул наш знакомый. Потом-то оказалось, что никто не утонул, он все наврал, но в первую минуту все, ко-

нечно, взволновались, Анчик даже вскрикнула, и тогда этот Борис шагнул к ней — он был коренастый, небольшого роста, ниже Анчик, с очень запоминающимися, круглыми, как коленки, скулами, они двигались, потому что он разговаривал всегда, сжав зубы, — и он сказал, сжав зубы: «Получай, дрянь», и ударил Анчик наотмашь ребром ладони в лицо. Тут все зашумели:

— Что такое? В чем дело?

Борис не отвечал, смотрел злобным взглядом на Анчик, а она стояла, закрыв руками лицо. Она не плакала, не двигалась. В том, что Анчик ударили, и в том, как она ***приняла*** этот удар, было что-то настолько невероятное, что я остолбенело застыл на скамейке, в то время как все повскакали с мест, толкались и кричали. Профессор или Гравинский, а может быть, оба вместе хватали Бориса за грудь, а тот отмахивался и говорил спокойно:

— Не суйся. Уйди, говорю. Уйди, а то…

— Позвольте, — сказал Татарников. — Но утонул кто-нибудь или нет?

И тут Борис еще раз ударил Анчик, по рукам, закрывавшим лицо, но с такой силой, что она вся перекосилась, выгнулась назад, как ветка, и едва не упала. Потом быстро пошла, почти побежала прочь, и Борис пошел с ней рядом. Они шли через

сосняк, по кустам, не разбирая дороги, деловито и устремленно, не глядя друг на друга, и каждый был в одиночестве, но их связывало что-то ужасное и простое. Они были как бы один человек, который мелькал среди сосен, уходя от нас.

Корт просох, кто-то вышел играть, но я не мог смотреть на играющих. Не мог видеть бледного лица Татарникова с его «политзачесом». Теннисисты возмущались и, я слышал, договаривались никогда больше не играть с Борисом, с этой скотиной. «Бить женщину! Дойти до такой низости! Жалко, что он ушел, мы бы ему натерли физиономию!» Но я чувствовал, что они возмущаются чем-то другим.

После этого жизнь на корте стала как-то быстро, непоправимо меняться. Одни вообще исчезли, перестали приходить, другие уехали. Приехали новые. Много новых. Говорили, что Анчик с младшей сестрой, братом и бабушкой жила на станции Лось. Но по-прежнему приезжал на своем «Эренпрайзе» Татарников, иногда приходили Дрожащий и тот человек, кого мы с Саввой считали японским шпионом. Рядом с кортом устроили волейбольную площадку, и вечерами там собиралась орава крикунов, человек сорок, играли на вылет. Галдеж стоял, как на базаре.

Эта скотина Борис пришел однажды в воскресенье с приятелем как ни в чем не бывало. Оба были в жокейских шапочках. Борис спросил: кто последний? Ему не ответили. На корте было четверо, и еще четверо ждали очереди. Борис и его приятель посидели полчаса, потом стал назревать скандал. Могла быть настоящая драка, если б вдруг не услышали странный шум со стороны реки. Лес трещал под ногами сотен людей. Громадная толпа двигалась в нашу сторону с музыкой, песнями, впереди бежали мальчишки, которые сообщили, что к берегу пристал теплоход, эта толпа оттуда, и сзади идет шумовой оркестр. Теннисисты продолжали невозмутимо играть. Через минуту орда гуляющих окружила корт, некоторые были заметно навеселе, садились прямо на траву, кто-то плясал, кто-то играл в «жучка», звучала гармошка, несколько человек вошли на корт и стали требовать, чтобы теннисисты сняли сетку. Те, разумеется, отказывались это сделать и говорили, что позовут милицию. Дрожащий особенно кипятился и кричал:

— Мы будем жаловаться! Назовите номер вашего предприятия!

Приземистый человек в панаме тоже кричал, размахивая руками:

— А вы хотите вчетвером играть и чтоб четыре сотни людей на вас смотрели? Да? Так вы хотите?

— Вы нарушаете!

— Нет, вы нарушаете!

— Товарищи, где милиция?..

— У нас договоренность с дачным трестом!..

Пока они спорили, оркестр вышел на корт, расположился у деревянной стены, кто-то уже сдирал сетку, и первые пары зашаркали по цементу, пока еще без музыки. Но вот и вальс грянул: «Крутится, вертится шар голубой». Я видел, как Борис, надув свои желваки, потянул за руку какую-то худую некрасивую женщину, совершенную уродину в платочке, и пошел с ней танцевать. Теннисисты еще кипятились, пытались мешать оркестру, и только Татарников не кипятился, сел на «Эренпрайз» и уехал.

Во время войны деревянную ограду корта разломали па топку. Однажды, через десятки лет, я приехал туда и поднялся на холм, чтобы увидеть то место, где начиналось так много всего, из чего потом составилась моя жизнь. А тогда были только обещания. Но некоторые из них исполнились. На вершине холма я наткнулся на величественный, белеющий толстыми известковыми боками

летний кинотеатр. Все, что осталось от корта, была цементная плешка, на которой толклись, разгуливая ше-рентами под ручку, дачники и дачницы в ожидании начала сеанса. Впрочем, какие уж дачники! Тут была Москва, и пахло как в Москве: бензином и пыльной зеленью. Я спросил у человека в красивом, наполовину кожаном, наполовину шерстяном пуловере, не знает ли он, откуда здесь цементная площадка. «Это с войны! — ответил человек уверенно. — Тут находились какие-то укрепления. Немец когда летел Москву бомбить, его как раз тут, над Серебряным бором, расшибали. Это с войны, ага».

Я подошел к реке, сел на скамейку. Река осталась. Сосны тоже скрипели, как раньше. Но сумерки стали какие-то другие: купаться не хотелось. В те времена, когда мне было одиннадцать лет, сумерки были гораздо теплее.

1968

• ВЕТЕР

Куда-то мы едем облачным апрельским днем, может быть, на запад или на юг, трудно понять, солнца не видно, рассеянный белый свет вокруг нашей машины, холмы, сухая проволочная трава, бескрасочная, обвеянная пылью, и на земле, задом к дороге, неподвижно сидят степные коршуны, которых монголы называют «сар». То же, что наш полевой лунь, белесовато-серый, мышатник. Да ведь и луна по-монгольски «сар». А как будет «желтый»? Желтый — «шар».

Мой спутник, старик с висячими седыми усами, с печально-глуховатым голосом и движениями, плавными, как у женщины (когда он просит спички и я протягиваю ему коробок, он прикладывает обе руки крестообразно к груди и с почтительностью благодарственно кланяется), отвечает на мои вопросы терпеливо, но с какой-то тайной, глубочайше внутри запрятанной презрительностью. Что можно узнать и понять на этой земле, пребывание на которой кратко, как вздох? И есть ли смысл вглядываться в колодец? Вчера я был за десять тысяч километров отсюда, там, где родился, где воздух пахнет сырым асфальтом,

каменноугольным дымом из котельных и отработанным бензином и где все так понятно мне, так смертельно понятно — до того понятно, что не замечаешь ничего вокруг, — а сейчас куда-то еду степной дорогой, полощется на ветру пыль, поблескивает проволочная трава, старый монгол прячет под усами презрение, и завтра же я улечу отсюда, назад, назад, к своим асфальтам, дымам, бензинам.

Мой спутник говорит, что худшее время здесь — весна.

Нет других стран на земле, где бы так не любили весну. Старик произносит это почти с гордостью, но все равно я слышу в его голосе тайну. Весною разгул ветров, пыльные бури, трижды в день меняется воздух: то дохнёт Гоби, минутный зной, то вдруг холод, ветродуй, тайга. Все непрочно, ничему нельзя верить. По утрам сине, днем начинает задувать, к вечеру трясутся стены и на подоконнике, напротив щели между створками рам, навевается — как плотно ни затыкай шпингалет — темным веером пыль. Запах у пыли гнусный, могильный. Это запах весны. Откуда он, этот тяжкий подпольный дурман, когда пыль — неутомимо легкая — летит из свежейших пространств, где только синева и песок?

Пыль — бывшая жизнь, забвение, нечто, превратившееся в ничто.

Мы говорим о движении, которое зародилось когда-то на этих буграх. Однажды содрогнулся мир. Но тут загадка. Что двигало? Зачем было нужно идти куда-то так далеко? Ведь я летел на ИЛ-18 целых девять часов с посадкой в Иркутске. Этакая далища. Земля? Рабы? Женщины? Золото?

Но земли хватало. Рабство было неведомо. Женщин ценили мало, гораздо ниже коней. А чужое богатство, где оно? Куда делось? Где города, храмы, статуи, где клады разбойного золота? Нет ничего, кроме сопок в жесткой траве и степных коршунов «сар», стерегущих жалкую добычу.

— Чтобы это понять, — говорит мой спутник, — надо иметь в виду религию древних монголов: культ предков.

«Кун» по-монгольски человек. По мнению старика — а он кое-что понимает в этих делах, он поэт и историк, — гунны (хунну, кун) были предками монголов, и они дали знак, зов оттуда, куда их забросило волной. Движение было ответом на зов. Мертвые призывают, и живые идут. Но мглист и глубок колодец, нету дна, гаснет эхо. Кто были предки предков и на чей зов откликнулись

гунны?

Город далеко за холмами. Исчезли трубы, истаял дым. Кругом — бескрайняя степная голь, и катятся, подгоняемые ветром, темные клубки перекати-поля. Монголы называют эту высохшую, помертвелую траву «хамхол». Весна — пора хамхола. Ветры гоняют по степям полчища перекати-поля, иногда чудовищно громадных, ростом с собаку, иногда маленьких и прытких, как заяц. Но чаще это скачущее былье, эти скрученные колесом травяные трупики, давно потерявшие цвет, ставшие пылью, тенью, движутся медленно и как бы сонно. На мгновение остановка, потом легкий скачок, потом снова нехотя катится колесо, катится, катится, обрастая колючками, ветками, сором, все дальше и дальше, пересекая нашу дорогу, пропадая за бугром, катится бесконечно, в Гоби, в Китай, через океаны, на острова Огненной земли, в Антарктиду. Большое седовласое колесо преследует другое, маленькое, темное, вот настигло, навалилось, вцепилось, и теперь катятся — еще медленнее, через силу, — но вместе. Облака вдруг распались, вышло солнце, и мы видим нежное тело долины, рыжевато-смуглое от прошлогодней травы, изогнувшееся к горизонту, и в невероятной дали па склоне холмов стоящие,

как два сосца, две юрты.

Гонгуру было три месяца, когда его отец умер. У матери осталось девятеро, она не знала, как жить дальше, и отдала Гонгура бездетным знакомым, таким же бедным аратам: у них было всего тридцать коз и две лошади. Они жили в шестистах километрах к югу, в южногобийском аймаке. Прошло три года, началась война с китайцами, недолгая, но отчима Гонгура взяли на войну и успели убить. Приемная мать тоже вскоре умерла. Гонгур остался сиротой. Его подобрали соседи, которые жили километров на двести южнее. Богатый человек держал лошадей для скачек, и Гонгур был у него пастухом, а зимой пас баранов. Когда ему стало шестнадцать лет, он сел на лошадь и поехал в Улан-Батор.

Он работал на стройке, копал землю, был извозчиком, познакомился с советскими людьми, один из них научил его работать электросварщиком. В 1932 году в западных аймаках поднялся мятеж. Враги хотели свергнуть народную власть. Было тревожно, строительство комбината прекратилось, советские специалисты уехали. Гонгур уже был тогда членом революционного союза молодежи. И вот его пригласили вместе с другими молодыми рабочими в один дом и спросили: кто

хочет идти против врагов, лам и чиновников? Гонгур поднял руку. Еще двадцать человек подняли руки, но на другой день нужно было снова прийти в этот дом, и пришли только трое. Может быть, остальные испугались или их кто-то отговорил. Гонгура переодели в монашескую одежду, сбрили волосы, он стал мальчиком-ховруком, прислужником, какие есть во всех буддийских монастырях. ПотохМ вместе с одним человеком по имени Лувсан сели на лошадей и поехали на запад, к буддийскому храму Шумуултын-хурээ, где началось восстание и спрятались главные мятежники. Ехали несколько дней и ночей. Потом, когда приблизились к храму, Лувсан попрощался с Гонгуром и велел ему идти одному. Он должен был идти по тропинке и непрерывно молиться. Если бы его спросили: «Что ты тут делаешь?» — он должен был сказать, что умерла мать и он молится о том, чтобы она попала в рай.

Бывший прислужник храма Шумуултын-хурээ — невзрачный желтолицый мужчина неясного возраста, ему можно дать и шестьдесят и сорок. Он неплохо говорит по-русски, в силах объясниться по-немецки, знает несколько французских слов и говорит по-китайски, как китаец. Его взгляд полузадернут шторкой монгольского

века. Такие веки бывают у младенцев и птиц. Они прикрывают глаза у переносицы. Монгольское веко придает взгляду выражение какой-то застылой внимательности. Гонгур прошел за двадцать лет полсвета: жил и работал в Москве, на Печоре, валил лес в Архангельской области, плавал моряком на полярных судах, зимовал на Шпицбергене, воевал с немцами, был ранен почти смертельно, бежал из немецкого лагеря в Бельгии, попал во Францию, оттуда в Алжир… Теперь он бригадир животноводческой фермы. За стеною юрты — блеянье ягнят, одичалые вопли маток, у которых отобрали детенышей: сейчас окот, горячее время.

Я сижу на почетном месте напротив входа в юрту, на низком табурете, и пью жирный горячий чай с молоком и без сахара, «сютэ-цай». Слева на таком же табурете сидит прямо и гордо мой спутник, старый поэт; он какой-то дальний родственник Гонгура, впрочем, может, я ошибаюсь, не родственник, а добрый знакомый. У входа сидит наш шофер Сухэ, а с другой стороны входа — слепая старуха, курящая длинную трубку. Все, кроме старухи, пьют «сютэ-цай». Железные кровати стоят друг против друга у стен юрты, на шкафчике я вижу транзисторный приемник

«ВЭФ», а над головой — большое круглое отверстие, окно, в которое выходит дым от очага.

— И я должен был каждую ночь находить того человека, Лувсана… — рассказывает Гонгур.

— Который привел вас к монастырю?

— Он ждал меня на горе. Я рассказывал ему все, что видел. Таких монастырей, как тот дацан, было очень много в Монголии, но ни в одном, наверное, не было так много лам и столько оружия. Особенно мучили меня три ламы; один из них, родом джунгарец, был громадного роста и обладал силой верблюда. Они заставляли меня работать, как мула, и делали со мной, что хотели. Я был у них рабом. И я терпел все это. Когда пришли наши цирики, я отомстил…

Единственный дацан сохранился в Улан-Баторе.

Шел снег, по мокрому двору бродили люди. У них был вид людей, не знающих, как убить время. Только две простоволосые женщины, одна старуха, другая молодая, с одинаковым рвением молились на продолговатых, наклонно поставленных лежаках: падали на эти лежаки почти плашмя, тут же поднимались, делали быстрый молитвенный жест и вновь опускались на вытянутые руки, сноровисто, как опытные

физкультурницы. Их высоко подпоясанные дэли и волосы были мокры от сырого снега. Внутри, в полутьме дацана, пахло каким-то приятносвежим ароматическим дымом. Потом я узнал, что этот запах дают тонкие свечки «гуч», приготовленные из смеси трав и особого масла. Только один лама во всем дацане, сказали нам, умеет приготовлять такие свечки. Он научился давно, когда был мальчиком-ховруком в одном из тибетских монастырей.

Ламы сидели в ряд, забравшись с ногами на нары — сидели прочно, мешками, — и, раскачиваясь, бормотали молитвы. Все были старообразны, с бритыми головами, в грязных блекло-красных дэли; лица их были как вымокший в воде пергамент. Казалось, все эти ламы страдают болезнью почек.

Они бормотали, качались, вскрикивали сонно, передавали друг другу длинные листики священных тибетских книг, гудели, жужжали, — у одного был глубочайший бас профундо; время от времени он заводил что-то, как орган, — и не замечали молящихся, теснившихся у входа, вдоль стен, не замечали друг друга. За стеклом в шкафах мерцали бронзой и позолотой разного размера будды. А этот запах! В нем была сладость

и что-то слегка одуряющее. Горели лампадки над фигурками будд, повсюду лежали горы спичечных коробков. Казалось, здесь должно было пахнуть перепрелой одеждой, немытым телом, но — воздух был свеж.

Тот лама, что один умел делать «гуч», встретил нас в библиотеке. Его пальцы перебирали ветхие ленты книг, а глаза — полузашторенные складкой у переносицы, как у Гонгура, — смотрели немигающим птичьим взором. Он сообщил нам, что дацан является коллективным членом общества монголо-советской дружбы. Потом сказал, что запах «гуч» успокаивает нервы. «Вам, писателям, — сказал лама, — очень полезен запах «гуч». Я взял две тонкие, как травинки, палочки и, переломив их, положил в верхний карман пиджака.

Вечером в гостинице я читал в старой книге о том, что как раз в моем возрасте («лет в сорок пять») ламаисты отрекаются от мирских деяний и отказываются: убивать какое-либо существо, хотя бы паразита, вести брачную жизнь, говорить лживые слова и употреблять вино; кроме того, они обязываются произносить ежедневно от десяти до десяти тысяч раз мистическую формулу: «Ом мани падмэ хум», смысл которой никому не известен.

Внизу, под моим номером, был ресторан.

До поздней ночи гремел джаз и не давал спать. Чтобы заснуть, я повторял про себя «ом мани падмэ хум». Повторяя, я думал о том, как трудно никого не убивать, не вести брачную жизнь и все остальное. Те люди, что пронеслись когда-то косматым ураганом по миру, не знали этих трудностей: они верили шаманам и чтили мертвых. Повторив «ом мани падмэ хум» раз двенадцать, я заснул и увидел наш пруд, сразу, если выйти из калитки на лесную дорогу и повернуть налево; трава была желтой, сосны раскачивались, ноги вязли в земле; там, возле пруда, земля всегда мягкая, пахнет болотом, и на старой скамейке, стоявшей чуть выше берега под орешником, сидели трое, две женщины и мальчик. Одна из женщин читала вслух книгу. Мальчик качал ногой и прутиком пытался подкинуть с земли лист орешника. Все эти люди, сообразил я во сне, уже умерли. Они присоединились к большинству. Мальчик тоже умер, потому что от него ничего не осталось в том взрослом человеке, в которого он превратился. Я видел их явственно, мое сердце сжала боль, и я проснулся. Джаз умолк, ресторан, наверное, уже закрылся. Мертвые не должны и не могут никого никуда звать. От этого

происходят все заблуждения мира. И еще что-то важное, какую-то важную чепуху — вызванную бессонницей, монгольской водкой «архи» и разреженным воздухом — я обдумывал ночью, пока боль не проходила.

— Я был совсем один, — рассказывает Гонгур. — Вернулся на родину, и — никого, нигде…

Он рассказывает длинную историю о том, как нашел свою мать. Что-то запутанное, половину я прослушал, «И этот человек, по имени Гомбо, — он служил в авиации, техником…» Когда в первый раз Гонгур увидел Должин-сурэн, так зовут мать, была осень, выпало много воды; тогда как раз кончилась война с Японией; Гонгур приехал один, на лошади, — матери было семьдесят лет. Он нарочно приехал один. Не хотел никого брать с собой. Ведь Гомбо был его братом! Он увидел Должинсурэн и не мог поверить, что чужая старуха — его мать. И смеялся про себя, думая о том, что прошел весь мир, прыгал с парашютом, жил в полярных странах и в Африке, а Должинсурэп никуда не выезжала из своего аймака. Конечно, он привез ей подарок: семь метров шелка на дэли.

Должинсурэн встретила его очень хорошо: поцеловала в лоб, дала «сютэ-цай» в серебряной

чашке и угостила сладостью «арол», вот такой же, как здесь, ее делают из молочных пенок.

Слепая старуха с трубкой и есть Должинсурэн. Ей девяносто три года. Все смотрят на нее, а старуха курит.

— Гонгур, — говорю я, — как вы думаете: что заставило вас так мотаться по белому свету?

Гонгур глубоко задумывается. На этот вопрос ответить трудно. Тут много причин. Наверное, человек чего-то ищет, но потом возвращается к тому, что у него есть. Надо спросить Должинсурэн: ведь все началось с того, что она отдала его чужим людям в другой аймак. Старый поэт заговаривает со старухой по-монгольски.

Выходим на волю, где ветер свирепо возрос, надо возвращаться. Слепая Должинсурэн выходит следом. Садится на землю, что-то бормоча. Монголы прислушиваются к ее бормотанию внимательно, старый поэт кивает, потом Гонгур обращается ко мне.

— Она сказала, — говорит он, — что здесь всегда сильный ветер.

И после этого мы уезжаем. Наступили сумерки, степь кажется живой: на ней происходит Великое переселение хамхолов. Тысячи темных клубков катятся в ту сторону, где небо еще светлеет. Боль-

шие клубки тяжело переваливаются, маленькие почти летят по воздуху. Под светом фар пролетают клочья разодранных ветром хамхолов, иногда мелькают плотно сбитые, с волчьей седой щетиной комья веток, они бьются о радиатор, хрустят под колесами, мы их давим, крошим, но набегают, летят из тьмы все новые и новые. Чем темнее становится, тем их больше. Все причудливей формы, все гуще строй. Иные гривасты, как кони, другие круглобоки, как походные шатры; мчатся оперенные пиками летучие отряды, движутся танки, орудия, колесницы, боевые слоны, радарные установки, качается море темных красок. И все это хамхолово шествие слилось во тьме, сплочено ветром, и нет ему меры, нет края, нет числа. С трудом пробиваемся в этом потоке. Кажется, застряли. Мотор заглох. Летящий по воздуху тлен со всех сторон окружает нас. Остовы веток стучатся в окно, истлевшие корни колотятся в днище, лезут под капот, прах бывшей жизни и великих азиатских пустынь набивается в кабину. Я задыхаюсь от могильного запаха пыли. Ведь я говорил, предупреждал. Тысячелетняя пыль — новое страшное оружие.

— Это ничего, пройдет. — Старый поэт открывает дверцу машины. Фонарь в проволочной сетке раскачивается над подъездом. — Примите валидол. Здесь недостаток кислорода. Сначала все задыхаются, а потом привыкают.

1970

• ВОЗВРАЩЕНИЕ ИГОРЯ

Октябрьской ночью 1942 года после одиннадцатисуточного переползания с одной среднеазиатской станции на другую эшелон дотянулся до Куйбышева. Откочевали назад то знойные, то ледяные ржавые казахстанские степи, отдышала полынь в открытые двери тамбура, отмаячили навсегда старухи, сидевшие на корточках с. мисками по десятке, где в тинистой жиже плавали бараньи кишки и что-то еще баранье, черное. Пошли дожди, настал холод. В Куйбышеве мертво стояли в тупике, никто ничего не знал. Разнесся слух, что на Москву отправят не раньше, чем в понедельник. Внезапно на рассвете объявили, что отправляется какой-то непредвиденный воинский эшелон, к нему прицеплены два вагона, и надо спешно, не теряя ни минуты, пересаживаться туда. Прыгали, бежали, спотыкаясь, волокли узлы в серой знобящей мгле. Игорь тащил очень тяжелый, из толстой кожи отцовский чемодан, набитый вещами, бельем, банками, фруктами, сахаром, одеялами — бабушка насовала все, что можно, чтобы ей и Женьке было меньше везти, — и мешок с двумя зимними пальто, своим

и Женькиным, двумя парами валенок, и еще веревочную авоську, где лежала буханка черного хлеба и книжка очерков Эренбурга «Война», купленная в Ташкенте на вокзале. Игорь читал книжку в дороге, лежа в духоте и кислом воздухе под потолком. Чемодан и мешок Игорь связал поясным ремнем и перекинул через плечо. Сумку с черной буханкой нес в руке. Ремень лопнул, не выдержав тяжести. Спутники Игоря проходили мимо, сочувственно вскрикивали, но помочь не могли: каждый тащил свое.

Одновременно нести чемодан и мешок не удавалось, тогда Игорь решил передвигаться короткими перебежками. Оставив мешок, он перенес чемодан на пятнадцать шагов вперед, затем вернулся к мешку. Все его товарищи уже пробежали вперед. Взяв мешок, Игорь двинулся к чемодану и увидел, что высокая фигура, неясно различимая в рассветной мгле и слегка искривившаяся от веса чемодана, торопливо удаляется в глубь перрона. Бросив мешок, чтобы идти быстрее, Игорь последовал за удалявшейся фигурой; он не побежал, не закричал, ибо и то и другое показалось ему неловким и преждевременным. Человек с родным отцовским чемоданом ускорил шаги, теперь все стало ясно — мысли работали за-

трудненно, все это напоминало тяжкий утренний сон перед пробуждением, — и Игорь побежал. Но было поздно, похититель нырнул вправо, за вагоны, и исчез. Преследовать его было страшновато: можно было упустить эшелон. Игорь бегом вернулся к тому месту, где он оставил мешок, но мешка уже не было. В руках у Игоря осталась сумка с буханкой черного хлеба и книжка очерков Эренбурга. Перрон опустел. С обеих сторон стояли глухо и темно стены товарных вагонов.



Игорь побежал, в страхе от мысли, что отстанет от своих. Куда же они провалились? Он бежал сквозь строй вагонов и кричал, звал. Дверь одного товарного вагона с тихим визгом сдвинулась, и на уровне пола показалась голова в лохматой шапке, странная голова, лежавшая на боку, щекой к полу, и как будто не имевшая туловища,

отрезанная голова, и гаркнула матом. Сейчас же Игорь услышал другие голоса, заплакал ребенок, его успокаивала женщина. Игорь бежал вперед уже не по перрону, а по земле, но с обеих сторон по-прежнему стояли не имевшие конца эшелоны, он бежал как по дну ущелья, вдруг показалось, что он плывет по реке, стиснутой узкими берегами, и тонет. Нечем стало дышать. Тело сникло, он понимал, что надо действовать, двигаться, махать руками, но сил не было: такое же мгновенное, мертвящее оцепенение он испытал однажды, когда тонул на Габайском пляже, в июле: шагнул и потерял дно. Он остановился — будто кто-то невидимый с силой дернул за руку, тогда, на Габае, это был Володька — и понял, что надо вернуться к тому месту, откуда начал бежать. Кинулся назад. Вдруг подумал: «Хорошо, что нет чемодана и мешка. Я бы не смог бежать!» Как ни странно, эта мысль придала сил, и он побежал быстрее, останавливался, молотил в двери закрытых товарных вагонов, орал: «Эй, кто живой?»

На площадке одного вагона возникла фигура в тулупе, с винтовкой, зажатой в сгибе локтя, и хриплый голос — не поймешь, мужской ли, женский — стал незлобно ругаться: чего орешь,

шалопут? Игорь объяснил, что ищет воинский эшелон на Москву. Тулуп сказал, что тут все воинские и все на Москву, но дал совет: «Спроси вой того мужика, по той пути ходит, колеса стукает. Сигай сюда!» Игорь вскочил на площадку, протолкался мимо тулупа, так и не разобрав, мужчина в него закутан или женщина, спрыгнул на другую сторону и стал оглядываться, ища мужика, что стукает колеса, но никого не было видно ни там, ни здесь. Игорь напрягал зрение, тянул пальцем глаз — он был близорук, а очки остались в чемодане — потом закричал с отчаяньем:

— Где ж твой мужик?

В то же время раздался нежный звук стали, ударяемой о сталь, и Игорь побежал туда, на звук, все еще никого не видя, совсем ослепнув от тяжести, сдавившей грудь: отстал! отстал! Железнодорожник с фонарем, стоявший на карачках возле колеса и оттого не видный издали, выслушал и махнул рукой:

— Через два пути на третий, и бежи вбок!

Игорь прыгал, пролезал под платформами, на которых стояли накрытые брезентом орудия, ждал, пока пройдет какой-то бесконечный состав из одних цистерн, бежал, спрашивал, звал и, наконец, нашел, вскочил на подножку и влетел

в вагон — это был темный, теплый, пахнувший жильем и махоркой некупированный вагон, все полки которого были, кажется, заняты, но Игоря это нисколько не расстроило, он с радостью повалился прямо на пол, в проходе.

Спутники Игоря — их было шестеро, четыре парня и две девушки, все москвичи, оказавшиеся в Ташкенте в эвакуации и так же, как Игорь, завербовавшиеся там на военные заводы, чтобы вернуться в Москву, спрашивали, что с ним было и куда он, чертов сын, подевался. Никто не знал, что у него свистнули чемодан и мешок, да и никто не поверил бы этому, глядя на то, с каким радостным видом он растянулся на полу. Когда же он рассказал историю в подробностях, все изумились, в первую минуту пожалели его, а потом стали хохотать. По вагону ходили военные с фонарем, кого-то искали, потом прошли два контролера — проверяли билеты и пропуска на въезд в Москву, — они тоже смеялись. Поезд вдруг тронулся, веселье стало всеобщим, хохотали незнакомые люди, лежавшие на дальних полках, и те, кто из любопытства подошли поближе, и кто пробирался в другой вагон и остановился лишь на минуту узнать, почему смеются. Игорь почувствовал себя в некотором роде знамени-

тостью. Кто-то нашел ему место: «Эй, юморист, полезай сюда!», еще кто-то послал ему кусок сала с хлебом.

Игорь забрался на третью полку, положил сумку с черняшкой под голову и стал жевать сало. Он сильно проголодался. Хотя сало было не очень свежее, источало почему-то запах табака, Игорь грыз и сосал его с удовольствием. Кроме того, положение знаменитости и гусара, которому плевать на потерю багажа, обязывало есть какое угодно, пусть самое рискованное сало. Если бы Игорю предложили сейчас стакан водки, он бы хватил разом, не моргнув.

— Малый, а тебе сколько лет? — спросил кто-то, лежавший на полке напротив.

Игорь посмотрел: человек был укрыт шинелью, вроде как больной или раненый. Пристально и неприятно он глядел черными глазами на Игоря, и тот ответил не сразу и без охоты:

— Шестнадцать…

— В Москве у тебя кто есть?

— Ну, есть… А что?

— Ждут тебя?

Игорь грубо спросил:

— А вам какое дело?

— А никакого, конечно, до тебя, дурака, нет… —

сказал человек тихо и закрыл глаза.

Игорь сопел, размышляя: оскорбиться или нет? Решил: не стоит. Человек был жалок. Может быть, умирал. Но гусарское самочувствие исчезло, сделалось тоскливо. Колеса стучали по мосту, проезжали Волгу. Внизу говорили о сводке, кто-то слышал на вокзале в Куйбышеве шестичасовое радио: тяжелые оборонительные бои в районе Сталинграда и Моздока. То же самое, что все последние дни. Слишком уж скупо. А что там на самом деле? Еще говорили о боях в Ливии, о том, что англичане хитрят, а американцы не умеют. В Москве, говорили, на жиры дают хлопковое масло, только не такое, как было в Ташкенте, а более светлое, обезжиренное. Чаю нет, все пьют кофе черный, желудевый или ячменный.

Голоса снизу доносились рвано, в промежутки, когда колеса стучали тише. Вдруг голоса возвысились, зазвучали сварливо, вперебой.

— А вас не спрашивают!

— Нет, я спрашиваю…

— В чужой разговор…

— Распространяете…

— Брось ты с ним! Не видишь, что ли…

Игорь думал о тех, кто его ждет в Москве. Впрочем, было неизвестно в точности, ждут его или

нет. Бабушка написала письмо своей двоюродной сестре Вере, еще более старой, чем бабушка, и совсем больной старухе — поэтому она не могла никуда тронуться из Москвы — о том, чго Игорь получил пропуск в Москву и приедет в октябре, но ответа ни от бабушки Веры, ни от ее дочери тети Дины пока не было, так что не знали, можно ли у них остановиться, здоровы ли они и живы ли вообще. Игорь мог, конечно, жить и один в комнате на Большой Калужской (цела ли комната?), но бабушка считала, что ей будет спокойней, если Игорь поселится у бабушки Веры. Все это были подробности, не имевшие значения. Главное то, что он возвращается. И эта дурацкая, из чаплинской комедии, история с чемоданом и мешком — лишь малая цена за возвращение, ничтожная цена, пустяки, не надо огорчаться. А все-таки что же там было? Ну, пустяки, барахло, ну, валенки, зимнее меховое пальто, переделанное из отцовской бекеши. Ну, какие-то кофты, одеяла, простыни, скатерти, всякая мура. Очки вот жалко. Без очков — хана. Но можно заказать новые. А вот что действительно жалко — дневники, вся школьная жизнь с седьмого класса по девятый. Три толстых общих тетради. Все, начиная с переезда из того дома на Большую Калужскую, когда они остались

втроем — он, бабушка и Женька, — новая школа, ребята, Дом пионеров, два лета в Серебряном бору и одно лето в Шабанове. Сколько там дорогого, ценного, смешного, забавного! Как часто он смеялся, перечитывая некоторые страницы. Все остальное мура. Заснуть и забыть. Завтра вечером будет Москва. И он заснул, хотя в вагоне серело, загорался день.

Ему приснилась старая квартира — та, где они жили раньше с отцом. Большая темноватая столовая, рядом с нею комната бабушки, отгороженная от столовой портьерой болотного цвета; в бабушкиной комнате всегда было очень солнечно, окно во всю стену и дверь на балкон, и там стоял платяной шкаф, тот самый, из которого однажды зимой перед Новым годом совершенно неожиданно — никто его не трогал — выпало большое, вделанное в дверь зеркало и разбилось.

Елка стояла в столовой посреди комнаты, обеденный стол сдвинули к пианино. Комната сделалась тесной, запахло лесом, дачей, лыжами, собакой Моркой, верандой с белыми окнами и грязным, мокрым полом, где стучали валенками о доски, бросали рукавицы на голый стол, без клеенки — все вещи на веранде имели какой-то жалкий, промерзший вид — и, распахнув обитую

войлоком дверь, вбегали в тепло, в домашний, немного дымный, кухонный, сухой уют с треском печи. Всем этим пахла хвоя, это был запах каникул. Через два дня Горик и Женя должны были ехать на дачу, но не к себе в Серебряный бор, а к Петру Варфоломеевичу Снякину, дяде Пете, старому товарищу отца и бабушки еще по ссылкам и гражданской войне. У дяди Пети тоже были внуки, двое мальчишек, но Горик знал их мало, и, хотя его очень привлекал неведомый Звенигород, называемый Русской Швейцарией, возможность покататься на лыжах с гор и пожить на прекрасной снякинской даче, про которую мама говорила, что это не дача, а дворец, а бабушка с легким неодобрением рассуждала о том, как меняются люди, было немного грустно уезжать от привычного Бора.

На елку пришла Женькина подруга, маленькая черноглазая девчонка Ася из ее класса, которая очень важничала, но Горик не обращал на нее внимания, и пришел двоюродный брат Горика — Валера со своим отцом дядей Мишей. Из школьных товарищей не пришел никто: Леня-Карась с матерью уехал в Ленинград, он часто ездил в Ленинград к родственникам, у Марата-Скамейкина самого была елка с гостями, а Володька-Сапог

уехал на дачу в Валентиновку. Но Горик не жалел о том, что никого из них нет. Не прочь был отдохнуть от них: Леня-Карась с его выдумками и тайнами порой угнетал Горика, он чувствовал, что впадает в зависимость, в какое-то рабство к нему; Сапог был малый компанейский, но любитель врать и хвастать, а Скамейкин был большой хитрец. Без них Горик жить не мог, он любил их, они были лучшие и единственные друзья, но от этой дружбы он уставал.

С Валеркой Горик виделся редко — дядя Миша жил за городом, в поселке Кратово — но уж когда братец приезжал в Москву, они с Гориком устраивали такой «тарарам», или «бедлам» по выражению мамы, что у соседей внизу качались люстры. Часами они могли кататься по полу, сидеть друг на друге верхом, кружиться и пыхтеть, стискивая один другого что есть мочи, стараясь вырвать крик боли или хотя бы еле слышное «сдаюсь». И чем больше они потели, разлохмачивались, растрепывались, изваживались в пыли, чем сильнее задыхались и изнуряли друг друга, тем радостнее и легче себя чувствовали; это было как наркотик, они делались пьяные от возни, понимали умом, что пора остановиться, что дело кончится скандалом, но остановиться было выше

их сил.

Возня происходила рядом с елкой, на большом диване, от которого, если елозить по нему носом, шел слабый запах дезинфекции, и его твердая, шершавая ткань скребла щеки, и на нем были два валика, которыми братья дрались, тихо смеясь, норовя ударить друг друга посильней по больному месту. Девчонки по другую сторону елки играли в какую-то настольную игру. Они были сами по себе, а Горик и Валера сами по себе. Но в миг паузы Валера прошептал Горику на ухо: «Знаешь, почему мы тут возимся?» «Ну?» — спросил Горик. «Потому, что перед этой Асей показываемся». Горик промолчал, пораженный. Горику было одиннадцать с половиной лет, а Валерке просто одиннадцать, и он не такой уж сообразительный, гораздо меньше читал, но сказал правду. Как же он так угадал про Асю? Уязвленный чужой проницательностью, Горик спрыгнул с дивана и крикнул: «Айда в кабинет!» Они побежали в отцовский кабинет, там было темно, зажгли свет, все взрослые собрались зачем-то в комнате у бабушки и разговаривали, совсем забыв о ребятах.

Кабинет был велик, полон таинственных вещей. Там в четырех шкафах теснились книги, тысячи книг, многие из которых были совер-

шенно неинтересны, в бумажных переплетах, растрепанные, старые, пыльные, но были и очень красивые энциклопедии в коже, с золотыми корешками и множеством картинок внутри, с которых Горик давно уже для разных нужд посдирал прозрачную папиросную бумагу. Там висело в простенке между одним из шкафов и окном отцовское оружие: английский карабин, маленький винчестер с зеленой лакированной ложей, бельгийское охотничье двуствольное ружье, шашка в старинных ножнах, казацкая плетеная нагайка, мягкая и гибкая, с хвостиком на конце, китайский широкий меч с двумя шелковыми лентами, алой и темно-зеленой (этот меч отец привез из Китая, им рубили головы преступникам, и Горик видел в альбоме, который отец тоже привез оттуда, фотографию такой казни; отец по утрам, а иногда и днем делал специальную китайскую гимнастику с этим мечом, размахивал им, становился в позы, однажды, когда пришла в гости тетя Дина, Горик вздумал показать ей редкостное зрелище, отца, размахивающего мечом, и распахнул дверь кабинета — тетя Дина вскрикнула: «Ах, боже!» — прикрыла дверь, а отец больно щелкнул Горика по макушке, сказав: «Идиот!»). В углу кабинета стояла пика с длин-

ным бамбуковым древком, четырехгранным наконечником и клочком сивой гривы, привязанным чуть пониже наконечника. Пику отцу подарили в Монголии, когда он путешествовал в пустыне Гоби. Этой пикой было удобно закрывать форточки, а иногда мама использовала ее для других целей: заметив где-нибудь высоко на стене клопа, мама брала пику, нацепляла на нее кусочек ваты, смоченной водой, и клоп бывал настигнут. У мамы Горика было замечательно острое зрение. Более острым зрением обладала лишь бабушка, которая у себя на работе в секретариате занималась в стрелковом кружке и даже получила значок «Ворошиловского стрелка».

Пол кабинета застилал толстый и громадный, во всю комнату, персидский ковер. Возиться на ковре было гораздо удобнее, чем на диване. Горик и Валера опустили шторы, чтобы в комнату не проникал свет даже от дальних окон, и устроили «японскую дуэль»: поединок, который обязан происходить в полном мраке. Противника надо было угадывать по шороху, по дыханию. Несколько раз они набрасывались друг на друга в темноте и после короткой яростной схватки разбегались по углам. Однажды кинулись друг на друга так неловко, что стукнулись головами и оба

завопили от боли. Вбежали взрослые, включили свет. У Горика был здоровенный «фингал» на лбу, у Валерки из носа хлестала кровь.

Поднялся шум, забегали, закричали, оказывали первую помощь и одновременно ругали нещадно. Злее всех ругался дядя Миша.

— Здоровенный оболтус! — кричал он Валерке. — Чем ты думал? Каким местом? Почему не мог спокойно посидеть и почитать книжку?

— Наш тоже хорош, — сказала мать и сильно дернула Горика за руку, чтобы он повернулся к ней другим боком: она вправляла его рубашку в штаны. — Когда приходят ребята, всегда начинает беситься. Смотри, что ты сделал с белой рубашкой.

— Неужели у вас нет других, более интересных занятий? — спросила бабушка.

Их повели в ванную комнату, продолжая осыпать упреками. Дядя Миша грозил сейчас же забрать Валерку и увезти в Кратово. Было ясно, что взрослые возбуждены чем-то помимо драки (и драки-то не было), уж очень они взбеленились. В конце концов Валерка приходил в гости нечасто, сегодня был праздник, они имели право побузить. Подумаешь! Горик надулся и отвечал матери односложно. Она не должна была так

сильно дергать его за руку. Тем более раненого человека. Вместо сочувствия Подняли такой крик.

Когда вернулись в столовую и сели на диван, дядя Миша стал рассуждать о прошлом. Горик заметил, что Дядя Миша любил вспоминать прошлое, когда немного выпьет; лицо его покрывалось красными пятнами, на лбу выступал пот, и он расхаживал по комнате и рассуждал, грозя кому-то пальцем. Теперь он рассуждал — специально для Валерки и Горика — о том, как он и его брат, то есть отец Горика, жили в молодые годы, как они мыкались по чужим домам, зарабатывали себе на хлеб и так далее и тому подобное. Конечно, они жили плохо, никто не спорит: ведь они жили в царское время. Ничего нового он не открыл. Валерка даже демонстративно отвернулся и рассматривал корешки книг на черной этажерке, стоявшей возле дивана. Горик уважал дядю Мишу, который был героем гражданской войны, краснознаменцем, воевал с басмачами и до сих пор имел звание полковника, ходил в военной форме, в гимнастерке с широким командирским поясом, но отчего-то Горику бывало иногда его жаль. Может, оттого, что он был уже не боевой командир, а работал в Осоавиахиме, а может, оттого, что Горик часто слышал, как отец

говорил матери: «Вот черт, Мишку жалко…» У дяди Миши непрестанно случались неприятности, то на службе, то дома. То он ругался с начальством, то влезал в долгие тяжбы, защищая кого-то от мерзавцев и негодяев или же выводя кого-то на чистую воду, то ссорился с женой, выгонял ее из дома, снова привозил, и Валерка мотался с квартиры на квартиру.

Мать Горика говорила: «Михаил не умеет ладить с людьми. У него тяжелый характер. Вот удивительно: два брата, а совсем разные!» Но Горику казалось, что дело в чем-то другом. Однажды он видел, как дядя Миша с отцом играли в шахматы. Дядя Миша приехал тогда тоже с какой-то неприятностью, кажется, на него один мерзавец и негодяй написал донос в Общество политкаторжан, и дяде Мише надо было оправдываться и что-то доказывать — вместо того, чтобы просто пойти и «натереть ему рыло», — и отец кому-то звонил по телефону насчет дяди Миши, долго говорил, сердился, называл кого-то дураком, потом они с дядей Мишей оделись и пошли в соседний подъезд к одному старому товарищу, с кем отец был в ссылке, пришли через два часа и сели играть в шахматы. И дядя Миша проиграл отцу пять партий подряд. Он так разозлился, что

ударил кулаком по доске и все фигуры разлетелись. «Конечно, я тебе проигрываю! — сказал он. — Потому, что у меня башка занята другим».

И вот Горику казалось, что у дяди Миши всегда башка занята другим. Поэтому у него и неприятности. Сегодня тоже наверняка была какая-нибудь неприятность. Он ходил, скрипя сапогами, блестя стеклами пенсне, на щеках и скулах пунцовели пятна — не от гнева, а оттого, что выпил на кухне рюмку-другую водки, — говорил сердито и много, но было, однако, видно, что он думает о другом.

— Хотя мы с Николаем о такой жизни, как ваша, лоботрясы вы этакие, даже мечтать не могли…

— Не знаем мы, какая у них будет жизнь, — ввернул отец. И, как показалось Горику, ввернул очень умно.

— Как же не знаем? Великолепная жизнь, им все дано, — сказала бабушка, расставляя блюдца и чашки *для чая* на столе. На нем стояли две вазы с самодельным бабушкиным печеньем и лежала раскрытая коробка круглых, в виде раковин, вафель с шоколадной начинкой. Это были любимые вафли, Женька их уже потихоньку таскала, но Горик, как находившийся под следствием, вынужден был сидеть не двигаясь и пожирать вафли глазами. Женька взяла пятую. Правда, две

она отдала Асе. — У них все права, — продолжала бабушка. — Кроме одного права: плохо учиться. Женечка, ты же не мыла рук. Ася, Женечка, бегите в ванную и мойте руки.

Через полтора часа всех ребят, кроме Аси, которую мать Горика проводила домой, уложили спать в детской. Валера, бедняга, сразу захрапел, Женька тоже заснула, а Горик долго лежал, прислушиваясь к звукам и голосам. Он слышал, как пришел другой дядя, мамин брат Сергей, студент университета, с ним какие-то мужчины и женщины, наверное, тоже студенты, много голосов, один женский голос смеялся очень звонко и нахально; весь этот шум прокатился в глубь коридора, из столовой раздалась музыка, кто-то заиграл на пианино и сейчас же перестал. Через дверь с матовым стеклом сочился из кухни тонкий, свежий запах печенья. Бабушка всегда пекла одно и то же печенье, сухое, коричневого цвета, в виде ромбиков, нарезанных зубчатым колесиком, и с одним и тем же запахом. У Горика заныло сердце: ему захотелось печенья. Захотелось в столовую, где разговаривали студенты. Захотелось увидеть собаку Морку, почувствовать запах снега, побежать на лыжах через речку к холмам и чтобы Ася увидела, как он летит стремглав с самого

высокого холма, где два трамплина.

Тихо открылась дверь, и вошла мать Горика. Она постояла неподвижно в темноте, прислушиваясь и стараясь понять, спят дети или нет. Женя и Валерка спали, а Горик лежал с открытыми глазами. Он сказал шепотом: «Ма, я не сплю». Мать подошла на цыпочках и села на край кровати. Она притронулась ладонью ко лбу Горика, где была шишка: рука ее была холодная. «Сынок, мы поедем послезавтра к себе, в Серебряный бор». «Правда? — Горик обрадовался. — Ух здорово! Мне так не хотелось ехать в этот самый Звенигород! А ты поедешь?» — «Конечно. И я и папа. И, может быть, Валерку возьмем, если Миша его отпустит и если вы дадите слово, что будете вести себя хорошо». — «Конечно, дадим! Непременно дадим! Обязательно дадим! Ура-ура-ура! Да здравствует наш любимый, несравненный, драгоценный Серебряный бор!» — в возбуждении восклицал шепотом Горик. Он уснул счастливый.

На другой день, тридцать первого декабря, когда все сидели утром за завтраком в столовой, в бабушкиной комнате раздался внезапно оглушительный грохот. Было похоже, что кто-то выбил балконное окно. Побежали туда и увидели, что разбилось не окно, а зеркало. Весь паркет был

усыпан сверкающими осколками. Никто не мог понять, каким образом и почему старинное толстое зеркало выпало из двери платяного шкафа, запертой к тому же на ключ. Это была загадочная история. Домашняя работница Мария Ивановна сказала, что это к войне. Отец Горика сказал, что война с Гитлером и Муссолини, разумеется, будет, но не скоро. А Горик подумал о том — и это поразило его, — что в мире происходят вещи, которые не может объяснить никто: даже отец, самый умный человек на свете, и мать, тоже очень умная и самая добрая. Ни один человек, никто и никогда не объяснил Горику, почему в то утро упало зеркало.

От вокзала до Страстного бульвара, где жила тетя Дина, Игорь шел пешком, совсем налегке: хлеб он доел, а книжку Эренбурга сунул в карман. Москва поразила тишиной, малолюдством — даже на вокзальной площади людей почти не было, троллейбусы шли пустые, — и чем-то глубоко и тяжко растрогала. Он словно увидел родное лицо, но изменившееся и настрадавшееся в долгую разлуку. На площади перед метро «Кировская» стояли несколько человек и слушали радио из репродуктора, установленного на фонарном столбе. «Немцы болеют от гитлеров-

ских эрзацев, — читал торжественным голосом диктор. — Как заявил в Женеве прибывший из Германии голландский врач, долгое время практиковавший в одной из дрезденских клиник...» Лица слушающих выражали сосредоточенное, несколько отупелое внимание. Может быть, они и не слушали, а думали о своем. Или терпеливо ждали что-то важное, что должен был сказать диктор.

Пошел слабый дождь. Игорю не хотелось садиться в трамвай. Он шел бульваром, заваленным опавшей, гниющей листвой, останавливался у газетных витрин, читал. Умер художник Нестеров. Рязанская область закончила уборку картофеля. Волнения во Франции. Исполком Моссовета одобрил инициативу жильцов дома № 16 по Н. Басманной и № 19 по Спартаковской улицам по активному участию в подготовке к зиме: участие в ремонте отопления, крыш, утепления зданий, завозе топлива, его хранении, эксплуатации. 450 лет назад Христофор Колумб открыл Америку. Этому знаменательному событию посвящена выставка, открывшаяся на днях в библиотеке. А дочь Татьяну и внука Юру фашистские изверги загнали в погреб и забросали гранатами...

Дом на Страстном знакомо, громадно чернел

сквозь дождевой туман. Внутри, в клетках дворов, было пустынно. Когда-то эта цепь проходных дворов была оживленнейшим местом: по ним проходили, сокращая себе путь, с Большой Дмитровки на Страстную площадь, а по утрам здесь толпами шли хозяйки за покупками в Елисеевский магазин и навстречу им, снизу, шли другие на Палашевский рынок. Игорь свернул направо, в тупиковый двор, и подошел к подъезду. Это был, впрочем, не подъезд, а небольшая, довольно грязная и старая, много раз крашенная дверь с железной ручкой, лестница за нею была такая же грязная и старая, она поднималась наверх короткими зигзагами и по своей крутизне напоминала винтовую. Лестница огибала пустое вертикальное пространство, такое узкое, что если бы кто-то вздумал кончать тут счеты с жизнью, то должен был бы лететь вниз стоймя, солдатиком. На третьем этаже была выбита ограда, край лестницы висел над обрывом; Игорь прошел эти несколько ступеней с осторожностью, прижимаясь к стене. «Ну и ну! Как же тут бабушка Вера ходит?» — подумал он с изумлением.

Он нажимал кнопку звонка и улыбался.

Его радовали этот сырой день, пустые дворы, перекрещенные бумажными лентами окна. Это

была Москва. Он вернулся. Дверь не открывали. Он позвонил еще раз и ждал, продолжая улыбаться. Потом, догадавшись, что звонок не работает, сильно постучал. Сразу же зашаркали, завозились с замком, женский голос спросил:

— Кто там?

— Я — к Дине Александровне…

В первую секунду он не узнал тетю Дину: худая старушенция. Какое желтое, опавшее лицо! На плечи тети Дины был наброшен, как у боксеров, выходящих на ринг, махровый халат, который совсем гнул ее и заставлял вытягивать шею вперед. Выражение лица у тети Дины было испуганное. Она вскрикнула: «Ах, Горик! — и сейчас же, оглянувшись назад, очень громко и напряженно: — Мама, Горик приехал! Это Горик!»

Вышла бабушка Вера. Она ничуть не изменилась. Она тихо шла по коридору, вдоль стены, подняв сухонькое, кивающее, детское личико в мелко кудрявом, седом венчике, и улыбалась издали. Подойдя, обняла Игоря легкими руками, пригнула голову и поцеловала, и он вспомнил этот старушечий запах комода, лежалости и сухих духов. Обе принялись хлопотать вокруг него, сняли с него пальто. «Я принесу чайник!» — «Мама, не суетись. Принеси лучше полотенце.

Ходи медленно!» — «Я вовсе не суечусь, и даже не суетюсь. Видите, этот глагол мне чужд, я даже не знаю, как его спрягать…»

— Баба Вера, ты молодчина, — сказал Игорь радостно.

Он сидел на стуле и стаскивал башмаки, несколько прохудившиеся. В Ташкенте, где месяцами не бывало дождей, они служили неплохо, но в первый же час в Москве сдались, он промочил ноги.

— Почему ты шел пешком? — спрашивала тетя Дина.

— Я так проголодался, так соскучился по Москве! Читал афиши, объявления. Знаю, например, что производится набор аптекарских учеников для аптек Москвы. А что? На худой конец! Вечер Хенкина в Театре эстрады — рядом, на Малой Дмитровке…

— Постой, Горик. А где твой багаж?

Он рассказал. Лицо тети Дины заметно побледнело. Она опустилась на сундук и сказала:

— Я получила письмо три дня назад. Тетя Нюта написала очень подробно, что она с тобой посылает — ты же знаешь свою бабушку — по пунктам…

— Да, барахла было много.

— И продуктов тоже, она писала.

— Да, — сказал Игорь. — Продуктов тоже…

Тетя Дина сидела на сундуке, с удивленным видом разглядывая пол.

— Как же так, я не понимаю? — сказала она тихо и развела руками. — Как можно быть таким рассеянным? Как можно, зная, что едешь в голодный город…

Игорь стоял перед нею босой, в мучительном оцепенении. В правой руке он сжимал влажные носки. Только сейчас он внезапно осознал, как ужасно, отвратительно, жестоко было то, что произошло с ним и в чем он был, конечно же, виноват. Как всегда, осознание приходило к нему позже, чем следовало, и тем сокрушительней. Он готов был тут же, босой, кинуться бежать из дома. Бабушка Вера пришлепала с полотенцем в прихожую и остановилась, не понимая, почему Игорь замер в такой странной позе, а тетя Дина сидит на сундуке.

— Дина, что случилось? — спросила она. — Что-нибудь с Нютой?

— Нет, нет, ничего с твоей Нютой, — сказала тетя Дина. — Иди, пожалуйста, в комнату. Он будет мыться, а потом мы станем пить чай, и я тебя позову.

Бабушка Вера нащупала рукой гвоздь в стене, на который были наколоты какие-то квитанции, повесила на пего полотенце и зашлепала обратно в комнату.

— Мама совсем почти не видит, — сказала тетя Дина. — И стала в последнее время очень плохо слышать. Вообще мы живем… я не знаю, как мы живем. Мы живем на одну служащую карточку! Ты представляешь? Маринка поступила на курсы иностранных языков при военном ведомстве, устроить было невероятно сложно, я нажала все кнопки и устроила, ее приняли, но не успели дать пи карточек, ничего, и она заболела. Больше месяца лежит. Какое-то тлеющее воспаление легких, каждый день температура. Она — там, в комнате, ты потом к ней зайди, ты ее не узнаешь. Нужно давать мед. А где его достанешь? Я ждала тебя, скажу тебе честно, еще и потому с таким нетерпением, что тетя Нюта писала, что посылает с тобой банку меда.



— Мед я тебе достану... — пробормотал Игорь сквозь зубы.

— Где ты его достанешь, мой милый? Ты не представляешь, как живет Москва. Надо иметь очень большие связи или очень большие деньги. У меня уже нет ни того, ни другого. Одного я все-таки не понимаю: как можно допустить,

чтобы у тебя на глазах… Ах, бог с ним! — Она порывисто поднялась с сундука. — Сейчас согрею воду. Помоешься, и будем пить чай. Что случилось, то случилось. Не будем огорчаться, правда, Горик! — Она шлепнула Игоря по щеке, это был шлепок примирения и прощения, но все же он оказался чуть сильнее, чем нужно, как слабая пощечина. — Сядь на стул, я поищу какие-нибудь носки Бориса Афанасьевича.

Через полчаса Игорь помылся, переоделся в сухое и пил чай на кухне вместе с тетей Диной и бабушкой Верой. Собственно, пили не чай, а отвар шиповника с сахарином. «Хорошо, что нет соседей. Можно посидеть на кухне, — говорила тетя Дина. — К нам жуткую парочку подселили, вот уже год. В комнату Марии Адольфовны. Ты помнишь Марию Адольфовну?» Еще бы он не помнил Марии Адольфовны! У нее были добрые, овечьи глаза, всегда немного слезящиеся, длинные пальцы, длинное лицо, сама была длинная, сутулая. «Hände waschen, Zähne putzen, schlafen!» Она была настоящая немка из Гамбурга, но почему-то выдавала себя за датчанку. Три года она жила каждое лето с Игорем и Женькой на даче, а зимой приезжала раза два в неделю. «А что с Марией Адольфовной?». — «Ее куда-то выселили

из Москвы еще в прошлом сентябре. Она ведь была совершенно одинока. Не знаю, что с ней».

Тонкие ломтики черного хлеба лежали на красивой фарфоровой доске, имевшей форму лопатки с короткой ручкой. У тети Дины всегда было много красивой, старинной посуды. Чашки, из которых пили отвар шиповника, были, наверное, столетнего возраста, на их донышках красовались замысловатые вензеля. Тетя Дина брала ломтики хлеба, наносила на них изящным серебряным ножиком почти незримый слой масла и давала Игорю и бабушке Вере.

Возбуждение все еще не покидало тетю Дину. То она, махнув рукой, говорила: «Ну, конечно! Не будем переживать. Кто первый заговорит, с того штраф» — и рассказывала о новых соседях, жуткой парочке, о своей работе в музыкальном издательстве, о каком-то полковнике, который ухаживает за Мариной, и вдруг, в середине рассказа начинала иронически улыбаться и прерывала себя: «А если посмотреть на всю историю с комической стороны? Вообразите: идет этакий шляпа...»; то в ней просыпался гнев и она проклинала подлецов и сволочей, которые пользуются людской бедой; то возникали неожиданные идеи, она предлагала написать заявление в Ми-

нистерство внутренних дел или же начальнику милиции Куйбышевского вокзала. «Что ж, что война. Они обязаны заняться и начать розыск…»

Бабушка Вера молча пила отвар и жевала хлеб. Зубов у нее, наверное, почти не осталось, и она жевала, не переставая, помогала деснами и даже губами. Ее лицо при этом сжималось и разжималось, как гармошка, и, когда сжималось, принимало выражение забавно-напыщенное. Бабушка Вера отставила чашку и стала медленно, сгорбленной спиной вверх, подниматься из-за стола.

— Диночка, — сказала она. — Целый час ты не можешь съехать с этих чемоданов. Стыдно, ей-богу. Ну, привез бы он провизию или нет — какая разница? Через десять дней все равно бы все съели.

Тетя Дина взглянула на мать отрешенно.

— Ты права, мама. Конечно, мамочка. Стыдно, стыдно, невыносимо стыдно! — Она закрыла лицо ладонями. — Стыдно, что ни о чем другом я не могу говорить. Стыдно, что я так раскисла… Очень стыдно, но я думаю, Горик меня простит. Ты простишь, Горик? — Голос ее задергался. — Ведь я одна забочусь о том, чтобы всех накормить. Я одна приношу хлеб в дом. Ты понимаешь, Го-

рик? Я должна бегать по очередям, добывать, продавать; керосин, лекарство, доктор, картошка, последний день талона на крупу, талон на табак меняю на мыло — у меня голова кругом! У меня нет сна. И меня все обманывают, я все теряю, ничего не успеваю. — Лицо тети Дины исказилось гримасой, рот растянулся, и она заревела, продолжая говорить нелепым, орущим голосом: — Тебе хорошо, ты — старуха. Ты можешь сидеть дома и ждать. И говорить: «Это не стыдно! А то стыдно!» А мне ничего не стыдно, понимаешь? Потому что я должна бороться! Я должна спасать свою дочь! И тебя! Ни одной секунды мне не может быть стыдно, нехороший ты человек…

Бабушка Вера не спеша, держась за стенку и мелко-мелко кивая головой, двигалась из кухни в коридор. Тетя Дина кричала ей вслед:

— Как же у тебя хватило совести? Злая ты, злая женщина!

Последнюю фразу тетя Дина выкрикнула особенно яростно и громко, чтобы бабушка Вера, уже скрывшаяся в коридор, услышала. Потом тетя Дина подошла к кухонной раковине, открыла кран и стала мыть лицо холодной водой и сморкаться.

Игорь, все время сидевший за столом, поднялся и пошел в коридор. Он не знал, можно ли ему

сейчас идти в комнату, и в нерешительности топтался в прихожей, делая вид, что ищет что-то в карманах пальто. Потоптавшись, он сел на сундук. Тетя Дина не появлялась. Он слышал, как она гремела в кухне посудой, двигала стулья. Наверно, ей было стыдно после всего этого. Вот сейчас ей было по-настоящему стыдно. А что, если надеть пальто и тихо уйти? Игорь думал о тете Дине с жалостью. Он помнил ее совсем другой. Нет, уйти было бы проще всего.

Он рассматривал висевшие на стене в прихожей несколько старых фотографий и гравюр в темных рамках. Без очков он видел плохо, и пришлось встать с сундука, чтобы подойти к картинкам ближе. Когда-то он все их видел, но совершенно забыл, и теперь они всплывали в памяти — этот старик с цилиндром, женщина в пышном белом платье с такой тонкой талией, что женщина было похожа на песочные часы, поэт Баратынский, вид города Пармы. Все эти картинки принадлежали исчезнувшему времени, тому жаркому лету за три года перед войной, когда он гостил в Шабанове, в музейной усадьбе. Дача в Серебряном бору тогда уже не существовала, и бабушка попросила тетю Дину взять его на лето к себе. А Женя уехала тогда с другой род-

ственницей на Украину. Тетя Дина жила в самой усадьбе композитора, в маленькой комнате на первом этаже, с окнами в сад, сырой, темный сад со столетними елями, с липовой аллеей, спускающейся вниз к реке; на лужайке по утрам стояла художница, бледная женщина с надменным лицом, и писала кусты сирени; они были на холсте розовые, хотя давно отцвели, а небо почему-то зеленое, но Игорь не решался спрашивать, что это значит. Он слонялся по музейным залам, где потрескивали сами собой полы, где в шкафах за стеклом блестели старинные переплеты; вечерами на открытой веранде пили чай из самовара, всегда на столе были подогретые белые булочки и черносмородиновое варенье, и внучатый племянник композитора, очень похожий на него, с такой же бородкой, рассказывал о том, как жили в Париже перед первой мировой войной. Были и другие люди, они тоже рассказывали интересные истории, был один музыковед, пьяница, но добрейшая душа, был австриец, бежавший из Вены от фашистов, он умел держать тарелку на лбу, и он ухаживал за художницей с надменным лицом, а тетя Дина играла на рояле «Времена года». Иногда, очень редко, приезжала Марина на велосипеде. Она мало занимала Игоря. Ему шел

тринадцатый год, а ей девятнадцатый, она была толстая, нахальная, всегда с нею были кавалеры. Шабаново она называла «деревней». Тетя Дина страдала из-за нее, говорила, что она «с фокусами». А Игорю нравилось жить в музейной усадьбе, сидеть до ночи за столом на веранде — вот только комары донимали — и слушать малопонятные разговоры. Однажды он слышал, как тетя Дина и внучатый племянник композитора о чем-то спорили на скамейке в саду, тетя Дина сердилась, тот ее успокаивал, и вдруг закричал на Игоря: «Что за манера торчать рядом, когда взрослые разговаривают!» Прошло несколько дней, Игорь с музыковедом ходили на речку купаться — как раз тогда Игорь выронил в воду свои ботинки, когда переплывал речку, и музыковед спас их, нырнул и достал — и под секретом, а также под градусами, музыковед сообщил Игорю, что тетя Дина отказалась от мужа. «Прости меня, Егор, но твоя тетушка с этих пор для меня — тьфу», — сказал пьяный музыковед. Игорь знал, что тетя Дина жила с мужем, отцом Марины, плохо. Все говорили, что в молодости тетя Дина была очень красива, а муж ей попался неудачный. Однажды Игорь застал тетю Дину плачущей, потом она уехала в Москву, вернулась, снова были прогул-

ки, купание в холодной, с глинистым берегом, речонке, вечерами снова сидели за самоваром, ели подогретые булочки, и тетя Дина играла на рояле «Времена года». Вскоре появился Борис Афанасьевич, очень большой, толстый, в очках, с черной бородкой и усами, Игоря переселили в комнату рядом с чердаком, тетя Дина сделалась веселая, пела песни и играла с Борисом Афанасьевичем в серсо, Марина перестала приезжать, а музыковед устроил однажды пьяный скандал, и вызывали милицию.

— Такой стал Горик? Ого! Потрясающе! — Игорь увидел бледную, с большим носом, рыжеволосую девушку, стоявшую в дверях прихожей. На девушке был халат с кистями, она держала руки скрещенными на груди, обнимая ладонями худые плечи, словно ей было зябко. — Никогда бы тебя не узнала…

— Я тоже вас… — Он запнулся, почувствовав, что говорит что-то не то, но все же мужественно закончил: — наверное, не узнал бы!

— Так ужасно я изменилась?

— Нет, но тетя Дина… Вы же болеете…

— Да, да. Я болею. Совсем забыла, что я болею. — Она понизила голос до шепота. — Что тут было? Почему мама так орала на бедную бабушку?

Игорь пожал плечами.

— Может быть, из-за этой очень смешной истории, которая случилась с твоим багажом? Мне бабушка рассказала. Боже, это же драгоценнейшая история! Ее можно вспоминать всю жизнь и каждый раз получать удовольствие. Ты гений, Горик. Ты поступил гениально. — Прижав ладонь к губам, она прыскала. — Ах, как жаль, что тебе не удалось все-таки опоздать на свой поезд…

Тетя Дина вышла из кухни, неся на подносе что-то, покрытое полотенцем.

— Зачем ты встала? — спросила она дочь. Я несу тебе питье и лекарство.

— А зачем ты кричала? Я думала — грабители, воздушная тревога или Бочкин вернулся. Ты меня разбудила. Я спала!

Последнюю фразу она произнесла с вызовом и прошла мимо матери и мимо Игоря в ванную, горделиво подняв свой большой нос и распушив движением головы рыжие волосы. За нею прошла волна ее запаха: лекарств и несвежего тела. Игорь почувствовал, что между матерью и дочерью есть какая-то напряженность, и он, неожиданно и невольно, эту напряженность почему-то усилил.

Тетя Дина сказала, посмотрев на него со слабой

улыбкой:

— Вот чепуха, правда же? Какие-то чемоданы в голове, а немцы на Волге, Ленинград в окружении… Ты помнишь Свирского? В Шабанове он жил одно лето вместе с тобой. Ленинградский музыковед, чудный человек. Погиб в августе под обстрелом. Иди сюда, я покажу, где ты будешь спать… От Бориса Афанасьевича никаких вестей уже четырнадцать месяцев…

Из ванной раздался крик Марины:

— Постели ему в моей комнате на кушетке! Мы будем с ним разговаривать!

— Ай, иди ты! — Тетя Дина с досадой махнула рукой. — Он рабочий человек, а ты бездельница. Он будет вставать в шесть утра. Идем Горик…

Из прихожей шел коридор, заставленный какими-то фанерными ящиками, мешками, банками, корытом, шкафчиками; всего этого хлама раньше тут не было, по-видимому, привезли неведомые Бочкины, занимавшие комнату Марии Адольфовны. Эта комната находилась в глубине коридора, на ее беленой двери чернел большой висячий замок. Справа по коридору были две двери. Игорь вошел вслед за тетей Диной в первую. Увидел комнату и вспомнил, что близко под окном должен быть виден железный скат крыши, но теперь окно было закрыто светомаскировочной бумагой. Бабушка Вера сидела за столом и, держа у глаза лупу, читала книгу.

1973

• ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖЕНЦАНО

Посвящаю Нине

Древняя Аппиева дорога, та самая, знаменитая Via Appia Antica, построенная Аппием Клавдием две тысячи триста лет назад, мощенная камнем от Рима до Капуи, и, может быть, единственная в мире сохранившаяся до наших дней дорога древности, шла все время справа от автострады. Сквозь стекло автобуса я пытался разглядеть развалины гробниц и храмов на ее обочинах, но почти ничего не видел. Иногда мелькало на горизонте что-то похожее на развалины, но, возможно, то были купы деревьев. Слева возникал на экране синего неба и вдруг исчезал скелет гигантского полуобрушенного акведука.

Две дороги, античную и современную, разделяло несколько сот метров земли, поросшей рыжей пыльной травой. Была осень. Автобус мчался на юг. Нас ждал городок Дженцано, один из так называемых «костелло-романи», римских городков-крепостей, расположенных в окрестностях Вечного города. Через несколько километров автострада пересекла древнюю Аппиеву дорогу,

и я увидел ее лысые фиолетовые булыжники, отполированные веками, и по сторонам, в зелени, невзрачные обломки каких-то белых камней, очень белых, похожих на старые промытые дождями кости или на лошадиные черепа, попадающиеся иногда на наших лугах в высокой траве. Это были остатки фундаментов когда-то великолепных зданий. Все они давно разрушились временем, но дорога еще живет. Она сохранилась так же, как эта земля, холмистая, рыжая, в лиловых подпалинах осени. Сколько колесниц гремело по этим камням! По ним ехал несчастный поэт, изгнанный из Рима загадочным гневом императора. Эти лиловые холмы провожали колесницу поэта, и он смотрел на них с болью, но без отчаянья, еще веря в то, что он вернется, не зная того, что он прощается с ними навсегда…

Сидевшие сзади меня люди разговаривали о футболе. Они спорили уже полчаса, от самого Рима.

— Если б не Сальников, который к вам перешел… — говорил один голос.

— А что Сальников? — говорил другой. — Сальников начинал в нашем клубе.

— Во-первых, он начинал в «Зените»…

Шофер автобуса пел, не умолкая, разные ита-

льянские песни, «Арриведерчи Рома» и другие. Он пел в микрофон, но хотелось, чтоб он немного отдохнул. Он совершенно не делал пауз, пел одну песню за другой, как радиола, заряженная на двенадцать пластинок. По-видимому, он считал своим долгом петь для иностранных туристов и, кроме того, наверное, получал за это прибавку к зарплате. И он старался вовсю. Иногда его голос звучал так громко, что заглушал шум мотора, но сидевших сзади меня это не останавливало — они непрерывно разговаривали о футболе.

Автострада миновала древнюю дорогу, теперь Аппиа Антика оказалась слева. Она убегала в сторону, все дальше к горизонту, и я больше не видел ее фиолетовых камней, круглых грибообразных пиний на ее обочинах, потомков тех пиний, которые так же кругло и грибообразно возвышались здесь две тысячи лет назад. Из них тесали кресты, на которых были распяты сторонники Спартака вдоль всей дороги от Капуи до Рима. Все это началось южнее, в Капуе, в гладиаторской школе, охватило всю Кампанию, всю южную Италию, а окончилось здесь, на дороге. Я помню, как в шестом или пятом классе, когда я увлекался «Спартаком» Джованьоли, я нарисовал акварельными красками эту дорогу, и по стран-

ной случайности рисунок сохранился до сих пор. Ничто не сохранилось из моих школьных рисунков, тетрадей и дневников, а этот рисунок цел. Как будто я знал тогда, что через четверть века увижу эту дорогу и сравню ее с той, воображаемой, которую я когда-то рисовал, и поражусь ее небольшой ширине, ее тихой невзрачности и какому-то глубокому неземному спокойствию, каким обладают только моря и кладбища.

Люди сзади меня все еще разговаривали о футболе. Теперь они говорили раздраженно:

— В этом сезоне вас только и спасали пенальти!

— Ну и что ж? Не надо нарушать…

— Надо играть! Вот что надо!

— А вы считаете, у вас нет костоломов?

Слева промчался назад городок Кастельгандольфо, за которым мелькнуло вдали Альбанское озеро. Автострада поднималась; лиловые холмы, обширные зеленые равнины все просторней и дальше расстилались по обе стороны. Прошло еще несколько минут, и автобус остановился на площади Дженцано.

Этот городок, сказали нам, живет производством вина и цветов. Мэр города был коммунистом. Нас приняли в мэрии, где над столом висело

маленькое распятие. Мэр и кто-то из наших туристов говорили речи, и все стояли и слушали, и, улыбаясь, смотрели друг на друга, мы — на итальянцев, а итальянцы — на нас, и хлопали с большим азартом, и все время подходили новые люди, помещение мэрии набивалось, становилось душно, пришло откуда-то много детей, мы давали им значки и открытки, и они шепотом говорили «грацие», все разговаривали шепотом, потому что там, впереди, в толкучке возле стола, все еще произносились речи. Крестьяне были одеты по-праздничному, мужчины были в костюмах, в белых рубашках, с галстуками и с цветками в петлицах.

Ко мне подошел крестьянин лет пятидесяти, сухопарый, небольшого роста; он назвал себя Томазо Бьянки и, улыбаясь, протянул мне огромную ладонь, твердую и шершавую, как дерево. Он, как и другие, был в белоснежной нейлоновой рубашке; воротник ее был такой белизны, что казался даже голубоватым, а из воротника торчала совершенно коричневая от солнца, изрубленная морщинами шея. Томазо Бьянки показал мне удостоверение Общества итало-советской дружбы. Почти все крестьяне с гордостью показывали нам эти книжечки, а некоторые просили нас на

них расписаться для памяти.

Потом все вышли на улицу. Улицы в этом городе, или, лучше сказать, в этой деревне, были узенькие и горбатые, вымощены старыми камнями. Нас вели на праздничный обед в тратторию. Это был небольшой ресторан, наверное, лучший в Дженцано; он назывался траттория «Пистаментуччиа» и был украшен внутри и снаружи охотничьими трофеями, чучелами лис, кабанов, зайцев и головами оленей. На длинных столах в траттории уже стояли бутылки вина, лежал сыр на тарелках и круглые белые булки, и повсюду на столах стояли вазы с цветами. Мы расселись как попало, вперемешку. Официанты в коротких курточках носились между столами, кидая блюда с котлетами и спагетти. Это был настоящий деревенский обед в деревенской траттории, и три человека на маленькой эстраде — пианист, гитарист и певец, — с деревенским энтузиазмом исполняли те же самые песни, которые пел наш водитель автобуса. Через полчаса мы пели их хором и, сцепив руки за спинами друг друга, качались на скамейках в такт пению.

Мы долго пели, много ели и пили, и, когда все кончилось и я вышел на улицу, было совсем темно. Воздух был очень теплый и насыщен запахом

цветов. Цветы виднелись всюду: на грядках и клумбах вдоль тротуаров, в деревянных низеньких кадках улицы. У меня кружилась голова. Он был такой густой и сладкий, этот запах цветов, и создавал ощущение духоты. Но для людей, которые населяли эту старую каменную деревню, это был запах их цеха, их работы: они ведь жили производством цветов. Меня почему-то это смешило. Мне казалось забавным и удивительным, что взрослые мужчины с такими твердыми шершавыми руками занимаются только тем, что делают цветы. Одни цветы — и больше ничего. Для всего Рима, для всего мира — только цветы. Господи, думал я, когда люди перестанут заниматься пустяками? А те двое, что всю дорогу в автобусе говорили о футболе? Можно подумать, что они ездят в Италию, как на дачу в Малаховку. И ничто, кроме футбола, их не занимает. И, кстати, они путают: Сальников начинал не в «Зените», а в «Спартаке». Можно подумать, что у них нет забот, нет болезней, нет неприятностей по службе, нет тяжелой и долгой жизни за плечами, нет войны, которую они мучительно пережили и в которой наверняка потеряли кого-то из близких. У них нет мечты и нет надежды увидеть однажды что-то сокровенное, недостижимое. У

них нет ничего, кроме футбола. Вот счастливцы! Они похожи на жителей Дженцано, производителей цветов. И на тех, кто эти цветы покупает, а их покупает весь мир. Ведь здесь, на лиловых холмах вокруг Дженцано, не растет ничего, кроме цветов. Здесь никогда не было войны, отсюда не угоняли молодых парней на север, и они не возвращались калеками из концлагерей, из плена. Можно подумать, что здесь никогда не было фашизма, не было ночных облав, людей никогда не арестовывали и их родные никогда не рыдали на рассвете…

Ничего не было, кроме запаха цветов, от которого трудно дышать.

Я с жадностью вдыхал воздух и быстрыми шагами шел вниз по горбатой улице, к площади, где было много огней, толпились люди и оттуда доносились звуки музыки. Мои друзья где-то отстали. Я не знаю, куда я шел и зачем так спешил. Я шел в толпе итальянцев; среди них было много детей и женщин, и все они спешили вниз, к площади. Там что-то происходило — небо над площадью то и дело озарялось фейерверком.

Под открытым небом стояли столики, очень тесно, за ними так же тесно сидели люди, пили пиво, кианти и кока-колу; звуки многих голосов,

смех, шарканье ног по камням и треск передвигаемых плетеных стульев гулом стояли над площадью, и в этот гул врывалось оглушительное хлопанье и шипенье ракет, и вся площадь, лица сидящих, столы, клубы сигаретного дыма над столами освещались вдруг то красноватым светом, то оранжевым, то зеленым. И в тот миг, когда взлетал фейерверк, сидевшие за столами дружно аплодировали и что-то кричали. Было похоже, что они выкрикивали какое-то имя — Бернардо или Леонардо. «Браво, Леонардо!» — кричала вся площадь, когда шутихи, треща и разбрызгивая рубиновые искры, взлетали в темное небо и начинали вертеться там каруселью. Я вдруг увидел моего знакомого Томазо Бьянки, который издали махал мне руками, приглашая за свой столик. С ним сидели четверо таких же пожилых, как он, темнолицых, захмелевших крестьян, которые что-то радостно кричали мне, хлопали меня по плечу и наливали кианти. Но тут взорвался новый фейерверк, и крестьяне, забыв обо мне, повскакали с мест и, глядя в небо, кричали: «О! Белло, белло!», «Браво, маэстро!», «Браво, Паскуале!» Над площадью вертелась какая-то огненная чертовщина, взлетали и опускались пылающие головешки с хвостами искр,

как будто невидимый великан жонглировал ими в черном небе, и все это лопалось, шипело, трещало, как мотоцикл, и пахло серой. Соревновались пиротехники. Я попал на соревнование самых знаменитых пиротехников города Дженцано. А все это вместе называлось праздником урожая. И скоро я тоже стал вскакивать, хлопать в ладоши и кричать: «Белло, белло! Браво, маэстро Джованни!» Я увидел сверкающий мальтийский крест, крутившийся с необыкновенной скоростью наподобие пропеллера, потом я увидел «пальмы», созданные маэстро Нино, и «китайские колеса», и восьмиконечные звезды, целые созвездия восьмиконечных звезд, осколки которых падали на площадь, на столы и на головы, была всеобщая суматоха, мужчины хохотали, а женщины пронзительно вскрикивали.

Томазо Бьянки куда-то исчез, но вскоре появился, ведя с собой небольшого толстенького человечка в белой курточке официанта. Крестьяне оживились, увидев его, стали кричать: «Руссо! Руссо!» Бьянки привел его специально ко мне, и он поклонился почтительно, быстро и низко, как кланяются официанты, и сказал, улыбаясь:

— Дра-твуй-те! Добри ден!

Все захохотали, поглядывая на меня лукаво. *У* этого Руссо было красное, лоснящееся, расширяющееся книзу лицо, похожее на кувшин, маленький лоб, мохнатые черные брови и черные, блестящие от бриолина волосы. Он был у нас в плену. В Архангельске.

— Ну, как дела? — спросил я. — Хорошо?

— Харашо! Харашо! — закивал он, продолжая улыбаться. Зубы у него были очень крупные, белые, наверное, вставные. — Ар-кан-гельск! Харашо!

И он сделал жест, изображающий человека, который пилит дрова.

Все снова захохотали. Он сел за стол, ему налили кианти, и он стал рассказывать. Ему очень хотелось рассказывать, но он знал всего десяток русских слов и рассказывал по-итальянски. Не знаю почему, но я его понимал. В Архангельске было очень холодно. Один его друг заболел воспалением легких и умер. Но он выдержал все, он был молодой и крепкий и от морозов стал еще крепче. Когда он вернулся домой, отца уже не было в живых, младшего брата расстреляли фашисты, а жена Руссо изменила ему с одним немцем, уехала в Вену, и он нашел дома только старуху мать, которая немного помешалась от

всего этого. Через два года жена вернулась с маленьким мальчишкой на руках. Что было делать? Пришлось взять их; жена была совсем слабая, больная, не оставаться же им на улице. А сейчас все в порядке, о'кей, они живут вчетвером, жена поправилась, стала такая полная, красивая; она работает в ателье, где делают плетеные корзинки для цветов. А мальчишка играет в футбольной команде Дженцано. И, может быть, его пригласят в Рим; тут приезжал недавно тренер одной римской команды…

Через три стола от нас сидел этот парень. Руссо показал его издали. Я увидел его за большим столом в компании мужчин, которые о чем-то шумно и возбужденно спорили, не обращая ни на кого внимания. Фейерверк их не интересовал.

— О чем они спорят? — спросил я.

— А! — Томазо Бьянки махнул рукой. — О футболе, наверно. Выиграет ли «Сампдория» у «Ювентуса»…

Откуда-то сверху, с горбатой улицы, где стоял наш автобус, слышались сигналы. Я не сразу догадался, что это зовут меня. Когда я подошел к автобусу, все уже сидели на местах и сердито кричали, что это безобразие — заставлять всех ждать одного. Я сел на самое неудобное сиденье, и автобус медленно тронулся. Последний раз, оглянувшись назад, я увидел кроваво-красный фейерверк над площадью, заполненной людьми, потом началась дорога, темнота, ночь…

1960

• ИСПАНСКАЯ ОДИССЕЯ

Вот что рассказал мне человек с глубоким шрамом посередине лба, с лицом жестким и серым, навеки впитавшим в себя землистую бледность тюрьмы, и со взглядом нестерпимой твердости, истинно испанской твердости. Мы разговаривали об испанском футболе.

— Вы спрашиваете, откуда я так хорошо знаю футбол? Да, я знаю его великолепно. Я могу назвать всех игроков «Барселоны» и «Атлетико-Бильбао», и «Сарагоссы», и мадридского «Реала» за последние десять лет. Я знаю все подробности жизни ди Стефано. Кто его родители, где он живет, его любимое вино, его любимый киноактер, сколько стоит его автомобиль... То же самое я могу рассказать про дель Соля и Кубалу. О, в моей памяти застряли такие подробности, каких не помнят самые изощренные спортивные статистики! И при всем том я ни разу не видел ни ди Стефано, ни Хенто, ни дель Соля — никого из этих звезд в игре. Как это произошло? Сейчас вы поймете. Немного терпения. Это надо рассказывать подробно и долго, так, как мы рассказывали друг другу там, в Бургосе. Да, я привык рассказывать о

своей жизни. Правда, чаще всего я рассказывал о ней самому себе.

Знаете, когда смерть подходит близко, начинаешь вспоминать прошлое. Нет, не вспоминать, а видеть его. В отрывочных картинах проносится вся твоя жизнь, разбитая на куски, и ты вглядываешься ненасытно, с жадностью, и тебе все мало, хочется еще и еще вспоминать, и ты становишься совсем как пьяный. Потому что нет на свете более крепкого вина, чем то, которое называется «память».

Вот так я смотрел в свое прошлое апрельскими ночами тысяча девятьсот сорок девятого года в ожидании суда. Я знал, что меня хотят приговорить к смертной казни, — этого требовал прокурор. Мне исполнилось сорок лет — неплохой возраст для мужчины; в этом возрасте уже можно умирать, а можно и жить дальше. Отличный возраст. Но мне хотелось жить дальше, потому что я прожил слишком хорошую жизнь. В моей жизни было все, что нужно.

Апрельскими ночами в тюрьме в Мадриде я старался вспомнить о самом важном — и не мог: все казалось мне одинаково важным. Все, начиная с самого начала.

Начиная с того, как отец учил меня класть кир-

пичи и держать в руке лопаточку для извести. Я родился в маленькой деревне Рио-Самора в провинции Кастилья. Отец был бедняком, земля не кормила его, и он выучился ремеслу каменщика. Я тоже стал каменщиком и с двенадцати лет уже помогал отцу.

Мой отец был хороший человек, хотя мы всегда с ним спорили, — и в те времена, когда жили в деревне, и после, когда я вырос, а он стал стариком, и когда шла война, и когда она кончилась и мы проиграли и бежали в чужую страну. Мы спорили всю жизнь, потому что он был так же упрям, как и я.

Он говорил: всегда в мире будут существовать богатые и бедные, и тут ничего не поделаешь. У него была любимая поговорка насчет того, что не надо переворачивать тортилью.

Тортилья — это запеканка из картошки и яиц. Когда ее готовят, ее не следует переворачивать.

В Рио-Самора я познакомился с одним социалистом, который переселился к нам из Мадрида, потому что его жена была больна и врачи велели ей жить в деревне. Этот человек объяснил мне многое. Я поверил ему. Я стал читать социалистические газеты. В нашей деревне только два человека выписывали газеты: священник и я.

Отец сердился на меня, потому что из-за моих взглядов ему давали меньше работы. Но я уже не мог иначе. Ах, как я любил читать газеты! И как я спорил с отцом! И как мне хотелось перевернуть тортилью — заново перестроить весь мир!

В тысяча девятьсот тридцать первом году меня призвали в армию — за два месяца до того, как образовалась республика. Через год я демобилизовался и вернулся в деревню. Я уже был коммунистом.

Потом, очень скоро, я уехал в Мадрид и поступил в школу. Мне было двадцать три года, а я учился с мальчишками двенадцати лет. Они смеялись надо мной, но я учился, Я хотел стать пожарным. Пожарные хорошо зарабатывали, и мне нравилась их форма и то, что их все уважали. Но стать пожарным было не просто, надо было выучиться гимнастике, и я занимался вечерами в гимнастическом клубе. Надо было выдержать очень трудный экзамен: на двадцать девять мест претендовали семьсот человек. Я выдержал экзамен и стал пожарным.

Это было перед войной.

Война началась восемнадцатого июля тысяча девятьсот тридцать шестого года, а двадцать первого июля меня уже ранили в руку под Толедо. Я

пошел добровольцем в ополчение. Раненный, я вернулся из Толедо в Мадрид и вступил в пятый полк, в первую роту, которая называлась «Стальная рота». Рана моя зажила, и я снова отправился на фронт, навстречу фашистам, наступавшим из Гвадаррамы.

В нашей роте было много астурийских горняков, они хорошо умели делать картечные снаряды из тола, и я помогал им. На второй день боев меня ранило осколком бомбы в глаз, и я попал в госпиталь, где меня лечили несколько дней и откуда я убежал, когда понял, что мой глаз все равно видеть не будет.

В ноябре меня ранило в третий раз, в ногу. Пятого декабря, когда фашисты вошли в Мадрид, я воевал в бригаде Листера и уже до самого последнего дня войны не расставался с Листером. Меня послали в школу комиссаров. Я проучился там двадцать четыре дня и, когда вернулся оттуда, меня назначили комиссаром артиллерийской части, которая защищала Мадрид.

Наши батареи обороняли клинику и Национальный дворец. Рядом помещался католический монастырь, который захватили анархисты и устроили там штаб. Они не воевали, а разбойничали и спекулировали мясом и фруктами,

которые привозили в Мадрид из деревень. У них было много машин. Я сумел войти к ним в доверие, потому что нам нужны были машины, мясо, фрукты, и я притворился анархистом для того, чтобы получить от них помощь. Они согласились мне помочь и даже прислали роту своих людей, но я их не использовал: они были ненадежны. Они были самые настоящие спекулянты так же, как и всё их так называемое «арагонское правительство», которое заявило о нейтралитете, а на самом деле пропускало фашистов. Когда они узнали, что я коммунист, они пытались убить меня, но у них ничего не вышло.

В боях за клинику меня ранило в четвертый раз. Потом я воевал в Гвадалахаре, где мы наступали против итальянцев и разбили их.

Фашистам никак не удавалось убить меня. Они ранили меня еще раз, на Эбро, и шестой раз, в конце войны, в Каталонии, когда мы, истекая кровью, отступали на север. В Барселону пароходом приехал из Валенсии мой отец — он хотел быть со мной и с моим младшим братом Пабло до конца. И старик проделал весь тяжкий путь — зимой, через горы, к границе Франции.

Я ехал с товарищем на военном грузовике, и совсем близко от границы на горной дороге мы

наткнулись на патруль. Ночью прошел дождь, дорога была сырая и скользкая, и мой товарищ, сидевший за рулем, затормозил так резко, что нас чуть не снесло в обрыв. Фашист тут же выстрелил и убил шофера. Я вышел из машины, держа за спиной бомбу. Я хотел взорвать их вместе с собой, всех сразу. Я бросил бомбу, она упала под ноги, но один фашист успел нагнуться и отбросить ее. Она взорвалась в воздухе. В тот же миг я прыгнул с обрыва и покатился вниз, ударяясь о камни. Они стали стрелять. Рассвет едва начинался, было темно, и никто из трусов не осмелился прыгнуть за мной следом, и я встал внизу, весь избитый, окровавленный, но живой, и побежал. Я бежал через горы два дня. Одиннадцатого февраля тысяча девятьсот тридцать девятого года я перешел границу Франции.

Так я оказался в чужой стране и в плену. Потому что всех нас, бежавших от фашистов, французы посадили в концлагеря. Нас была целая армия, пятьсот тысяч, — коммунистов, социалистов, республиканцев и просто честных людей, которые ненавидели фашизм и не могли примириться с его победой. Почему мы проиграли войну? В дни плена мы только и делали, что говорили об этом, обсуждали и так и эдак, пытались понять, найти

виновников.

Мы потому проиграли, что первыми приняли на себя удар фашизма. Пока другие, вроде англичан и французов, трусили и хитрили, мы схватились с фашистами не на жизнь, а на смерть.

Социалист Леон Блюм посадил нас в концлагеря. Это называлось «невмешательство». Будь оно проклято! Оно принесло страшные беды Испании, и не только Испании, а всему миру. Я пробыл в концлагере несколько месяцев. Нас было сто двадцати тысяч в страшном квадрате, огороженном четырьмя рядами колючей проволоки. Мой отец жил в лагере стариков. Несмотря на старость и плохое здоровье, он работал по своей профессии, каменщиком» и даже ухитрялся на заработанные деньги покупать еду и помогать своим товарищам, совсем больным старикам. Мы очень голодали в лагере. У многих начались болезни от голода, многие умерли. Весной мне удалось выехать из Франции в Советский Союз. Я радовался тому, что еду в великую страну, которую я всегда мечтал увидеть, и все же было грустно уезжать еще дальше от моей Испании и расставаться с друзьями и с моим стариком.

Когда Гитлер пришел во Францию, многие

испанцы вступили в партизанские отряды и воевали с фашистами. Мой старик одно время работал у фашистов, они мобилизовали его. Он охранял склад оружия, расположенный в тайном месте. Потом отец ушел к партизанам, хорошо воевал, был два раза ранен и умер в госпитале. Перед смертью он спросил у сестры, знает ли она какого-нибудь коммуниста. Она сказала, что знает одного, и отец попросил привести этого коммуниста к нему. Когда его привели, отец рассказал ему о тайном складе оружия и нарисовал схему, как отыскать этот склад. Отец был единственным человеком, который знал местонахождение склада. Мне рассказали об этом несколько лет спустя, когда я вернулся во Францию. Я был очень горд отцом. Я знал, что мой старик — хороший человек, но он оказался еще и настоящим коммунистом и героем. И к концу жизни он старался помочь мне перевернуть тортилью!

Когда я приехал в Советский Союз, меня послали отдыхать и лечиться в Сенеж. Я пробыл там четыре месяца. Потом уехал в Коломну, работал на паровозостроительном заводе. Жизнь моя стала налаживаться, я женился на испанской девушке, у меня родилась дочь. Но вскоре Гитлер

напал на Советский Союз, и я ушел добровольцем в армию.

Я воевал под Москвой, на Северном Кавказе и на Кубани. В конце сорок второго года на Кубани в боях западнее Краснодара фашисты ранили меня в седьмой раз. В седьмой, но не в последний.

Окончилась война, фашизм был разгромлен, фашистские главари расстреляны, повешены, а те, кто избежал суда, покончили с собой или испарились, как привидения, чтобы до конца жизни дрожать от страха, живя под чужим именем где-нибудь в Вальпарайсо или в Сан-Пауло.

И только один фашистский вожак благоденствовал как ни в чем не бывало — генерал Франко, палач Испании.

В сорок седьмом году я вернулся в Испанию. Родина есть родина. А несчастная родина кажется дороже вдвойне. Прошло одиннадцать лет с начала мятежа и восемь лет с тех пор, как война закончилась, но в Испании продолжались все ужасы фашистского ада. Как будто не было горящего Берлина, не было Муссолини, казненного народом.

В Испании томилось в застенках около полумиллиона политических заключенных. В маленьких городках и деревнях наделали тюрем.

Из года в год, изо дня в день продолжались казни и аресты. Ночи, особенно обильные арестами, в народе назывались «sakas» — так называется большой, килограммов на сто, мешок для фруктов или овощей. Ночи «sakas», когда людей пачками бросали в каменные мешки, стали в Испании обычным делом. В тюрьмах все время находилось не меньше десяти тысяч людей, приговоренных к смертной казни; месяцами они сидели в одиночках, каждую ночь ожидая смерти.

Глядя на то, что происходило в стране, я понял, что у Франко не было другого выхода. Только террором он мог удержаться у власти. Такова судьба палачей: одна казнь тянет за собой другую, а десяток казней требует еще тысячи.

Через сорок дней после того, как я вернулся в Испанию, меня схватили в Мадриде на улице. Я был с двумя товарищами. Внезапно нас окружили люди из «полнена сосиаль» и, угрожая пистолетами, затолкали в ближайшее парадное. Там нас поставили лицом к стене, с поднятыми руками, и мы стояли так, пока не подъехала полицейская машина. Нас привезли в здание министерства внутренних дел. Через час меня уже допрашивали и били. Меня били всю ночь — с одиннадцати часов вечера до шести утра. Я

держался хорошо. Потом я узнал, что для битья здесь нанимались специальные люди, бывшие профессиональные боксеры. Они знали свое дело, работали на совесть. У меня из ушей текла кровь. Но я держался хорошо.

К утру я все же потерял сознание, и меня стащили вниз, в подвал, и бросили в маленькую одиночную камеру. В таких камерах сидели политические заключенные. Затем в течение двадцати дней меня ежедневно допрашивали и избивали до потери сознания, бросали в комнату с углем, обливали холодной водой и снова начинали допрашивать. Они требовали, чтобы я признался в том, чего не было. Я ничего не признавал и ничего не подписывал. Меня допрашивал сам начальник социальной полиции Ко-неса и его заместитель Карлитос. В народе социальную полицию называют «мафией», то есть шайкой бандитов, и это верно: как настоящим бандитам, им ничего не стоит погубить человека.

Полицейские избивали меня дубинками, боксеры молотили кулаками, меня заставляли становиться на четвереньки и ногами отбивали мне почки, но мне еще повезло — других пытали электрическим током, загоняли нм деревянные иголки под ногти. Некоторых допрашивали в

присутствии их родственников, и, если заключенные отказывались говорить, бандиты Конесы начинали избивать родственников и насиловать женщин.

Через двадцать дней меня отправили в тюрьму и посадили в маленькую шестиметровую камеру, набитую людьми. Нас было в этой клетке не меньше двенадцати человек. Мы спали, прижавшись друг к другу, как сардины, и, когда одному из нас хотелось повернуться с боку на бок, должны были поворачиваться все двенадцать. Кроме того, мы очень голодали — нас кормили одной капустой.

Это было в тюрьме в Алькала ди-Генарес, в городе, где родился Сервантес. И я часто думал о нем и бедствиях его великой жизни и о стойкости, с которой он переносил их.

Два года я ждал суда.

Сидя в камере, я вспоминал свою жизнь и думал: что я сделал плохого? Я любил Испанию и ненавидел ее врагов. Вот и все, чем я занимался в жизни.

И еще я думал: почему одни, чтобы не голодать и прокормить семью, идут в «севильскую гвардию», и преследуют честных людей, и делаются соучастниками подлости, а другие становятся коммунистами и готовы идти на смерть, на

любые муки, лишь бы бороться с подлостью до последнего вздоха? Я не знал, как ответить на это. Но я не мог бы жить иначе, чем жил, и даже тогда, перед лицом смерти, я не мог бы себя заставить стать другим.

Политических заключенных судил военный трибунал. Но что это был за суд! Какая мерзость! Какая дрянная комедия! Нас судили палачи в офицерской форме, а подручные палачей, тоже в офицерской форме, выступали в роли адвокатов. Эти «адвокаты» никогда и никого не защищали. Никогда и никому они ни на йоту не облегчили участь. Один раз они приезжали в тюрьму и знакомились со своими «подзащитными» — только затем, чтобы не перепутать их на суде.

Руководил трибуналом полковник Эймар, высокий лысый старик, на лице которого была написана вся его сущность инквизитора и преступника. Но меня судил не сам Эймар, а его заместитель.

Он приговорил меня к тридцати годам тюрьмы. Сначала меня перевели в тюрьму Оканья, потом — в Бургос.

В этих тюрьмах самые тяжелые дни я провел в одиночках. В Оканье я отсидел в одиночке больше года — тринадцать месяцев. Через три-

четыре месяца сидения в одиночке начинают вылезать волосы, выпадают зубы, плохо видят глаза. После полугодового одиночного заключения мне разрешили встретиться с двоюродной сестрой, единственной близкой родственницей, оставшейся у меня в Испании. Я не мог с ней разговаривать: у меня пропал голос. Она плакала, а я гладил ее волосы и, как немой, шевелил губами. В Бургосской тюрьме я тоже сидел в одиночке шесть месяцев и потом еще четыре. Всего я просидел в одиночке двадцать три месяца.

В Бургосе прошло десять лет моей жизни, если можно назвать жизнью прозябание в тюрьме. Но можно, можно! Да, потому что там были замечательные люди, и я с ними встречался и разговаривал, и они были моими друзьями. Многие из них сидели по семнадцать, по двадцать лет, их взяли юношами, а теперь это были пожилые больные люди.

Там было много хороших людей, которые помогали друг другу не терять веры и оставаться людьми — и просто выжить. А выжить было трудно. Мы боялись болеть, потому что нас почти не лечили. Тюремный врач дон Густаво, богатый фашист, понимал в медицине меньше любого из нас. Мы называли его «Манолето» — по имени

знаменитого тореадора, убивавшего быков с такой же легкостью, с какой дон Густаво убивал своих пациентов.

Все же я выжил. Меня освободили раньше потому, что в тюрьме я работал, а за это полагалось уменьшение срока. Всего я просидел в тюрьмах тринадцать лет.

Летом тысяча девятьсот шестидесятого года я вырвался из огромной тюрьмы, в которую Франко превратил Испанию, перешел границу Франции и из Франции приехал в Советский Союз. Меня встретили жена и дочь, которую я с трудом узнал: из маленькой девочки она стала взрослой девушкой, студенткой института.

Здесь, в Советском Союзе, мне пришлось бороться с последней и самой жестокой раной, которую нанесли мне фашисты и которая теперь, спустя несколько лет, грозила мне смертью. От тюремных побоев у меня возникла опухоль в голове, остеома, и московские врачи велели мне немедленно ложиться на операцию. Видите? Да. Операция была очень тяжелая, длилась три часа. Но теперь все в порядке. Так и не удалось фашистам меня угробить. И я думаю, что переживу палача Франко, и полковника Эймара, и Конесу, и всех, кто меня мучил и кто мучает

сейчас моих друзей. Я переживу их, как пережил Гитлера и Муссолини. Ведь я воевал с обоими, и оба давно в могиле, а я, как видите, жив, хотя весь изранен, изрублен на войне, истерзан тюрьмой, как Сервантес.

Врачи советуют мне больше бывать на воздухе. Поэтому я часто прихожу сюда, на замечательный стадион, и смотрю футбольные матчи. А живу я недалеко отсюда. В Юго-Западном районе. Какой это район! Мы называем его «Буэнос-Айрес», что значит «хороший воздух».

Да, я ведь так и не объяснил вам, откуда я хорошо знаю футбол. Дело в том, что в Бургосской тюрьме нам не давали читать ничего, кроме спортивных газет. Мы читали их от корки до корки, испанские и французские газеты, и были в курсе всех новостей футбола, тотализатора и корриды. И на прогулке в тюремном дворе мы громкими голосами разговаривали о футболе. Это поощрялось. «Бьюсь об заклад, что твоя «Барселона» не пройдет в финал!» И шепотом сообщали друг другу новости из большого мира. Не забыть мне двор Бургосской тюрьмы, выложенный каменными плитами, на которых остались следы от пулеметных ножек. Сорок тысяч человек расстреляли франкисты на этом дворе, где нас заставляли

говорить о футболе. Прошло уже больше двадцати лет с тех пор, как окончилась война. Давно вышли на свободу, отбыв свои сроки, гангстеры, насильники и убийцы. Но честные испанцы, вся «вина» которых состоит в том, что они не могут примириться с фашизмом, продолжают томиться в тюрьмах. И когда я думаю о них, — а думаю о них я каждую минуту, — нет мне покоя, нет радости и сердце мое обливается гневом и болью.

• КОСТРЫ И ДОЖДЬ

Это была удивительная ночь, состоявшая из дождя, песен, блуждания в темноте по склону горы, из разговоров, которые я почти не понимал, и всеобщего волнения, которое чувствовал отчетливо. Двухэтажная деревянная «хижа» была полна, и люди расположились в палатках вокруг. Веселии Андреев предложил подняться наверх, где был костер и где нас ждал Данчо.

Мы шли вшестером, Веселии — впереди, карабкаясь по крутому склону в совершеннейшей темноте. Натыкались на деревья. Перелезали сквозь заросли крапивы высотой в человеческий рост. Шли долго, все выше и выше, но костра не было видно, и уже пропали огни хижины внизу, откуда мы начали подниматься. Огонь возник высоко слева, значительно выше нас. Мы опять влезли в заросли громадной крапивы, потом кто-то крикнул: «Осторожно, тут вода!» Ручей журчал, но мы не видели его, даже когда подошли совсем близко. Прыгали наугад. Возле костра стояла одна палатка, а другую мужчина устанавливал. Женщина в белой кофте держала на огне сковородку, на которой жарились маленькие куски сала, и

смотрела на нас удивленно. Услышав голоса, из палатки вышел мальчик, жевавший виноград. Никакого Данчо тут не было. Эти люди пришли из Мирково. Они сказали, что завтра из Мирково приедет много людей на автобусах. Немного выше, сказали они, есть еще один костер — может быть, там мы найдем Данчо. Эти люди были не партизаны и не ятаки[2], они просто пришли на праздник.

Мы поднялись выше и действительно увидели костер, но добраться до него оказалось еще труднее. Земля тут была почему-то вся изрыта ямами. Мы держались друг за друга, шли медленно, и только Веселии шел отдельно и впереди всех. Он первый попадал в ямы и кричал нам, предупреждая об опасности.

Веселии был тут самый главный. Это он придумал все насчет костра и насчет Данчо. Все хотели быть с Весели-ном, но он выбрал нас пятерых: Христо, Марию, ее мужа Альберта, который повсюду ходил с гитарой, Любомира и меня. И мы шли за ним в темноте. Иногда мы останавливались, чтобы отхлебнуть «гъмзы», но Веселии не останавливался и первый подошел к костру.

---

[2] Примечания: 2
Ятаки — партизанские связные.

Мы услышали, как он смеется. Тут тоже не было Данчо.

Возле костра сидели туристы из Етрополе — две девушки и два парня. Все четверо были в коротких штанах, и даже при свете костра было видно, какие у них загорелые ноги. Они объяснили нам, как спуститься к хижине. Мы постояли у костра, грея руки, хотя было тепло и даже парило, как перед дождем. Веселии о чем-то разговаривал и смеялся с парнями и девушками, а Любомир смотрел на них исподлобья. Потом мы долго, почти ощупью, делая маленькие шажки, спускались сквозь темную чащу вниз. Любомир ворчал по дороге:

— Зачем эти, с голыми ногами, приходят на наши встречи? Потеряли стыд…

Большой костер на поляне возле хижины все еще горел, и какие-то люди танцевали «хоро». Генерал тоже танцевал «хоро». Я стоял и смотрел на танцующих, которые, взявшись за руки, большим кругом кружились вокруг костра. Был ветер, пламя костра кренилось, и в одну сторону летели искры, и танцующие отворачивали лица или нагибали головы, спасаясь от искр, но не разжимали рук. Среди танцующих были женщины и одна девочка лет двенадцати. Женщины хохотали и

взвизгивали, когда проносились мимо того места, где летели искры. Но генерал не отворачивал лица и высоко поднимал руки, поддерживая своих соседей справа и слева, и устремлялся навстречу пламени, из которого сыпались искры, и лицо его было красным от жара. И все лица танцующих были красными от жара. Но самым красным, и непреклонным, и молодым было лицо генерала.

Духовой оркестр, состоявший из четырех солдат-музыкантов, яростно играл одно и то же. Потом музыка прекратилась, и один маленький солдат вышел вперед и стал петь. Он пел народную македонскую песню;

У кого жена толстая,

Тому бочка не нужна.

У кого жена худая,

Тому жердь не нужна.

После каждого куплета все смеялись, а Мария переводила мне:

У кого жена некрасивая,

Тому пугало не нужно…

Певец был очень серьезен и пел не улыбаясь. Мария слушала его с удивлением. Она была

филологом, знала много старых болгарских, македонских и родопских песен, но эту слышала впервые.

У кого жена красивая…

Все затихли, ожидая, что скажет македонец:

Тому ярмарка не нужна!

Муж Марии засмеялся и ударил по гитаре. В это время подошел Веселии и сказал, что нашел Данчо возле хижины. Мы пошли от костра к хижине. Возле стола, за которым продавалось вино, толпились люди. Все разговаривали наперебой, смеялись очень громко, обнимались, шутливо толкали друг друга, некоторые сидели на земле, другие стояли кружком и пили вино из горлышек, запрокидывая бутылки. Только один человек среди всего этого шума безмолвно сидел на столе и, понурив голову, спал. Мне сказали, что этот человек не пьян, а неизлечимо болен, у него сонная болезнь, и все же он каждый год приезжает сюда, на партизанские встречи. Никто не подходил к человеку, больному сонной болезнью. Он сидел один, слегка покачиваясь, голова его клонилась на грудь все ниже и ниже, потом он вдруг вздрагивал и немного выпрямлялся во сне, и снова

голова его начинала медленно клониться.

Здесь же, в толпе людей, которые пили вино из горлышка, стоял Данчо и разговаривал с каким-то низеньким черным горбоносым человеком в очках. Веселии сказал, что этого человека в очках зовут Илия, он тоже партизан, был в отряде «Чавдар», а сейчас работает чернорабочим в деревне. Он и тогда, семнадцать лет назад, работал чернорабочим в деревне. У него очень большая близорукость, очки минус пятнадцать, и многие возражали против того, чтобы принимать его в отряд, но все-таки его приняли, и он хорошо воевал. Очки он приматывал веревками намертво к голове. Илия был знаменитым рассказчиком «вицов» и «хуморесок». Он и теперь рассказывал что-то смешное, и Данчо смеялся.

Потом мы опять стали карабкаться в гору — тем же самым путем, сквозь заросли крапивы. Но теперь впереди шел Данчо, а он знал дорогу. Вскоре мы подошли к костру. Это был настоящий костер, тот самый, который мы с Веселином не могли найти. Горел огромный буковый пень, на него были наложены сучья, и все это горело сильно, пламя было высокое и трещало. Такой пень мог гореть до утра.

На земле вокруг костра устроились трое кре-

стьян и одна черноволосая, очень полная, с румяным лицом женщина. Они что-то ели и запивали водой из бутылки. Эти люди были родственники или, может быть, знакомые Данчо из соседней деревни. Мы сели на землю. И в это время начался дождь.

Сначала это был маленький дождик, на который никто не обращал внимания. Партизаны пели песни, вспоминали разные истории, случившиеся семнадцать лет назад, когда они были молоды и воевали в этих горах. Партизанские песни оказались нашими советскими песнями. Они пели «Темную ночь», «Синий платочек», «Три танкиста» и частушки: «Я чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала».

И все это они пели с одинаковым удовольствием и даже с восторгом, и было видно, что с этими песнями, частушками и с «Я чай пила, самоварничала» связано необыкновенно много в их жизни. Крестьяне и ятаки молча слушали, а партизаны пели. Пела Мария, пел Христо, пели Веселии, Данчо и маленький очкастый Илия, и мне тоже хотелось петь, но я не решался. Потом пели партизанскую: «Гей, Балкан, Балкан, ты родина…»

Дождь усиливался. Веселии сказал, что так бывает каждый год: дождя нет много недель, но на

праздник Девятого сентября польет обязательно. Мы накрылись одеялами, которые кто-то принес из хижины, потом по- явились два больших куска брезента, и под одним из них спрятались Мария с мужем, а другим накрылись я, Веселин и Христо. Через четверть часа брезент промок насквозь и лежать под ним сделалось невозможно. Я сбросил его и сел. Дождь лил так же сильно. Вокруг костра сидело несколько новых людей, это были крестьяне из Мирково и Буново. Никто из них не укрывался от дождя, а костер горел ярко, как ни в чем не бывало.

Партизаны и вновь пришедшие крестьяне подкладывали сучья в огонь, жарили небольшими ломтиками сыр кашкавал, держа его на палочках над огнем, и непрерывно разговаривали и шутили. Был уже второй час ночи, и так или иначе надо было заснуть. Я снова натянул на себя мокрый брезент и закрыл глаза. На миг меня охватило ощущение какой-то пронзительной недостоверности происходящего.

Все началось так внезапно. Еще вчера я не мог даже предположить, что буду коротать эту ночь на высоте полторы тысячи метров, под дождем, вместе с болгарскими партизанами. Дорога из Софии шла в предгорьях Старой Планины, мимо

рыжих покатых полей, мимо буковых и дубовых рощ и пожелтевших кустов дикой сливы, медленно, обширными петлями поднимаясь вверх, в прохладу, в постепенно все более голые и каменистые склоны, кое-где поросшие бором, где шумел ветер и носился сырой запах облаков. Проезжая мимо деревень, похожих на маленькие старые города, партизаны вспоминали разные сражения и «акции», связанные с этими названиями. Там они захватили склад, здесь перебили жандармов.

Когда поднялись наверх, стало совсем темно. Сели ужинать в большой нижней комнате «хижи», тускло освещенной, набитой людьми, которые тесно сидели на скамейках вокруг длинных дубовых столов. Ничего нельзя было понять: где тут партизаны, где крестьяне, где туристы — все были одеты одинаково, по-походному. Многие пришли с детьми, и дети сидели тут же и пили минеральную горнобанскую воду, а мы пили «гъмзу» и ели белый овечий сыр, огромные огурцы, томаты и колбасу луканку. Подошел генерал, но я не знал, что это генерал, мне сказали позже. Он был молод, с темными усами, и одет так же, как все. Он поздоровался с Веселином и о чем-то заговорил с ним не садясь, потому что за столом

не было ни одного свободного места и все были заняты едой. Разговаривая, генерал протягивал руку через головы сидящих и брал со стола то огурец, то кусок сыра. Семнадцать лет назад этот генерал командовал отрядом «Чавдар». Сейчас он был заместителем министра обороны.

Мне показалось, что я знаком с ним давно. И всех остальных, казалось мне, — Христо, Марию, Веселина и Любомира — я знаю давно, и они изумительные люди, и это проверено долгой жизнью. Все они прекрасные люди, думал я, но уж очень они любят сидеть под дождем.

Сквозь брезент я слышал голос Илии, который что-то рассказывал, и, когда он замолчал, все засмеялись.

— Что он рассказывал? — спросил я, отдергивая брезент.

— Народный виц, — сказал Веселии. — Прошло сорок лет после войны, когда турок прогнали из Болгарии, и вот один болгарин пришел в Царьград, и какой-то турчин его спросил: «Ты откуда?» — «Из Болгарии». — «Из какого места?»— «Из Етрополе». — «Скажи, — спросил турчин, — там все еще идет дождь?»

Дождь все еще шел. Я ждал, что наконец-то лопнет терпение у самых закаленных партизан

и ятаков и они встанут и пойдут под крышу или хотя бы под деревья. Но все продолжали сидеть, только изредка поворачивались к огню то спиной, то боками. Одежда на всех дымилась. Костер горел великолепно, и моим ногам, вытянутым к огню, было жарко, и я поджимал их, зато спина мерзла и верхней частью туловища я ощущал озноб. Опять пели песни, что-то вспоминали, рассказывали вицы и смеялись, и так продолжалось до трех часов ночи, когда дождь стал проливным и Веселии дал команду уходить.

И мы снова спустились вниз, к хижине. Все окна были темные, по каменным ступеням крыльца барабанил дождь. На втором этаже спали дети и женщины, а внизу, в большой комнате, люди спали на столах, на скамейках, вповалку на полу. Только человек, больной сонной болезнью, почему-то не спал и бродил между столами. Люди спали в палатках на поляне и в шалашах под деревьями, в кабинах грузовиков и в автобусах, спали бывшие партизаны и их дети, которые были сейчас в возрасте своих отцов, когда те воевали с фашизмом, и спали ятаки из городов и сел Старой Планины, спали музыканты маленького духового оркестра, весь вечер неутомимо игравшие «хоро».

И спали в своих походных, туристических палатках, — а может быть, и не спали, не ручаюсь, — туристы из Софии, из Етрополе и Пирдопа, молодые парни и девчата, для которых партизанская война была историей и которые веселились просто от молодости, от избытка сил, и танцевали у костра какие-то легкомысленно-современные танцы, и пели под гитару что-то не совсем подходящее моменту. Все было правильно. Семнадцать лет назад все делалось ради этих девчат и парней. Ради того, чтоб они веселились.

Перешагивая через спящих, мы прошли в маленькую комнату с цементным полом и стали развешивать свои мокрые плащи.

Утром я встретил двух партизан, с которыми сидел у костра, и спросил их, где они ночевали. Они сказали, что просидели у костра всю ночь. И всю ночь лил дождь. А костер, сказали они, горит до сих пор.

1961

• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ

Сначала тонкие книжечки в ярких детиздатовских обложках, потом изумление перед реальностью человека с медленным хрипловатым разговором, его космическая отдаленность — он залетел на мгновение в старый особняк на улице Стопани, — потом привычное, радостное общение на семинарах, где думалось обо всем, о многом, бог знает о чем, ибо война прошла и нарождалось новое, и потом теплая, все растущая, громадная доброта. Талант есть доброта. Но это обнаруживается не в молодых годах, а значительно позже. Когда иссякает доброта — исчезает талант. У Константина Георгиевича шло непрерывное нарастание, возвышение. Но в данную секунду не об этом — о том, каким был Константин Георгиевич в моей жизни. Нескромно? Да, может быть.

Но иначе не скажешь. Константин Георгиевич вошел в нашу жизнь — ив мою тоже, — влился, впечатался, осветил, одарил. Ранняя весна тридцать девятого года, мне тринадцать лет, я езжу вечерами на метро от Библиотеки Ленина до Кировской, в переулок Стопани, в Дом пионеров

с двумя товарищами из класса, Левкой и Олегом. Левка пишет бесконечные научно-фантастические романы в толстых общих тетрадях в клетку, он известен в школе как местный Гумбольдт, как Леонардо из седьмого «Б», ибо он биолог, археолог, географ, океанограф, художник, музыкант и лишь в последнюю очередь ***романист***. Левка записался в географический кружок. Олег — в исторический, хотя из рабского подражания Левке он тоже берется иногда сочинять произведения, детективные, про немецких шпионов, которые действуют под видом пожилых счетоводов и прелестных актрис, но у Олега, конечно, не хватает терпения, и больше трех страниц он написать не в силах. Я же неисцелимо болен писательской чесоткой. Иногда я вскакиваю ночью, сажусь к столу и в сомнамбулическом состоянии пишу страниц десять какой-нибудь фантастики. Стараюсь наверстать упущенное: Левка пишет свои романы с пятого класса, а я только начал.

На втором этаже мы расстаемся. Я открываю высокую белую дверь, на которой висит на шнурочках табличка: «Литературный кружок». Вера Ивановна Кудряшова, наша руководительница, шепчет: «Скорей занимай место! Ты опоздал! Мы ждем Паустовского!» Я действительно опоз-

дал, все лучшие места вокруг столика, стоящего посреди комнаты, заняты, и когда появляется Паустовский в сопровождении бледной, сияющей Веры Ивановны, — он двигается не спеша между стульями, склонив голову, глядя вниз, чтобы никого не задеть, улыбаясь несколько смущенно, совсем обыкновенный, непохожий на писателя, скорее учитель, в сером сюртучке, темнолицый, с худыми впалыми щеками, охотник, обветренный тайгой, рот крепко сжат, сухие губы, что-то пиратское в этой складке, похож на старого далматинского пирата, ему бы феску, кальян, — и вот он садится к столику, я почти не вижу его. Мне приходится встать. Паустовского я читал много. Тогда мне казалось — почти все. Он один из любимых: «Судьба Шарля Лонсевиля» и «Летние дни» — это недавно. А еще раньше: «Колхида», «Карабугаз» и «Черное море». И совсем недавно ходил в детский театр на постановку об одном астрономе, который заблуждался: «Созвездие Гончих Псов».

Приключения, путешествия, моряки, благородные люди, смельчаки и трусы, необыкновенные женщины, звери, охотники, леса. Все это чем-то напоминает моих излюбленных Фенимора Купера, Чарльза Робертса и Густава Эмара, но как-то

ближе, понятней и гораздо заманчивей: у Купера и Эмара захватывающе интересно, но недосягаемо, а у Паустовского — наслаждение жизнью, которое ждет и не минует тебя. И так хочется в эту жизнь скорей!

Паустовский рассказывает о своих друзьях Гайдаре и Фраермане. Задают много вопросов. Ведь все, кто собрались в этой комнате, хотят в будущем стать, ну, если не писателями — звучит страшновато, — то журналистами, литературными сотрудниками. Паустовский говорит:

— Нет ничего тяжелее писательского труда.

Голос негромкий, почти тихий, с хрипотцой. Голос человека, углубленного в себя, чем-то очень утомленного. Да, видно, так — нет ничего тяжелее! Но некоторые сомнения меня все-таки гложут. А как же Левка? Он пишет с необычайной быстротой. Толстую общую тетрадь за пятьдесят пять копеек он может исписать в три дня. Да я и по себе знаю. Рассказ про яйца вымершего динозавра, которые нашел один хозяин гостиницы в Коста-Рике, я написал за одну ночь!

Потом Паустовский задает нам вопросы.

— А ты о чем пишешь? А ты?

Один парень написал рассказ об испанской войне. Другой о том, как ходил с отцом на стади-

он, смотрел басков. Девочка писала о домашних животных, очень остроумно, особенно о кошках. Еще одна сказала, что ее увлекает мистика. Паустовский заинтересовался мальчиком, который сказал, что пишет о червях. О том, как накопал червей для рыбалки, положил в банку, а другой мальчик, ну и так далее, чепуха. Почему-то Паустовский долго разговаривал с этим мальчиком о червях. Настает моя очередь. Я говорю, что написал о вымершем динозавре.

— О каком именно динозавре? — спрашивает Паустовский.

— Toxodon platensis, — отчеканиваю я латинское название динозавра, вычитанное в однрй книге.

Паустовский, как ни странно, не проявляет желания продолжать разговор, в котором я мог бы блеснуть. Все, что касается динозавров, я знаю великолепно. Бегло кивнув, Паустовский обращается к следующему.

— Ну, а что расскажет нам твой сосед?

И это было все в тот вечер, в тридцать девятом году, Я пришел в пустую квартиру, достал свои тетради с фантастикой и куда-то их закинул. Потом прошло лет восемь. Началась и кончилась война. В Литературном институте я был

сначала в семинаре Федина, потом, когда Федин надолго куда-то уехал, стал посещать семинар Паустовского.

Паустовский пришел в институт позже Федина.

На первом же семинаре мы слышим суровое предостережение о том, что ***нет ничего тяжелее***, и вновь эти слова скользят мимо сознания. Не с воспитательной ли целью говорится и не ради ли красного словца? Константин Георгиевич романтик, склонен к преувеличениям. Ах, да попросту молодость, суета, юный графоманский энтузиазм! Сколько упущено, недоохвачено, неузнано, сколько зимних и весенних вечеров потрачено на вздор, и когда медленно шли с Константином Георгиевичем и Константином Александровичем по бульвару — их семинары часто кончались почти одновременно, и они ждали друг друга в маленьком фойе на втором этаже, окруженные студентами, а я посещал то один семинар, то другой. «Костя, ты готов?» — «Одну минуту, Костя!» — и понимали умом, что это благостные минуты, на воле, среди деревьев, в неторопливом гулянье после двух часов изнурительной, чадной говорильни, теперь бы спрашивать, узнавать самое важное и сокровен-

ное, но глупость и вздор уже тащили куда-то, и казалось, что настанет какое-то еще более удобное время для того, чтобы спрашивать, узнавать. Ничего не настало. Тогда, на сырых бульварах, и было лучшее время.

Впрочем, так было со мной, а с другими, вероятно, иначе.

Должны были пройти годы, чтобы мы убедились, как был прав Паустовский насчет тяжести писательской доли. Да, если относиться к этой доле так, как относился он. Его отношение к труду писателя было почти мистически уважительное. Любой писатель — пускай маленький, незаметный, ничтожно успевший, но ***настоящий*** — был для Константина Георгиевича существом в некотором смысле сверхъестественным. К нему предъявлялись особые требования, к обычным людям неприменимые. Паустовский много думал и писал о людях, создающих книги. В предисловии к собранию своих сочинений, на склоне лет, он напишет: «Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего, им сделанного».

Сила и чистота: в достижении этого и заключается трудность. И люди, стремящиеся к такому достижению — не всегда достигающие, никогда не достигающие, но, боже мой, тут драгоценно стремление! — и есть ***настоящие*** писатели. Мы не были никакими писателями, но ощущали уважение Константина Георгиевича даже к себе — не конкретно к себе, как к начинающим бумагомарателям имярек, авторам таких-то опусов, а как к людям, волею судьбы причисленным к некоему тайному братству. В этом братстве все равны. Похожее высказал как-то Ю. Олеша: мол, все писатели мира — это как бы ***один писатель***, хотя их разделяют, может быть, океаны, бездны, тысячелетия.

Константин Георгиевич распределял свое внимание между учениками равно горячо и заинтересованно. У него не было любимчиков. Не было никакого ранжира. Все мы, сидевшие перед ним за длинными черными столами, были как бы ***один писатель***, еще слабый и бедный опытом, нуждавшийся в помощи.

Демократизм был его природной чертой. Наверно, так же демократичен был Чехов. При всем своем громадном авторитете Константин Георгиевич не стал и не мог стать генералом

от литературы. И, надо сказать, ненавидел проявления такого генеральства в других. Тут он находил язвительные слова и беспощадные, злые, характеристики: это я слышал позже, уже не в студенческие времена.

Семинары Паустовского дали нам много. Дело не в каких-то конкретных разборах, словах, примерах — вернее, не только в них! — но и в том воздухе, который мы впитывали. Если не бояться высокопарных слов, можно сказать: это был воздух ***силы и чистоты***. То, о чем несколько торжественно заботился Константин Георгиевич, было ему присуще совершенно естественно и для него самого неприметно.

Один молодой автор читал отрывок из повести. Герой с девушкой, в которую он влюблен, попадает в театр. Описывались переживания героя, его неловкость, приключения в антракте, сюжет глупой пьесы, представлявшейся герою как бы в тумане. Слушатели все время смеялись. Константин Георгиевич тоже смеялся. Когда автор замолчал и, сконфуженный, засовывал листы рукописи вместо портфеля зачем-то под чернильницу, Константин Георгиевич сказал:

— Знаете, почему мы все смеялись? Нет, не потому, что это смешно. Потому, что — правдиво…

В мимолетном замечании была глубокая мысль. Правда есть высшая ценность, добываемая искусством. И даже такая мелкая, бытовая, эфемерная правда, какую нащупал автор отрывка о театре, оказалась способной людей волновать, заставила их смеяться.

Значит, вот ради чего нужно стараться, вот что выкапывать из земли — правду, во всех ее видах. Я помню, как читал на семинаре рассказ, написанный, как мне казалось, «под Паустовского». Не специально, разумеется, но так получилось. Впрочем, там была «смесь» Паустовского и Хемингуэя. От Паустовского были взяты герои, фон, среда: молодые геологи, где-то в горах, в Средней Азии. От Хемингуэя стилистика: недосказанность, многозначительные паузы. Рассказ был написан очень быстро. Я был уверен, что рассказ удался — в те годы бывала такая оглушительность собой, — и рвался его прочесть.

Прочитал. Ребята как-то стесненно молчали. Константин Георгиевич, деликатно кашлянув, спросил, долго ли я его писал. Еще не выйдя из состояния глухоты, я ответил горделиво:

— Всего три дня!

— Этот ваш рассказ… — начал Константин Георгиевич слабым и несколько натужливым

голосом. Таким голосом, очень неохотно, через силу, он тянул обычно, когда собирался ругать, и тут я как бы вдруг очнулся. — Этот ваш рассказ, дорогой Трифонов, весь насквозь придуман. В нем нет ничего достоверного. Вы не знаете ни геологов, ни гор, ни Средней Азии. Единственное, что вам хорошо известно: как играют в ма-чжонг.

Я с ужасом подумал: «Старик прав!» (Мы называли его между собою Стариком, вполне любовно, хотя он вовсе не был тогда стариком, да и впоследствии им не стал.) Действительно, я все придумал. А в ма-чжонг я играл с детства.

— Но непонятно, зачем ваши геологи играют в эту игру ленивых китайских торговцев…

Единственная достоверность в рассказе была уничтожена. Наказание — я изменил правде. Что ж, нельзя придумывать? Долой вымысел? Вымысел становится искусством, когда в его сердцевине — правда. До этого я додумался позже.

Через несколько лет я познакомился с геологами, с горами и со Средней Азией. Весной 1952 года поехал в Туркмению. Что потянуло туда? Да, Паустовский тоже. Может быть, бессознательно. Может, это был тот воздух, которым мы надышались на семинарах — путешествия, романтика, поиски достоверности. Константин Георгиевич

много писал и рассказывал о географических картах. О своей любви их рассматривать. Каспий, Красноводск, пустыня вокруг Казанджика, долина Атрека — как я их излазил, исщупал, еще сидя в Москве! И, конечно, меня тянуло в унылый каспийский простор, знакомый со школьных лет, с «Карабугаза», с лейтенанта Жеребцова.

Это было странное возвращение: в места, где я не бывал никогда. И в то же время — места моего детства.

Однажды на семинаре говорили о подтексте, о краткости, об умении отжимать жир, воду, оставлять мышцы. О том, что искусство писать есть искусство вычеркивать. Константин Георгиевич сказал, что давно мечтал написать предельно краткий рассказ — такой, чтоб уже больше ни одного слова вырвать нельзя, иначе рассказу конец, смерть.

Не знаю, выполнил ли когда-нибудь Константин Георгиевич эту рационалистическую задачу, думаю, что нет, ибо фантазия — неодолимое свойство его писательского существа — неминуемо отвлекала бы в сторону. После института были встречи в Москве, Переделкине, Ялте. Влияние Константина Георгиевича на всех нас, его бывших учеников, продолжало расти — может быть, не прямо, отраженно, системою зеркал, ибо между нами были пространства, годы, обстоятельства. Но теперь мы старались понять не то, как строить фразу, делать концовку, а — как строить жизнь, делать судьбу.

1973

• ЗАПИСКИ СОСЕДА
Из воспоминаний

Дело не в том, что в течение нескольких лет мы были соседями по даче на Красной Пахре и наши участки разделял слабокрашеный деревянный заборчик, возле которого мы часто стояли, разговаривая. Дело в том, что мы оказались соседями ***по времени***, в котором досталось жить. А время всех ставит рядом: больших, маленьких, посредственных, ничтожных — всех, всех, всех.

Так вот: зима пятидесятого года. Сейчас ту зиму ощущаю совсем иначе, чем ощущал тогда. Если уж говорить о времени, то оно — похоже на нас. Я был молод, крепок, поднимал двухпудовые гири, и мне казалось, что так же молодо, крепко и способно поднимать небывалые тяжести время… Год назад, в сорок девятом, я окончил Литературный институт, никуда работать не устроился, сидел дома и писал книгу. Зимою я эту книгу закончил. Куда нести? У меня были некоторые отношения с «Октябрем», напоминавшие вялый, тягучий и бесплодный роман: временами я посещал кружок молодых писателей при этом журнале, давно

уже потеряв надежду пробиться на его страницы. Все рассказы, что я приносил и отдавал благожелательной Эльге Михайловне Румянцевой, прочно застревали в ее столе. Впрочем, рассказы были плохие. Ну а те романы, что печатались в журнале? На мой взгляд, это было не то, к чему надо стремиться. Причин такой решительности моих литературных оценок было две: действительно, не очень уж высокое качество хвалимых романов и мое собственное наглое зазнайство, обыкновенное для начинающих.

Итак, «Октябрь» отпал (я показывал несколько глав из книги Ольге Михайловне, но, кроме обычных, туманных и благожелательных обещаний, не услышал ничего), со «Знаменем» не было связей, оставался «Новый мир». Членом редколлегии «Нового мира» был Федин, руководитель моего семинара в Литинституте. Главным редактором недавно назначили Твардовского. Я упаковал пухлое двадцатилистовое произведение (не знал, как называть его — романом, повестью; не знал и названия) в две старые канцелярские папки довоенного образца, которые, наверное, использовал отец еще во времена Нефтесинди-ката, и поехал в Лаврушинский переулок. Федин постоянно жил на даче в Переделкине, в Москве бывал

редко, но мне удалось с ним созвониться, и он назначил день. На семинаре в Литинституте я читал раза два главы из повести, и Федину они как будто нравились. Но одно дело — главы, а другое — пятьсот страниц на машинке. Читать два месяца! Я приготовился терпеливо ждать, лишь бы Федин согласился взять мои папки.

Федин, однако, поступил иначе, немало меня изумив.

— Я сейчас позвоню Твардовскому и скажу ему про вашу рукопись, — сказал он. — Здесь все примерно в том стиле, что и те две главы?

— Да, — сказал я. — Примерно в том.

— Вот и хорошо. Сейчас позвоним. Он как раз спрашивал меня, нет ли какой интересной прозы… — Федин уже набирал номер, продолжая вполголоса меня все более изумлять. — Он только что назначен… Полон энергии, ищет авторов… Александр Трифонович? Добрый день, это Федин. Вчера вы мне звонили, просили посылать молодых авторов, и вот, пожалуйста, выполняю вашу просьбу. Повесть о студентах. Автор мой ученик по Литературному институту…

Федин говорил что-то хвалебное по моему адресу, я плохо слушал, подавленный внезапным недоумением. С одной стороны, тут было благоде-

яние, с другой — нечто обидное. Что ж, ему вовсе нелюбопытно прочитать мою рукопись? И если когда-то понравились те две главы, то неужели не хочется узнать — что же там случилось ***дальше***? Я считался старейшим учеником Федина. Еще с первого, заочного курса, когда работал на авиазаводе. Федин подробно разбирал мои начальные, беспомощные сочинения, иногда защищал меня от ретивой критики (а мы топтали друг друга на семинарах нещадно!), иногда сам твердо и холодновато ставил меня на место. Но всегда я чувствовал какой-то интерес. Теперь же, когда я принес гигантский плод полуторагодичного, каторжного, графоманского труда, — бывали дни, особенно минувшей осенью, в сентябре, на даче в Серебряном, где я жил один, когда выходило по пятнадцати страниц в сутки! — мой учитель даже не развязал тесемок на старых, из желтого глянцевитого картона папках.

Федин как будто почувствовал мои мысли.

— Дорогой Трифонов, — сказал он, — ваше произведение я прочитаю, когда оно будет напечатано в журнале. Не возражаете? Дело в том, что я занят сверх меры своим романом…

Я не возражал. Был благодарен: такая оперативность! В тот же день курьер из «Нового мира»

должен был забрать желтые папки и привезти Твардовскому. Пока все шло замечательно. И все же что-то меня скребло. «***Он поспешил от меня отделаться***!» Прошло много лет, и теперь я знаю, что такое толстые папки, которые приносят начинающие писатели. Они напоминают маленькие, хорошо упакованные коробки с динамитом: что-нибудь непременно будет взорвано. Ваша работа, ваше время, ваше спокойствие или ваши отношения с людьми. В этих папках слишком много заложено. Поэтому, чем скорее от них отделаться, тем лучше. Однажды ко мне пришел молодой человек, несомненно, талантливый, рассказы которого я читал, и принес новую повесть. Он написал много, но почти ничего не смог опубликовать. Знакомя его с бывшим у меня гостем, я сказал: «Начинающий писатель такой-то». Молодой человек дернулся, и в его лице мелькнуло что-то хищное, и он сказал, резко отчеканивая каждое слово: «Я не начинающий писатель!» Повесть его лежит на моем столе. И я боюсь к ней притронуться, как к пакету с динамитом.

Прошло дней десять или двенадцать, не помню точно сколько, очень немного. За это время кончилась зима. Внезапно пришла телеграмма: «Прошу прийти в редакцию для разговора. Твар-

довский». Не помню уж почему — телеграмма. Может, не работал телефон, не могли дозвониться. Едва чуя под собой землю и плохо соображая, с телеграммой в кармане, которую бережно спрятал, как пропуск или квитанцию, я отправился в «Новый мир».

Редакция помещалась тогда на углу Пушкинской площади и улицы Чехова. Вход был с улицы Чехова. Помню— горы сырого снега, мокрый асфальт, солнце, предчувствие весны… В этот день я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским.

К Твардовскому уже в те годы, во времена Литинститута, мы относились как к классику. И я, конечно, волновался не только от нетерпения узнать свою судьбу, но и от предстоящей встречи с известным поэтом. В домашней библиотеке были две его книги, «Поэмы» и «Книга лирики». Я перечитывал главы из «Теркина», «Дом у дороги», некоторые лирические стихи любил читать вслух, например, «Я убит подо Ржевом» и «В пути». Признаюсь, это последнее стихотворение, такое скромное и простое, трогало до слез. Пастернака я в ту пору знал мало, только маленькую книжечку «На ранних поездах», купленную случайно, Цветаеву и Мандельштама не знал совсем. Ма-

яковским «переболел» давно. Самым любимым был Блок. И вот, когда собирались на Большой Калужской или в летнее время в Серебряном бору, непременно хотелось читать вслух, всегда читал Блока, «Куклу» или «Зодчих» Кедрина и «В пути». Твардовский в отличие от других поэтов поражал тем, что умел с какой-то удивительной простотой и силой говорить о самом сокровенном, что поэзии как будто и неподвластно, к чему может прикасаться лишь проза, да и то толстовская, чеховская: о домашнем, семейном, истинно человеческом. Отношения близких людей друг к другу. Сын и отец, мать и дети, муж с женой, родня, родные — и все это на фоне громадной жизни, горя, войны, потерь. «Ах, своя ли, чужая, вся в цветах и в снегу… Я вам жить завещаю — что я больше могу?»

Поднялся я по высокой и очень широкой, но темной какой-то лестнице, вошел в дверь налево, маленькая прихожая, как в коммунальной квартире, повесил пальто и шапку на крюк. После солидных коридоров «Октября», лифтов, пропусков, величественных и холодных комнат тут было странно: какая-то домашность, семейность. Вошел в небольшой зальчик, без единого окна. Горел электрический свет. Справа у двери

за столом сидела пожилая седоватая, сильно накрашенная дама в очках и клеила конверт. Она с любопытством уставилась на меня:

— Вы к кому?

Тоже странно: в прежних редакциях (а кроме «Октября», я бывал еще в издательстве «Молодая гвардия») никто не смотрел на меня с любопытством. Я сказал, что вызван для разговора к Твардовскому.

— Подождите здесь! — Пожилая дама с живостью встала и исчезла за дверью с табличкой «Главный редактор Твардовский А. Т.».

Потом я узнал, что эта дама — могущественная секретарша редакции Зинаида Николаевна. Мне было велено подождать. Сидя на стуле возле двери с табличкой, я оглядывал зальчик. В него выходило шесть или семь дверей. Судя по всему, комнаты были маленькие. Да попросту говоря — клетушки. Одна «октябрьская» комната, где сидела Ольга Михайловна, была больше всего этого зальчика, не говоря о клетушках. Зато зальчик напоминал гостиную: здесь стояли овальный и как будто старинный стол, диван, на стенах висели рисунки. Из клетушек то и дело выскакивали люди и, перебегая по ковру, скрывались в дверях других клетушек. Все тут было невероятно

уютно.

Над столом Зинаиды Николаевны задребезжал звонок, и Зинаида Николаевна сказала:

— Заходите!

Я открыл дверь, но увидел не кабинет, а небольшой тамбур, куда были втиснуты маленький столик и два стула, то есть и это местечко было обжитое, удобное. Твардовский поднялся из-за стола и протянул руку. В те времена я имел обыкновение пожимать руки что есть мочи, но рука Твардовского ответила не менее мощным пожатием. Удивился: у классика такая сила в руке! А ведь Твардовский был тогда молодым человеком: тридцать девять. Впрочем, мне было двадцать четыре, и он мне казался умудренным годами, ***всего достигшим*** писателем. Почти таким же, как Федин.

Внимательно и как-то сверху вниз — с волос до галстука— изучающе-строго оглядывая меня, Твардовский спросил мое отчество, я сказал.

— Так вот, Юрий Валентинович, я прочитал вашу повесть. Вызвали мы вас потому, что с рукописью надо что-то делать: во-первых, редактировать, во-вторых, может быть, сокращать, она великовата…

Первые фразы были сказаны сухо, даже несколь-

ко официально. Но смысл, смысл! Редактировать. Сокращать. Значит, хотят печатать? Конечно, я догадывался, что меня вызывают телеграммой не для того, чтобы сообщить плохое, и все же услышать от главного редактора слова с подобным ***смыслом*** — мгновенный шум в голове, как от легкого теплового удара. Подробности разговора помню плохо. Какое-то смутное именинное настроение: во мне самом. Помню, Твардовский выяснил, что написано до повести и что напечатано, с недоверием переспрашивал: «Всего один рассказ?» Я, кажется, был смущен, потому что наврал, напечатаны были два рассказа: в альманахе «Молодая гвардия» рассказ «В степи», о котором я упомянул, и еще один, бесконечно слабый, в журнале «Молодой колхозник». Про тот я скрыл. И в моем подавленном тепловым ударом мозгу мелькнула мысль: вдруг он читал рассказ в «Молодом колхознике» и теперь ловит меня на вранье? Стал постепенно оправдываться, бормотал про «Колхозное». Помню, он допытывался, откуда я родом. «Москвич? Коренной? Родители тоже москвичи?» Я объяснил про родителей. «Москва у вас хорошо видна», — сказал Твардовский, и это было, кажется, единственное прямое высказывание о повести. Потом познакомил

меня со своим заместителем, Сергеем Сергеевичем Смирновым, который размашисто влетел из соседней комнаты в кабинет: молодой, быстрый, скачущий, суетливый, он двигался и разговаривал совсем в другом ритме, чем неторопливый Твардовский. «Тот самый Трифонов». — «А? Так, так, так… — Здоровенной ручищей Смирнов тряс руку. — Будем готовить договор, Александр Трифонович?»

«Редактировать. Сокращать. Договор». Впервые эти слова, которые сопровождали меня потом, то в реальности, а то в мечтах и в кошмарах, всю жизнь, я услышал в тот день.

Прощаясь, Твардовский сказал:

— А Константин Александрович прав: читается ваша рукопись с интересом… Но сору там много. Дадим опытного редактора, поработаете как следует… — И вдруг прозрачно-голубые глаза, сохранявшие прохладную дистанцию, стали теплыми, близкими — А знаете, Юрий Валентинович, моя жена заглянула в вашу рукопись и зачиталась, не могла оторваться. Это неплохой признак! Проза должна тянуть, тянуть, как хороший мотор…

Редактора для рукописи вскоре нашел сам Твардовский: Тамару Григорьевну Габбе. И должен

сказать, что мне необычайно повезло и даже, точнее, ***посчастливилось*** с этим редактором. Тамара Григорьевна была близким другом Маршака, а Маршак был другом Твардовского, и в первые недели редакторства Александра Трифоновича в журнале, занятия для поэта нового, Маршак — мудрый человек, искушенный в организации литературного дела, создавший когда-то в Ленинграде целую литературную фабрику по выделке детских книг, где, кстати, трудилась и Тамара Григорьевна Габбе, — много и энергично помогал Александру Трифоновичу советами. Тамара Григорьевна рассказывала мне, что весною 1950 года Твардовский советовался с Маршаком по всяким редакционным делам нередко. По-видимому, Маршак и рекомендовал Габбе.

Тамара Григорьевна, с которой во время трехмесячной работы мы очень подружились, признавалась мне, что вначале не хотела браться за редактирование: давно не занималась этим делом, утратила к нему интерес, да и своя литературная работа не оставляла времени (книги для детей, статьи, пьесы, среди них такая известная, как «Город мастеров»). Но Маршак настоял, говоря, что «Твардовский очень просит». Тамара Григорьевна решила посмотреть рукопись.

Посмотрев, согласилась: рукопись ее заинтересовала. Рекомендации журнала — о них я тогда не знал, Тамара Григорьевна рассказала позже — были: сократить вдвое. Но это был, кажется, самый простой способ доработки рукописи.

Тамара Григорьевна оценила рукопись иначе: ***там не лишнее, а там не хватает***. Надо углублять, мотивировать. По ее советам, я написал почти три листа нового текста. Рукопись достигла двадцати трех листов. Редакторская работа по всей рукописи была проделана очень большая, но то было не мелочное перечеркивание фраз, не стрижка и не причесывание (помню, в одном журнале, когда готовился один мой рассказ для какого-то мифического сборника, редактор всегда вымарывал слова «задумчиво» и писал «раздумчиво»), а насыщение смыслом. Тамара Григорьевна никогда не вписывала никакие свои слова и фразы. Она была, конечно, замечательный редактор, высочайшей квалификации, про нее говорили: «лучший вкус Москвы», а еще раньше «лучший вкус Ленинграда». (Впрочем, между ленинградской и московской школами редактирования существовало некоторое соперничество, что я обнаружил позже, когда работал с Софьей Дмитриевной Разумовской, тоже ве-

ликолепным мастером своего дела). Примерно так: Разумовская относилась к рукописи так же, как Роден — к куску мрамора. «Я отсекаю все лишнее!» В результате вмешательства мастера возникает шедевр. Габбе доверяла силам автора, она их отыскивала, побуждала к действию. Тут был расчет на то, чтобы мрамор как бы ваял себя сам. Конечно, разделение грубое: и Разумовская полагалась на силы автора, и Габбе порой бестрепетно отсекала, но я говорю об общих, может быть, бессознательно осуществляемых принципах. Итак, мы работали. Почти все лето. К нашей работе менее всего применимы слова «шедевр», «мрамор».

Несколько раз в день работу прерывали звонки Маршака: он советовался с Тамарой Григорьевной, читал по телефону стихи, отрывки из статей. Иногда звонил, чтобы прочесть одну какую-нибудь строчку. Тамара Григорьевна терпеливо выслушивала, подробно высказывалась. Я терпеливо ждал. Иногда мы отрывались от работы, чтобы поговорить о книгах, о писателях. Тамара Григорьевна удивляла меня своим спокойным, если не сказать, прохладным отношением к Хемингуэю, перед которым я — по традиции Литинститута — благоговел; зато бесконечно говорила

о Толстом, о Герцене. О современных писателях отзывалась как-то иронически: «Мне кажется, они все в кого-то играют… Один — нынешний Тургенев… другой — нынешний Достоевский…»

Она была маленького роста, живая, миловидная, быстро и легко двигалась, разговаривала мягко, шутливо. Трудно было поверить, что эта женщина перенесла тяжкие невзгоды. О своей жизни не говорила, о своем творчестве — тоже никогда. Вообще она была человеком необычайной скромности и бескорыстия. «Самуил Яковлевич считает, что у меня нет мускулов честолюбия».

Для меня навсегда незабываемы встречи с Тамарой Григорьевной в ее крохотной комнатке на Сущевской, где стоял секретер красного дерева, на откидной крышке которого мы кое-как раскладывали бумаги, где за стеклом старинного шкафа теснилась обширная библиотека. (Сейчас книги находятся в библиотеке ЦДЛ, переданные туда как дар Тамары Григорьевны по ее завещанию, о чем сообщает табличка, и каждый раз, поднимаясь в библиографический кабинет, я вижу шкаф, табличку и знакомо мерцающие за стеклом книги, которые за двенадцать лет после смерти Тамары Григорьевны не вынул из шкафа,

наверное, ни один человек, и на миг вспоминается давнее, что происходило в том смутном пятидесятом году со мною и со всеми вокруг, и секундная скорбь сжимает сердце. Помните у Маршака: «Каких людей я только знал! В них столько страсти было! Но их с поверхности зеркал как будто тряпкой смыло».) И вот, говорю я, встречи в крохотной, загроможденной мебелью комнате, споры о словах, чтение вслух, работа без устали до поздноты, до сладостных, ночных вагонов метро… И казалось, что все будут так же желать мне удачи, так же жадно подсказывать, радоваться хорошей фразе. И только так и никак иначе, казалось мне, делается литература.

Сейчас из романа «Студенты», которым набита целая полка в моем шкафу, я не могу прочесть ни строки. Даже страшновато взять в руки. Были бы силы, время и, главное, желание, я бы переписал эту книгу заново от первой до последней страницы.

Но — зачем? Не надо возвращаться к тому, что ушло. Это все равно что пытаться наяву переделывать нечто, существующее лишь во сне, или же бежать вверх по эскалатору, спускающемуся вниз.

С Твардовским не было встреч до конца лета,

когда я принес в «Новый мир» законченную рукопись. Габбе считалась внешним редактором, теперь следовало отдать повесть на просмотр и, может быть, доработку штатному редактору: им оказалась дама средних лет, заседавшая в одной из клетушек. С дамой сразу возник конфликт. Это была редактриса того распространенного типа, который я бы назвал типом ***бесталанного самомнения***: талантом, то есть чутьем и пониманием литературы, бог обидел, а самомнение наросло с годами от сознания своей власти над рукописями и авторами.

Почти сразу я почуял некую холодность к себе, к рукописи и, главное, через меня и рукопись — к Тамаре Григорьевне. Дама, кажется, была уязвлена тем, что для первой большой редакторской работы новый руководитель журнала позвал человека со стороны. Было сказано какое-то насмешливое словцо по адресу Тамары Григорьевны. Работа началась с черканья и перестановки слов на первой же странице. Я вступил в спор. Дамское самомнение кипело. Я упорно не уступал. Больнее всего меня задело пренебрежение дамы не к моему тексту, а к авторитету Тамары Григорьевны. Черкать и переставлять слова во фразе, ею одобренной. И эдак с маху, с

налету! А Тамара Григорьевна вовсе не брала ручку и ничего сама не правила в рукописи. Да и что за замечания? «Которые… которые… как… как…» Можно согласиться, можно не соглашаться. Я решил не соглашаться. В то время я производил впечатление тюфяка, этакой флегматичной орясины, и дама была, кажется, изумлена, обнаружив мою гранитную неуступчивость.

— Я вижу, у нас дело так не пойдет! — сказала она гневно.

— Я тоже так полагаю, — сказал я.

Пожалуй, я вел себя рискованно. Но тогда этого не сознавал. Я пошел к Твардовскому и попросил назначить мне другого редактора. Он спросил: в чем дело? Мы друг друга не понимаем. Стал было рассказывать о предмете спора, но Твардовский прервал: ему все было ясно.

— Мы вам дадим другого редактора, хотя не думаю, что это необходимо. Габбе очень хороший редактор.

Дама, которая наскочила на меня, как баржа на мель, переплыла в «Советский писатель» и лет двадцать благополучно подчеркивала там слова «которые» и «как».

Твардовского я не видел несколько месяцев, он выглядел иначе: как-то уверенней, энергичней,

разговаривал кратко, твердо. К себе я не почувствовал большого интереса. Мне было сказано, что повесть планируется на осень. Она вышла в двух номерах: октябрьском и ноябрьском 1950 года. Моя жизнь изменилась. Внезапно я стал известным писателем. Теперь сомневаюсь: писателем ли? Но тогда, конечно, не сомневался ни минуты. Обрушились сотни писем, дискуссии, диспуты, телеграммы с вызовом в другие города. Все это началось в декабре и продолжалось, нарастая, в течение всей зимы. В редакцию «Нового мира» я заходил за письмами, которые Зинаида Николаевна собирала в толстые пакеты и, передавая их мне, шептала с изумлением: «Послушайте, ну кто бы подумал! Ведь только Ажаев получал столько писем!» Члены редколлегии, которые раньше меня не замечали и едва здоровались — с какой бы стати им замечать? — теперь останавливали меня в зальчике и задавали вопросы.

Катаев сказал, что в два счета сделал бы из меня Ильфа и Петрова.

— Небось уж подписались в Бюро вырезок? И носят вам на квартиру такие длинные конверты со всякой трухой? — спросил он.

Я не слышал, что существует какое-то Бюро вырезок.

Твердо решил: не подпишусь. Но через год все-таки подписался.

Александр Трифонович ко всей этой внезапной и ошеломившей меня шумихе вокруг «Студентов» относился благосклонно. Ведь это был успех журнала. Но официальное отношение к повести было пока неясно. До меня доносились слухи, что есть недовольные, говорят, что вещь чересчур бытовая.

Твардовский сказал:

— Вы не думайте, что вы всех очаровали. Даже в нашей редколлегии есть люди, которые протестовали резко.

Я посмотрел вопросительно, перебирая в уме: кто бы это? Спросил. Назвал наугад одного из членов редколлегии.

— Да, да, — строго и с нажимом произнес Твардовский. — Главный наш зоил. Мужчина серьезный, имейте в виду. Как он Катаева-то поставил по стойке «смирно»! Но мы с ним не посчитались. И вообще я думаю, он у нас тут не загостится...

В январе в «Правде» появилась статья Л. Якименко, положительно оценившая «Студентов». По тем временам это был большой успех. Мне звонили товарищи, поздравляли. Посыпались

всякие лестные предложения: из «Мосфильма», из театра, с радио, из издательства. Люди, меня окружавшие, были ошарашены: я же, представьте, принимал все ***как должное***! И вел себя глупо. На предложение «Мосфильма» писать по «Студентам» сценарий я ответил отказом: видите ли, посчитал для себя унизительным эксплуатировать успех. В «Советском писателе» тоже гордо отказался от договора, ибо — как объяснил удивленному редактору, пригласившему меня, кажется, это был Кузьма Горбунов — я когда-то, полтора года назад, дал обещание редактору из «Молодой гвардии» Вилковой передать книгу им. Горбунов резонно заметил: «Это молодежное издательство. Они все равно вас издадут». — «Нет, я обещал им первое издание. Не могу их обмануть». Горбунов отпустил меня с богом, издание в «Советском писателе» задержалось на несколько лет. Зато на предложение Театра имени Ермоловой сделать инсценировку по «Студентам» я согласился. Мне очень понравился главный режиссер театра Андрей Михайлович Лобанов. Он прочитал повесть, как только она появилась, и сразу пригласил меня в театр.

Я сказал Твардовскому, что согласился на предложен ние театра. Александр Трифонович

презрительно скривился:

— Зачем вам это нужно? Отдали бы на откуп двум каким-нибудь ловким дельцам…

Шум вокруг «Студентов» уже стал, мне кажется, Александра Трифоновича несколько раздражать. Спустя двадцать два года попробую разобраться в причинах шума. Что за время было в литературе? Лучшие книги, появившиеся в эти годы, были книги о войне: Панова, Казакевич, Гроссман. Читателям хотелось книг о сегодняшней, знакомой жизни. Был настоящий читательский голод. Помню, каким событием оказалось появление американского романа, вполне посредственного, Айры Уол-ферта «Банда Тэккера». Его читала вся Москва. И, однако, жажда чтения, страсть к книгам были громадным, всеохватным увлечением: после войны, несчастий, карточной системы, после того как книги продавали, чтобы купить хлеб.

Дискуссии вокруг романов Ажаева «Далеко от Москвы» или «Кружилихи» Пановой собирали тысячные аудитории. Этот шум, рассуждения с трибун, споры, крики были выражением страстной и истосковавшейся ***любви к книге***.

В истории России никогда не было более благодарной читательской аудитории, чем после

окончания войны.

И в повести «Студенты» была некоторая бытовая правда, были подробности, напоминавшие жизнь. И — не где-то и когда-то, а жизнь сегодняшнюю, московскую. Обсуждения «Студентов» тоже собирали тысячные аудитории. В иных вузах диспуты длились по два дня. «Новый мир» в февральской книжке под рубрикой «Трибуна читателя» опубликовал подробную, на нескольких страницах стенограмму диспута в Московском пединституте. Помню, редакция «Нового мира» встречалась с читателями автозавода. Поехали Твардовский, Смирнов, Тарасенков, Катаев и я. Встреча была многолюдной, в клубе ЗИСа.

Первое время я боялся встреч с читателями. Меня пугала не возможная критика, а необходимость выступать самому. Выступал я плохо, мямлил, бормотал и часто разочаровывал слушателей. Встречи длились обычно три, четыре часа, и уставшая публика ждала к концу, в виде отдыха и развлечения, остроумную речь автора. Я не оправдывал надежд. В президиум поступали записки: «Выступление т. Трифонова нас не удовлетворило». Но постепенно я, что называется, поднатаскался. У меня отштамповалась со временем некая модель выступления с набором

анекдотов и шуток, которые действовали безотказно. И я перестал бояться встреч с читателями. Впрочем, вру. До сих пор всякая такая встреча и вообще всякое прилюдное выступление с трибуны для меня — пытка, казнь.

В клубе ЗИСа я отбарабанил «по модели» десять минут. Твардовский, наклонившись, спросил тихо:

— Ну что, может, теперь усики заведете?

Явное издевательство над моей «славой». Но я слишком любил Твардовского, чтобы обижаться.

— Нет, Александр Трифонович, не заведу, — пообещал я.

— А жениться не думаете?

— Нет.

— Что ж так? Это вы напрасно. — И вдруг всерьез — А жениться надо рано. Я рано женился…

Я сказал:

— Я в Ленинград собираюсь, Александр Трифонович.

— Ну, это все равно что жениться!

Опять мне почудилось, что надо мной издеваются. Я ему все прощал. Я считал: ***он имеет право надо мной издеваться***, ибо я нахожусь в смешном положении едва испеченной знаменитости. В Ленинград я ехал по приглашению

Ленинградского университета на дискуссию. Мы разговаривали с Твардовским вполголоса в то время, как на трибуне кто-то говорил. Это был последний оратор. Когда все кончилось, спустились вниз, оделись, Твардовский спросил:

— Не хотите поехать с нами куда-нибудь посидеть за доброй чаркой?

Такое прямое приглашение в ***свою компанию*** от Твардовского я услышал впервые. За доброй чаркой мне приходилось сидеть с ним раза два, но бывало это случайно: я встречал его в баре на Пушкинской. Теперь же меня приглашали как равного. И, конечно, я был польщен, мне страшно хотелось пойти с Твардовским и Катаевым в какое-то заманчивое «куда-нибудь». Но ведь я был нелепым молодым обормотом! Меня ждали такие же молодые обормоты, добрые чарки, и все было заранее договорено, предусмотрено: квартира находилась как раз неподалеку от клуба автозавода. Да, очень хотелось пойти с Твардовским и Катаевым, но что поделать — на гулянку, к обормотам хотелось еще сильней. И я честно признался в этом Александру Трифоновичу. Он, кажется, не понял моей откровенности, попрощался сухо. Утром я проснулся в чужой квартире, разбитый, с головной болью. Комната

была перегорожена надвое. Приятели мои исчезли. На другой стороне за шкафом старуха мыла тарелки. И я с тоской думал о своей вчерашней глупости, но все же утешал себя: впереди долгая жизнь, и я еще не раз отправлюсь с Твардовским и Катаевым «куда-нибудь».

Да, было, отправлялся, но спустя много лет, без Катаева, и без ***того*** Твардовского и без того меня. Впрочем, было-то иначе, не «где-нибудь», а по-домашнему, на веранде. То, что упущено в юности, упускается навсегда. А долгая жизнь оставляет много времени для сожалений.

Было несколько встреч в баре на Пушкинской. Александр Трифонович жил тогда рядом, на улице Горького, в бар заходил часто. А мы, бывшие студенты Литинститута, и вовсе считали бар своим домом. Всегда после стипендии — туда! Помню, пришел с Евдокимовым. Твардовский увидел меня, пригласил за столик. Это было, наверное, в ноябре, сразу после выхода номера с окончанием «Студентов». Твардовский сидел один.

Если в редакции Александр Трифонович был со мной корректен, суховат и я не ощущал его истинного отношения, то теперь вдруг почувствовал какое-то непроизвольное движение теплоты,

интереса к себе. Он так радушно, жестом, позвал меня за столик, так почтительно поздоровался с моим товарищем и так мягко, приветливо стал меня расспрашивать.

Я что-то говорил о своих планах. Планов было множество, но ничего определенного. Уже несколько недель я находился в состоянии эйфории.

— Да, вы теперь должны поднять новый пласт. Поехать куда-то на стройку, на завод… Только, бог ты мой, не пишите продолжения! — внушал он тихим голосом. — Нынче модно: первая книга, вторая книга… Чуть у кого такусенький успех, он сейчас на этом плацдарме окапывается, строит долговременную оборону. А надо дальше идти. И вот выжимают, выжимают…. Не будете писать продолжения? Нет? Обещаете?

— Нет, не буду, Александр Трифонович. Точно не буду. — И не мог удержаться от хвастовства. — Хотя многие советуют…

— Дураки советуют! Не слушайте дураков! — сердито сказал он, и вдруг другим тоном, как бы про себя, безучастно — Ах, бог ты мой, дело ваше. Хотите — слушайте…

И была минута-другая какого-то внезапного ледяного отчуждения, он отсутствовал, смотрел

в сторону, я мучился недоумением и не знал что делать: может, я ему опротивел? Встать и уйти? Но затем снова — интерес, приветливость.

— Вот что я вам скажу: не спешите с новой вещью. Изучайте людей… Когда будете знать их так же хорошо, как вы знаете своего профессора Козельского…

Профессор Козельский — из моей повести, злой гений, формалист и низкопоклонник.

— И запомните еще: сейчас у вас самое ответственное время… Сейчас успех — опасность страшная! — Он грозил пальцем. И, вдруг приблизившись вплотную, зашептал на ухо, чтоб не услышал Евдокимов — Мы вас на премию хотим выдвинуть. Только пока — молчок! Ни я никому, ни вы никому. Ничего не известно, и, разумеется, я вам зря говорю… Забудьте, не придавайте значения…

Но как я мог забыть?

— Испытание успехом — дело не шуточное. У многих темечко не выдержало…

Это выражение — относительно темечка — я слышал от Александра Трифоновича не раз на протяжении лет.

Весною, кажется, в апреле в Москве собрали Второе совещание молодых писателей. На пер-

вом совещании, в 1947 году, я был в семинаре у Валерии Герасимовой и подвергся убойной и вполне справедливой критике аз два рассказа. Теперь попал в семинар к Гроссману. Как раз во время совещания в «Правде» появилось сообщение о премиях. За повесть «Студенты» — третья премия.

Помню, день объявления премий меня, конечно, обрадовал, но не то чтобы потряс или осчастливил. Я принял известие довольно спокойно. К десяти утра, к началу занятий в семинаре, поехал в ЦК комсомола, к Ильинским воротам, где происходило совещание. В вестибюле меня встретил литинститутский приятель Медников, который глядел на меня минуту-другую с изумлением и потом спросил:

— Старик, ты газету читал сегодня?

— Читал. Насчет премий?

— А я думал, не знаешь! Старик, но по тебе совершенно ничего не видно!

И я замечал в тот день, что многие мои приятели потрясены этой новостью гораздо сильней, чем я. В лифте ехал на третий этаж с Медниковым, еще с какими-то ребятами из семинара, меня поздравляли, шутили, балагурили, только один человек не поздравил, не проронил ни сло-

ва, и я поймал на секунду злобно-черный, я бы сказал ***испепеляющий*** взгляд: это был один из руководителей нашего семинара. «Ого!» — подумал я. — Мы ведь почти не знакомы. За что ж он этак-то люто?»

Мне вспоминаются мелочи, чепуха, неуловимое, даже не поступки, не слова, просто взгляды. Но что делать, если взгляды — запомнились. И, как видно, на всю жизнь.

Через год, весною пятьдесят второго, я пришел в «Новый мир» просить командировку. Хотелось уехать подальше. Увидеть жизнь, не похожую на ту, о которой я писал прежде. Попросил командировку в Среднюю Азию, на стройку Туркменского канала. Александр Трифонович одобрил. В апреле я улетел на юг.

Мотался по Каракумам, на вездеходах, на верблюдах, в маленьких самолетиках, знакомился, узнавал, записывал. В Черкесской экспедиции, стоявшей штабом в Казанджике, но с отрядами, разбросанными по всей пустыне, работала геоботаником сестра Таня, только что окончившая МГУ. Она помогла проникнуть в некоторые секреты полевой изыскательской жизни. Я начал писать повесть об изыскателях на трассе канала. Писал осень, зиму — работа шла туго, матери-

ал был далек, необжит, необмят. Да и где было обжить и обмять за месяц галопа по пустыне. А я привык писать лишь о том, что знаю досконально. Дело стопорилось. Отвлекали великие пустяки жизни. Мне казалось, что я разучился писать. Но все же треть повести, страниц сто двадцать, была написана к марту пятьдесят третьего. Я собирался весною вновь поехать в Туркмению. Внезапно пришло известие: стройку Туркменского канала законсервировали как нерентабельную. Таня, приехав, рассказывала: все обрезалось враз, некоторые отряды, застрявшие в песках, не могли выбраться без транспорта, и без денег.

Моя повесть застряла, как эти отряды в песках. Но без надежды выбраться. Кому нужна книга о стройке, которую закрыли? Ничего не писалось. Все бесконечно разговаривали.

В пятьдесят четвертом я написал пьесу о художниках для театра Ермоловой. Ее поставил Андрей Михайлович Лобанов. «Советская культура» напечатала разносный подвал. Пьеса, конечно, была жидкая. Но в спектакле кое-что удалось, били меня, по-моему, чрезмерно ретиво. Вспоминаю этот эпизод, потому что с пьесой была связана еще одна попытка — последняя в пяти-

десятых годах — напечататься в «Новом мире». Вдруг позвонил Смирнов и попросил немедленно прислать экземпляр пьесы. Выпал из номера какой-то материал, срочно искали замену. Я не верил, что пьеса пройдет в журнале: все-таки чувствовал ее слабину. А вот мужества отказаться, не послать — не нашлось! Послал. Через два дня вернули. Мне было неловко перед Александром Трифоновичем.

И потом в том же пятьдесят четвертом я пришел в журнал с просьбой о договоре на новый роман. Признаться, надеялся получить аванс, так как сидел без денег. Дело обыкновенное. Просьба о договоре окончилась ужасным и незабываемым конфузом.

Так как эта история наложила отпечаток на дальнейшие несколько лет моих отношений с Александром Трифоновичем, я расскажу о ней подробнее. Вообще-то в просьбе о договоре не было ничего зазорного или дурного. Но в моем случае был ряд причин, которые делали эту просьбу рискованной. Я должен был почувствовать, что отношение Александра Трифоновича ко мне за последние года два заметно охладело. Я, может, и чувствовал кое-что, но не придавал значения и не задумывался. Ну что ж, не зовут в журнал, не

приглашают на встречи с читателями, не предлагают командировок, а когда встречал вдруг Александра Трифоновича в Доме литераторов, он кивнет сдержанно и пройдет мимо, как мимо постороннего и малознакомого человека, — естественно, полагал я: ведь я ничего не пишу, и интерес пропал. Александр Трифонович — человек особенный. Он относится к литературе очень страстно, лично.

Я вспомнил, как в другие времена, когда он еще меня любил, он говорил, что литературу надо любить ревниво, пристрастно. «Мы в юности литературные споры решали как? Помню, в Смоленске в газете затеялся какой-то спор о Льве Толстом, один говорит: «А, Толстой — дерьмо!» — «Что, Толстой дерьмо?» — не думавши, разворачиваюсь и — по зубам. Получай за такие слова! Он с лестницы кувырком…»

Вот я и думал, что перемена отношения Александра Трифоновича ко мне оттого, что я творчески скис. Ни черта ведь не получалось, не писалось. Оно так и было, конечно. Но было и другое. Позднее, когда я узнал Александра Трифоновича ближе, я понял, какой это затейливый характер, как он наивен и подозрителен одновременно, как много в нем простодушия, гордыни

и крестьянского добросердечия, как легко он поддается внушениям, как трудно меняет свои мнения о людях.

...Мне советовали пойти к Твардовскому и попробовать объясниться. Я не решался. Казалось глупым: зачем напоминать о своей персоне? В конце концов для меня одного это важно и болезненно, даже более чем болезненно — перемена Твардовского меня глубоко ранила, в чем я никому не признавался, — для него же, может быть, все это пустяки, несущественность. Забыл и забыл. А приходить, напоминать, размазывать — вроде чеховского чиновника, который чихнул на лысину генерала и все пытался потом ***объясниться***.

Таковы были мои отношения с Твардовским к тому дню, когда я отправился насчет договора. Вернее, отношений не было, были лишь смутные переживания по поводу их отсутствия и надежда как-то дело поправить. Между тем Александру Трифоновичу было вовсе не до меня в эти дни.

Сначала я поговорил со Смирновым в его маленьком кабинетике, потом Смирнов, ничего не решив, предложил зайти к главному редактору. В кабинете, кроме Твардовского, было еще несколько членов редколлегии.

Твардовский церемонно со мной поздоровался. Я стал объяснять: есть замысел романа, современного, действие происходит в Москве, хотелось бы договор, если это возможно. Александр Трифонович слушал, затягиваясь папиросой и глядя на меня пристально и сощурившись. Не дав мне договорить, он усмехнулся и сказал, обращаясь к присутствующим:

— Роман написать! Да кто сейчас на роман замахивается?

Присутствующие одобрительно кивали.

— Какой роман? О чем? Что за идея? — продолжал он с напором. — То, что вы рассказали, весьма туманно и, простите меня, неубедительно. У нас нет возможности рисковать договором. Ведь вы же куда-то ездили, что-то собирались делать. Совсем не то, о чем рассказываете сейчас.

Я объяснил про Туркменский канал, про свою брошенную повесть. Александр Трифонович, внимательно выслушав, вдруг сказал резко:

— Вот об этом и напишите.

— Вы такую повесть напечатаете?

— Да вы напишите сначала! — крикнул он раздраженно.

Я молчал, понимая, что всякое возражение бессмысленно. Попал в дурную минуту. Члены

редколлегии тоже молчали: для них это было вроде спектакля. Твардовский не спешил меня отпускать. Он стал говорить о том, что все хотят писать романы, дилогии, трилогии, эпопеи, а не могут путем написать рассказа. И мне предлагал: «Начните с рассказа. Попробуйте написать рассказ на десять страниц, и приносите». И это ***начните*** говорилось редактором, который недавно — хотя какое недавно? Четыре года прошло! — напечатал мою книгу в двадцать с лишком листов. Значит, ее как бы и нет? Как бы и не существовало? В то время я не мог с этим согласиться. Показалось, что меня намеренно обижают. Мало того что отказали в договоре, но еще и отняли то, что было ***мое блистательное начало***. Как говорили некоторые. А я верил.

Оторопевший от такого афронта, я все же пытался защитить свою честь.

— У вас, по-моему, не так-то много молодых писателей… — глупо пробормотал я.

Эта фраза, в которой слышался своего рода укор, окончательно взорвала Твардовского. Злорадно фыркнув, он сказал:

— Знаете, у нас в деревне говорили: к одному мужику пришел сын, просил денег. «Тятя, говорит, ты своему дптю должен помочь!» А сам

вот этак стучит по столу… Члены редколлегии покатились со смеху.

Я попрощался и ушел. И решил никогда больше не переступать порога «Нового мира».

Спустя двенадцать лет я опять напечатался в журнале Александра Трифоновича. Насчет писания дело у меня не очень клеилось. Я мотался в Туркмению едва не каждый год. В пятьдесят восьмом сочинил несколько туркменских рассказов, и очень захотелось понести их Твардовскому, который как раз тогда опять возглавил журнал.

Но все же прийти прямо к Александру Трифоновичу я не решался. Принес рассказы и отдал Заксу. Тот быстро прочел и отверг. Приговор был лаконичный: «Какие-то общечеловеческие темы!» До Твардовского мои сочинения не дошли. Эти же рассказы — их было штук десять, я относился к ним всерьез и считал в некотором смысле своим достижением — я показал Тамаре Григорьевне Габбе. Тамара Григорьевна жила в новой квартире, у аэропорта. Мы не виделись долго, но я вновь ощутил тепло, интерес к себе. Ничего особенного, но как это было дорого, непривычно! Рассказы Тамаре Григорьевне понравились. «Не огорчайтесь отказом Закса. Я попробую через Самуила Яковлевича сделать так, чтобы их про-

читал Твардовский».

Через короткое время Тамара Григорьевна смущенно сообщила, что Маршак говорил с Твардовским обо мне и тот сказал: «Закс мой работник, я ему доверяю». И не стал рассказов читать. В 1959 году они вышли в «Знамени». С этого времени примерно на шестилетие я стал автором «Знамени». С Твардовским почти не виделся. Была встреча на похоронах Тамары Григорьевны Габбе в шестидесятом году, и опять я невольно сделал так, что восстановил Александра Трифоновича против себя. ***Еще более восстановил***!

Тамара Григорьевна умерла еще не старой женщиной, пятидесяти семи лет. Близких людей, кроме Маршака, у нее не было. Твардовский очень сочувствовал горю старшего друга. Был звонок из Союза писателей: от имени Твардовского меня просили выступить на траурном митинге. Я сказал, что не смогу, не умею. Это была истинная правда. С трудом, и то в силу величайшей необходимости, я выступал на собраниях, а на траурном митинге, где каждое слово должно быть значительно, я не смог бы выговорить двух фраз, бормотал бы постыдно.

Прошло много лет с тех пор, я многих похоронил, притерпелся к скорбному обиходу, к

повязкам, цветам, выносу, вносу, тихим разговорам, и на собраниях выступаю довольно связно, но заговорить над гробом — ***а ведь есть что сказать***! — и теперь не хватает духу. Это только кажется, будто есть что сказать. Нету слов для этого. Не существует…

Встретились с Александром Трифоновичем в тесной, набитой людьми квартире Тамары Григорьевны, вместе несли гроб с третьего этажа, и Александр Трифонович глядел на меня не то что неодобрительно, а как бы с изумлением: и как же я мог? Да, да, мог, вернее — не мог. Постепенно, я чувствовал, у Александра Трифоновича возникало отчетливое представление обо мне: весьма далекое от того, что я есть на самом деле. Но ничего поделать было нельзя. Я надеялся на время: что-нибудь сочиню, совсем не так, как сочинял прежде, меня напечатают, тогда поговорю, объясню, докажу. Хотя что, собственно, надо было доказывать? Все это пустое, недоказуемое. Иногда мне мерещилось, будто моя безответная приверженность к Александру Трифоновичу — скрытно мучающая— какое-то неизжитое мальчишество, незрелость души. Да черт бы меня взял! Какой-никакой я все же самостоятельный писатель, и находились люди,

правда, не так-то много, которые считали меня хорошим писателем, а мои родные считали меня даже очень хорошим писателем, но, едва завидев Твардовского, я краснел и покрывался потом, как мальчишка, встретивший вдруг на улице своего любимого спортсмена. Впрочем, тут не было странного: я был не одинок. Имя замечательного поэта приобретало все больше приверженцев, болельщиков и прямо-таки фанатических поклонников среди читающей России.

В конце шестьдесят второго года, когда я закончил роман «Утоление жажды» и Кожевников отказался его печатать — а я писал роман по договору со «Знаменем», — из «Нового мира» прилетело вдруг предложение показать роман. Предложение от Евгения Герасимова, который заведовал отделом прозы. «Покажите! А вдруг?» Я показал. Через день Герасимов позвонил с отказом. Не понимал тогда, не понимаю теперь, как можно за день прочитать роман в двадцать печатных листов.

Скорей всего тут подействовало то возникшее с годами отчетливое представление обо мне и ***о том, что я могу написать***. Александр Трифонович мог и не знать, что Герасимов звонил насчет романа, а узнав, покривился. Роман все-та-

ки вышел в «Знамени», а «Новый мир» отозвался неопределенной рецензией Феликса Светова. Я был уязвлен, счел рецензию несправедливой и со Световым перестал здороваться. Господи, какая глупость! Сейчас нисколько не уязвляюсь самыми резкими статьями (такие появились именно сейчас, что там статья Светова!) и не шибко радуюсь похвалам. Все это элементарно, но до такой элементарности надо доползти, докарабкаться: должны пройти годы.

В 1964 году мы с Александром Трифоновичем оказались соседями по дачному поселку Красная Пахра. Александр Трифонович купил дом недавно умершего Дыховичного, я почти одновременно приобрел недостроенную дачу Слободского. Участки находились рядом и соединялись калиткой: соавторы, как видно, часто бегали друг к другу. Первое время соседство с Александром Трифоновичем никак не отражалось на наших отношениях, по-прежнему далековатых. Мы встречались изредка, здоровались через забор. По утрам Александр Трифонович возился в саду, трещал сучьями, жег костер или рубил дровишки на маленьком рабочем дворе, за своей времянкой, как раз возле угла нашего общего забора. Часов в шесть утра я слышал кашель Александра Трифо-

новича, знал, что он уже встал, возился с сучьями, и тоже вставал и выходил в сад. Я делал гимнастику, приседал и махал руками в еще сыром и темном саду, приближаясь к тому углу забора, неподалеку от которого работал Александр Трифонович. Какой у меня сад! Лес, высокая трава, ели, березы, осина… Приблизившись к забору, я говорил в ту сторону, откуда раздавался треск сучьев: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» И каждый раз вспоминалось: «Здравствуйте, господин Гоген!» Иногда мы разговаривали о садовых делах. Он советовал разредить лес, вырубить молодняк, в особенности осину.

Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин. Твардовский скоро это сообразил и перестал давать мне советы: не в коня корм. Он только говорил иногда, с оттенком удивления, о том, какой отличный сельский хозяин Григорий Яковлевич Бакланов, живший в нашем поселке.

В то лето, первое на Пахре, нам все там очень нравилось: лес, воздух, дорога на речку, речка, магазинчики, молочница на велосипеде. Единственное, что отравляло жизнь: радио. Звуки радио доносились с соседского участка. В тихом воздухе радиоголоса и музыка были казнью. Я мучился много дней, не мог работать. Обратить-

ся к Александру Трифоновичу и попросить его сделать радио потише представлялось мне бестактностью. Наконец не вынес и как-то утром, когда запело радио и одновременно стал слышен знакомый треск сучьев, подошел к углу забора, поздоровался и спросил:

— Александр Трифонович, это не у вас радио поет?

— Нет, — сказал Александр Трифонович, кажется, даже растерявшись от моего вопроса. — У нас радио никогда не поет. Мы его вообще не заводим.

Оказалось, радио пело на участке, находившемся за участком Александра Трифоновича. Ему оно мешало еще больше, чем мне. Почему же не попросить людей?

Он пожимал плечами:

— Как попросишь? Мы незнакомы. И неловко как-то — взрослые люди…

Такова была его деликатность. Может, на дне этой деликатности, в глубине самой, находилось нечто иное, например, гордыня. Ведь надо же ***попросить***! А это непросто. Дело кончилось тем, что обратился к приятелю, тоже нашему соседу, Юзику Дику, а тому никакой черт не страшен и никакая просьба не в тягость, он поговорил с

теми людьми, радио заткнулось.

Зимою шестьдесят пятого мы на Пахре не жили, только недели две, в январе, во время школьных каникул. Александр Трифонович жил на даче круглый год. Житье там ему, по-видимому, очень нравилось. Я ничего не давал в «Новый мир», было несколько рассказов, но дать их не решался. Было известно, что в отделе прозы сидят необыкновенно требовательные редакторы. Но все же многие литераторы, хоть чуть себя уважавшие, стремились стать авторами журнала Твардовского. То было всеобщее писательское вожделение. Не обошло оно и меня.

Но, боже мой, как не хотелось получать удар по самолюбию! Ведь мы солидные авторы, нас хвалит печать, издают в «Роман-газете». А журнал Твардовского, как говорили сведущие люди, ко всем относится одинаково: к секретарям, к маститым, к начинающим, к неведомым авторам из самотека. И больше того: неведомые авторы из самотека даже пользуются, по слухам, некоей предпочтительностью по сравнению с маститыми. «Надо пройти Лею!» — говорили сведущие люди за столиками ЦДЛ. Ася имеет большое влияние на Дороша. Пройти Асю — значит, пройти отдел. Ну а там все зависит, конечно, от того, как

посмотрит Атэ.

«Атэ» — таково было внутрижурнальное, кодовое имя, произносимое, конечно же, за глаза, со школьным благоговением и трепетом, и люди, позволявшие себе всуе, за столиками ЦДЛ произносить это имя, как бы причисляли себя — уже одним этим знанием кода — ***к сонму близких и посвященных***. Увидеть Атэ, поговорить с ним было для всех, не только для авторов, но и для сотрудников журнала, делом редким и непростым.

Я же встречал Атэ возле забора, разговаривал о сжигании листьев, уборке мусора. Зимою по вечерам мы сталкивались на темных, обледенелых аллеях — издалека были слышны его твердые шаги и стук палки. Той зимой он часто ходил один, быстро, не задерживаясь ни с кем из встречавшихся на дороге знакомых, напряженно о чем-то думая. Одинокая его фигура казалась мощной, большой, порывисто куда-то устремленной. Думал ли он о журнале, о друзьях, о книгах или о том, что происходило в стране и в мире? Может быть, в эти минуты под стук палки и скрип снега возникали стихи? Но помню отчетливо: эта фигура, быстро шагавшая чуть обочь дороги, чтобы не мешать дачникам, гулявшим кучно, семей-но, поражала необычайной сосредоточенностью.

Если мы и разговаривали о чем-то, то — о делах поселка, о новостях, принесенных эфиром и почтальоншей, но никогда о журнале. Я старался не задавать вопросов, которые могли показаться попыткой проникнуть в эти редакционные тайны. Слишком много людей хотели бы проникнуть в эти тайны.

Постепенно, в разговорах, обнаружилось, что мы на многое: на дачных соседей, на события и на книги, о которых, между прочим, между разговорами о жестянщике Коле, большом плуте и обманщике, и о сбрасывании снега с крыши, вдруг заходила речь, — смотрим с Александром Трифоновичем одинаково. Летом мы стали встречаться и разговаривать чаще. Александр Трифонович еще не чувствовал во мне полного единомышленника — хотя я был именно таковым, — привычная настороженность и какие-то старые ***предвзятости*** еще давали о себе знать, но доверие росло, правда медленно. Был разговор о повести «Отблеск костра», Александр Трифонович впервые после долгого перерыва — лет тринадцать, что ли? — проявил интерес к моим сочинениям.

Это было время, когда в литературе бурно появлялись новые таланты, яркие, самобытные.

В разговорах «между Колей-жестянщиком и уборкой мусора» я слышал краткие, но довольно суровые, порой иронические, порой едкие отзывы о некоторых ветеранах журнала. Про одного говорилось, что «темечко не выдержало», у другого «нет языка», третий «слишком умствует, философствует, а ему этого не дано». Зато возникли новые имена: Домбровский, Семин, Белов, Искандер, Можаев, Шукшин.

И вот об этих, пришедших в последние годы, говорилось с интересом, порою увлеченно. Если в журнале готовилась к опубликованию какая-нибудь яркая вещь, Александру Трифоновичу не терпелось поделиться радостью: даже с риском выдачи редакционной тайны.

— Вот прочитаете скоро повесть одного молодого писателя… — говорил он, загадочно понижая голос, будто у нас в саду могли услышать недоброжелатели. — Отличная проза! Как будто все шуточками, с улыбкой, а сказано много…

И в нескольких словах пересказывался смешной сюжет искандеровского «Козлотура».

Так же в саду, летом, я впервые услышал о можаевском Кузькине. Высоко ценил Твардовский молодого, набиравшего силу Шукшина, хотя и замечал, что писатель особенно силен в прямой

речи, «ухо поразительно чуткое», авторская речь послабей. Не довелось увидеть Александру Трифоновичу, как чудесно возрос редкий шукшинский талант. Похвалы роману Абрамова «Две зимы, три лета» я слышал задолго до того, как книга появилась в журнале.

То, что Александр Трифонович делился со мной такими редакционными сокровенностями, значило много, и я гордился этим. Иногда Александр Трифонович приходил утром, очень рано, стучал палкой в стекло веранды.

— Тургенев говорил: русский писатель любит, чтобы ему мешали работать…

Я действительно радовался приходу Александра Трифоновича, откладывал писанину, работа прерывалась на несколько часов, а иногда и на целый день.

Александр Трифонович был ровен, проницателен и как-то по высшему счету корректен со всеми одинаково: с лауреатами премий, с академиками, с жестянщиками. Те ровность и демократизм, которые были свойственны ему как редактору в его отношениях с авторами, отличали Александра Трифоновича и в обыденной жизни, и поэтому он пользовался необыкновенным уважением всех людей, которые как-либо с ним соприкасались.

Ну, и я был одним из этих людей, соприкасаясь с ним посредством деревянного заборчика, возле которого мы часто стояли и, держась за его сыроватые планки, разговаривали о всякой всячине.

И мне казалось невероятным, что когда-то я был автором Александра Трифоновича, а он был моим редактором, добрым редактором! Все то, что было пятнадцать лет назад, исчезло навсегда и окончательно. И я не огорчался. Александр Трифонович как будто и в уме не держал, не вспоминал о том, что я писатель. Пожалуй, я был для него читатель, квалифицированный, толковый, правильно мыслящий, с кем небезынтересно поговорить о литературных новинках. К его фразам, которые он произносил иногда, прощаясь после прекрасного застолья на свежем воздухе, в саду или на веранде с открытыми окнами, вроде такой: «Почему вы нам ничего не приносите? Приносите! Нам интересна каждая ваша страница!» — я относился с мучительным недоверием. Я подозревал в них глубоко — впрочем, и не очень глубоко — спрятанную иронию. Может быть, я ошибался, но скорей всего так и было. Уж очень непохожей на него была эта фраза: «Нам интересна каждая ваша страница!» Конечно же, он смеялся надо мной, как смеялся над другими, ко-

гда уходил, прощаясь после прекрасных вечеров на свежем воздухе.

Повторяю: у меня были рассказы, но дать их Александру Трифоновичу я не решался. Кроме того, что пугал возможный отказ, удар по самолюбию, я еще боялся нарушить наши отношения, умеренно-дружественные. Боялся того, что он подумает, что я думаю, что, коль мы встречаемся по-соседски, это дает мне право…

Осенью 1966 года Борис Слуцкий взял три моих рассказа и отдал Асе Берзер. Два из них были приняты. Эти два рассказа прошли с необыкновенной быстротой все ступени редакционной лестницы и появились в декабрьском номере того же, 1966 года. Я снова стал автором «Нового мира». В марте следующего, 1967 года «Новый мир» напечатал рецензию И. Крамова на книгу «Отблеск костра», только что изданную «Советским писателем», — это был первый и, пожалуй, единственный основательный отклик на книгу. Весною 1967 года я поехал по командировке «Нового мира» в Ростов — собирать материалы для документальной книги о двадцатом годе.

Помню, Александр Трифонович зашел в маленькую комнатку ответственного секретаря Хитрова, когда тот выписывал мне командировку,

и, узнав, что я еду в Ростов, сказал одобрительно:

— Хорошо, хорошо. Надо его посылать…

Той зимою и весной я много мотался, вернее, метался, путешествовал: в январе был с дочкой по приглашению в Болгарии, в марте в Австрии на хоккейном чемпионате.

О поездке в Болгарию написал рассказ «Самый маленький город». С этим рассказом дело было так. Прочли в отделе, прочел Дорош, кто-то из членов редколлегии: одобрили, послали в набор. Александр Трифонович читал обыкновенно верстку — кроме крупных вещей, с которыми знакомился, конечно, в рукописи. Летом шестьдесят седьмого я на Пахре не жил. Приехал как-то осенью, встретился с Александром Трифоновичем, и он сказал мне, что только что прочитал «мой рассказик». Так и сказал: «ваш рассказик».

Я почувствовал холодноватость отношения к «***рассказику***». Да, разумеется, это было ***не свое, не новомирское*** — и по манере, по стилистике, по художественной задаче. В рассказе «Самый маленький город» не было ничего из того, что особенно ценилось журналом «Новый мир» и ставилось во главу угла: из так называемого ***социального***. Хотя, на мой взгляд, социальное в глубинном, высшем его понимании — изоб-

ражение общества как сплетения характеров — должно существовать и существует во всякой истинной литературе, какой бы далекой от социологизации она ни казалась. Один мой приятель, литератор, в конце пятидесятых годов всегда спрашивал, когда речь заходила о каком-либо романе, о рассказе или повести: «Против чего?» А рассказ о Болгарии был как будто не против чего. Несколько лет назад Б. Закс сказал по поводу туркменских рассказов с неодобрением и даже, пожалуй, презрительно: «Какие-то вечные темы!..» Те рассказы были отвергнуты, на этот раз отдел меня одобрил, хотя и со скрипом. Донеслось ворчливое высказывание Ефима Яковлевича Дороша: рассказ написан в какой-то западной манере, но печатать можно. «У Трифонова есть свой читатель».

В общем, ко мне относились гораздо лучше, чем несколько лет назад, и это было основанием надеяться на то, что рассказ пройдет. Очень хотелось его напечатать. Он был о больном, самом больном для меня тогда, и казался мне настоящим. Я и сейчас считаю его одним из лучших из пятерки своих рассказов.

В рассказе «Самый маленький город» было на ортодоксальный новомирский взгляд три порока:

он был написан о Болгарии, а не о родной земле (о Болгарии должны писать болгары, а иные попытки — от лукавого), в его стилистике замечалось влияние не русской классической прозы, скажем, Толстого или Тургенева, а скорее Хемингуэя, и вдобавок в нем совершенно не было «против чего». Но я-то считал, что «против чего» там было. Ну, может быть, так: против горечи жизни, против несправедливости судьбы, против… да бог знает против чего еще! Против смерти, что ли. Против обыкновенного житейского ужаса ***нигде и никогда***, с чем мы примиряемся и живем.

Но все это было чересчур общо и ненужно.

Я не удивился тому, что Александр Трифонович сразу обнаружил холодность к рассказу, хотя сказал довольно мягко:

— Я понимаю, вы хотели бы такой памятничек… Но на вашем месте я бы рассказ теперь не печатал. Пусть полежит.

Никакого «памятничка» я не хотел. Даже в уме не держал. Написалось, и все. Возражать я не стал и спокойно принял известие, что рассказ не пойдет. Почему-то была уверенность в том, что напечатаю в другом месте. Но Александр Трифонович неожиданно и каким-то безразличным тоном произнес:

— Если хотите, мы его напечатаем. Как хотите. Но мой вам совет — подождать.

Подумавши полминуты, я сказал:

— Александр Трифонович, я хочу его напечатать.

Это был странный разговор с редактором: хотите, не хотите. Мне было неловко, что не внял доброму совету, пошел наперекор Александру Трифоновичу, и, однако, — уж очень мне хотелось этот рассказ напечатать.

Итак, рассказ был одобрен и определен в один из ближайших номеров. Между тем был у меня еще один рассказ, застрявший в отделе: «Голубиная гибель». Он, кажется, не очень понравился в отделе, потому что был отсечен от тех двух, напечатанных в шестьдесят шестом. Я считал, что по качеству он ничуть им не уступает, да и по смыслу не худ. Словом, я набрался наглости и передал его как-то осенью, в один из приездов на дачу — прямо через забор — в руки Александру Трифоновичу. Это был первый и единственный раз, когда я действовал помимо отдела, воспользовавшись выгодою соседства. Прошло всего дня три, и Александр Трифонович сказал, что рассказ ему понравился и он передал его в отдел.

— Он лежал у меня на столе, Мария Иллари-

оновна прочитала, — сказал Александр Трифонович. — Хороший, говорит, рассказ, но почему конец такой грустный? Прямо говорит, жить не хочется. Вы там что-нибудь сделайте с концом…

Потом был разговор об этом рассказе в редакции. Меня вызвали туда срочно. Звонил Дорош. Тут я понял, что значило для отдела, когда материал со своим «добро» передает Александр Трифонович. Все делалось с поразительной быстротой, с опаской не успеть, недоделать. Я должен был мгновенно учесть все замечания на полях, потому что рассказ добавлялся к болгарскому и шел в первый, январский, номер шестьдесят восьмого года. Александр Трифонович просил зайти к нему в кабинет, на второй этаж. Об этом мне так же поспешно и с некоторым волнением сообщил Дорош.

Александр Трифонович подробно прошелся по всему тексту. Замечания его были точные, четкие. Ни одно не вызвало возражений, все шли на улучшение, уточнение рассказа. Он, например, подчеркнул везде слово «карниз» и заменил его словом «отлив». Предложил убрать несколько фраз в сцене ареста Бориса Евгеньевича, отчего все стало выразительней и сильнее.

— Хорошо он у вас говорит: «Разве вы не знаете,

я же вчера человека убил?»

Я признался, что эту фразу не придумал, она из жизни. Мне рассказывала о ней вдова Виктора Кина Цецилия Исааковна Кин.

Январский номер с двумя рассказами вышел лишь в марте. Весною я написал рассказ «В грибную осень», отдал в отдел. При тех отношениях, какие у меня сложились с Александром Трифоновичем, я мог бы отдавать рукописи прямо ему — он даже предлагал это, когда бывал в добром расположении духа, — но я проявлял осмотрительность и отдавал в отдел.

Прочитав рассказ «В грибную осень», Ася сказала, что будет предлагать его в какой-то из летних номеров, седьмой или восьмой. Рассказ вышел в августовском номере. Зимою мы виделись с Александром Трифоновичем редко, а в начале лета следующего, шестьдесят девятого, года, когда я переехал на Пахру прочно, решив там жить все лето и работать, — я писал тогда повесть «Обмен», — виделись чуть ли не каждый день.

Стоял свежий теплый июнь.

Каждое утро ходили с Александром Трифоновичем купаться на реку. Мне было неловко заходить за ним — боялся быть навязчивым, — а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал

на мой участок, благо, калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: «К барьеру!» Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба крутой тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы располагались на нашем месте.

Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода на всей реке. Потому что ключи, местами даже стынью обдаст, плывешь, плывешь — и холодом по ногам.

Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватались за склоненный низко над водой — будто по заказу — не толстый, но и не тоненький пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали силой. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за

ствол, с силой отталкивался и долго, медленно плавал.

В июне шестьдесят девятого года, теплыми утрами на реке, от которой парило, я видел зрелого мощного человека, один вид которого внушал: он создан побеждать! Окончилось это спокойное время начального лета поездкою Александра Трифоновича в гости к Соколову-Микитову…

1973

• ПОСЛЕСЛОВИЕ ГОРОДСКИЕ ПОВЕСТИ ЮРИЯ ТРИФОНОВА

Опубликованные на протяжении последнего десятилетия городские повести Юрия Трифонова заметно тяготеют друг к другу. Здесь одна и та же география: улицы Москвы, окрестные дачные поселки. Одна и та же хронология: послевоенные годы, нынешние дни. Одна и та же социальная среда. Да и нравственные проблемы тоже близко соприкасаются.

А рядом с этой линией трифоновского творчества — другая, историческая (документальная повесть «Отблеск костра», роман «Нетерпение»). Но перед нами не две параллельные прямые, а две ветви дерева, питаемые единой корневой системой. Объясняя замысел книги о своем отце, активном участнике революционного движения и гражданской войны, писатель говорил: «Зачем я ворошу ее (этой жизни. — Л. Т.) страницы? Не знаю. Они волнуют меня. И не только потому, что они об отце и о людях, которых я знал, но и потому, что они о времени, когда все начиналось.

Когда начинались мы».

Вот и в городском цикле, где действуют люди шестидесятых — семидесятых годов, где все сегодняшнее, еще не успевшее остыть — разговоры, заботы, события, постоянно присутствует ощущение этого великого начала, подотчетности ему. Ибо «на каждом человеке лежит отблеск истории», ибо «ничто не исчезает бесследно».

Не случайно обе линии — как историческая, так и современная — сходятся в недавнем романе «Старик». В романе, построенном на монтаже эпизодов революции и настоящего, на перекличке времен. Такая перекличка естественна, потому что все лучшее, что было тогда, дотянулось до наших дней, стало нашим светом и воздухом.

Наверное, в идеале автор послесловия обязан «охватить» все созданное писателем. Но это не так-то просто сделать, если путь художника протянулся через три десятилетия, если сама фактура трифоновской прозы противится обзорной скороговорке. Вот почему, не вдаваясь в характеристику таких романов, как «Студенты» (1950)$_{v}$«Утоление жажды» (1963), «Нетерпение» (1973), я позволю себе сосредоточиться прежде всего на городских, московских повестях.

Тем более, что они вызвали самый широкий

читательский резонанс.

Подступы к новому циклу видны уже в рассказах шестидесятых годов («Вера и Зойка», «Был летний полдень», «В грибную осень», «Голубиная гибель» и другие). Трифонов, который еще недавно ездил «за сюжетами» в дальние края, который в «Утолении жажды» увлеченно рисовал панораму строительства туркменского канала, теперь открывает «сюжеты» в самой повседневной, обыденной жизни. От путешествия по просторам он переходит к путешествию в глубь человеческой души. Герой новеллы, которая с явьц>ш полемическим вызовом озаглавлена «Путешествие», не без удивления обнаруживает, что он почти ничего не знает о тех, кто рядом, о соседях по дому, даже о самом себе: «Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек десять, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновенье серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю».

«Какая-то», «кто-то», «чужое лицо».

Вдруг оказалось, что непознанный материк лежит не за тридевять земель, а под боком. И рассказы Трифонова — это попытка свежими глазами увидеть примелькавшееся, то, к чему привыкли и по привычке перестали замечать.

Писатель как бы сжимает круг пространства, но для того, чтобы, по его же словам, «добиться особой объемности, густоты: на небольшом плацдарме сказать как можно больше». Движение по горизонтали сменяется вертикальным бурением. Эти новые качества трифоновской прозы отчетливо проявились уже в первой повести московского цикла — «Обмен» (1969).

Есть в этой повести некая многозначительная история о том, как главный герой Виктор Георгиевич Дмитриев то ли пожалел, то ли обманул забежавшую в троллейбус собаку: «Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что водитель может завезти ее далеко и она погибнет… На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: «Выходи, выходи!» — и собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел вскочить обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него».

Эпизод явно из числа символических. Наглядная демонстрация модели поведения. Поманить и оставить ни с чем.

Ведь точно так же Дмитриев не то пожалел, не то обманул полюбившую его Таню. Целое лето

крутил роман, задыхался от наплыва чувств. Но не до безрассудства. И как только жена с дочерью вернулись из Одессы, поспешно ретировался в лоно семьи, так сказать, «успел вскочить обратно». И точно так же, воспламенясь желанием посодействовать Левке Бубрику, устроить его на работу в столице, кончил тем, что сам занял предуготовленное приятелю место.

Так кто же он такой, Виктор Георгиевич Дмитриев? Закоренелый себялюбец, прущий напролом карьерист, человек, не ведающий мук совести? Да полноте! И общественное мнение его пугает. И перед собой стыдно. Три ночи не спал, мучился, перебежав Бубрику дорогу. А сколько из-за Тани наволновался! И карьера-то ерундовая. Младший научный сотрудник, без диссертации, без головокружительных перспектив. «Ты человек не скверный, — говорит о нем дед, старый революционер. — Но и не удивительный».

Сам по себе герой повести никому не хочет зла. И попади он g руки Тани, а не Лены, все сложилось бы иначе. Ни с Бубриком не Стал бы конкурировать, ни злосчастного квартирного обмена с умирающей от рака матерью не затеял бы. И не было бы тогда всей этой нервотрепки. Но ведь выбрал он все-таки Лену. Не только потому,

что красива, а потому еще, что ловка, оборотиста: «Это было как раз то, чего не хватало ему».

Впрочем, Таня — вариант гипотетический, голубая мечта.

Лена же сама реальность. Властная, несговорчивая. Она была «частью этой жизни, частью беспощадности».

Писатель ставит своего героя не в тепличные условия гармонии душ, а под пресс все возрастающих перегрузок. В обстоятельства, экзаменующие прочность нравственных основ.

«Ей-богу, в тебе есть какой-то душевный дефект, — возмутился Дмитриев в ответ на предложение Лены съезжаться с безнадежно больной свекровью. — Какая-то недоразвитость чувств. Что-то, прости меня, ***недочеловеческое***». Именно это «недочеловеческое» и становится в «Обмене» предметом исследования.

Юрий Трифонов не отождествляет себя с кем-либо из персонажей. Даже самых симпатичных ему. Позиция автора не в гуще, а в стороне от событий. На известном удалении. Он сопоставляет, анализирует, а не поддакивает. И это — важно. Это позволяет соблюдать объективность.

Мир действующих лиц повести четко поделен пополам: Дмитриевы и Лукьяновы. Точнее

сказать: Дмитриевы против Лукьяновых. Или наоборот: Лукьяновы против Дмитриевых. Ведь всякий брак, если воспользоваться рассуждением из более поздней повести «Другая жизнь», «не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак — двоемирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда. Кто кого? Кто для чего? Кто чем?»

Страницы «Обмена» напоминают репортажи о холодной войне. Тут все ее атрибуты: разведка и контрразведка, ноты протеста, угрожающие демарши, дипломатические кризисы. Все на контрастах, острием против острия. Одни традиции против других.

Недочеловечность Лукьяновых — самоочевидная, бьющая в глаза.

С недочеловечностью Дмитриевых потруднее. Сама постановка вопроса едва ли не кощунственна. Помилуй бог, да с какой же стати? Такие уж воспитанные, скромные, интеллигентные. Ксению Федоровну «любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи по квартире и по павлиновской даче, потому что она доброжелательна, уступчива, готова прийти на помощь и ***принять участие***». Дмитриевы — это книги,

культура, порядочность, благородное неумение жить. Поневоле воскликнешь вслед за сестрой Виктора Лорой: «Не знаю, каким надо быть человеком, чтобы относиться к нашей матери без уважения». Это верно, без уважения — нельзя. Но с долей критицизма все-таки можно. И даже нужно.

Вспомним, что с первых же шагов Лены в Дмитриевском доме ее окружала если и не враждебность, то холодная корректность. Конечно, до скандалов или нотаций тут не опускались. Но вежливо изумиться, что невестка забрала лучшие чашки, что она портрет перевесила без спроса, что помойное ведро переставила, это могли. И показать, что она человек другого, чужого и чуждого, круга, тоже. Хотя при всем том Дмитриевы не прочь были поэксплуатировать практические таланты новых родственников. Пускай себе занимаются осточертевшей проблемой канализации в дачном поселке, проводят телефон, достают импортную мебель. Даже посмеивались снисходительно: «Ну что ж, не так уж плохо породниться с людьми другой породы. Впрыснуть свежую кровь. Попользоваться чужим умением».

Увы, снисходительность эта отдает барством.

И выводит она к размышлениям иного плана. Не об интеллигентности и мещанстве, а о голубой крови и плебействе. Как ни прискорбно, родичам Виктора свойственна отнюдь не демократическая претензия на избранность. Тут и любование своей неприспособленностью, и презрение к умеющим жить. «Если мы откажемся от презрения, — говорит Ксения Федоровна, — мы лишим себя последнего оружия. Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со стороны, но оно должно быть».

Только павлиновский дачный поселок вовсе не вишневый сад. И Дмитриевы не усыхающая ветвь аристократов. Даже в смысле духовной утонченности. Называл же отец Виктора, Георгий Алексеевич, своих братьев «колунами», корил их в посленэповские годы за рвачество, «за жадность, за сытую жизнь, издевался над китайскими костяшками, над вечной по выходным дням автомобильной возней… А в Козлове родные тетки голодали, мерли одна за другой, племянникам не на что было приехать в Москву…»

Так что лукьяновская кровь тоже пульсирует в организме Дмитриевых. Впору не впрыскивать ее, а выпускать.

И Лена не настолько наивна, чтобы не уло-

вить излучаемого Ксенией Федоровной и Лорой презрения. Как-никак она женщина с высшим образованием, знаток английского, составитель учебника. Ее на удочку притворной корректности не поймаешь. А посему — гонор на гонор, удар на удар. Если она мещанка, то они ханжи.

Заметим сразу, что супруга Виктора Георгиевича далеко не ангел. Но речь пока не о ней — о Дмитриевых. Об их нетерпимости, гордыне. Не приняв Лену, они и Виктора от себя отлучили. Как перебежчика, вероотступника. Нет, они готовы были впустить блудного сына обратно, но без жены. С принципом высокомерного презрения эта позиция совпадает, с человечностью — не очень.

Словом, испытание на разрыв. С обеих сторон.

И тщетны были потуги героя посредничать между двумя семействами, сближать их. Любая его затея — будь то совместное житье на даче или выезды на Рижское взморье — лишь увеличивала взаимную неприязнь. Ибо не согласия жаждали конфликтующие кланы, а подтверждения своей правоты.

По признанию Ю. Трифонова, он стремился в «Обмене» к густоте письма, к тому, «чтобы как можно более полно изобразить сложность обстоятельств, в которых живет человек», сложность

отношений. Оттого и насыщена повесть подтекстами, оттого и держится она на иносказаниях. Каждый поступок здесь — ход в позиционной борьбе, каждая реплика — фехтовальный выпад.

Роскошный торт, привезенный Лукьяновыми на дачу, — пощечина родичам зятя: вы нас унизили, но мы — выше этого.

Невинное обращение Лены к двоюродной сестре мужа: «Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?» — сплошь пропитано ядом и после дешифровки выглядит так: «Ну, как, Марина, никто на тебя по-прежнему не клюнул? Я-то уверена, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева».

В статье «Выбирать, решаться, жертвовать» писатель справедливо говорил о том, что «быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность». И далее он добавлял, что «быт — война, не знающая перемирия».

Последнее утверждение, пожалуй, чересчур категорично. Но для Трифонова оно характерно. И для повестей его московского цикла — тоже. Такое непрерывное испытание буднями совершается и в «Обмене».

И Ксения Федоровна, и Лора тяготятся бытом

как обузой. Они беспомощны в его хитросплетениях.

Лукьяновы же, напротив, впечатаны в быт. Это их поприще, их территория. Завоевательская экспансия Лены и ее клана безудержна, энергия таранна, круг вожделений необозрим. Деньги, благоустроенная квартира, престижная английская спецшкола в Утином переулке, ученая степень. Среди этих притязаний есть и естественные, понятные. Не так-то легко ютиться в одной комнате или довольствоваться скромной Дмитриевской зарплатой. Беда не в заявках на лучшее, а в средствах их реализации. В отождествлении этики с ханжеством, человечности со слюнтяйством.

Мать Виктора превращает жертвенность в культ. Она стыдится просить для себя, обременять собой.

Ее невестка возводит в достоинство не жертвенность, а пробой-ность. Умение обзавестись, устроиться — в мерило человеческой состоятельности, конкурентоспособности. В свои желания она вгрызалась, «как бульдог. Такая миловидная женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор,

пока желания — прямо у нее в зубах — не превращались в плоть. Великое свойство! Прекрасное, изумительное, решающее для жизни».

Если недочеловеческое у Дмитриевых — от непомерного и неправомерного чувства превосходства над «людьми другой породы», то у Лукьяновых — от хищничества. От фетишизации комфорта, материальных благ. Их идеалы ориентированы на потребление, приравнены к праву получать. Их активность направлена на внешнюю среду как на объект покорения. И там, где торжествует Лена, непременно оказываются оттесненные, поверженные. Тот же Левка Бубрик, та же Ксения Федоровна.

Психологически точно фиксирует Трифонов процесс медленного «олукьянивания» Виктора Георгиевича. Процесс необратимый, сводящийся к увязанию в мелочах. Герой повести словно устает от трений и раздоров. Устает и смиряется с ними: таков-де нормальный порядок вещей: «Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, что то же — у всех, и все — привыкли. И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой…»

Существование этого угомонившегося, перего-

ревшего Дмитриева инерционно, механистично. Оно приноровлено к рутине, отравлено ею. Отправившись на похороны деда, герой не упускает случая купить по дороге дефицитные консервы для жены: «Лена очень любила сайру».

Сострадание к угасающей матери заглушено треволнениями квартирной горячки. Только бы успеть съехаться, соединить квадратные метры.

Суетное как бы нависает над трагическим, становится равновеликим ему. Все мысли вертятся в замкнутом кругу мороки: «…магь, Лора, Таня, Лена, деньги, обмен». Эта морока и предопределяет программу действий, и исчерпывает ее.

Адаптация Дмитриева к лукьяновским порядкам растянута во времени. Сдача позиций проходит через многоступенчатые фазы. Первоначальный протест постепенно размывается, подтачивается разного рода житейскими соображениями. И то, о чем прежде нельзя было даже подумать, превращается в «нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри». Дело тут не просто в мягкотелости, податливости. Ольга Васильевна из «Другой жизни» тоже пыталась подчинить,

взнуздать Сергея. Тот тоже «гнулся, слабел, но какой-то стержень внутри него оставался нетронутым». У героя «Обмена» этого стержня нет. Система моральной самозащиты не срабатывает, поскольку нечего защищать.

Оттого и семейный разлад из-за предстоящего обмена, в сущности, фальшивый, мнимый. Это своего рода представление, спектакль. Роли распределены, характер игры известен, предугадать финал не представляет труда. Лена заведомо знает, что ее супруг уступит, потому и апеллирует к нему, как к сообщнику: «…она заговорила так, будто все предрешено и будто ему, Дмитриеву, тоже ясно, что все предрешено, и они понимают друг друга без слов». В свою очередь, Дмитриев тоже знает, что уступит. И, дуясь на жену, имитируя сопротивление, послушно выполняет поставленную перед ним задачу. И о маклере справляется, и перед нужными людьми лебезит, и мать уговаривает. Разница только в том, что Лена называет вещи своими именами, а Виктор — нет. Ему необходимо прикрытие, какая-нибудь благородная легенда. Наподобие той, которую он преподносит своей сестре Лоре: «Ни черта мне не нужно, абсолютно ни черта. Кроме того, чтобы нашей матери было хорошо. Она же хотела жить

со мной всегда, ты это знаешь, и если сейчас это может ей помочь...»

Повесть Юрия Трифонова написана по-деловому жестко, местами — протокольно. Однако на дне протокола светится ирония. Над фарисейскими потугами, над пирровыми победами завоевателей. Эта ирония легализует авторское отношение к происходящему. Она столь же беспощадна, сколь и горька, ибо проникнута скорбью о попранной человечности.

Изображая перипетии бесславной квартирной баталии, писатель не солидаризируется ни с одной из враждующих сторон. Действительное разрешение конфликта возможно с иных позиций. «Презрение— это глупость, — проницательно замечает дед Дмитриева. — Не нужно никого презирать». Слова старика обращены ко всем — и к Виктору, и к Лене, и к их родственникам. Речь не о всепрощении, не о поголовной амнистии. Речь об изживании эгоизма в любых его обличьях. Изживании болезненном, мучительном, требующем сосредоточенного самоконтроля, самовоспитания. Но, как резюмирует Трифонов в статье «Выбирать, решаться, жертвовать», «другого выхода нет».

Критика уже выстраивала переходные мо-

сты от «Обмена» к следующей работе прозаика — повести «Предварительные итоги». «Герой «Предварительных итогов», — писал Л. Аннинский, — это Дмитриев, ***уже предавший*** свою мать, и гипертонический криз, отметивший это предательство, у героя «Итогов» произошел где-то накануне действия. События произведения разыгрываются не до, а после обмена. После вселения в «кооперативный храм в шестьдесят два метра жилой площади, не считая кладовки».

Геннадий Сергеевич, переводчик по профессии, почти на десять лет старше своего литературного предшественника. Возрастная разница напоминает о себе и подглазными мешками, и участившимися подскоками давления, и повышенной мнительностью.

На Дмитриева, правда, изредка, но накатывали приливы оптимизма: «Он думал о том, что еще не все потеряно, что тридцать семь — это не сорок семь и не пятьдесят семь и он еще может кое-чего добиться». Меланхолия Геннадия Сергеевича беспросветна. Его давно уже не посещает знобящее чувство, что «все впереди, все еще случится, произойдет». Рефрен повести — жалобы этого стареющего, задерганного неприятностями мужчины на духоту, на то, что не хватает дыхания,

кислорода. Жалобы в стиле и тональности чеховского профессора Серебрякова.

Сходство двух разделенных временем образов знаменательно. Те же «комплексы», те же причитания. Оба героя изводят близких претензиями, ропотом на черствость, неблагодарность. Оба в панике из-за своего здоровья, из-за малейших хворей. Хотя сердце что у того, что у другого отменное. Выводы медицины едва ли не тождественны. «Вы писали, — говорит доктор Астров жене Серебрякова Елене Андреевне, — что он очень болен, ревматизм и еще что-то, а, оказывается, он здоровехонек». Столь же здоровехонек и Геннадий Сергеевич: «С таким сердцем, как у Геннадия, можно прожить сто лет».

Пьеса Чехова «Дядя Ваня» упомянута мной не случайно. Не потому лишь, что Рита называет своего супруга профессором Серебряковым, «пустым местом», упрекает в творческой немощи. Есть и другие поводы для сопоставления. Так, Елена Андреевна восклицает в пьесе: «…мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг…»

Эти слова вполне могут быть спроецированы и на «Предварительные итоги». Фактура повести, ее событийная плоть — именно дрязги, интриги,

взаимное препирательство.

Геннадий Сергеевич то вслух, то про себя негодует на жену, сына, Гартвига, Ларису. Он презирает их, они — его. Ведь презрение у Трифонова, как мы помним, всегда заразительно.

Быт, который плотно обступает главу семьи, неприятен, антипатичен ему. Это быт, управляемый «причудами полусладкой жизни», капризами то ли интеллектуальной моды, то ли модой на интеллектуальность. Сегодня общей манией становится музыка, завтра — иконы, послезавтра — социология. И что ни поветрие, то новый культ. Со всеми его атрибутами: от экзальтации, притязаний на избранность до отлучения еретиков. Рита расходует весь свой пыл на паломничество то по концертам, то по монастырям. Но сами эти паломничества — род бегства от обыденности, неприкаянности, заполнение душевного вакуума чем-то внешним, подвернувшимся под руку: «В общем, тут было не увлечение, а страсть и даже, быть может, болезнь. Но в основе всего лежало не подлинное чувство, а ложное, суетное».

Отсвет неподлинности, ненатуральности падает на весь уклад этого семейства. Впрочем, и сама семья к моменту повествования тоже стала фикцией. Вынужденным сообществом трех эгоистов.

Без любви, без взаимной привязанности.

Столь же имитационна и духовная жизнь персонажей. Геннадий Сергеевич приговорен к давно опостылевшим ему переводам. Рита больше изображает, чем испытывает влечение к религии. Упоение колокольными звонами, благоговение перед старыми церквушками, схоластические словопрения — все это чересчур демонстративно, кричаще, саморекламно. Юный Кирилл компенсирует отсутствие истинной цели погоней за удовольствиями. И ради очередных прихотей не брезгует ни спекуляцией, ни вымогательством.

И поскольку господствует этакое «разжижение духа», вакантное место поводырей и наставников захватывают искусители типа Ларисы и Гартвига. Они по-шамански завораживают благодарно внемлющую паству своей раскованностью, удачливостью, причастностью к тайным пружинам успеха.

Лариса в повести Трифонова — это женщина без предрассудков и сантиментов. «Идеальные отношения с мужем, идеальные — со свекровью, идеальные — на работе. При этом мужа рогатит почем зря, свекровь глубочайшим образом презирает, а на работе устраивается так, что ни фига

не делает…»

Гартвиг — другая разновидность потребительства. Но не вульгарного, а рафинированного, утонченно-интеллектуального. Так сказать, смесь бизнесменства со снобизмом. Его страсть не комфорт или богатство, а дегустация ощущений, коллекционирование информации.

Казалось бы, крайности. Однако из разряда тех, что сходятся. И точки соприкосновения — вседозволенность, насмешка над нравственными запретами. Оба приобретают, поглощают, пользуются, не платя по счету, не принимая на себя никаких встречных обязательств.

И соблазнительна здесь, по крайней мере для Риты, иллюзия внутренней свободы, нестесненного, полного самовыражения. Иллюзия столь же пагубная, сколь и неотразимая.

Конечно, Геннадий Сергеевич прав, возмущаясь псевдорелигиозностью супруги и простодушной наглостью сына, прав, обрушиваясь на тщеславие, подражательность, бесплодное мудрствование. Прав, но его менторство уныло, пресно. Да и поступает он наперекор своим же проповедям. И Кирилла, докатившегося да уголовщины, выручает. И влиятельному Рафику бьет челом. Временами герой повести чувствует

себя шахматистом, угодившим в цугцванг. «Все ходы вынужденные», не по своей охоте, а под диктовку обстоятельств.

Отсюда сквозящая в исповеди переводчика обида. Столько жертв, унижений, столько пощечин самолюбию. И никакого вознаграждения в ответ. Никакой «близости близких». Напротив, подчеркнутое отстранение, язвительность, удары наотмашь.

Произведение Трифонова являет собой сложную систему индивидуальных линз, субъективных отражений. Не только Геннадий Сергеевич судит других — его тоже судят, разбирают по косточкам. Он такой же объект анализа, что и его оппоненты. Гартвиг набрасывает социологический портрет героя, Лариса — медицинский, жена и сын — нравственно-психологический.

«Нет, ты не можешь считаться в полном смысле интеллигентом!» — чеканит Рита.

«А ты чем лучше? — парирует нотации Кирилл. — Производишь какую-то муру, а твоя совесть молчит?»

И вот — предварительные итоги. Растраченный на халтуру поэтический дар. Кабальная зависимость от меценатов и заказчиков. Развалившаяся семья. Неврастения: «Всю жизнь делал не то, что

хотелось, а то, что делалось».

Исповедь Геннадия Сергеевича — попытка понять, как же это случилось, найти ответчиков. Строгий счет предъявляется и Гарт-вигу, который «внес в наш дом… свой цинизм, свою манеру все переоценивать, переворачивать, ничем не дорожить». И Ларисе, распространявшей ядовитые семена бесцеремонности. И Рите с Кириллом: не ради них ли изнурение мозга, копошение в подстрочниках, переводческая каторга. Исповедь превращается в иск потерпевшего, дознание, сбор компрометирующих фактов.

Вожделенный миг торжества — уличение Гарт-вига в полуграмотности. Еще бы, кандидат наук, четыре языка знает, а «Героя нашего времени» не читал, думает, что Печорин — это из Тургенева.

Или — посрамление Риты. Кликушествует о доброте, сострадании, смирении. А на поверку — что? Сплошное надувательство. За словесами о любви к ближнему «равнодушие, бегство из дому, книжное тщеславие. Муж заброшен, сын растет как трава».

Но это — требовательность на экспорт. Тут Геннадий Сергеевич проницателен, зорок, въедлив. Тут у него острый нюх на ханжество, на фальшь. По отношению же к собственной персоне — снис-

ходи’ тельность, ласковое поглаживание. Вместо прокурорского амплуа —< адвокатское. Вместо атаки — оборона. Амнистирование слабостей, выпячивание права на заурядность, обыкновенность: «Профессор Серебряков тоже человек. Зачем уж так презирать его?., нельзя же корить людей, что они не Львы Толстые, не Спенсеры».

Только нравственная норма в произведениях Юрия Трифонова одна. Одна — для Дмитриевых и Лукьяновых. Одна и для персонажей «Предварительных итогов».

И по этой норме Геннадий Сергеевич ничуть не выше тех, кого он презирает. Он не над ними, а в их числе, среди них. Такое же, как у Гартвига, полузнайство («...знания мои приблизительны, интеллигентность показная»). Такая же, как у Риты, двойная бухгалтерия морали. Такой же, как у Кирилла, цинизм. А что же, как не цинизм, сам подход героя к труду? Что, как не надругательство над призванием, над художнической совестью? Этакое разудалое литературное браконьерство, беззастенчивая готовность переводить что попало, подхихикиванье над читателем. И при подобной-то профанации поэтического таланта, при таком сознательном осквернении святынь скорбеть, что сын не уважает!

Различия между Геннадием Сергеевичем и его домочадцами количественные, а не качественные. Не в принципах, а в оттенках. И когда все трое открещиваются от заболевшей домработницы Нюры, выталкивают ее, ставшую обузой, за порог, то думают и действуют в унисон. А разыгравшаяся при этом семейная буря — она в стакане воды. Из-за того, как себя обелить, выставить в более выгодном свете: «И я, лежа в кабинете… думал о том, что у нас есть некоторое оправдание: мы люди больные. Себя я считал менее виновным, ибо я болен серьезней. Нельзя же сравнивать холецистит и болезнь сердца. С холециститом живут всю жизнь, а от сердца умирают в молодом возрасте. Так что во всем этом предательстве — да, именно небольшом, но явном предательстве, и не надо хитрить — Ритина доля вины побольше моей. И вообще она ближе к ней, чем я».

И если уж выявлять в повести Трифонова полюсы, то это не Геннадий Сергеевич и Гартвиг, а Нюра и прочие. В первом случае — конкуренция, соперничество, склока, во втором — действительное нравственные антитезы: бескорыстие и расчет, щедрая самоотдача и стремление получать, пользоваться.

Разумеется, Нюра не идеал. Да и не может быть идеалом скудость запросов, безропотность, безответность. Но Нюра в «Предварительных итогах» — урок. Урок искренней, непоказной отзывчивости. Воплощение той «близости близких», без которой изнывают ее просвещенные хозяева.

Только вот какая вещь. Взывая к близости близких, Геннадий Сергеевич швыряет камень в чужой огород, метит в чужую черствость. Он требует, чтобы на него изливалось миро любви и обожания. Нюра же не эгоистична. Она о других заботится, лишь бы им было хорошо. И, предавая домработницу, все трое не ей, а себе приговор выносят. Собственноручно расписываются в фарисействе, в отказе от своих же деклараций.

Да, Геннадий Сергеевич нервничает, закатывает истерики. Да, тычет перстом в виновных. Однако виноват-то он сам. И перед Кириллом, который унаследовал его черты. И перед литературой. И перед собой. Ведь не такие итоги он проектировал, не такой финиш. Задумано было иначе — ярче, праздничнее. Только планы эти год за годом сокращались, таяли: «…Одно хватал, что попроще, а другое— откладывал па потом, на когда-нибудь. И то, что откладывалось, постепенно исчезало куда-то, вытекало, как теплый

воздух из дома… А теперь уж некогда. Времени не осталось».

В предыдущей повести Трифонова произошел обмен.

В «Предварительных итогах» — размен. Нечто более дробное и мелкое. Размен идеалов — пусть неясных, неотчетливых — на микроскопические, сиюминутные приобретения.

И теперь, после этого тотального размена — затянувшаяся агония. Инерция претензий и обид. Мысли об исчерпанности, о смерти. Однако организм неудачливого литератора еще крепок, для самоубийства недостает ни воли, ни желания. Слишком велика жалость к себе, любовь к своему существу.

Так что остается тянуть лямку. Остается единственно возможное — нескончаемая маета. Всякая иная развязка не отвечала бы правде образа. «Можно было бы завершить повествование смертью, — говорил однажды писатель, — но это был бы все-таки какой-то рывок из образа жизни, своего рода катарсис, очищение. Между тем замыслу более отвечала жизнь без катарсиса. Вот почему Геннадию Сергеевичу суждено было несколько задержаться на этом свете».

Жизнь без катарсиса не только бремя, но и кара.

Возмездие за цепочку компромиссов.

Писатель чуток к оттенкам и вариантам бездуховности, внимателен в анализе ее растлевающего воздействия на личность. В его творчестве неизменно звучит мотив тревоги, предупреждения, бдительности. Мотив, выводящий читателя к другим, достойным человека идейным и нравственным ценностям.

Опубликованная в 1971 году повесть «Долгое прощание» несла с себе многие привычные (ставшие привычными!) проблемы московского цикла. Но только ими она не исчерпывалась. Традиционные черты вступали здесь во взаимодействие с новыми.

И «Обмен» и «Предварительные итоги» были повестями в строгом жанровом смысле. Они компактны, лаконичны, сконцентрированы вокруг одного или нескольких событий.

«Долгое прощание» тоже повесть. Но повесть, которая словно бы стучится в двери романа. Она шире по кругу действующих лиц, разветвленнее — по сюжетным ходам, длительнее — по хронологической протяженности.

Если раньше Трифонов лишь изредка отступал от современности ради тех или иных биографических подробностей, то теперь — обратные

пропорции. Современности принадлежит роль оправы: вступление и эпилог. А основной пласт — минувшее, первые послевоенные годы.

Роман, как известно, жанр эпический. Жанр, который стремится охватить время в его целостности, слитности. Тоска по большому эпосу разлита и в «Долгом прощании». В противовес идее фрагментарности, дробности Гриша Ребров выдвигает идею синтеза. «А мы только и делаем, — сокрушается он, — что рассматриваем в лупу. Каждая минута, секунда — тысячекратное увеличение. А нужно все время видеть — годы, целое…» О том же самом толкует и режиссер Сергей Леонидович: «Понимаете ли, история страны — это многожильный провод, и когда мы вырываем одну жилу… Нет, так не годится! Правда во времени — это слитность, все вместе… Ах, если бы изобразить на сцене это течение времени, несущее всех, все!»

В прежних своих повестях Трифонов был увлечен прежде всего диалектикой человека и бытовых обстоятельств. Обмены, размены, плен мелочей. Интерес к этой диалектике не угас и в «Долгом прощании». Сложнее стал взгляд на обстоятельства, авторский подход к ним.

Повседневность словно поставлена здесь под

ток истории, включена в более широкую систему координат. И когда бездарный драматург Смолянов объясняет затяжные неудачи Гриши Реброва отсутствием почвы, тот яростно возражает: «Какая почва? О чем речь? Черноземы? Подзолы? Фекалии? Моя почва — это опыт истории, все то, чем Россия перестрадала!» И далее следует пространный экскурс в родословную, описание генеалогического древа: прадед из крепостных, дед замешан в студенческих беспорядках, отец участвовал в первой мировой и гражданской войнах.

Герой Трифонова воспринимает себя как полномочного представителя своего рода на земле, как посланца от ушедших в современность. Восприятие, не свойственное ни Дмитриеву, ни Геннадию Сергеевичу. Те живут лишь нынешним днем, соизмеряют себя с моментом, шансом, случаем; этот — с поколениями. Настоящее для него не начало отсчета, а звено в цепи эволюции. Не потому ли Реброва неудержимо притягивает история, особенно эпопея народовольцев, драматическая судьба Клеточникова и Прыжова.

Правда, ощущение корневой связи человека с прошлым скорее названо, обозначено, чем полнокровно реализовано в повести. Да и принадлежит

оно, как мне кажется, преимущественно самому автору. Вспомним, что почти одновременно с «Долгим прощанием» шла работа над романом «Нетерпение» — о народовольцах, о семидесятых годах минувшего века. Вспомним, что Сергей из следующей повести московского цикла «Другая жизнь» будет настойчиво бурить толщу эпох, чтобы, вглядываясь в облик предков, разгадать себя, расшифровать свой генетический код. Вспомним, что и в последнем своем романе «Старик» писатель перемежает два хронологических пласта, просвечивая рентгеновскими лучами революции наши мирные будни.

Но все это — позже. А пока — прикидка, зондаж новой проблематики, лабораторные пробы.

«Предварительные итоги» были построены как исповедь Геннадия Сергеевича, его монолог.

Стиль «Долгого прощания» полифоничен. Его основа — сочетание объективного повествования с несобственно-прямой речью персонажей. И хотя автор и не выходит из-за кулис на сцену, его закулисное присутствие весьма заметно. И сказывается оно во властной режиссуре, в откровенной демонстрации программных творческих установок.

Мы слышим отзвук излюбленных мыслей

писателя то в рассуждениях Гриши Реброва об истории, то в патетических призывах Сергея Леонидовича: «Но ведь боже мой, друзья мои золотые, научитесь сначала писать о двухэтажных домишках, о бараках, о комнатках в цветочных обоях, где живут Петры Ивановичи и Марьи Ивановны, а потом уж кидайтесь па сорок пять этажей!» В призывах, которые чуть ли не текстуально повторяют критические пассажи самого Трифонова. Из статьи «Возвращение к «prosus», например: «Чехов однажды сказал: «Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все». Мне кажется, в этой фразе — ответ на проблему сюжета. Писать о простых вещах».

Наконец, мы угадываем режиссерский нажим в неожиданных сюжетных поворотах, в некоторой подгонке психологических характеристик под принцип непредвзятости. Скажем, едва мы успеваем увидеть в ребровской теще Ирине Игнатьевне недалекую, вздорную женщину, семейного деспота, как раздается предостерегающее: «А все же вы на нее не сердитесь, ладно? Знаете, какая Ирина была красивая! Сколько у нее было предложений в двадцать третьем году! Она была просто замечательная. Она же балери-

на… Вот чего не отнимешь: она семье предана. Ведь вся Иркина молодость, все ее надежды, таланты какие-никакие, но что-то ведь было — все в землю ушло… Ой, такая она глупая, наивная, если рассказать…»

То же самое — и с театральным завлитом Маревиным. Надменность, апломб, барственное пренебрежение к немаститым, непризнанным. Но попробуйте возмутиться! Не тут-то было: «У Бориса Мироновича — вы знаете? — большое горе. Жену похоронил. Он ведь один, детей нет, родных никого…»

Во всем этом еще нет действительной объективности. Есть механическое сложение взглядов с одной стороны и с другой стороны. Есть трифоновская лаборатория, трифоновская предусмотрительность, трифоновская антипатия к однозначности.

Повторю еще раз, что для новой повести характерно сочетание традиционного и нетрадиционного. Сочетание, увы, не всегда органичное, приводящее порой к рыхлости структуры. Но это уж издержки поиска, разведки, стремления преодолеть себя.

Традиционен в «Долгом прощании», разумеется, быт. Быт, выписанный с обычной для

прозаика тщательностью. С филигранной отделкой деталей и психологических мизансцен. Традиционен образ матери Ляли Телепневой — Ирины Игнатьевны, неутомимой в плетении интриг, расстановке силков и ловушек. Традиционна фигура драматурга Смолянова, как бы пополняющая собой лукьяновскую галерею. Такая же мертвая хватка, такой же нюх на добычу. Разве что камуфляж иной: работа под простачка, под наивного провинциала, якобы оробевшего в столице. Смолянов укрепляет тылы без шума, но капитально. Он из породы людей, которым все удается «по-тихо-му, дела у них идут, денежки текут, женщины к ним льнут, дуры глупые. Талант! Самый драгоценный: жизнь устраивать, обставлять, как комнату мебелью».

Герои прежних повестей Трифонова шли на штурм привилегий, тешили себя приобщением к моде. Ляля Телепнева и Гриша Ребров мечтают о других ценностях жизни. Они знают, что «богатство не дает счастья. Надо еще что-то, главное». Это главное для одной — театр, сцена, для другого — писательство, воскрешение забытых страниц минувшего. Имитации духовности в «Долгом прощании» противопоставлена духовность естественная, непоказная. Ребров искренен в своем

увлечении «историческими завитушками», биографиями Прыжова и Клеточникова. Искренна в своих чувствах и Ляля. Ее талант не только актерский, но и чисто человеческий. Талант сострадания, сопереживания. Потому она и со своим невезучим Гришей нянчится, и обижаемого недругами Смолянова опекает.

Казалось бы, на этот раз писатель нашел антитезу лукьяновщи-не. Мало кто из его персонажей удостаивается таких панегириков; как Гриша Ребров: «Прекрасный человек! Редких качеств, настоящий интеллигент — отлично знает историю, литературу, польский язык выучил самостоятельно, чтоб читать газеты».

Оба они, и Ляля и ее муж, — люди самолюбивые, гордые^ легко ранимые. Оба хотят жить в согласии с сердцем и совестью. Из мытарств агента и ангела-хранителя народовольцев Клеточникова Ребров извлекает для себя обязывающую нравственную сентенцию: «...история Николая Васильевича была примером того, как следует жить, не заботясь о великих пустяках жизни, не думая о смерти, о бессмертии...» Сентенцию с привкусом стоицизма, вызова суете. Отсюда неоднократно повторяющийся в повести рефрен: «...человеку для счастья нужно столько же сча-

стья, сколько и несчастья».

Хотя невзгоды, несчастья — удел Реброва. *У* Ляли же, напротив, — полоса везения. Триумф в театре, гастроли, интервью, слава. И если что-то мешает наслаждаться гармонией, так это страдания близких. Болезнь отца, истеричность матери, неприкаянность мужа.

И вот при таких-то душевных козырях, при благородстве порывов — крах в любви, крах творческих замыслов, ощущение иллюзорности собственного существования.

Конечно, проще всего возгласить привычное: среда, мол, заела. Тем более, что она и впрямь ест поедом. Чего стоит одна Ирина Игнатьевна, считающая своего зятя нахлебником, эксплуататором, человеком на содержании. А издательские препоны перед ребровскими историческими штудиями? А внезапно открывшаяся правда отношений Ляли со Смоляновым? А тяжба с соседом из-за комнаты? А безденежье?

Но среда средой, а весомее все-таки факторы личностные.

Да, Гриша Ребров — интеллигент. Интеллигент в том смысле, что книжки читает, музыку любит, рисует замечательно. В том смысле, что философствует, рефлектирует.

Однако логика психологического анализа далеко не совпадает со щедро расточаемыми в адрес персонажа комплиментами. Более того, работает против них, корректирует, опровергает.

На словах Гриша Ребров признает, что «нельзя ненавидеть женщину, родившую другую женщину, — ту, без которой нет жизни. Это невозможно, ведь они одно целое, непрерывное». Но ведь, вопреки этому умозрительному соображению, ненавидит. Ненавидит свою тещу Ирину Игнатьевну до исступления, до бешенства.

Или — другое. Болезненное самолюбие не позволяет герою повести опуститься до слежки за женой, до сцен ревности. Но только до слежки явной, открытой. Внутренне же он весь нацелен на выведывание, на уличение. И когда Ляля возвращалась с гастролей, с первых же минут встречи приступал к исследованию «самых малых изменений, происшедших за дни разлуки в ее привычках, голосе, здоровье, отношении к нему».

Доброта, отзывчивость, великодушие — все эти свойства истинной интеллигентности словно бы вытеснены за рамки повести, ушли за кадр. А в кадре — раздражительность, гордыня, мучительное самоистязание. И такая при этом

сосредоточенность на себе, на нюансах своей боли, что атрофируется восприимчивость к чужой.

Формально Гриша Ребров составляет оппозицию Смолянову. Оппозицию его серому ремесленничеству, торгашескому нахрапу. Ах, сколько тут обличительного пыла, сарказма, сколько иронии интеллектуала над выскочкой! Только противостояние это призрачное. И временами в облике антиподов проступают черты близнецов. Ведь муж Ляли, подобно ее любовнику, тоже пьески кропает. Такие же конъюнктурные, на потребу минуте — о молодежи, о строительстве университета. С таким же прицелом на немедленную окупаемость. И оскорбляется даже: «Почему не берут? Неужто настолько плох? хуже всего остального, даже какой-то смоляновской чепухи?»

А как же Клеточников? Как сочетаются тирады о совести с заведомой халтурой, самопослаблениями? Да никак. Одно дело — теория, романтические воспарения, томление духа, а другое — практика. В том и беда, что ребровские архивные разыскания не согреты высокой идеей, не пронизаны, говоря торжественным слогом, мыслью о служении народу, обществу. Герой Трифонова не сжигает себя на костре истории, а

с безопасной дистанции наблюдает за пламенем.

Пример Клеточникова загадочно мерцает сквозь напластования лет, смоляновский же — рядом, под руками. Доступный самоочевидный, сулящий скорый взлет с нынешней нулевой отметки. Уж лучше синица в руках, чем журавль в небе, «лучше так, чем без движения. Хотя противно».

Словом, смоляновская потенция не чужда герою «Долгого прощания». И она разрастается как раковая опухоль. Толкает то ли на соперничество, то ли на сотрудничество со своим антагонистом. Вплоть до искушения соавторством, соединением усилий.

Так подготавливает писатель неотвратимую финальную метаморфозу. Перевоплощение патентованного мученика в процветающего сценариста. И вновь обмен. Теперь уже ролями со Смоляковым. Один захирел, погрузился на дно, другой вынырнул на поверхность.

Иначе не могло и быть. И не столько привходящие обстоятельства тому виной, сколько внутренняя червоточина, эта пресловутая смоляновская потенция.

Ляля по доброте сердца всегда жалела мужа. За слабость, бесхарактерность, неприспособлен-

ность.

Взгляд Трифонова строже, суровее, ибо бесхарактерность способна переродиться в беспринципность, подвести к предательству.

Трактовка образа Реброва в повести достаточно убедительна. Сложнее — с Лялей.

Ляля, какой она предстает на страницах «Долгого прощания», — натура отзывчивая, доверчивая, увлекающаяся. Ее призвание — врачевать душевные раны, спасать, выхаживать. Ее ошибки — это «ошибки чувств, но не ошибки расчетов». В Лялином романе со Смоляковым нет даже намека на любовь. Все тут замешано на милосердии, опеке. Ведь над провинциальным драматургом «злошутни-чают» актеры, его высмеивают, третируют. А у него столько горя: дочь — калека, жена — шизофреничка. И то, что чувство героини бескорыстно, доказывает ее бесповоротный разрыв с любовником. Разрыв, за которым не страх перед молвой, а горькое прозрение. Уверенность, что обманулась, приняла хищника за жертву, что Николай Демьянович может смести с дороги кого угодно. «Любого, если понадобится. Боба уже удавил, теперь за Сергеем Леонидовичем очередь — я же вижу…» И не из выгоды, а наперекор ей вступается Ляля за впавшего в немилость режис-

сера Сергея Леонидовича. Пошла против течения, за что и поплатилась карьерой.

Вот почему мне трудно согласиться с нотками скептицизма, возникающими под занавес. С жалким Лялиным признанием, что ее связь со Смоляновым — из необходимости «как-то себя устроить». Тут больше самооговора, чем самораскрытия. Такое признание в духе неожиданных трифоновских концовок, но с правдой характера оно все-таки не в ладах.

В «Долгом прощании», как и раньше, писатель сосредоточивается на изображении человеческой раздвоенности. Но через всю повесть проходит мечта о нравственной цельности, тоска по ней. Трифонов неустанно сверяет поступки своих персонажей с идеалом. Не зря над Ребровым нависает тень Клеточникова, а драматург Смолянов с беспокойством оглядывается на великих. И реплики Николая Демьяновича о том, что он-де человек «маленький, незаметный», что никакой он не Шекспир, не защищают, а пригвождают его. Потому что за показным самоуничижением — вымогательство скидок, послаблений, занижение этических норм. А там, где занижение, там неизбежны распад личности, ее банкротство.

Следующая повесть цикла, «Другая жизнь», —

как бы отпочковывается от предыдущей. Слишком уж близки характеристики Сергея и Гриши Реброва. Оба разносторонне талантливы. Оба влюблены в историю. Один увлечен народовольцами, второй — периодом Февральской революции, секретами царской охранки. Оба с жадностью вглядываются в свою родословную, восстанавливают, воссоздают ее. Ребров — начиная от прадеда-крепостного, Сергей — с «беглых крестьян и раскольников, от которых тянулась ветвь *к* пензенскому попу-расстриге, а от него к саратовским поселенцам, жившим коммуной, и к учителю в туринской болотной глуши, давшему жизнь будущему петербургскому студенту, жаждавшему перемен и справедливости».

Впрочем, «Другая жизнь» прорастает из всего городского цикла. Есть в этой повести персонажи, восходящие к Лене Лукьяновой, Гартвигу, Ларисе, Дмитриевской сестре Лоре. Есть тут и «фирменные» трифоновские дилеммы: эгоизм и альтруизм, отчуждение и участливость, есть и перекличка ситуаций, все та же драматизация суеты, те же коварные омуты быта, изнурительные войны «из-за пустого, из-за химеры какой-то». Войны ничтожные, даже постыдные, но в своем разгаре воспринимавшиеся всерьез, с убежден-

ностью, что от их исхода «зависит жизнь».

И есть, наконец, преемственность в самом моделировании конфликта. От ложной идиллии к ее разрушению. От опьянения к похмелью. Вспомним, что Дмитриев на первых порах боготворил свою Лену, что Геннадий Сергеевич был без ума от Риты. А дальше — увеличение редкой облачности до сплошной, смена слабых подземных толчков грозными, сотрясающими. Та же механика и в «Другой жизни»: «Вначале все было восхитительно, но затем обнаружились неудобства». И закружилось колесо: его родственники, ее родственники, претензии, демарши, «убеги» из дому.

Однако, вбирая притоки с того же бассейна, новая повесть течет по самостоятельному руслу. И элементы сходства рельефнее оттеняют различия.

Персонажи предыдущих произведений, особенно Дмитриев и Геннадий Сергеевич, жили в постоянной готовности к капитуляции. Они кипятились, огрызались, вели арьергардные бои, но рано или поздно вывешивали белый флаг. Не только по принуждению, но и в надежде получить мзду за предательство.

Сергей Афанасьевич Троицкий — человек

иного склада. Он покладист, но не бесхребетен. Уступчив, по не за счет принципов. Им движет не беспокойство о конкретной, осязаемой выгоде, а страсть к истине, магнетическая власть иногда туманных, смутных догадок и озарений. Логика поведения героя подчас озадачивает окружающих. Все эти метания, перемены диссертационных тем, конфликты с руководством института. Конфликты без шансов на выигрыш, что называется, себе в убыток. А ведь будь он посговорчивее, столкуйся со всемогущими Климуком и Кисловским, все сложилось бы наилучшим образом. И тогда бы он «прекрасно жил, работал, шутил, катался бы на лыжах до глубокой старости и двигался по лестнице вверх».

Другой вариант, другая жизнь маячат перед историком как искушение, как альтернатива. Вариант, уже апробированный прежде Гришей Ребровым. Отречение ради самоустройства.

Только Сергей не Ребров. Обменные комбинации не в его натуре. Как замечает Ольга Васильевна, «он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось».

Гришины экскурсы в родословную в общем-то мало объясняли его характер. Между славными деяниями предшественников и бесславным про-

зябанием потомка существовал вакуум, прочерк, пробел. В новой повести невод, закинутый в прошлое, приносит больший улов. Становится явным «что-то не истребимое ничем, ни рубкой, ни поркой, ни столетиями, заложенное в генетическом стволе», некий общеродовой ген мятежности. Как в предках Сергея, так и в нем самом «клокотало и пенилось ***несогласие***».

В психологическом портрете персонажа сквозит сходство с матерью — участницей гражданской войны, вершительницей истории. Та же спартанская закалка, тот же аскетизм, то же — как не вспомнить пуританские нормы революции — отвращение к стяжательству, карьеризму, комчванству. Недаром Сергей безоговорочно порывает со своим шефом — обюрократившимся, заважничавшим Климуком. Подоплека их столкновения на даче глубже формального повода. «Я вдруг догадался, что передо мною торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое, и вот вся сделка рушилась».

Мы еще увидим, что позиции этого героя присущи свои слабости. Но ей присущи также честность, искренность, благородство — достоинства, которых нет ни у Дмитриева, ни у Геннадия

Сергеевича.

В свою очередь, Ольга Васильевна тоже «не совпадает» с Леной Лукьяновой. Ни по складу души, ни по сути идеалов. Лена обуреваема манией успеха, завистью к избранным, снедаема честолюбием. Героиня «Другой жизни» не подвержена мукам тщеславия. Она взирает на своего мужа, как на большого ребенка, которого надлежит «вести… за руку», ограждать от ушибов и травм, от заблуждений и стрессовых перегрузок.

Увы, все это добродетельное попечительство идет прахом. Ни семейного тепла Ольга Васильевна не сберегла, ни своего Сергея.

Первые же строки текста задают и направление и тональность исследования. Постижение случившегося через психологический анализ, через самоанализ. В несобственно-прямой речи овдовевшей женщины слышится властное самоповеление, категорический императив; «…думай, думай, старайся понять!., должен быть смысл, должны быть виновники, всегда виноваты близкие, жить дальше невозможно, умереть самой. Вот только узнать: в чем она виновата?»

Процесс повествования развивается и как поиск виновных, и как определение вины. Досье Ольги Васильевны разбухает от улик и разоб-

лачительных данных. Самые неопровержимые собраны против Климука и Кисловского. Это они выживали Сергея из института, травили, шантажировали. Это они хотели сделать его пешкой в своей нечистой игре.

Трифонов обычно крайне осторожен в выводах и приговорах. В интервью «Вообразить бесконечность» он говорил: «Речь не о прощении. Просто я, может быть, не сужу слишком строго, точнее, не хочу выносить приговора, который «обжалованию не подлежит».

Если это и принцип трифоновской прозы, то принцип все-таки не универсальный. Построенная на полутонах, она не исчерпывается ими, сдержанная в оценках, она не избегает и безоговорочных выводов.

Когда-то писатель подчеркивал, что в «Обмене» он осуждает «не Лену, а некоторые качества Лены». Такая формулировка едва ли применима к Климуку.

Климук в «Другой жизни», как и Кандауров в «Старике», — это хищник современной формации. Эрудированный, деловитый и безошибочно ориентирующийся в конъюнктуре, великолепно владеющий оружием интриг. Его «умение жить» социально опасно, поскольку оно свобод-

но от нравственных обязательств, поскольку оно превращает идеи, принципы, убеждения в разменную монету конкурентной борьбы.

Где уж Сергею с его старомодным рыцарством устоять перед этой искусной дипломатией, перед тактикой тайных подкопов. Ведь даже хитромудрый Кисловский и тот был повержен в нокаут своим вчерашним союзником. Вина Климука не вызывает сомнения. Состав преступления налицо.

А Ольга Васильевна? Так ли уж непререкаемы ее прокурорские полномочия? Да, она любила Сергея, мнила себя его защитником, ангелом-хранителем. Но она же и предъявляла на него собственнические права, добивалась послушания, наставляла, изводила ревностью. Только вот вопрос: понимала ли она при этом своего мужа, всегда ли понимала? Вопрос, который вторгается теперь в ночные думы героини, в ее исповедь.

Мечта о понимании — фокус линзы, смысловое ядро произведения: «Мы удивляемся: отчего не понимаем друг друга? отчего не понимают нас? Все зло отсюда, кажется нам. О, если бы нас понимали! Не было бы ссор, войн…»

Самое название повести двупланово. Не только намек на возможный вариант, поворот судьбы,

но и сигнал предупреждения: осторожно, рядом другая жизнь, другое существо со своими внутренними законами, со своей неповторимой индивидуальной структурой.

И для Ольги Васильевны, и для Сергея непонимание — «главная мука». Оба они истерзаны взаимной глухотой, несовпадением боли. Оба жаждут достучаться, докричаться друг до друга, настроиться на одну волну.

Символично, что в своей лаборатории Ольга Васильевна изобретает биологический стимулятор совместимости. Символично, что и Сергей пытается обнаружить переходящие от поколения к поколению стабильные, «неисчезающие элементы» психики.

В сущности обе задачи — из разряда взаимодополняющих. Нельзя понять другого, не поняв себя. Нельзя преодолеть барьер несовместимости, подавить механизм отторжения, если не разгадана тайна личности.

Небеса теории опрокинуты Трифоновым на грешную почву быта. Эксперимент, начатый в лаборатории, продолжен в реальном обиходе. На самих экспериментаторах. Отвлеченные формулы примеряются к себе, к сослуживцам, к родственникам. Умозрительно Ольга Васильевна

жалела и ценила свою свекровь. Она жалела и ценила бы ее еще больше, если бы старуха жила отдельно, где-нибудь вдалеке. Но здесь в этой квартирной «тесноте и гуще не было места жалости», здесь платонические симпатии разбивались о раздражение, о соперничество.

Писатель зорко подмечает диссонансы взглядов и чувств своих персонажей, неадекватность реакций. В том цельном, двуедином организме, который был «их жизнью», он с добросовестностью диагноста фиксирует перебои, аритмию, одышку. Перебои, которые возникают не от биологической несовместимости, а от несовпадения духовных импульсов.

Мир Сергея — это расширяющаяся вселенная. Это мир, открытый новым идеям и впечатлениям, распахнутый для дружбы, товарищества, общения.

Мир Ольги Васильевны дисконтактен. Вбирая в себя поступающие извне лучи, он уже не выпускает их из своего гравитационного поля. Героиня повести презирала эту общительность мужа как предосудительную слабость, как запоздалое мальчишество. Она не хотела делить его ни с кем, настойчиво сжимала окружающее пространство до минимума, до комнаты.

За кругом разночтений психологических обнажается и круг разночтений нравственных.

Сергей — романтик. Его стихия — риск, азарт, борьба. Ввязаться в схватку, не думая о последствиях. Прервать на полуслове почти завершенное ради какой-нибудь сумасбродной гипотезы и начать работу сызнова. От нуля, с чистой страницы.

Рационалистический ум Ольги Васильевны прикован к житейской прагматике, к прозаическим соображениям о выгоде и вреде. Это ум, твердо уверовавший в то, что «все начинается и кончается химией. Ничего, кроме формул, нет во вселенной и за ее пределами».

В любой кризисной ситуации он и она избирают противоположные решения.

Он выставляет Климука и его компанию с дачи, потому что под видом пикника затевалась постыдная, унизительная сделка.

Она убеждена, что не следовало поднимать шума, «фордыбачить и обижать». Ведь как-никак от расположения Климука зависела долгожданная поездка во Францию.

Он наотрез отказывается отдать собранные им факты для подкрепления худосочной докторской диссертации Кисловского.

Она предпочитает закрыть глаза на вымогательство: «Черт бы С этими материалами, за которые плачены тридцать рублей, отдал бы их — и дело с концом. Тридцатку спас, а диссертация завалилась».

Виртуозный, по-трифоновски въедливый психологический анализ высвечивает контрасты характеров, трещины на стыках поэтического и прозаического мироощущения, несходство побудительных мотивов — короче говоря, все то, из-за чего «жить вместе было трудно».

И хотя симпатии автора принадлежат Сергею, они не безоговорочны. Романтическая раскованность рассмотрена в повести без апологетики — как с лицевой, так и с оборотной стороны. И если лицевая— искренность намерений, увлеченность, жадность к познанию, то оборотная — граничащая с дилетантством разбросанность. Ольга Васильевна метила в самое уязвимое место, когда допытывалась: «Есть ли у тебя нечто всеохватное, плотящее воедино все твои тетрадочки, выписки, факты, цитаты?»

Вопрос с привкусом педантизма, но не зряшный.

Герой «Другой жизни» неутомим в архивных раскопках, в том, что он сам именует «разрыва-

нием могил». Однако история — это не только россыпь подробностей, но и слитность, не только пестрота фактов, но и связь между ними, это эпическое движение времени, народной судьбы.

Возможно, такие связи и подразумеваются Сергеем, но они никак не проакцентированы в его рассуждениях о Февральской революции. Исследовательская страсть словно бы ушла из сферы исторической эпики в сферу исторической экзотики. Будь то состав секретных осведомителей царской охранки, оккультизм, спиритические сеансы. Герой предстает скорее в амплуа частного детектива, нежели ученого, постигающего закономерности. Невольно вспоминаются строки из «Долгого прощания»: «Зачем был ему нужен Прыжов, Ребров и сам не знал. Зачем-то нужен!»

Какую бы роковую роль ни сыграли Климук и Кисловский, сколько бы мы ни сетовали на утилитаризм Ольги Васильевны, Сергей и без чинимых ему помех не состоялся бы как ученый. А. Бочаров был прав, когда утверждал в своей статье, что «Сергей воплощает личную честность без достаточной гражданской определенности», что он «не совершает ничего общественно значимого, поднимающегося над личной порядочностью». Упрек горький, однако заслуженный.

И не столько в общественно значимых свершениях состоит нравственный урок этой сумбурной, метеором промелькнувшей жизни, сколько в бесстрашном дерзании понять и выразить себя. В несогласии с рутиной. В отрицании духовной инерции, эгоистической озабоченности самоустройством.

Конечно, Ольга Васильевна более уверенно ориентируется в обстоятельствах. Уж она-то не ринется навстречу неизведанному без твердых гарантий успеха. Но знает ли она себя, имеет ли право на чувство превосходства? Не потому ли память об умершем муже так тревожит ее, подтачивает привычную самоуверенность: «Понять себя, боже мой, для начала! Нет, не хватает сил, не хватает времени или, может быть, недостает ума, мужества… Вот она, к примеру, биохимик, заведует лабораторией, на хорошем счету, получает премии и прибавки к зарплате, но истинное ее предназначение здесь ли? Сама говорила: как жалею, что не пошла в прикладное искусство! Так люблю что-то делать руками, лепить, вырезать». Но в таком случае не есть ли ее жизнь еще большая саморастрата, чем жизнь мужа? Не является ли ее, Ольги Васильевны, самоосуществление мнимым, фиктивным, базирующимся на измене

своему «я»?

Сергей словно бы заставляет окружающих сверяться с совестью, думать не о том, каковы они есть, а какими должны были бы стать.

Как и «Долгое прощание», «Другая жизнь» тяготеет к роману. В этой повести тоже есть элементы многоплановости, сюжетной многолинейности. Судьба главных героев естественно введена в панораму различных моделей и стилей поведения. Здесь и мать Сергея с ее максималистскими нравственными нормами эпохи военного коммунизма, и отчим Ольги Васильевны, загубивший свой незаурядный художнический дар в погоне за респектабельностью, и холодновато-властная Дарья Мамедовна, которая с позиций технократа снисходительно жалеет «филологов, литературных историков, пишущую братию», и друг Сергея Федя — неисправимый альтруист, который «о себе думал в последнюю очередь, а все о других, о других».

Юрий Трифонов не просто демонстрирует, а сравнивает, сопоставляет эти модели. Оттого вся его повесть выливается в диспут об идеале, о смысле и принципах человеческой самореализации. В диспут, где мечта о духовном совершенстве, о взаимопонимании ели га с очистительным пафосом

моральной требовательности, а проблемы долга личности перед собой корректируются ощущением долга перед людьми, перед обществом.

Можно пожалеть, что «тема Сергея» не стала магистральной в следующей повести цикла — «Дом на набережной». Здесь под стеклом микроскопа уже знакомая психология приспособленца. И хотя порой заметны повторы, писатель идет на них ради новой атаки на эгоизм. Давая своему персонажу слово для защиты, он не оставляет от его аргументов камня на камне.

Вспомним, что и Дмитриев, и Геннадий Сергеевич тщились загримировать предательство под жертвенность. Они, мол, обрекли себя на заклание во имя высших интересов семьи.

Вадиму Глебову, по прозвищу Батон, не на кого кивать. Никто его к обменам не принуждал. Ни отец, ни бабка. А уж Соня Ганчук тем более вне подозрений. Уж ее-то любовь самой чистой пробы.

Так что герой этой повести не обременен обязательствами перед близкими. Все его мысли и заботы сосредоточены только на себе. На самообслуживании. Он не жертвует, а выгадывает, выбирает из массы вариантов самый удобный, самый оптимальный. Как перед памятным собранием на филологическом факультете, когда

Сониного отца, профессора Ганчука, должны были прорабатывать за идеализм и низкопоклонство.

Тогда, в эти бурные, суматошные дни, все настолько переплелось и запуталось, что каждый шаг был сопряжен с риском, с убытками. Выступить против будущего тестя значило потерять Соню, запятнать репутацию. Не выступить? Тогда война с подбиравшимися к власти Дородновым и Друзяевым, слом карьеры, прощание с надеждами. Ведь уже было «предварительное решение о стипендии Грибоедова. Ему, Глебову. По результатам зимней сессии… Стипендия Грибоедова! Пускай последние месяцы, все равно благо. Тут же сообразил, что не денежный приварок важен, а моральный импульс — вперед и вверх».

Весь этот бухгалтерский приход-расход отдает неприкрытым торгашеством. Любовь к Соне или денежный приварок? Защита справедливости или виды на аспирантуру? Терзания Вадима насквозь проникнуты страхом продешевить, опростоволоситься. Страхом, который гораздо сильнее, чем внешний нажим. Нажим — что ж? Ну, угрожали, приставали. Так ведь не с ножом к горлу. В конце концов, предупреждал же Левка Шулепников: «Теперь ты вольный казак: можешь

выступать, можешь не выступать, как хочешь. Хозяин — барин».

Писатель намеренно устраняет из повествования момент безвыходности. Он оставляет за своим персонажем право предпочтения, свободу поступка. А поступок в произведениях Трифонова — это «всегда сложный аккорд», химическая реакций общих, частных, даже случайных причин. И решающей при подобной полимотивности оказывается доминанта характера, то, что обусловлено сложившимся душевным опытом.

Вот и в «Доме на набережной» идет пристальное исследование такой доминанты, такого опыта.

Два качества подспудно управляют Глебовым на всех этапах его становления: инстинкт самосохранения и зависить к «именинникам жизни». Оба наследственные, отцовские. У того тоже «скрытым стержнем, вокруг которого все навивалось, было могучее качество — осторожность». Осторожность, возведенная в непререкаемое правило: не высовываться, не лезть в пекло.

И так же, как отца, юного Глебова притягивал и раздражал горделиво вознесшийся над их Дерюгинским переулком величественный дом на набережной. Дом со швейцарами, лифтами,

балконами, натертыми паркетными полами. Дом, где все было иначе, нежели в их тесных каморках, — иные разговоры, иные хлопоты, иные вещи.

Для понимания замысла произведения крайне важно учесть ракурс взгляда. То, что многоэтажная каменная громада показана по преимуществу извне, со стороны дерюгинского подворья. Через восприятие его обитателей. Равнодушные к духовной жизни своих новых соседей, они заворожены их бытом, приметами комфорта. Обегая жадными, вожделеющими глазами квартиры своих школьных приятелей, Вадик Батон всякий раз чувствовал себя оскорбленным: «Он думал: но почему же, черт возьми, у одного человека должно быть все, абсолютно все? И даже то единственное, что есть у другого человека и чем он может немного погордиться и попользоваться, отнимают и дают тому, у кого есть все».

Эта зависть, переполняющая подростка, — ядовитая, жгучая. Зависть, жаждущая реванша, унижения счастливчиков. И когда перед войной судьба одного из соучеников внезапно переломилась, когда тому пришлось съезжать из большого дома на окраину, Вадим скорее ликовал, чем сокрушался. Ах, каким блаженством, каким мсти-

тельным наслаждением было узнать, что вместо четырех комнат останется одна, что не будет ни лифта, ни надменных швейцаров.

Вот так и Клим Иванович Самгин, провожая в последний путь своего знакомого, отпрыска старинной дворянской фамилии, убитого царскими солдатами, испытывал не то возмущение расправой, не то злорадство.

Вообще самгинское начало словно бы растворено в крови Вадима Глебова.

Сравнивая Клима Ивановича с революционерами, доктор Макаров недоуменно пожимал плечами: «Ты — с ними, но — на них не похож». Ключевое, опорное слово тут именно «не похож». Самгин готов даже оказывать мелкие услуги бастующим, по так, чтобы сохранять свободу рук, лазейку для отступления.

Таков и трифоновский герой. Вступая в Тайное общество испытания воли, он озадачивает своих одноклассников странным условием: «Он сказал, что рад вступить в ТОИВ, но хочет быть вправе когда угодно из него выйти. То есть хотел быть членом нашего общества и одновременно не быть им».

На протяжении горьковской эпопеи Самгин соприкасается с большевиками и меньшеви-

ками, эсерами и кадетами, черносотенцами и сектантами. Он всюду присутствует, всех выслушивает, везде сходит за своего или почти за своего. Эта мимикрия присуща и Глебову. Он и с Антоном на дружеской ноге, и с его заклятым врагом Минькой, и с Ганчуком в контакте, и с его антагонистами Дородновым и Друзяевым. Он был «какой-то для всех подходящий. И такой, и этакий, и с теми, и с этими, и не злой, и не добрый, и не очень жадный, и не очень уж щедрый… и не трусливый, и не смельчак, и вроде бы не хитрец, и в то же время не простофиля».

Оба они, и Самгин и Глебов, — непревзойденные мастера балансирования. Оба равно боятся как угодить в переплет событий, так и опоздать к раздаче лавров. Обычная их тактика — выжидание, лавирование, недомолвки. Вадим мог «топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения».

В дни московского восстания Клим Иванович то аплодирует забастовщикам, то поносит их. Глебов же перед решающей схваткой на факультете одновременно репетирует речи за и против Ганчука. В зависимости ог того, чей будет перевес.

Колебания эти не от сложности истины, а от

пренебрежения к ней. Вероятно, герой «Дома на набережной» мог бы повторить вслед за своим духовным предтечей, что он «делает, не веруя». Он ухаживает за Соней, не веря в свою любовь к ней. Отрекается от Ганчука, не веря, что тот действительно погряз в грехах идеализма. Чисто самгинское механическое функционирование. Глубочайшее безразличие к людям. Ко всему, кроме себя. Как говорит Вадиму его родственница: «Характер у тебя все-таки уникальный… Вот этой всеядностью. Или, может, равнодушием потрясающим».

Но «Жизнь Клима Самгина» — это эпопея сорока лет предреволюционной поры. Это панорама лиц, идей, течений, сословий. Это поразительное многоголосье, в которое вливается и брюзжащий голосок Клима Ивановича. Я не собираюсь подходить к повести Трифонова с мерками горьковской эпопеи, не собираюсь и ставить знак тождества между героями: слишком различны масштабы их притязаний и компромиссов. Скажу, однако, что в «Доме на набережной» подчас все-таки не хватает дыхания большого мира. Мира, лежащего за пределами эгоистических вожделений Глебова, круга его забот. Г. Марков справедливо говорил на Шестом Всесоюзном съезде писателей, что

«у того же Трифонова в «Доме на набережной» сюжетно-структурная основа повести, по существу, так замкнута в избранной автором форме, что ни героям, ни читателям не всегда удается с необходимой полнотой ощутить присутствие сил, способных разорвать безысходность некоторых судеб и ситуаций. В подобных случаях это вопрос уже не только формы, не только жанра как такового, а вопрос и философского взгляда писателя. Вместе с тем это, конечно, и вопрос формы, ее возможностей выразить определенное содержание».

Это именно так. Дело не в отсутствии сил, противостоящих гле-бовщине (мы слышим в повести и голос автора, полный брезгливого Отвращения к Батону, и гневные реплики Марины Красниковой, Ку-по Ивановича, жены Ганчука), а в том, что эти силы показаны скорее в обороне, чем в наступлении, в органическом единстве с историческим пафосом нашей эпохи. Да и не всегда им дано проявиться свободно, раскованно, независимо от искажающих помех глебовского мировосприятия, стремящегося опорочить, скомпрометировать все чуждое, враждебное ему. Видимо, качество общего звучания вещи только выиграло бы от несколько большей эпи-

ческой широты, большей энергии лирических отступлений «от автора», которые прорезают повествование.

Но как бы то ни было, писателю удалось передать опасность, исходящую от безыдейности, беспринципности, от рецидивов психологической самгинщины.

В разгар факультетской драмы, когда Вадим мысленно уже сделал свой выбор, когда «внутри себя он уже все разрешил», жена Ганчука, Юлия Михайловна, проницательно говорит несостоявшемуся зятю: «Вы сами не понимаете, насколько вы буржуазны». И далее она упрекает его в том, что «он использовал все: ее дом, дачу, книги, мужа, дочь».

Выстрел и попадание поразительно точные. В самое яблочко. Буржуазна, разумеется, не фразеология Глебова, а его система ценностей, шкала предпочтений.

Ни люди, ни идеи не имеют для героя повести никакого самостоятельного значения. Он пользуется ими как вещами. По мере надобности. Пока нужны, пока служат его намерениям. И не Соню любил он, а то, что ее окружало, что прилагалось к ней: хлебосольный дом Ганчуков, их престиж, знакомства, связи. Все то, что могло вывести

его, студента-пятикурсника, на более высокую орбиту существования. Там, на профессорской даче, он словно бы прикасался к недоступной ранее перспективе, по-хозяйски осваивал терема. Он «смотрел на потолок, обшитый вагонкой, потемневшей от времени, на стены мансарды с торчащим между досками войлоком… и вдруг — приливом всей крови, до головокружения — почувствовал, что все это может стать его домом. И, может быть, уже теперь — еще никто не догадывается, а он знает — все эти пожелтевшие доски с сучками, войлок, фотографии, скрипящая рама окна, крыша, заваленная снегом, ***принадлежат ему***!»

Жажда обладания — тайное тайных глебовского эгоизма. Неуемная, неутолимая жажда иметь стипендию Грибоедова, ученую степень, почести$_к$ дачу. Собственническое чувство, которое ведет эту безликую личность мимо коварных житейских рифов, может быть то осторожным, то бесцеремонным, может то поджимать, то выпускать свои щупальца. Но оно никогда не дремлет, неусыпно карауля добычу.

Бесцветный, аморфный, бесхребетный Вадик Батон тем и страшен, что он фальсифицирует, превращает в предмет купли-продажи все,

с чем ни соприкасается: истины, принципы, дружбу, любовь. Его ум, по выражению Юлии Михайловны, — «ледяной, никому не нужный, бесчеловечный, ум для себя, ум человека прошлого». Того самого прошлого, которое взращивало, культивировало надувательскую, барышническую мораль собственника. Недаром свои победы Глебов одерживает не иначе, как обводя вокруг пальца, объегоривая, снисходительно насмехаясь над семейством Ганчуков, как над «добрыми, порядочными ***лопухами***».

Теперь, обретя солидную, респектабельную осанку литературоведа, герой «Дома на набережной» хотел бы предать забвению некоторые сомнительные страницы биографии. Потому что память — это «сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удерживать тяжелые грузы. Пусть все чугунное прорывает сеть и уходит, летит». А если что-то и царапнет душу, так ведь не он «виноват и не люди, а времена».

Повесть Ю. Трифонова построена на интенсивной полемике с философией забвения, с лукавыми попытками спрятаться за «времена,». В этой полемике — нерв произведения. Мы слышим и голос Глебова, излагающего свою версию событий, и авторские монологи, где Вадик

Батон показан уже со стороны, глазами его одноклассников. С той же субъективной глебовской интерпретацией спорят и разламывающие ее объективные картины жизни, и пристальный психологический анализ, вскрывающий действительную подоплеку поступков и самооправданий героя. Нет, не время вынуждало Вадима ловчить, отступаться от своего учителя, от Сони и подпевать Дороднову. Вынуждали алчность, страх оказаться у разбитого корыта, остаться «мелким клерком». Другое дело, что было удобно прикрываться конъюнктурой, козырять ею.

А конъюнктура — что ж? — она всех испытывала одинаково. И Глебова, и профессора Ганчука, и Соню, и Марину Красникову. Все они жили в одно и то же время, только жили и действовали по-разному. В соответствии со своими убеждениями.

В интервью «В кратком — бесконечное» писатель говорил, что «эгоизм исчезает там, где возникает идея». Вне эгоизма мужественные народовольцы Софья Перовская и Андрей Желябов — герои романа «Нетерпение». Вне эгоизма пламенный большевик Шура из романа «Старик». А в «Доме на набережной» верность идее дает нравственную силу старому рубаке, профессору Ганчуку и сверстнику Вадима Антону. И как бы

ни поднимался Глебов по ступеням карьеры литературоведа и эссеиста, он выступает в повести как «человек прошлого», как выразитель обывательского, потребительского сознания.

Отношение художника к своему персонажу бескомпромиссно. Оно спорит с той «безотборной жалостью к другим. Ко всем подряд, ко встречным и поперечным», которая погубила Соню Ганчук. Эта наивная, слепая участливость может невольно попустительствовать злу. И Вадим использует ее как ротозейство, как отпущение грехов. Трагическая судьба Сони не только обвиняет глебовых, но и предостерегает от доверчивости к ним. Ведь собственнический эгоизм антигуманистичен по природе своей, непримиримо враждебен этике строителей нового мира, его идеалам.

В упоминавшемся уже интервью Ю. Трифонов отмечал: «Эгоизм — то в человечестве, что победить труднее всего. Но литература призвана — несмотря ни на что — вести свой бесконечный бой во имя торжества социалистических идеалов».

Этот бой ведет и сам писатель в своих повестях городского цикла. Бой с духовной инертностью, потребительством, приспособленчеством и прочими формами недочеловечности.

Сегодня каждое произведение Юрия Трифонова встречает самый заинтересованный отклик. Его проза отмечена и остротой проблематики, и свободой психологического анализа, и отточенностью наблюдений. Причем проза эта — явление движущееся, развивающееся. Ясно видишь авторское стремление раздвинуть горизонты исследования, теснее связать индивидуальное и общее, органичнее вписать портрет личности в портрет времени. Хотя именно этому портрету времени в повестях Трифонова подчас еще не хватает эпической широты.

Когда-то в новелле «Путешествие» писатель настойчиво сжимал круг пространства. Теперь в романе «Старик» он снова расширяет его, пронизывает повествование эпическими мотивами истории. Подводя итоги своей жизни, Павел Евграфович замечает: «Все истина, разумеется, все годы, что волоклись, летели, давили, испытывали, все мои потери, труды, все турбины, траншеи, деревья в саду, ямы вырытые, люди вокруг, но есть облака, что кропят твой сад, и есть бури, гремящие над страной, обнимающие полмира... Высшая истина т а м!» Думается, что это ощущение истории как «многожильного провода», это соизмерение отдельной судьбы с высшей истиной Октября плодотворно. И углубление историзма в подходе к действительности, во взгляде на нашу жизнь, наследующую непреходящие ценности революции, способно привести художника к новым открытиям.

Л. ТЕРАКОПЯН

В 1979 году издается 15 книг

библиотеки «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник — Я из огненной деревни… Перевод с белорусского.

Ч. Айтматов — Ранние журавли. Повести.

Ч. Амирэджиби — Дата Туташхиа. Роман. Перевод с грузинского.

Ю. Бондарев — Берег. Роман. Повесть.

В. Быков — Дожить до рассвета. Повести.

А. Бэл — Голос зовущего. Романы. Перевод с латышского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга 2-я.

Р. Иванычук — Возвращение. Роман. Новеллы. Перевод с украинского.

А. Кекильбаев — Баллады забытых лет. Роман. Повести. Перевод с казахского.

Ю. Нагибин — Царскосельское утро. Повести. Рассказы.

Б. Окуджава — Избранная проза.

М. Симашко— Маздак. Повести Черных и Красных Песков.

Ю. Трифонов — Другая жизнь. Повести. Рассказы.

Б. *Шинкуба* — Последний из ушедших. Роман. Перевод с абхазского.

Л. Якименко — И вечная, как мир... Роман. Повесть.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Борис Панкин
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Петр Серебряков
Константин Симонов
Юрий Суровцев
Леонид Теракопян

Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен

INFO

Юрий Валентинович ТРИФОНОВ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Приложение к журналу «Дружба народов»
М., «Известия», 1979, 688 стр. с илл.

Редактор приложений Е. Мовчан
Оформление «Библиотеки» А. Гаранина
Редактор В. Полонская
Художественный редактор И. Смирнов
Технический редактор В. Новикова
Корректор Т. Васильева

АО 1828. Сдано в набор 5/IV-79 г. Подписано в печать 1/VIII-79 г. Формат 84X108 1/32. Бумага печ. № 1. Печ. л. 21,5. Усл. печ. л. 36,12. Уч. — изд. л. 37,82. Зак. 2099. Тираж 220 000 экз.
Цена 2 руб. 70 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».

Москва, Пушкинская пл., 5.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005, Минск, Красная, 23.

.....

FB2 — mefysto, 2024